ВЯЗЕМСКИЙ



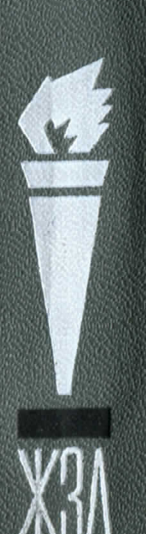

Вячеслав Бондаренко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Вячеслав Бондаренко

ВЯЗЕМСКИЙ



ЖЗЛ



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



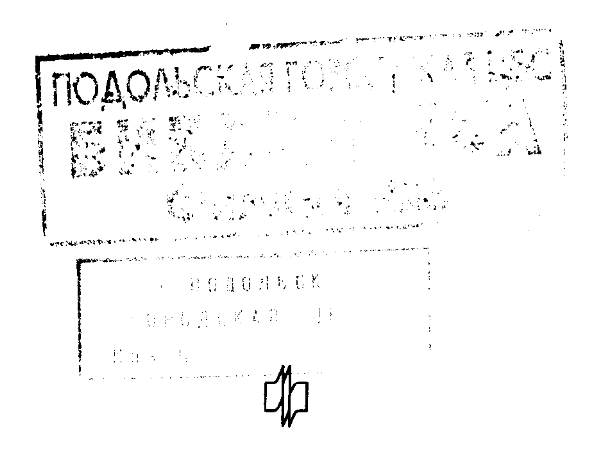
ВЫПУСК

1084

(884)

Вячеслав Бондаренко

ВЯЗЕМСКИЙ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2004

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Б 81

Автор и издательство выражают благодарность за помощь в работе сотрудникам Российского государственного архива литературы и искусства, Российской государственной библиотеки, Государственного литературного музея, а также О. Н. Барановской, С. Ю. и Т. В. Зайцевым, А. А. Звозникову, о. Лазарю, Р. А. Макарову, В. В. Пугачу, Е. И. Пазухину и Н. П. Скакун.

На переплете: князь П. А. Вяземский. С акварельного портрета П. Ф. Соколова. 1818 (?); вертикаль: Остафьево. Аллея «Русский Парнас»; горизонталь: Остафьевский дворец.

ISBN 5-235-02654-3

Посвящаю моим родителям

Я — маленькая Россия...
Князь П. А. Вяземский

Глава I

МОСКВА, ОСТАФЬЕВО, БОРОДИНО...

Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына.

Вяземский, 1819

Дворянство наше хорошо поняло и применило к действию прекрасный смысл французского изречения: дворянство обязывает (noblesse oblige).

Вяземский, 1851

В конце XVIII — начале XIX века одна из центральных московских улиц, Волхонка, еще нередко по старинке величалась Ленивкой, а нынешняя тихая Ленивка — Всехсвятской, или проездом к Каменному мосту: по ней сплошным потоком текли пешеходы и экипажи, направлявшиеся через мост в Замоскворечье. От Волхонки параллельно друг другу, резко ломаясь в колене, идут к Знаменке два близнеца-переулка — Большой и Малый Знаменские. Названы они по уничтоженному в 1931 году храму Знамения Пресвятой Богородицы (отсюда и сама улица Знаменка). Вообще это место Москвы славно своими храмами. Был тут и государев Конюшенный (затем Колымажный) двор — уже в конце XVI века отмечен он на подробных московских планах. Сейчас на его месте высится всем известное здание Музея изобразительных искусств имени Пушкина, построенное в 1898—1910 годах архитектором Р. И. Клейном. До музея (1882—1898) был там пустырь, еще раньше — пересыльная тюрьма (1863—1882), а до 1863 года — манеж, где занимался верховой ездой цвет московского дворянства. Манеж — это и была последняя память о «государевых конюшнях», Колымажном дворе. Стояли там множество маленьких одноэтажных домишек для конюхов и солдат, большой амбар, конюшни, навес, под которым сушились экипажи. На Малый Знаменский переулок выходила ложа для благородной публики, откуда можно было любоваться выездкой, «московской каруселью», как тогда говорили.

В этом уголке Москвы издавна жили представители самых известных русских фамилий. В Малом Знаменском переулке в 1790 году поселился с женою генерал-поручик

князь Андрей Иванович Вяземский. Он купил у Голицыных на имя супруги большой участок земли и двухэтажный дом с садом, который занимал собой острый угол переулка (сейчас это дом № 5, а тогда адрес звучал так: Тверская часть, 5-й квартал, № 490). Из окон этой городской усадьбы можно было видеть манеж с нарядными юными всадниками, узенький тихий переулок, а дальше — оживленный Каменный мост, сияющие главы женского Алексеевского монастыря, полукруглый купол новенькой Голицынской больницы и Нескушное — вотчину Орловых... Левее, в каких-то пяти минутах ходьбы, — Кремль. На праздники радостный трезвон поднимался над Колымажным двором — все многочисленные храмы Волхонки и Знаменки возносили хвалу Господу... Ближе всего к дому Вяземского стояла приземистая и довольно скромная церковь Святого Антипия, епископа Пергамского, целителя от зубной боли. Ее тоже было хорошо видно из окон усадьбы. Храму Святого Антипия уже тогда было свыше двухсот лет. Называли его еще «Антипий, что в Чертолье» или «Антипий у старых конюшен». В его честь назывался Антипьевский переулок, хотя по московской традиции было у него и еще два названия — Лукинский (ближе к Пречистенскому бульвару) и Колымажный (ближе к Волхонке). Храм стоял в лесах — к нему пристраивали придел Иоанна Предтечи, колокольню и трапезную.

Колымажный двор, Чертолье, Волхонка, Каменный мост... Сердце Москвы, где все так и дышит историей. Своя история и у владельца дома в Малом Знаменском переулке — князь Андрей Иванович Вяземский принадлежал к древнейшему и знатнейшему русскому роду.

Классики Золотого века русской литературы высоко чтили своих предков и гордились ими. Нет никакого сомнения в том, что и П. А. Вяземский испытывал такие же чувства. Но напрасно искать у него аналог пушкинской «Моей родословной». Дело, наверное, в том, что более знатного человека, чем Вяземский, в русской поэзии за всю ее историю не бывало, и с его стороны странно было бы во всеуслышание гордиться такими пращурами, как Рюрик, Святой Равноапостольный Владимир Креститель, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Перед таким происхождением никли «древа» всех прочих дворян-литераторов. А сам князь Петр Андреевич относился к своей ослепительной генеалогии, достойной королей, с обезоруживающей аристократической простотой. Истинный Рюрикович, он никогда не упоминал всуе своих славных

предков, хотя можно не сомневаться — знал и помнил их деяния превосходно. Например, в 1840 году он лично написал подробную генеалогическую справку об отце для «Российского Родословного сборника» князя П. В. Долгорукова...

С течением времени древних княжеских родов в России становилось все меньше. Они медленно, но неизбежно теряли прежнее значение в государстве и к 1830-м годам, к правлению Николая I, были представлены лишь немногими заметными личностями. Иронический монолог Русского в пушкинском отрывке «Гости съезжались на дачу...» (1828—1830) исчерпывающе полно воссоздает мысли подлинного аристократа, принадлежащего к чахнущему древнему роду: «Наша благородная чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха... Корень дворянства моего теряется в отдаленной древности, имена предков моих на всех страницах истории нашей. Но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елисаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники. Говорю не в укор: достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дьячков спесь герцога Monmorency, первого христианского барона».

Вымирание старой аристократии и замена ее, в том числе на общественной сцене, «новым» дворянством и выходцами из мещанства глубоко волновали Пушкина. Сам принадлежа к древнему дворянскому роду, он не мог молча смотреть на то, как подлинное дворянство оттесняется от управления страной. Вяземский относился к этому более спокойно и считал, по-видимому, что старую аристократическую кровь необходимо время от времени «обновлять» (вполне уважительные и даже ласковые отношения связывали его, например, с графами Разумовскими — теми самыми, которых Пушкин считал воплощением ненавистной новой знати). «Принадлежать старой аристокрации не представляет никаких преимуществ в глазах благоразумной черни, и уединенное почитание к славе предков может только навлечь нарекание в странности или бессмысленном подражании иностранцам», — заметил Пушкин в 1830 году. И все-таки сам он неоднократно проявлял «неблагоразумие», демонстративно подчеркивая свое древнее происхождение.

Вяземский не делал этого потому, что его род, в отличие от Пушкиных, был *слишком* известен и о заслугах Вяземских напоминать не было нужды. Пушкины стояли в длинном ряду

других старых дворянских фамилий — рядом с ними можно поставить Блудовых, Карамзиных, Бутурлиных, Дмитриевых, Мятлевых, Кологривовых, Мусиных, Бобрищевых, Каменских... Князья Вяземские были намного древнее и знатнее.

Этому роду повезло — в то время как многие Рюриковичи (например, Шелешпанские или Бабичевы) с большим трудом дотянули до XIX века и в буквальном смысле слова доживали последние дни, Вяземские за долгую свою историю не растеряли ни достоинства, ни богатств. Они словно демонстрировали прочность и несгибаемость духа старого русского дворянства.

Герб Вяземских выглядит так: «В серебряном поле герб княжества Смоленского; на зеленой траве стоящая черная пушка на золотом лафете, а на пушке сидящая райская птица. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою». Вяземские ведут свой род от Владимира Мономаха, великого князя Киевского. У внука его, Ростислава Мстиславича Смоленского, был внук Андрей Владимирович, по прозванию Долгая Рука, в двенадцатом колене потомок Рюрика. Этот-то князь получил в 1239 году в удел город Вязьму и стал зваться Вяземским. Правда, с Долгой Рукой впоследствии возникла порядочная путаница — во многих источниках можно прочесть, что этот князь якобы погиб еще в 1224 году в битве на Калке. Но, по убеждению Павла Петровича Вяземского, это не более чем предание, «внесенное для украшения в родословную»*. В действительности же на Калке погиб тесть Долгой Руки, Мстислав Романович Киевский.

От сыновей Долгой Руки, Андрея, Федора и Василия, пошли две ветви рода. Впрочем, это — официальная версия, есть и другие. Например, известный генеалог Н. А. фон Баумгартен считал, что родоначальником Вяземских был живший на рубеже XI и XII веков князь Андрей Михайлович. Кроме того, существовали в России и нетитулованные дворяне Вяземские, четыре рода**.

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп.1. Ед. хр. 3775. Л. 65.

** К самому старому (1598) из этих родов принадлежали учитель цесаревича Алексея Петровича Никифор Кондратьевич Вяземский, его праправнук Орест Полиенович Вяземский, в честь которого в 1894 году назван поселок (ныне город) в Приморье, и прапраправнук Сергей Сергеевич, геройски погибший в 1915 году на линейном корабле «Слава». «Мы с князьями не имеем ничего общего, хотя корень у нас был когда-то общий. Во времена Ивана Грозного наш предок был сослан за вольнодумство в Литву и лишен титула. Там он занимался интригами против правительства. От этого предка идет наш род», — писал в 1933 году О. В. Вяземский. Сейчас этот род дворян Вяземских продолжается в Швейцарии, в России он угас в 1985 году.

Сиятельные же Вяземские сохраняли независимость своего небольшого удела до 1403 года. В этом году Вязьмой без боя овладели войска великого княжества Литовского; двое Вяземских, в том числе правящий князь Иван Святославич, попали в плен, двое успели бежать в Новгород и затем в Москву. Четырежды — в 1406, 1444, 1445 и 1486 годах — Москва пыталась завоевать Вяземское княжество, подвергала его территорию опустошительным набегам. Но лишь в 1493 году московскому войску под началом князя Даниила Щени удалось взять город, и Вяземские, девяносто лет правившие своим уделом как наместники Литвы, присягнули на верность великому князю всея Руси Ивану III. С тех пор стали они служилыми людьми, близкими к московскому двору. Наиболее жизнестойкой и щедрой на заметные личности оказалась вторая ветвь Вяземских. К ней принадлежат, например, опричник князь Афанасий Иванович — один из главных героев романа А. К. Толстого «Князь Серебряный», герой Отечественной войны 1812 года генерал-майор князь Василий Васильевич, композитор князь Григорий Николаевич, знаменитый путешественник, впоследствии иеромонах Пантелеимоновского монастыря на Афоне князь Константин Александрович. А также единственный Вяземский-писатель XVIII столетия — князь Василий Семенович, напечатавший в 1800 году в Москве драму в прозе «Пустынник». Он умер в 1823-м и был так прочно забыт, что уже пятнадцать лет спустя изучавший Вяземских историк С. Д. Полторацкий не смог даже установить имя-отчество князя-драматурга. Не знал о нем ничего и П. А. Вяземский.

Третья линия этой ветви рода продолжается и по сей день во Франции — это потомки астраханского губернатора князя Леонида Дмитриевича Вяземского. Его сын Владимир, видный историк русского масонства, в 1895 году получил право также на фамилию и титул графов Левашовых, а правнучка, Анна-Франс-Софи Вяземски, стала знаменитой актрисой, писательницей и женой классика французского кино Жана-Люка Годара.

Первой же ветви Вяземских повезло меньше. 26 апреля 1931 года парижская газета «Возрождение» сообщила о смерти в Ментоне на 87-м году жизни Петра Павловича Вяземского, внука поэта — на нем первая ветвь угасла... А между тем и на ее счету немало славных страниц российской истории. К первой ветви принадлежала самая почитаемая представительница рода, его небесная покровительница Благоверная мученица Иулиания Вяземская. Память ее отмечается 21 декабря. Поэт Лев Мей в 1857 году написал о

трагической судьбе княгини Иулиании балладу, посвятив ее герою этой книги.

В XVIII столетии самых больших успехов из первой ветви Вяземских добился князь Александр Алексеевич — один из могущественнейших вельмож Екатерины II, генерал-прокурор Сената. Впрочем, современники поминали его чаще недобрым словом — именно он невольно вдохновил Державина на самую страстную и гневную его оду «Властителям и судиям». Да и к нашему герою он имеет чрезвычайно отдаленное отношение: Александр Алексеевич доводился отцу П. А. Вяземского... десятиюродным братом. Впрочем, в судьбе своего дальнего (чтобы не сказать сверхдальнего) родственника Александр Алексеевич принял однажды большое участие. Но об этом немного позже.

Непосредственные предки Петра Андреевича Вяземского, вписанные в V часть родовых книг Костромской и Ярославской губерний, не занимали поражающих воображение должностей в государстве и при дворе, хотя и не были обделены милостями судьбы и монархов. Андрей Федорович (1692—1765), например, был любимым приближенным сестры Петра I, царевны Натальи Алексеевны. А старший сын его Иван Андреевич (1722—после 1798) начал карьеру в 1737-м при дворе императрицы Анны. В 20 лет он лейб-гвардейский поручик, в 40 — генерал-майор, в 45 — сенатор. С 1771 года занимал пост директора Санкт-Петербургского Дворянского банка. Следующий по старшинству чин тайного советника И. А. Вяземский получил лишь после огромного перерыва — в 56 лет, 29 сентября 1778 года. В 1782 году он был награжден орденом Святого Александра Невского, а еще через шестнадцать лет, уже глубоким стариком, стал действительным тайным советником. Был Иван Андреевич прирожденным служакой — властным, угрюмым, малообщительным, жестким. Он был наполовину швед — первым браком его отец был женат на пленной шведке, фамилия которой за давностью лет забылась.

Сын Ивана Андреевича и княжны Марии Сергеевны Долгоруковой-первой* тоже сделал внешне вполне удачную, а на деле нелегкую карьеру. П. А. Вяземский полагал, что его отец родился «около 1750 года»; эта же дата стоит в старинных архивных справках и до сих пор нередко встречается даже в весьма солидных трудах по генеалогии. Но она заведомо неверна, так как Иван Андреевич Вяземский женил-

* У Марии Сергеевны была младшая сестра, Мария Сергеевна-вторая, в замужестве княгиня Прозоровская, скончавшаяся в 1763 году.

ся лишь в июле 1751-го. С недавних пор точно известно, что князь Андрей Иванович появился на свет 16 октября 1754 года. Четырех лет, по обыкновению того времени, был он записан в армию сержантом; с октября 1760 года числился адъютантом при собственном отце, но поначалу явно обогнал его в чинопроизводстве — пятнадцати лет стал премьер-майором, а в девятнадцать уже надел полковничий мундир. Юный полковник относился к служебным обязанностям вполне творчески и смотрел на окружающую жизнь критически — об этом свидетельствует составленная им в 1774 году «Военная записка», где Андрей Иванович предлагает провести масштабные армейские реформы. Порыв молодого аристократа был оценен: его привлекли к составлению «экстрактов» из русского законодательства, касающегося армии. Сохранились и другие его статьи — «Описание каналов Франции и история их сооружения», «Описание устройства дорог по английскому образцу», «Об атаке плацдармов»... Двадцати четырех лет, 5 мая 1779 года, князь получает чин генерал-майора. К этому периоду относится портрет Андрея Ивановича, написанный французским художником Жаном-Луи Вуалем. Молодой князь в парике и мундирном кафтане, командир Вологодского пехотного полка, смотрит с полотна уверенно и спокойно, все душевные качества — налицо. Писаным красавцем его не назовешь, но он привлекателен, свеж, открыт, независим.

В дальнейшем, однако, карьера явно притормаживает: всесильный Потемкин находит князя «чересчур независимым и гордым», и в генерал-майорах Вяземский ходит больше девяти лет (его отец, напомним, состоял в этом чине вдвое дольше). И только в конце екатерининского правления о нем снова вспоминают, причем на самом высоком уровне. 19 июля 1788 года следуют наконец чин генерал-поручика, служба в московской Военной конторе (1789—1796), а 20 марта 1796 года — назначение наместником Пензенским и Нижегородским. Пост был очень ответственным: наместники совмещали обязанности статского и военного генерал-губернаторов и подчинялись напрямую императрице. На этой должности Андрей Иванович проявляет в полной мере самостоятельность и склонность к преобразованиям. Однако его независимую манеру держаться окружающие часто принимали за высокомерие. Так, заместитель Вяземского на посту пензенского наместника поэт князь И. М. Долгоруков вспоминал: «Вяземский обходиться со мной стал очень надменно, и я от него удалился; поступки его со всеми чиновниками были таковы, что никто его не возлюбил и

всякий называл его фанфароном, а в самом деле он был для столь высокого звания слишком пустой человек... Он хотел в Пензе сделать Лондон и, начав с сей точки, что ни делал, что ни писал как начальник русской провинции, все было не у места и некстати». Впрочем, Долгоруков тут же оговаривается: все это относится к чиновнику Вяземскому, «с бесприкладными его теориями и нелепыми затеями ума, испорченного английскими предрассудками»; как собеседник и светский человек он вспоминается только «с приятной стороны, когда воображаю наши словесные беседы, чтение стихов, острые его шутки и образованность».

Еще более красноречивы свидетельства других нижегородских знакомых Вяземского. Сохранились две оды, в которых местными стихотворцами были воспеты деяния просвещенного наместника. А некая Мария Бакунина в феврале 1797 года сетовала в письме: «Отъезд ваш из Нижнего весь город привел в превеликое уныние».

Смерть Екатерины II положила конец многим карьерам. Но князю Андрею Ивановичу можно было не беспокоиться — с воцарившимся Павлом I его связывало давнее знакомство, которое можно даже отчасти назвать приятельством... Уже 1 декабря 1796 года, спустя 24 дня после смерти Екатерины, император отправляет князю милостивую записку — он награжден орденом Святой Анны I степени. 12 декабря указом Павла наместничества в России упраздняются, и через десять дней Вяземский получает перевод из Нижнего Новгорода в 5-й (Московский) департамент Сената. 5 апреля 1797 года, в день своей коронации, Павел жалует Вяземскому восемь деревень в Нижегородской губернии... Правда, в сравнении с другими возвышениями павловских лет все эти милости не так уж и грандиозны. Анненская звезда — не самый высокий орден в России, а перевод из Нижнего Новгорода в московский Сенат — фактически почетная отставка. Многие ровесники Андрея Ивановича и бывшие помоложе его бодро двигались по служебной лестнице, а он так и оставался в третьем классе Табели о рангах... Он даже начал выведывать, не разгневал ли чем государя. Ответ был: нет, не разгневал.

Словом, положение создалось странное и неприятное для самолюбия. Кончилось все тем, что Андрей Иванович написал государю полное сдержанных упреков письмо, завершил которое фразой: «Скорбящею душою нахожусь вынужден всеподданнейше просить уволить меня от службы». Возможно, Вяземский рассчитывал на то, что пристыженный Павел спохватится и воздаст должное верному слуге,

однако император с неожиданной легкостью согласился отпустить давнего знакомца в отставку. Произошло это 28 октября 1798 года. Правда, одновременно князю был все же пожалован давно следовавший ему чин действительного тайного советника.

Просто сидеть без дела Андрей Иванович, разумеется, не мог. Время от времени он возглавлял ответственные сенатские ревизии, стал почетным опекуном Московского воспитательного дома... За деятельность в опекунском совете 6 февраля 1800 года он получил орден Святого Александра Невского, а от императрицы Марии Федоровны — бриллиантовый перстень. Но и из совета князь был уволен в сентябре 1800 года. Тогда же Вяземскому назначили пенсион, о чем ему письменно сообщил Г. Р. Державин.

Странные чувства одолевали князя Андрея Ивановича. В глубине души кипела обида на императора, который непонятно почему держал его на расстоянии — не отстранил от себя, но и не приблизил. Но в то же время князь и сам не хотел становиться государственным мужем в полном смысле этого слова. Ему хватало сознания своей честности, прямоты, выполняемого долга... А теперь, в отставке, он и вовсе ни от кого не зависел. Сердце, ум и душа — свободны, открыты. У него были любимая жена, сын, две дочери, друзья, библиотека, подмосковное имение Остафьево, в котором только что был заложен фундамент дома... И князь воспрял духом. Теперь отставка казалась ему спасением.

В Остафьеве сейчас можно видеть миниатюру работы Ксавье де Местра, на которой Андрей Иванович изображен на склоне жизни. Миниатюра изображает человека в годах, с поредевшими волосами, приятным сухощавым лицом; князь явно знает себе цену, видны высокий ум, ироничность, скептицизм — перед нами много повидавший сын эпохи Просвещения, усердный читатель французских энциклопедистов.

Тридцать три огромных тома «Энциклопедии» Д'Аламбера и Руссо занимали почетное место на полках библиотеки Андрея Ивановича. Библиотека эта, по свидетельству Вяземского, была «единственным богатством дома». Больше всего в ней было книг по истории (пятитомный «Исторический атлас» Гедевиля, восьмитомная «Военная история Людовика XIV», четырнадцать томов Плутарха, двадцать томов Тацита...), философии («Опыты» Монтеня, «Максимы» Ларошфуко, «Характеры» Лабрюйера, пятитомник Макиавелли, Монтескье, Гельвеций, Дидро, Вольтер...), военному делу. Всего пять тысяч томов. («Русский библиофил» в 1911 году

уточняет, что сын Андрея Ивановича собрал семь тысяч томов, а внук — десять.)

«Мой родитель был один из образованнейших, почтеннейших и любезнейших людей своего времени, — вспоминал П. А. Вяземский. — Он владел даром слова, любил разговор, обмен мыслей и мнений, даже любил споры, но не по упрямству убеждений своих, не по тщеславию ума, довольного самим собою, но по любви к искусству и к оживлению беседы. Он любил спор для спора, как умственную гимнастику, как безобидную стрельбу в цель, как фехтованье... Он знал несколько иностранных языков, особенно хорошо знал французский...»

До недавнего времени Андрей Иванович Вяземский привлекал внимание лишь в этом качестве — как «один из образованнейших, почтеннейших и любезнейших людей своего времени», честный, прямодушный вельможа, библиофил, друг, покровитель и зять Карамзина, отец своего знаменитого сына. Но сейчас мы вправе говорить о нем и как о вполне самостоятельной фигуре в истории русской культуры, более того — как об одном из зачинателей русской философской мысли.

...В конце 1790 года в германском городке Альтона (сейчас это один из центральных районов Гамбурга) вышла на немецком языке книга «Beobachtungen ueber Geist des Menschen und dessen Verhaltruss zur Welt». Оригинальная философская концепция, предложенная в ней автором, Андреем Передуминым-Колывановым, могла бы произвести переворот в европейской философии конца XVIII века, и не случилось этого лишь из-за отсутствия печатных откликов и крошечного тиража. Уже столетие спустя, в 1902 году, автор капитальной «Истории новой немецкой психологии» Макс Дессуар, подробно разбиравший каждый изданный в Германии философский труд, с сожалением отмечал, что не смог найти ни одного экземпляра книги загадочного русского автора.

Потребовалось еще сто лет, чтобы труд Андрея Передумина-Колыванова вновь увидел свет. Благодаря стараниям В. В. Васильева, обнаружившего раритет в библиотеках Москвы и Страсбурга, в 2003 году русский перевод книги — «Наблюдения о человеческом духе и его отношении к миру» — вышел в Калининграде.

Вадим Васильев, проведя скрупулезный анализ текста «Наблюдений...», убедительно доказал в послесловии к ним, что за псевдонимом Андрей Передумин-Колыванов скрывался 36-летний князь Андрей Иванович Вяземский. В пользу этого говорят многие факты — и то, что немецким языком

князь владел в совершенстве (уже 11-летним мальчиком он перевел с французского на немецкий роман Фенелона «Путешествие Телемака»), и то, что фамилию «Колыванова» носила его внебрачная дочь, впоследствии супруга Карамзина. Происходила она от старого русского названия Ревеля-Таллина, где долго квартировал полк Андрея Ивановича.

Пересказывать содержание философских трактатов — дело бессмысленное, тем более сейчас, когда стараниями Вадима Васильева книга А. И. Вяземского впервые издана по-русски, а фактически — заново родилась. Введение в научный оборот «Наблюдений...» чрезвычайно важно — ведь это один из крупнейших памятников не только русской, но и европейской философской мысли XVIII века. Существуют все основания для того, чтобы назвать князя Андрея Ивановича Вяземского одним из выдающихся европейских философов того времени.

В свете открытия В. В. Васильева становятся объяснимы многие факты из биографии князя Андрея Ивановича и даже некоторые черты его характера. Теперь понятно, что Вяземский-старший был не просто независимым и нравным вельможей, каких в екатерининское время было немало, — он жил, опираясь на собственную философскую систему и стремясь воплотить ее в реальность.

Своеобразный экзистенциализм Вяземского проявлялся в том, что он мечтал о *подлинной* жизни, в которой не было бы места *псевдозанятиям* и *псевдочувствам*. Он не был атеистом, но считал «веру отцов» нелепой, предпочитая «Бога ученых и философов» Богу филистеров. Верил в возможность создания Утопии, идеальной страны во главе с идеальным правителем... Все это преломлялось, порою странно, в его судьбе. Мечта «в Пензе сделать Лондон» наткнулась на глухую стену непонимания и враждебности подчиненных. Манеру обхождения с этими подчиненными, строгую и справедливую, спутали с надменностью, чванством. Провалом закончилась и попытка образовать в сыне Петре идеального человека, гражданина будущей Утопии...

С годами Андрей Иванович, конечно, понял, что воплотить грандиозные идеи в жизнь ему вряд ли удастся. «Наблюдения...» остались его единственной книгой, и сын Андрея Ивановича так никогда и не узнал о ней*. Философские

---

* «Ни дед мой, ни отец — как я в том убежден — никогда ничего не печатали и не писали для печати. Дед мой вовсе не был литтературным человеком, а что касается отца, то мне были бы известны от Нелединского и других приятелей его литтературные попытки его», — писал П. А. Вяземский (ОР РГБ. Ф. Полторацкого. К. 19. Ед. хр. 36. Л. 10).

искания стали «домашним делом» Вяземского, превратились в ежевечерние споры у камина... Естественно, что для честолюбивого князя, помышлявшего о преобразовании целого мира, это была трагедия. Кто мог понять его, разделить его горечь (конечно, тщательно скрываемую от посторонних)?.. С большой долей уверенности можно предположить, что Карамзин — ему принадлежал один из экземпляров «Наблюдений...», найденный в 2000 году в Москве. Мысли Андрея Ивановича во многом были близки молодому Карамзину, и Вяземский это чувствовал. «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии», — писал Карамзин князю в ноябре 1796 года...

...В 1830 году, работая над биографией Фонвизина, Вяземский заметит: «Изыскания родословные не нужны в биографии литератора: дарования не майорат». Дарований в сыне действительно было гораздо больше, чем в отце, но и отцовское все же явственно будет видно в Петре Андреевиче — лепка лица, нрав, взгляд, который мог быть и невыносимо тяжел, и нежен, и ироничен. Сын Андрея Ивановича, как и он сам, будет любить «спор для спора», будет приверженцем всего европейского, удостоится дружбы лучших людей своего века и вдоволь постранствует по миру. Он тоже будет брезгливо избегать «кривых дорог» и культивировать в себе «девственную щекотливость чести». Впрочем, острые углы отцовского нрава в Петре Андреевиче заметно сгладятся. Например, на целых два поколения уйдет из семьи Вяземских «военная жилка» — и возродится только в князе Петре Павловиче, который станет генерал-майором лейб-гвардии Гренадерского полка. А вот тяга к перу окажется наследственной. Петр Андреевич, герой этой книги, — поэт (и не только), сын его Павел Петрович — автор статей, исторических исследований, замечательной книги-розыгрыша «Записки Оммер де Гелль». Внук, Петр Павлович, в молодости тоже пробовал силы в жанре светской повести...

Пожалуй, лучше других характеризует натуру Андрея Ивановича — страстную, трудную и резкую — не его послужной список и даже не философские этюды, а последствия его заграничного путешествия. Разочаровавшись в военной службе, князь взял длительный отпуск и в 1782—1786 годах предпринял большой вояж по Европе с образовательной целью. 1 марта 1782 года в Петербурге он простился с друзьями, сел в карету и отправился в Финляндию... Потом были Швеция, Германия, Франция, Голландия, Испания, Португалия, Англия, Италия и Швейцария. И везде, как все просвещенные люди тех лет, Андрей Иванович посещал

дворцы, библиотеки, монастыри, салоны, покупал книги для библиотеки, картины и новейшие физические приборы, вел стремительным, нетерпеливым почерком путевые заметки, представлялся знаменитостям и скромно внимал

За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

Во Франции тридцатилетний князь повстречал молодую замужнюю ирландку Дженни Кин (Quine), урожденную О'Рейлли, и влюбился в нее. В браке Дженни он увидал, согласно своей теории, *псевдочувство* — и разрушил этот брак мгновенно и жестоко... Последовала почти неправдоподобная история в духе модных тогда чувствительных повестей — русский путешественник увез пассию от мужа, добился развода и решительно собрался венчаться. Родители князя пришли в ужас — они, разумеется, прочили сыну знатную и богатую русскую невесту.

Разразился семейный скандал. Мать Андрея Ивановича назвала его поступок «преступлением против воли отцовой и материной», и сын ответил большим письмом, где по пунктам опровергал родительские претензии (невеста-де бедная иностранка, к тому же «навлекшая насебя предосуждение»). Соглашаясь с тем, что Дженни небогата, Андрей Иванович с достоинством возражал: «Я нато имею честь вам *донести, что я никогда щастия своего неполагал в болшем* числе денег и богатстве, а в спокойной и приятной жизни, происходящей от взаимной любви, благонравия и благоразумия»*. Письмо написано сдержанно и почтительно, хотя заметно, что этот тон нелегко дался автору. В финале Андрей Иванович все же не выдержал и сорвался — крайне язвительно разъяснил родителям, что ему уже 33 года, что он «несовсем дурак» и давно живет «в самом болшом свете», так что в людях разбираться немного научился...

Реакция стариков, как и следовало ждать, была бурной. Отец сообщил сыну, что в случае свадьбы он может забыть дорогу в родительский дом. Скрепя сердце Андрей Иванович отправился в отцовское поместье Удино. Но все попытки воззвать к разуму и родительским чувствам старика оказались тщетными — отец вначале угрюмо молчал, а затем разразился угрозами и бранью.

Разлад в семье невыразимо терзал Андрея Ивановича. Он понимал, что родители любят его, по-своему желают добра... Но подчиниться им — значило лишить себя счастья, обре-

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 454. Л. 14.

тенного с таким трудом... Душевные муки в конце концов уложили князя в постель. И тут его сторону в споре неожиданно решительно взял в общем-то далекий человек — 60-летний Александр Алексеевич Вяземский, могущественный генерал-прокурор, которого Екатерина II звала за глаза «каменный князь». В этом случае он оказался далеко не каменным — написал И. А. Вяземскому укоризненное письмо с описанием нервных припадков, которыми страдал его сын: «Все сии припадки отношу я большею частью на то огорчение кое его всеминутно страдать заставляет любя вас и зная что вам сие неприятно... Неужели же вы хотите быть его убийцем?» Ивану Андреевичу оставалось лишь неуклюже оправдываться. Хотя он и не преминул в ответ пожаловаться на своенравного сына, от которого не дождешься никакой благодарности...

Все же история эта кончилась относительно мирно. Под давлением А. А. Вяземского, его жены и многочисленных знакомых родители благословили молодых; мать Андрея Ивановича написала невестке: «Я на вас никак не сердита и сердитца не могу потому что всякий человек ищет своево благополучия то конешно вы и сделали». По всей видимости, смерть М. С. Вяземской 24 мая 1786 года никак не была связана со свадьбой, состоявшейся двумя месяцами раньше. И хотя в литературе утвердилась «романтическая» версия событий — якобы мать князя скончалась, не пережив своеволия сына и разрыва с ним, еще раз повторимся — это не так, сразу же после свадьбы М. С. Вяземская сказала: «Сын мой женился, и я его прощаю».

Во многих источниках сказано, что чуть ли не в один день с супругой скончался (якобы тоже от переживаний) и отец Андрея Ивановича. На самом же деле он дожил до весьма преклонного возраста, вполне примирившись с сыном. Во всяком случае, в Остафьевском архиве сохранилась записка о состоянии здоровья И. А. Вяземского, написанная рукой его невестки и датированная 1790 годом. Почти одновременно отец и сын получили от Павла I чин действительного тайного советника — Андрей Иванович 28 октября 1798 года, а 76-летний к тому времени Иван Андреевич — 6 ноября.

Итак, странноватая на первый взгляд пара — русский князь-рюрикович и ирландка... Родители А. И. Вяземского почему-то были убеждены в том, что Дженни — не дворянка. Как бы удивились они, если бы могли заглянуть в родословную роспись нежеланной невесты сына — роспись эта была доведена до самого Адама!.. Дженни происходила из

очень знатного рода — одного из самых обширных ирландских кланов О'Рейлли (по-английски фамилия пишется O'Reilly, а по-ирландски — O'Raghailligh), выходцев из древнего графства Бреффни (Breffny, по-ирландски Breifne). Основатель этой фамилии Рэгхэллах, в 105-м колене потомок Адама, погиб в битве при Клонтарфе еще в 1014 году... Род славился своим богатством, и до сих пор в Ирландии есть поговорка: «Жить, как О'Рейлли». Древний герб (два золотых льва, темно-зеленый щит, рыцарский шлем, корона) сопровождался девизом «Fortitudine et prudential»*.

Дженни была родом из ветви, называвшейся О'Рейлли Хит Хауз (Heath House). Ее прапрадед Майлз О'Рейлли по прозвищу Слэшер («Рубака») был последним в роду, кто носил титул принца Бреффни; прадед, полковник Джон Рейлли, умерший в 1717 году, состоял на службе английского короля Якова II и командовал своим собственным полком «Драгуны Рейлли». Отца Дженни звали, как и пращура, Майлзом. Кроме дочери, в семье были еще сыновья Доуэлл, Джон-Александр и Мэттью.

Самым ярким представителем этой ветви рода был троюродный дядя Дженни — граф дон Алехандро О'Рейлли (1722 или 1725—1794), оставивший заметный след в истории Испании. С юных лет он состоял на службе в испанском флоте, добился расположения короля Карла III, служил на Кубе (одна из центральных улиц Гаваны до сих пор носит его имя — калье Орели), занимал пост губернатора Луизианы (нынешний американский штат тогда принадлежал Испании) и возглавлял неудачную военную экспедицию в Алжир, после которой получил чин генерал-фельдмаршала, был назначен генерал-капитаном Андалузии и губернатором Кадиса. Там во время своего европейского вояжа с ним свел знакомство князь Андрей Иванович Вяземский (запись «Mr. le comte Oreilly» есть в его путевом дневнике**). Имя Алехандро О'Рейлли упоминается в поэме Байрона «Дон Жуан». Таким образом, у русского поэта П. А. Вяземского неожиданно обнаруживается дальний родственник в Испании — человек яркой, авантюрной судьбы, какими славилось XVIII столетие.

Родной брат Дженни — и, следовательно, родной дядя Вяземского — Джон-Александр (1769—1832) тоже связал судьбу с Испанией. Он дослужился до полковничьего чина, воевал с армией революционной Франции в 1793—1794 го-

---

* Со стойкостью и расчетливостью (*лат.*).

** «Г-н граф Орейлли» *(фр.)*. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 64.

дах, а в старости получил известность как филантроп и автор воспоминаний.

Итак, князь Петр Андреевич — наполовину ирландец, к тому же с заметными предками и с явной семейной предрасположенностью к космополитизму. Сказалось ли это на складе его характера, на писаньях, на судьбе вообще? Или все-таки (см. эпиграф) — «маленькая Россия»?.. Конечно. Ведь в России найдешь при желании и ирландца, и шведа, и француза, да мало ли кого еще, и будут их жизни искриться русскими талантами, русской природой, стихами, безверием, верой, московским выговором, петербургским легкомыслием... «В самом уме моем есть какой-то русский сгиб и склад», — признавался Вяземский и был убежден, что «пойдет в потомство с российским гербом на лбу». Ирландские корни давали себя знать очень редко. Был, правда, в жизни князя Петра Андреевича момент, когда он всерьез собирался эмигрировать в Ирландию и даже просил друзей разыскать там его родню. Но, когда ему действительно выпал случай посетить Британские острова, Вяземский не предпринял ни малейшей попытки навестить родину своих предков, хотя такая возможность у него была. Увлечение Байроном и Вальтером Скоттом, перевод из Томаса Мура «Ирландская мелодия», позднее стихотворение «Введенские горы», не слишком старательные попытки овладеть английским языком... пожалуй что и все. Реже всего при исследовании биографии Вяземского вспоминаешь о том, что в нем половина ирландской крови. (Хотя — не ирландские ли в нем задиристость, ершистость, неуступчивость во взглядах? И нет ли здесь счастливого сочетания с аналогичными русскими черточками? Это уже вопрос к специалистам, изучающим национальные характеры обоих народов. Подсказку дал еще Джеймс Джойс: «Кельтский дух во многих отношениях сходен со славянским».)

Сразу после женитьбы Вяземские некоторое время жили в Петербурге. Там Андрей Иванович, помимо служебных должностей, занимал пост избранного мастера знаменитой в узком кругу масонской ложи «Молчаливость». Связи его с масонством были давними и прочными — еще в 1782 году Вяземский вошел в состав насквозь масонского Дружеского ученого общества при Московском университете; его коллегами по этому обществу были Н. И. Новиков, М. М. Херасков, И. П. Тургенев. Приятельские отношения связывали Вяземского с известными масонами С. И. Плещеевым и А. А. Ленивцевым. Во время своего заграничного странствия князь Андрей Иванович выполнял некоторые поручения

«братьев», в частности, в апреле 1782 года в Стокгольме изучал масонские рукописи в королевской библиотеке, а в июле присутствовал при работе Вильгельмсбадского конвента, объявившего Россию независимой масонской провинцией.

Все же видным деятелем русского масонства А. И. Вяземский так и не стал — главным образом из-за личных своих черт, «независимости и гордости», врожденного «омерзения от кривых дорог». Он был слишком умен, ироничен, трезвомыслящ, слишком сам по себе, чтобы подчиняться «тайной воле вожаков». И, кстати, история его отношений с масонством в точности повторилась в биографии Петра Андреевича: в 1818 году по молодости лет он вступил в какую-то варшавскую ложу, но побывал на ее заседании всего один раз. А после того, как ему отказали в приеме киевские «вольные каменщики» из ложи «Соединенные Славяне», Вяземский и вовсе перестал интересоваться масонством: если и упоминал о нем, то бегло и с явной иронией.

Но вернемся к судьбе князя Андрея Ивановича. Летом 1788-го он отправился на турецкий фронт, участвовал в осаде Очакова, а в мае 1789-го супруги Вяземские окончательно поселились в Москве. После рождения 21 июня 1789 года дочери Екатерины у пары появился дом в Малом Знаменском переулке, в приходе Святого Антипия Пергамского. Там-то и родился 12 июля 1792 года долгожданный сын Вяземских — Петр, в двадцать пятом колене потомок Рюрика. Отцу было тридцать восемь лет, матери — тридцать.

В честь рождения сына Андрей Иванович за 16 тысяч рублей продал родовое поместье Удино Дмитровского уезда, принадлежавшее Вяземским семьдесят лет, и уже 9 августа 1792 года приобрел у поручика Журавлева за 26 тысяч небольшое село Остафьево Подольского уезда, в 35 верстах от Москвы (сейчас от Южного Бутова, от Остафьевской улицы до имения всего лишь пять километров — столица подступила к Остафьеву вплотную).

Впервые поместье это упоминается в начале XVII века как пустошь сельца Никульского «Климово, Нечаево тож». Название «Остафьево» закрепилось за усадьбой в 1750-х годах, после присоединения Климова к соседней деревне Остафьево. Хозяева менялись часто. Первый усадебный дом в Остафьеве выстроил Козьма Матвеевич Матвеев — купец первой гильдии, выходец из крестьян Тульской губернии, основавший в деревне суконную фабрику и кирпичный завод. Его вдова Анна Григорьевна в 1778 году получила разрешение перенести в Остафьево храм; 1 июля 1782 года каменная церковь Живоначальной Троицы была освящена, и Остафь-

ево стало селом*. С названием еще долгое время происходила типичная старомосковская путаница — бытовали варианты «Резаново, Остафьево тож» и «Остафьево, Климово тож». Нередко писали (и даже сейчас иногда пишут) и «Астафьево», «село Астафьевское». Но П. А. Вяземский придерживался «окающего» варианта. «А зачем ты пишешь Астафьево? — укорял он внука в 1867 году. — Я всегда писал, да и Карамзин также Остафьево. Не уже-ли хочешь ты, чтобы мы происходили от какого-нибудь *Астафия*? Избави Боже!**»

Остафьево было не велико — в год покупки Вяземским в селе жили 152 человека. Согласно ревизской сказке, составленной 30 сентября 1811 года, — 159 человек. Крестьянские семьи носили простые русские фамилии — Ивановы, Петровы, Яковлевы, Никитины, Матвеевы, Алексеевы, Филиповы, Семеновы, Федоровы...

Получив Остафьево во владение, князь Андрей Иванович тут же взялся за перепланировку усадьбы согласно своему утонченному вкусу. Старые постройки, за исключением амбара, были снесены. Князь решил выстроить на месте ветхого матвеевского дома новый дворец, проект которого, согласно легенде, сам же и составил.

Современные специалисты по усадебной архитектуре считают эту легенду не более чем красивым вымыслом. А. Греч в 1925 году предположил, что руководил постройкой известный архитектор И. Е. Старов, ученик великого Кваренги. Но Старов с конца 1790-х отошел от архитектуры и вряд ли согласился бы выполнять частный заказ. Так что авторство Остафьевского дворца до сих пор остается невыясненным. Он строился в 1800—1807 годах — изящный, небольшой, с шестиколонным коринфским портиком и бельведером, с двумя флигелями, которые соединялись с домом открытыми колоннадами. В доме было сорок комнат, во флигелях — двадцать четыре.

Остафьеву неимоверно повезло — оно уцелело в огне революций, войн и мирных свершений, часто не уступающих войнам по разрушительности. Конечно, были в судьбе

---

* Автор проекта церкви неизвестен. Любопытно, что у остафьевского храма есть «брат-близнец» — храм Покрова Богородицы, построенный в 1811 году в имении Брянчаниновых, селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Своего рода уменьшенная копия есть и у остафьевского дворца — это усадебный дом в Валуеве, подмосковном поместье графа А. И. Мусина-Пушкина. Очень напоминает остафьевский дворец в подмосковной усадьбе князя В. М. Долгорукова-Крымского Волынщина-Полуэктово.

** РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед. хр. 4106. Л. 38—38 об.

усадьбы и горькие, трагические события, но все же в сравнении с Отрадой-Семеновским, Покровским-Рубцовом и в особенности Пущином-на-Наре, владением другой ветви Вяземских, Остафьево — прямо-таки воплощение благополучия. Там открыт музей, там сохранились и дворец, и пруд, и плотина, и парк, помнящий шаги Пушкина. Дом до наших дней дошел не совсем таким, каким он был при Вяземских. Еще в 1866 году разобрали ветхий бельведер на крыше, построили баню, новые теплицы, обнесли оградой храм, а основные изменения произошли уже в советское время, в 1950-е: были застеклены колоннады, к фасаду пристроена терраса с балюстрадой, полностью обновлена внутренняя планировка. Погиб остафьевский фруктовый сад, были снесены оранжереи, беседки в парке, мост и пристани на пруду. До 1990 года перед домом, на том месте, где когда-то располагался мраморный фонтан, высился бюст Ленина... Все эти «улучшения» сильно повредили дворцу, но, к счастью, затмить его прелесть все же не смогли. А в начале XXI века в усадьбе началась капитальная реконструкция, призванная вернуть дому изначальный облик.

Остафьево прекрасно всегда. И не скажешь сразу, чем именно — вроде бы ничего выдающегося нет в этом скромном желтом доме над прудом, в этом маленьком парке, в котором установлены памятники самым знаменитым гостям усадьбы и двум ее владельцам. Это не парадные, с размахом выстроенные и по роскоши тягавшиеся с резиденциями императоров Останкино, Кусково и Архангельское. Но все же есть в уголке обычной подмосковной природы что-то, заставляющее возвращаться сюда снова и снова, в разные времена года, по поводу и просто так. Лето — радостная зелень «круглого луга» перед дворцом, день Петра и Павла, всегда особо почитавшийся в Остафьеве; осень — лиственное золото под ногами на «русском Парнасе» и подернутый тончайшим октябрьским льдом пруд... Зима — издалека виден уютный дом, сияющий окнами, сугробы в парке, серебряные застывшие ветви лип. А весной кажется, что вот-вот на въездной аллее (она же плотина) покажется коляска, а в ней... Самый воздух здесь до такой степени напоен счастьем, ощущением Родины, так явственно помнятся и блистательные хозяева, и знаменитые гости, так мелькает за каждым поворотом пушкинская улыбка, что невозможно не согласиться: да, это воплощение Подмосковья, воплощение России, изящной, благородной, давней, почившей.

Впрочем, это сейчас Остафьево окутано таким роем ассоциаций и воспоминаний. А в дни князя Андрея Ивано-

ча усадьба дышала молодостью. Сюда он в летние месяцы привозил детей. Шестерня с двумя форейторами поворачивала направо, проезжала плотину, на которой недавно появились изящные кованые решетки и фонари, огибала цветник (на нем помещались солнечные часы и пушка, выстрелом отмечавшая полдень) и подкатывала к ступенькам усадебного дома. Не было еще регулярного парка — только тоненькие деревца и кусты да липовая аллея, оставшаяся от Матвеевых. Из-за этой аллеи, очень понравившейся Андрею Ивановичу, и было куплено Остафьево. По обе стороны аллеи садовники устраивали боскеты. Из окон дома видны были пруд и речка Любуча — их не закрывали, как сейчас, разросшиеся деревья. На том берегу церковь Троицы, окруженная березами — на них в изобилии темнели грачиные гнезда... Левее — крестьянские избы, выстроившиеся вдоль московской дороги, а за дорогой вплоть до соседнего села Резанова тянулись поля... В новеньком дворце шли отделочные работы. На первом этаже Андрей Иванович разместил парадные покои и свой кабинет, служивший также библиотекой. Всюду на стенах — гравированные портреты французских и английских писателей в одинаковых узких рамках, развешанные симметрично друг другу, писанные маслом портреты русских царей, в комнатах — бюсты Сократа, Сенеки, Мольера, Лафонтена, Вольтера. В центре дома изящный небольшой зал-ротонда для парадных приемов, обставленный немногочисленными креслами и диванами с дымчато-голубой обивкой. Из зала можно пройти в парк. На втором этаже — жилые комнаты. Под домом — большие подвалы и кухня с облицованными кафелем стенами.

Ковчег минувшего, где ясно
Дни детства мирного прошли
И волны жизни безопасно
Над головой моей текли;

Где я расцвел под отчей сенью
На охранительной груди,
Где тайно созревал к волненью,
Что мне грозило впереди;

Где искры мысли, искры чувства
Впервые вспыхнули во мне
И девы звучного искусства
Мне улыбнулись в тайном сне...

Это Вяземский в Остафьеве 1830 года.

Приветствую тебя, в минувшем молодея,
Давнишних дней приют, души моей Помпея!

Былого след везде глубоко впечатлен —
И на полях твоих, и на твердыне стен
Хранившего меня родительского дома.
Здесь и природа мне так памятно знакома.
Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я.
На что ни посмотрю — все быль, все жизнь моя.
Весь этот тесный мир, преданьями богатый,
Он мой, а я его...
....
Все те же мирные и свежие картины:
Деревья разрослись вдоль прудовой плотины,
Пред домом круглый луг, за домом темный сад,
Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд,
Немая летопись о безымянной битве;
Белеет над прудом пристанище молитве,
Дом Божий, всем скорбям странноприимный дом.
Там привлекают взор, далече и кругом,
В прозрачной синеве просторной панорамы,
Широкие поля, селенья, Божьи храмы,
Леса, как темный пар, поемные луга
И миловидные родные берега
Извилистой Десны, Любучи молчаливой,
Скользящей вдоль лугов струей своей ленивой.

Это Вяземский в Остафьеве 1857 года.

Едва окину я нетерпеливым взглядом
И церковь у пруда, и дом с тенистым садом,
И дальние холмы, и сизый мрак лесов,
И липу древнюю, ровесницу веков,
Которая от лет и громовых пробоин,
Как изувеченный во многих битвах воин
На старости своей красуется еще
В зеленом, бурями разодранном плаще,
Едва я подходил к сей милой мне картине,
А память жизнь придаст кладбищу и пустыне.

Это Вяземский в Бад-Киссингене 1863 года — но памятью в родной усадьбе...

Велик соблазн набросать лирическую картинку одинокой прогулки юного князя Петра Андреевича по берегам тихой Любучи, присовокупив к этому навеянные пейзажем образцы раннего творчества. Но увы и ах, первые воспоминания Вяземского об остафьевском парке совсем не лирические, а скорее жутковатые. Андрей Иванович воспитывал сына в строгости и приучал его ничего не бояться. С этой целью мальчика и оставляли одного в отдаленном уголке ночного парка, откуда он должен был самостоятельно (и, разумеется, без слез) выбраться. Учили плавать Петра такими же радикальными средствами — отец сам бросал сына в остафьевский пруд и уходил, даже не глядя, как тот выберется на берег... Впрочем, прогулки с любимым томиком тоже были, не

могли не быть, но скупой на воспоминания о себе Вяземский о них умалчивает.

Разумеется, его воспитание сводилось не только к ночным приключениям в остафьевском парке. Больше всего князь Андрей Иванович мечтал видеть сына разносторонне образованным и собранным человеком. С этой целью он старался приобщить наследника главным образом к точным наукам, но ничего путного из этого не получилось — к алгебре и физике мальчик выказывал стойкое равнодушие.

Вообще Петр скорее побаивался отца, нежели любил его. Тот иногда смеялся выходкам сына, но куда чаще смотрел на него с холодным неудовольствием, и это молчаливое неодобрение было тяжелее иного скандала. Случалось князю Андрею Ивановичу и лично сечь наследника розгами (например, за тайком присвоенный персик), но чаще наказания были более оригинальными. Однажды отец заметил за обедом, что сын съел чересчур много хлеба и выпил слишком много воды. Юный князь стал возражать — кое-что на столе еще оставалось. Андрей Иванович тут же приказал посадить сына на хлеб и воду на весь следующий день. К чести Вяземского, он вспоминал об этом без малейшей обиды на отца.

Материнской ласки Петр лишился еще в раннем детстве. Княгиня Евгения Ивановна (так в России называли Дженни) помнилась ему смутно. «Личные мои воспоминания о ней очень темны и неполны, — пишет Вяземский. — Но по слухам знаю я, что и она была любезная хозяйка и помогала отцу моему делать дом наш приятным и гостеприимным». Сына она обожала. Но 12 апреля 1802 года, на сороковом году жизни, Евгении Ивановны внезапно не стало. Похоронили ее за городом, на иноверческом кладбище на Введенских горах. Для князя Андрея Ивановича смерть ее стала тяжким ударом, от которого он так и не смог оправиться. А сын помянул мать в стихотворении «Введенские горы», написанном через шестьдесят семь лет после ее кончины...

Мне не чужда Зеленая Эрина,
Влечет и к ней сыновняя любовь:
В моей груди есть с кровью славянина
Ирландской дочери наследственная кровь.

От двух племен идет мое рожденье,
И в двух церквах с молитвою одной
Одна любовь, одно благословенье
Пред Господом одним сливались надо мной.

Не долго мать меня руководила,
И ласк ее вкушал я благодать:
Во цвете лет болезнь ее сразила,
И бессознательно оплакивал я мать.

Но детства дни промчались с быстротою,
И сердцем я тоскующим сказал:
Чего-то нет, кого-то нет со мною,
И образ матери в груди моей восстал.
....

Стал милый образ спутник сердцу зримой,
Он проливал мне в душу тихий свет,
Но грустно мне, что матери любимой
Стал нежным сыном я, когда ее уж нет...

Итак, «Зеленая Эрина» (Ирландия, Эйре, Зеленый Остров) все же «не чужда» — но это говорит 77-летний Вяземский... И удивляет, что мать стала для него «милым образом» только в глубокой старости, после многих утрат и бед. «Воспоминания о ней очень темны и неполны... И бессознательно оплакивал я мать...» Это в десять-то лет и это с прекрасной памятью князя?.. Но здесь Вяземский точен — он даже не помнил даты рождения и смерти матери, иначе не сделал бы специальную запись в дневнике, посетив ее могилу в 1857 году: «Она родилась в 1762 г., скончалась в 1802 г.» (а после посещения могилы в 1865-м отметил ее расположение: «Гробница на правой стороне от ворот за мостом»)... Точно такая же картина со старшими сестрами, в замужестве Щербатовой и Карамзиной: Петр Андреевич относился к ним вполне доброжелательно, но глубокое родственное тепло в этом чувстве явно не присутствовало. Он рано привык быть один и не стремился к семейной поддержке. А нерастраченные в детстве чувства потом щедро выплеснулись на многочисленных друзей, к которым Вяземский был подчас гораздо нежнее, чем к родственникам. Похоже было, кстати, и у Пушкина.

После смерти Евгении Ивановны у Вяземских особенно часто бывал Николай Михайлович Карамзин. Андрей Иванович подружился с ним еще в начале 1790-х, когда 25-летний Карамзин вернулся из заграничного странствия. Им было что обсудить меж собою. Оба вели в дороге записки, причем путевой дневник Андрея Ивановича, опубликованный в 1881 году, интересен не менее карамзинских «Писем русского путешественника». Но если Андрей Иванович застал последние годы дореволюционной Европы, то Карамзин видел уже Париж без Бастилии... Андрею Ивановичу не могла не нравиться уверенная, спокойная независимость Карамзина, сочетавшаяся с внешней мягкостью и общежи-

тельностью. Именно Карамзину доверил он свои грандиозные философские замыслы, в нем нашел умного собеседника и сочувственника... Теперь от былых времен оставались разве что вечерние споры у камелька, а Карамзин из талантливого юноши как-то неприметно стал признанным лидером русской словесности и был на вершине нешумной славы: литературная молодежь почитала его своим кумиром, а издаваемый им журнал «Вестник Европы» зачитывался до дыр. Но сам Карамзин все чаще говаривал Андрею Ивановичу о том, что его влечет к себе русская история. «Видно, пришла пора отречься мне от мирских битв и постричься в историки», — добавлял он с грустной улыбкой.

1802 год тоже был для Карамзина тяжелым: как и Андрей Иванович, он потерял горячо любимую жену. С бледным лицом, обнаженной головой прошагал Карамзин пятнадцать верст от подмосковного Свирлова, где умерла супруга, до Донского монастыря, рядом с траурной колесницей, положив руку на дорогой сердцу гроб... Горе сблизило друзей. Карамзин находил в себе силы жить, писать, издавать журнал, не клясть судьбу — за это и любил его старший Вяземский... В эти дни он часто виделся еще с Юрием Александровичем Нелединским-Мелецким, очень милым и любезным человеком, поэтом и старым другом по армии. Петр Андреевич вспоминал, что однажды отец сказал ему: «Послушай, если уже тебе суждено быть повесой, то будь им по крайней мере как Нелединский...» Но первые его впечатления от Нелединского были скорее гастрономического характера: мальчика изумляли и восхищали добрый аппетит гостя и тот почет, который оказывался ему за столом.

Во время же, не отмеченное печалью, двери дома в Малом Знаменском переулке были широко распахнуты не только для самых близких друзей хозяина, но и для всех москвичей, разумеется, родовитых. И их общество было для Вяземского куда полезнее, чем холодные отцовские нотации и нестройные уроки многочисленных наемных немцев и французов. Андрей Иванович принимал гостей по вечерам, с девяти часов. Странные это были приемы — в две небольшие комнаты, Диванную и Зеленую, набивалось от пяти до пятидесяти человек, и начинался общий разговор за чаем. Потом карты. Если народу было слишком много, молодежь отправлялась в нежилые покои, где начинались танцы под скромный и нестройный аккомпанемент скрипки и флейты. Хозяин неизменно сидел у камина с книгой в зеленом сафьяновом кресле, улыбаясь вновь входящим. И ведь ничего особенного на первый взгляд не предлагалось гостям — ни

изысканного угощения (кормили, по воспоминаниям гурманов, просто плохо), ни модных petits jeux*... Зато было другое. Здесь обсуждались перемены, задумываемые правительством, и тактика Буонапарте (Андрей Иванович был поклонником первого консула, в спальне его даже висел большой портрет Наполеона, вытканный из лионского шелка), остряки пробовали новые каламбуры, поэты — новые стихи. Обстановка была самая непринужденная. Позднее Петр Андреевич писал, что отцовский дом «был едва ли не последним в Москве домом, устроенным на этот лад. Едва ли не был он последним и в мире европейского общежития». Под *этим ладом*, под миром европейского общежития подразумевалась та атмосфера утонченной, светской, свободной интеллектуальности, которая была сметена во Франции революцией 1789 года, а в Москве — пожаром 1812-го.

Вяземский очень рано начал тосковать по безмятежным временам своего детства, по допожарной Москве и отцовскому салону. Уже в 29-летнем возрасте он посвятил этой Москве взволнованный пассаж в статье о И. И. Дмитриеве: «Москва была тогда истинною столицею русской литературы и удовольствий общежития образованного; памятники блестящего двора Екатерины доживали свой век в тихой пристани и придавали московскому обществу какую-то историческую физиогномию». Но Отечественная война, пожар города, пишет Вяземский дальше, «еще разительно означаются в отношении к нравственному опустошению. Цветущий возраст московского общества миновал». Послепожарная Москва, по мнению Вяземского, стала уже совершенно другой, безвозвратно лишилась только ей присущей духовной ауры... Хотя князь любил родной город на протяжении всей жизни и лучшие его стихи о Москве были написаны в старости, в 60-х годах, все же «истинной», идеальной Москвой остался для него совсем небольшой, по нынешним меркам, — всего 275 тысяч населения — город, поглощенный огнем в сентябре 1812-го.

Слава Богу, что Вяземскому не суждено было узнать о судьбе его родного дома в жестоком XX веке. Вскоре после революции в старинной усадьбе разместится УЛИСО — Управление личного состава флота, где будет командовать ценительница изящного с наганом за поясом — обаятельная и жестокая Лариса Рейснер. В 1926 году Малый Знаменский переулок будет переименован в улицу Маркса и Энгельса, а в 1933—1936 годах Музей Маркса и Энгельса будет разме-

---

* Салонных игр (*фр.*).

щаться в комнатах бывшего дома Вяземских. В мае 1962 года этот музей будет открыт там уже повторно... И все-таки судьба оказалась к старинной усадьбе милостива — пусть в перестроенном виде, она уцелела и некоторое время служила резиденцией Российскому Дворянскому собранию. В 2002 году здание было передано Музею имени Пушкина.

Правда, к этому времени оно выглядело далеко не так презентабельно, как при советской власти. Во времена Музея Маркса и Энгельса усадьба, естественно, содержалась в образцовом порядке. А XXI век она встретила в ужасающем состоянии. Серое, с безобразно обвалившейся штукатуркой на фасаде, с лепными серпами и молотами, с остатками запущенного сада, с крохотной невзрачной табличкой «Памятник архитектуры. Охраняется государством» и амбарным замком на дверях, родовое гнездо Вяземского спустя 210 лет после его рождения выглядело — особенно в сравнении с соседним Музеем Рерихов — убого и жалко. Увы.

...Андрей Иванович разрешал сыну присутствовать при беседах взрослых. Иногда, если гостей было не очень много, в одиннадцатом часу оставляли его и ужинать за общим столом. Беседой чаще всего владел хозяин дома — блестящий спорщик «по вопросам метафизическим и политическим». Нанизав себе на пальцы несколько соленых крендельков, которые подавались к водке, Андрей Иванович с легкой улыбкой выслушивал возражения собеседников и тут же наносил искусный ответный выпад... Петр внимательно прислушивался к table-talks*, «многого из разговоров не понимал... иное понимал криво», но все же изредка вставлял свое слово, которое всегда принималось со всей серьезностью и даже могло послужить темой новой беседы. От гостей отца мальчик впервые услышал прекрасную, сочную русскую речь и множество любопытных историй времен Екатерины II. В Москве тогда доживали некогда могущественные государственные деятели, отставные вельможи, много повидавшие на своем веку. У Андрея Ивановича бывали подлинные аристократы по духу и крови. Многочисленный клан Оболенских — десять двоюродных братьев и сестер Андрея Ивановича породнились с Гагариными, Стакельбергами, Мельгуновыми, Мусиными-Пушкиными, Щербатовыми, Дохтуровыми**...

* Застольным беседам (*англ.*).

** Еще раз эти ветви Вяземских и Оболенских породнились в июне 1921 года, когда правнук Вяземского граф Павел Сергеевич Шереметев женился на княжне Прасковье Васильевне Оболенской. Невеста доводилась жениху пятиюродной теткой, а предок у них общий — князь Андрей Федорович Вяземский.

Прекрасно образованный граф Дмитрий Петрович Бутурлин, обладатель великолепного книжного собрания, впоследствии директор Императорского Эрмитажа, умерший во Флоренции и давший начало итальянской ветви Бутурлиных, — в чине тайного советника и действительного камергера он не имел ни одного ордена, что было поистине удивительно. Сдержанный, суровый лицом граф Александр Романович Воронцов, обладатель редчайшего чина действительного тайного советника I класса, а с сентября 1802 года канцлер, переписывавшийся с Вольтером, человек, некогда позволявший себе в глаза критиковать Екатерину Великую. Князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, посланник в Дрездене и Турине, командор ордена Святого Иоанна Иерусалимского и автор скандально известной оперы «Олинька, или Первоначальная любовь»... Граф Аркадий Иванович Морков, граф Никита Петрович Панин, Федор Иванович Киселев, Павел Никитич Каверин, Петр Васильевич Мятлев, князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский... Все эти люди занимали немалые должности, но ни чванство, ни спесь не были им присущи. Они легко шутили над своими заслугами, подчеркивая независимость от кого бы то ни было. Разговор то сворачивал на изящную словесность — и Белосельский, мечтательно полуприкрыв глаза, наизусть декламировал Мольера, — то обретал игривый характер, — и всех тогда забивал присяжный остряк Каверин, — а то и касался «времен очаковских и покоренья Крыма», и уж тогда хозяин дома, Морков и Киселев вспоминали осаду Очакова (Моркова с Киселевым наградили тогда Георгием IV степени)...

Все эти люди в париках, с умными усталыми глазами и полной бурных событий жизнью, были поклонниками французских энциклопедистов — якобинский террор и гибель Великой революции не оттолкнули их от просветительских идей, они твердо веровали в прогресс и знали, что все зло на Земле — от недостатка просвещения... Они с едким сарказмом отзывались о «гатчинской партии», бароне Аракчееве и графе Кутайсове, и в то же время глубоко чтили императора (Андрей Иванович даже заболел от горя, когда узнал о смерти Павла I). Московский высший свет сразу можно отличить от петербургского — он судит события при дворе без тени раболепия, не боясь мгновенного государева гнева... Это была русская аристократия — благородная, преданная Отечеству и вместе с тем знающая себе цену. Жизнь царю, честь — никому.

Сибариты, одинаково хорошо умевшие размышлять над

страницами Вольтера и Монтескье и умирать за Отечество, великие деятели Екатерининского века, размах его, его литература, его пышный блеск всегда глубоко волновали Вяземского. И юношей, и глубоким стариком пристально вглядывался он в историю XVIII столетия, любуясь ею и дивясь одновременно. Всегда шагая со своим веком наравне, а кое в чем и опережая его, Вяземский тем не менее в основе своей всегда оставался, по слову Чаадаева, «русским отпечатком XVIII столетия». Это проявлялось в характере, привычках, пристрастиях. Всю жизнь князь любил цитировать классиков минувшего столетия, не упускал случая расспросить о былом видного государственного деятеля или пожилую даму, коллекционировал автографы знаменитостей прошлого... А в минуту откровенности размечтался однажды о том, как хорошо было бы ему родиться на шестьдесят лет раньше — то есть пожелал себе 1732 год рождения, юность при Елизавете, зрелость при Екатерине, старость при Павле и Александре... Среди отцовских гостей таких стариков уже не водилось: в гостиной родительского дома бывали в основном ровесники Андрея Ивановича, поколение 1750-х, которому в начале века едва перевалило за пятьдесят. Но по меркам той эпохи это уже была старость.

В 1874 году в очерке об Александре Тургеневе сформулирует Вяземский «признаки людей, воспитавшихся в школе истинно высшего и избранного общества» — ум, образованность, благородство, честная независимость, вежливость («не только в смысле учтивости, а более в смысле благовоспитания, одним словом — цивилизации понятий, воззрений, правил обхождения»). Этим правилам он будет следовать всю жизнь. Так складывался его характер — странное сочетание веселости («я веселый, люблю удовольствия», — простодушно характеризует он себя в 15 лет) и скрытности, нежелания никого пускать внутрь себя; одинокого привязчивого сердца — и ранней душевной зрелости, независимости (Андрею Ивановичу она казалась испорченностью); безупречной «цивилизованной» вежливости — и полной раскованности в дружеском и семейном кругу; склонности к «легким жанрам» в поэзии и в жизни — и тревожного, рефлексирующего ума... Из атмосферы отцовского дома вынес он «какое-то благоуханье, какую-то внутреннюю теплоту, которая после образовала некоторые из моих свойств, сочувствий и наклонностей».

Впрочем, не стоит это признание понимать превратно. Хвалить себя наш герой был склонен менее всего на свете. Скорее наоборот. Охотно говорил Вяземский о том, что с

ним в жизни приключилось все плохое, что только может приключиться с человеком. Что к колыбели его явилась толпа добрых фей, вслед за которыми пожаловала кривобокая старая ведьма, сделавшая его «навсегда во всем и везде дилетантом»... Хотя в иные минуты этим недостатком Вяземский явно гордился. «Будем довольствоваться и тем, что он был dilettante по службе, науке и литературе. Подобные личности худо оцениваются педантами и строгими нравоучителями, а между тем прелесть общества, прелесть общежительности и условий, на них основанных, держится ими» — это было сказано об Александре Тургеневе, но в равной степени может быть отнесено к самому Вяземскому.

Много позже в литературе возникнет удобное клише: Вяземский — человек умственный и холодноватый, непременно язвительный и ироничный, ради красного словца не жалевший родного отца. На первый взгляд это подтверждается многочисленными свидетельствами. Иным и не мог быть человек, взращенный на холодном дыхании конца вольтерьянского XVIII столетия... Очень показателен, например, спор между Вяземским и Александром Тургеневым по поводу картины Кипренского «Ангел».

«Новая картина изображает ангела; в руках его гвозди, коими прибит Спаситель был ко кресту, — пишет другу Тургенев. — Ангел прижимает гвозди к сердцу и заливается слезами. Выражение прелестно!»

«Мне не нравится мысль Кипренского, — холодно отвечает Вяземский. — Во-первых, ангел не может понять телесной боли и, следственно, держа гвозди, нечего ему сострадать Христу, а к тому же страдания Спасителя для нас, а не для ангелов спасительны были, и тут также дела нет ему до гвоздей. А еще вопрос, может ли ангел плакать? Плакать — нам, грешникам, а им только что смеяться. Отлагая всякое богохульство в сторону, я думаю, что искусствам пора бросить истощенное и искони неблагодарное поле библейское».

Тут перед нами в полный рост ratio* двадцатисемилетнего Вяземского. Он нисколько не умиляется сюжетом картины и сухо подвергает его умственному анализу, который может быть принят даже (и был принят Тургеневым) за душевную глухоту, неспособность к тонким переживаниям и ощущениям.

Спору нет, ум, рассудочность и душевный холод в князе Петре Андреевиче преобладали, особенно в молодости. Но почему-то за этой маской никто не мог увидеть в Вяземском

* Рассудок (*лат.*).

человека тончайшей, чувствительнейшей души, который может в полную силу наслаждаться шедеврами живописи или музыки, задумчиво бродить по парку, увязывая в душе себя с самим собою, упоенно творить и плакать над стихами... Не Жуковский, не Пушкин, а именно «неспособный к тонким переживаниям» Вяземский рано начал страдать нервным расстройством и приступами ипохондрии (нечего и говорить, что толстокожие люди такими болезнями не маются). И мог ли сухой, черствый рационалист так вспоминать прощание с женой и детьми: «Мне никогда так тяжело не было прощаться с вами, как в этот раз... Я даже более Машеньки (дочери. — *В. Б.*) плакал»?.. Мог ли холодный мизантроп с трудом сдерживать слезы над томом Баратынского?.. Мужа внучки Вяземского графа С. Д. Шереметева поразила реакция старого князя на прочитанные стихи: «Я видел, как пальцы заходили у Петра Андреевича. И он протирал свои очки, низко наклонив голову...»

Очень редко в письмах и дневниках проскальзывают намеки на эту сторону его бытия: Вяземский тщательно оберегал ее от посторонних глаз. «Во мне *я* занимает более места, нежели в ком-нибудь, — замечал он. — Мой внутренний мир так чувствителен, чуток, похотлив, раздражителен, что внешний мир со всем могуществом своих впечатлений не всегда может пересилить его». И в другом месте: «Много из жизни моей пошло и на внутренние, созерцательные и мечтательные думы. Много прожил я жизнью одинокою, жизнью про себя».

В записных книжках Вяземского сохранилась очень яркая автохарактеристика, сделанная уже в зрелые годы: «NN может казаться гордым, но он не горд, а скорее не всегда и не со всех сторон общедоступен. У него на лбу не написано: *очень рад познакомиться с вами*, подобно вывеске на гостинице... Он не бегает навстречу к каждому с распростертыми объятиями. Объятия его не гибки; они редко настежь растворяются... Если покажется ему, что кто-нибудь заискивает его и обращается к нему приветливым лицом, он готов на двадцать шагов предупредить его, но если кто как будто сторонится и ожидает от него заявления и задатка, он на пятьдесят шагов отступает. И тогда дело кончено: никакому сближению во веки веков не бывать. Он в людях вообще держится поодаль, не в наступательном, а в оборонительном положении. Тут есть, быть может, доля гордости, но есть и доля смирения. Он не ставит себя выше других, но в нем развилось ревнивое чувство охранения своего достоинства... Это достоинство для него сокровище... Между тем, по какому-то разноречию в натуре его, он в одно время и необщедоступен, и общежителен...

NN — такая личность, которую почти все знают... Он человек улицы, толпы, всякого сборища. Но ни он толпою не поглощается, ни толпа не отражается в нем. Кто-то из приятелей его сказал, что он одна из плошек, которые зажигаются на улицах по праздничным дням. Но вообще ничего нет праздничного в нем. Он существо самое будничное.

Когда он и в среде своей, между равными, он все смотрит каким-то посторонним: и они как будто не признают его своим, и он как будто не признает их своими... В этом и сила, и слабость его. Но он на эту слабость не жалуется: скорее он ею утешается и ею дорожит. Вот здесь, может статься, и гнездится червяк гордости... Еще одна черта: несмотря на свое *особничество*, NN бывал в приятельских связях своих мало разборчив. Бывали приятелями ему нередко люди очень посредственные, дюжинные, даже, в некоторых отношениях, не безупречные, пожалуй, частью, и предосудительные. В этом отношении натура его была снослива. Одно натура его не могла вынести: соприкосновение с натурами низкопробными, низкопоклонными, низкодушными».

...По-разному возникает в душе будущего поэта предчувствие своего призвания, Судьбы своей. Какие-то авторские и литературные «зародыши» в Вяземском были заложены изначально. Удовольствие доставляло ему чтение по складам. По средам и субботам он с жадностью бросался просматривать свежие номера «Московских ведомостей» — искал стихов, которые там изредка печатались. С благоговением и любопытством читал объявления о продаже новых переводных романов. Слушал рассказы гостей дома — почти все они владели пером, во всяком случае, эпиграмму или мадригал сочинить могли без труда. И, конечно, не упускал возможности унести в свои комнаты очередной том с отцовских полок... Библиотека Андрея Ивановича находилась в полном его распоряжении. Ни один русский писатель в детстве не был окружен таким книжным богатством, как Вяземский. Андрей Иванович умел ценить не только философию с алгеброй, но и изящную словесность, «не полагал, что все поэты скоморохи» и был усердным посетителем московских книжных лавок Рица и Курделя. В стихотворении «Библиотека» (1817) Вяземский перечисляет своих любимых авторов, чьи тома занимали его внимание в детстве, — Вергилий, Марциал, Проперций, Тибулл, Андре Шенье, Руссо, Шиллер... Но первое место в этом списке безусловно принадлежало Вольтеру.

Писатель-Бриарей! Колдун! Протей-писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель,
В руке твоей перо — сраженья острый меч.

Но, пылкий, не всегда умел его беречь
Для битвы праведной, и сам страстям покорный,
Враг фанатизма, был фанатик ты упорный.
Другим оставя труд костер твой воздвигать,
Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать;
Вослед тебе идти от важных истин к шуткам
И смело пламенеть враждою к предрассудкам.
Как смертный, ты блуждал, как гений, ты парил,
И в области ума светилом новым был.

Впрочем, с годами Вяземский пересмотрит раннюю свою оценку Вольтера. Посетив в 1859-м вольтеровский Ферней, он напишет стихотворение, в котором предъявит великому насмешнику XVIII столетия суровое и справедливое обвинение в том, что тот не умел возлюбить Творца в его творениях...

Русская словесность в отцовской библиотеке была представлена Ломоносовым, Сумароковым, Херасковым и Державиным. Читал Петр с упоением — читал все подряд, и учителя его свидетельствовали, что он «казался совершенно тупым и будто отсутствующим при преподавании их; но если когда-нибудь, в уроке или в книге, приводились стихи», лицо мальчика буквально сияло... Отрывки из трагедий Расина и Вольтера, которые давали ему учить наизусть, были для него не уроками, а прежде всего наслаждением. О вольтеровской «Альзире» он вспоминал: «Помню, слышу и теперь умиленный и возвышенный голос мой, произносящий эти стихи... Вероятно, худо и понимал я красоту этих стихов! Но чутким детским чувством бессознательно угадывал ее»*.

От страниц французских трагедий, от гравированных портретов Корнеля и Кребийона, от звучных сумароковских рифм, от серьезного, даже строгого вида Карамзина поднималось в душе Вяземского неосязаемое, но властное желание попробовать *свое* перо... Первые опыты, конечно, были французскими, и начал девятилетний Петр с драматургии — написал трагедию в стихах «Elmire et Phanor», которую посвятил матери. Три действия уместились на одиннадцати страничках. Затем последовали рассказ «Олеандр (моей юной сестре)» и надписи к собственному миниатюрному портрету и портрету сестры работы Ксавье де Местра, которые были подарены на новый 1805 год Андрею Ивановичу. В ноябре этого же года появились стихи на смерть адмирала Нельсона... «Нечего и говорить, что все это было более или менее безграмотно», — пишет Вяземский, не пожелавший даже

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 955а. Л. 5.

вспомнить свои детские опыты. Впрочем, довольно быстро он начал пробовать силы и в русском стихосложении. Например, Сумарокову посвятил четверостишие:

Воспой, о Муза, песнь высоку
И в струны лиры ударяй,
Воспой врагов ты суматоху
И славу россов возглашай.

«Я очень дорожил словом *суматоха*, — вспоминал Вяземский. — Мне казалось, что тут есть какой-то отзыв своевольной и, так сказать, фамильярной поэзии Сумарокова... а может быть, и просто увлекала меня некоторая аналогия в звуках: Сумароков, суматоха».

В январе 1804 года в семью Вяземских на правах родственника вошел человек, которому суждено было стать для юного князя главным литературным наставником. Карамзин женился на Екатерине Андреевне Колывановой — внебрачной дочери Андрея Ивановича (ее мать — графиня Елизавета Карловна Сиверс). Она была одной из первых красавиц Москвы, но и одной из самых старых невест — шел ей уже двадцать четвертый. Сразу же после венчания супруги уехали в Остафьево, где три дня праздновалась свадьба. Съехалось множество гостей, гремела музыка... Не забыли и остафьевских крестьян: мужикам подарили рубахи, бабам — платки и сарафаны, всех одаривали орехами и пряниками... Дав друг другу клятву никогда не расставаться, молодые поселились в остафьевском дворце. В жизни Карамзина начинался новый период — уединенный труд над «Историей государства Российского». «Скажу вам, что тружусь усердно, — писал он брату. — Может быть, Бог и наградит меня успехом. Пишу теперь вступление... Этот первый шаг всего труднее мне, надобно много читать и соображать; а там опишу нравы, правление и религию Славян, после чего начну обрабатывать Русские летописи... Он (князь Андрей Иванович. — *В. Б.*), слава Богу! теперь выздоровел, и мы живем в его подмосковной, которая очень хороша».

Детям — Петру и старшей сестре его Кате — новый родственник сначала не нравился. Они всей душой сочувствовали майору Струкову, несчастливому сопернику Карамзина в сватовстве — может быть потому, что Струков, приезжая в гости, всегда одаривал детей конфетами, а Карамзин не обращал на них никакого внимания. Когда свадьба была уже решена, брат с сестрой потерянно бродили по коридорам дома и изливали печаль в стихах от имени Струкова:

Мучительно плениться,
Быть страстным одному!
Насильно полюбиться
Не можно никому...

Надежды луч бледнеет
Теперь в душе моей...
Уже другой владеет
Навек рукой твоей!

Автором этих стихов был Карамзин, но юные его противники не смущались этим обстоятельством. Впрочем, очень скоро между младшими Вяземскими и Николаем Михайловичем установились мир и дружба. Карамзина нельзя было не полюбить — столько было в этом человеке доброты и мудрости... В знак примирения Карамзин подарил Вяземскому его первые часы, которыми мальчик долго щеголял перед ровесниками.

Именно Карамзин, видя, что домашнее образование Петра затянулось, посоветовал определить его в петербургский иезуитский Благородный пансион. Андрею Ивановичу идея эта понравилась. Согласно рекламе ученье в коллегиуме было рассчитано на шесть лет. Год обучения стоил огромных денег — тысячу рублей (в Московском университетском пансионе, например, — 275). В преддверии отъезда, 21 июля 1805 года, будучи в Остафьеве, старый князь вызвал к себе сына. Вяземский нашел отца на террасе, выдающейся в сад; перед ним был стол с бумагой, чернильницей и перьями. Сурово и в то же время грустно князь приказал сыну сесть и писать под диктовку. Диктовал он по-французски. «В импровизации своей — он мастер был говорить и большой диалектик — изложил он картину моего воспитания, не отвечающего желаниям его; беспощадно вычислял все недостатки и погрешности мои», — вспоминал Вяземский 70 лет спустя. «Обвинительный акт» звучал строго: «Вы не лишены ни ума, ни известного развития, но ветреность вашего характера делает то, что вы отвлекаетесь всем, что вас окружает... Леность вашего ума, эта вторая причина вашего невежества, заставляет вас скучать и испытывать отвращение к изучаемым вами предметам... Пустота и бессодержательность вашего времяпрепровождения после классов — третья причина вашего невежества: или вы повсюду слоняетесь, как дурачок, или вы занимаетесь такими пустяками, как пускание змея, или другими детскими игрушками. Даже если вы и берете книгу, то это лишь от скуки и от нечего делать. Старые газеты или серьезное сочинение — это для вас безразлично, вы читаете все, что первым попадается под руки».

Князь упомянул дочерей, которые утешают и радуют его старость, тогда как сын... Тут монолог отца прервался; на глазах его заблестели слезы. Он отпустил сына, приказав ему переписать два с половиной листа диктанта набело.

Сказать откровенно, Вяземского эта сцена не растрогала. Приговор, произнесенный над ним, показался ему чересчур суровым. Кроме того, он не без оснований полагал, что тогдашний его учитель, француз Дандилли, вовсе не отвечал требованиям звания своего. Так или иначе, в августе 1805 года Андрей Иванович, «несмотря на лета свои, немощи и особенно домоседные привычки», сам отвез Петра в Петербург. В преддверии экзаменов остановились в доме доброго приятеля Вяземского, Ивана Борисовича Пестеля. Первым проводником Петра по Северной столице стал 12-летний сын Пестеля Павел, которому через двадцать лет суждена смертная казнь за участие в противоправительственном заговоре... Вяземский будет потрясен этой казнью.

Пансионские годы, 1805-й и 1806-й, стали для Вяземского тем же, чем были для Пушкина лицейские годы (и, кстати, они могли стать однокашниками — родители Пушкина сперва планировали отдать сына именно в этот пансион). Иезуиты открыли свой коллегиум в январе 1803 года. Для него архитектор Руска выстроил на углу Екатерининского канала и Итальянской улицы трехэтажный дом с шестиколонным портиком (он сохранился и поныне). Учебный год начался 1 сентября. Вяземский почти каждую неделю писал отцу почтительные отчеты о своем житье-бытье, а ректор пансиона патер Чиж отсылал в Москву дневники и классные работы юного князя. Надо полагать, что «bien, cher et respectable Papa»* несколько переменил свое невысокое мнение о способностях сына — учился Петр не то чтобы блестяще, но совсем недурно.

После легкого вступительного экзамена Вяземского определили в средний класс, но очень скоро он свел дружбу и со старшими учениками, которым было тогда по 16—19 лет. Многие из них запомнились ему на всю жизнь — будущий скульптор Иосиф Юшков, богач и карточный игрок Василий Энгельгардт... С Дмитрием Севериным, которого в пансионе звали «котенком», князь затем встретился в обществе «Арзамас» и поддерживал теплые отношения до самой смерти Северина в 1865 году. Но все же самым близким челове-

---

* Добрый, дорогой и уважаемый Папа *(фр.)*. РГАЛИ. Ф. 195. Оп.1. Ед. хр. 492. Л. 6 об.

ком в коллегиуме для Вяземского стал красивый, стройный юноша, влюбленный в поэзию Оссиана и в кавалергардский мундир, — Никита Смирнов. Его, по воспоминаниям князя, отличали «любезный нрав, радушная откровенность, чистая и возвышенная душа, целомудрие и какое-то нравственное благоухание». К несчастью, эта дружба оказалась недолгой: после возвращения Вяземского в Москву он некоторое время переписывался с Никитой, а в июле 1810-го узнал, что 19-летний корнет-кавалергард Смирнов погиб во время осады Рущука.

Преподавание в пансионе велось на французском и латинском языках. Учили языкам (кроме французского и латыни русский и немецкий), логике, риторике, истории, алгебре, верховой езде, фехтованию, танцам, игре на скрипке. Однокашникам Вяземский запомнился как большой проказник. В пансионе он начал собирать собственную библиотеку — с разрешения отца покупал Лафонтена, Расина, Корнеля, Вольтера, Руссо, Флориана, Баттё, книги по истории и философии. Из русских поэтов среди пансионеров успехом пользовались Державин, Карамзин и Дмитриев. Именно в пансионе, в ноябре 1805-го, сочинил Вяземский французское четверостишие на смерть адмирала Нельсона. А летом 1806-го появился изящный альбомный мадригал, пять строф, посвященных кузине, Агриппине Нелединской-Мелецкой.

Вообще обстановка в иезуитском коллегиуме была, судя по всему, доброжелательной и творческой. Особенно Вяземский подчеркивал то, что никаких попыток перетянуть учеников в католичество преподаватели не делали. Никогда никто не пробовал внушить пансионерам, что католическая церковь душеспасительнее и выше православной. «Иезуиты, начиная от ректора патера Чижа, — пишет Вяземский, — были — по крайней мере, в мое время — просвещенные, внимательные и добросовестные наставники. Уровень преподавания их был возвышен... Обращение наставников с воспитанниками было не излишне строгое: более родительское, семейное». В костел пансионеров не водили, по воскресным и праздничным дням они бывали в православном храме; Великим постом говели как следует. «Допускалась некоторая свобода мнений и речи, — продолжает Вяземский. — Однажды кто-то сказал во время класса, что из всех иезуитов любит он наиболее Грессета. Известно, что этот французский поэт принадлежал иезуитскому ордену и вышел из него. Шутка остряка была и принята шуткою. Меня товарищи также вызывали на подобные выходки. «Вязем-

ский, отпусти bon mot»*, — говаривали мне». Mots отпускались, и совсем неплохие; с годами репутация крепла, в 27 лет печатно назовут его остроумнейшим русским писателем, и уже спустя век с лишним, в 1950-м, начиная работу над комментарием к «Евгению Онегину», язвительный Набоков, которому мало кто из русских классиков умел угодить, без тени сомнения скажет о Вяземском: «Виртуоз слова, тонкий стилист-прозаик, блистательный мемуарист, критик и остряк-рослов»... В устах виртуоза слова и тонкого стилиста-прозаика Набокова — высочайшая похвала.

Сейчас острословие Вяземского далеко не всегда кажется таким уж блестящим. Нередко оно чересчур изысканно, нередко — пусто, нередко — холодно-цинично. Вот, например, реакция 27-летнего Вяземского на смерть министра внутренних дел О. П. Козодавлева. В газете «Северная почта», издававшейся при личном участии министра, «часто и много толковали о кунжутном масле». «Правда ли, что Козодавлева соборовали кунжутным маслом?» — спрашивал князь у Тургенева — и искренне недоумевал, когда друг возмутился бестактной шуткой. Более того, Вяземский очень гордился этой остротой и считал ее чрезвычайно удачной... Чего здесь больше — душевного холода, любви к черному юмору или нежелания признаться в своей неправоте?

Впрочем, черный (по нынешним понятиям) юмор частенько практиковался Вяземским без всякой задней мысли. Более того, иногда он был даже, так сказать, добродушно-черным. Например, однажды Вяземский и Батюшков зашли в гости к Жуковскому, но не застали друга дома. Тогда визитеры купили детский гробик и оставили его в прихожей Жуковского вместо визитки — как намек на «мертвецкие» сюжеты его баллад... Странноватая шутка, не правда ли? А между тем за ней — ровно ничего, кроме молодого озорства и нежной привязанности к другу. Жуковский, кстати, шутку вполне оценил...

Легко заметить и другие непонятные нам, а то и просто невыигрышные стороны юмора Вяземского — любовь к каламбуру ради самого каламбура, склонность повторять одну и ту же остроту много раз. Например, строка Ломоносова «Заря багряною рукою...» веселила Вяземского и в 20 лет, и в 60: о том, что эта *багряная рука* напоминает ему прачку, зимой полощущую белье в проруби, он говорил и в письмах, и в записных книжках, и даже в стихах. Вообще поиски всевозможных поэтических ляпов, похоже, были одним из лю-

* Острое словцо (*фр.*).

бимых развлечений князя. Он даже пушкинским «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» был недоволен: как же *нерукотворный*, если стихи Пушкин писал *рукою*?.. Сейчас такие придирки выглядят, конечно, анекдотично.

В конце июля 1806 года Вяземский сдал экзамены за первый год обучения. Но еще в июне отец решил перевести юного князя из коллегиума в другое учебное заведение — только что открывшуюся гимназию при Педагогическом институте, находившуюся под патронажем старого приятеля Андрея Ивановича, Н. Н. Новосильцева. Лето 1806 года Вяземский провел в Москве, а в сентябре начал посещать занятия уже по новому петербургскому адресу — «в Новом переулке, в улице Мещанской»*. Но в гимназии он задержался ненадолго. «Не хочу и не могу сказать ничего худого о моем там пребывании, — вспоминал князь, — но не могу сказать и ничего особенно хорошего. Учебный и умственный уровень заведения был вообще ниже иезуитского как по преподавателям, так и в отношении к ученикам». Вяземскому запомнились только учитель французского языка Брошье, по заданию которого князь перевел на французский стихотворение Карамзина «Деревня», да какой-то студент Бобриков, познакомивший Вяземского с творчеством Эвариста Парни. Ученики в гимназии пользовались большой свободой, и Вяземский пристрастился к театру, где позволял себе освистывать актеров, которые ему не нравились. Кончилось дело тем, что его заметила из своей ложи знакомая Андрея Ивановича графиня Апраксина, написала старому князю о поведении сына, и в январе 1807-го Петра отозвали в Москву... Петербургский год промелькнул как сон, но он многое дал Вяземскому: домой он вернулся не мальчиком, но молодым человеком, повидавшим свет, независимым в суждениях, настроенным скептически и несколько легкомысленно... Князь Андрей Иванович, впрочем, проявил педагогический такт, встретил сына ласково и ничем не стал его попрекать.

Домашний врач Вяземских, Франц Францевич Керестури по совместительству был председателем Общества соревнования медицинских и физических наук при Московском университете. По его совету князь Андрей Иванович временно поселил сына в доме зятя Керестури, университетского профессора Федора Федоровича Рейсса, и пригласил виднейших ученых для занятий с сыном. Такое раннее приобщение к «взрослым» наукам удивлять не должно — напри-

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 492. Л. 50.

мер, с января 1806 года в университете учился Грибоедов, а он был моложе Вяземского на три года. Знаменитый Иоганн Буле читал 14-летнему князю естественное право, Филипп Рейнхардт — нравственную философию, Христиан Шлёцер — политическую экономию, сам Рейсс — химию... Но Вяземский уже твердо знал, что естественные науки ему в жизни не пригодятся. Лекции немцев-профессоров он снисходительно терпел, но куда больше времени отводил на чувствительные прогулки по Воробьевым горам и диалоги с «трудолюбивыми поселянами» в духе князя Шаликова... К этому времени относится и первая известная нам эпиграмма Вяземского — в ней высмеивался 28-летний литератор и филолог Алексей Федорович Мерзляков, который должен был читать юному князю теорию поэзии. Немалые научные заслуги Мерзлякова и его широкая известность в литературных кругах молодого насмешника не остановили. Эпиграмма станет самым живучим жанром поэзии Вяземского: последнюю в своей жизни эпиграмму (на Ивана Аксакова) он напишет спустя семьдесят один год...

20 февраля 1807 года он набрасывает по-французски «Mon portrait phisique et moral»* — литературный автопортрет или, вернее, зарисовку, в которой явственно видно желание, пусть и замаскированное шутливостью, познать себя и свое назначение в жизни. «У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос... Как бы в вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица мой рот, щеки и уши очень велики. Что касается до остального тела, то я — ни Эзоп, ни Аполлон Бельведерский!.. У меня чувствительное сердце, и я благодарю за это Всевышнего! Потому что, мне кажется, лишь благодаря ему я совершенно счастлив... У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным... Я очень люблю изучение некоторых предметов, в особенности поэзии. Я не стараюсь отгадать, подлинное ли я дитя муз или только выкидыш, — как бы то ни было, я сочиняю стихи... Я не глуп — но мой ум часто очень забавен. Иногда я хочу сойти за философа, но лишь подумаю, что эта философия не увеличит моего счастья, скорее наоборот, — я посылаю ее к черту».

Растет гора исписанных черновиков на его столе. Он читает русские стихи — Карамзина, Дмитриева, князя Шаликова. И пишет свои — русские и французские. Все это было пока не очень серьезно. Но что значит — заниматься поэзией всерьез? И разве всерьез писали свои стихи любимые

---

* «Мой физический и нравственный портрет» (*фр.*).

им легкомысленные французы? Профессии такой — поэт — не существовало. Профессионально, то есть *за деньги*, литературой занимались бедные, незнатные люди, вот как Мерзляков. А подлинная поэзия — это не профессия, а призвание... Ею нельзя торговать. Ей можно предаваться, как корабль предается морю... Да и как не предаваться ей, когда в отцовском доме все дышит стихами, творчеством... За стеной работает Карамзин. Некогда приятный собеседник, светский человек, Николай Михайлович с головой ушел в свой труд и совершенно разучился говорить о чем-либо, кроме древности. «История» двигалась понемногу вперед. Зимой и осенью Карамзин трудился в Москве, а на лето уезжал в Остафьево. Каждый день, «во всякое время года и во всякую погоду», до трех часов пополудни сидел Карамзин над летописями в своем остафьевском кабинете на втором этаже. Когда много лет спустя историк Михаил Погодин спросил у Вяземского, как был оборудован этот кабинет, князь коротко ответил: «Никак». Это была правда — обстановку проще трудно себе представить. Беленые стены, горы книг на полу, стол, сколоченный из сосновых досок, пюпитр, на котором Николай Михайлович разворачивал древние свитки... Нередко во время его работы сидела в комнате за шитьем жена Карамзина, играли дети, а сам Вяземский в углу шелестел страницами Шиллера или Шекспира. И сейчас эта комната в Остафьеве называется Карамзинской.

Распорядок дня Николая Михайловича, его размеренный быт запомнились Вяземскому навсегда: «Карамзин был очень воздержан в еде и питии... Он вставал довольно рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом... Возвратясь, выпивал он две чашки кофе, за ними выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища насущная и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал он рис с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива... Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеные яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиеническою целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда».

Вторую половину дня Карамзин тратил на чтение, прогулки, беседы с друзьями. Находил время поговорить и с Петром. Вяземский чувствовал, что этот человек будет для

него кем-то особенным... может быть, станет даже важнее отца. Отец чувствует себя все хуже, часто кашляет, хотя и старается это скрыть. Он стал приветливее и ласковее с сыном, но почти не сетует на его рассеяние, не интересуется стихами... Совсем иное дело Карамзин. Ему хотелось подражать, хотелось быть таким же, как он, — независимым, спокойным, посвятившим себя семье и труду... Нельзя сказать, что Карамзин целенаправленно воспитывал своего юного родственника. Но самая жизнь рядом с Карамзиным была для Вяземского лучшим воспитанием.

— Вы пишете стихи; это хорошо, — говорил ему Николай Михайлович. — Но берегитесь: путь сочинителя труден. Нет ничего жальче и смешнее худого писачки и рифмоплета...

Уроки Карамзина запомнились Вяземскому на всю жизнь и отразились в письме костромской поэтессе А. И. Готовцевой, написанном в декабре 1829 года. Собственно, это не частное письмо, а краткое изложение творческого кредо Вяземского. В наставлениях, которые князь дает начинающей писательнице, явственно слышен карамзинский голос: «Пишите более и передавайте стихам своим как можно вернее и полнее впечатления, чувства и мысли свои. Пишите о том, что у вас в глазах, на уме и на сердце. Не пишите стихов на общие задачи. Это дело поэтов-ремесленников. Пускай написанное вами будет разрешением собственных, сокровенных задач. Тогда стихи ваши будут иметь жизнь, образ, теплоту, свежесть». Тень Карамзина прямо-таки витает над этим небольшим эссе Вяземского — он советует поэтессе чаще читать «Академический словарь» («этот способ был мне присоветован Карамзиным»), упражняться в переводах, используя изданный Карамзиным «Пантеон иностранных авторов», переводить уже переведенные Карамзиным тексты и потом сверять свой вариант с работой мастера... Нет сомнения, что сам Вяземский в юности прошел через все перечисленные им экзерсисы.

Если его сходство с отцом, Андреем Ивановичем, можно проследить только на, так сказать, генетическом уровне, то уроки Карамзина юный князь воспринимал уже вполне сознательно — и во многом взял его судьбу за образец своей собственной. Именно пример Карамзина (и Жуковского) поможет Вяземскому прожить достойную, исполненную благородства жизнь. Как и Карамзин, Вяземский попробует себя во множестве литературных жанров — в поэзии, прозе, переводе, историческом труде. Он тоже будет издавать один из популярнейших журналов своего времени и тоже напишет «коронационную» оду (Карамзин — Александру I, Вя-

земский — Александру II). Как и Карамзин, в юности князь будет шокировать московское общество эксцентричными нарядами, а в старости прослывет другом и советчиком императора. Наконец, скрытые «цитаты» из жизни Карамзина рассыпаны по биографии Вяземского более чем щедро. Это и ранняя отставка, и заграничное путешествие 1838—1839 годов — его маршрут почти в точности повторяет маршрут карамзинского странствия конца 1780-х, а в Париже князь, конечно же, садится за письма — свои «письма русского путешественника»... С этой карамзинской книгой он не расставался и в поздних поездках своих по Европе. Да и в сущих мелочах Вяземский иногда вольно или невольно копировал учителя. Например, проезжая в 1820 году Ригу, князь Петр Андреевич крепко зажмуривается — якобы из-за раздражения и утомленности плохой дорогой... На самом же деле это точная поведенческая цитата из Карамзина, тридцать лет тому следовавшего тем же маршрутом: «Бедную Лифляндию он (Карамзин. — *В. Б.*) третирует до последней степени, — сообщал знакомый «русского путешественника». — Ее надо проехать, говорит он, зажмурив глаза»... Фраза Учителя запоминается Вяземским — и в нужный момент «приводится в действие».

Нередко к Карамзину приезжали гости. Являлся довольно известный поэт Василий Львович Пушкин, забавный, маленький, с брюшком, но, невзирая на смешную внешность, любезный, добрый и образованный. Он был воинствующим поклонником Карамзина и яростным защитником его от нападок. А чаще всех появлялся важный, холодноватый Иван Иванович Дмитриев — старинный друг и земляк Карамзина, дальний его родственник и «брат по Аполлону». Дружили они настолько, что Дмитриев, услыхав про поэтическую книгу Карамзина «Мои безделки», вскоре выпустил «И мои безделки». Перед Дмитриевым Вяземский тоже благоговел — он считался самым знаменитым русским баснописцем, очень ценились также его сатиры, а песня «Стонет сизый голубочек...» стала народной... Где-то в глубине души Вяземский признавался себе, что остроумные, суховатые и умелые стихи Дмитриева нравятся ему даже больше меланхоличных безрифменных песен Карамзина... Дмитриев охотно откликался на восторги юного князя, оживлялся лицом, рассказывал массу любопытного. Холодность его во многом была напускная. Когда Вяземский с Дмитриевым начали переписку, Иван Иванович даже пенял князю за излишнюю церемонность его посланий и призывал быть попроще. Сразу, в отличие от Карамзина, одобрил он и поэтические тру-

ды Вяземского, читал его с удовольствием и всегда хвалил, часто даже перехваливая.

Они гуляли по парку втроем — Карамзин, Дмитриев, Вяземский. Юный князь немного отставал от друзей, уважая их возраст и желание поболтать по душам. Он смотрел на смеющихся поэтов, на полукруглое окно Карамзинской комнаты... Здесь творилась История.

20 апреля 1807 года в возрасте пятидесяти трех лет умер князь Андрей Иванович. Накануне он в присутствии друзей, князя Я. И. Лобанова-Ростовского и Н. С. Мордвинова, продиктовал завещание. «В твердой также надежде на дружбу и снисходительность Николая Михайловича Карамзина, — говорилось в последнем, 6-м пункте, — и что он в полной мере уважит, сим изъявлением моей к нему доверенности, основанной на достоверной известности о его просвещении, честности и благонравии, передаю ему драгоценнейшее для сердца моего право вместо меня пещись о воспитании сына моего, руководствовать к приобретению нужных для него познаний и до совершенного возраста его быть ему во всех случаях наставником и путеводителем. Заклинаю при том сына моего родительскою моею властию, чтоб он ему был столькоже послушен, как бы и мне самому»*. В незавершенном стихотворении «Деревня» Вяземский так вспоминал об этом:

Родитель, на одре болезни роковой
Тебе вверял меня хладеющей рукой
И мыслью отдыхал в страданиях недуга,
Что сын его найдет в тебе отца и друга.
О, как исполнил ты сей дружества завет!
Ты юности моей взлелеял сирый цвет!
О, мой второй отец! Любовью, делом, словом
Ты мне был отческим примером и покровом...

В завещании Петру были отписаны большие поместья — знаменитое своим ювелирным промыслом село Красное-на-Волге Кинешемского уезда Костромской губернии (907 крепостных душ), Матово Веневского уезда Тульской губернии (105 душ), Житнево Бронницкого уезда Московской губернии (8 душ), Остафьево (162 души) с домом и суконной фабрикой и московский дом в Малом Знаменском переулке. Екатерина Вяземская унаследовала большое тверское село Спасское (1204 души), а Екатерина Карамзина — восемь ни-

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 385. Л. 6.

жегородских деревень с 800 крепостными душами. Опекунами над поместьями назначались князь А. П. Оболенский и Ю. А. Нелединский-Мелецкий.

Похороны в Новодевичьем монастыре. Андрей Иванович нашел последний приют недалеко от величественного пятиглавого Смоленского собора и недавно отстроенной после пожара темно-красной церкви Успения. Все друзья собрались проводить его в последний путь. Во время отпевания Нелединский стоял у гроба и «смотрел с любовью на то, что оставалось пред ним от товарища и друга, с необычайною ласкою руку уже остывшую и онемевшую жал в руке своей как руку еще живую, которая могла бы нежным сочувствием отвечать на вызов дружбы и скорби».

Осиротел особняк у Колымажного двора. Но Петр Андреевич сумел поддержать его славу одного из гостеприимнейших домов Москвы. Наконец-то долгожданная свобода! И никто не станет досаждать упреками... Теперь у Вяземского собиралась молодежь, до утра шумели дружеские застолья. Обладатель большого состояния и серой четверни, поэтического таланта и редкой любезности, молодой хозяин быстро приобрел репутацию остроумца, светского льва, легкого на подъем человека.

Кстати сказать, Вяземский стал звездой московской светской жизни не только в глазах своих ровесников. Его, теперь уже юношу, рады были видеть и друзья его отца — Нелединский, Ростопчин, — и прежде ему незнакомые, такие же, как он, хлебосолы, жившие открытым домом: Неёлов, Башилов, Федор Иванов... Да и Карамзин не раз оставлял работу над «Историей» ради позднего чая и партии бостона у своего воспитанника... Согласимся, что влюбить в себя светскую Москву всех возрастов, так склонную к сплетням и злословию, — задача нелегкая. Вяземский справился с такой задачей играючи, а это значит, что покойный князь Андрей Иванович явно преувеличивал душевные недостатки своего отпрыска.

«Он мог бы пострадать: как ни зубаст он был, его бы заели; но он был молод, богатый жених и чрезвычайно влюбчив, — вспоминал Филипп Вигель, автор знаменитых «Записок». — И женщины — матери и дочери, охотно видя в нем будущего зятя, любовника или мужа, стояли за него горой... И не одни еще: он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угащивал и с которою делил ее буйные забавы. Да не подумают, однако же, что этот остряк, весельчак был с кем бы либо дерзок в обращении; он всегда умел уважать пол и лета. Баловень родных, друзей и прекрасного

пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости он никогда не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ. Он служил доказательством, что остроумие совсем не плод дурного сердца, а скорее живого, веселого нрава».

«Богатым женихом», впрочем, Петр Андреевич был недолго — по неопытности позволил он вовлечь себя в карточную игру и в короткий срок «прокипятил», по его выражению, около полумиллиона. Пришлось, как ни грустно, устраиваться на службу, а там и продавать отцовский дом. По протекции Карамзина 5 ноября 1807 года князь поступил юнкером в Межевую канцелярию, дававшую вполне приличный доход. Приходилось иной раз и завернуть в Кремль, в здание Сената... 27 апреля 1808-го следует чин титулярного советника, 22 марта 1811-го — придворное звание камер-юнкера, выхлопотанное Дмитриевым по просьбе Карамзина. Но что из молодого Вяземского за чиновник?.. Пусть те, кому не жалко юности, корпят за канцелярским столом! А у него есть поэзия, Остафьево, друзья... Только раз ему не удается отвертеться от крупной служебной поездки: в сентябре 1809-го — марте 1810 года он отправляется с инспекцией по Пермской, Казанской, Нижегородской и Владимирской губерниям. Но и этот вояж умеет Вяземский превратить почти в развлечение. Верным паладином в странствии был друг его Алексей Перовский. (Удивительна все же способность Вяземского находить себе друзей! Вот и этот ранний его приятель станет потом писать под псевдонимом Антоний Погорельский, и Пушкин восхитится его «Лафертовской Маковницей». А кто из нас в детстве не зачитывался его «Черной курицей, или Подземными жителями»?..)

К концу 1809 года относится первое сильное сердечное увлечение юного князя — во время довольно долгого пребывания в Перми 17-летний Вяземский влюбился в дочь местного губернатора Модераха Софью Карловну Певцову, «необыкновенной красоты и очень образованную и любезную женщину». Юношу не смутила ни разница в возрасте — Певцова была на двадцать лет старше, — ни то, что мужем красавицы был заслуженный генерал, командир Екатеринбургского пехотного полка... Едучи с Певцовой в санях во время ревизии какого-то медноплавильного завода, юный влюбленный сымпровизировал восторженные стихи в честь дамы сердца, а затем, во время танца на губернаторском балу, призвал ее немедленно расстаться с генералом и бежать вместе в Москву. Но повторения романтической истории князя Андрея Ивановича и Дженни Кин не получилось.

«Comment pouvez-vous croire que j'aille me compromettre pour un enfant?*» — холодно отвечала Певцова. Этот ответ так поразил Вяземского, что он разрыдался прямо на балу... Но, несмотря на нанесенную обиду, пермская красавица все же сильно задела его сердце. Уже выехав из Перми, князь так затосковал по Певцовой, что тут же выдумал себе какую-то боль в глазах и испросил дозволения возвратиться в город. Стоило ему вернуться, как на другой день у него началось вовсе не выдуманное воспаление глаз, так что он вынужден был три недели просидеть в темной комнате — и, разумеется, без всяких надежд на свидание со своим кумиром... Еще в мае 1810 года страсть его к Певцовой не утихла — князь написал ей пылкое послание на пяти страницах. Но, поразмыслив, не решился отправить.

Словом, меньше всего во время этой ревизии в Вяземском можно было заподозрить прилежного чиновника. Но как-то так вышло, что его начальник Обресков нашел подчиненного крайне усердным в службе и представил его ни много ни мало к ордену Святой Анны!.. Креста Вяземскому, правда, не дали, но императорское благоволение он получил — 29 июня 1810-го, как подарок на свои именины.

Настоящая жизнь Вяземского — в Москве и Остафьеве. Он живет теперь почти на окраине, на Новой Басманной, в доме Мордвинова, вместе с Карамзиными. И занят далеко не только бдениями за ломберным столом и дружескими попойками. Много читает и пишет. Правда, Карамзину опыты свои не показывает («Я тогда утаивал от него стихи свои... так сильно напугал он меня своею холодностью и часто повторяемым приговором, что нет никого более жалкого и смешнее посредственного стихотворца»). Да и как понять — рифмоплет ты или настоящий поэт?.. Конечно, если есть вкус к изящному, разницу почувствуешь сразу... Вот стихи Василия Жуковского — без сомнения — стихи настоящие. И он не просто поэт, а поэт замечательный. О нем высоко отзывались и Карамзин, и Дмитриев... Жуковскому было двадцать пять лет, он уже был широко известен и с января 1808 года вел основанный Карамзиным журнал «Вестник Европы», который Вяземский читал взахлеб. Там публиковались многие славные стихотворцы, в их числе, конечно, и сам издатель — его светлые, прекрасные элегии твердили наизусть все ценители русской словесности... Жуковского в дом Вяземских ввел Карамзин еще в начале 1807 года, но что-то

* *Как вы можете думать, что я скомпрометирую себя из-за ребенка?* (*фр.*).

помешало юному князю сразу выказать новому знакомому свою приязнь. И вот наконец, оставив чопорность и преодолев некоторую скованность (все-таки адресат старше на девять лет!), он запросто зовет Жуковского в гости:

«село Остафьево, 27 июня 1808 г.

Очень, очень благодарен за приятное, прозаико-стихотворное письмо Ваше, любезнейший Василий Андреевич... Я Вас стану другой раз ждать к нам в деревню... в которой я всегда бываю весел, ибо веселость есть главная черта моего характера... Сделайте милость, недолго отлагайте Ваш приезд к нам».

И вот Жуковский в Остафьеве. На именины князя — 29 июня — он не успел. Вяземский показал гостю плотину, парк, колоннады... Оба присматривались друг к другу. Жуковского позабавило то, что Вяземский в свои 15 лет держится непринужденно и светски, говорит баском и чересчур часто шутит. А князь смотрел на гостя с восхищением: Жуковский ему показался очень взрослым, спокойным и при этом ласковым, добродушным. В его лице было что-то восточное; в Жуковском — половина турецкой крови. Отец — русский барин, мать — иностранка... Как это знакомо!

Потом они обедали в ротонде, разговорились о любимых драматургах. Жуковский спрашивал, кого из русских поэтов Вяземский предпочитает. Выяснилось, что вкусы их совпадают почти во всем. Оба благоговели перед Карамзиным, глубоко уважали Дмитриева. В последнее время Вяземский начал усиленно читать Шиллера, Гёте и Бюргера, которыми восхищался Жуковский...

Вечером распрощались. Жуковский внимательно взглянул на высокого юношу в очках, даже в подмосковной усадьбе, вдали от света одетого по последней моде. Подал ему руку:

— Мы будем друзьями... Это так же верно, как то, что со временем вы предпочтете Кребийону Расина.

Оба рассмеялись. И смех Жуковского — высокий, простодушный, почти детский — тоже полюбился Вяземскому. Он понял, что встретил уже второго — после Карамзина — *редкого человека...*

Не было в русской литературе — а может быть, и во всей мирской русской жизни — человека более добродетельного, чем Жуковский. Это вовсе не означает, что он был схимником или чурался веселья. Но этому человеку был свойствен неустанный душевный труд, активное стремление к добру во всех его проявлениях. Он словно распространял лучи своего света на окружавших его людей... Вяземского это могло сме-

шить, иногда даже раздражать: как это *земной* человек может быть настолько *небесным*... Но глубокая любовь, уважение, а во второй половине жизни — и преклонение перед старшим другом были безусловно сильнее. Жуковский дал Вяземскому много, очень много. И неслучайно первым опубликованным стихотворением князя Петра Андреевича стало именно «Послание к Жуковскому в деревню».

Сам Жуковский напечатал его (предварительно сильно выправив) в октябре 1808 года, в 19-м номере «Вестника Европы», немного запоздавшем из-за болезни издателя. Вяземский жадно стал разрезать маленькую книжку журнала... Нетерпеливо листал синеватые шершавые страницы... мелькали статьи «О предрассудках», «Некоторые известия о Восточной Индии...», «Возрождение Германии»... И вот 178-я страница. Вверху — небольшое «Подражание Катуллу» Василия Пушкина. А ниже... сердце Вяземского забилось сильнее...

Итак, мой милой друг, оставя скучный свет
И в поле уклонясь от шума и сует,
В деревне ты живешь, спокойный друг природы,
Среди кудрявых рощ, под сению свободы!
И жизнь твоя течет, как светлый ручеек,
Бегущий по лугам, как легкий ветерок,
Играющий в полях с душистыми цветами
Или в тени древес пастушки с волосами...

Послание горациански веселое, беспечное и мажорное по настроению — так и виден широко улыбающийся юный Вяземский, для которого жизнь пока полна радостей, который счастлив новой дружбой, рад за Жуковского, отдыхающего в деревне «с своею милою» (и «милая», и «деревня» были чистой выдумкой — Жуковский с осени 1807 года безвыездно жил в Москве, а есть у него «милая» или нет, князь вовсе не знал)... Разумеется, Жуковский убрал из заголовка свою фамилию — стихотворение было названо «Послание к ...... в деревню». В журнале оно заняло три с половиной страницы. Подпись — К. П. В......ий (князь Петр Вяземский)... Из всех стихов, опубликованных в этом номере, послание 16-летнего Вяземского — самое сильное. Правда, его начало напоминает карамзинское «Послание к Плещееву» («Мой друг! вступая в шумный свет...»), а строка «Ни злато, ни чины ко счастью не ведут» — цитата из «Филемона и Бавкиды» Лафонтена в переводе Дмитриева. Да и правку Жуковского нельзя сбрасывать со счетов. Но даже при всем при этом дебют Вяземского в печати выглядел очень достойно.

Вяземский стал приезжать к Жуковскому — тот снимал

квартиру на Тверской, во флигеле университетского Благородного пансиона. Три комнатки были загромождены книгами... Пусть и казалось Вяземскому сперва, что старший Жуковский «непременно хочет учить» его жизни, пусть виделась ему иногда в его поведении «какая-то смешная гордость», очень скоро он понял: за опекой нового друга таятся только любовь и доброта. Бережно и тактично вводил Жуковский князя в мир Большой Литературы. Советовал ему заниматься самообразованием — каждый день читать несколько часов, и не что попало, а с разбором... При том, что сам Жуковский в творчестве своем тяготел к созерцательной мечтательности, он полностью одобрил склонность Вяземского к сатирическим жанрам. В «Вестнике Европы» он будто нарочно для юного друга напечатал статью, где писал, что цель сатиры — «предохранение... души неиспорченной, или исцеление такой, которая, введена будучи в обман силою примера... сохранила свойственное ей расположение к добру». Сатира тоже должна *образовывать человека.* И Жуковский видит в Вяземском преемника стареющего Дмитриева — самого знаменитого русского сатирика тех лет.

Очень скоро, уже через три номера после первого послания, в «Вестнике Европы» появились первая эпиграмма Вяземского — «На стихи к солнцу» и стихотворение «К Нисе». Вскоре следует и прозаический дебют: традиционный для тех лет жанр «Безделки» (название, конечно, не без намека на карамзинскую книгу)... В течение 1808—1811 годов «Вестник Европы» опубликовал четыре стихотворения и девять эпиграмм Вяземского. Стихи достаточно вторичные — князь Петр Андреевич прилежно следует в них за Державиным и Дмитриевым, но с технической точки зрения по-прежнему вполне уверенные. Впрочем, период ученичества Вяземский прошел достаточно быстро, года за два. Уже в 1809-м, в незаконченном стихотворении, он излагает свое кредо:

Поэт, чтоб быть велик, не должен подражать.
Нет! Подражание есть гению препона!
Пусть будет творческим талантом он блистать,
Пусть новым он путем вершину Геликона
Достигнет. К славе нам дорога не одна...

А вот эпиграммы сразу, с первых же публикаций стали «фирменным блюдом» Вяземского. Частью они были оригинальными, частью переводными — сюжеты князь заимствовал у Гишара, Лафонтена, Руссо и Вольтера. Некоторые эпиграммы были нравоописательными — то есть просто вышучивали какие-нибудь пороки в образе некоего условного

Памфила или Альцеста. Но некоторые били и по вполне конкретным лицам — литературным староверам, противникам вкуса и нового, «карамзинского» слога в языке (а их было довольно, особенно в Петербурге). В своих эпиграммах Вяземский как никто другой умел «убить» своего адресата одной строкой или даже эпитетом. При этом у него нет эпиграмм грубых, оскорбительных, пошлых. Они нередко ядовиты, но главное — всегда смешны. Вот, например, строфа из «Ноэля» Вяземского, посвященная адмиралу Чичагову, упустившему во время березинской переправы самого Наполеона:

Вдруг слышен шум у входа:
Березинский герой
Кричит толпе народа:
«Раздвиньтесь предо мной!»
«Пропустимте его, — вдруг каждый повторяет, —
Держать его грешно бы нам,
Мы знаем: он других и сам
Охотно пропускает!»

Довольно зло. Но прежде всего — весело, непринужденно и элегантно. Ирония Вяземского подана так, что можно воспринимать ее по-разному — и как легкий «укол», напоминание о том, что Ювеналов бич в руке сатирика всегда наготове, и как глубоко спрятанный едкий сарказм, и даже, если угодно, как обвинительный «глас народа».

Именно эпиграммы очень быстро, буквально за пять лет, создали Вяземскому репутацию «остроумнейшего русского писателя», присяжного сатирика, «министра полиции» (Воейков) русской поэзии. Эта репутация закрепилась за ним на несколько десятилетий. «Будь мне наставником в насмешливой науке...» — просил Вяземского Пушкин в 1821 году, и это значило, что авторитет князя как «язвительного поэта, остряка замысловатого» для него непререкаем... А тогда, в самом начале поэтического пути, юный Вяземский наслаждался быстрым успехом. «Вестник Европы», популярнейший русский журнал, раскупался нарасхват, а незатейливые псевдонимы, выставленные под стихами, никого не могли ввести в заблуждение. «В Москве явилось маленькое чудо, — вспоминал Вигель. — Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед защитником Карамзина от неприятелей и грозою пачкунов... Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа... А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку — рука прочь, кого за голову — голова прочь».

Он вбегает в русскую поэзию быстро, стремительно (у кого еще такой веселый дебют? разве у Пушкина) и сразу кидается в омут литературной войны, еще плохо соображая, кто прав в ней, кто виноват, но нутром чувствуя, что будущее за его друзьями, за теми, кто запросто гостит в Остафьеве. Русская поэзия для него — не поприще, которое нужно завоевывать, терпеливо создавая себе репутацию. Это почти домашнее дело, которое он получил в наследство. И естественно, что он бросается на защиту любимого Карамзина, когда какие-то слепцы пытаются объявить его влияние на литературу вредным. «Домашняя кампания» Вяземского оказалась еще и прогрессивной литературной схваткой, а его частное дело, частные дружбы незаметно для него самого стали историей русской поэзии, ее Золотым веком. Семьей, домашним кружком, братством друзей и единомышленников будет видеться ему русская литература и в дальнейшем. Именно поэтому Вяземский всегда очень болезненно реагировал на попытки «чужаков» примкнуть к этому кружку и уж тем более на попытки ревизии его столпов — Карамзина, Жуковского и Пушкина.

Он живет быстро и весело, «на ветер». С Жуковским окончательно сдружила осень 1809 года. Перед отъездом в ревизию Вяземский успел застать гастроли в Москве знаменитой французской актрисы мадемуазель Жорж, игравшей в «Федре» Расина и «Семирамиде» Вольтера, и они с Жуковским несколько раз побывали на этих великолепных спектаклях, заработав среди театралов репутацию «французолюбцев». Тогда же друзья вместе работали над составлением большой антологии русской поэзии — извлекали на свет Божий древние журналы и альманахи, перечитывали забытых стихотворцев прошлого столетия... С выбором Жуковского Вяземский не вполне согласен — и проявляет нрав, пишет статью «Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков», где предлагает альтернативный вариант антологии... И появляется новый друг — Александр Иванович Тургенев. Их познакомил Жуковский, учившийся с Александром в Благородном пансионе.

Александр был вторым сыном ректора Московского университета Ивана Петровича Тургенева. Его старший брат Андрей, умерший двадцати двух лет в 1803 году, писал яркие и сильные стихи и со временем, несомненно, вырос бы в очень большого поэта. Младшие братья Тургеневы, Николай и Сергей, позднее тоже появятся в жизни Вяземского... С Александром они быстро сошлись. Тургенев был склонен к ранней полноте, легкомыслен, подвижен, хло-

потлив, любил поесть, поболтать и поповесничать, а иногда и вздремнуть в самом неподходящем для этого месте (например, на балу или за обедом). Но он любезен и любознателен, у него очень доброе сердце. Он умел ценить стихи, хотя сам не был поэтом... И тоже почти не чувствовалась разница в восемь лет между ним и Вяземским... «Мой Сашка», «милая моя Шушка», «мой дорогой и всегда добрый друг» — так обращался Вяземский к Тургеневу в письмах... Через Карамзина князь свел знакомство с еще двумя молодыми людьми, близкими и Жуковскому, и Тургеневу, — медлительным и степенным Дмитрием Дашковым и резким, остроумным Дмитрием Блудовым. Перед Карамзиным они преклонялись, сами не были чужды писательства... Знакомство с Блудовым состоялось в Москве, с Дашковым — в Остафьеве. Так постепенно складывался дружеский круг, в середине 10-х годов ставший авангардом русской культуры.

Начало 1810 года выдается для Петра Андреевича совсем невеселым. Вернувшись в начале марта из приволжских губерний, он узнал о безвременной смерти сестры, двадцатилетней Екатерины Андреевны... Она, лишь недавно вышедшая замуж за красавца, героя Прёйсиш-Эйлау и Данцига генерал-майора князя Алексея Григорьевича Щербатова, «занемогла горячкою и через 42 часа преставилась». Случилось это 15 февраля. Незадолго до того потерявший обоих родителей Щербатов обезумел от горя — он отправился на фронт, кинулся искать смерти на поле брани и в первом же бою был тяжело ранен... Давно ли Вяземский приветствовал счастливых молодоженов веселыми куплетами? давно ли радовался тому, что куплеты эти напечатаны отдельной книжечкой?.. Похоронили княгиню Щербатову, урожденную Вяземскую, рядом с отцом, в Новодевичьем монастыре. Два года спустя Жуковский вспомнил старшую сестру друга в своем «Певце во стане русских воинов»:

Хвала, Щербатов, вождь младой!
Среди грозы военной,
Друзья, он сетует душой
О трате незабвенной.
О витязь, ободрись... она
Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
Дружин твоих хранимы.
Любви и скорби оживить
Твои для мести силы:
Рази дерзнувших возмутить
Покой ее могилы.

«Наш молодой князь теперь с нами, — писал Карамзин Дмитриеву 3 марта 1810 года. — Он показывает в себе чувствительность, какой я не предполагал в нем и которая всего более ручается мне за его сердечные достоинства». И в другом письме добавлял: «Люблю его как брата и нахожу любви достойным: он умен и старается приобретать знания».

Весной у Вяземского появился новый друг — 22-летний поэт Константин Батюшков. Он приехал в Москву еще в декабре 1809-го и поначалу настороженно присматривался к окружающим. Вяземский, конечно, читал батюшковские стихи, и они произвели на него, пожалуй, самое сильное впечатление после творений Карамзина, Дмитриева и Жуковского. Но, впервые увидев автора воочию, князь не смог скрыть улыбку. По стихам можно было вообразить себе воина, певца, отважного в бою, в минуты отдыха — беспечного гуляку, окруженного лихими друзьями и нимфами радости... А Батюшков оказался низеньким, сутулым, с очень милым наивным лицом, мечтательными глазами... Было в нем что-то трогательно-птичье, беззащитное, и Жуковский с Вяземским тут же прозвали (сперва за глаза, а потом и в глаза) нового друга *Попенькой*. Когда Вяземский знакомил его с Карамзиным, Батюшков от смущения не мог произнести ни слова, только вертел форменную шляпу в руках. Но он застенчив только в гостиных — прошел прусскую и шведскую кампании, награжден Святой Анной III степени, под Гейдельбергом его извлекли полумертвого из груды убитых врагов... Об этом Батюшков молчит — скромник. Таким и должен быть настоящий герой.

Вяземский сразу влюбился в озорную сатиру Батюшкова «Видение на брегах Леты», которая в рукописных копиях ходила по Москве. В ней новый знакомец выказал свои литературные симпатии и антипатии, отправив купаться в реке забвенья противников Карамзина... Теперь князь на каждом шагу восторженно рассказывал знакомым и незнакомым о Батюшкове, и вскоре получил от него первый поэтический привет — чуть смущенный и очень трогательный:

Льстец моей ленивой музы!
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу «Лету»
В Иордан преобразил
И, смеяся, мне, поэту,
Ты кадилом накадил...

В записках, друг другу посылаемых, Вяземский и Батюшков еще на «вы», но Батюшков уже называет князя «шалун мой милый». Одновременно он сближается и с Жуковским. Весна и лето 1810 года становятся для них сплошным праздником поэзии и дружбы...

Жуковский, Батюшков и Вяземский составили, пожалуй, самый трогательный тройственный союз друзей-поэтов за всю историю русской литературы. Вот, например, письмо Батюшкова Жуковскому: «Вяземскому скажи, что я не забуду его, как счастие моей жизни: он будет вечно в моем сердце, вместе с тобою, мой Жук». Одинокий, нервный и впечатлительный Батюшков привязался к Вяземскому сильно и искренне, очень нуждался в нем. «Ты занимаешь первое место в моем сердце», «Ты — первый человек, с которым я был чистосердечен», «Мне любить тебя легко», «Милый мой пузырь», «Ни одного шалуна, подобного тебе и в шалостях, и в душонке, и в умишке» — письма Батюшкова к другу просто переполнены нежностью... Сохранился трогательный шарж Батюшкова на Вяземского, набросанный в конце одного из писем...

Сейчас, увы, уже довольно сложно почувствовать всю прелесть их молодой дружбы, где находилось место и рискованным шуточкам, и неприличным экспромтам, и заботе, и нежности, и великим стихам, рожденным как бы между прочим, случайно.

Остафьево, втроем — Жуковский, Батюшков, Вяземский; что может быть лучше? Прогулки по июльскому парку, день рождения (18-летие) гостеприимного хозяина, обеды и вино на открытом воздухе, разговоры за трубкой, переходящие в споры о поэзии, в чтения вслух и тут же полудурашливые-полузанятные импровизации... Хохочет не только Вяземский (ему *положено*, все уже привыкли к тому, что он найдет смешное в любом предмете), но и Жуковский — в этой ангельской душе пропасть беспечности и веселья; и если шутки князя чаще непристойные, с ядом или каламбурного толка, то юмор Жуковского — простодушный и детский (он сам называл свои шутки *галиматьей*). Батюшков смотрит на новых друзей, и в душе его — счастье и спокойствие... «Налейте мне еще шампанского стакан: я сердцем славянин — желудком галломан!» — под дружный смех просит он... Друзья благоговейно смотрят на Карамзина, «История» которого движется вперед. В воздухе пахнет большой литературной войной — противники «нового слога» и хорошего вкуса собирают силы. Молодые поэты вовсе не собираются молча это сносить... Батюшковское «Видение на брегах Леты» то-

му свидетельство. Сам Карамзин поглядывает на молодежь с улыбкой, ему все это немного забавно, но сердиться на воинственных юнцов нет силы. Он-то хорошо знает, как бесплодны все поэтические битвы, все перебранки в салонах и журналах. Великое создается не в полемическом запале, а в тиши, в уединенном кабинете... Но Бог с ними, они еще сами должны прийти к этому. Пусть пока горячатся за шампанским и пишут послания друг к другу...

Сложи печалей бремя,
Жуковский добрый мой!
Стрелою мчится время,
Веселие стрелой!
Позволь же дружбе слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротам оживить.
О Вяземский! цветами
Друзей своих венчай,
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок — наливай!
Питомец муз надежный,
О Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах своих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных;
И все заботы славы,
Сует и шум и блажь
За быстрый миг забавы
С поклонами отдашь.
О! дай же ты мне руку,
Товарищ в лени мой,
И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой!

Стоило Жуковскому и Вяземскому сдружиться с Батюшковым, как их совместную жизнь стал регулярно оглашать «рюмок звон и стук». «Топили скуку» не только в Остафьеве, но и в самой Москве. Теплыми летними вечерами засиживались в садике у Дмитриева близ Красных ворот — почтенный хозяин, недавно назначенный министром юстиции, но не спешивший уезжать в Петербург, сам разливал под благоухающими липами чай с коньяком... Навещали Нелединского-Мелецкого, который тоже был рад видеть молодежь... А вечерами обыкновенно ехали к Вяземскому, где пили «медок», что приводило к «коленопреклонениям на мостовой»... Тогда же Вяземский впервые познакомился и с ромом, к которому не на шутку пристрастился (во всяком

случае, через год, в послании к Алексею Перовскому, отправляющемуся в путь, он пылко и пространно восхвалял бодрящие свойства ямайского напитка). Иногда к веселой тройке Жуковский-Вяземский-Батюшков присоединялись кутилы постарше — Василий Пушкин, его кузен, циник и ёрник Алексей Пушкин, прославившийся непристойными стихами Сергей Марин и автор модных водевилей Федор Иванов. Сами себя они называли «пробочниками». Разгульная жизнь временно прекратилась с болезнью Жуковского (конец мая), но потом продолжалась вплоть до середины июля, когда Батюшков неожиданно уехал в свою вологодскую деревню.

«Я вас оставил en impromtu*, — писал Батюшков Жуковскому, — уехал, как Эней, как Тезей, как Улисс от блядок (потому что мне стало грустно, очень грустно в Москве, потому что я боялся заслушаться вас, чудаки мои)...» Милый, странный Батюшков! Посреди беспечного веселья сделался вдруг угнетенно-грустным. Сбежал в свое захолустное Хантоново... У Батюшкова попросту кончились деньги. Вяземский очень скоро почувствовал, как ему не хватает нового друга. Написал об этом. «Твое письмо привело мне на память и тебя, и Жуковского, и наши вечера, и наши споры, и наши ужины, и все, что нас веселило, занимало, смешило...» — отвечает Батюшков.

Скорее всего в конце 1810-го (когда точно, все же неизвестно — сам автор не мог в старости припомнить) Вяземский создал одно из самых громких сатирических стихотворений своей юности — «Сравнение Петербурга с Москвой». Эта узенькая «лесенка» из тридцати семи коротких строк вместила в себя на удивление много — так много, что на публикацию ее нечего было и рассчитывать. Здесь 18-летний поэт предстает в несколько неожиданном амплуа — сплеча рубит литературных староверов, петербуржца Хвостова и москвича Шатрова, сравнивает недавно учрежденный Государственный совет с сумасшедшим домом и, вволю поиздевавшись над нравами обеих столиц, заключает, что дураков хватает везде... Поражает в этой сатире необычайно взрослая для столь молодого человека интонация — уверенная, полная злой и даже немного высокомерной иронии, словно писал это умудренный долгой службой и интригами государственный муж... Перечисляя «мужей в рогах, / Девиц в родах, / Мужчин в чепцах, / А баб в портках», небрежно щеголяя матерными словами, Вяземский играет в циничного

---

* Экспромтом (*лат.*).

сатирика а-ля XVIII век и подчеркнуто хладнокровно раздает удары и правым, и виноватым. Недаром в «Сравнение...» попал даже драматург Александр Княжнин, с которым Вяземского связывали вполне приятельские отношения. Словом, получилась злая и хлесткая вещь, хлесткая настолько, что даже через семьдесят лет, в Полном собрании сочинений Вяземского издатели поместили только ее название, сославшись на то, что текст якобы не обнаружен. Авторство свое князь, похоже, не афишировал. Во всяком случае, даже близкие ему люди всерьез сомневались в том, что «Сравнение...» написал именно он. Скорее уж склонны были подозревать лихого Дениса Давыдова.

Первую половину 1811 года Вяземский вместе с Жуковским и Батюшковым снова провел в Москве. Литературная война, которую все предчувствовали год назад, уже кипела вовсю. В марте в Петербурге была основана «Беседа любителей русского слова», объединившая, как казалось молодым москвичам, все худшее, что было в литературе. Ядро ее составляли маститые и не очень маститые старики-поэты, возглавлял которых ярый сторонник «славянского» слога и соответственно противник Карамзина — адмирал Шишков. «Беседа» оказалась тяжеловесным и нежизненным объединением, где господствовали безнадежно устаревшие вкусы и официальная напыщенность. Впрочем, среди ее членов были и вполне необычные авторы (князь Ширинский-Шихматов), и писатели с дарованием и юмором (князь Шаховской), и просто светила первой величины (Державин, Крылов, Гнедич). Но погоду в «Беседе» делали не они, и, кроме того, даже их плюсы карамзинисты очень ловко умели обращать в минусы.

Первым, не вытерпев, нанес удар по «Беседе» воинственный Василий Львович Пушкин — в апреле Жуковский, Батюшков и Вяземский, смеясь и перебивая друг друга, читали его небольшую, очень смешную и слегка неприличную поэму «Опасный сосед»... Там был задет Ширинский-Шихматов, призывавший заменить в русском языке слово «пара» — «двоицей». Дашков в Петербурге напечатал брошюру «О легчайшем способе возражать на критики», направленную против «Беседы»... Вяземский подключился к боевым действиям, в небольшом стихотворении «Отъезд Вздыхалова» мастерски спародировав московского поэта князя Шаликова — эпигона Карамзина. «Сезон охоты» на Шаликова в русской поэзии открыл Батюшков. До его «Видения на брегах Леты» Вяземский и не задумывался о том, насколько анекдотична фигура Шаликова — с огромным горбатым носом, с лорнеткой, розовым шейным платочком... В «Отъез-

де Вздыхалова» он не пожалел ни своего кумира пятилетней давности, ни его журнала «Аглая»... Сатира мгновенно стала широко известной (ее с «великим удовольствием» слушала даже императрица Елизавета Алексеевна). Очень смешной получилась и эпиграмма Вяземского на Шаликова, где высмеивалось пристрастие адресата к «увы»:

Тирсис всегда вздыхает,
Он без «увы» строки не может написать;
А тот, кому Тирсис начнет свой бред читать,
Сперва твердит «увы», а после засыпает.

В черновике послания к Милонову Вяземский перечисляет своих главных врагов начала 1810-х: «Шишков, Батый талантов», «Шихматов... Хвостов, Анастасевич, Захаров, Шаховской, Станевич». Все это — «беседчики», «Батыева орда», которая «выходит на Парнас войною». Война эта ширилась с каждым днем... Вяземский — на словесной «передовой». Это была веселая и вдохновенная весна.

И, конечно, после «боев» не обходится без «часов неги и прохлады». Снова шампанское, театр, рауты и балы... Среди светских знакомых Вяземского — Денис Давыдов, храбрый офицер, милейший собутыльник и поэт в одном лице; Александр Воейков, старый приятель Жуковского, небесталанный литератор; известный бретер и кутила граф Федор Толстой по прозвищу Американец; братья Алексей и Василий Перовские, незаконные дети министра народного просвещения графа Разумовского; Павел Киселев; граф Михаил Виельгорский... Этот последний, помимо любезности, красоты и обходительности, славился музыкальными дарованиями: прекрасно играл на фортепьянах, пел и сам сочинял музыку. На стихи Жуковского, Батюшкова и Вяземского Виельгорским был написан не один романс. Сочинял он и шуточные куплеты, которые весело и дружно распевались на приятельских ужинах под аккомпанемент графа-музыканта:

Веселый шум, пеньё и смехи,
Обмен бутылок и речей:
Так празднует свои потехи
Семья пирующих друзей.
Все искрится — вино и шутки!
Глаза горят, светлеет лоб,
И зачастую, в промежутке,
За пробкой пробка хлоп да хлоп.

Вяземский написал пять куплетов этой веселой песни, посвященных Денису Давыдову, Федору Толстому, Жуковскому, Василию Пушкину и Батюшкову...

Весной Жуковский, Батюшков и Вяземский на какое-то время поселились в Остафьеве. Сохранилось шутливое письмо, в котором Жуковский с Вяземским стыдят Батюшкова за то, что тот уехал из Остафьева в Москву, обещал вернуться в пятницу, а сегодня уже суббота...

В конце мая эту беспечную жизнь оборвала внезапная смерть матери Жуковского. После похорон он уехал в свою деревню. Через два месяца и Батюшков простился с Вяземским и укатил в свое Хантоново, снова по самой прозаической причине — кончились деньги.

В том же 1811 году происходит важное и приятное событие в жизни Вяземского. Он женится. О женитьбе его сохранилась любопытная легенда, шестьдесят лет спустя записанная П. И. Бартеневым.

Как-то в августе 1811-го Вяземский участвовал в молодежной вечеринке на Тверском бульваре, у Кологривовых, давних знакомых покойного князя Андрея Ивановича. Было шумно; некая барышня взялась доказать, что ныне в мужчинах исчезло рыцарство, и бросила в пруд башмачок. Кавалеры — двое князей Гагариных, Василий Перовский и Вяземский — тут же опровергли опрометчивое суждение. Вяземский вышел на берег с башмачком в руках (уроки плаванья в остафьевском пруду явно пошли на пользу!), но от холодного купанья слег в тот же день в жестокой горячке и остался у Кологривовых. Воспаление легких было тяжелейшим, врачи всерьез опасались за жизнь больного, и выздоравливал Вяземский медленно (еще и полгода спустя ему приходилось носить на груди перцовый пластырь и принимать микстуру из исландского мха). Во время болезни за ним ухаживала двадцатилетняя княжна Вера Федоровна Гагарина, дочь хозяйки дома от первого брака. С ней Вяземский был знаком еще до вечеринки — впервые они заметили друг друга на подмосковном гулянье в Останкино, и тогда юный князь запомнился Вере главным образом тем, что был, как и положено поэту, перепачкан чернилами.

Непонятно, вспыхнула ли мгновенная симпатия между молодыми людьми или же мать Веры Федоровны умело «окрутила» богатого жениха. Согласно легенде, княжна «забыла» на подушке Вяземского свои часики, и полная праведного гнева Прасковья Юрьевна объявила о том, что порядочный человек после таких интимностей обязан жениться... Так или иначе, известие о помолвке грянуло как гром для многих знакомых и друзей Вяземского — им казалось, что тот вполне доволен своим холостым положением. Чтобы не откладывать свадьбу до января, влюбленные об-

венчались 18 октября 1811 года, причем ослабевший от болезни Вяземский венчался сидя в кресле!.. До Рождественского поста оставался ровно месяц — медовый... Этот брак, несмотря на скоропалительность и нежданность, оказался счастливым и прочным.

Вера Федоровна происходила из знатного и известного рода князей Гагариных; эта фамилия давала еще один пример жизнестойкости Рюриковичей, недаром девиз Гагариных — «Своими корнями силен». Дочь князя Федора Сергеевича Гагарина (1757—1794) и княгини Прасковьи Юрьевны (1762—1848), урожденной княжны Трубецкой, правнучка генерал-фельдмаршала князя Никиты Юрьевича Трубецкого и племянница довольно известного стихотворца князя Павла Сергеевича Гагарина, Вера Федоровна родилась 6 сентября 1790 года в Яссах, где во время турецкой кампании находились мать и отец ее. Была она умница и, хоть не блистала особенной красотой, брала свое миловидной живостью лица и повадки. Вообще она оказалась достойной подругой Вяземскому — озорная, щедрая на разные выдумки, иногда взбалмошная и капризная, иногда излишне прямолинейная, большая ценительница поэзии, французской прозы и светской жизни. Вот портрет 24-летней Веры Федоровны, написанный Вигелем: «Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостию, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее». А увидевший 51-летнюю Веру Федоровну П. А. Плетнев записал: «Она — женщина не молодая и не авантажной наружности, но умная и бойкая, особенно в делах большого света».

Эти черты характера Вера Федоровна унаследовала от матери: Прасковья Юрьевна считалась одной из главных московских «львиц». Легендарным стал рассказ о том, как она прилюдно дала пощечину Потемкину, осмелившемуся ее поцеловать. За Прасковьей Юрьевной ухаживал молодой Карамзин; она считается прототипом грибоедовской Татьяны Юрьевны; в 1804 году первой из русских женщин она совершила полет на воздушном шаре, стартовав в Москве и благополучно приземлившись в Остафьеве... Словом, теща

Вяземскому попалась незаурядная. Он относился к ней с искренним уважением, и случалось князю в письмах выговаривать жене за забывчивость: «Писала ли ты к Прасковье Юрьевне????? Писала ли ты??», «Я уверен, что ты опять давно не писала к своей матушке. Право, мне скучно всегда смотреть и кричать за тобою».

Сестра Веры Федоровны Надежда уже была замужем за князем Борисом Антоновичем Святополк-Четвертинским; шесть лет спустя и младшая сестра Любовь вышла за полковника Бориса Владимировича Полуэктова, а Софья — за полковника Василия Николаевича Лодомирского. Братом Веры Федоровны был знаменитый бретер и храбрец поручик князь Федор Федорович Гагарин... Четвертинские, Полуэктовы, Лодомирские, Гагарины и Вяземские, «бо-фреры» и «бель-сёры», образовали большой, шумный и дружный семейный круг, часто бывали друг у друга.

Кажется, никем еще не отмечено, что биография Вяземского, при всей насыщенности разнообразными переживаниями, оказалась лишена *настоящей любви*, которая «положена» русскому поэту, — с муками ревности, страсти, страданиями, разрывами и воссоединениями... Если не считать пермской красавицы Софьи Певцовой и еще нескольких безымянных романов 1809—1810 годов, Вяземский очень быстро, «с разбегу» стал женатым человеком, отцом разраставшегося с каждым годом семейства — и это при том, что ему было чуть больше двадцати. Все дальнейшие любовные победы князя совершались на фоне его семейной жизни и, конечно, несли на себе оттенок «незаконности». Впрочем, Вера Федоровна была, как правило, в курсе его увлечений. «Перекрестил я ее в свою веру, основанную на терпимости, — писал Вяземский. — Я никогда не чуждался ни разврата, ни развратных, но разврат всегда чуждался меня. Почему же не признать во мне какой-то отверделости в правилах и чувствах, которая ограждает меня от расслабления там, где другой измочалился бы с первого раза?»

В «науке страсти нежной», в интимной лирике Вяземского характер его отпечатывается вполне. Это не пушкинское упоение любимой и не тютчевская всеразрушающая страсть. Вотчина Вяземского — флирт, изысканная любовная игра, будоражащая воображение (соответствующий жанр — альбомный мадригал). Об этом он сам замечательно сказал в экспромте, написанном 7 мая 1828 года на веере петербургской красавицы Анны Олениной:

Любви я рад всегда кокетство предпочесть:
Любовь — обязанность и может надоесть.
Любовь как раз старье: оно всегда новинка.
Кокетство — чувства блеск и опыт поединка,
Где вызов — нежный взор, оружие — слова,
Где сердце — секундант, а в деле голова.

Если дело доходит до серьезного романа, то князь Петр Андреевич, хотя и держится вполне победительно, «с уверенностью красавца-мужчины», как писала Долли Фикельмон, в глубине души всегда готов к роли жертвы, к будущему разрыву. А поздние его интимные стихотворения — тихое любование «светлой звездой», недостижимой, манящей... Любовная лирика Вяземского — словно одно большое стихотворное сожаление о том, *что могло бы быть и чего никогда не будет...* Таких ущербных, скомканных и в конечном счете неполноценных любовей в жизни Вяземского будет немало. Счастья не принесет ни одна.

В огромной переписке Вяземского с женой не встретишь, за редкими исключениями, особых интимностей. Скорее наткнешься на своеобразные нежности-небрежности: «старуха», «голубушка», «моя милуша», «моя душка», «целую, ласкаю, треплю за подбородок»... Не раз, адресуясь жене, Вяземский впадал в свойственный ему не очень приятный менторский тон — это особенно касается вопросов воспитания детей и ведения хозяйства. «Я муж, а ты жена, следовательно, мне все можно, а тебе почти ничего, после этой причины другие не нужны», — вроде бы шутка, хотя такая шутка, что называется, звучит уж слишком всерьез... Но стоит взглянуть на даты его писем, как становится ясно: Вера Федоровна была для него необходимой и любимой собеседницей не только в жизни, но и на бумаге. Стоит княгине куда-нибудь отлучиться хотя бы на неделю, как письма Вяземского начинают частить одно за другим, почти каждый день, даже не дожидаясь ответов на предыдущие... Это переписка двух близких приятелей, которые друг с другом откровенны во всем и легко болтают о пустяках и о важном. Семейная жизнь была совсем не безоблачной — забегая вперед, скажем, что из девяти детей родителей пережил только один сын Вяземских. О многочисленных увлечениях князя уже говорилось выше. Но все-таки это было *счастье.* Вигель уверяет, что Вера Федоровна «мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно»; граф С. Д. Шереметев, знавший пару уже в старости, свидетельствует: «Уход за мужем-поэтом, доставление ему всяких удобств житейской обстановки, переписывание ему его рукописей были непре-

станным занятием княгини». Петр Андреевич и Вера Федоровна прожили вместе 67 лет, составив одну из самых эффектных светско-литературных пар XIX столетия.

Вяземский посвятил жене одно из самых изящных (и очень «батюшковских» по стилю — сам Батюшков подробно разобрал эти стихи в письме) своих посланий «К подруге»:

От суетного круга,
Что прозван свет большой,
О милая подруга!
Укроемся со мной.
Простись с блестящим светом,
Приди с своим поэтом,
Приди под кров родной,
Под кров уединенный,
Где счастье неизменно
И дружбой крыл лишенно
Нас угостит с тобой!

И еще одно посвящение, на этот раз полусерьезное, каламбурное, как любил Вяземский:

Вольтера все бранят, что Бога он не знал,
Но осуждать его за это я не смею,
Пускай его бранят, а я об нем жалею —
Он *Веры* не видал.

...И вот, ни с того ни с сего — Вяземский женат. (А Тургенев, Жуковский, Батюшков, все старше его — холостяки.) К своему удивлению, он с радостью принял такую крупную перемену в жизни. К тому же Вера Федоровна обожала разделять с мужем его успехи в свете. Это был веселый, красивый и легкий союз двух молодых людей, любящих удовольствия.

Такими они и выглядят на портретах тех лет: прелестная юная княгиня с задорным взглядом и румяный, чуть улыбающийся молодой князь в полосатом халате, с беспечно развевающейся прядью над правым виском...

Жуковский обратился к молодожену с посланием:

Рад от души!
Да — напиши,
Что, мужем став,
Ты старый нрав
Сберег друзьям!

А Батюшков желал,

Чтобы любовь и Гименей
Вам дали целый рой детей,
Прелестных, резвых и пригожих,

Во всем на мать свою похожих,
И на отца — чуть-чуть умом,
А с рожи — Бог избавь!
Ты сам согласен в том!

«Бог избавь» — ибо красавцем Вяземского признать никак нельзя. «Курносым слепцом» величал он сам себя. Хотя на успех у дам близорукость и «курносие» никак не влияли...

Итак, Вяземский с удовольствием входил в роль мужа, но и «старый нрав сберег друзьям» — писал им многочисленные письма, и в прозе, и в стихах. Почти никого из «дружеской артели», проводившей веселые ночи близ Колымажного двора, в Москве не было. Жуковский все еще сидел в своем тульском селе, жил уединенно и много работал. В стихотворной форме (в цитированном выше послании «Мой милой друг...») он полушутливо-полусерьезно жаловался на плохое настроение и сообщал, что зимой — весной в Москве, увы, не появится. Батюшков, опутанный делами и долгами, тоже жил в деревне. Александр Тургенев, мелькнув в Москве на два месяца, укатил в Петербург. В Питере же были и другие друзья-приятели — Блудов, Дашков, Северин. Но Жуковского и Батюшкова князю особенно не хватало... Вяземский до последнего надеялся, что Батюшков приедет к нему на свадьбу: «Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай — ей-Богу, не умею ничего сказать лучше». Но безденежный Батюшков застрял в своем Хантонове накрепко... В ноябре 1811 года у него из переписки с Вяземским выросло понемногу поэтическое послание «Мои Пенаты» — воспоминание о беспечных днях, проведенных вместе с друзьями. Радостные, изящные, словно акварелью написанные стихотворные портреты Жуковского и Вяземского в виде беспечных эпикурейцев не могли не пленять... Вяземский немного покритиковал «Пенаты» по мелочам, но в целом восхитился: «Браво! браво! стихи твои прекрасны!»... Друзья тут же отблагодарили Батюшкова в его же духе — и Жуковский, и Вяземский и тем же трехстопным ямбом написали свои обращения «К Батюшкову». Послание Жуковского Вяземский нашел «немного длинноватым» (это мягко сказано — в нем 664 строки) и к тому же посчитал, что легким эпикурейским «Пенатам» Жуковский противопоставил строгую свою мораль труженика-затворника: «Сличая оба послания, скажешь тотчас: любезные поэты верно часто видаться не будут!» Сохранился прозаический план огромного послания Жуковского: «К тебе в приют спешу — готовь вино, укрась цветами своих пенатов, с нами Вяземский и его милая подруга: он рано отошел от бурь и счастлив»...

Сам же Вяземский постарался сделать свои стихи такими же беспечными и элегантными, как батюшковские. Среди молодых поэтов быстро установился обычай править стихи друг друга, и это было отличной школой для всех троих...

Между тем беспечная, юная, поэтически-светская, «допожарная» эпоха в жизни Вяземского подходила к концу. 12 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в пределы России. Правда, до Москвы вся важность происходящего дошла далеко не сразу: столица русского дворянства продолжала танцевать, обедать и сплетничать, как ни в чем не бывало, и 20-летие свое Вяземский отмечал еще вполне беспечно. Но появление в Москве Александра I, речь, которую он произнес в Слободском дворце 15 июля, и высочайший манифест о народном ополчении, изданный два дня спустя, даже самых аполитичных и космополитичных москвичей заставили встрепенуться. Выпускаемые генерал-губернатором графом Ростопчиным «афишки» кричали со стен о том, что ноги Бонапартовой в Первопрестольной не будет; известный журналист Сергей Глинка негодовал в «Русском вестнике» на галломанов и на собственные деньги снаряжал ополченцев... Самые прозорливые начали отправлять семьи и имущество в тыл. Казалось, в воздухе разлито какое-то общее волнение, готовое обернуться чем угодно — погромами или битвой с французами... В начале августа Вяземский с двумя друзьями спас от расправы какого-то немца, которого разъяренная уличная толпа приняла за французского шпиона...

Карамзин прежде всего позаботился о спасении трех копий рукописи «Истории», которая близилась к завершению. Один экземпляр он спрятал в архиве Коллегии иностранных дел (он и сгорел там), другой — в Остафьеве, третий отправил в Ярославль с женой и детьми. Впервые Карамзиным пришлось изменить своей клятве — никогда не расставаться... Сам Николай Михайлович всячески тянул с отъездом. В ополчение его не брали по состоянию здоровья, но он все же надеялся. «Обстоятельства таковы, что всякий может быть полезен или иметь эту надежду, — писал Карамзин Дмитриеву. — Обожаю подругу, люблю детей; но мне больно издали смотреть на происшествия решительные для нашего Отечества». Вяземский тем временем разрывался меж Москвой и Остафьевом — свез в имение мебель из дома, снимаемого в Большом Кисловском переулке, библиотеку. Веру Федоровну, ожидавшую ребенка, отправил с Карамзиными. Сам он ни минуты не раздумывал о своей участи: драться с врагом — долг каждого русского...

Его пытались отговорить — напоминали, что даже выстрела пистолетного он никогда прежде не слыхивал, что жена беременна... Но куда там! Перед глазами были примеры друзей. Денис Давыдов, Павел Киселев, Батюшков — все офицеры. Дмитриев, Нелединский в свое время служили. Карамзин носил когда-то преображенский мундир, даже воплощение миролюбия, Жуковский, успел пощеголять в ботфортах и треуголке... О чем же тут говорить?

В Москве формировалось ополчение. Вяземский рассчитывал попасть в одну часть с Батюшковым, к тому времени перебравшимся в Петербург, служить в Публичной библиотеке. Но тот, как на грех, заболел, к тому же у него не было денег на экипировку. Вяземский: «Ты сказываешь, что денежные обстоятельства тебя связывают: дай мне знать, что нужно тебе, чтоб вырваться из Питера, и я тотчас доставлю, — потом приезжай в Москву как можно скорее, а там Бог нам поможет, и гроши, которые я теперь имею, к твоим услугам... Дело славное! Качай!»

Без жены князя одолевала смертельная тоска. Он бесцельно бродил по комнатам, выходил на улицу, опять возвращался в дом... Нужно было на что-то решаться... записываться в ополчение... 16 августа Вяземский встретил недавно приехавшего из деревни Жуковского; они собрались было пообедать в Певческом трактире, но встретили на улице Федора Иванова и пошли к нему. Жуковский тоже собирался вступать в ополчение. Вдвоем они навестили Ивана Козлова — очень образованного и приятного человека, одного из главных московских модников и танцоров. Потом проведали Карамзина, который весь был в хлопотах — укладывал вещи, переезжал к графу Ростопчину на Лубянку. Николай Михайлович перекрестил их, на глаза навернулись слезы... Дети, которых он видел в Остафьеве беспечными гуляками, уходили на войну.

Через три дня 1-й пехотный полк Московского ополчения, где числился поручик Жуковский, выступил на позиции. Проводив друга, князь Петр Андреевич (тоже в чине поручика) отправился в расположение своей части — он наконец решил записаться в 1-й Конный Казачий полк, самый известный в ополчении. Молодой граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов формировал и вооружал этот полк на собственные средства, командовал полком свояк Вяземского князь Борис Антонович Святополк-Четвертинский. Он принял новобранца сердечно и поселил на время в штабе полка. Взглянув на себя в зеркало, Вяземский превесело расхохотался: голубой казацкий чекмень с бирюзовыми об-

шлагами, брюки с бирюзовыми же лампасами, кивер с султаном из медвежьего меха... И очки. Право, недурной воин... Навестивший его старый граф Лев Кириллович Разумовский, сын украинского гетмана и владелец Петровско-Разумовского, со смехом воскликнул:

— Ты, братец, напоминаешь мне старых казаков, которых я видел в детстве у отца своего в Батурине...

Офицер из Вяземского действительно был никудышный. Он плохо ездил верхом, никогда не брал в руки огнестрельного оружия, давно позабыл пансионские уроки фехтования. Так что, стоя в карауле близ Петровского замка, невольно посмеивался над самим собой... Мамоновский полк так и не был укомплектован полностью: в нем числилось всего лишь 56 офицеров, 59 юнкеров и 186 нижних чинов при восьмидесяти лошадях. Пронесся слух (затем подтвердившийся), что в боевых действиях полк участвовать потому не будет. Вяземского это разволновало: он страстно хотел попробовать себя «в деле», понюхать пороху... Но тут, на его счастье, в штаб полка заглянул генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович. За обедом Вяземский пожаловался ему на свое неопределенное положение. «А почему бы вам, князь, не пойти ко мне адъютантом?» — неожиданно спросил Милорадович. Восторг Вяземского трудно было описать... Генерал сказал ему, что готовится большое сражение, в котором решится судьба Москвы и всей России... 24 августа князь выехал из Москвы в действующую армию. На груди у него были два образка, присланные женой.

«Я сейчас еду, моя милая, — писал он княгине. — Ты, Бог и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанностей мужа твоего и отца ребенка нашего. Я никогда не отстану, но и не буду кидаться. Ты небом избрана для счастия моего, и захочу ли я сделать тебя навек несчастливою? Я буду уметь соглашать долг сына отечества с долгом моим в рассуждении тебя. Мы увидимся, я в этом уверен. Молись обо мне Богу. Он твои молитвы услышит, я во всем на Него полагаюсь. Прости, дражайшая моя Вера. Прости, милый мой друг. Все вокруг меня напоминает тебя. Я пишу к тебе из спальни, в которой столько раз прижимал я тебя в свои объятия, а теперь покидаю ее один. Нет! мы после никогда уже не расстанемся. Мы созданы друг для друга, мы должны вместе жить, вместе умереть. Прости, мой друг. Мне так же тяжело расставаться с тобою теперь, как будто бы ты была со мною. Здесь, в доме, кажется, я все еще с тобою: ты здесь жила; но — нет, ты и там, и везде со мною неразлучна. Ты в душе моей, ты в

жизни моей. Я без тебя не мог бы жить. Прости! Да будет с нами Бог!»

Буквально через три часа после отъезда Вяземского приехал в Москву полубольной Батюшков. Он обиделся, что князь не оставил ему даже записки, но написал вдогонку: «Дай Бог, чтоб ты был жив, мой милый друг! Дай Бог, чтоб мы еще увиделись! Теперь, когда ты под пулями, я чувствую вполне, сколько тебя люблю. Не забывай меня». Весточка догнала Вяземского уже в Можайске...

Стемнело, когда он выпрыгнул из коляски на Бородинском поле, запруженном армейскими соединениями, обозами, тыловыми службами. Трещали костры. Никому до него не было дела... Вяземский растерянно зашагал куда глаза глядят, за ним едва поспевал камердинер. Возле какой-то избы князь вдруг услышал, как офицер, давая поручения маркитанту, сказал: «Да не забудь принести вяземских пряников!» Вяземский некоторое время раздумывал, не нарочно ли офицер приказал принести именно *вяземских* пряников — может быть, над ним, как над новичком в деле военном, хотят подшутить?.. Но мысль о дуэли по пустяковому поводу накануне сражения показалась ему смешной.

Уже поздней ночью набрел князь на штаб Милорадовича. Генерал, сидевший у костра на бивуаке, ласково расспросил Вяземского о Москве, о Ростопчине, поздравил с приездом накануне битвы и в конце концов предложил переночевать в штабной избе. Все бы хорошо, но в избе этой оказалась кошка, а к ним князь питал неодолимое отвращение. Пришлось кошку ловить, загонять ее в холодную печь и запирать заслонку. Какое-то время Вяземский не мог уснуть от волнения накануне боя — и от мяуканья несчастной кошки... Снаружи изредка перекликались часовые. Громко, как сердце, стучал брегет рядом с изголовьем...

В пять часов утра раздался выстрел вестовой пушки. Но спящего богатырским сном Вяземского разбудить было мудрено. Камердинер еле растолкал сонного барина... В поле было холодно от росы. Далеко-далеко на горизонте вставали едва различимые белые клубы дыма — это били наполеоновские орудия... Милорадович, на гнедом коне, в шляпе без султана, уже умчался куда-то в окружении целой толпы адъютантов. У Вяземского верхового коня не было. «Я остался один, — вспоминал он. — Минута была ужасная. Меня обдало холодом и унынием. Мне живо представились вся несообразность, вся комическо-трагическая неловкость моего положения. Приехать в армию, как нарочно, ко дню сражения и в нем не участвовать!»

Почему-то он нашел ситуацию такой нелепой, что хотел даже застрелиться от позора.

Однако свет не без добрых людей — знакомый офицер Дмитрий Гаврилович Бибиков предложил князю запасного коня. (По иронии судьбы этот Бибиков спустя 20 лет станет прямым начальником Вяземского по службе.) «Обрадовавшись и как будто спасенный от смерти, выехал я в поле и присоединился к свите Милорадовича. Я так был неопытен в деле военном и такой мирный московский барич, что свист первой пули, пролетевшей надо мной, принял я за свист хлыстика». Вскоре свита попала и под артиллерийский огонь. Ядра рванули совсем рядом; над головой взвизгнули осколки, в лицо ударил удушающий запах сгоревшего пороха. Вяземский с трудом удержал испуганного коня.

— Mon Dieu!* — весело воскликнул Милорадович. — Видите, неприятель отдает нам честь!

Вяземский, придерживая на носу очки, растерянно озирался: мундиры пестрели перед глазами, он не понимал, кто кого атакует — русские французов или наоборот... Неумело пришпоривая тяжело всхрапывавшего коня, он следовал за Милорадовичем по всему полю, стараясь не потерять генерала из виду... Это оказалось делом нелегким — Милорадович ни минуты не сидел на месте и появлялся в самых опасных местах. То слева, то справа ядра поднимали фонтаны земли, грохот ружейной и пушечной пальбы заглушал душераздирающие крики умирающих, ржание лошадей и «ура!» наступавшей пехоты... Время от времени из порохового дыма неожиданно возникали знакомые князя по московским светским гостиным — запыленные, забрызганные вражеской кровью, они тем не менее находили время улыбнуться и поприветствовать Вяземского... Однажды князя приняли за противника (из-за необычного мундира и кивера), и какой-то офицер вовремя остановил казака, уже летевшего на Вяземского с криком: «Посмотрите, ваше благородие, куда врезался проклятый француз!»... Сбросив кивер на землю, Вяземский заменил его для верности фуражкой, которую ему любезно дал знакомый кавалергард Петр Петрович Валуев. Буквально через полчаса Валуев был убит рядом с Вяземским. Его памяти князь посвятил десять строф в позднем стихотворении «Поминки по Бородинской битве»...

Внезапно конь Вяземского дернулся под ним и захромал. Оказалось, его ранило пулей в ногу. Пришлось спешиться. Радостное возбуждение охватило князя: не зря все же обла-

* Бог мой! (*фр.*).

чался в казацкий чекмень!.. Он даже пожалел, что пуля досталась коню, а не ему самому; нет, конечно, пусть это была бы не тяжелая рана, а так, царапина на память о бое... «Я понял значение французского выражения: Le baptême de feu*», — вспоминал он об этой минуте... Что-то очень знакомое и в самой ситуации, и во французской поговорке...

«Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.

— Вы, видно, не привыкли ездить верхом, граф? — спросил адъютант.

— Нет, ничего, но что-то она прыгает очень, — с недоуменьем сказал Пьер.

— Ээ!.. да она ранена, — сказал адъютант, — правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф, — сказал он, — le baptême de feu».

Что же, спасибо Льву Толстому! Если бы не «Война и мир», скромный князь Петр Андреевич вряд ли написал бы очерк «Воспоминание о 1812 годе», где с большим юмором рассказал о своих приключениях на поле боя. А если бы не Вяземский, вряд ли бы появился в романе эпизод с ранением лошади Пьера... Рискнем предположить, что это — след бесед Вяземского с Толстым в 1856—1858 годах, они тогда часто встречались. Толстой рассказывал о севастопольских своих днях, а Вяземский в ответ, может быть, вспоминал давнее военное прошлое. Впрочем, об истории с раненой лошадью Толстой мог слышать и от П. И. Бартенева, который консультировал его во время работы над романом. С Бартеневым Вяземский был вполне откровенен и наверняка говорил с ним о своей бородинской эпопее.

В отличие от Пьера Безухова, который на Бородинском поле главным образом наблюдал (и мешал солдатам), Вяземский совершил настоящий боевой подвиг. Правда, в «Воспоминании о 1812 годе» о нем сказано очень бегло и с подчеркнуто обыденной интонацией. Как-то само собой получилось, что князь пристал к свите генерал-майора Алексея Николаевича Бахметева 3-го, командира 23-й пехотной дивизии, входившей в состав корпуса графа Остермана-Толстого. Бахметев и Вяземский были с год как знакомы — летом 1811-го оба были почетными судьями «московской карусели», соревнований по выездке. И вот встреча на поле брани... Дивизия Бахметева перестраивалась в каре, готовясь к атаке, и генерал с адъютантом оказались под вражеским огнем — в самом пекле. Конь Вяземского был буквально ра-

---

* Крещение огнем (*фр.*).

зорван на куски французским ядром. А еще через минуту еще одно ядро накрыло Бахметева — ему раздробило ногу... Под непрестанным ружейным и пушечным огнем, в свисте пуль и грохоте разрывов Вяземский вынес тяжело раненного генерала с поля боя на своем плаще. Это было в два часа пополудни.

(За этот подвиг Милорадович представил князя к боевому ордену Святого Владимира IV степени с бантом. Кутузов утвердил представление, и 7 декабря Милорадович сообщил об этом Вяземскому. Получил он и бронзовую медаль на владимирской ленте с надписью «Не нам, не нам, а имени Твоему». Почему-то в биографической литературе о Вяземском Святой Владимир постоянно и упорно заменялся Святым Станиславом IV степени, несмотря на очевидность того факта, что этот польский орден был причислен к российским только в 1831 году.)

В пять часов сражение затихло. Вяземский с ужасом смотрел на груды трупов, на исковерканные, разбитые русские и французские пушки... Осмотрел и ощупал себя, свой перепачканный и запыленный мундир, бурый от крови Бахметева плащ... кажется, нельзя было выйти живому из этой сечи, но вот поди ты — ни царапины. С ног валясь от усталости, добрел он до избы на окраине поля, где неожиданно наткнулся на своего шурина, поручика князя Федора Гагарина, легко раненного в руку. Гагарин собрал поужинать, вскипятил чай... Оба, и Вяземский, и Гагарин, были уверены, что французы разбиты наголову и завтра начнется преследование врага. В радостном возбуждении родственники проговорили полночи.

Утром, однако, началось общее отступление. По узкой дороге одновременно, тесня друг друга, на Можайск двигались пехота, кавалерия, шли обозы. Офицеры срывали голоса, размахивали нагайками. Без умолку били орудия — это арьергардные части прикрывали отход. У Вяземского было скверно на душе. Он чувствовал, что больше не сможет носить военный мундир — душа не принимала страшных картин войны, ей были тягостны кровь и страдания. К тому же он простудился дорогой — опять дало о себе знать памятное купанье в пруду. В Можайске князь попросил у Милорадовича отпуск — съездить к жене — и поехал в Москву, в статском платье, больной и сердитый на все и вся.

«Я в Москве, милая моя Вера, — наспех писал он 30 августа. — Был в страшном деле и, слава Богу, жив и не ранен, но однако же не совершенно здоров, а потому и приехал немного поотдохнуть. Благодарю тебя тысячу раз за письма, которые

одни служат мне утешением в горести моей и занятием осиротелого сердца. Кроме тебя, ничто меня не занимает, и самые воинские рассеяния не дотрогиваются до души моей. Она мертва; ты, присутствие твое, вот — ее жизнь; все другое чуждо ей. Князь Федор весьма легко ранен в руку... Он велел тебя нежно обнять. Дело было у нас славное, и французы крепко побиты, но однакож армия наша ретировалась. Прошу покорно понять. Делать нечего; есть судьба, она всем управляет, нам остается только плясать по ее дудке. Прости, любезнейший друг моего сердца. Будь здорова и уповай на Бога. Катерину Андреевну и детей обними за меня, а себя за меня же поцелуй крепко в зеркале... Пропасть знакомцев изранено и убито. Ты меня сохранила. Прости, ангел мой хранитель».

Он повидал Жуковского, Батюшкова. Жуковский рассказал, что его полк все сражение простоял в резерве и противника так и не увидал, но понес тем не менее большие потери от пушечного огня. Батюшков помогал эвакуироваться своим родственникам Муравьевым, весь был в хлопотах, кашлял, как и Вяземский. Дали друг другу обет писать, расцеловались, расстались...

Вяземский рассказал о сражении Карамзину. При рассказе этом присутствовали другие старые москвичи, помнившие князя еще мальчиком, — Нелединский-Мелецкий, граф Никита Панин... Николай Михайлович слушал внимательно, потом проговорил:

— Ужасно... сколько молодых жизней унесено... Багратион, Тучков, Кутайсов...

— Да, мы испили горькую чашу до дна, — скорбно откликнулся граф Федор Васильевич Ростопчин, в чьем доме происходил разговор.

— Но зато наступает начало *его* и конец наших бедствий. — Карамзин неожиданно встал и зашагал по комнате. — Поверьте, будучи обязан всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет!..

— В ваших речах, Николай Михайлович, слишком много пиитического восторга, — покачал головой Ростопчин. — Не сегодня завтра французы будут в Москве... Боюсь, бедствия наши только начинаются.

На другой день, 1 сентября, Вяземский и Карамзин покидали беззащитный город. Москву сдавали без боя — это не укладывалось в голове... Навстречу то и дело попадались телеги, нагруженные гробами; Смоленский рынок был застелен плащами и соломой, на которых стонали раненые... По улицам проносились верхами люди в мундирах с криками: «Спасайтесь! Спасайтесь!» — таков был приказ Кутузо-

ва. Через город двигались отступающие русские части; солдаты и офицеры были мрачны и замкнуты, на вопрос: «Куда вы идете?» — они угрюмо отвечали: «В обход»... Московский гарнизонный полк, напротив, чеканил парадный шаг с развернутыми знаменами и оркестром, как и полагалось идти гарнизону, покидающему крепость. К заставам тянулись обозы мирных жителей, стада коров и овец... Буханье оркестровой меди, стоны раненых, рев испуганных животных, брань военных и мужиков — все это звучало страшно. Карамзин и Вяземский молча смотрели на погибающую Москву... Простуженный князь тяжело кашлял, изо всех сил пытаясь сдержать слезы.

Коляска пылила по дороге, обгоняя телеги с беженцами и колонны отступающих войск. Позади оставались Москва, Остафьево, Бородино... 2 сентября французы вошли в Первопрестольную.

Глава II

АРЗАМАССКОЕ БРАТСТВО

Кого не увлечет талант сего поэта?
Ему никто не образец:
Он сыплет остротой, но завсегда мудрец
Еще в младые лета.

Дмитриев

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род — с возвышенным умом,
И простодушие — с язвительной улыбкой.

Пушкин

Из Ярославля, забрав жену, Вяземский поехал сначала в свое поместье Красное-на-Волге, потом в Вологду — ибо Вера Федоровна вот-вот должна была родить, а в Вологде находился знаменитый московский акушер Рихтер. С Вяземскими ехал также Нелединский-Мелецкий. Карамзины же, как и большинство беженцев, повернули в Нижний Новгород.

В Вологде князя охватила сильнейшая депрессия. Он пытался заниматься латынью под руководством московского профессора Шлёцера, проводил вечера с Нелединским, местными поэтами Павлом Межаковым и Николаем Остолоповым и умным, просвещенным епископом Вологодским Евгением, которому посвящал стихи Державин. Но тоска лежала на сердце прочно, и не развеяло ее даже рождение первенца, сына, названного в честь покойного князя Андреем: «Все чувства, кроме чувства дружбы и привязанности к ближним и к вам, любезные друзья мои! — умерли в душе моей... Все способности разума теряются, сердце замирает, вспоминая о Москве...» О Кутузове, отдавшем приказ оставить Москву, Вяземский не мог в эти дни думать без ненависти: «Его имя для меня ужаснее имени врага нашего...» Ему казалось, что с падением Москвы для России рухнуло все. «О Москве и говорить нечего, — писал он. — Сердце кровью обливается... Каждое утро мне кажется, что я впервой еще узнаю об горестной ее участи». «Ты не можешь сомневаться, чтобы я не разделял грусти твоей о участи Москвы: но признаюсь, я не согласен с тобою, чтобы всему был конец и пр. и пр.», — возражал ему Дмитрий Северин.

Служивший в Испании Северин и петербуржец Александр Тургенев были единственными друзьями Вяземского, от которых он регулярно получал вести. Жуковского никто не мог отыскать. В плохое верить не хотелось, друзья утешали себя тем, что верно уж он заболел или уехал в деревню... Единственным из приятелей, с кем Вяземскому удалось повидаться в декабре 1812 года, был Батюшков — он навещал в Вологде сестер. Но и эта встреча оказалась короткой: Батюшков уехал в Петербург. Его назначили адъютантом к тому самому генералу Бахметеву, которого спас во время Бородина Вяземский. Батюшков был мрачен, полон грустных предчувствий. «Если ты переживешь меня, — сказал он князю, — возьми у Блудова мои стихи, издай их... а впрочем, делай с ними что хочешь». В конце июля 1813 года штабс-капитан Батюшков отправился в действующую армию...

Прощаясь, друзья обменялись стихами: Батюшков переписал для князя свое новое послание «К Дашкову», а сам увез с собой список «Послания к друзьям моим Жуковскому, Батюшкову и Северину», созданного Вяземским в Вологде. Послание очень мрачное — Вяземский допускает в нем, что предполагаемая болезнь Жуковского оказалась для него роковой, и заочно прощается с другом... Стихи написаны октябрьской ночью, когда он «более обыкновенного был удручен мрачными предчувствиями и горестными воспоминаниями». В послании — отзвук элегии Жуковского «Вечер», может быть, намеренный («Где вы, товарищи-друзья? / Кто разлучил соединенных...» — у Жуковского «Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? / Ужели никогда не зреть соединенья?»).

Петр Андреевич и сам собирался вернуться в полк — отпуск подходил к концу. Но Милорадович поблагодарил князя за службу и отказался от его услуг. Военная карьера Вяземского закончилась, Отечественная война тоже шла к победоносному завершению. Начинался блистательный заграничный поход русской армии.

Чуть больше месяца пробыли французы в Москве. Весть о пожаре города привез Вяземскому Батюшков. «Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия, — писал князю Тургенев. — Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического, а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу...» 10 января 1813 года Вяземский приехал из Вологды в Остафьево... И вот он снова в Москве... Въехал туда ночью, в дрожащем свете костров, у которых грелись

лишившиеся своих домов люди. Думал, что разрушения будут, но *такого* кошмара не мог представить и в страшном сне. Города его детства, отцовского города больше не было. Вместо деревянных домов — пепелища, каменные коробки стоят закопченные, запорошенные снегом, без крыш и окон. Пречистенки и Арбата нет. Тверской бульвар, на котором всегда была оживленная толчея, так тих, что становится страшно, половина его деревьев срублена. Речка Неглинка почти вся завалена обгоревшими бревнами... «Что душа моя? — спрашивал он сам себя, глядя на руины. — Выдержит ли? Выстоит? И что теперь дальше будет?» Было ясно, что жизнь после гибели Москвы, после победы изменится... Но как? Невольно вспомнились ему злые слезы Батюшкова в Вологде: «Москвы нет! Вот плоды просвещения остроумнейшего народа... Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды?»...

Вяземский написал мрачное «Послание к Жуковскому из Москвы, в конце 1812 года», где есть и «ряды могил, развалин обгорелых / И цепь полей пустых, осиротелых», и приглашение Жуковскому приехать скорее. Звучал этот призыв («Я жду тебя, товарищ милый мой!») неуверенно — где в то время находился Жуковский, князь еще не знал. Но уже было известно, что ничего страшного с ним не случилось — просто долго лежал в Вильне больной (а оттуда, как потом выяснилось, прямиком поехал в тульское село Муратово). В начале мая 1813 года появилось еще одно послание к Жуковскому — «К Тиртею Славян». Его Вяземский создал под впечатлением от стихотворения Жуковского «Вождю победителей», обращенного к Кутузову, и поэмы «Певец во стане Русских воинов», которая в те дни гремела по всей России...

Мало-помалу восстановились связи и с другими друзьями: многие из них храбро воевали, были награждены чинами и орденами (Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, Федор Толстой, Алексей Перовский, Павел Киселев). В июне 1813 года вернулись в Москву Карамзины. Они сначала снимали «несколько комнат без всякой удобности», а потом перебрались в Остафьево. Усадьба почти не пострадала от врагов, может потому, что поблизости действовал партизанский отряд Фигнера. Только в стенах дома осталась пара пулевых отверстий да несколько десятков книг пропало из библиотеки.

После пожара Вяземский остался в Москве без кола и двора — с женой и двумя крошечными детьми на руках (7 августа 1813 года Вера Федоровна родила дочь Машу). Родной отцовский дом уцелел при пожаре, но он уже не принадлежал Вяземскому: по совету Карамзина был продан

генерал-майору Алексею Тимофеевичу Тутолмину, сыну московского генерал-губернатора. Пришлось поселиться в неаристократическом районе, на Старой Живодерке, где стоял одноэтажный деревянный дом, боком выходивший на Садовое кольцо и принадлежавший отчиму Веры Федоровны полковнику Кологривову. Дом был огромный, с садом и огородом — настоящая усадьба посреди города. Гостеприимством этой усадьбы Вяземские пользовались около трех лет, на лето обычно выбираясь в Остафьево. Семейная жизнь мало-помалу наладилась, вошла в послепожарную колею. Однако счастье молодых супругов омрачила внезапная смерть в августе 1814 года двухлетнего первенца — сына Андрюши.

В конце июля 1814-го Вяземский, которому только что исполнилось двадцать два, подвернулся под перо Филиппу Вигелю, прибывшему в Москву с рекомендательными письмами. «Меня сначала смутила холодность, с какою, казалось мне, был я принят, — пишет Вигель. — Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо ни на какое другое не похожее... Он был женат, был уже отцом, имел вид серьезный, даже угрюмый, и только что начинал брить бороду. Не трудно было угадать, что много мыслей роится в голове его; но с первого взгляда никто не мог подумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце: эта тайна открыта была одним женщинам. С ними только был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами — холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка. Я не принадлежал к числу их и не имел права на его приветливую искренность. Но с неподвижными чертами и взглядом, с голосом немного охриплым, сделал он мне несколько предложений, которые все клонились к тому, чтобы в краткое пребывание мое в опустевшей Москве доставить мне как можно более развлечений. Он поспешил записать меня в Английский клуб... пригласил меня на другой день к себе обедать и назначил мне в тот же вечер свидание на Тверском бульваре... куда два раза в неделю остатки московской публики собирались слушать музыку». Чуткому и обычно придирчивому к людям Вигелю Вяземский явно понравился, хотя мемуаристу показалось странным, что в доме князя он слышал только французскую речь — ни слова на русском. «Стыдно, право, Вяземскому, который так славно писал на нем, так чудесно выражался на нем в разговорах, что он не попытался ввести его в употребление в московском обществе, где имел он такой вес, — пишет Вигель, но тут же

оговаривается: — Мне ли упрекать его, когда с любезными ему французами он храбро сражался и в славной Бородинской битве готов был проливать кровь за отечество?»

«Развлечения» на руинах Москвы всю весну и все лето более или менее были связаны с победным окончанием заграничной кампании — 19 марта 1814 года пал Париж. «День чудес невероятных! Мы в Париже, — ликует Вяземский в письме к Тургеневу. — Шутки в сторону, дела великие и единственные... Я отдал бы десять лет и более своей жизни, отдал бы половину и более достояния моего, чтобы быть 19 марта в Париже». Первый джентльмен и дипломат Европы Александр I с триумфом возвращается на родину... Первопрестольная хлебом-солью принимала воинов-победителей — в их числе был и брат Веры Федоровны Федор Гагарин, уже произведенный в гусарские майоры, с новеньким Георгием IV степени на груди... 19 мая в Москве, в доме статского советника Полторацкого у Калужских ворот, состоялся пышный праздник в честь взятия французской столицы. Была представлена аллегорическая пьеса «Храм бессмертия», в которой Вера Федоровна сыграла Благодарную Россию. (Бдительные дамы подметили и даже записали, что платье молодой княгини стоило 2 тысячи рублей, а бриллианты на ней были на все 600 тысяч.) Бал открылся торжественным полонезом; в небо ударил ослепительный фейерверк, по глади Москвы-реки скользили иллюминированные ботики... Пять тысяч человек получили пригласительные билеты на этот праздник. Князь Петр Андреевич вошел в комиссию по его организации и, кроме того, написал слова для полонеза, хор «Многолетие Александра» (музыку сочинил Дмитрий Бортнянский) и катрен к бюсту царя-победителя*:

Муж твердый в бедствиях и скромный победитель.
Какой венец Ему? какой Ему алтарь?
Вселенная! пади пред Ним — Он твой спаситель!
Россия! Им гордись: Он сын твой, Он твой Царь!

Этим четверостишием Вяземский был доволен. В немногих строках ему удалось сказать больше, чем «сонму лже-Пиндаров надутых» в огромных торжественных поэмах... Надпись произвела на всех необыкновенное действие и стала одним из самых знаменитых русских стихотворений. 27 июля 1814 года придворный хор исполнял ее в Павловске при приближении государя к триумфальным воротам. Императрица-

* Надпись к бюсту Александра I — первое стихотворение Вяземского, напечатанное им за полной подписью.

мать Мария Федоровна слушала стихи Вяземского с нескрываемым удовольствием, да и сам Александр Павлович, по слухам, вполне благосклонен к князю. Бриллиантовый перстень в награду — тому свидетельство. «Настраивайте лиру вашу; поприще славы открыто вновь героям нашим и певцам их подвигов», — наставляет Вяземского старый придворный поэт Нелединский-Мелецкий. Русская поэзия входит в моду — пока что как приятная приправа к торжеству победителей...

Александр Тургенев в эти дни писал Вяземскому: «Я надеюсь, что, восхищенный подвигами рыцаря-победителя и одобренный успехами в сем новом роде, оставишь старые грехи свои». Под старыми грехами подразумевалось, конечно, небрежно-злое «Сравнение Петербурга с Москвой». Тургенев и другие друзья явно хотели подтолкнуть князя к развитию модной «героической» тематики — образцом, по-видимому, служил Жуковский, недавно написавший триумфального «Певца во стане Русских воинов» и ныне работавший над посланием «Императору Александру». Но поэтическо-патриотическая дань Вяземского обстоятельствам оказалась совсем небольшой. Военной тематики он коснулся еще пару раз в совсем не официальных стихотворениях «Русский пленник в стенах Парижа» и «К партизану-поэту» (два послания к Давыдову с одинаковыми названиями). Царю-победителю посвятил «Песнь на день рождения Государя Императора», которую отдал в журнал «Сын Отечества». И все. Лавры придворного трубадура оставлены Жуковскому. Почему, спрашивается? Ведь во время эйфории 1814—1815 годов попали в фавор десятки поэтов. Бриллиантовые лиры, золотые табакерки и императорские благоволения так и сыпались на тех, кто воспевал сожженную Москву, покоренный Париж, низложенного Наполеона, великого Александра... Вспомним тут о характере Вяземского — гордый Рюрикович не захотел становиться в один ряд с многочисленными рифмачами, набросившимися на лакомые темы. И царским перстнем он вовсе не склонен щеголять. «Как можно быть поэтом по заказу? — спрашивал он у Тургенева. — Стихотворцем — так, я понимаю; но чувствовать живо, дать языку души такую верность, когда говоришь за другую душу, и еще порфирородную, я постигнуть этого не могу!» Отказом *воспевать* он дает понять, что пишет только по велению сердца. Как это у Дмитриева: «Поется мне — пою; невесело — молчу...»

А что же Жуковский? Это особ статья. У него самые банальные официальные предметы выходили из-под пера искренними и лишенными пошлости. Это Вяземский называл

«вернейшей приметой его чародейства»: «Для него дворец преобразовывается в какую-то святыню, все скверное очищается пред ним...»

...Москва веселела, отстраивалась, самый воздух здесь бодрил. На сгоревших улицах вставали новые дома, еще краше прежних. Это был новый, «послепожарный» город (всю жизнь Вяземский будет тосковать о «старой», сгоревшей Москве: «Иногда мне сдается, что все виденное мною было только игрою и обманом сновидения или что за тридесять веков и в тридесятом царстве жил я когда-то и где-то и ныне перенесен в совершенно другой мир»). Друзей в *этой* Москве по-прежнему не было: Жуковский в деревне, Батюшков и Тургенев в Петербурге... Вяземский мечтал их собрать: «Зачем нашей братии скитаться как жидам? И отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда в одной конюшне и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно, на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу, и рука в руку? Я вздыхаю и тоскую по будущему... Дело не в том, чтобы зажить иначе, а чтобы зажить радостнее». Общались друзья с помощью переписки и новых стихов. Своеобразным поэтическим приветом Жуковскому и Тургеневу стали написанные Вяземским летом 1814 года сатирические куплеты «Ноэль» — этакая ода навыворот. Ее князь сочинял с явной целью насолить наставительным друзьям, требовавшим от него новых песнопений на взятие Парижа. «Призываете меня забыть старые грехи? — усмехаясь, словно спрашивал Вяземский Жуковского и Тургенева. — Ну так вот вам — назло...» Язвительный «Ноэль» действительно совершенно не вписывался в общую картину русской поэзии 1814 года, и трудно поверить, что писавший его человек совсем недавно сочинил торжественный хор «Многолетие Александра».

Жанр ноэля пришел в русскую поэзию из Франции — главным специалистом по ноэлям считался в 1780-х годах князь Дмитрий Горчаков (кроме него, ноэли в России писали только Вяземский и Пушкин). Это была пародийная рождественская песня, где в виде волхвов, приносящих дары новорожденному Спасителю, представлены были достойные осмеяния персоны. В двадцати одной строфе своего «Ноэля» Вяземский не забыл ни знаменитых своей бестолковостью и воровством государственных мужей (министров Гурьева и Козодавлева), ни неудачливых полководцев минувшей войны (разбитый под Люценом Витгенштейн и упустивший при березинской переправе Наполеона Чичагов), ни врагов Ка-

рамзина, «беседчиков» — Захарова, Карабанова, Шаховского, Ширинского-Шихматова, кузенов Хвостовых и однофамильцев Львовых... Дошел даже до того, что задел самого основателя жанра русского ноэля князя Горчакова, который подвизался в рядах «Беседы»!.. И хотя большая часть «Ноэля» — все-таки о литераторах, а не о министрах, список лиц, выведенных 22-летним Вяземским в куплетах, говорит о том, что молодой князь имел свой собственный взгляд на политику русского правительства, и взгляд этот был весьма ироничным, не затуманенным восторгами по поводу недавних побед.

Впрочем, не следует думать, что «Ноэль» (как и более раннее и более злое «Сравнение Петербурга с Москвой») — свидетельство каких-то антиправительственных замыслов молодого автора. Подобные сатиры, подчас с непристойными фрагментами, были неотъемлемой частью рукописной литературы конца XVIII века и имелись в домашней библиотеке каждого просвещенного вельможи. Такая литературная «чепуха», где серьезные проблемы подавались в шуточном, а то и почти абсурдном виде, всегда высоко ценилась Вяземским. Принадлежавший ему рукописный сборник русских нецензурных стихотворений, составленный еще статс-секретарем Екатерины II Храповицким, сгорел в пожаре 1812 года, но память князя сохранила несколько образчиков такой поэзии. Вот, например, что писал его старший приятель С. А. Неёлов:

Мой геморрой
Иной порой
Вертит меня, ломает,
Но ах, Сенат
Мне во сто крат
Жить более мешает.

Сардонически улыбаться по поводу промахов правительства, колоть едким стихом неудачно назначенного министра или провалившуюся реформу — этим грешил не один Вяземский. Да и грехом такое поведение назвать нельзя. Прямой потомок Рюрика не мог не ощущать свою кровную принадлежность к русской истории, русской государственности и не подавать свой голос — пусть пока и в стихах. Вяземский по праву чувствует Россию *своей*, и чувство это не казенное, а домашнее, небрежно-улыбчивое, что называется, «в халате». Отсюда законная ирония по поводу государственных мужей, многие из которых куда ниже Вяземского по происхождению.

«Ноэль» попал в точку и сильно расстроил Жуковского, которому совсем не нравилась в молодом друге его манера осмеивать всех и вся. Он сокрушался, что князь изощряется в «злом остроумии», собрался «в двадцать лет быть обвинителем и, может быть, клеветником», и предостерегал Вяземского: «Поверь мне, такого рода сочинения не сделают никогда чести и могут быть причиною несчастия». Жуковский был не совсем прав: «Ноэль» получился вовсе не злым, в нем куда больше аттической соли, небрежности в сочетании с тонким юмором, понятным только посвященным. «Чести» Вяземскому эти стихи, может быть, действительно не сделали, а вот поэтической известности добавили. Александр Тургенев сообщал автору, что даже члены Государственного совета в своем кругу напевали лихую строфу, посвященную... им самим:

Совет наш именитый,
И в лентах и в звездах,
Приходит с шумной свитой —
Малютку пронял страх.
«Не бойся, — говорят, — сиди себе в покое,
Не обижаем никого,
Мы, право, право, ничего,
Хоть нас число большое!»

Многочисленные члены «Беседы любителей русского слова» были помянуты Вяземским в «Ноэле» вовсе не зря — общество это в последнее время заметно оживилось. Драматург князь Шаховской, во многом делавший погоду на петербургской сцене, в своей недавней поэме «Расхищенные шубы» (Вяземский назвал ее в «Ноэле» «холодной») задел Василия Львовича Пушкина — карамзиниста, изящного поэта, милого и славного человека... Василий Львович огорчился, как мальчик. Летом 1814 года написал он послание к Вяземскому, где изливал свою обиду, жаловался на «завистников, невежд», которые затравили драматурга Озерова, травят Карамзина и его, Василия Львовича... Василий Львович был старше князя на четверть века, любил его как сына, но тут Вяземскому пришлось его утешать:

Ты прав, любезный Пушкин мой,
С людьми ужиться в свете трудно!
У каждого свой вкус, свой суд и голос свой:
Но пусть невежество талантов судией —
Ты смейся и молчи — роптанье безрассудно!

Прочитав поэтическую переписку друзей (послания Пушкина и Вяземского появились в «Российском музеуме»), в диалог вступил Жуковский, обращаясь к Вяземскому:

С тобой хочу я говорить,
Мой друг и брат по Аполлону!
Склонись к знакомой лиры звону,
Один в нас пламенеет жар,
Но мой удел на свете — струны,
А твой: и сладких песней дар,
И пышные дары фортуны.

В другом послании он разобрал стихотворение Вяземского «Вечер на Волге» с позиций стилистики. Это было в русской поэзии невиданное — рифмованная рецензия в дружеской, непринужденной форме!.. Вариант этой рецензии в прозе Жуковский отправил князю 19 сентября: «Я получил твое милое письмо, любезный друг, и прекрасные стихи — новый род стихотворения, то есть *живописный*, не кажется ли тебе новым? Прекрасно! Действие этих стихов точно такое же, как действие прекрасной природы, как действие спокойного взгляда на великолепные зрелища — в душе после них остается что-то живое и вместе тихое! Ты требуешь моего благословения? Благословляю обеими руками! Если ты не поэт, то кому же сметь называться поэтом? Пиши более для собственного счастия, ибо *поэзия есть добродетель*, следовательно, счастие!.. Твои стихи я читал и один и с ареопагом. В первые два чтения они менее мне и нам понравились, нежели после. Мы перечитали их с Блудовым и Тургеневым еще раз — прекрасно! Они полны свежести! Природа в них дышит!» И дальше следует очень трогательный, типично «жуковский» пассаж: «Брат, твоя дружба есть для меня великая драгоценность, и во многие минуты мысль об ней для меня ободрительна. Помнишь ли, когда мы обедали вместе у князя Гагарина, ты сказал Толстому, показывая на меня: «Il a une belle âme!*» Я вспоминаю об этой минуте всегда с необыкновенною сладостию, и то чувство, которое произвело во мне это слово, доказывает мне, что я тебя люблю».

Итак, Жуковский, у которого князь Петр Андреевич еще в 1812 году спрашивал совета, стоит ли писать стихи, благословлял обеими руками и убеждал работать прилежнее. О том же твердил ему и Батюшков — оба упрекали друга в лени. Вяземский ответил посланием «К друзьям», которое начал так:

Гонители моей невинной лени,
Ко мне и льстивые, и строгие друзья!
Благодарю за похвалы и пени —
Но не ленив, а осторожен я!
Пускай, довольствуясь быть знаем в круге малом,

---

* У него прекрасная душа! (*фр.*).

Я ни одним еще не завладел журналом
И, пальцем на меня указывая, свет
Не говорит: вот записной поэт!
Но признаюсь, хотя и лестно, а робею:
Легко, не согласясь с способностью моею,
Обогатить, друзья, себе и вам на зло
Писателей дурных богатое число...

Письмо к Тургеневу еще определеннее:

«Ты шутишь надо мною, когда говоришь, что ты мне желаешь уединения и охоты к трудам мирным. Жуковскому — так, но мне с какой стати? Мне ленивейшему, мне пустейшему и неспособнейшему из смертных! Перекрестись, Тургенев; ты, верно, хотел о Шаликове говорить. Я давно уже знаю и давно говорю, что я *ноль*: с другими числами могу что-нибудь значить, оди́н — ничего. Жалей обо мне или нет, но верь мне, потому что я говорю правду».

Это, конечно, маска, литературный прием, широко в то время распространенный, — беспечный поэт-эпикуреец, дилетант, жизнь свою проводящий праздно, к стихам своим равнодушный. Но Вяземский репутацию «ленивца» успел за пять лет в словесности заработать всерьез и охотно ее поддерживал: светской жизнью своею, «легкими» жанрами, судьбой «баловня» фортуны. Да, на фоне своих друзей он действительно баловень — самый знатный, сын знаменитого вельможи, известен далеко не только стихами, как Жуковский, но и модными нарядами и обедами... Жуковский и Батюшков рядом с ним в литературном плане выглядят куда основательнее: трудолюбивы, очень образованны, хотя в стихах у них тоже пиры, дружба, венки из роз, кубки... Оба усердно пишут, переводят, планируют (Батюшков — перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо, Жуковский — поэму «Владимир»); для них жизнь — поэзия. А Вяземский жизнь и поэзию совмещает. Он не хочет вставать каждый день в пять утра, как это делает Жуковский, и усаживаться за словари, за книги, заниматься самообразованием. Он с легкостью уступает друзьям первые места на Парнасе, а тех это сердит. «Пиши, пиши стихи!» — наперебой твердят ему со всех сторон...

Конечно, друзья желали Вяземскому только добра. В самом деле, не идеал ли русского поэта видели они тогда в нем?.. Когда еще в России рождался на свет умный, образованный, богатый и знатный человек, который сочинял хорошие стихи? Если аристократы и брались за перо, то получалось в лучшем случае что-нибудь не очень пристойное, а в худшем — просто банальное. Князь Долгоруков, князь Гор-

чаков... Это не поэты, а стихоплеты. Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин, Дмитриев, Карамзин — все выходцы из бедных или небогатых, незнатных, провинциальных семей, все они потратили много времени на то, чтобы выбиться в люди, войти в литературные круги. И сами Жуковский с Батюшковым немало испытали, прежде чем добились известности... А тут человеку все само в руки плывет. И он не стихоплет, при желании из него может получиться большой поэт. Ему можно не убивать время службой, заниматься только творчеством. А он, похоже, вовсе не собирается пестовать свое дарование.

Вяземский «истинно мужает, но всего, что может сделать, не сделает, — писал Батюшков Жуковскому. — Жизнь его проза. Он весь рассеяние. Такой род жизни погубил у нас Нелединского. Часто удивляюсь силе его головы, которая накануне бала или на другой день находит ему счастливые рифмы и счастливейшие стихи. Пробуди его честолюбие. Доброе дело сделаешь, и оно принадлежит тебе: он тебя любит и боится. Я уверен, что ты для него совесть во всей силе слова, совесть для стихов, совесть для жизни, ангел-хранитель». Тут Батюшков не вполне прав. Ангелом-хранителем Жуковский для Вяземского стал гораздо позже. А в молодости князь горячо любил Жуковского, это верно, но любовь эта отнюдь не мешала ему скептически (а временами и ядовито) воспринимать его «небесность» и склонность к уединенному труду. Вот диковатое письмо Вяземского Тургеневу: «Нельзя долго жить в мечтательном мире, и не надобно забывать, что мы хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть и очень. Жуковский же пренебрегает вовсе скотством: это гибельно». Много позже поймет он, что Жуковскому «скотство» вовсе чуждо, что он *не такой*, каким его хотелось видеть... Но в 1814—1815 годах, используя весь свой небезболезненный иронический дар, Вяземский и так и этак дает друзьям понять, что усидчивого творца, кропотливо отделывающего свои строфы, из него не выйдет. Он «весь рассеяние». И иногда это рассеяние порождает стихи, хорошие ли, худые — другой вопрос. Если худые, он готов даже покорпеть над ними... недолго... Потому что литература — это всего лишь литература. А стоит высунуть из кабинета нос — и вот она, *жизнь*.

Спустя 60 лет Вяземский сдержанно и со многими оговорками согласился с упреками покойных уже друзей. Признал, что слишком было много в молодости и суеты, и суетности. «Но, может быть, все это происходило между прочим

и от смиренного убеждения, что я вовсе не могу считать себя, по дарованию своему, призванным занять трудовое и видное место в литературе нашей, — пишет он. — Я был, так сказать, подавлен дарованиями и успехами двух друзей моих, мало того, я не смел сравнивать себя и с второстепенными дарованиями... Эти слова не унижение паче гордости, а добросовестное и убежденное сознание. Батюшков пеняет мне, что я не вполне посвящаю себя обязанностям и трудам писателя. Но я никогда и не думал *сделаться* писателем: я писал, потому что писалось, потому что во мне искрилось нечто такое, что требовало улетучивания, просилось на волю и наружу... Впрочем, не хочу оправдывать и прикрывать себя одним смирением. Смирение смирением, но, вероятно, числилась на совести моей в то время и порядочная доля легкомыслия... Как припоминаю себе то время, не могу не сказать, что я тогда не признавал жизни за труд, за обязанность, за нравственный подвиг. Как писал я, потому что писалось: так и жил я, потому что жилось. О служении какому-нибудь высшему идеалу, о стремлении к цели общеполезной я и не заботился и не думал... Довольствовался я тем, что мог уважать в других эти высокие побуждения, эту святую веру в свой подвиг, эту силу и постоянство».

В общем, сам Вяземский так и не признается, чего в нем было тогда больше — трезвого осознания того, что тягаться с великими друзьями бессмысленно, или же молодой беззаботности, вполне понятной. Ясно одно — становиться *только* поэтом, как Жуковский и Батюшков, он не хотел. Более того — он вообще не хотел *становиться* поэтом. Это казалось ему слишком скучным и правильным. Все-таки Жуковский и Батюшков старше его, их приучили в пансионах к терпеливому труду на благо собственной души... А он, легкомысленный наследник всей русской поэзии, любит рассеяние. Так что ж дурного в том, что он не похож на Жуковского?.. Жизнь велика. Зачем ограничивать ее только рифмами? Он вполне мог бы подписаться под словами Пушкина: «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей».

Но примеры друзей, ласковые упреки Карамзина все же делают свое дело, и часто Вяземского можно видеть в кабинете за чтением. Он завел две записные книжки (на дневник у него терпения не хватило, временами он принимался за него, но потом бросал), регулярно выписывает из книжных лавок русские и французские новинки. И, кстати, помнит о

завете Жуковского: «Что в час сотворено, то не живет и часа». Стихи даются вовсе не так легко, как кажется... Он старательно выверяет размер своих творений, расставляет стопы, и черновики его почерканы не меньше, чем у друзей... В ответе на послание «К друзьям» Жуковский весело отвергал все попытки Вяземского откреститься от пера:

Ты, Вяземский, хитрец, хотя ты и поэт!
Проблему, что в тебе ни крошки дара нет,
Ты вздумал доказать посланьем,
В котором, на беду, стих каждый заклеймен
Высоким дарованьем!
Притворство в сторону! знай, друг, что осужден
Ты *своенравными богами*
На свете жить и умереть с стихами...
....
Страшися, мой певец, не смелости, но лени!
Под маской робости не скроешь ты свой дар;
А тлеющий в твоей груди священный жар
Сильнее, чем друзей и *похвалы и пени*!

И в другом послании:

Мой друг, твои стихи блистают дарованьем,
Как дневный свет.
Характер в слоге твой есть точность выраженья,
Искусство — простоту с убранством соглашать,
Что должно в *двух словах*, то в двух словах сказать
И красками воображенья
Простую мысль для чувства рисовать!
К чему ж тебя твой дар влечет, еще не знаю,
Но уверяю,
Что Фебова *печать* на всех твоих стихах!

Похвалы друга многого стоят: мастер слов на ветер бросать бы не стал. Признание Жуковского (и таких величин, как Дмитриев и Батюшков) означало только одно: поэт Вяземский существует и занимает почетное место на русском Парнасе...

...Поэтический путь князя Петра Андреевича длился семьдесят лет — с 1808 по 1878 год. Ни один из больших русских поэтов не может похвастать таким — и жизненным, и творческим — долголетием. Равно как никто из русских поэтов не может похвастать и единственной (она же первая) прижизненной книгой стихов, вышедшей, когда автору было семьдесят лет. Поэтическая судьба Вяземского оказалась, с одной стороны, счастливой — какое-то время он был, образно говоря, одним из «трех консулов» русской поэзии, «правивших» в преддверии Пушкина, пользовался широкой известностью и авторитетом, создал ряд классических

произведений и пережил несколько творческих взлетов, его стихотворение «Еще тройка» стало народной песней, строка «И жить торопится, и чувствовать спешит» — пословицей... С другой стороны, творчество Вяземского устарело еще при его жизни, он оказался единственным поэтом своего поколения, не издавшим стихи книгой в 10—30-х годах; находясь в самом центре литературной жизни, он одновременно наблюдал за ней как бы сбоку, не делая литературу своей профессией. Его поэтическая судьба не знала пауз, но наряду со взлетами она нередко «провисала», как, например, в начале 20-х или середине 40-х годов. Вяземский писал очень хорошие стихи (их много), но писал и очень плохие (их тоже немало)...

Не везло ему и с критикой — если ранний Вяземский обычно встречал теплый прием, то с конца 20-х годов его авторитет как поэта все чаще начинает подвергаться пересмотру, к тому же и приветственные, и бранные отзывы о нем обычно очень поверхностны. В середине 40-х князь Петр Андреевич многими воспринимался уже как обломок ушедшей эпохи, в конце 50-х его грубо высмеивает «демократическая» пресса, а в следующие шесть десятилетий на его творчество вряд ли обращал внимание кто-нибудь, кроме пяти-десяти исследователей и поклонников пушкинской эпохи (очень характерно название статьи о Вяземском в «Историческом вестнике» 1892 года: «Писатель 20-х годов»; а «Санкт-Петербургские ведомости», печатая в 1913-м заметку к 35-летию со дня смерти князя, заставили его умереть месяцем раньше — 10 октября вместо 10 ноября. Все уже забылось...). В советское время Вяземский — автор гневных околодекабристских филиппик был фактически открыт заново, зато никчемными были объявлены его поздние стихи. С 1960-х Вяземский воспринимается уже не как «типичный представитель старой барской культуры», а как «поэт пушкинской поры» или «пушкинского круга»; происходит легкий «реабилитанс» полуопального князя, однако по традиции последние тридцать лет его жизни считаются малоценными (в монографии М. И. Гиллельсона им уделена одна небольшая глава), религиозная лирика по-прежнему допускается в сборники очень мало, «официальные» стихи вообще не переиздаются. В 1981 году В. В. Афанасьев имел все основания сожалеть о том, что «инерция неприятия по отношению к поздним стихам Вяземского была так живуча, что — без всяких на то оснований — дожила чуть ли не до сегодняшнего дня». В целом же отношение к Вяземскому «на высшем уровне» скорее негативное: написанную к сто-

летию со дня смерти князя книгу Вадима Перельмутера после долгих издевательств над рукописью и автором так и не выпустили. Да и зеркало государственной идеологии, «Советский энциклопедический словарь», в 1979, 1982 и 1984 годах делает неодобрительный акцент на том, что в стихах позднего Вяземского «преобладают антиреволюц. и монархич. мотивы».

Тем не менее именно начало 1980-х отмечено парадоксальным всплеском издательского интереса к Вяземскому в СССР: двухтомник 1982 года, сборник критики 1984-го, том в серии «Библиотека поэта» 1986-го, и это не считая изданий для детей.

Наконец, примерно с 1987 года начинается новая эпоха в восприятии Вяземского-поэта. В новом издании вышеупомянутого энциклопедического словаря в коротенькой справке гнев сменили на милость: «поэзия воспоминаний, трагич. мотивы; придерживался консерват. общественных взглядов». Мало-помалу Вяземский признается крупным и самодостаточным явлением, появляется даже литературная премия его имени; растет число современных поэтов, которым Вяземский близок и дорог (среди них Иосиф Бродский, который признавал Вяземского одним из своих главных учителей и, по-видимому, именно у него перенял жанр «большого стихотворения»). Вместе с тем приходится сталкиваться и с противоположными мнениями — есть люди, печатно называющие Вяземского чуть ли не графоманом, в крайнем случае — забытым поэтом второго ряда, не создавшим ничего значительного... И снова вырабатываются штампы, без них, похоже, никак: если раньше основной упор в творчестве князя делался на сатирические жанры, то теперь вершиной его достижений считается лирика 70-х годов. Все чаще и чаще приходится слышать о том, что Вяземский — своего рода «русский анти-Рембо: средний поэт поначалу, гениальный — после»: пустое раннее творчество, очень долгое созревание и в последние годы жизни — целый ряд шедевров...

Да, небрежные миниатюры, вышедшие из-под пера несчастного, измученного болезнями и смертями близких старика Вяземского и не увидевшие света при жизни автора, по праву входят теперь во все антологии русской поэзии XIX века. Они близки и понятны современному читателю — как проблематикой, так и стилистическим строем. Но утверждать, что эти миниатюры были вершиной *всей* поэтической судьбы князя, ни в коей мере нельзя. Равно как нелепы были и заявления о том, что талант Вяземского ярче все-

го проявил себя в «Негодовании» и эпиграммах. Разве возможно представить себе Вяземского и русскую поэзию без великолепных дружеских посланий 10-х годов, без «Первого снега» и «Уныния», без «Прощания с халатом», «Моря», «Черных очей»? А «Леса», «Родительский дом», «Два ангела» (два стихотворения под таким названием), «Утешение»? Разве это не *вершины* для Вяземского?.. Да и сам термин «поздняя лирика Вяземского» требует к себе более тщательного подхода. Безусловно, проникнутые «едкой горечью» стихи 70-х были логическим завершением творческого пути поэта — но они замыкали собой длинную цепочку тем и ассоциаций, которая тянулась на протяжении пятидесяти — шестидесяти лет. Мотивы, характерные для старческих стихов Вяземского, впервые возникли в его творчестве уже в конце 10-х годов, а в начале 30-х заявляли о себе в полную силу («До свиданья», «Предопределение», «К старому гусару», «Тоска», «Жизнь и смерть»). Имея это в виду, можно сказать, что «поздняя лирика» еще совсем не старика Вяземского берет свое начало при жизни Пушкина...

Несколько раз за долгую свою судьбу Вяземский был «в зените» поэтического творчества. Менялся вместе со временем и принимал уроки друзей. Считал, что стихи «кончились», — и снова брался за перо, хоронил себя — и преодолевал... Да, сейчас понять всю прелесть его дружеской стихотворной переписки 1815 года неизмеримо труднее, чем оценить неизысканные и горькие миниатюры 1872-го, стоящие по стилистике рядом с поэзией XX века. Но упростить Вяземского, сведя его к Вяземскому-сатирику или «позднему» Вяземскому-философу, — значит обеднить большого и сложного поэта...

Молодой Вяземский отдал щедрую дань традиционным дружеским посланиям, в которых легко усвоил уроки Батюшкова, часто обращался он и к любовной лирике. Но друзья рано стали замечать в князе нежелание мирить форму стиха с его содержанием: если для полноты выражения мысли нужно было неблагозвучное сочетание слов, Вяземский-поэт с легким сердцем допускал такое сочетание... Батюшкова и Жуковского это раздражало. Сам же Вяземский охотно признавался в своих грехах: «Странное дело: очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах своих нисколько не гонюсь за этою певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что сказать хочу: об ушах ближнего не забочусь и не помышляю... Мое упрямство, мое насильствование придают иногда стихам моим прозаическую вялость, иногда

вычурность... В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли». В «упрямстве» Вяземского-поэта проявлялась его оригинальность. Конечно, к советам друзей он прислушивался, но в меру. Вот, скажем, послание «К подруге»: его густо правят Жуковский и Батюшков. Казалось, молодой поэт мог бы послушаться старших товарищей, признанных лидеров литературы, принять их поправки. Но Вяземский меняет всего две строки по совету Жуковского, а из всех предложенных Батюшковым вариантов принимает... одно-единственное слово. С таким же «упрямством» он будет воспринимать потом и критику Пушкина. Из советов друзей принимается только то, что не противоречит творческим установкам самого Вяземского.

К 1815 году вполне уже сложился стиль раннего Вяземского, слог, столь же своеобычный, как и его создатель; сильный, выразительный, он поражал современников какой-то необычайной духовной напряженностью («Вольтерова острота и сила», — отзывался о нем Александр Воейков) и в то же время легкостью («живой и остроумной девчонкой» назвал музу Вяземского Батюшков). Генеалогию его можно вывести из Державина, к которому Вяземский, невзирая на членство его в «Беседе», продолжал относиться с большим почтением и которому в 1816-м посвятил первую свою критическую работу. Но тут и Дмитриев, очень много Дмитриева, тоже умело сочетавшего в своем творчестве сатиру с лирикой, и французский учитель Дмитриева — Буало-Депрео, и много Батюшкова, и французская «легкая» поэзия — Шолье, Шапель и Парни, и в меньшей мере Карамзин и Жуковский. Вяземский — непревзойденный мастер мелких жанров: эпиграммы, альбомной записи; он пишет эклоги, «песни», дружеские послания, пародии, сочиняет немало басен (очень недурных), но привлекает его и жанр дидактического послания, во многом несущий в себе сатирический заряд. Легко заметить и разность между жанровыми системами Вяземского и его современников. Вяземский словно из принципа не берется за большие, сюжетные вещи, отдает очень скромную дань переводам. У него нет медитативных элегий и баллад, как у Жуковского, развернутых пейзажных элегий, как у Батюшкова. А у Дмитриева он не унаследовал жанр сказки-новеллы, хотя Батюшков и полагал, что этот жанр создан «как нарочно для... остроумия, ума и сердца» Вяземского.

В отличие от интимной, гармонически выстроенной лирики Жуковского и Батюшкова поэзия Вяземского далека от автобиографичности, несладкозвучна, зачастую тяжела для

восприятия, пестрит почти прозаическими, словно вырезанными из железа труднопроизносимыми строками и отступлениями от правил синтаксиса (критики-пуристы часто пеняли князю за это) — но вся искрится умом и иронией. Это поэзия мощная, остроумная, дерзкая, суховатая, словно натура отца, Андрея Ивановича, проглянула в творчестве сына. От нее веет XVIII веком, но после этой поэзии следует уж поэзия пушкинская.

«Ты, я да Батюшков — должны составить союз на жизнь и смерть, — пишет Жуковский князю. — Поэзия — цель и средство, славе — почтение; похвалу болтунов — к черту, дружбе — все!» И еще: «Сердце прыгает, как подумаю, что мы родились в одно время, будем писать в одно время, будем рука в руку, в дружбе, с музами, идти к одному. Любо! Вяземский, не спи ночи и пиши».

...В начале января 1815 года Жуковский приехал в Москву — впервые за прошедшие несколько лет. Остановился у Карамзиных на Малой Дмитровке. Для него год минувший был страшен: в прах обратились его надежды на венчание с любимой девушкой. Еще совсем недавно друзья предвкушали, как Жуковский поселится после свадьбы в селе Сурьянове, как станут все его навещать... И вот уже он пишет Тургеневу: «Я теперь скитаюсь, как Каин с кровавым знаком на лбу... Никакой план не представляется мне, и ни к какому не лежит сердце». Он понял, что ему предстоит *жизнь без счастия.* Решил трудиться, бороть «низкое уныние», охватившее душу. И неожиданно... почти успокоился. Сел за работу... Осень 1814-го получилась удивительной — он написал столько новых стихов, что они могли бы составить толстый том. Он преодолел себя, этот светлый, мужественный человек... Вяземский был в курсе сердечных дел Жуковского (сохранилось откровенное письмо Жуковского Тургеневу с припиской Вяземского), но временами все же не мог сдержаться и больно поддевал друга; ему казалось, что все, что произошло с Жуковским, достойно сатиры, что он никогда не «образумится» теперь... Ему было всего лишь двадцать два, и ему просто хотелось видеть Жуковского более компанейским — таким же дурашливым, милым, беспечным, как летом 1810-го. Душевная глухота друга иногда задевала Жуковского, и он давал волю своему раздражению в письмах: «Между нами будь сказано, ты эгоист в своих дружеских связях...»

И все-таки князь понимал, кто идет рядом с ним по свежеотстроенным столичным улицам. Прятал глубоко свою ненужную иронию. Смотрел на друга с нежностью. Сколько

в Жуковском хорошего! Недаром его любят все, кто с ним знаком... Вдвоем друзья побывали у Ивана Ивановича Дмитриева. Выйдя в отставку с поста министра юстиции, он купил участок земли у Патриаршего пруда, в приходе Святого Спиридония, и заказал архитектору Витбергу дом взамен сгоревшего при пожаре. Получился «прекрасный отель в коринфском стиле». Дома Дмитриев — чинный, приветливый барин, важный и вместе с тем добродушный и пленительный в обращении. Он умел ценить и принимать все новое, и молодежь платила ему искренней любовью. Разговор старого поэта всегда блистал юмором и умом. Бывало, что гости его буквально погибали со смеху, слушая шутки Дмитриева, а он продолжал рассказ как ни в чем не бывало, с неподвижным и даже холодным лицом.

А смешной и восторженный, как всегда, Василий Львович Пушкин, брызгая слюной, читал всем подряд элегию «Воспоминания в Царском Селе», написанную его племянником, лицеистом Александром. Жуковский и Вяземский уже успели прочесть в первом номере «Российского музеума» послание племянника «К Батюшкову» — «Философ резвый и пиит, / Парнасский счастливый ленивец...» — и искренне порадовались за 15-летнего автора. А в исполнении Василия Львовича и вовсе услышали нечто чрезвычайно их поразившее.

«Что скажешь о сыне Сергея Львовича? чудо, и все тут. Его Воспоминания скружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картине. Дай Бог ему здоровия и учения, и в нем будет прок, и горе нам. Задавит каналья! Василий Львович, однако же, не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, не забывает никогда прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянником перед тем», — это первый отзыв Вяземского о Пушкине в письме к Батюшкову. «Воспоминания...» «скружили» князю голову примерно в середине января 1815 года...

7 марта Жуковский уехал в Петербург. Все чаще подумывал князь Петр Андреевич о том же. Причина лежала на поверхности: деньги. Остатки отцовского состояния еще составляли основу семейного бюджета, но это сегодня, а завтра?.. Он решил оставить Межевую канцелярию и перевестись поближе к друзьям. «Прибегаю к тебе, мой милый Тургенев, с решительною просьбою, на которую прошу заранее отвечать решительно, — писал он. — Я хочу ехать в Петербург и служить, но по какой части — не знаю». Одно время мечталось ему и о Веймаре, «где будут мне средства

заняться и учиться, чего мне весьма хочется», но потом русский вариант перевесил... Мысли метались «от полиции до дипломатики, от Архангельска до Мадрита». Тургенев начал хлопоты за него при дворе. Но хлопотал он как-то все между делом — был очень занят по службе и вообще был человек летучий, переменчивый, увлекающийся. Впрочем, Вяземский в нем ни минуты не сомневался — добрейший Александр для друзей расшибался в лепешку. Так что оставалось лишь ждать, когда «милая Тургенешка» подаст весточку...

Среди прочего Тургенев писал и о том, что петербургскими карамзинистами основано литературное общество и Вяземский принят в него заочно. Чуть позже князь узнал от Жуковского подробности этой истории. Он и не подозревал, что начинается самый светлый период в его литературной судьбе.

Все началось с обеда, который дал у себя 21 сентября 1815 года Дмитрий Блудов — у него и у Дашкова, тоже Дмитрия, были именины. К Блудову пришли приятели: карамзинисты — Жуковский, Тургенев, Вигель и члены «Беседы любителей русского слова» — Жихарев, Гнедич, Крылов. Противники ужинали и болтали весьма мирно, вечер прошел преприятно. Под конец уговорились пойти на премьеру новой комедии князя Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В предыдущих своих творениях Шаховской высмеивал Карамзина и его последователей, так что следовало ожидать скандала.

Премьера состоялась 23 сентября в Немецком театре на Дворцовой площади, напротив Зимнего дворца. Пьеса имела успех, была забавна и хорошо поставлена, вот только среди персонажей ее пару раз появлялся некий модный поэт Фиалкин, «в темном плаще», с гитарой наперевес, который «пел родных Приама чад, / Пел Ахилла, жадна к бою, / Пел Элены милый взгляд»... Пародия на баллады Жуковского!.. Пародия вовсе необидная, мягкая и действительно смешная. Сам Жуковский, ценивший *галиматью* и в жизни, и на сцене, увлеченно аплодировал пьесе. Но прирожденные полемисты, Блудов и Дашков, восприняли «Липецкие воды» как перчатку, которую «стишистая сволочь» бросила в лицо всему лучшему, что есть в русской литературе. Изобразить Жуковского в комедии было, по мнению Вигеля, то же, как если бы «намалевать рожу и подписать под нею имя красавца»... В литературном Петербурге закипели страсти (разжи-

гал их, понятно, вовсе не сам Жуковский). На драматурга обрушилась лавина сатирических произведений, которую Шаховской назвал «липецким потопом». Остроумную комедию карамзинистская критика разнесла в пух и прах, а ее автора объявила чуть ли не исчадием ада.

14 октября у попечителя Петербургского учебного округа Сергия Уварова на Малой Морской собрались Жуковский, Тургенев, Жихарев, Дашков и Блудов. Он-то и предложил создать литературное общество, чтобы неповадно было сиятельным драматургам поливать грязью кого им хочется... Блудов рассказал, что недавно по дороге в Нижний Новгород остановился на станции в Арзамасе; за стеной его комнаты собрались люди, ужинали и говорили о Карамзине, о его влиянии на литературу... Это, наверное, было собрание общества безвестных писателей. Поднялся шум. Мысль об обществе понравилась всем. Решили сделать его непременно беспечным и беззаботным, в пику официальной «Беседе». «И побольше галиматьи», — добавил Жуковский...

Название утвердили в честь города, где Блудова «посетило видение» — Арзамасское общество безвестных людей, «Новый Арзамас», или просто «Арзамас». Члены общества носили длиннейший титул — гусь, Его Превосходительство, Гений Арзамаса — и непременное прозвище из баллад Жуковского. Так, Тургенев звался Эолова Арфа, Жуковский — Светлана, Батюшков — Ахилл, Блудов — Кассандра, Дашков — Чу, Уваров — Старушка, Вигель — Ивиков Журавль... Отчасти прозвища эти были со смыслом (например, Блудов предсказал скорую смерть «беседчику» Захарову, и Захаров действительно умер — отсюда прорицательница Кассандра), отчасти просто шутливые (Тургенев стал Эоловой Арфой из-за громкого бурчанья в животе; маленького, хрупкого Батюшкова Ахиллом назвали по контрасту — или произносили *Ах, хил!*). Эмблемой общества выбрали мерзлого арзамасского гуся. Протоколы (в стихах, гекзаметром) обязался писать Жуковский.

Вяземский был заочно принят в «Арзамас» на первом его заседании. Имя ему дали Асмодей (из баллады «Громобой»: «старик... с хвостом, когтьми, рогами»; Батюшков с Жуковским звали так Вяземского еще во времена их допожарных гулянок). На старика, да еще с рогами, Вяземский был мало похож, но задумке друзей обрадовался. Еще до основания «Арзамаса» он написал «Поэтический венок...» — цикл из девяти эпиграмм на Шаховского (которого он окрестил Шутовским) и сатирическое «Письмо с Липецких вод», которые были напечатаны в журнале «Российский музеум».

Цикл эпиграмм сразу же стал широко известен — в нем Вяземский камня на камне не оставил от творчества Шаховского вообще. «Все вытвердили наизусть «Поэтический венок» ваш», — сообщал князю Дашков... Знаменитой стала и эпиграмма на главу «Беседы» Шишкова:

Кто вождь у нас невеждам и педантам?
Кто весь иссох от зависти к талантам?
Кто гнусный лжец и записной зоил?
Кто, если мог вредить бы, вреден был?
Кто, не учась, других охотно учит,
Врагов смешит, а приближенных мучит?
Кто лексикон покрытых пылью слов?
Все в один раз ответствуют: Шишков!

Жуковский, впрочем, остался недоволен этой эпиграммой. «Дурно, потому что несправедливо», «Не только несправедливо, но и дурно» — написал он на полях рукописи... Жуковский вовсе не был сторонником Шишкова, что не мешало ему искренне его уважать. Но миролюбивый голос Василия Андреевича, не собиравшегося ссориться ни с Шишковым, ни с Шаховским и видевшего в происходящем лишь достойную смеха *галиматью*, в то время тонул в разъяренном хоре его друзей, соратников и защитников. Они всерьез встали на защиту лучшего в русской поэзии... Вяземский быстро стал запевалой этого хора.

Ненависть его к «Беседе» разгоралась все ярче. По молодости лет и по горячности характера он был самым радикальным карамзинистом тех лет. Сам факт существования «Беседы», пытавшейся противостоять повсеместно уже победившему «карамзинскому» слогу, казался Вяземскому вопиющим анахронизмом. К этому добавлялось его возмущение тем, что некоторые «беседчики» в свое время травили Карамзина доносами, клеветали на него. Плюс, естественно, наглость Шаховского, осмелившегося облить грязью первого русского поэта. Словом, опять «семейная, наследственная распря»...

Драматург Федор Кокошкин прочел Вяземскому, Василию Львовичу Пушкину, Мерзлякову и московским актерам «Липецкие воды» вслух, и общее мнение о пьесе было ужасное... С новой силой вспыхнуло в Вяземском желание ехать в Петербург, к друзьям — на «поле брани». Осуществить мечту удалось в начале 1816 года, когда князь вызвался сопровождать в поездке в столицу Карамзина. Николай Михайлович вез с собой восемь томов «Истории государства Российского» в надежде представить их царю.

Карамзин не завершил свой труд: восьмой том закончи-

вался 1560 годом, царствованием Ивана IV. Это был маневр автора — увидеть реакцию публики и в случае успеха продолжить рассказ о тиранстве Ивана... В успехе Карамзин сомневался и даже предупреждал в предисловии, что чтение может показаться скучным. К тому же на публикацию требовались большие деньги, у Карамзина их не было. Выход один — ехать в столицу, просить аудиенции у государя. 19 декабря Николай Михайлович с семьей покинул гостеприимное Остафьево, как оказалось — навсегда...

Отъезд Вяземского стал настоящей драмой для московского общества. «Ты скоро увидишь нашего милого князя, — писала одна его светская знакомая подруге. — Он вчера уехал в Петербург по делам и пробудет там до первой недели поста. Пожалуйста, не задерживайте его. Это наше сокровище самое драгоценное, мы все его ревнуем...» Вяземский и Карамзин уехали 30 января 1816 года; 2 февраля в шесть часов вечера были в столице. Сначала остановились в «мерзком» отеле «Гарни», но очень скоро перебрались оттуда на Фонтанку, в дом покойного Михаила Никитича Муравьева — поэта, друга Карамзина и наставника Батюшкова. Гостей принимали вдова Муравьева, Екатерина Федоровна, и сын, девятнадцатилетний Никита, недавно вернувшийся из Парижа. Москвичам отвели весь второй этаж.

Десять лет не был Вяземский в Петербурге — и не мог не заметить, что Северная Пальмира стала еще краше, чем прежде. Огромная, застывшая подо льдом Нева, немосковские, по линейке проведенные улицы, по которым пролетают возки и сани... Конечно, первым делом он повидал друзей — Тургенева, Северина, Блудова, Дашкова, Жуковского. Дважды навещал Вяземский и старого Гаврилу Романовича Державина, ныне одного из столпов «Беседы любителей русского слова». Но первый визит прошел неудачно — Державин был явно нездоров, рассеян, говорил вяло, и Вяземский быстро понял, что он нисколько не интересует мэтра. Лицо Державина было желтым, мутным, губы дрожали. На руках старого поэта дремал белый шпиц. Вяземский с грустью вспомнил, с каким упоением читал Державина лет десять назад. Не такой представлялась ему эта встреча... Во второй раз он пришел к Державину вместе с Жуковским. На этот раз классик был несколько поживее — угостил визитеров обедом (очень худым), показал им иллюстрации к своим трагедиям и вскользь заметил об оде «На коварство»: «Вот таких стихов я писать был бы уже не в силах». Жуковский с Вяземским только переглянулись — эта ода вовсе не входила в число их любимых державинских вещей.

...24 февраля на восьмом заседании «Арзамаса» состоялось очное принятие москвича-Асмодея в «гуси». Присутствовали Жуковский, Уваров, Дашков, Вигель, Тургенев, Блудов и Северин. Веселью не было конца. Вяземский с честью прошел арзамасские испытания — отрекся под грудой шуб «от всякого поползновения на соитие с Беседою», «поразил в огнедышащего лицедея Беседы», «облобызал сову — сотрудницу славы и лиру — певицу мщения», «попрыскал преображенный свой лик освященною водою потопа», произнес присягу и «грозными рогами витийства забодал некого ядовитого москвича, злокозненного историографа клеветы и клеветника на историографов» — Павла Ивановича Голенищева-Кутузова, который искренне полагал, что сочинения Карамзина «тем опаснее, что, под видом приятности, преисполнены безбожия». Вяземский был убежден, что Кутузова «надобно всячески мучить... Такого человека жалеть не надобно; эпиграммой, дубиной, происками — вреди ему как можешь и как умеешь».

— Мой сын! Прими мою руку на братство и любовь! — завершил ответную речь Уваров-Старушка. — Будь твердым оплотом, будь украшением Арзамаса!

— Теперь ты настоящий «московский гражданин, пришлец из Арзамаса», — договорил Жуковский цитатой из собственной басни «Каплун и Сокол».

Как полагалось новичку, Вяземский принес на блюде жареного арзамасского гуся. Хлопнули пробки шампанского... Друзья звенели бокалами... Церемонно обращались друг к другу «ваше превосходительство» и тут же хохотали до упаду. Читали вслух притчи графа Хвостова и опять хохотали. Пели дашковскую кантату «Венчанье Шутовского»... Да, тут было на что посмотреть и что послушать!

Арзамасская круговерть очень пришлась по душе Вяземскому. На следующем собрании принимали Василия Львовича Пушкина (назвали его *Вот*, но потом переименовали в *Вот-Я-Вас* и назначили старостой «Арзамаса»). Казалось, сбылась давняя мечта Вяземского — зажить «и душа в душу, и рука в руку», объединить все лучшее в литературе, но не формально, а на веселой, бесшабашной, дружеской основе... Всегда одетый с иголочки, бледный, изысканный Уваров, некрасивый умный Блудов, чуть заикающийся, с неподвижным лицом Дашков, самолюбивый, все примечающий Вигель... Дурачились, как мальчишки, простодушно, бесхитростно, отдыхая душой от служебных тягот, забывая о возрасте и чинах. Шутки, розыгрыши, веселые стихи... Скоро Вяземский наряду с Жуковским стал тем аккумулятором, от

которого другие арзамасцы получали энергию веселья. Но не нужно думать, что деятельность «Арзамаса» сводилась к шутовским обрядам и пирушкам по поводу и без. «Мы любили и уважали друг друга, — писал Вяземский, — но мы и судили друг друга беспристрастно и строго, не по одной литературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной, независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были арзамасцами между собою, когда «Арзамаса» еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания — все это лежало на втором плане». Арзамасцы часто обсуждали на своих собраниях совсем не шуточные вопросы, рецензировали новые стихи. «Это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества», — добавляет Вяземский.

О том, что идея «нравственного братства» витала в воздухе задолго до создания «Арзамаса», свидетельствует письмо Жуковского Александру Воейкову: «Мы должны быть стеснены в *маленький кружок*. Вяземский, Батюшков, я, ты, Уваров, Плещеев, Тургенев должны быть под одним знаменем: простоты и здравого вкуса». Это писалось в феврале 1814 года. Да и «школа взаимного обучения» действовала в дружеском поэтическом кругу еще с допожарных лет. Достаточно заглянуть в переписку Вяземского, Жуковского и Батюшкова 1810—1815 годов, чтобы убедиться: любя друг друга, они «судили... беспристрастно и строго», разбирали свои и чужие стихотворения, не закрывали глаза на промахи и искренне радовались удачам... И именно арзамасский круг выпестовал юного Пушкина, помог ему быстро войти в литературу, стать ее главой...

Конечно, не все участники «Арзамаса» были близкими друзьями, не все внесли в труды общества равнозначный вклад. Например, Александра Воейкова («Дымная Печурка») и Александра Плещеева («Черный Вран») приняли только благодаря рекомендации Жуковского. «Полуарзамасцами», по слову Вяземского, были и Дмитрий Северин («Резвый Кот»), чьи литературные достижения ограничивались двумя баснями, и дипломат Петр Полетика («Очарованный Челнок»), и перебежчик из лагеря «Беседы» Степан Жихарев («Громобой»). Особняком стоят арзамасцы, придавшие веселому обществу ощутимый крен в политику, — Николай Тургенев («Варвик»), Михаил Орлов («Рейн») и Никита Муравьев («Адельстан»). Но всем им так или иначе удалось вписать свои имена в историю русской культуры. И даже Дмитрий Кавелин («Пустынник»), к которому в «Арза-

масе» вообще никто не питал приязни и которого в 1821 году Александр Тургенев даже предлагал исключить из общества, известен, во-первых, как адресат послания Жуковского «К Кавелину», во-вторых, как отец историка Константина Кавелина...

Карамзин был об арзамасцах наилучшего мнения: «Всех любезнее для меня Арзамасцы: вот истинная Русская Академия, составленная из молодых людей умных и с талантом!» Николай Михайлович дважды побывал на собраниях и оба раза читал арзамасцам отрывки из «Истории». «Какое совершенство! И какая эпоха для русского — появления этой Истории!» — взволнованно воскликнул Жуковский по окончании чтения. Александр Тургенев нарушил идиллию, неожиданно начал похрапывать в патетическом месте. Слушатели негромко рассмеялись, а Карамзин спокойно продолжал читать: сонливость Тургенева, как и хлопотливость его, вошла уже в поговорку. Тургенев же, пробудившись, преподнес Карамзину диплом «почетного гуся»:

— Что делает рука моя? Держит диплом. Какой диплом? Прекрасно написанный, ибо писал его я. Что содержит в себе этот диплом? Он содержит в себе как бы вексель на дружбу. К кому дружба? К лучшему из людей. А что это за лучший из людей? Николай Михайлович Карамзин... Кто дает этот диплом? Арзамасцы, верные его обожатели...

«Арзамас» «Арзамасом», но не худо и о службе побеспокоиться. Тургенев для Вяземского пока ничего не добился — при дворе пышно отмечались свадьбы сестер императора, Екатерины и Анны, и в высшем свете царила вполне объяснимая суматоха. По той же причине не давали аудиенцию и Карамзину, которому бесплодное ожидание в столице начинало надоедать. Граф Румянцев предлагал ему напсчатать «Историю» за свой счет — Карамзин вежливо отказался... Униженно идти на поклон он не собирался и уже подумывал о возвращении в Москву, но тут его неожиданно пригласил к себе граф А. А. Аракчеев, обещавший ходатайствовать за него. И действительно, 15 марта Александр I вызвал историка во дворец. Император обнял Карамзина и полтора часа провел с ним «в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном». Николай Михайлович держался уверенно и спокойно, *ничего не просил,* и независимость его была оценена по достоинству — император дал 60 тысяч на публикацию, наградил автора чином статского советника и анненской лентой, освободил «Историю» от цензуры... Это были неслыханные милости.

Тогда же Александр I принял и Вяземского. Император

сказал князю несколько благосклонных слов о его стихах, был очень любезен и совершенно очаровал молодого москвича. Это была вторая их личная встреча. Впервые Вяземский увидел государя еще в пансионском 1805-м: тогда Александр I имел обыкновение ежедневно прогуливаться верхом мимо здания пансиона, и ученики, облепив подоконники, с восторгом глазели на красивого молодого императора. А представлен государю Вяземский был в марте 1811 года в Твери, куда ездил вместе с Карамзиным.

Императорская Военная типография приняла в печать первый том рукописи «Истории». Карамзин был счастлив. Он объявил Вяземскому, что съездит в Москву за семьей и вернется в Петербург, вернее, в Царское Село, на время публикации книги. Это была вынужденная мера — Карамзин терпеть не мог Петербурга, а тем паче двора, где отныне предстояло вращаться. Вяземский не возражал. Сам он остался бы в Петербурге до тех пор, пока там останется «Арзамас».

Арзамасцы устроили прощальный праздник московским гостям. В Москве поручили им основать «Малый Арзамас» (вообще заседания общества можно было проводить в любом месте, где собиралось несколько «гусей»), но без права принимать новых членов... Пришли попрощаться с москвичами и «шишковисты» — участники «Беседы», тучный седой баснописец Крылов и одноглазый, рябой, важный Гнедич, переводчик Гомера. А консул «Арзамаса» в Москве Вяземский читал свои новые стихи:

Кинем печали!
Боги нам дали
Радость на час;
Радость от нас
Молний быстрее
Быстро парит,
Птичек резвее
Резво летит.
Неумолимый
Неумолим,
Невозвратимый
Невозвратим.
Утром гордится
Роза красой;
Ветер не смеет
Тронуть листков,
Флора лелеет
Прелесть садов!
К ночи прелестный
Вянет цветок;
Други! безвестно,

Сколько здесь рок
Утр нам отложит, —
Вечер, быть может,
Наш недалек.

Аплодисменты не умолкали, Крылов просил повторить, а Карамзин, улыбаясь, сказал автору:

— Теперь уж не буду удерживать вас от стихотворства. Пишите с Богом!

«Жребий брошен. С того дня признал я и себя сочинителем», — вспоминал Вяземский шестьдесят лет спустя. С усмешкой процитировал он в уме простодушного Василия Львовича: «О радость! о восторг! и я, и я пиит!»... Впрочем, от своего главного творческого принципа — писать, потому что пишется, — князь и не думал отступать. «Собственно для публики я никогда не писал. Когда я с пером в руке, она мне и в голову не приходит... Я никогда не подыскивался, не старался угождать прихотям и увлечениям читающей публики. Не ставил себе в обязанность задобривать ее... Преимущественно писал я всегда для себя, а потом уже для тесного кружка избранных; в них не последнее место занимали мои избранницы. Критикой и похвалами их бывал я равно доволен. Первою я часто пользовался с повиновением; часто, а не всегда, другими радовался, а иногда гордился. На критику печатную обращал я вообще мало внимания, с нею не советовался, ей не верил». Это признание применимо к Вяземскому на протяжении всей его литературной жизни.

25 марта утром Карамзин, братья Василий и Сергей Пушкины, Вяземский уезжали в Москву. Их провожали до Царского Села Тургенев и Жуковский. Дорогою устроили заседание «Арзамаса» — смеху и шуткам не было конца... В Царском отобедали и всей компанией отправились в лицей, на этом особенно настаивал Жуковский — он побывал там в сентябре 1815 года и с восторгом описал прогулку свою в письме к Вяземскому...

В лицее пробыли полчаса. Лицейское начальство суетилось перед знаменитостями — Карамзиным и Жуковским. На Вяземского никто внимания не обращал, и он тут же был окружен молодежью — подростками-лицеистами в форменных мундирах. Разница в возрасте почти не чувствовалась: лицеистам всем по 15—17 лет, Вяземскому 23. Его наперебой знакомили с Дельвигом, Пущиным, Кюхельбекером, Ломоносовым, благодарили за стихи, спрашивали, нет ли новых эпиграмм на «Беседу»...

Так в веселой юношеской толпе, разговаривая сразу с десятком новых приятелей, познакомился князь с Александром

Пушкиным. Вяземскому уже были известны лестные строки, которые Пушкин посвятил ему в послании «Городок»:

О князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих,
В сатире — знанье света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту...

Неизвестно, виделись ли Вяземский и Пушкин до 1816 года. Во всяком случае, в салоне князя Андрея Ивановича Сергей и Василий Пушкины не бывали: не их круг. И хотя общих знакомых у них все же хватало (Карамзин, Дмитриев, Бутурлин), юный Пушкин в известной мере был для Вяземского человеком ниоткуда — хоть и москвичом, а все-таки *не своим*. По совету Жуковского князь Петр Андреевич прочел все произведения молодого поэта (печатавшиеся в «Российском музеуме» и «Вестнике Европы») и теперь с острым любопытством расспрашивал юношу о его планах. Они обещали друг другу непременно снова увидеться.

А уже через три дня Пушкин пишет Вяземскому первое письмо — первое в обширной их переписке. «От скуки часто пишу я стихи довольно скучные (а иногда и очень скучные), часто читаю стихотворения, которые их не лучше, недавно говел и исповедовался — все это вовсе незабавно. Любезный арзамасец! утешьте нас своими посланиями — и обещаю вам если не вечное блаженство, то по крайней мере искреннюю благодарность всего Лицея...» И тут же — первое поэтическое письмо Пушкина Вяземскому («Блажен, кто в шуме городском...») и очень кстати ввернутая цитата из послания Вяземского Денису Давыдову... И неимоверно эффектная подпись, окруженная бесчисленными кудрявыми росчерками.

Пушкин сразу понравился Вяземскому. У них было много общего — склонность к острословию, любовь к французской «легкой» поэзии, Карамзину, Жуковскому, Батюшкову; общими были и литературные противники... Оба впервые напечатались в «Вестнике Европы»... Уже 17 апреля Василий Львович сообщил племяннику: «Вяземский тебя любит и писать к тебе будет».

Кстати, именно во время этой поездки из столицы в Москву (25—27 марта) князь Петр Андреевич подложил Василию Львовичу немалую (хотя и дружескую) свинью. На станции Яжелбицы он предложил ему поиграть в буриме;

Василий Львович охотно написал лихие стихи на заданные князем рифмы и, по его же совету, отправил свои творения в «Арзамас». Но общее собрание 20 апреля нашло стихи Пушкина-дяди «бесстыдными и свиноподобными», постановило лишить автора звания старосты и переименовать из «Вот-Я-Вас» в «Вотрушку». «С ума вы сошли, любезные арзамасцы, — обиделся Василий Львович. — Предаете проклятию арзамасского старосту и сами не знаете, за что. Яжелбицкие стихи не что иное, как шутка и порождение ухабов и зажор». Но опала длилась недолго — уже 6 мая на московском заседании «Арзамаса» Дашков предложил простить Василия Львовича. 10 августа арзамасцы прочли оправдательное стихотворное послание виновного и единогласно решили: «Очищен наш брат любимый; очищен и достоин снова сиять в Арзамасе». Звание старосты ему торжественно вернули и из Вотрушки переименовали в «Вот-Я-Вас-Опять»...

...Карамзин в Москве не задержался — пробыл два месяца и 18 мая отправился в столицу с семьею. Зато нашел Вяземский в Москве Батюшкова, жившего еще с января на Басманной. С ним творилось что-то неладное. Батюшков хандрил, болел, у него открылась старая рана на ноге. Он получил перевод в гвардию, но это его совсем не обрадовало. В апреле он вышел в отставку коллежским асессором... «Неудачи по службе — это мое», — говорил он Вяземскому. И часто заводил речь о том, что жизнь их — и его, и князя — слишком мелка, легковесна.

— Надобно переменить род жизни, — убеждал он Вяземского. — Вот взгляни на меня, я, благодаря Бога, во многом успел... Укротил мелкие страсти, мелкие успехи в обществе, бросил писать безделки... А ты не живешь, а порхаешь... Бездумствуешь...

— Ох, Батюшков, ты меня бесишь! — раздосадованно отвечал князь. — Я часто бездумствую, не спорю, но ты умничаешь и умствуешь, и это гораздо хуже и стыднее... Действуешь на меня, как голова Медузы... Ты рожден любезным повесой, что за охота тебе лезть в скучные колпаки? Мотылек, а смотришь филином. Бросай капуцинить. Ты же был влюблен, куда все подевалось?

— Я три года мучился, — тихо пробормотал Батюшков. — И сейчас хочу быть совершенно свободен... Жаль только потерянного времени.

Батюшков, маленький, нахохлившийся, сидел у камина, кутаясь в теплый халат, кашлял... «Из милого, острого Батюшкова он превратился в какого-то сумрачного и угрю-

мого Батюшкова», — с досадой и раздражением думал Вяземский.

А ларчик просто открывался. Батюшков перешел в другой внутренний возраст. Прежние «шалости» его больше не веселили, собственное «Видение на брегах Леты», где высмеивались «беседчики», стало противно... Он действительно становился другим человеком. А Вяземский, впервые подметив перемену в нем еще в апреле 1815-го, сердито и бескомпромиссно требовал от него: «Будь Батюшковым, каким был, когда я отдал тебе часть моего сердца, или не требуй моей любви, потому что я рожден любить Батюшкова, а не другого». Не понимая происходящего с другом, он страстно хотел вернуть его в прошлое — в беспечный десятый год, в легкое и радостное душевное состояние... Этому не суждено было сбыться. «Черное пятно» на душе Батюшкова неприметно росло... В декабре 1816 года они расстались — Батюшков уехал в Хантоново. И когда прощались, Батюшков с неожиданной нежностью, как в былые времена, обнял князя. Вяземский взглянул в глаза друга — прозрачные, беззащитные. Непонятно почему, ему сделалось жутковато... Батюшков уходил из его жизни...

Из Петербурга Вяземский привез послание к Е. С. Огаревой и наброски перевода Седьмой сатиры Буало-Депрео — «К перу моему». Это стихотворение было готово весной — 29 апреля автор прочел его на заседании Общества любителей российской словесности (в «Трудах» которого оно и было напечатано). «К перу моему» стало еще одной вариацией на тему «Чтоб более меня читали, / Я стану менее писать», разработанной в посланиях Вяземского трехчетырехлетней давности. Кокетливо обещая читателю расстаться с коварным пером, князь между делом признавался в том, что

Язык мой не всегда бывает непорочным,
Вкус верным, чистым слог, а выраженье точным;
И часто, как примусь шутить насчет других,
Коварно надо мной подшучивает стих.

В финальных строках, естественно, поэт спохватывается — прощаясь с пером, он волей-неволей прибегал к его помощи, так что остается только смириться и — продолжать... Хотя «К перу моему» вышивалось и по чужой канве (как ни крути, а это все-таки перевод из Буало, пусть и вольный), Вяземскому удалось сделать это послание очень личным. Батюшков, прочитав «К перу моему», восхитился: «Его послание к перу никогда не умрет. О какой талант!»...

Летом Вяземский съездил ненадолго в свое приволжское Красное. Там произошел с ним забавный случай. В воскресенье после обедни священник сельского храма о. Матвей решил почтить князя приветственной речью. Он с большим жаром восхвалял гражданские и помещичьи добродетели Вяземского и завершил речь, торжественно указывая на него:

— Вы не знаете еще, какого барина вам Бог дал; так знайте же, православные братья: он русский Гораций, русский Катулл, русский Марциал!

При каждом из этих имен народ отвешивал Вяземскому низкий поклон и чуть ли не сотворял крестное знамение. Бедный князь, произведенный в тройные классики, не знал, куда деваться.

В Красном, вдали от московской суеты, Вяземскому всегда хорошо писалось — появилось стихотворение «Утро на Волге» (явно навеянное карамзинской «Волгой» 1793 года и дмитриевским «К Волге» 1794-го), послания «К Давыдову», «К Княжнину», веселый, словно под хмельком писанный «Погреб», басня «Разбитая статуя»... В начале октября, уже в Москве, он начал элегию, которую условно назвал «Первый снег», но что-то не заладилось — бросил и 15 октября подарил сюжет Батюшкову. Попутно занялся еще и прозой. Повод к этому был, и очень серьезный: в июле на семьдесят третьем году жизни умер Державин.

«Из всех поэтов, известных в ученом мире, может быть, Державин более всех отличился оригинальностью, — писал Вяземский в статье «О Державине», — и потому род его должен остаться неприкосновенным. Природа образовала его гений в особенном сосуде — и бросила сосуд». Очень точно в этой ранней статье Вяземский подмечает главную державинскую черту — самобытность. У Державина не было школы и учеников. Не будет их и у Вяземского-поэта. Статья «О Державине» стала первым крупным критическим выступлением Вяземского в печати. Последние строки, написанные Петром Андреевичем перед смертью, тоже будут посвящены Державину...

Статью напечатали «Сын Отечества» и «Вестник Европы», приняли ее хорошо, правда, к радости друзей примешивалось и удивление: столь смелой и талантливой прозы от Вяземского, по чести говоря, не ждали. Так блеснула новая грань его таланта — дар критика и прозаика.

Со смертью Державина тихо и незаметно скончался главный противник «Арзамаса» — «Беседа любителей русского слова» («любителей» Вяземский звал «губителями»). «Бесе-

да» исчерпала себя. Вяземский рвался в Петербург и взывал в письмах: «Вы что делаете, голубчики-гусенки?» Арзамасцы сообщали ему новости, писали все — от Тургенева до младшего Пушкина. В ноябре завязалась переписка меж Вяземским и Блудовым об издании собрания сочинений Владислава Озерова, двоюродного брата Блудова, который недавно, в сентябре, скончался в возрасте сорока семи лет.

Вяземский в то время был под сильным впечатлением от творчества Озерова, почитал его как талантливого драматурга, человека нелегкой судьбы. Трагедии Озерова с огромным успехом шли на русской сцене. Но жизнь его была тяжка, конец ее страшен: Озеров помешался... Арзамасцы были уверены в том, что причина сумасшествия и смерти Озерова — Шаховской («Завистников, невежд он учинился жертвой», — писал об Озерове Василий Львович Пушкин). Блудов просил Вяземского написать вступительную статью к сборнику пьес Озерова. В 1817 году этот сборник вышел в свет с предисловием князя, занявшим шестьдесят три страницы. В сущности, это был первый обстоятельный биографический очерк о русском писателе — образцом для Вяземского могла служить разве что статья Карамзина об И. Ф. Богдановиче.

Большая работа об Озерове написана уже вполне узнаваемой «вяземской» рукой, со всеми присущими прозе князя достоинствами и недостатками. Здесь и полные сарказма «шпильки» в адрес «людей неподвижных», которые не желают замечать прогресса в литературе и обществе, и дерзкий отказ превращать статью в послужной список, то есть перечислять служебные заслуги Озерова, и своего рода ядро будущего труда о Фонвизине — краткое изложение истории русской драматургии... Анализируя трагедии Озерова, Вяземский показал себя отличным знатоком театра. Он прекрасно ориентируется в творчестве не только Озерова, но и его предшественников — Сумарокова, Княжнина. Общий тон статьи довольно спокойный, местами с ноткой иронии, но иногда Вяземский все же с молодой восторженностью сбивается на безоглядные похвалы своему герою.

Спустя шестьдесят лет, в июне 1876 года, престарелый князь перечитал свою статью и дополнил ее «Припиской». Принципиальных возражений работа у него не вызвала, но в нескольких ошибках и неточностях он все же признался: заслуги Озерова в деле преобразования русского языка несопоставимы с заслугами Карамзина; Озеров вовсе не должен служить образцом для всего русского театра... Пророчество Вяземского тут не сбылось: жанр трагедии не дожил до

1870-х годов, несмотря на отдельные удачи — «Бориса Годунова» Пушкина, «блестящие попытки Хомякова и, наконец, драмы гр. Алексея Толстого».

«Известие о жизни и сочинениях В. А. Озерова» вызвало множество положительных отзывов в русской прессе. Вяземского очень порадовало письмо от его старого приятеля Павла Киселева, который служил в Тульчине: он написал, что статья пробудила в нем внимание к русской литературе. Батюшков тоже вполне одобрил опыт друга: «Слог быстрый, сильный, простой: простой — это всего милее! Я почти всем доволен... Вяземский, который начал мадригалами... подарил нас книгою, книгою, которая делает честь его уму и сердцу. Я с моей стороны целую его прямо в лоб и говорю ему: не останавливайся, вперед, марш-марш к славе стезею труда и мыслей! Выбирай себе путь новый, достойный твоей музы, живой и остроумной девчонки. У тебя не достает только навыка для прозы. Иногда себя повторяешь; иногда периоды не довольно обработаны, и слова путаются... Пиши! Я предрекаю России писателя в прозе». Но что понравилось Батюшкову, то через десять лет вызвало недовольство Пушкина — он нашел слог Вяземского излишне напыщенным и подверг статью раздраженной правке, вычеркивая самые цветистые выражения и заменяя их на полях простыми и лаконичными. Да и сам князь в поздней «Приписке» покаялся в «напряженности, излишней искусственности в выражении», которые проистекали, по его мнению, от «короткого знакомства... с французскими образцами старого времени».

...Семья Вяземских увеличивалась. В 1815 году у супругов родился сын Дмитрий, а 21 февраля 1817 года — дочь Прасковья, Пашенька. Вяземский, самый молодой из арзамасцев, оказался вдруг солидным многодетным семьянином, и его знакомая М. А. Волкова писала, что «он стал нежнейшим из супругов и примерным отцом семейства, какими бывают лишь мужчины лет сорока». Но содержать большую семью и вести при этом светский образ жизни было нелегко. Вяземский в письмах упрекал Тургенева в том, что он плохо о нем хлопочет. Тургенев оправдывался. В конце концов 24 мая 1817 года князь сам появился в Петербурге — лично пробиваться на службу. Неделю прожил с Карамзиными в Царском Селе, потом перебрался в столицу.

Но как-то так вышло, что приехал он прежде всего в «Арзамас». Еще 24 февраля под именем «Варвик» и 22 апреля под именем «Рейн» были приняты в общество Николай Тур-

генев (младший брат Александра) и Михаил Орлов. С ними в «Арзамас» пришли экономика и политика. Генерал-майор Орлов — пышные усы, мундир, ранняя лысина — вместо шутливой вступительной «отходной» произнес пылкую речь, завершал которую странный пассаж о каком-то «истинном свободомыслии», которое «закинет туманный призм предрассудков за пределы Европы»... Николай Тургенев говорил о рабстве крестьян, военных поселениях, Аракчееве... Основатели общества с грустью смотрели на то, как «дружеская артель» неприметно становилась политическим клубом. «Где свежая веселость, украшавшая первые дни наши? Ах, Арзамас! Все погибло!» — печально воскликнул Блудов на одном из собраний...

Новички, однако, заинтересовали Вяземского. Он и сам в последнее время стал тяготиться бездумностью и бездеятельностью. В чем-то Батюшков прав — надобно переменить род жизни... Одними балами и праздниками не проживешь. Соревноваться с друзьями, которые работают до упаду, не нужно, но и сидеть сложа руки не подобает. Как бы соединить любимую литературу с любимой практической жизнью?.. Как оставаться в гуще событий и вместе с тем слегка быть от них отстраненным, чтобы иметь возможность судить верно обо всем?.. Взгляд его упал на обложку «Вестника Европы» со стихами Пушкина-племянника... Да вот же оно — журнал!.. Конечно, не «Вестник», Жуковский давно его не ведет, и журнал этот понемногу хиреет. Что-нибудь новое... свое... «Наша российская жизнь есть смерть, — писал он Тургеневу. — Я приеду освежиться в Арзамас и отдохнуть от смерти. Ждите меня с пуком планов». И вот — план арзамасского журнала, который Орлов с Тургеневым тотчас подхватили... «Какое средство имеем к достижению благородной мечты? — спрашивал Вяземский и сам отвечал: — Влияние на публику; как похитить это влияние? Изданием журнала... Во-первых, польза журналов у нас очевидна, а во-вторых, журналов у нас большой недостаток». Жуковский и Александр Тургенев только переглядывались — неужели «баловень Фортуны» принялся за настоящее дело?

На двадцатом собрании «Арзамаса» Орлов и Вяземский изложили свою концепцию будущего журнала. Вот фрагменты красочного протокола Жуковского:

Тут осанистый Рейн, разгладив чело от власов обнаженно,
Важно жезлом волшебным махнул — и явилося нечто,
Пышным вратам подобное, к светлому зданью ведущим, —
Звездная надпись сияла на них: Журнал Арзамасский.

После Орлова, рассказавшего о журнале в общих чертах, выступил Вяземский, который

...начал китайские тени
Членам показывать. В первом явленьи предстала
С кипой журналов Политика, рот зажимая Цензуре...
Вслед за Политикой вышла Словесность...

...за которой следовали Поэзия, Проза, Грамматика, Критика и Смесь. Заканчивается протокол описанием обсуждения проекта:

...Совещанье
Начали члены. Приятно было послушать, как вместе
Все голоса слились в одну бестолковщину. Бегло
Своим язычком работала Кассандра; Рейн
Громко шумел; Асмодей воевал на Светлану; Светлана
Бегала взад и вперед с протоколом; впившись в Старушку,
Криком кричал Громобой, упрямясь родить анекдотец;
Арфа курлыкала песни. Пустынник возился с Варвиком...
Чем же сумятица кончилась? Делом: журнал состоялся.

Здесь последовательно названы Блудов, Орлов, Вяземский, Жуковский, Уваров, Жихарев, Александр Тургенев, Кавелин и Николай Тургенев. Проект журнала вроде бы утвердили, но далеко не все согласились с решением общего собрания.

Вяземский деятельно включился в работу. Идея журнала так его увлекла, что он написал даже официальную записку на эту тему, предназначенную кому-то в высших государственных кругах («Журнал политический, административный, литературный, *образовательный*... был бы у нас весьма важное и полезное явление. Составление его должно бы явиться правительственною мерою, вверенною исполнению людей с дарованием и благородством в мыслях, в чувствах, имени чистого, чести несомнительной»). Он взял на себя разделы критики, нравописательной сатиры, театральных рецензий и стихотворений, составлял планы, распределял рубрики между друзьями... Он же и верил больше всех в то, что журнал состоится. Под влиянием Николая Тургенева занялся изучением модной политической экономии. Успевал интересоваться и литературными новостями: читал вышедшие в двух частях «Стихотворения Василия Жуковского» и первый том «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова, изданный стараниями Гнедича.

У Вяземского 1817 год тоже урожайный на стихи. Он написал небольшое послание «К Батюшкову» (уже четвертое), где полусерьезно-полушутливо советовал ему не «добивать-

ся в старики», цикл из четырех «песен» (причем одна из них — «Собирайтесь, девки красны» — говорит о прекрасном знании им народной поэзии), веселые куплеты «Всякой на свой покрой» и «Как трудно жить», вакхические песни «Стол и постеля» и «Устав столовой», басню «Доведь» — завуалированную сатиру на Аракчеева. Особняком стоит цикл из четырнадцати смешных пародий на басни графа Хвостова, написанный специально для «Арзамаса». К 60-летнему участнику «Беседы» Хвостову князь относился довольно добродушно, по принципу «лежачего не бьют», и лет пять назад даже пристыдил Дашкова, который высмеял старика в публичной речи. Но не веселиться над хвостовскими строками, вроде «Ползя, упасть нельзя», арзамасцы не могли. В своих пародиях Вяземский на редкость точно воспроизвел своеобразный стиль плодовитого графа — напыщенный, угловато-разговорный. Сколько юмора вложил Вяземский в эти пародии!.. Наверное, и сам Хвостов рад был бы сочинить нечто подобное.

Лето Вяземский провел в разъездах — из Петербурга в имение тещи, село Мещерское Сердобского уезда Саратовской губернии, оттуда — в Красное, затем вернулся в Москву. Сильно переживал из-за неприятной истории, которая случилась в его отсутствие с Верой Федоровной: душевнобольной дворянин Соковнин влюбился в нее, всюду преследовал и на Никитском бульваре, на глазах публики, грохнулся перед ней на колени... Много читал: Дидро, Боссюэ, Гальяни, штудировал Библию. Продолжал заполнять две записные книжки, заведенные еще в августе 1813 года в Остафьеве, — мелким корявым почерком заносил туда выдержки из прочитанных книг и свои мысли о политике и литературе.

Записные книжки Вяземского заметно отличались и от дневника Жуковского, и от путевых заметок Александра Тургенева, и от «цитатника» «Чужое — мое сокровище!» Батюшкова. Для старших друзей Вяземского дневник — прежде всего зеркало, куда смотрится автор, желая познать и улучшить себя. Для юного Вяземского записные книжки — зеркало его *ума*, но не *сердца*. Интимным переживаниям там места нет. Зато князь поверяет дневнику удачные шутки (свои и чужие), максимы в духе Монтеня и Лабрюйера, наблюдения за нравами общества, мысли о прочитанных книгах. Лишь изредка прорывается на страницы записных книжек что-то личное, и то приправленное холодноватой иронией: «Знаете ли вы Вяземского? — спросил кто-то у графа Головина. — «Знаю! Он одевается странно». — Поди после, гонись за сла-

вой! Будь питомцем Карамзина, другом Жуковского и других ему подобных, пиши стихи, из которых некоторые, по словам Жуковского, могут назваться образцовыми, а тебя будут знать в обществе по какому-нибудь пестрому жилету или широким панталонам! — Но это Головин, скажете вы! — Хорошо! но, по несчастью, общество кипит Головиными».

Планировал Вяземский тогда издать и собственную книгу — по примеру друзей. Издателем вроде бы намечался Батюшков. Еще в январе 1818 года мысль о книге, что называется, витала в воздухе, потому что Батюшков рекомендовал вместо себя Блудова («он, верно, согласится, ибо любит Асмодея и лучше моего смастерит») и решительно ободрял Вяземского: «Давно пора! Напечатать книгу есть условие с публикой дорожить авторскою славою».

27 августа было очередное собрание «Арзамаса» — на нем очно приняли Плещеева и Батюшкова. На этом же собрании Александр Тургенев торжественно объявил о том, что титулярный советник князь Вяземский высочайше пожалован в коллежские асессоры с назначением состоять при императорском комиссаре в Королевстве Польском Н. Н. Новосильцеве. Через три дня Плещеев, Пушкин, Батюшков и Жуковский экспромтом сочинили небольшое послание к Вяземскому, где шутливо упрекали его в том, что он изменил «дружбе нежной» и «пускается в Варшаву»...

Многолетние хлопоты наконец-то увенчались успехом. Еще в 1815-м Вяземский намекал Тургеневу, что неплохо было бы служить именно под началом Новосильцева... При нем десять лет назад начинал карьеру и сам Тургенев; он способствовал помещению Вяземского в гимназию при Педагогическом институте... И вот Эолова Арфа постарался: поговорил с Новосильцевым в нужный момент, тот замолвил слово государю, который отозвался о князе с похвалой. 13 сентября Вяземский был уволен из Межевой канцелярии, где все еще числился.

Долгожданная весть его и обрадовала, и чуть ли не огорчила. Тургенев так долго кормил его обещаниями, что чувства и те притупились. Ждал, ждал нового назначения... получил его... И что же? Придется оставить друзей, Москву, Остафьево, «Арзамас», любимые привычки... Перелезть из домашнего халата в мундир. Уехать в Польшу. Кто знает, что его там ждет? В какую-то минуту он почувствовал неуверенность и даже что-то похожее на жалость к самому себе. Ему двадцать шесть, друзьям и того больше — праздника трехлетней давности не вернешь... Неужели кончалась беспечная молодость?..

И ты, халат! товарищ лучший мой,
Прости! тебя неверный друг покинет.
Теснясь в рядах прислужников властей,
Иду тропой заманчивых сетей.
Что ждет меня в пути, где под туманом
Свет истины не различишь с обманом?
Куда, слепец, неопытный слепец,
Я набреду? Где странствию конец?

Под «Прощанием с халатом» дата — 21 сентября 1817 года, Остафьево. Как и все новые стихи, он отослал его на рецензию Тургеневу: «Тебе, одному из виновников... размолвки моей с халатом посылаю прощание мое с ним. Желаю стихам моим счастья при тебе и арзамасском ареопаге». 2 октября на прощальном собрании «Арзамаса» Тургенев прочел «Прощание с халатом» вслух, оно понравилось всем. Вяземский думал отдать эти стихи в арзамасский журнал.

9 октября в составе императорской свиты в Москву приехал Жуковский. Он недавно вступил в должность учителя русского языка невесты великого князя Николая, принцессы Фредерики Луизы Шарлотты Прусской. Придворная жизнь закрутила его. Но Жуковский непременно выкраивал два-три дня на неделе, чтобы повидаться с Вяземским. 18 октября друзья провели в Остафьеве. Жуковский рассказал, что «Арзамаса» в Петербурге уже почти нет. Служебные заботы разбрасывали арзамасцев по свету: Дашкова — в Константинополь, Блудова — в Лондон, Полетику — в Вашингтон, Орлова — в Киев; Батюшков через Северина пытался устроиться в итальянскую миссию... Последним в общество приняли Пушкина-племянника, окрестили Сверчком. 1817 год оказался для беспечного братства роковым: все словно внезапно повзрослели, потянулись к *серьезной* жизни... Жуковский спросил у князя, чего ждет он от службы. «Хочу в два года быть статским советником», — засмеялся Вяземский...

Он показал Жуковскому парные портреты — свой и жены, написанные еще весной художником Карлом Филиппом Рейхелем для семейной галереи. Княжеская чета изображена в креслах с круглыми спинками. Вера Федоровна, как всегда, выглядела на полотне настоящей модницей — в тюрбане, роскошном платье, желтых перчатках, волосы искусно завиты. Нежное, слегка тяжеловатое лицо с легким румянцем. А Вяземского Рейхель изобразил во фраке, желтом жилете и белоснежном галстухе. Почему-то он позировал без очков, поэтому вид у него надутый и сердитый, а серые близорукие глаза беспомощно прищурены. Батюшков даже сочинил надпись к этому портрету, которую впору назвать полуэпиграммой:

Кто это, так насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как Федул?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любови!

«Арзамасская эпоха» на глазах уходила в прошлое. В последний раз «Арзамас» собрался в Москве в январе 1818 года — Вяземский, Жуковский, Василий Львович Пушкин, Денис Давыдов, Никита Муравьев, Жихарев, Блудов. Собирали материалы для журнала (Вяземский дал незаконченное стихотворение «Остафьево», «Цветы», послание к Давыдову и эпиграммы). Но никаких конкретных планов уже не строили. Перестав существовать формально, «Арзамас» вошел в плоть и кровь его участников, присутствовал в их жизни незримо до самой старости...

...Начало ноября для Вяземских было радостным — 4-го числа сестра Веры Федоровны, княжна Любовь Гагарина, вышла замуж. Но буквально тем же вечером неожиданно заболел сын Вяземских, двухлетний Дмитрий. 6 ноября Жуковский сделал в дневнике запись: «Нынешний день есть тяжкий урок жизни... День начался прекрасно; светлое утро и светлость в сердце... После был у Вяземского. Там все спокойно. Надежда жива. Это дало приятный остаток дня (обед у Булгакова и вечер у Дмитриева). Возвращаюсь домой. У самого крыльца нагоняет Вяземского человек. Зовут к нему. Все переменилось. Я застал несколько минут жизни малютки. Все сидели вместе. Доктор был над умирающим. Послышались его шаги: это было приближение смерти. Мать, прощаясь с мертвым, говорила ему, как живому: *прости, мой голубчик.* В этом выражении что-то необыкновенно трогательное. Мы расстались в три часа. Когда я ехал от Дмитриева домой, луна светила ярко; Кремль был прекрасен; главы на церквах сияли; на земле было светло, и за лунным светом, озарявшим землю, исчезали звезды. Когда я возвращался от Вяземского, все уже было иное: луна спряталась: все на земле стало темнее; за то на небе все сделалось ярче. Какое разительное живописное изображение этого дня и всей жизни».

Сразу после смерти сына Вяземские переехали к своим знакомым Рябининым, а потом к Кологривовым на Живодерку. 7 ноября Жуковский был «с Вяземским у Митенькина тела», а 9-го присутствовал на похоронах ребенка в Остафьеве.

Как внезапны эти резкие повороты от сердечного спокойствия и ясных минут к душевной муке и смуте, от радостных арзамасских экспромтов к скорби над безвременным гробом! Нет, вовсе не похож Вяземский на баловня судьбы...

Глава III

В ОЖИДАНИИ ПОДВИГА

Варшаву также я люблю: в ней родилась... эпоха деятельности моего ума. Все интеллектуальные поры мои были растворены: я точно жил душою и умом.

Вяземский, 1824

Николай Николаевич Новосильцев принял Вяземского весьма дружелюбно. В 1817 году Новосильцеву исполнилось пятьдесят пять лет. Странен и непрост был характер этого вельможи, испытавшего на своем веку и возвышения, и падения. Знавшие его считали Николая Николаевича холодным, высокомерным и осторожным карьеристом, не лишенным, впрочем, странного обаяния, некоторой образованности и светского лоска («Новосильцев еще орел в сравнении с другими», — замечал Карамзин). В военной службе прошел он шведскую и польскую кампании, дослужился до подполковника. Суровые времена Павла I Новосильцев благоразумно провел в Англии, где занимался в университете физикой, математикой и медициной. Двоюродный брат его граф П. А. Строганов составил Новосильцеву протекцию при дворе, и взлет его был стремителен — с воцарением Александра I Николай Николаевич сделался статс-секретарем, действительным камергером, попечителем Петербургского учебного округа, а там и президентом Академии наук, товарищем министра юстиции. Потом последовали охлаждение со стороны государя, почти ссылка в Вену, снова фавор и должность императорского комиссара в Королевстве Польском. К старости он добрался и до первых постов — с 1834 года был председателем Государственного совета и Комитета министров, в 1835-м получил графский титул.

В «дней Александровых прекрасном начале» Новосильцев имел среди придворных славу чуть ли не первого сторонника либеральных реформ. Теперь только очень немногие посвященные знали, что император снова привлек

старого соратника к подготовке больших преобразований. Осенью 1817 года он приехал из Варшавы в Москву, чтобы повидать государя и обсудить с ним некоторые детали тайных проектов.

Большое участие в судьбе Вяземского принял тогда старый знакомый покойного Андрея Ивановича, генерал Михаил Михайлович Бороздин, по московскому прозвищу «король Неаполитанский». Он пожурил князя за бездеятельность, обещал поскорее свести его с Новосильцевым и слово сдержал. Вместе они отобедали у Николая Николаевича. Неофициальная аудиенция продолжалась недолго. Под началом Новосильцева была канцелярия, находившаяся в Варшаве. Вяземского зачислили в нее, как и пожелал Александр I, на должность чиновника для иностранной переписки. К концу февраля надо было быть на месте. Все решилось быстро и бесповоротно; князь вдруг впервые осознал, что едет за границу. Польша хоть и входит в пределы Российской империи — но это ведь совсем другой мир... Он «пел мазурку» и зубрил по словарю Линде шипящие польские слова. И с усмешкой думал о том, что отец, должно быть, одобрил бы его — наконец-то сын из гуляки и «шаматона» превращается в государственного служащего...

Начались предотъездные хлопоты. Московские друзья во главе с графом Федором Толстым-Американцем, известным кутилой, истово «провожали» Вяземского целых две недели... Но в последнюю минуту вдруг выяснилось, что теща князя Прасковья Юрьевна дает 11 февраля, в воскресенье, бал в честь царской семьи. Уехать до бала было неудобно. Вяземский с тревогой подумал о том, что придется пускаться в путь в понедельник — приметам он, как всякий русский, придавал большое значение. К тому же он подцепил где-то простуду. В конце концов решили детей отправить вперед с гувернерами, а самим выехать на рассвете 12 февраля, после бала. Так и сделали. На Серпуховской заставе подняли последний бокал на дорогу. Федор Толстой и Денис Давыдов обняли друга. Зазвенел колоколец, лошади помчались...

Вяземские ехали через Смоленск, Минск и Брест-Литовский. Вслед за ними следовал в Варшаву императорский двор (Александр I покинул Москву 21 февраля) — все лошади на станциях и подставах были заранее наняты для свиты. Погода стояла ужаснейшая. Рессоры в экипаже безбожно просели, ухабы шли один за другим, а княгиня на седьмом месяце беременности... В довершение всех бед в Несвиже Вяземских обокрали подчистую — пропали несколько тысяч

рублей и вся одежда. Пришлось Вере Федоровне закладывать свои кольца и серьги, да еще добрый адъютант великого князя Константина дал денег взаймы... Незадолго до Бреста князь заболел окончательно — лежал в жару, в беспамятстве, без докторов и лекарств... Только-только начал оправляться от кашля и колотья в боку, как карету Вяземских нагнала изящная желтая коляска, из которой, сияя улыбкой и благоухая дорогим ароматом, словно из будуара, вышел император Александр Павлович собственной персоной. Начались вежливые расспросы: как дорога? как самочувствие?.. Вяземский, небритый, нечесаный, в помятом дорожном платье, хрипел в ответ что-то почтительно-благодарственное и готов был провалиться сквозь землю со стыда. Словом, это было путешествие из ряда незабываемых.

Наконец кончились дорожные мытарства. Вместо бедных литовских фольварков замелькали чистенькие польские местечки с благоустроенными гостиницами. На станциях — непременные цыплята, вареные раки и спаржа; на стенах станций — портреты «героев Кракова и Вильны»... 2 марта Вяземские въехали в укрепленное предместье Варшавы — Прагу, что на правом берегу Вислы.

После трех неудачных попыток найти жилье княжеская чета поселилась в Краковском предместье, аристократическом районе города. «Из спальни видим через узкую улицу Вислу, а из гостиной площадь, на которой торчит Сигизмунд III, — писал князь в Россию. — Таким образом окружены мы историей и поэзией». Едва оправившись от болезни, он завязывает многочисленные светские знакомства и изучает историю Варшавы и Польши.

Согласно решению Венского конгресса, с 1815 года Королевство Польское входило в состав Российской империи. Однако Александр I даровал Польше конституцию, сохранил сейм, объявил польский язык государственным; крепостное право, отмененное Наполеоном, восстановлено не было, солдаты польской армии служили не двадцать пять лет, как в русской, а восемь. Все эти меры входили в большой комплекс либеральных реформ, которые готовились в глубокой тайне особо доверенными людьми (в том числе Новосильцевым). Польша с ее демократическим, по понятиям того времени, государственным устройством была как бы полигоном, на котором проверялась эффективность нового курса. И если бы он был сочтен полезным, «польская модель» была бы распространена на территории всей России... Тем не менее многие россияне, не посвященные в тайную суть дела, смотрели на польскую политику правительства с

неприязнью, видя в ней лишь заигрывания с новыми подданными.

«Варшава, тогда блестящая... празднующая перерождение свое, повеяла на меня незнакомым, новым духом, — пишет Вяземский. — Я скоро и легко акклиматизировался, да иначе и быть не могло. Почин мой в Варшаве был самый благоприятный». Он старался стать настоящим варшавянином — пил чудесный кофе по-венски в кофейне «Wiejska Kawa», ездил на гулянья в Беляны и Красицкий сад, покупал газету Дмушевского, бывал в Народовом театре, где смеялся блестящей игре комика Жулкевского и невольно чувствовал, как «между представлениями на сцене и зрителями пробегают таинственные, неуловимые токи национального электричества»... Польская столица выглядела особенно нарядной и оживленной, когда в Варшаву прибыл Александр I с огромной свитой (в которую входили и арзамасцы Северин и Жихарев, и старый знакомый Вяземского по 1812 году Милорадович). Город готовился к торжественному открытию Первого сейма, парламента Польши.

По конституции 1815 года сейм состоял из двух палат — сената и посольской избы. В сенат входили наследник цесаревич, великий князь Константин Павлович, епископы, крупные магнаты; в избу — 128 послов, избранных на шляхетских сеймиках сроком на шесть лет. В конституции было сказано, что отныне сейм будет собираться раз в два года, в присутствии государя. К концу февраля выборы в парламент завершились, все было готово к открытию. Оставшиеся дни проходили в балах и смотрах маленькой польской армии.

Блестящие залы, так мало похожие на московские... В Москве, конечно, есть свой большой свет, но он удален от двора, лишен чопорности и — с точки зрения петербуржца — чересчур своеволен и провинциален. А здесь — необыкновенное смешение европейских нравов (поляки) с царедворскими (гости из Петербурга). Блестящие молодые генерал-адъютанты, затянутые в модные сюртуки дипломаты, окружающие графа Каподистрию (среди них мелькает ловкий, любезный Северин — давно ли в пансионе патера Чижа его дразнили «котенком»?), польские аристократы... Шелест голосов и общее движение, сопровождающее любое появление императора. Вот он направляется к чете Вяземских. На них смотрят десятки глаз. Вера Федоровна, приседая в глубоком реверансе, адресует государю лучшую свою улыбку. Александр Павлович, победитель Наполеона, блестящий дипломат, которого не затмят ни хитрый Меттерних, ни старик Талейран... Он любезно осведомляется у князя о

его здоровье. Спрашивает, как понравилась ему Варшава. Читал ли он «Историю государства Российского», которая на днях появилась в продаже... Не говорить же, что почти всю «Историю» он прочел еще в рукописи у себя в подмосковной...

— Нет, Sire*, еще не успел.

— А я прочел ее с начала до конца, — самодовольно произнес император...

15 марта состоялось открытие сейма. Вяземский на нем присутствовал. Действо было помпезное и торжественное. Депутаты заполнили зал, после этого расселись почетные гости, и наконец появился царь, одетый в мундир Отдельного Литовского корпуса, с синей лентой ордена Белого орла через плечо. Он выступил с большой речью на французском языке, которая произвела в обществе — сначала в Варшаве, а потом и во всей России — ошеломляющий эффект. В присутствии депутатов сейма и русских гостей император прямо заявил о том, что в ближайшее время у России будет своя конституция. «Законно-свободные учреждения не суть мечта опасная, — заключил император, обращаясь к депутатам. — Вам надлежит явить на опыте эту спасительную истину...»

Речь Александра I резко разделила русское общество на сторонников и противников конституции. Многие были оскорблены тем, что историческое заявление было сделано перед польской аудиторией. Это задело и Вяземского: «Я стоял в двух шагах от него... и слезы были у меня на глазах от радости и досады: зачем говорить полякам о русских надеждах!» Хотя речь царя и вдохновила князя Петра Андреевича («Государь был велик в эту минуту, душою или умом, но велик»), но все же не настолько, чтобы он утратил чувство реальности, — его письма Александру Тургеневу в Россию полны сомнений в искренности императора. «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет, — пишет Вяземский. — На всякий случай я был тут арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет. У нас в России тем хорошо, что все — как с гуся вода». Отпечатанную листовкой речь он шлет брату Александра — Сергею, отчеркнув самые пафосные фрагменты и приписав на полях: «Croyez cela et buvez de l'eau»**...

Однако пока причин сомневаться в искренности Алек-

---

* Государь (*фр.*).

** Верьте этому и выпейте воды (*фр.*).

сандра I не было. Старшее поколение испытало сильные чувства. «Наши бригадиры от горя получили такой спазм в горле, что не могут пропустить ни ложки ботвиньи, ни куска стерляди, а трое чуть-чуть кулебякою не подавились», — саркастически писал московский знакомый Вяземского Алексей Михайлович Пушкин... Среди стариков пошли слухи о том, что государь примет католичество, перенесет столицу из Петербурга в Варшаву и оттуда будет управлять Россией... Молодежь между тем ликовала. Жизнь меняется! Россия на правах равной входит в Европу!.. Карамзин писал Дмитриеву в эти дни: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят Конституцию; судят, рядят; начинают и писать... И смешно, и жалко! Но будет, чему быть. Знаю, что Государь ревностно желает добра; все зависит от Провидения — и слава Богу!.. Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся».

Очень скоро нашумевшую речь доставили в канцелярию Новосильцева для перевода на русский язык. Дело было ночью; текст распределили между сотрудниками, и работа закипела. Руководил этим блиц-переводом Вяземский, который изрядно помучился над переносом на русскую почву слов «constitution» и «liberal»*... В конце концов изобрели странные стыдливые эквиваленты — «государственное уложение» и «свободолюбивый». Мнения о результате были разные: Карамзин, например, считал, что князю следовало бы надрать уши за такой перевод. А вот Александру I работа понравилась (если не считать того, что он лично исправил «свободолюбивый» на «законно-свободный»), и на обеде у наместника Польши князя Зайончека он тепло поблагодарил Вяземского за сделанное. Дальше — больше: в конце апреля Вяземский перевел также речь императора на закрытии сейма («Царь и тут изволил шутить», — ядовито замечает князь), а в мае — июле трудился над переводом конституции Польши на русский язык. Его поощряли. И в июле 1818 года 26-летний чиновник был допущен к секретной деятельности, о которой даже министры александровского правительства не догадывались.

Заявления императора на открытии Первого сейма не были ни шуткою, ни политическим лукавством, ни голословием. Вскоре сотрудник канцелярии Новосильцева юрист П. И. Пешар-Дешан приступил по приказу свыше к разработке положений конституции России, получившей название Государственной Уставной грамоты. Вяземскому царь

* Конституция, либеральный (*фр.*).

поручил перевод проекта на русский язык и общую его доработку. Этот труд был вчерне завершен в октябре 1819 года*.

Государственная Уставная грамота в общих чертах повторяла конституцию Польши и была для своего времени весьма прогрессивной. Согласно грамоте, Россия должна была представлять собой парламентскую монархию, законодательная власть в которой принадлежала бы двухпалатному сейму; к выборам в нижнюю палату допускались дворяне, землевладельцы недворянского звания, купцы. Исполнительную власть представлял император, являвшийся также главой церкви и армии. Сейм утверждал законы; император же имел право издавать указы, рескрипты и постановления. Гарантировались свобода слова, печати, вероисповедания, частной собственности. Империя подразделялась на десять наместничеств, каждое из которых имело свой сейм.

Реформа впечатляющая!.. К чему бы она привела Россию, доведи ее Александр I до конца, можно только гадать. Вполне возможно, что 1917 год был бы в истории нашей страны вполне обыденным — в хорошем значении этого слова... А Александра I, как его бабку и прапрадеда, мы бы звали Великим. Некоторые положения его грандиозных замыслов были воплощены в жизнь — создан Государственный совет, верхняя палата будущего парламента (1810), предоставлены автономии Финляндии и Польше (1809, 1815), разработаны проекты освобождения крестьян, в Прибалтике примененные на практике (1816—1819). Был проведен эксперимент с объединением ряда центральных губерний в наместничество во главе с генерал-губернатором А. Д. Балашовым (1819).

Какой подарок Фортуны! Кто еще из русских литераторов в двадцать шесть лет вполне официально *решал судьбу России*? Кто из чиновных друзей Вяземского был в то время облечен такой огромной властью, как он?.. Впереди колоссальные преобразования... Они сопоставимы разве что с Петровской эпохой. И Вяземский — вчера еще беспечный московский барин-поэт — имеет к этому самое прямое отношение. Он был доверенным лицом, с ним советовались. Ведь в самом деле, только от него зависит, как перевести тот или иной политический термин французского текста, как *подать*

* Французский текст Государственной Уставной грамоты России с русским переводом Вяземского был опубликован в Варшаве во время польского восстания (Charte Constitutionelle de l'Empire de Russie. Varsovie, 1831) тиражом 2 тысячи экземпляров. 1578 из них были сожжены в Кремле по приказу Николая I. Более подробно см.: *Вернадский Г. В.* Государственная Уставная грамота Российской империи. Прага, 1925.

мысль иноземного юриста. На столе Вяземского далеко за полночь горят свечи, громоздятся книжки английских, французских и испанских журналов, тома «Курса конституционной политики» Бенжамена Констана. Он читает отчеты о парламентских схватках в европейских странах. Продирается сквозь текст веймарской и баварской конституций... Снова вспомнился отец. Гордился бы он сейчас сыном? Наверное, да... Странные повороты судьбы.

Как быстро становится Вяземский из «певца веселья и любови» политическим трибуном!.. Это может показаться подозрительным, неестественным, ведь за все свои двадцать шесть лет князь Петр Андреевич вообще никак не участвовал в государственных делах. Но это только на первый взгляд. Не забудем о том, что возрос он в семье несостоявшегося реформатора. И уже в письмах 14-летнего подростка Вяземского не раз встречается политическая «злоба дня» — Наполеон, союз России и Пруссии... В 1810 году князь набрасывает для себя заметку об искусстве государственного управления. Впереди у него — Отечественная война, чтение карамзинской «Истории», арзамасские речи Николая Тургенева и Михаила Орлова, проект официального правительственного журнала... Наконец, родовая честь потомка Рюрика и Владимира Мономаха призывала его быть деятельно полезным Отечеству. Кому же как не молодому аристократу помогать власти в благих преобразованиях? Тем более что власть *сама* попросила его помочь...

Вяземский периода весны 1818 года как политик довольно типичен для той эпохи. Это русский молодой либерал, из знатного рода, в силу этого приближенный ко двору и дающий «уроки царям»; прямодушный, нелицеприятный, открыто возмущающийся тем, что ему не нравится; сторонник государства сильного, монархического, но просвещенного, обладающего на европейский лад атрибутами некоторой демократии. Он противник «варварства» — крепостного права, гуманный помещик, облегчающий участь своих крестьян, сторонник просвещения, ибо «где просвещенье — там добро». Он выступает за привилегированное положение дворянства, ибо это просвещенный класс, цвет нации. Он готов встать на защиту этого класса, если власть попытается ущемить его права на независимость и культурное развитие.

Так что в варшавские годы он прежде всего — либеральный политический деятель. Но он и поэт, и читатель, и друг своих друзей, и даже по-прежнему «весь рассеяние», только жизнь его стала много насыщеннее...

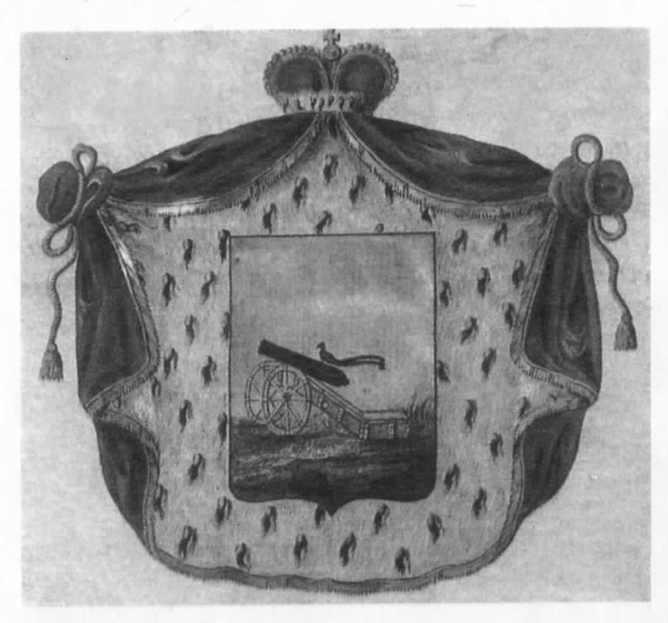
Он ныне оторван от России, от литературной жизни ее и

в письмах расспрашивает друзей обо всем. Жуковский его огорчал (и не то чтобы огорчал, а раздражал) — ушел с головой в педагогические заботы, муштрует свою прусскую красавицу и не пишет поэмы, которую требовал от него Вяземский. В письмах к Дашкову князь позволил себе больно поддевать Жуковского за то, что нет в нем «конституционной крови» (все ему хотелось видеть в Жуковском *земного* человека, не понимал он, что прелесть его — как раз в «небесности»)... Жуковский терпел это долго, но в ноябре обиделся не на шутку и в письме учинил Вяземскому справедливую взбучку. (И одновременно, «лягая» Жуковского, в другом письме князь восхищается им: «Был ли такой язык до него? Нет! Зачинщиком ли он нового у нас поэтического языка? Как думаете вы, ваше высокопревосходительство, милостивый государь Иван Иванович (Дмитриев. — *В. Б.*), вы, у коего ум прохолодил душу, а душа, не совсем остывшая, ему назло согревает ум, вы, который вообще правильный и образцовый стихотворец, а иногда порывами и поэт? Как думаешь ты о том, пуншевая стклянка... Аполлоном разжалованный Мерзляков? Что вы ни думали бы, а Жуковский вас переживет».) Батюшков путешествовал по Крыму. Михаил Орлов радовался тому, что Вяземский занялся политикой: «У тебя родилось, судя по письму твоему, священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава». Добрейший Александр Тургенев ворчал в письме на князя по поводу его карточных трат и... выбивал для него все новые и новые кредиты (Вяземский Тургеневу: «Твои письма, как лучи на Мемнонову статую: есть письмо, — и я умен, любезен часа на два... писем нет — и я камень»). Карамзин тоже умолял не транжирить деньги... Вяземский спрашивал у Николая Тургенева, как идут дела с арзамасским журналом. Но затея давно уже заглохла — возиться с журналом было некогда и некому.

Большим событием в жизни России стал выход в начале февраля 1818 года восьми томов «Истории государства Российского». Изданная огромным для тех лет тиражом в три тысячи экземпляров, книга разошлась мгновенно. В Петербурге восемь томов продавались за 55 рублей, в Москве — уже за 75, в Киеве — за 85... «История нашего любезного историографа у всех на руках и на устах: у просвещенных и профанов, у словесников и словесных, а у автора уже нет ни одного экземпляра», — сообщал Вяземскому Дмитриев. В письме в Петербург Вяземский с восхищением называет восемь томов «эпохою в истории гражданской, философической и литературной нашего народа» и добавляет: «Карам-



Кн. Вяземскій



Родовой герб князей Вяземских.

Москва, Малый Знаменский переулок. Усадьба, в 1790—1810-х годах принадлежавшая Вяземским. Здесь 12 июля 1792 года родился князь Петр Андреевич. *Фото автора.*



Князь
Андрей Иванович
Вяземский
(1754—1807).
С портрета
Ж.-Л. Вуаля.
1773—1779.

Остафьевский дворец. *Фото автора.*

План села Остафьева. *И. Вахромеев. 1805.*

Остафьево. Парадный зал-ротонда.



Николай Михайлович Карамзин.
С портрета Ж.-Б. Дамон-Ортолани. 1804.



Екатерина Андреевна Карамзина.
С портрета М. Беннера. 1817.

Остафьево. Карамзинская комната.
Здесь была создана «История государства Российского». *Фото 1907.*





Санкт-Петербург, Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова). Иезуитский пансион, где Вяземский учился в сентябре 1805-го — июле 1806 года.

206

Elmire et Phanor
Tragedie.

Elmire.
Un injuste tyran me retien prisonniere
je ne vois plus le jour, et n'ai point de lumiere
Zulime, de mes maux n'aura-t-il point pitié? ....
ah! tu n'en connois pas toi même la moitié......
Phanor veut m'epouser, je suis en sa puissance,
il veut se faire aimer, mais son amour m'offence,
j'aime mieux dans ces lieux rester cent ans encore
que d'epouser jamais l'execrable phanor.

Zulime.
Ah! Madame Madame songés a sa puissance
vous devriés plutôt implorer sa clemance,
songés que son amour a traversé les mers.
pour venir dans ces lieux se jetter dans vos fers
et du mont Citheron passant en amerique
il a conquis pour vous la moitié de l'affrique.

Elmire
Et pour mieux couronner, tous ces exploits divers
depuis plus de trois mois il me tient dans les fers!
Je sais qu'ils tomberont, aussitôt que mon ame
se sentira pour lui susceptible de flame.
Mais helas! de mon coeur je connois le secret
Zulime qu'ai-je dis!

Zulime
ouvrés moi tout à fait
Le coeur où dès longtems Madame j'ai su lire
mais sans avoir jamais osé vous le dire.

Трагедия «Эльмира и Фанор», первое дошедшее до нас произведение будущего поэта. *1802. РГАЛИ. Публикуется впервые.*



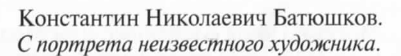
Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. *С портрета неизвестного художника. 1790-е гг.*



Иван Иванович Дмитриев. *Гравюра. 1810—1814.*

Василий Андреевич Жуковский. *С литографии Е. Эстеррайха. 1819.*





Константин Николаевич Батюшков. *С портрета неизвестного художника.*





Александр Иванович Тургенев.
С портрета П. Соколова. 1816.



Василий Львович Пушкин.
С портрета И.-Е. Вивьена де Шатобрена. 1823.

Москва, Новая Басманная. Дом Мордвинова,
где в 1810—1811 годах жили Карамзины и Вяземский. *Фото автора.*



Князь Петр Андреевич Вяземский.
С портрета П. Соколова. 1810-е гг.



Княжна Вера Федоровна Гагарина,
в замужестве княгиня Вяземская.
С портрета А. Молинари. 1809.

Бородинское сражение. *С картины А. Сафонова.*



Дмитрий Васильевич Дашков.
С литографии К. Эргота. 1830-е гг.



Сергей Семенович Уваров.
С портрета О. Кипренского. 1816.

Михаил Федорович Орлов.
С портрета П. де Росси. 1814.

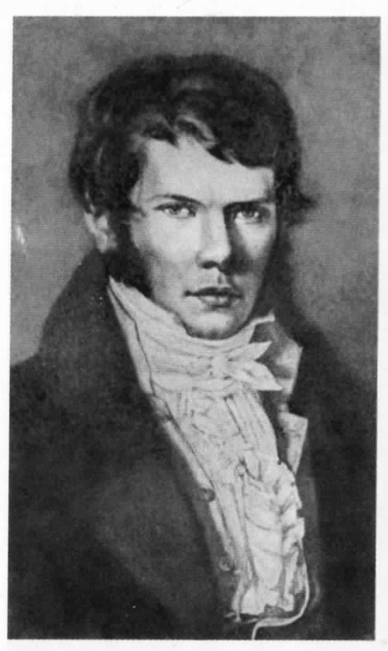


Николай Иванович Тургенев.
С портрета Е. Эстеррайха. 1823.





Жуковский и Вяземский в гостях у Пушкина-лицеиста 25 марта 1816 года.
С рисунка Ю. Иванова.



Князь Петр Андреевич Вяземский.
С портрета К.-Ф. Рейхеля. 1817.



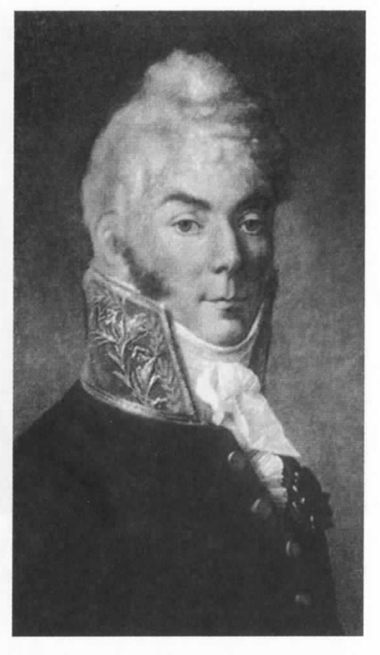
Княгиня Вера Федоровна Вяземская.
С портрета К.-Ф. Рейхеля. 1817.

Варшава. Колонна Сигизмунда III на Замковой площади.





Император Александр I.
С портрета неизвестного художника. 1810-е гг.



Николай Николаевич Новосильцев.
С портрета С. Щукина. 1800-е гг.



Вяземский.
С портрета И. Зонтага. Варшава, 1821.

Москва, Большой Чернышевский (ныне Вознесенский) переулок.
Дом, в 1821—1844 годах принадлежавший Вяземским. *Фото автора.*

Остафьево. На втором этаже справа — окно Карамзинской комнаты.
С картины И.-Е. Вивьена де Шатобрена. 1817.



Александр Сергеевич Пушкин.
С портрета В. Тропинина. 1827.



Александр Сергеевич Грибоедов.
С портрета В. Машкова. 1820-е гг.

Иван Иванович Козлов.
С гравюры К. Афанасьева. 1830.



Евгений Абрамович Баратынский.
С литографии Ф. Шевалье. 1830-е гг.



Журнал
«Московский телеграф».
1825.

МОСКОВСКІЙ

ТЕЛЕГРАФЪ,

ЖУРНАЛЪ ЛИТТЕРАТУРЫ, КРИТИКИ,
НАУКЪ И ХУДОЖЕСТВЪ,

издаваемый

Николаемъ Полевымъ.

Man kann, was man will —
Man will, was man kann. . . .

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1825.

Вяземский.
С литографии К. Беггрова. 1820-е гг.



Николай Алексеевич Полевой.
С портрета неизвестного художника.



зин — наш Кутузов Двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в Двенадцатом году». И как странно находить на свежеразрезанных, еще пахнущих краской страницах имена собственных предков — Рюрик, Владимир Мономах, Ростислав Смоленский... У них тоже были подвиги... и какие... Что ж, с усмешкой думал Вяземский, может, Уставная грамота тоже станет его подвигом. И его имя, имя творца первой русской конституции, прочтут в учебниках дети трудновообразимого XXI века...

Александр Пушкин обращается к Жуковскому, говорит стихами о Батюшкове:

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там — в дыму столетий...

«*В дыму столетий*! Это выражение — город: я все отдал бы за него, движимое и недвижимое, — восторгается Вяземский. — Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших». Гениальная проза Карамзина рождает гениальные стихи Пушкина...

Нашелся на Карамзина и критик — профессор Михаил Трофимович Каченовский. Он вполне заслуженный ученый, недурной литератор, Жуковскому помогал когда-то издавать «Вестник Европы», а теперь сам его издает... Но что Вяземскому до его дурацких заслуг! Он покусился на святое. На Гения. Как можно критиковать Карамзина?.. Сам бы сел да написал такую «Историю»!.. «Каченовский хрипит, — торопливо пишет Вяземский в Россию. — Его пора отпендрячить по бокам». И он на одном дыхании выдает пять эпиграмм, а потом, не ограничившись этим, начинает злое и ядовитое «Послание к М. Т. Каченовскому» — вариацию на тему вольтеровского стихотворения «De l'Envie»*. Сразу это послание ему не далось, и он дописал его в декабре 1820-го. «Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок / Талантов низкий враг, завистливый зоил...» Достаточно убрать запятую и восклицательный знак — и завистливым зоилом становится сам Каченовский... Друзья князя были в полном восторге. Маститый мэтр Иван Иванович Дмитриев писал: «Вяземский оправдал мою надежду: он показал талант и душевную энергию. Люблю Жуковского и Батюшкова по-

* «О Зависти» (*фр.*).

прежнему, но да не прогневаются они: Вяземскому в сердце моем первое место». Василий Львович Пушкин: «Прекрасно! Ты раздавил змею Каченовского и написал образцовое послание в стихах»... И только сам Карамзин, страсть не любивший ссор и споров в литературе, сердито выговорил родственнику в письме; да еще Пушкин-племянник отозвался: «Бранюсь с тобою за одно послание к Каченовскому; как мог ты сойти в *арену* вместе с этим хилым кулачным бойцом... Как с ним связываться — довольно было с него легкого хлыста, а не сатирической твоей палицы». Вяземский в ответ мимоходом заметил, что тут он «сын Алкорана, а не Евангелия» — надо «за пощечину платить двумя»... Карамзину же он написал вежливо, но твердо: «Простите, я виноват перед Вами, но в некотором отношении прав перед собою, хотя и жаль, что делаю Вам неудовольствие».

«Сатирическая палица» Вяземского прогулялась по спине Каченовского еще раз — уже в связи с рецензией профессора на книгу «Неопубликованные письма Вольтера». Параллельно князь доработал озорной «Ухаб», в котором живописал свой отъезд из Москвы. Это что-то вроде дружеских куплетов, которые певались в отцовском доме, еще до пожара... «Ухаб» открыл одну из важнейших тем в поэтическом хозяйстве Вяземского — тему *дороги*, дорожных мыслей и впечатлений. Вяземский как никто из русских поэтов любил писать в дороге, как никто мог передать бумаге ощущения, которые переживает путник, владеющий пером...

Пожалуй, лучшим его стихотворением весны 1818 года стала элегия «К воспоминанию», очень похожая на «Воспоминание» Жуковского (этот перевод из Монкрифа был напечатан в сборнике Жуковского «Für Wenige»*, который появился как раз в апреле). В ней впервые прозвучали у Вяземского мотивы разочарованности, развитые полтора года спустя в «Унынии».

Прошедшего привет, воспоминанье!
Отрадой сердце посети!
Ты замени остылое желанье,
Будь мне подпорой на пути!

Таинственно, в тиши красноречивой
Беседуй с жадною душой:
Грядущего умолкнул голос льстивый:
Надежды немы предо мной!

Я отжил век волшебных упоений,
Загадку жизни разгадал...

* «Для немногих» (*нем.*).

Жуковский, в свою очередь, отозвался на эти стихи элегией «Ты в утешители зовешь воспоминанье...». Чуть позже Вяземский еще раз обыграл «жуковскую» тему в стихотворениях «Песня» и «Сетования» — процитировав в них элегии друга «Вечер» (1806) и «Мечты» (1812) с их мотивами ушедшей юности-весны. В начале 20-х годов этот образ был еще относительно свеж. А вот для Пушкина, работающего над «Евгением Онегиным», юность-весна звучит почти пародийно, и стихи Ленского «Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни...» — уже не более чем общее место из романтического арсенала русской поэзии.

Весна 1818 года пролетела быстро. 30 апреля родился у Вяземских сын, названный Николаем. А в июле неугомонный князь задумал выбраться в путешествие по Польше, ведь видел он до этого одну Варшаву. Особенно привлекал его Краков, город с бурной и суровой историей. В час пополуночи 2 августа Вяземский выехал из Варшавы коляской, один, без жены и детей.

Дорогою он читал историю Кракова. В 1815 году древняя столица Польши стала яблоком раздора между Австрией и Россией, на границе которых она лежала. В конце концов было решено выделить город в особое государство. Тридцать лет существовала Краковская республика на карте Европы, пока в 1846 году Австрия не включила ее территорию в свой состав.

4 августа, в воскресенье, Вяземский попал в суету краковского большого света — его тут же пригласили на десяток обедов, повезли на бал, где он сперва тушевался, но быстро разохотился и танцевал до упаду мазурку (а потом спал как убитый в коляске)... Остановился в трактире «У Шидловского», в той же комнате, где ночевал в 1805 году Александр I. Президент городского сената Станислав Водзицки показал ему Вавель — могучий замок, возвышающийся на горе. Вяземский заметил, что австрийцы в нем все изуродовали, что мрамор заштукатурен, золотые украшения ободраны, заделаны большие окна и пробиты маленькие... Осмотрели костел Святого Станислава, в котором некогда разъяренный король Болеслав Смелый зарубил епископа Станислава, обличавшего монарха. Поднялись на колокольню храма Богоматери, что на краковском Рынке. Как всякий просвещенный путешественник, Вяземский посетил Академию наук, ботанический сад, обсерваторию, тюрьму, дом умалишенных, монастырь сестер милосердия; съездил на Величские соляные шахты.

Записная книжка быстро заполнялась заметками о полити-

ческом и экономическом состоянии города. Прежде всего Вяземский видел в Кракове республиканскую, свободную землю, что-то вроде немецких «вольных городов», Любека или Гамбурга... И не случайно 7 августа, на четвертый день своего пребывания «на горах свободы», вчерне набрасывает он в той же записной книжке стихотворение «Петербург», еще не зная, какую роль сыграет оно в его поэтической биографии. Перед ним по-прежнему величественный Вавель с гробницами древних польских монархов, но он уже видит совсем другое — град Петров, «потомками его украшенный стократ»... «Я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет», — пишет он Тургеневу.

Прежнему творчеству Вяземского ни жанр «Петербурга» (классическая «гражданская ода»), ни политическая окраска стихотворения не свойственны. Нужны были речь на открытии сейма, поздний «Арзамас», иностранные журналы, варшавская обстановка, чтобы князь Петр Андреевич обратился к теме свободы, сотрудничества власти и честных граждан. Нужны были его дидактические послания 1815—1817 годов, в которых поэт учился говорить высоким штилем XVIII столетия. В «Петербурге» Вяземский — ученик Державина и Радищева, читатель послания Жуковского «Императору Александру», превосходный знаток одического жанра. Тяжелый, прерывистый слог, обилие архаизмов полностью соответствуют предмету описания. А пишет князь о России, о Петербурге, о Петре I, об Александре I:

С народов сорвал он оковы угнетенья,
С царей снимает днесь завесу заблужденья,
И, с кроткой мудростью свой соглася язык,
С престола учит он народы и владык.

Уж зреет перед ним бессмертной славы жатва!
Счастливый вождь тобой счастливых россиян!
В душах их раздалась души прекрасной клятва:
Петр создал подданных, ты образуй граждан!

Идет август 1818 года: пишется русская конституция, сразу несколько человек по заказу императора работают над проектами освобождения крестьян; Александр I пока сосредоточен на внутренних проблемах, он и без напоминаний Вяземского готов «образовать граждан» (и Вяземский даже уточняет, каких именно — «свободных граждан свободныя земли»). Но есть в России и военные поселения, Аракчеев — и это, по-видимому, дает повод для сомнений...

В поэтическом отношении «Петербург» не был для Вяземского шагом вперед; это, напротив, вчерашний день рус-

ской литературы — блистательный, но вчерашний. Важность его в другом. Во-первых, «Петербург» был для Вяземского, бесспорно, политическим актом, напоминанием царю о данных им обещаниях. Во-вторых, это была первая после значительного перерыва гражданская ода в России. Немудрено, что на ее публикацию Вяземский даже не рассчитывал («Петербург» распространял в России Александр Тургенев. Благословенное время, когда поэт мог приобрести всероссийскую славу благодаря переписанным от руки нескольким десяткам копий его творения...). Слишком дерзкими могли показаться императору указания, что и как ему делать (отказаться от «слепого самовластья»... освободить крестьян... разорвать «постыдные оковы», обременяющие мысль... Хотя, в сущности, все напоминания Вяземского царю вполне соответствовали русской оде — тему ответственности государя перед Богом, Отечеством и подданными впервые поднял еще Ломоносов в 1762 году).

И — августейшего грома не последовало. «Петербург» то ли не дошел до царя, то ли в нем не увидел он ничего крамольного. Зато друзья завалили письмами. Плохо отозвался о «Петербурге» лишь Жуковский — он не был поклонником политической поэзии (и Вяземского очень огорчила его реакция). Василий Львович Пушкин назвал оду шедевром, Карамзин — «прекрасными стихами». Порадовался за друга и Батюшков: «Стихи к Петрограду прекрасны, сильны, достойны тебя». Иван Иванович Дмитриев писал Тургеневу: «Нетерпеливо ожидаю узнать последнее произведение оригинального и истинного поэта Вяземского, которого, конечно, не заменит и молодой Пушкин, хотя бы талант его и достиг до полной зрелости... Вяземский, в сердитом или веселом духе, всегда умеет прельстить меня... Он истинно природный поэт! Вот мой герой!» Дмитриев назвал «Петербург» одним из лучших стихотворений Вяземского...

«Петербург» был закончен 28 сентября (хотя кое-какие поправки вносились и годом позже). Ода словно раскрыла в Вяземском какие-то шлюзы... Уже через две недели, 13 октября, он посылает Тургеневу едва ли не самую знаменитую свою эпиграмму — на журналиста Павла Свиньина: «Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин...» (эту эпиграмму обожал Пушкин). А вот послание графу Федору Толстому-Американцу (19 октября) — вполне серьезно. «Под бурей рока — твердый камень, / В волненье страсти — легкий лист!» — это о нем, знаменитом кутиле и забияке... Толстой отозвался на этот стихотворный привет письмом: «Послание истинно прекрасно, как все, что родилось от пера твоего; то

есть куча ума, ядреные мысли, которые всегда служат отличительной чертой твоего таланта. Я крепко тебя благодарю».

Старый польский поэт Юлиан Урсын-Немцевич*, большой друг Вяземского, знакомит его с баснями Игнация Красицкого, и князь переводит их на русский язык:

Пес лаял на воров; пса утром отодрали —
За то, что лаем смел встревожить барский сон;
Пес спал в другую ночь; дом воры обокрали:
Отодран пес за то, зачем не лаял он.

Урсын-Немцевич — ветеран польских походов на Россию, освобожденный из крепости Павлом I. Он помнит короля Станислава, Четырехлетний сейм, Майскую конституцию 1791 года... Конечно, сторонник независимости несчастной своей родины. И Вяземский уважает его взгляды. Позже Урсын-Немцевич назовет его единственным русским, который в Варшаве не уронил чести своего народа, и станет звать в письмах: «Возвращайтесь, чтобы жить среди людей, которые Вас любят и уважают». А Вяземский напишет: «Имя Немцевича знакомо и у нас. Поэт, историк, гражданин, семидесятилетнею жизнью своею он достиг до почетнейшего места в ряду своих современников и соотечественников»...

Все вместе — и мощный, политически актуальный «Петербург», и слухи о варшавских нововведениях, и яростные эпиграммы на Каченовского, и взволнованное послание Толстому — работает на репутацию Вяземского. Теперь уже не только друзья — вся читающая русская публика (и не только в столицах, но и в провинции) говорит о нем как о крупном поэте, одинаково хорошо владеющем сатирическими и высокими жанрами. Не слыхать больше упреков в том, что он не трудится, занимается чепухой... Его много печатает «Сын Отечества» (а «стихотворную мелюзгу» охотно подхватывает «Благонамеренный», иметь Вяземского сотрудником стало престижно). Некоторые его стихи публикуются в антологиях образцовой русской поэзии. Батюшков пишет Блудову о Вяземском: «Он написал громаду прекрасных стихов, живых, исполненных благородных мыслей и смысла»... Это была *слава*.

Самого Вяземского все это не особенно волновало. Чи-

---

* В некоторых русских изданиях Вяземского или книгах о нем фамилия классика польской литературы писалась ошибочно: Немцевич, с инициалами Ю. У. или Юлиан-Урсын. Видимо, авторы полагали, что «Урсын» второе имя поэта. Между тем Урсын-Немцевичи — древний, восходящий к XVI веку польский род герба Равич, вписанный в I часть родословной книги Гродненской губернии.

тая похвалы себе, он только посмеивался. Видели бы его друзья сидящим за иностранной перепиской!.. Новосильцевская канцелярия с каждым днем становилась все несноснее, а работа над переводом Уставной грамоты уже казалась надосвшей рутиной.

«В Новосильцеве нашел я начальника, которого лучше и придумать нельзя, начальника, чуждого всякого начальствования. С первых дней приезда сделался я у него домашним; в течение нескольких лет, до дня отъезда моего, эти отношения ни на один день, ни на одну минуту не изменялись». Это позднее «Автобиографическое введение», и в нем Вяземский, мягко скажем, не совсем точно вспоминает свои взаимоотношения с Новосильцевым. Уже в 1818 году князь Петр Андреевич начал язвительно прохаживаться по начальству в письмах, иногда резко и откровенно, иногда завуалированно — это зависело от того, с оказией ли идет письмо или по почте. Называет его иронически «Букой» и «Николаем Чудотворцем», с пренебрежением сообщает о том, что Новосильцев чужд всякому творчеству, ленив, о международных событиях узнает от своего камердинера-англичанина; что он не умеет обращаться с поляками, что он ничего не читает и гордится этим*... В общем, князь его «раскусил». Больше всего его злило то, что Новосильцев «холопствует» и плодит холопов вокруг себя. Одним из главных подхалимов был чиновник Байков, который открыто начал интриговать против Вяземского... Этому крапивному семени не нужны были ни конституция, ни честная служба, ни благо России. Россия далеко и воплощалась для них в чинах и крестах... Все это было отвратительно. Вяземский начинает чувствовать себя «коренным переводчиком всех государственных глупостей», пишет, что положение его — «курам на смех», «убийственное»... Он стал понимать, что душа его осталась в Москве, в Остафьеве, и только за стихами, с пером в руках можно ее вернуть ненадолго... Да и варшавское общество казалось ему пустым и холодным, не веселили уже эпиграммы князя Голицына-Рыжего, и даже красавица графиня Александра Потоцкая (Тургенев подозревал, что Вяземский не на шутку в нее влюбился) больше не радовала взор. Теперь каждый раз, когда он входил в канцелярию и встречался глазами с наглыми, самоуверенными, опостылев-

---

* Полвека спустя Вяземский, противореча себе, вспомнил, что Новосильцев баловался стихами; случалось князю заставать его и за переводом Анакреона с греческого подлинника, и за клавикордами. Да и Карамзин отзывался о Новосильцеве в целом недурно, хотя и с легкой иронией: «Благороден душою, не лакей, и знает — Адама Смита!»

шими «коллегами», его охватывала дрожь омерзения. «Ни за какие блага мира не хотел бы отдать я сии... порывы негодования при виде сих дневных счастливцев, от коих, сказал я однажды, несет ничтожеством; сие омерзение, охватывающее меня при малейшей тени предосудительного шага, сию девственную щекотливость чести», — писал он.

В искренности Александра I Вяземский сомневается уже без всяких оговорок, всерьез: «У него ничего того ни на уме, ни на сердце нет, а все это так говорится, для блезиру. А дураки-то и разинули рты! Впрочем, государствование — выученная роль. Что мне за дело до души актера!.. Поверь, в этом ремесле, от престола до лубочного поля, всегда есть примесь диавольского». Это в начале ноября. Буквально через две недели он убежденно заявляет, что государь «бонапартничал, то есть мазал... их (поляков. — *В. Б.*) по губам в глазах Европы».

«Я здесь прозябаю, а не живу», — жаловался он Дашкову. В декабре 1818 года Новосильцев должен был ехать в Россию, и у Вяземского вдруг мелькнула надежда: увязаться за ним и выпросить себе перевод в Петербург или Москву... Чем черт не шутит! Он даже набросал на бумаге список причин, по которым не хочет больше оставаться в Варшаве.

«Николай Николаевич едет встречать государя в Брест и проводит его до Слонима, я выпросился у него ехать с ним с тем, чтобы оттуда по соседству заехать в Москву, а из Москвы к вам поговорить, — сообщал Вяземский Тургеневу. — Шутки в сторону: я теперь и сам дивлюсь, что решился так круто. Но Бог меня убей, здесь многое мне невтерпеж». В десять утра 14 декабря Вяземский выехал из Варшавы и 15-го догнал Новосильцева в Бресте-Литовском. Потом были Слоним, встреча царя, ехавшего из Вены, маленький скучный Минск («город, то есть то, что может назваться городом, на одной площади») и, наконец, прямая дорога на Москву...

Нищая, вечно неурожайная и голодная Литва потрясла Вяземского. На станциях императорский кортеж осаждали просители с бумагами. «Ужасное положение, — думал князь, — сорок миллионов народа, который везде, выбиваясь из сил, ждет суда от одного человека!» Он записал в дневник свои мысли о положении литовских крестьян... Но и Москва поразила его неприкрытым *хамством* (*хам* — любимое словцо Николая Тургенева, означавшее невежду, реакционера...). Допотопные суждения о политике, о литературе людей, с которыми он год назад еще охотно беседовал... Азиатчина... самодовольная пошлость... «Петербург» все *ха-*

мы знали прекрасно — и все его дружно ругали. Когда у Вяземского спросили, не писал ли он эти стихи по высочайшему повелению, он с трудом удержался от нервического смеха... Мечты об отставке остались мечтами. «В Варшаве я живу с отоматами, а здесь дикие звери, то есть кабаны, то есть дикие свиньи, — сделал он свой вывод. — Нет, лучше скучать, чем содрогать».

Все раздражало его теперь в Москве. Даже то, что никто не оценил новые «веллингтоны» Вяземского, панталоны в обтяжку, сшитые по последней лондонской моде. Увидев князя в этих брюках на балу, к нему подбежал его хороший знакомый Александр Павлович Офросимов и возмутился:

— Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя танцевать пригласили, а не на мачту лазить. А ты вздумал нарядиться матросом...

Друзей в Москве было мало. Вяземский навестил Дмитриева, братьев Александра и Константина Булгаковых (знаменитая братская пара, потом они занимали посты петербургского и московского почт-директоров). В середине января все светские развлечения в Москве прекратились — в знак траура по умершей сестре Александра I Екатерине. Но любители балов все-таки нашли выход: танцевали в тишине, без музыки.

21 января 1819 года Вяземский уехал в Петербург.

Он остановился у Муравьевых на Фонтанке. Карамзины были там. Николай Михайлович все собирался вернуться в Москву, но «История» выходила уже вторым изданием — снова требовалось его присутствие. Карамзину было пятьдесят два года, волосы его поблекли и побелели, вытянутое лицо украсилось нерезкими складками. Но глаза смотрели по-прежнему остро и проницательно, и под взглядом этим Вяземский на минуту вновь ощутил себя нашалившим мальчишкой.

Николай Михайлович работал над девятым томом — описывал «злодейства Ивашки», Ивана Грозного. И, естественно, шли разговоры о вольности, тиранстве, готовящихся реформах, переменах... Начинал эти разговоры обычно Вяземский: иронично поблескивая очками, доказывал необходимость введения конституции в России, жонглировал названиями стран — княжество Шаумбург-Липпе, Саксен-Веймар-Эйзенахское герцогство, Бавария... Скоро появится конституция в Вюртемберге. Вся Европа пишет себе конституции.

— Россия не Шаумбург, — возражал Карамзин, — она имеет свою государственную судьбу, самодержавие есть душа ее. Опыты в сем случае не годятся. Это все равно что

чуждый черенок привить к могучему дереву... Я хвалю самодержавие, то есть хвалю зимой печи в северном климате. Впрочем, не мешаю вам думать иначе. Потомство увидит, что было лучше для России... А для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу Национального собрания. Хоть я в душе и республиканец и таким умру.

Вяземский слушал все это с улыбкой. Он глубоко любил Карамзина, преклонялся перед ним (хотя своим творчеством часто опровергал карамзинские принципы). Карамзин на всю жизнь остался для него идеалом творческим и человеческим. Но в политических убеждениях они явно не сходились, пылкое вольномыслие князя Карамзин одобрить никак не мог. У него были свои принципы. «Мне гадки лакеи и низкие честолюбцы и низкие корыстолюбцы, — писал он Дмитриеву. — Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституций, ни Представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое!» Вяземский этого понять не умел...

Нередко к Карамзину приходили и молодые «либералисты» — Николай Тургенев, Никита Муравьев, Петр Чаадаев... Споры вскипали тогда нешуточные. Пушкин-племянник мог бросить в лицо Николаю Михайловичу резкое: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе!» (а Карамзин, вспыхнув, мог назвать Пушкина клеветником)... И Вяземский невольно чувствовал тогда, что, не соглашаясь с Карамзиным, он не может принять и сторону «горячих голов». «Головы военной молодежи ошалели и в волнении, — иронически пишет он. — Это волнение: хмель от шампанского, выпитого на месте в 814-м годе. Европейцы возвратились из Америки со славою и болезнию заразительною: едва ли не то же случилось с нашею армиею? Не принесла ли она домой из Франции болезнь нравственную, поистине *Французскую болезнь.* Эти будущие преобразователи образуются утром в манеже, а вечером на бале». Запомнилось ему, что Карамзин произнес однажды в разговоре с Николаем Тургеневым:

— Мне хочется только, чтобы Россия подоле постояла.

— Да что прибыли в таком стоянии? — досадливо поморщился Тургенев.

Когда гости разошлись, Карамзин с усмешкой сказал Вяземскому:

— Те, кто больше всех вопиют у нас против самодержавия, носят его в крови и лимфе...

Вот тут князь Петр Андреевич, пожалуй, был согласен с

Карамзиным. Были и другие вопросы, в которых они полностью сходились. Например, оба терпеть не могли *библейничанья*, то есть нарочитой набожности, вошедшей в то время в обиход в придворных кругах. Промышлять цитатами из Библии стало модно — на этом делались карьеры, добывались кресты и ленты. Из веры делали государственную политику.

Политические споры воспитателя с воспитанником никак не отражались на личных чувствах. Карамзин продолжал нежно любить Вяземского «как брата, хотя и непослушного». «Свидание с князем Петром было для нас нечаянным сердечным удовольствием, — писал Карамзин Дмитриеву. — Зреет умом и характером, как сын, достойный отца».

Литературная братия от души радовалась князю. Вяземский нашел в Петербурге Жуковского, Ивана Козлова, молодого Пушкина. Последнему князь Петр Андреевич был особенно рад. В последний раз они с Пушкиным виделись в мае 1817-го. Тогда Вяземский трижды навещал Пушкина в лицее — 22 мая, на экзамене по истории, 26 мая, в день восемнадцатилетия Пушкина, и 30 мая. Пушкин почти ежедневно бывал тогда у Карамзиных, где остановился Вяземский. «Общество наше составляют лицейские Пушкин и Ломоносов, — сообщал князь жене 29 мая, — они оба милые, но каждый в своем роде: один горяч и ветер, забавен и ветрен до крайности, Н<иколай> М<ихайлович> бранит его с утра до вечера, другой гораздо степеннее»*. Тогда же перешли на «ты»... Они братски обнялись. Вяземскому в Варшаву писали, что Пушкин повесничает, стреляется чуть ли не каждый день, но и пишет поэму о богатыре и красавице, начатую еще в лицее... Пушкин был быстр, весел и самолюбив. Вяземский улыбался: не таков ли он сам был еще несколько лет назад? Шампанское да стихи на уме... Мальчишка.

Так началась их неровная, нервная дружба. Вяземскому двадцать шесть лет, Пушкину — восемнадцать, разумеется, дистанция все же есть: Вяземский Пушкина обнимает, но говорит с ним как старший, опытный, с устоявшейся репутацией поэт... почти классик. Как умный человек, князь Петр Андреевич не мог не видеть, что Пушкин собой являет нечто необычное, что он, скорее всего, замена Жуковскому, в будущем вождь и глава русской литературы и что возвышение Пушкина так или иначе скажется на месте Вяземского в этой литературе. Ревность?.. Конечно, не без этого. Честолюбив и тщеславен был Вяземский необычайно, хотя

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3266. Л. 44.

и любил надевать маску беспечного дилетанта, мало озабоченного своей поэтической репутацией. Но не мог он, глядя на Пушкина, не думать о том, что *законный* наследник русской поэзии — все-таки он, Вяземский... Ведь это он — воспитанник Карамзина и Дмитриева, его приветили Жуковский и Батюшков, у него в Остафьеве собирался весь цвет московской словесности. А тут молодой гениальный *самозванец*. «Надобно посадить его в желтый дом, не то этот бешеный сорванец заест нас и отцов наших... Задавит, канальья...» Он гнал от себя такие мысли — как недостойно, мелко... Что за династии в литературе! Это же не королевство. Ведь ясно, что талант Вяземского, как ни верти, не сравнится с дарованием Пушкина. Пушкин — молодой Орфей, у него все от Бога. А ему, Вяземскому, предстоит остаться любезным повесой, воплощенным «рассеянием», коренным переводчиком всех государственных глупостей, другом Пушкина... да мало ли кем еще.

Он смог смирить (или глубоко запрятать) гордыню, искренне полюбил Пушкина, начал его опекать (как и Жуковский). Лишь очень глухие, затаенные следы ранней ревности к пушкинской славе находим мы в разных высказываниях Вяземского.

Они начали оживленную переписку.

...В конце марта, уже в Варшаве, Вяземский написал обширное «Послание к И. И. Дмитриеву, приславшему мне свои сочинения». Оно мастерски выдержано в духе дидактических сатир самого Дмитриева. В нем не только благодарность старому поэту за присланную книгу, но и явный отзвук недавних впечатлений от поездки в Россию (строки о невеждах, которые «за карточным столом иль кулебякой жирной» «жалуют посредственность одну»). И хотя в начале послания Вяземский сетует на варшавское общество, «толпу холодную», на то, что «в бездействии тупом ослабевает ум», — мало-помалу энергия возвращается к нему, и вот уже он обращается к Дмитриеву с призывом «разить невежества вражду», вновь, как и тридцать лет назад, клеймить пороки сатирами... Конечно, всерьез рассчитывать на то, что Дмитриев выдаст новый «Чужой толк» или перевод Ювеналовой сатиры о благородстве, было наивно — старый поэт в последнее время занимался разве что баснями, и то изредка. Но читателям послания был важен общий его тон — по-дмитриевски суховатый, иногда жесткий, сдержанно-гневный... Недаром это стихотворение позже было опубликовано в декабристском альманахе «Полярная звезда».

Настало лето. Вяземский перечитывал Горация. «Мне

сдается, что Гораций может довольно хорошо обрусеть», — пишет он Тургеневу и посылает вольный перевод послания Горация «К кораблю», продолживший линию «Петербурга». Здесь в финале — снова прямое обращение к государю, высшие ценности для которого — «свобода смелая, народов божество», «торговля, мир, науки» и в итоге — «счастие граждан»... Но этим стихотворением он не вполне доволен. А тут увлекла новая тема. Перебирая деловые бумаги, он нашел документ, связанный с освобождением по подписке крепостного поэта Сибирякова. Это была нашумевшая история.

Рязанский крестьянин Иван Сибиряков, дворовый помещика Маслова, был поэтом-самоучкой, писавшим патриотические стихи. В 1818 году самородком заинтересовались, материал о нем поместили журналы. Когда же встал вопрос об освобождении крестьянина, Маслов запросил за него абсурдно большую сумму — десять тысяч. Эти деньги собрали по подписке Жуковский, братья Тургеневы, Вяземский, генерал Милорадович и его адъютант поэт Федор Глинка. Сибиряков был освобожден. Вяземский обратился к нему с поэтическим посланием, где смело противопоставлял крепостного стихотворца его владельцу:

Ты — раб свободный, он — раб жалкий на свободе...

И какие гордые, яркие строки (уж не Пушкин ли с одой «Вольность» вспомнился?):

Кто мыслит, тот могущ, а кто могущ — свободен.
Пусть рабствует в пыли лишь тот, кто к рабству сроден.
Свобода в нас самих: небес святый залог,
Как собственность души, ее нам вверил Бог!

И еще — явный намек на Новосильцева: «Ходули подхватя, иной глядит вельможей... И первый из вельмож последний из людей...» Острые, смелые до отчаянности стихи... «Я писал горячо», — добавлял он в письме к Александру Тургеневу. Первое русское стихотворение, обращенное к крепостному крестьянину *как к равному* (потому что в мире поэзии равны все...), произвело в России фурор. Кто еще мог так смело писать про «гордый разврат», «блажь слепой тщеты» дворянства!.. Разве что Сумароков в сатире «О благородстве»... И то — когда это было!.. 1 сентября 1819 года Тургенев прочел стихи брату Николаю, «который восхищался родным ему чувством», а на другой день — Пушкину; он, по словам Тургенева, «бесился», что Вяземский отобрал у него богатейший сюжет... Впрочем, Пушкин не только бесился,

но и использовал «Сибирякова» в своем поэтическом хозяйстве. Сочиняя год спустя надпись к портрету Вяземского «Судьба свои дары явить желала в нем...», он явно держал в памяти строки друга «Жалею я, когда судьбы ошибкой злой / Простолюдин рожден с возвышенной душой»...

«Попытаюсь пустить твоего Сибирякова в Сына Отечества, — добавлял Тургенев, — но для напечатания нужно будет объяснить в чем дело; а позволит ли это цензура... скажи по совести?» Началась новая эпоха для Вяземского — эпоха *непечатных* стихотворений...

В августе 1819 года, почти одновременно с «Сибиряковым», князь работал также над «подражательным переводом сатиры Депрео о рифме» — большим посланием «К В. А. Жуковскому». С Буало Вяземский уже имел дело три года назад: послание «К перу моему» — вольное переложение его Седьмой сатиры... В стихотворении «К В. А. Жуковскому», довольно точно следуя за французским оригиналом (Вторая сатира Буало-Депрео), Вяземский шутливо жалуется на трудности русского стихосложения, просит Жуковского научить, как совладать с непослушной рифмой. Это одно из лучших посланий в творчестве Вяземского — изящное и остроумное, оно вместе с тем полностью выдержано в стиле традиционной дидактической сатиры. Мимоходом брошенной фразой «Я Зимнего дворца не знаю переходов» дает о себе знать Вяземский-политик. А за шутливыми сетованиями на бедность русской рифмы (князь ернически сводит «розы» с неизменными «морозами») кроются серьезные размышления поэта о литературном языке.

Одной из ярких удач Вяземского в этом послании стало переложение строк Буало «La raison dit Virgile et la rime — Quinault» — «Разум говорит: Вергилий, а рифма — Кино»:

Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, —
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.

Эта строка вызвала нарекания цензуры (в журнальной публикации ее заменили на «...а попадет Херасков») — и Пушкина. «Читал сегодня послание князя Вяземского к Жуковскому, — раздраженно писал он в дневнике. — Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! «Кому был Феб из русских ласков» — неожиданная рифма *Херасков* не примиряет меня с такой какофонией». Вяземский и в старости обидчиво замечал, что никакой какофонии в этом стихе при всем желании обнаружить нельзя... Впрочем, он наверняка утешился критикой Блудова: *«Ласков, Херасков* и т. д.: какие странные и прекрасные рифмы и как хороша вся эта тирада

и все послание! Наш Асмодей умеет быть оригинальным в самых близких переводах».

В ноябре Вяземский доработал большую элегию «Первый снег», права на которую подарил было Батюшкову. Тот начал что-то на «снежную» тему летом 1817 года, но быстро сдался. «Скажи Вяземскому, что я начал Первый снег, но он, конечно, растает перед его снегом», — писал Батюшков Жуковскому. Сюжет повис в воздухе, и князь Петр Андреевич, вдохновившись ранней зимой 1819 года, завершил стихотворение. Первый снег выпал 15 ноября, зимняя Варшава была прекрасна — посеребренные шпили костелов, величественная Висла... Но как в Кракове пригрезился Петербург, так и в Варшаве — родная подмосковная. Вот грустное Остафьево позднего ноября:

Унынье томное бродило тусклым взором
По рощам и лугам, пустеющим вокруг.
Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг.
Пугалище дриад, приют крикливых вранов,
Ветвями голыми махая, древний дуб
Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп,
И воды тусклые, под пеленой туманов,
Дремали мертвым сном в безмолвных берегах...

Но вот выпал снег...

Сегодня новый вид окрестность приняла,
Как быстрым манием волшебного жезла;
Лазурью светлою горят небес вершины;
Блестящей скатертью подернулись долины,
И ярким бисером усеяны поля.
На празднике зимы красуется земля
И нас приветствует живительной улыбкой.
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной сосне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдистыми покорный пруд окован...

Не совсем понятные в остафьевском пейзаже «горы» — это древние курганы, которые высятся недалеко от усадьбы... И, конечно, что за зимняя пора без прогулки в санях с любимой:

Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!
Кто в тесноте саней с красавицей младой,
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой,
Жал руку, нежную в самом сопротивленье,
И в сердце девственном впервой любви смятенья,
И думу первую, и первый вздох зажег.

В победе сей других побед прияв залог,
Кто может выразить счастливцев упоенье?
Как вьюга легкая, их окриленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг,
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит!

Нет, это еще не эпиграф к первой главе «Евгения Онегина»... Просто замечательная строка Вяземского.

Широкий александрийский стих, куда можно загнать многие неподатливые слова (этот размер всегда будет любим Вяземским, в 1854-м он посвятит ему стихотворение «Александрийский стих»). Немного вычурный, резкий, но впечатляющий слог. Много роскоши, гроздьями повисают эпитеты, подчеркнуто великолепная картина... Зима у Вяземского получилась долгожданная, торжественная, веселая, сверкающая, даже конь у него не конь, а «красивый выходец кипящих табунов»; всюду хрусталь, серебро, блеск — именно такою видится зима в юности... И уж конечно, это именно *русская* зима, не стилизованная, не поддельная: недаром под названием имеется подзаголовок «В 1817-м году», то есть до отъезда в Польшу. Кто еще так умеет радоваться зиме, как русские поэты?..

«Тут есть русская краска, чего ни в каких почти стихах наших нет. Русского поэта по физиономии узнаешь. Вы не довольно в этом убеждены, а я помню, раз и смеялись надо мною, когда называл себя отличительно русским поэтом или стихомарателем; тут дело идет не о достоинстве, а о отпечатке; не о сладкоречивости, а о выговоре; не о стройности движений, а о народности некоторых замашек коренных. Зачем не перевести nationalité — *народность*? Поляки сказали же: narodowość! Поляки не так брезгливы, как мы, и слова, которые не добровольно перескакивают к нам, перетаскивают они за волосы, и дело с концом» (Вяземский — Александру Тургеневу).

«Давно ты уже таких свежих и полных стихов не писал, как Первый снег. Но почему же ты по этим стихам называешь себя преимущественно русским поэтом и находишь в нем русские краски? Эти стихи больше других принадлежат блестящей поэзии французской: ты в них Делиль. Описание, манер — его, а не совершенно оригинальный» (Тургенев — Вяземскому).

«Отчего ты думаешь, что я по первому снегу ехал за Делилем? Где у него подобная картина? Я сам себя называю при-

родным русским поэтом потому, что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское: русскую зиму, чухонский Петербург, петербургское Рождество и пр., и пр.; вот что я пою. В большей части поэтов наших, кроме торжественных од, и то потому, что нельзя же врагов хвалить, ничего нет своего. Возьми Дмитриева: только в лирике слышно русское наречие и русские имена; все прочее — всех цветов и всех голосов, и потому все без цвета и все без голоса. Отчего Вольтер французее Расина? Тот боялся отечественного, как Уваров боится говорить по-русски; другой — напротив, хватался за все свое... Вот, моя милуша, отчего я пойду в потомство с российским гербом на лбу, как вы, мои современники, не французьте меня» (Вяземский — Тургеневу).

Пожалуй, он готов считать себя создателем первого *истинно русского* стихотворения.

Пушкин выучил «Первый снег» наизусть. И, похоже, был «болен» этим стихотворением Вяземского как никаким другим. Кроме эпиграфа к первой главе «Онегина» в пятой главе прозрачно намекнул читателю на «Первый снег»:

Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!

Перечитывая в старости «Онегина», Вяземский написал напротив этих строк: «Пушкин тут подтрунивает надо мной и над моим “Первым снегом”». Осенью 1827 года пришло время «побороться» — в седьмой главе романа Пушкин говорит о наступлении зимы с явной оглядкой на Вяземского:

Настала осень золотая,
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою

Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.

Два года спустя Пушкин вновь возвращается к теме, заданной когда-то другом. «Зимнее утро»:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!
....

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

2 ноября 1829 года пишется «Зима. Что делать нам в деревне?..», где Пушкин мельком поминает поцелуй, жарко пылающий на морозе, и «свежую» русскую деву — явная отсылка к «Первому снегу»... Наконец, в 1833 году в отрывке «Осень» давно ставшая классикой элегия Вяземского в последний раз вплавляется в пушкинский стих:

Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

Комментируя этот зимний цикл, восходящий к «Первому снегу», исследователь Вяземского Максим Исаакович Гиллельсон делает вывод: «Пушкин вступает в прямое поэтическое единоборство с Вяземским и побеждает его». Но разве поэзия — боксерский поединок, из которого Пушкин обязательно должен выйти победителем?.. Почему бы тогда не сказать, что Пушкин «победил» Вяземского и в поэтических диалогах 1826 и 1828 годов («Море» Вяземского — «К Вяземскому» Пушкина и «Черные очи» Вяземского — «Ее глаза» Пушкина)?.. Вряд ли Пушкин стремился *победить* Вяземского, творчески переосмысляя его стихи. Едва ли он даже спорил с Вяземским. Думал над его стихами, помнил их, порою дружески подтрунивал, был благодарен за них Вяземскому — безусловно...

В творчестве самого Вяземского «Первый снег» тоже аукался неоднократно — цепочкой стихотворений «Когда я

был душою молод...» (1845), «Зима» (1848), «Масленица на чужой стороне» (1853), «Царскосельский сад зимою» (1861), «Вкушая бодрую прохладу...» (1861), «Зимняя прогулка» (1868), «Зима» (1868). Следить за тем, как преломлялась с годами «снежная» тема в его поэзии, — немалое удовольствие.

«Первым снегом» Вяземский был доволен. Напечатать его сразу не удалось (это произошло в 1822 году), но элегия почти мгновенно сделалась классикой русской поэзии. А Петр Андреевич уже высылает Тургеневу текст нового своего детища — «Уныние»:

Уныние! вернейший друг души!
С которым я делю печаль и радость,
Ты легким сумраком мою одело младость,
И расцвела весна моя в тиши.

Я счастье знал, но молнией мгновенной
Оно означило туманный небосклон,
Его лишь взвидел взор, блистаньем ослепленный,
Я не жалел о нем: не к счастью я рожден.

В душе моей раздался голос славы:
Откликнулась душа волненьям на призыв:
Но, силы испытав, я дум смирил порыв,
И замерли в душе надежды величавы.

Не оправдала ты честолюбивых снов,
О слава! Ты надежд моих отвергла клятву,
Когда я уповал пожать бессмертья жатву
И яркою браздой прорезать мглу веков!

Многое в этом стихотворении навеяно Байроном, которым он тогда сильно увлекался. Но все же... Князь почти неизвестен своим друзьям как *несчастливый* человек... Казалось бы, «певец веселья и любови», богач (впрочем, уже относительный), Рюрикович... «Счастливым баловнем» назвал его Пушкин в надписи к его портрету. А ведь он сирота. И потерял уже двоих сыновей. И уже дважды смирил себя, переступив через честолюбие: убедился в том, что «надежды величавы» на русскую конституцию вряд ли сбудутся, и склонился пред Пушкиным... «Клятва надежд» была отвергнута. «Все изменило» Вяземскому. Он добровольно отказывается от известности и, словно соглашаясь с друзьями, упрекавшими его в лени, без сожаления смотрит на собственную юность:

Сокровищницу бытия
Я истощил в одном незрелом ощущеньи,
Небес изящное наследство прожил я
В неполном шумном наслажденьи.

Ничего не осталось позади, но и будущее не балует надеждами. Признания потомков он не ждет («забвеньем зарастет безмолвная могила»). Выходить на «поприще позорных состязаний», «оспоривать» в схватках мелкий успех? Но «в победе чести нет, когда бесчестен бой». И остается довольствоваться сознанием того, что себе ты не изменил, что твои личные ценности дороже всего, что может предложить судьба. Это и есть *подвиг бытия*:

Болтливыя молвы не требуя похвал,
Я подвиг бытия означил тесным кругом;
Пред алтарем души в смиреньи клятву дал
Тирану быть врагом и жертве верным другом.

Не в этом ли грустном и горьком, смиренном и полыхающем скрытым огнем стихотворении ключ ко всей долгой судьбе Вяземского?.. Не добиваться успеха любой ценой. Не просить у судьбы милостей и подарков. Принимать удары и поражения с достоинством. И не давать угаснуть «чистой любви к изящному и благу». В сущности, в «Унынии» была запечатлена целая жизненная программа, которую современники Вяземского не то проглядели, не то не поняли. Это была вариация на тему «жизни без счастия» Жуковского, смирившегося после многочисленных потерь, — недаром «Уныние» местами сильно напоминает классическую элегию Жуковского «К Филалету» (1807)... Это была программа *неудачника*, у которого, однако же, есть свой подвиг.

«Покамест присылай нам своих стихов; они пленительны и оживительны — Первый снег прелесть; Уныние — прелестнее» (Пушкин — Вяземскому).

«Первый снег» и «Уныние» стали плодами тяжелейшей депрессии, которую Вяземский пережил в октябре 1819-го. Прозаические варианты «Уныния» легко обнаружить, если заглянуть в октябрьские письма Вяземского к Александру Тургеневу: через строку мелькают там слова «скука» и «уныние»... «И дома быть в хомуте скучно, а здесь еще скучнее», «Черные тучи уныния лежат на душе», «Скуки довольно...», «Никто из вас, подобно мне, не одержим этим недугом уныния, черной немочью»... «Душа моя возмужала на противоречиях судьбы, — пишет Вяземский. — Я никогда не знал площадного счастия и, кажется, теперь не побоюсь его искушений, если когда-нибудь и вздумалось бы ему пощекотать меня. Неудача — тот невидимый бог, которому хочу служить верою и правдою».

Заметки в его записных книжках тоже полны «черной немочи» и желчного скепсиса. Вяземский листает Библию — и

сухо, придирчиво комментирует ее тексты, словно какой-нибудь переводной романчик. Читает французскую поэму Баура-Лормиана «Освобожденный Иерусалим» и злится: «Провалитесь вы, классики, с классическими своими деспотизмами! Мир начинает узнавать, что не народы для царей, а цари для народов; пора и вам узнать, что не читатели для писателей, а писатели для читателей». Почему-то под руку ему подворачивается «Россияда» Хераскова — написанная в 1779 году поэма о взятии Иваном Грозным Казани. И снова гроздья издевательских эпитетов. От несчастного Хераскова буквально не остается камня на камне.

3 октября Вяземский сетует Тургеневу: «Вся моя жизнь, все мое бытие пишется на летучих листках: autant en emporte le vent*. Хорошо, если случайный ветер соберет несколько листков вместе и нечаянно составит полную главу». Это один из любимейших образов Вяземского, который он пронес через всю жизнь, через письма и записные книжки, через стихи... Жизнь — не единая переплетенная книга, в которой все как полагается — предисловие, посвящение, эпиграф, первая глава... Это странные листки, на которых делаются пометки карандашом, да такие, что сам автор после не разберет, что же это он написал... И, сравнив себя со стопкой несшитых страничек, вдруг уподобляет себя... родной стране. «Я — маленькая Россия; нельзя отрицать ее наличные богатства, физические и нравственные, но что в них, или, по крайней мере, то ли было бы из них при другом хозяйственном управлении. Впрочем, мой недостаток — отличительная черта русского характера, много поэзии в себе имеющего: что-то такое темное, нерешительное, беспечное; какая-то неопределенность и бескорыстность; мы переходим жизнь, не оглядываясь назад, не всматриваясь в даль... Впрочем, поэзия в житейских расчетах — весьма плохой казначей, и потому как в обществах ничего нет глупее поэта, так и в народах, в смысле государственном и правительственном, нет глупее нашего брата россиянина».

Он раздражен, тосклив, болен... Депрессия ширится. Письмо от 11 октября — уже вопль о помощи вконец отчаявшегося человека: «Развернитесь скорее передо мною, туманные завесы будущего! Раскройте бездну, которая пожрет меня, или цель, достойную человека! Полно истощевать мне силы в праздных и неопределенных шатаньях! Судьба, Промысел, Боже, Случай, направьте шаги мои!.. Я не по росту своему шагаю, не туда иду, куда глаза глядят, куда чутье ма-

* На ветер (*фр.*).

нит, куда сердце призывает. Там родина моя, где польза или наслажденье, а здесь я никого не пользую и ничем не наслаждаюсь. Сделайте со мною один конец, или выведите мою жизнь на чистую воду, или концы в воду!» Там же цитаты из Байрона, которые в письме от 17 октября разрастаются и занимают уже половину текста.

Возможно, впервые Вяземский прочел что-то из Байрона еще в январе, навестив в Петербурге Ивана Козлова. Но может быть, услышал о Байроне и от англомана Уварова (тот уверял, что в Британии всего два великих писателя — Байрон и Вальтер Скотт), и от Блудова, служившего в Лондоне. Не зная английского языка, Вяземский вынужден был читать Байрона по-французски... Трепет и восхищение — вот что он чувствовал во время этого чтения. Байрон мрачен, он немного мизантроп, но сколько в этом *правды*... Поэт не ломается, не кокетничает своими чувствами... Он таков, каков есть. Вяземский сразу почувствовал, что *романтическая* поэзия — как раз то, чего не хватает русской словесности. Первый наш романтик — верно, Жуковский, но романтизм его уж чересчур небесный, бесхитростный, мирный, старинный... Нужен новый поэт, который сумел бы объять *все* — и величие Отечества, и низость его, и трепет победившей Наполеона Европы, и скуку этой Европы, лишенной единственного своего героя, и краски природы — не вымышленной, не поддельной, а заоконной, близкой... Поэт, который мыслил и писал бы смело и горячо, не оглядываясь на учителей, не заботясь о соблюдении ветхих приличий. Который жил бы, как писал... В Англии это Байрон, гордый красавец, гений в изгнании, во Франции — Констан, Ламартин и Шатобриан... Романтизм начинал властвовать не только в литературе — он уже становился мировоззрением, стилем жизни. Романтические герои — не только вымышленные Адольф, Лара и Чайльд Гарольд, но реальные — например, изгнанный, но несломленный Наполеон, автор великолепных опер итальянец Россини, сам Байрон...

Байрон — единственное утешение в тоске, спасение, надежда... Он кажется князю почти соотечественником — ведь он, Вяземский, наполовину ирландец, а значит, чуточку ближе к Байрону, чем другие русские читатели... Байрон живет в Венеции. Ее великолепным описанием начинается IV песнь «Чайльд Гарольда». Полететь бы туда!.. «Я все это время купаюсь в пучине поэзии: читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии!.. Без сомнения, если решусь когда-нибудь чему учиться, то примусь за англин-

ский язык единственно для Байрона. Знаешь ли ты его «Пилигрима», четвертую песнь? Я не утерплю и, верно, хотя для себя переведу с французского несколько строф, разумеется, сперва прозою; и думаю, не составить ли маленькую статью о нем, где мог бы я перебрать лучшие его места, а более бросить перчатку старой, изношенной шлюхе — нашей поэзии... Но как Жуковскому, знающему язык англичан, а еще тверже язык Байрона, как ему не броситься на эту добычу! Я умер бы на ней. Племянник (А. С. Пушкин. — *В. Б.*) читает ли по-английски? Кто в России читает по-английски и пишет по-русски? Давайте мне его сюда! Я за каждый стих Байрона заплачу ему жизнью своею».

«Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали, — отвечал Тургенев на это письмо. — Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона. Я нагреваюсь им и недавно купил полное издание в семи томах». Бредили Байроном тогда не только Жуковский с Тургеневым: в августе Батюшков перевел 178-ю строфу IV песни «Чайльд Гарольда», и она стала одним из перлов русской лирики — элегией «Есть наслаждение и в дикости лесов...». Это был первый поэтический перевод Байрона на русский язык. И один из последних шедевров Батюшкова...

Вяземский не только взялся за прозаический перевод IV песни байроновской поэмы, не только попробовал силы в переложении байроновских «Португальской песни» и «Надписи на кубке из черепа», но и набросал собственный «байронический» отрывок «Волнение». Очень многое в нем навеяно той же самой IV песнью, как никогда актуальной в то время. Но байронизм Вяземского — не только и не столько дань моде, сколько острое восприятие созвучного ему чувства. Осенью 1819 года он как никогда ощущал себя Одиноким Героем, не нужным ни Отечеству, ни даже самому себе.

«Волнение» Вяземский не закончил. Он вчерне набросал «скелет» этого большого стихотворения, но друзьям его не показывал. Вновь вспомнилось ему «Волнение» только через год, в конце ноября 1820-го, когда в Варшаву попал текст южной элегии Пушкина «Погасло дневное светило...». Она потрясла Вяземского. «Не только читал Пушкина, но с ума сошел от его стихов, — пишет он Тургеневу. — Что за шельма! Не я ли наговорил ему эту Байронщизну... У меня есть начало, которое как-то сродно этой пиэсе». Дальше идет текст «Волнения», в котором действительно немало перекличек с пушкинской элегией — вплоть до эпитета «угрюмый» в применении к океану... «Примусь ее закончить», —

обещал Вяземский, но, видимо, поостыл к своему замыслу. Или же понял, что тягаться с Пушкиным ему не по силам. «Волнение» так и осталось «отрывком».

Еще одну великолепную элегию — «В каких лесах, в какой долине...» Вяземский почему-то счел неудачной, хотя стихи выглядят вполне доработанными. Попробовал он свои силы и в балладе — впервые рискнул выступить на поприще, где полновластно господствовал Жуковский. Но «Услад» тоже остался лежать среди черновиков. Сложно сказать, всерьез ли писал Вяземский эту вещь или же в озорную минуту решил подшутить над другом, сочинив «балладу как таковую». Во всяком случае, некоторые строки в этом наброске воспринимаются сейчас как почти пародийные. Например: «К боярышне Мстислава / Взаимно он горел». Или: «Вождя, любимца хана, / Он пленом отягчил»...

...В самый разгар тяжелой (хотя и блестящей в творческом плане) осени 1819 года, 19 октября, Вяземский получил чин коллежского советника. Фантастически быстрый скачок по служебной лестнице — предыдущий чин надворного советника был пожалован князю всего полгода назад, в то время как обычно путь от надворного до коллежского занимал шесть лет. Так Александр I оценил его работу над положениями Уставной грамоты. Но чином князя Петра Андреевича не купить. Он щедро наделен необходимыми политику дарами — наблюдательностью и умением сопоставлять факты. Он видит, что император все чаще углубляется в проблемы внешней политики, что созданный им в 1815 году Священный союз — «политическая удавка» на шее «представительного правительства». Что русское дворянство в большинстве своем не поймет и не примет гигантскую реформу, задуманную государем, а идти Александру Павловичу против дворянства — значит обречь себя участи задушенного отца. И решение конституционного вопроса в России откладывается... Похоже, надолго.

И от этого на душе совсем уже «грустно и гадко». Император пригласил князя к себе, «снизошел до объяснений, почему в государственном управлении иное делается так, а не иначе», но это были пустые слова. Все, все опротивело — дурацкая канцелярия, Варшава, собственный энтузиазм годовой давности. «Я не здешнего поля ягодка, — пишет Вяземский Тургеневу. — Я правда... колю их не в бровь, а в самый глаз... Старик (Новосильцев. — *В. Б.*) выжил из ума... дело сделано, я его раскусил: он — мощи». Даже обычный смотр на варшавском плацу для него теперь символ России: «Дождь, сырость с неба так и падает... Ра-

зумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуще неволи».

Ну как тут не впасть в уныние?..

В январе 1820 года в Варшаву приехал Сергей Тургенев — младший брат Александра и Николая. «Здесь я познакомился с князем Вяземским и г. Новосильцевым, — писал он. — Они приняли меня дружески и радушно». Тургенев и Вяземский обсудили возможность создания особого комитета по освобождению крепостных крестьян. Вяземский познакомил Сергея с проектом Уставной грамоты. «Вчера читал мне князь Вяземский некоторые места из проекта Российской конституции, — записал он 15 января. — Главные основания ее те же, что и в Польской». Именно через Сергея Тургенева конспект Уставной грамоты попал к будущим декабристам — Николаю Тургеневу, Никите Муравьеву, Михаилу Орлову... Орлов, которого Сергей повидал в Киеве, сообщал Вяземскому: «Я кой-что нового узнал неожиданного, приятного сердцу гражданина. Ты меня понимаешь. Хвала тебе, избранному на приложение. Да будет плод пера твоего благословен во веки».

Весна и лето 1820-го — революционный взрыв в мире: в Париже убит герцог Беррийский, подняли восстание неаполитанские карбонарии, 6 июля король Обеих Сицилий Фердинанд I утвердил конституцию и передал власть наследнику, герцогу Калабрскому... В Испании — мятеж под руководством Рафаэля Риего, который со своим батальоном вершил победный марш по стране, провозглашая конституционные права. Греческий князь Александр Ипсиланти ворвался с небольшим отрядом в Валахию, объявив войну турецким захватчикам... вспыхнула Греция... В августе — восстание в Португалии... Казалось, что-то произойдет и в России, не может не произойти. Об этом — басня Вяземского «Пожар», в которой позиция автора заявлена вполне красноречиво:

Небрежностью людей иль прихотью судьбы
В один и тот же час, и рядом,
От свечки вспыхнули обои здесь; там на дом
Выкидывало из трубы!
«Чего же было ждать? — сказал советник зрелый,
Взирая на пожар. — Вам нужен был урок;
Я от такой беды свой домик уберег».
— «А как же так?» — спросил хозяин погорелый.
«Не освещаю в ночь, а в зиму не топлю».
— «О нет! Хоть от огня я ныне и терплю,
Но костенеть впотьмах здесь человек не сроден;
В расчетах прибыли ущербу место дам;

Огонь подчас во вред, но чаще в пользу нам,
А твой гробовый дом на то лишь только годен,
Чтоб в нем волков морить и гнезда вить сычам!»

11 мая Вяземский получил четырехнедельный отпуск и уехал в Петербург, где обсуждал, конечно, сложившееся положение дел с друзьями. Вместе с Николаем Тургеневым, графом Михаилом Воронцовым, польским графом Северином Потоцким, князем Александром Меншиковым и генерал-лейтенантом Илларионом Васильчиковым он основал «Общество добрых помещиков» и составил записку императору с просьбой разрешить создание общества для скорейшего решения крестьянского вопроса. «Рабство на теле государства Российского нарост; не закидывая взоров в даль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию!» — восклицал князь Петр Андреевич... На инициативу правительства надежды нет, крестьянской революции Вяземский, естественно, не желает: «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел?.. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы». О страхе его перед «бородачами» говорит и письмо Николаю Тургеневу: «Я за Гишпанию рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей, без содействия самой власти все будет Пугачевщина». Аристократический комитет должен был подтолкнуть власть к реформе и тем самым предотвратить возможную полосу крестьянских бунтов — уберечь российский «домик» от пожара, не прибегая при этом к холоду и темноте... Ничего революционного в этом замысле не было, скорее наоборот. Но Васильчиков, сперва подписавший бумагу, на другой день отказался от своей подписи. Через Воронцова записка дошла до императора, но никакой реакции на нее не последовало. «Общество добрых помещиков» распалось.

И вот аудиенция в небольшом Каменноостровском дворце: Вяземский представляет государю законченный вариант Уставной грамоты и забирает депеши для Новосильцева. Александр Павлович, как всегда, превосходно выглядит. Он расспрашивает о Кракове, потом говорит о Польше, о Новосильцеве, о пагубном примере бунтующей Европы... Южные народы — итальянцы, испанцы, греки... Горячая кровь... Вечно им нужны какие-то перемены... Ласково улыбаясь, он говорит о том, что доволен деятельностью Вяземского, изучит проект грамоты и привезет в Варшаву свои замечания. Конституция у России непременно будет. Вот

только недостаток в деньгах, нужных для такого события, замедляет дело...

Тридцать минут пролетели незаметно. Часы пробили половину пятого. Александр встал, давая понять, что аудиенция окончена. Вяземский почтительно поклонился государю...

Император не лгал, недостаток средств — тоже причина, и важная. Но политические причины — куда важнее.

И важнейшая среди них — страх перед дворянством. Перед его «темной» частью. Был также страх перед крайне левыми, то есть будущими декабристами, но первый страх перевесил.

Был у царя и страх перед европейской революцией — пагубным примером конституционных Испании, Португалии и Королевства Обеих Сицилий.

Был и тайный страх перед «слишком освобожденной» Польшей.

Наконец, важную роль сыграл неустойчивый, мнительный характер Александра I, в глубине души вовсе не считавшего себя реформатором, личные его драмы, тяжкое бремя власти, которое он нес против желания. Все это — важные причины. И даже обилие таких причин — тоже причина.

Но все это было известно в 1820 году только самому Александру. Вяземский и его единомышленники видели в нем политического деятеля, не сдержавшего данное два года назад слово и необъяснимо резко изменившего правительственный курс. И только.

«Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке, — писал Вяземский из Петербурга Сергею Тургеневу. — Я здесь недолго прожил, а успел уже увидеть, как разнесло ветром очертания прекрасных предположений. Грустно и гадко! И самые честные люди из видных не что иное, как временщики: по движению сердца благородного бросаются вперед; по привычке трусить — при первом движении августейшего махалы отскакивают назад». Это — о поведении сотоварищей по «Обществу добрых помещиков». Князь понял, что «в обширной спальне России никакие будильники не допускаются».

...1 сентября 1820 года в соответствии с польской конституцией в Варшаве был открыт Второй сейм. Но повторения праздника двухлетней давности не получилось. Депутаты вели себя строптиво и, кажется, воображали себя государственными деятелями. Закрывая сейм через месяц, Александр I раздраженно сказал, что поставит вопрос о Польше на конгрессе Священного союза в Троппау.

На конгрессе представители России, Пруссии и Австрии

обсуждали положение в Европе. Было подписано соглашение о праве вооруженной помощи любой стране в случае попытки переворота, и в феврале 1821 года неаполитанская революция захлебнулась под напором австрийских войск. А из России новая весть: восстал лейб-гвардии Семеновский полк. До конституций ли тут?..

Вяземский за всем этим, разумеется, следит. Его радует самостоятельность депутатов сейма, отклонивших проект закона об уголовном судопроизводстве. В восстании семеновцев он видит крайне важное событие: «Эта русская строка современной истории по мне важнее Гишпанской и Неапольской. Это стих пророка, беременный грядущим»... А поведение императора, который открещивается от насущных российских проблем, предпочитая решать проблемы европейские, становилось Вяземскому все неприятнее. Во время сейма он постарался не попасться Александру Павловичу на глаза. Перед отъездом в Троппау государь спросил Новосильцева:

— Не знаешь ли, что Вяземский имеет против меня? Он все время от меня бегал, так что не удалось сказать ему ни слова.

Вяземский обратился к графу Иоанну Антоновичу Каподистрии — нельзя ли устроиться к нему в свиту, от опостылевшей Варшавы подальше?.. Каподистрия, статс-секретарь по иностранным делам, «почетный гусь Арзамаса», в принципе не был против, но Новосильцев наотрез отказался дать перевод куда бы то ни было. Скука... скука... и ничего нельзя поделать...

Он пишет Александру и Сергею Тургеневым (и отправляет с обыкновенной государственной почтой) письма, в которых усталость и *уныние* уже начинают чередоваться с язвительностью и принципиально новым для Вяземского чувством, которое вскоре будет названо и в стихах... «Нас морочат — и только; великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош. Хоть сто лет он живи, царствование его кончится парадом, и только... У нас ни в чем нет ни совести, ни благопристойности. Мы пятимся в грязь, а рука правительства вбивает нас в грязь... Мы на все смотрим, но ни во что не всматриваемся. Черт знает, чем мы заняты! Нам все как будто недосужно. Поглядишь на нас, подумаешь, что мы думаем думу: ничего не бывало. На нас от рождения нашел убийственный столбняк: ни век Екатерины, со всею уродливостью своею, век, *много обещавший*, ни 1812 год — ничто не могло нас расшевелить... Правительство не дает ни привета, ни ответа: народ завсегда, пока не взбесится, дремлет...» Он колет глаза едкой правдой, высмеивая царя, который избегает появляться в России, а все силы отдает внеш-

ней политике, Священному союзу — лишь бы не «платить по векселям», то есть не вспоминать о данном три года назад обещании. Вяземский со злой издевкой отзывается о польской армии, в которой преподается курс подлости и посрамления человеческого достоинства...

Разумеется, все эти письма читали не только Тургеневы. Читал их и Новосильцев, читал и великий князь Константин Павлович, к которому Вяземский никаких симпатий не питал и на счет которого шутил довольно рискованно (хотя сам Константин одно время чуть ли не искал дружбы Вяземского — угощал обедами, приглашал на парады и смотры)... Письма эти вскрывали буквально по соседству с варшавским домом Вяземского. Он не только догадывался об этом — он этого *хотел*: «Не поручусь за ненарушимость переписки и предаюсь безмолвно, то есть напротив, гласно, на жертву всяких пакостей. Теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе». Это самоотречение во имя правды уже явно претендует на звание *подвига бытия*. Вспоминается биография типичного русского правдолюбца, который «истину царям с улыбкой говорит». За примерами ходить далеко не нужно — Державин, Карамзин, Дмитриев... Покойный князь Андрей Иванович... Истинный аристократ не должен молчать при виде злоупотреблений. Вяземский и не молчит. «Смелым Бог владеет, — внушает он Александру Тургеневу. — Я никого и ничего не боюсь. Совесть, вот мое право».

Можно подумать, что он изменил себе, своей программе неудачника. Уныние уступило место негодованию, скука и апатия — желанию высказать правду в лицо. Кажется, князь Петр Андреевич опять, как и в 1818-м, верит в свое высокое призвание. Он выходит на сцену русской истории с приличествующим моменту мрачным челом и произносит пылкие обличительные речи. Кто еще из русских поэтов устраивал себе (пусть и в письменном виде) такой роскошный праздник бесстрашия и духовной самостоятельности?..

Но, в сущности, не изменилось ровно ничего. Это попрежнему философия «присяжного защитника проигранных тяжб» (отзыв И. Ф. Паскевича о князе П. Б. Козловском, но почему бы не назвать так самого Вяземского?). Он не обольщается. Не считает себя после приватных бесед с императором крупной государственной фигурой, к которой прислушаются и устыдятся. Не ждет никакой реакции на свои обличения, кроме карательной. Понимает, что Уставная грамота, еще не родившись, уже похоронена историческими обстоятельствами, что Варшава из центра русской политиче-

ской жизни снова стала глухой провинцией... Единственное, что греет его душу, это сознание того, что его филиппики будут услышаны: Новосильцев и великий князь непременно доведут их до сведения императора (да и добрый Александр Тургенев давал читать письма Вяземского императрице Елизавете Алексеевне, и князь не только не возражал — благодарил друга...). Выступая против власти, он знает, что заранее обречен на поражение. Но предпочитает высказаться. Это не юная пушкинская бравада политическими эпиграммами, за которой нет серьезного подтекста. Это поведение независимого человека, которому нечего терять.

Невозможно отделаться от впечатления, что эпистолярная война с правительством затевалась Вяземским ради самого *жеста* — красивого публичного обличения, за которым последует публичная же казнь оратора. В 1828 году в «Моей исповеди» — итоговом документе своей политической молодости — князь подтвердил, что варшавские откровения предназначались для перлюстрации: «Я писал... в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через перехваченные письма, что есть однако же мнение в России, что посреди гнусного молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего; признаюсь, мне казалось, что сей голос не должен пропадать, а, напротив, может возбуждать чуткое внимание правительства». В том, что «мнение общее» существует, он не сомневался еще в 1817-м: «Общее фрондерство, сия разбитая на единицы оппозиция не есть у нас политическая власть потому только, что она не приведена в политическую систему, но не менее того она в России — единственное противудействие действию правительства, тем более что она — естественный результат русского характера и русской крови».

Шесть лет спустя, после разгрома восстания на Сенатской площади, он мечтал о том же: «...жалею, что чаша Левашова прошла мимо меня и что я не имею случая выгрузить несколько истин, остающихся во мне под спудом. Не думаю, чтобы удалось мне обратить своими речами, но, сказав их вслух тем, кому ведать сие надлежит, я почел бы, что не даром прожил на свете и совершил по возможности подвиг жизни своей». И тут — подвиг жизни... Истина в лицо палачам и — расправа над проповедником.

Наверное, чтобы сделать расправу над собой еще эффектнее, он в ноябре 1820 года пишет большое стихотворение, которое подвело итоги его варшавской карьеры политика. Обычно название этого стихотворения — «Негодова-

ние» — связывают со «славным полустишием» из I сатиры Ювенала, которое звучит так: «Facit indignatio versum» — «Негодование порождает стих». Ювеналовская сатира Вяземскому, любившему латинских классиков, была, конечно, знакома. Но на мысль о грозной политической филиппике процитированное полустишие натолкнуть вряд ли могло. Полностью Ювеналов стих звучит так: «Si natura negat, facit indignatio versum» — «Если нет таланта, негодование порождает стих». Ювенал тонко высмеивает бездарных стихотворцев, которые подменяют талант грозными обличительными интонациями своих сатир, и предлагает им целый набор беспроигрышных тем для стихоплетства... Так что «славное полустишие» носит иронический характер и адресовано исключительно поэтам-эпигонам. Гораздо вероятнее, что толчком для создания «Негодования» послужила фраза Руссо: «Мой Аполлон — негодование»... Да еще вспомнилось Вяземскому, что летом, в Павловске, Жуковский полушутя посоветовал ему написать что-нибудь на тему «Негодование»... Итак, «Негодование». Центральный монолог Героя в той возвышенно-обличающей пьесе, которую Вяземский играет перед погрязшим в пороках «собранием вельмож»:

Мой Аполлон — негодованье!
При пламени его с свободных уст моих
Падет бесчестное молчанье
И загорится смелый стих.
Негодование! огонь животворящий!
Зародыш лучшего, что я в себе храню...
....

Ищу я искренних жрецов
Свободы, сильных душ кумира —
Обширная темница мира
Являет мне одних рабов.
О ты, которая из детства
Зажгла во мне священный жар,
При коей сносны жизни бедства,
Без коей счастье — тщетный дар.
Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал;
И звучным строем песней новых
Будил молчанье скал суровых
И слух ничтожных устрашал.

Монолог, как и полагается по канонам трагедии, изобилует величественными и грозными архаизмами, тяжел, прерывист и — немного страшен... Вслед за Державиным (за его одой «Властителям и судиям», переложением 81-го псалма) Вяземский обличает неправедных, перечисляет их преступле-

ния — «губительная лесть», «бесстыдство», «бесчеловечная слава»... Грозит судом не человеческим, но Божьим:

Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

Тема «дня торжества и казни» впервые возникла в письме Вяземского Сергею Тургеневу 18 сентября: «Эти проклятые потемки, в которых держат нас, неминуемо должны отразиться и на самое Правительство... рано или поздно взойдет день незапный и осветит наше противоположение!» Огненное поэтическое Откровение грядущей русской революции... Конечно, никаких кровожадных планов у Вяземского не было, картина грядущего суда над отступниками получилась довольно абстрактной. Вяземский просто предсказывает — *так будет*, если ничего не изменится... А в финале Герой-Обличитель показывает, что ждать суда даже не намерен:

Но мне ли медлить? Грязную их братью
Карающим стихом я ныне поражу;
На их главу клеймо презренья положу
И обреку проклятью.
Пусть правды мстительный Перун
На терпеливом небе дремлет,
Но мужественный строй моих свободных струн
Их совесть ужасом объемлет.
Пот хладный страха и стыда
Пробьет на их челе угрюмом,
И честь их распадется с шумом
При гласе правого суда.

Конечно, как и в «Унынии», здесь много от Байрона — гордый герой-одиночка, бросающий проклятья в лицо врагам... недаром буквально через неделю после «Негодования» Вяземский пробует завершить самое байроническое свое стихотворение, «Волнение»... Был у «Негодования» и полушутливый аналог — «Табашное послание» Николаю Тургеневу (Вяземский послал ему французскую табакерку, исписанную конституционными лозунгами). В один день, 13 ноября, «Табашное послание» и «Негодование» были завершены. Спустя еще две недели, расписавшись, в том же запале и задоре Вяземский доработал и злое «Послание к М. Т. Каченовскому», начатое еще два года назад. Но это стихотворение отправилось в Россию уже 4 декабря, а «Негодование» лежало у Вяземского еще месяц, до 7 января 1821 года. Он перечитывал его и вносил в текст мелкие поправки.

Интересно, что почти все друзья Вяземского, в том числе вполне благонамеренные, отнеслись к опасному монологу не просто доброжелательно, а с полным восторгом. «“Негодование” — лучшее твое произведение, — отозвался Тургенев. — Сколько силы и души!.. Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, переписать твое “Негодование”. В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. “Дрожь берет при одном чтении, — сказал он мне, — не угодно ли вам поручить писать другому?”» Впрочем, Александр Иванович все же состорожничал, не желая подставлять друга под удар, — устраивал чтения “Негодования” вслух, но списков никому не давал: «Ко мне ездят слушать «Негодование», и я уже вытвердил его наизусть, но ни одной копии не выдал и не выдам»... Очень порадовал Вяземского добрый отзыв Карамзина: «Читал я «Негодование» без негодования, ибо в нем много прекрасного; но желал бы более истины, более души и менее декламации». И уж конечно, особенно горячо стихи приняли будущие декабристы, недаром в одном из многочисленных доносов на Вяземского «Негодование» коротко назвали «катехизисом заговорщиков». Близкий варшавский его друг И. М. Фовицкий, комментируя «Негодование», заключал: «Волосы дыбом становятся! Смотрите; не забывайте Радищева!.. Какая прекрасная пиеса! Только же и страшная! Уж верно мы не увидим ее печатной!» Князь Петр Андреевич умело и красиво готовил собственное падение...

Совесть его была чиста, он высказал вслух то, что хотел. Продолжал писать в Россию письма-памфлеты, предназначенные не только прямому адресату, — московский приятель Вяземского Александр Булгаков, который «купался и плавал в письмах, как осетр в Оке», даже делил любителей этих посланий на три категории: те, кому можно их давать на несколько дней, те, кому можно их просматривать, и «подлый народ», которому достаточно сказать, что Вяземский пишет то-то и то-то... А пока гром не грянул, можно и помечтать: например, о большом путешествии по Европе (Дрезден... Берлин... Вена... Карлсбад... Мариенбад...), и назвать это «по Байрону» — «гоняться за солнцем по миру». «Желаю быть с женою в Карлсбаде, — пишет он Жуковскому. — Нельзя ли как-нибудь встретиться? Мы до сей поры виделись только впотьмах; посмотреть бы друг на друга при свете Божьем». И предполагает, что «на солнце европейском» Жуковский станет похож на Байрона, а он, Вяземский, — на Бенжамена Констана... Можно примерить на себя мундир отца, мечтавшего «в Пензе сделать Лондон», и пожелать себе губернаторский пост где-нибудь в Костроме. Можно, наконец, поехать в Россию в очередной отпуск...

Там-то и случилось давно предугадываемое. 10 апреля 1821 года князь получил письмо из Варшавы. Предчувствуя недоброе, распечатал пакет — оттуда выпали две странички, исписанные крупным изящным почерком Новосильцева...

«Варшава, 15/27 марта 1821 г.

Князь, к моему величайшему сожалению вынужден сообщить вам, что во время последнего посещения Его Императорским Величеством Варшавы Его Императорскому Величеству стало известно, что вами неоднократно произнесены были горячие речи в защиту принципов, провозглашенных во Франции в палате депутатов лицами, кои суть возбудители беспорядков, произошедших в Париже. Равно до сведения Его Императорского Величества доведено то обстоятельство, что, покидая Варшаву, вы не явились за распоряжениями к Его Императорскому Высочеству Великому Князю. Его Императорское Величество, не желая дабы русские высказывали в сих местах убеждения диаметрально противоположные правительственным и подавали дурные примеры несоблюдением должного уважения к брату Его Императорского Величества Великому Князю, повелел мне сообщить вам его приказание не возвращаться более в Варшаву. Я крайне сожалею, что необдуманные поступки, вмененные вам в вину, лишают меня подчиненного, о котором не могу сказать ничего, кроме хорошего, как в отношении служебного рвения, так и поведения и прочего. Прошу вас принять уверения в моем совершеннейшем почтении, с каковым имею честь быть, князь. Ваш покорнейший слуга, Новосильцев»*.

Ни о «Негодовании», ни о перехваченных письмах в запрещении ни слова не было. Вяземского выпихивали со службы мягко, без лишнего шума и политического подтекста. С политической сцены — в *никуда*. Так всегда убирали в России излишне самостоятельных людей. Так два года спустя тихо убрали из армии буйного майора Владимира Раевского. Так спровадили в отставку деятельно доброго Александра Тургенева... И там, и здесь высокий спектакль с речами русского маркиза Позы начальству был ненужен (да и непонятен). Маркиза Позу не сажали в крепость и не пытали огнем за его убеждения — его тихо выпускали в отставку, из общественной жизни в частную. И внешне все выглядело благопристойно. Ведь и Пушкина на юг, и Лермонтова на Кавказ, в сущности, никто не ссылал — им просто давали туда служебный перевод...

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2421. Л. 1. Подлинник по-французски.

Глава IV

СОВРЕМЕННИКИ

Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма, дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он, уединен, осанист и свободен.

Батюшков

Пророческим оказалось «Прощание с халатом»! Ведь упоминались там (еще за полгода до отъезда к месту службы) и «золотой, но тягостный ярем», и «след моей отваги тщетной», и «неудач постыдные следы»... Служебный ярем действительно оказался тягостным, и с формальной точки зрения варшавская служба Вяземского — цепь сплошных поражений. Но из Польши он вернулся другим человеком. Как Петербург 1806 года вышиб из князя остатки детства и сделал его светским юношей, так варшавское трехлетие превратило беззаботного поэта в мыслящего и широко известного своими политическими убеждениями общественного деятеля. Из Польши он привез «Петербург», «Первый снег», «Уныние», «Негодование» — классику русской лирики...

Существует несколько версий по поводу того, что же все-таки послужило конкретной причиной отставки Вяземского. Естественно, его отстраняли от должности за письма, за «возмутительные» стихи, за приятельство с поляками, за независимое поведение... Но был и какой-то непосредственный повод. Сам Вяземский был уверен, что в руки Александра I попало его письмо, адресованное жене, в котором он упоминал о каких-то «варшавских переменах». Был еще спор Вяземского с его варшавским приятелем, адъютантом великого князя Константина графом Ф. К. Нессельроде, в котором князь пылко защищал оппозиционеров французского парламента, Бенжамена Констана и Казимира Перье, а также резко высказался против австрийской политики в Королевстве Обеих Сицилий... Это могло задеть австрофила

Нессельроде, который пожаловался великому князю Константину, а тот — венценосному брату. Ю. М. Лотман связывал изгнание Вяземского из Польши с разгромом оппозиционной «артели» в лейб-гвардии Литовском полку (в ней состоял близкий приятель князя Петр Андреевич Габбе). Есть, кроме того, «интимная» версия — якобы какой-то немец-генерал из свиты великого князя усиленно добивался внимания Веры Федоровны Вяземской, а когда княгиня резко поставила его на место, оклеветал ее мужа: сообщил куда следует, что Вяземский на балу напевал политические куплеты Беранже «La mort du roi Christophe»*. Великий князь потребовал от Вяземского письменных извинений (не уточняя при этом, в чем именно) и никакого ответа не дождался.

Тотчас же началась кампания по спасению Вяземского, подобная той, что была год назад, при *ссылке* на юг Пушкина... На смягчение участи никто особенно не рассчитывал, да и, как сам Вяземский пишет, Карамзин «просил у государя не помилования мне, но объяснения в неприятности, постигнувшей меня». Александр, отдыхавший тогда в Царском Селе, подтвердил с улыбкой, что запрет князю возвращаться в Польшу связан с его «нескромными разговорами о политике», и добавил:

— Впрочем, несмотря на то, может он вступить снова в службу по любому ведомству, исключая те, что находятся в Королевстве Польском.

Это Вяземского взбесило. Мало того, что его выгнали, как он считал, беспардонно, так еще теперь имеют наглость дразнить новой службой! А главный его варшавский недоброжелатель Байков шлет ему письма, где простодушно недоумевает, с чего это князя больше не видать в Польше!.. Карамзин подал было мысль устроиться в Московский учебный округ, попечителем которого уже четыре года был двоюродный дядя Вяземского князь Александр Петрович Оболенский... Но где там! Вяземский бушевал. Он наотрез отказался вообще от всякой службы и камер-юнкерского звания и подал прошение об отставке. Оно было удовлетворено 4 июня, причем князю объявили «неудовольствие» императора... Что ж, Карамзин не упрекнул Вяземского ни словом, ни взглядом — в свое время он сам подался в раннюю отставку и выше всего в жизни ценил независимость. Петр Андреевич невольно повторял судьбу своего наставника...

---

* «Смерть короля Кристофа» (*фр.*).

Друзья, опять я ваш! Я больше не служу,
В отставку чистую и чист я выхожу.
Один из множества рукой судьбы избранный,
Я чести девственной могу идти в пример.
Я даже и Святыя Анны
Не второклассный кавалер.

Это стихами. Прозой объяснялось вот как: «Мне объявлено, что мой *образ мыслей и поведения* противен духу правительства и в силу сего запрещают мне въезд в город, куда я добровольно просился на службу. Предлагая услуги свои в другом месте и тому же правительству, которое огласило меня отступником и почти противником своим, даюсь некоторым образом под расписку, что вперед не буду *мыслить и поступать по-старому.* Служба Отечеству, конечно, священное дело, но не надобно пускаться в излишние отвлеченности; между нами и отечеством есть лица, как между смертными и Богом папы и попы. Вот оправдание. Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей в открытой противуположности со всеми действиями правительства; а с другой стороны, унизительно быть хотя и ничтожным орудием его (то есть не делающим зла), но все-таки спицею в колесе, которое, по-моему, вертится наоборот».

В Варшаве остались дети Вяземских, все их вещи. За ними поехала Вера Федоровна, ведь Вяземскому пересекать границу было запрещено. Князь ждал жену в Петербурге.

А 12 июля в Царском Селе произошел такой разговор между императором и Карамзиным.

— Вот вы заступаетесь за князя Вяземского и ручаетесь, что в нем нет никакой злобы, — начал Александр. — А он между тем на днях написал ругательные стихи на правительство.

— Я не смею спорить, — отвечал Карамзин, — но, зная князя и его характер, не могу поверить, чтобы он в минуту оскорбления и огласки стал изливать свое неудовольствие в пасквилях.

— Да вот извольте взглянуть. — И государь протянул Карамзину красивую писарскую копию стихотворения «У вас Нева, у нас Москва... У вас Хвостов, у нас Шатров...». Это была еще допожарная сатира Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой». При желании ее действительно можно было трактовать как антиправительственную — Государственный совет сравнивался в ней с домом умалишенных, а последняя строка («А кучер спит») явно содержала намек на государя...

— Эти стихи мне известны, ваше величество, — не смешавшись, твердо отвечал Карамзин. — Они написаны князем Вяземским лет десять назад, это шалость его молодости... Однако сегодня же дело разъяснится: я жду князя к обеду, чтобы вместе отпраздновать его день рождения, и спрошу его о стихах.

Лицо Александра озарилось искренней улыбкой.

— А я и не знал, что у князя сегодня день рождения, — проговорил он. — Что ж, в таком случае передайте ему мои поздравления... И не будем омрачать семейное торжество неприятными впечатлениями.

Спустя четыре дня после этого разговора Вяземский дилижансом выехал в Москву...

После страшного нервного напряжения, державшего его в тисках пол-лета, наступил спад. Петр Андреевич был раздражен, мрачен. У него даже началась бессонница, которой он прежде никогда не страдал. Не обрадовало и то, что управляющий Демид Муромцев сделал ему сюрприз и на сэкономленные деньги выстроил в Москве, в Большом Чернышевом переулке (Вяземские снимали там квартиру до отъезда в Польшу), небольшой, но уютный двухэтажный каменный дом... Дождавшись Веру Федоровну с детьми, князь сразу же уехал в Остафьево. Его-то у него никто не отберет: это его мир, его детство, его маленькая республика...

Небольшой обоз пылил по дороге в сторону Подольска. Впереди дети с гувернерами, потом княжеская коляска, за ней несколько верховых и телег с мебелью, книгами, одеждой... Ветер колыхал верхушки берез вдоль обочины, одуряюще пахло полевыми цветами и травой. Не приобретенная на конгрессе Польша — коренная Русь вокруг, от небес до последнего листика... И каким все показалось далеким, мелким — канцелярские интриги, глупость начальников, спесь польских красавиц, собственные честолюбивые надежды... Подвиг не состоялся, ну и Бог с ним. Ясно, что никакого подвига в жизни не будет — кто поссорился с царем, тому уж не до подвигов... Когда завиднелись крыши остафьевских изб, раздался издалека колокольный звон — веселым благовестом встречала церковь Живоначальной Троицы возвращение барина... Все тридцать девять остафьевских дворов высыпали на улицу. У въезда в усадьбу староста, степенно поклонившись, поднес хлеб-соль... Вот и знакомый с детства пруд, плотина, деревья на ней уже вытянулись в высоту. Экипажи дали круг по аллее и замерли у парадного входа во дворец. Девятилетняя Маша уже бежала наверх по ступеням, радостно лепетала что-то матери четырехлетняя Пашенька,

трехлетний Николенька с восторгом глазел на красивый дом с колоннами, которого он и не видел-то никогда, а годовалый Павлуша, утомленный дорогой, мирно посапывал на руках нянюшки... Суетились лакеи. Фыркали усталые лошади. Окна дворца, чисто вымытые к приезду хозяев, весело сверкали на солнце... И можно зайти в Карамзинскую комнату, пройтись по липовой аллее... Вот он и *дома.*

Лето 1821 года — первое лето опалы — Вяземские провели в уединении. Лишь однажды на четыре дня приехал к ним милый и говорливый, как прежде, Василий Львович Пушкин... Опамятование от Варшавы и отставки, примирение с резкой переменой обстановки продолжалось долго и тяжело (Булгаков даже предполагал, что у Вяземского развилась меланхолия — как болезнь). «Я в деревне еще не обсиделся, — сообщал князь Тургеневу. — Тысяча... мелочей наводят тусклость на жизнь». Вяземский чувствовал себя в вакууме — старых друзей рядом нет, службы тоже, обличать и пылать негодованием не на кого... В Москву совсем не тянуло — он несколько раз высовывал туда нос и снова скрывался в деревню. Регулярно видел лишь Федора Толстого да изредка пересекался с Булгаковым. Не сходился он ни с кем в Первопрестольной, и попадались сплошь дураки: «Обухом мысли не выбьешь ни из одного»... Это был уже другой, не отцовский, не дружеский, «послепожарный» город: «Праздность, рассеянность, глупая роскошь, роговая музыка, крепостные виртуозы и в школе палок воспитанные актеры, одним словом, нелепое бригадирство». Многие годы спустя Вяземский будет негодовать на тех, кто видел в старой Москве только толпу грибоедовских персонажей, но в начале 20-х его нередко переполняли самые что ни на есть «чацкие» эмоции. Недаром же, по одной из версий, Грибоедов кое-какие черточки Вяземского передал главному герою своей комедии...

Не мог Вяземский не знать и о том, что в Москве за ним установлен тайный полицейский надзор. Тайный-то он был тайный, но генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын или, что еще вернее, Булгаков наверняка сообщили о нем князю. Ходили о Вяземском дурацкие слухи (например, о том, что в деревне ему велено жить два года безвылазно — Михаил Орлов слышал это в Одессе). Книги, которые заказывал он из Польши, проходили специальную цензуру, а французские газеты пересылать из Варшавы в Остафьево запретил лично великий князь Кон-

стантин. Все это были мелкие унижения, но и они вызывали досаду.

И еще не было денег. В 1819 году новые налоги сильно ударили по остафьевской суконной фабрике, так что работала она буквально на последнем издыхании. Сплошные убытки приносили тульские и костромские поместья. А деньги ох как были нужны, хотя бы для того, чтобы ремонтировать усадебный дом. Вяземский скрепя сердце занял у графа Апраксина тридцать тысяч рублей, и Остафьево надолго превратилось в строительную площадку — фасад дворца штукатурили, обустраивали оранжерею (в ней росли груши, лимоны, померанцы, персики, шпанские вишни, в теплице — арбузы и дыни), перестилали полы... Визжали пилы, стучали топоры. Пахло масляной краской. Рабочие копали колодцы. На двор усадьбы въезжали телеги с войлоком, паклей, хворостом для отопления оранжерей, цветочными горшками... Вяземский занялся планировкой усадебного парка — сделал заказ архитектору Мельникову. Задумал парк в английском вкусе, с изящными аллеями, расходящимися полукругом, с «затеями» — «Марсовым полем», гротом с фонтаном, беседками, храмами, статуей Флоры... Тогда же появились в Остафьеве Карамзинская аллея (а еще раньше Петр Андреевич и сестра его посадили березки Карамзинской рощи), роща «Огорок» и терраса под старинной липой, которую по традиции звали «Ляпуновской» — в память древнего владельца усадьбы. Перед самим домом Петр Андреевич и Вера Федоровна посадили каждый по два тополя и две ивки. Ухаживали за ними тщательно, но приживались деревья почему-то плохо и скоро погибли.

Все это развлекало, отвлекало — но иногда наваливалась такая тоска, что впору волком выть. Писал конституцию для России... и вот разбивает парк у себя в усадьбе. И в гости заглядывают соседи — сестры Окуловы, майорша Матвеева, приезжает из своей деревни Молодцы княгиня Горчакова... И не приходится ждать фельдъегеря, который помчит во дворец, а там государь обласкает и возвеличит...

«Грустно знать нам о вашей ипохондрии, милый князь, — пишет ему Карамзин. — Для чего бы вам не беседовать с музою?» Совет хорош, но то ли муза в неразговорчивом настроении, то ли в поэте дело — так или иначе, беседы пока что выходят довольно короткие. То, что пишется, вовсе не похоже ни на «Петербург», ни на «Негодование». Мысли так или иначе крутятся вокруг нынешнего сельского положения, даже если призвать на помощь привычную иронию:

С собачкой стадо у реки:
Вот случай мне запеть эклогу!
Но что ж? — Бодаются быки,
А шавка мне кусает ногу!
....
Сиянье томное луны
Влечет к задумчивой дремоте;
Но гонит прочь мечтаний сны
Лягушек кваканье в болоте...

А вот уже без иронии: «В деревне время кое-как / Мне коротать велит судьбина...» — он пытается развить тему, но она не дается... Но почему «кое-как»? Разве невозможно и из этого положения извлечь выгоду?.. «В самом деле, чего недостает для вашего совершенного земного блага?» — спрашивает в письме Карамзин. Николай Михайлович перечисляет все его достоинства — «милое семейство, хорошее состояние, добрых приятелей, Остафьево... душу, разум, дарование». Этого достаточно, чтобы быть счастливым. Ради счастья душевного и выходят в отставку. Даже не ради счастья — ради самой души. Чтобы была она спокойна, свободна. Чтобы не волновали ее ни начальники, ни дураки, что одно и то же... Смирение... спокойствие...

Уходя из переполненного шумными мастеровыми, пахнущего краской дома, он долгие часы проводит в остафьевском храме, тихом, маленьком и прохладном. При виде безыскусного сельского иконостаса невольно пробуждались в душе неизъяснимое спокойствие и возвышенность... Может быть, только лучшие элегии Жуковского так же умиротворяюще действовали на него.

Осенив себя крестным знамением, он выходит из храма... Тут же, в ограде, погребены два сына, два младенца — Андрей и Дмитрий... Скромные мраморные обелиски над ними. Непорочные души, так и не узнавшие ни честолюбия, ни обмана надежд... Над ними огромное летнее небо, небо Остафьева... Какой будет судьба еще нерожденного младенца? Мальчик это или девочка?.. Вера Федоровна на четвертом месяце беременности.

Он возвращается к перу — только оно способно успокоить. Его кабинет — на втором этаже дворца, в восточном крыле. На обширном низком столе в беспорядке лежат толстые синие книжки свежих журналов... Он берет себя в руки, принимается за работу. Очень многие стихи отдает в печать — редактор «Сына Отечества» Николай Греч и помогавший ему арзамасец Александр Воейков охотно публиковали все, что давал им Вяземский; не отставал и «Благонамеренный», издававшийся Александром Измайловым.

Именно в 1821 году увидели свет многие вещи Вяземского двух-семилетней давности, например «Послание к М. Т. Каченовскому», «Вечер на Волге», «Ухаб», «Прощание с халатом», «К В. А. Жуковскому», «Стол и постеля»... Всего в тот год он напечатал 16 стихотворений. Написал рецензию на книгу своего варшавского друга Петра Габбе «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольстейн» — книга эта вышла под псевдонимом, автор сидел в тюрьме в ожидании смертной казни за «возмущение» в полку... Одновременно задумал издать антологию русских народных песен... Самой масштабной работой осени 1821 года стала для него большая статья «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», написанная по заказу петербургского Вольного общества любителей российской словесности. Вяземский был рад сказать свое слово о почтенном поэте, одном из главных своих учителей, но статья эта отняла у него немало нервов. Пожалуй, ни одна работа Вяземского-критика не вызывала столько придирок — ее правили Карамзин, Блудов, Жуковский, Тургенев, члены Вольного общества и, наконец, правительственные цензоры... Но это все впереди. Необходимость работы вызвала у Вяземского прилив творческих сил после летней апатии. Статья о Дмитриеве — тот самый случай, когда заказ полностью совпадает с внутренним побуждением автора. И вот беседа с музой затягивается уже не на час, не на два... Трудночитаемые черновики мужа перебеливала своим изящным почерком Вера Федоровна... «Я сегодня часов восемь не вставал от письменного стола, — с удовольствием сообщал князь Тургеневу. — Я в Москве ничего путного сделать не в силах: здесь работать мне на бессмертие».

Так в 1821 году Вяземский очно возвращается в русскую литературу — автором «Первого снега», «Уныния», «Негодования». Эти названия всем известны, их автор — поэт, всеми уважаемый за ум, ироничность, а молодежью — еще и за политические убеждения.

Но сам Вяземский чувствовал, что время стихов для него пока миновало. Недаром в печать уходили сплошь старые, варшавских и доваршавских времен вещи. Польша словно вытянула из него весь поэтический жар. Теперь он все больше увлекался критикой. Острота, злободневность, возможность высказать мысли, не сковывая их в угоду госпоже Рифме — все это отваживало его от стихов... На целых четыре года Вяземский выпал из первого ряда поэтов России. И именно в это время стал одним из самых знаменитых русских публицистов.

Своим временным уходом из поэзии Вяземский словно предугадал все, чем будет жить только что начавшееся новое десятилетие русской словесности. Оно пройдет в теоретических боях «классиков» и «романтиков», литераторов «левых» и «правых»; скажут свое первое слово в литературе разночинцы, буревестники будущей «книгопрядильной промышленности» — Фаддей Булгарин и Николай Полевой; вниманием читателей завладеют крупные поэтические формы — поэма, повесть и роман в стихах, а там недалеко и до бума прозы... Подчинившись желанию заняться критикой, Вяземский обеспечил себе популярность на десять лет вперед, приобрел много новых читателей и поклонников. Повернувшись к публике другой гранью своего таланта, он по-прежнему был актуален и моден, как и в 1815-м.

Поэзия же за последние годы очень переменилась. «Эпоха стихов» в русской литературе медленно подходила к концу. Уже не делало погоды старшее поколение — Карамзин, Дмитриев, Василий Львович Пушкин. Постарел и Жуковский, который странствовал по Европе в составе свиты своей воспитанницы, великой княгини Александры Федоровны. Вяземского злило упорное нежелание Жуковского спускаться с небес на землю и «искать вдохновения в газетах». Князю казалось, что Жуковский — возвышенный Дон Кихот, а он, Вяземский — прозаический Санчо, «который ворочал бы его иногда на землю и носом притыкал его к житейскому». «Добрый мечтатель! полно тебе нежиться на облаках: спустись на землю, и пусть по крайней мере ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей, — взывает Петр Андреевич к другу. — Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование! — вот современное вдохновение! При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий о чистом самодержавии, какая лира не отгрянет сама: месть! месть!.. Страшусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора... Говорю тебе искренно и от души, ибо беспрестанно думаю о тебе и дрожу за тебя. Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонности твоей совести; но мне больно видеть воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом... Многие чувства в тебе усыплены».

Такие упреки звучали, конечно, излишне резко. Но кое в чем Вяземский был прав. Достаточно заглянуть в дневники

Жуковского — фамилии всевозможных генералов, дипломатов и фрейлин встречаются в них куда чаще имен друзей-поэтов... Об этом писал и Карамзин, видевший Жуковского при дворе: «Жуковской совсем не суетен и еще менее корыстолюбив; но... Двор приводит его в рассеяние, не весьма для Муз благоприятное».

И все же Музы не покидали великого поэта и при дворе, и во время странствий. 4 сентября 1821 года, будучи в швейцарском Веве и побывав накануне в Шильонском замке, Жуковский раскрыл перед собой растрепанное дорожное издание байроновского «The Prisoner Of Shillon»* и вывел первые, знаменитые строки перевода:

Взгляните на меня — я сед;
Но не от хилости и лет;
Не страх незапный в ночь одну
До срока дал мне седину.
Я сгорблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня...

Вот тут уже нет никакой «потехи двора и служения идолов»... Посвящение к этой поэме — «Князю П. А. Вяземскому. От переводчика»... В этом весь Жуковский. Друг в опале, изгнан со службы, под полицейским надзором — и к тому же довольно жестокий друг, то и дело язвящий в письмах, ждущий от Жуковского чего-то, чего он не может сделать и никогда не сделает... Но Жуковский об этом не помнит, он видит настоящего Вяземского... того, каким он должен быть в идеале. И посвящает ему лучший свой труд, свой шедевр...

Жуковский в трудах и странствиях. А вот Батюшков... С ним давно уже творилось что-то неладное. Он перестал переписываться с друзьями, ни с кем не общался. Здоровье его, по его же словам, «ветшало беспрестанно». Италия Батюшкову вконец опротивела. Но Гнедичу он сообщил, что в Россию не вернется и писать ничего впредь не будет... И вот 4 октября 1821 года, ровно через месяц после начала работы над «Шильонским узником», Жуковский приехал к Батюшкову в городок Плаун, недалеко от Дрездена. Пытался его успокоить и ободрить, как только мог, но Батюшков мрачно сказал, что *разодрал* все написанное им в Италии и хочет заняться теперь изучением астрономии... Он называл уничтоженные стихотворения — «Тасс», «Брут», «Вечный Жид»... «Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось», —

---

* «Шильонский узник» (*англ.*).

повторял Батюшков. В какой-то миг Жуковский вдруг осознал страшную истину — Батюшков помешался. Вещими оказались слова его, сказанные когда-то: «Если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него».

Батюшкова долго лечили в лучшей европейской клинике, в Зонненштейне — тщетно. Приступы мрачности и отчаяния чередовались у него с прояснениями, когда он отчетливо понимал, что *погиб*. Он рисовал, у него получались странные ночные пейзажи с луной, кладбищем, желтыми и красными деревьями, лошадьми... Иногда рифмовал. Проявления мании преследования сменялись почти разумным поведением, и тогда возникала надежда, что Батюшков выздоровеет.

Вяземский долго еще думал, что болезнь Батюшкова — «ребяческая», что достаточно будет официального признания его заслуг — камергерский ключ и членство в Российской Академии, — как Батюшков повеселеет... Только в конце 1822 года друзья окончательно убедились в том, что Батюшков безнадежен. 1 марта 1823-го он попытался покончить с собой... Больного поэта перевезли в Петербург. Потом в Москву. В 1829-м Вяземский предпринял последнюю попытку вылечить друга: ему пришло в голову, что, может быть, музыка пробудит уснувшую душу Батюшкова... 18 января Вяземский и его приятель, композитор Верстовский, пришли к больному, Верстовский начал играть на рояле. Батюшков узнал князя, обрадовался, но вскоре замкнулся, помрачнел, лег на диван и занялся лепкой из воска. Музыка его никак не тронула. Вяземский спросил, не пишет ли он новых стихов.

— Что теперь говорить о стихах моих! — раздраженно сказал Батюшков. — Я похож на человека, который нес на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди теперь узнай, что в нем было!

Так безвременно (в тридцать четыре года) угас один из ярчайших поэтов русской земли. Батюшков прожил долго, пережил многих друзей — Пушкина, Жуковского, — но это уже была не жизнь. «Боже мой, как подумаешь, скольких он пережил и как многих, может быть, еще переживет в несчастном этом положении, — писал Вяземский в 1847 году. — И для чего? Никак умом не разгадаешь этой тайны»...

Батюшкова не заменит, конечно, никто. Но подросла литературная молодежь. Вослед Жуковскому и Батюшкову торопились новые поэты — барон Антон Дельвиг, Александр Грибоедов, Вильгельм Кюхельбекер, Иван Козлов, Евгений Баратынский, Кондратий Рылеев, Петр Плетнев, Николай

Языков... Не все из них так уж и молоды — Козлов старше Жуковского, Плетнев ровесник Вяземского, а Рылеев и Грибоедов ненамного его моложе, — но их имена начинают звучать громко только в начале 1820-х. Московская молодая словесность была представлена талантами помельче и явно не «арзамасского» склада — Михаил Дмитриев, Сергей Аксаков... Они уже пытались покусывать Вяземского эпиграммами, колоть его аристократическим происхождением и отсутствием университетской выучки. Весь 1821 год был наполнен для Вяземского скандалом вокруг его «Послания к М. Т. Каченовскому», напечатанного в «Сыне Отечества». Каченовский немедленно развернул в «Вестнике Европы» кампанию против Вяземского: в журнале появилась статья, обвинявшая князя в плагиате, и «Послание к Птелинскому-Ульминскому», где Аксаков защищал Каченовского от нападок Вяземского... Вяземский, читая ругательную критику на себя, только посмеивался. Как бы ни лаяли на него московские моськи, «Первый снег» и «Уныние» они все равно — пусть даже и боялись в этом признаться — знали наизусть.

В 1822-м наконец начинается у Вяземского полноценная московско-подмосковная жизнь. Полицейский надзор? Черт с ним. Он не делает ничего предосудительного — просто живет так, как считает нужным... Снимает квартиру на Спасопесковской площадке, а вскоре перебирается в собственный, наконец-то достроенный и отделанный дом в Большом Чернышевом: там его зимняя резиденция. Маленький уютный переулочек между Тверской и Большой Никитской назывался в честь владельца самого большого участка на нем — генерал-фельдмаршала графа З. Г. Чернышева. Каменный дом, выстроенный управляющим в мае 1821 года, был совсем невелик, поэтому Вяземский понемногу расширял свои городские владения — пять лет спустя купил второй участок земли, на котором в 1827—1829 годах встал еще один двухэтажный дом. Оба здания сохранились (сейчас № 9 и 11 по Вознесенскому переулку). Здесь, в княжеском кабинете, сиживали у камина и Пушкин, и Баратынский, и Жуковский, и многие другие творцы Золотого века...

Итак, зима — в городе, а с первыми намеками на тепло князь выезжает в Остафьево. Снова огромные траты на праздники, на цыган (об этом писал брату Александр Булгаков, причем жаловался на излишнюю, по его мнению, разгульность веселья...). Особенно пышно отмечались в Остафьеве семейные торжества. Весело отпраздновали рождение 15 января дочери Надежды. Именины князя — Петров день, 29 июня — начинались торжественным молебном в храме,

потом Вяземского поздравляли крестьяне, а именинник не без удовольствия целовал деревенских девушек... На тридцатые Вяземского, 12 июля 1822 года, к нему приехали арзамасец Жихарев, Булгаков и литератор Степан Нечаев, будущий обер-прокурор Синода. «Мы приехали незадолго до обеда, за которым было нас более 40 человек... — писал Булгаков. — Пили здоровье новорожденного и палили пушки. После кофею пустились с трубками по воде на ту сторону пруда, на большой луг, где были висячие качели, хороводы и народный праздник... К 8 часам возвратились в дом, который скорее можно назвать дворцом... Пили чай, стало много наезжать соседей и из Москвы. Были тут: Неелова с двумя барышнями, графиня Потемкина, графиня Гудовичева с сестрою, Всеволожская с сестрою, княгинею Трубецкою, Четвертинские и пр. со множеством молодежи. Юлия Алексеевна как ни спешила, не могла приехать прежде 9 часов. Как явилась с m-lle Helene и Софьею Урусовой, тотчас сигнал для театра. В первой пьесе «Le Roman d'une heure» играли очень хорошо княгиня Вера, молодой Ваксель и m-lle Irène... После спектакля пели новорожденному куплеты по-русски и по-французски, а затем начался бал. Перед ужином был фейерверк».

Все это, конечно, было чрезвычайно весело и мило, но влетало любящему рассеяние князю в копеечку. Пятьсот тысяч долга над ним висели по-прежнему, из них сто пятьдесят он должен был государственной казне. И еще какие-то сравнительные «мелочи» (например, десять тысяч — прусскому консулу...). Александр Тургенев по праву друга пытался наставлять Вяземского, но тот отреагировал резким письмом. Опекунства над собой он не потерпит. Кое-что он себе позволяет, верно, и даже многое, но все же за рамки приличия не выходит и, кажется, сам способен рассчитывать свои финансовые возможности...

Бесшабашное веселье «в Марьиной роще с медведями, кулачными бойцами, под громом цыганок и в море шампанского» — и литературные заботы... Он умел их совмещать. В мае 1822-го князь согласился участвовать в петербургском альманахе «Полярная звезда», который собирал поэт Кондратий Рылеев, автор нашумевшей сатиры «К временщику» и исторических «Дум». Тургеневу Вяземский сообщал: «У этого Рылеева есть кровь в жилах, и «Думы» его мне нравятся». «С признательностью принимаю лестное приглашение участвовать и впредь в ваших трудах и зажигать лучинку мою на лучах вашей блестящей Звезды. С живым удовольствием читаю я *Думы*, которые постоянно обращали на себя и

прежде мое внимание», — написал он самому Рылееву... Три стихотворения Вяземского — «Цветы», «Всякой на свой покрой» и «Послание к И. И. Дмитриеву, приславшему мне свои сочинения» — появились в рылеевском альманахе. Ничего нового у Вяземского не было, поэтому пришлось давать старые стихи — «Цветы» и «Всякой на свой покрой» написаны в 1817 году, послание к Дмитриеву — в 1819-м. «Цветы» предполагались когда-то для арзамасского журнала, их можно было смело относить к разряду безделок (хотя и там поминались «льстецы, прислужники двора»); а «Всякой на свой покрой» — стихотворный фельетон, тоже доваршавский, каких князь написал к тому времени уже немало. Они даже назывались похоже друг на друга: «Того-сего», «Воли не давай рукам», «Давным-давно», «В шляпе дело», «Семь пятниц на неделе», «Да, как бы не так», «Пиши пропало», «Как трудно жить», «Пошла писать». Это как бы развернутые на пять — восемь строф эпиграммы, причем добродушная, безобидная ирония соседствует в них с неожиданно резкими выпадами против вполне конкретных лиц. Такие фельетоны стали для Вяземского любимым жанром в начале 20-х и пользовались большим успехом у публики. От них протянулась нить к поздним «Заметкам» — сатирическим куплетам конца 50-х годов...

В мае же вышел из печати «Шильонский узник» Жуковского, первая русская романтическая поэма (перевод Жуковского, как всегда, был самоценным, самостоятельным произведением). История швейцарского республиканца Бонивара, заточенного в Шильонский замок, потрясла души русских читателей... Вяземский взял поэму в поездку свою в Нижний Новгород и Кострому — он ездил туда в июле — августе по хозяйственным делам (и увидел знаменитую Макарьевскую ярмарку). А в конце августа появился в продаже «Кавказский пленник, соч. А. Пушкина» — весточка от милого сердцу Сверчка. Два «пленника» один за другим — шильонский и кавказский.

В 1822 году Пушкин уже был автором «Руслана и Людмилы», после прочтения которой Жуковский подарил автору свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побежденного-учителя». Вяземский читал эту поэму, но не счел нужным откликнуться на ее выход в печати — содержание казалось ему слишком легковесным (хотя от пушкинского стиха, слога он был в восторге). «Кавказский пленник» дело иное — с поэмой этой, равно как и с «Шильонским узником», началась в России эпоха романтизма, эпоха чувств, мыслей и стихов благородных и пламенных. И он

пишет статью «О Кавказском пленнике, повести, соч. А. Пушкина», где заявляет об этом во всеуслышание... Тогда же оживилась и переписка между друзьями, увядшая было после 1820 года. «Посуди сам, сколько обрадовали меня знакомые каракулки твоего пера, — писал Пушкин князю. — Почти три года имею про тебя только неверные сведения стороною — а здесь не слышу живого слова европейского».

...В любой современной монографии по истории литературы XIX столетия сказано, что Вяземский — один из основоположников русской критики. Были ли критические статьи настоящей, постоянной потребностью его души — такой же, как стихи и письма?.. С уверенностью можно сказать, что были, поскольку откликался в печати князь Петр Андреевич только на то, что действительно его волновало и задевало. Оттого и все его программные критические работы — о *вечных* авторах: Державине, Жуковском, Пушкине, Мицкевиче, Гоголе...

Стиль Вяземского-критика уже легко узнаваем. Хотя более привычен он как поэт, все помнят его статьи о Державине и Озерове. Как и в поэтических творениях, в критической прозе князь блещет глубокими мыслями, остротами, резкими суждениями, судит пристрастно, но остро и весьма занимательно. Никогда о предмете своем Вяземский-критик не скажет вяло и сухо: его статьи — это маленькие монографии, непременно заостренные против кого-то, пестрящие отступлениями, сопоставлениями, словом, как затем скажет Гоголь, «пестрый фараон всего вместе»; слог неровен, но не от неумелости, а от обилия мыслей. «В этих отступлениях, может быть, есть и мой недостаток, и мое достоинство, — замечал Вяземский. — В прозе моей есть физиономия и самобытность. Она, разумеется, не идет в подметки прозе Карамзина и Жуковского, но именно тем и отличается, что пошла не их дорогою, а своими проселками».

И статья «О Кавказском пленнике...» не исключение. Она совсем невелика, но Вяземский успевает обрушить на читателя целый каскад мыслей, которые на первый взгляд мало связаны с пушкинской поэмой. Ее характеристика хотя и восторженная («Все, что принадлежит до живописи в настоящей повести, превосходно... Стихосложение в «Кавказском пленнике» отличное. Можно, кажется, утвердить, что в целой повести нет ни одного вялого, нестройного стиха»), но довольно беглая. Статью Вяземский открывает смелым сравнением «Шильонского узника» и «Кавказского пленника». Сейчас это сопоставление кажется очевидным,

но для обычного читателя тех лет «равновесие» маститого Жуковского, автора знаменитых баллад и «Певца во стане Русских воинов», и юного Пушкина вовсе не было аксиомой. «Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского, даже между преподавателями словесности; она была менее и во мнении наших родителей», — вспоминал младший брат Достоевского Андрей Михайлович, а его мемуары относятся к началу 30-х годов. Так что утверждения Вяземского, что Пушкин не менее значим, чем Жуковский (ничем, кстати, не аргументированные, а основанные на одной убежденности и критическом чутье), в 1822 году звучали весьма дерзко и вызывали много споров.

Ошарашив традиционного читателя сравнением Пушкина с Жуковским, Вяземский переходит к длинному пассажу о *бедности* русской литературы на настоящие события, куда вкрапляет мысли о бесспорном преимуществе *романтической* поэзии (и тут же бросает ироническое замечание о критиках, которые негодуют на «таинственную и туманную даль», как будто в этих штампах кроется суть романтизма...). Потом — снова настойчивый тезис о бедности отечественной словесности: «Образ литературы нашей еще не означился, не прорезался. Признаемся со смирением, но и с надеждою: есть язык русский, но нет еще словесности, достойного выражения народа могущего и мужественного!.. Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен застой». «Кавказский пленник», по мнению Вяземского — как раз очень удачное «покушение», опыт переноса на русскую почву байронической поэмы; Пушкин создал совершенно новый в отечественной поэзии характер Пленника, хотя и не всегда он «твердою рукою дорисован; впрочем, достоинства его не умаляются от некоторого сходства с героем Бейрона». «Лицо Черкешенки совершенно поэтическое». Тут Вяземского опять уносит в сторону: «По моему мнению, женщина, которая любила, совершила на земле свое предназначение и жила в полном значении слова. Спешу пояснить строгим толкователям, что и слово «любить» приемлется здесь в чистом, нравственном и строгом значении своем. Кстати, о строгих толкователях...» и т. д. Потоптав «толкователей», князь возвращается к собственно поэме, завершает статью комплиментами Пушкину (он «ныне являет нам степень зрелости совершенной») и не забывает в сотый раз напомнить Жуковскому о давно обещанной им поэме «Владимир» (этот «Владимир» был почему-то у Вяземского навязчивой идеей — он ждал его от Жуковского не меньше десяти лет)...

Неудивительно, что привыкшие к гладкому и гармоничному прозаическому слогу Карамзина и Жуковского друзья-пуристы приходили в ужас от задорной и своенравной критической музы Вяземского. 27 сентября он сообщил Александру Тургеневу о том, что статья готова (он отдал ее в «Сын Отечества»), попутно высказав и свои претензии к Пушкину, который славил героя Кавказской войны Ермолова: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести... Поэзия не союзница палачей... гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм. Досадно и то, что, разумеется, мне даже о том и намекнуть нельзя будет в моей статье. Человеколюбивое и нравственное чувство мое покажется движением мятежническим и бесовским внушением в глазах наших христолюбивых цензоров». Но работа и без этого встретила возражения цензуры, которая, по свидетельству Александра Булгакова, «многое конфисковала в статье». Попутно Вяземскому еще пришлось переделывать статьи «О биографическом похвальном слове г-же Сталь-Гольстейн» и «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». «Известие...», написанное еще в сентябре 1821-го, уже год как скиталось по рукам добровольных цензоров — по рукописи прошлись придирчивые карандаши Карамзина, Блудова и Александра Тургенева. «Ваш слог... имеет только внутреннее достоинство, — высказывал свои замечания Блудов, — надобно подумать и о наружном: о правильности, опрятности, гармонии и проч. и проч. В этом довольно важном отношении ваши отрывки, небрежно и, без сомнения, наскоро писанные, должны быть не только поправлены, но, так сказать, переплавлены». Карамзин советовал князю «притупить жало и остаться при одном остроумии». Все эти претензии Вяземского раздражали, он считал, что друзья, желая ему добра, калечат статью.

Об этом его страстное письмо Тургеневу: «Ради Бога, не касайтесь мыслей и своевольных их оболочек; я хочу наездничать; хочу, как Бонапарт, по выражению Шихматова,

Взбежать с убийством на престол.

Живописнейший, ощутительнейший, остроконечнейший, *горилиефнейший* способ выразить свою мысль есть и выгоднейший. Пожалуйста, проклинайте меня в церквах, называйте антихристом, а я все-таки буду шагать от Сены до Рейна, от Рейна до Эльбы, от Эльбы до Немана и так далее».

Он читает многих европейских прозаиков, и не потому, что «лета к суровой прозе клонят», а потому, что нет у российской словесности пока что собственного прозаического языка. Ему очень нравится Доминик Прадт: «Прадта слушаешь, а не читаешь: он гласно пишет. Он тоже какой-то Байрон в своем роде: судит как прозаист, а выражается как поэт». Пушкин вполне одобрял занятия друга: «Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластия, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах — а там что Бог даст». Надежды на Вяземского как на потенциального реформатора русской прозы возлагал и Михаил Орлов: «Вооружись пером и сядь за работу. Судя по тому, как ты написал жизнь Озерова, я уверен, что ты можешь сделать оборот в нашей прозе и дать ей более точности и остроты. Займися прозою, вот чего недостает у нас».

Слава Богу, что Вяземский заупрямился и не стал, по совету друзей, приводить свою прозу к общему карамзинскому знаменателю. Его статьи и в особенности письма и сегодня читаются с удовольствием именно из-за живого, остроумного, иногда почти разговорного, полного мыслей («метафизического») языка, вовсе не совпадающего со стандартами эпохи. Они передают характер самого Вяземского: видно, что он торопится вывалить на бумагу все свои мысли, не особенно заботясь о «правильности, опрятности, гармонии». Жуковскому казалось, что князь пишет свои статьи наскоро. «Я прозою пишу всегда скоро, то есть от полноты... — соглашался с ним Вяземский. — Главный порок (по крайней мере в глазах моих) моей прозы есть длина периодов моих: с одышкою скорее взбежишь на Иван Великий, нежели прочтешь безостановочно мою фразу. Мне всегда хочется, чтобы мысли мои разматывались, развивались одна из другой. Это и хорошо; но дурно то, что недостает искусства и что с сцеплением мыслей связываю я неудачно и сцепление слов. Моя фраза, как ковыль, катится по голове моей, подбирает все, что валяется по сторонам, и падает на бумагу безобразною кучею. Не так ли? Это тем досаднее, что придает слогу моему какую-то растянутость, вялость, совсем не сродную движению моих мыслей и внутренней работе головы моей... Но за неровность слога своего стою, и вы меня не собьете; потому что я не только в себе ее терплю, но люблю и в других писателях. Нужно непременно иным словам, иным оборотам иметь *выпуклость*... Грешу и я, может быть, излишеством; но дело в том, что этот грех во мне первородный... Мне кажется, что особенно по-русски нельзя писать плавно, или

точно польется вода. Мы, как италиянцы, должны договаривать ужимками и движениями». Тургеневу он ничего объяснять не стал, просто написал раздраженно: «Ты все хочешь грамоты; да что ты за грамотей такой! Есть ошибки против языка, но есть и подарки языку. Уж этот мне казенный штемпель! Жжет душу. Наш язык на то только и хорош, чтобы коверкать его, жать во всю Ивановскую: соки еще все в нем. Говорил и тебе это сто раз, а ты все свое умничанье!»

Пушкин ответил на статью о себе в «Сыне Отечества» веселым письмом от 6 февраля 1823 года. «Благодарю тебя, милый Вяземский! пусть утешит тебя Бог за то, что ты меня утешил, — писал он. — Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека. До сих пор, читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч., мне казалось, что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова. Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос — французская болезнь умертвила б нашу отроческую словесность... Благодарю за щелчок цензуре... Пиши мне покамест, если по почте, так осторожно, а по *оказии* что хочешь — да нельзя ли твоих стихов? мочи нет хочется». Пушкин пишет и о первой книжке «Полярной звезды» (вышла в декабре 1822-го): «Читал я твои стихи в Полярной Звезде; все прелесть — да ради Христа прозу-то не забывай; ты да Карамзин одни владеют ею». Кстати, сам Карамзин в письме Дмитриеву дал прозе Вяземского оценку очень интересную: «Милый князь Петр пишет умно, но фразами не легкими и не ясными; умнее всех наших писателей».

В «Полярной звезде» Вяземский с интересом прочел статью «Взгляд на старую и новую словесность в России» Александра Бестужева. Были в ней и лестные слова в адрес Вяземского: «Остроумный князь Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностию выражений. Имея взгляд беглый и содержательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блестками ума просвещенного. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта... Его упрекают в расточительности острот, но это происходит не от желания блистать умом, а от избытка оного». В феврале 1823 года Вяземский смог познакомиться с Бестужевым, который приехал в Москву. Оказался он дра-

гунским поручиком, был весел и общителен. Вяземский сразу почувствовал, что Бестужев влюблен в литературу искренне и бескорыстно.

Они отобедали вместе. Возможно, уже тогда Бестужев присматривался к Вяземскому не только как к широко известному писателю, но и как к потенциальному политическому деятелю. Через два года, осенью 1825-го, именно Александр Бестужев сделает в Москве «весьма неопределенную и загадочную» попытку привлечь князя в тайное общество. Попытка эта найдет в Вяземском «твердое отражение»...

Будущие декабристы, к числу которых принадлежал и Бестужев, давно обратили внимание на Вяземского. С некоторыми из них — Николаем Тургеневым, Никитой Муравьевым, Михаилом Орловым — он был в дружеских отношениях; знал довольно близко Лунина, Пущина, Пестеля, Федора Глинку, Завалишина, Сергея Муравьева-Апостола, Якушкина, Штейнгейля, Рылеева, Евгения Оболенского; переписывался с Сергеем Волконским, Вадковским; наконец, некоторые декабристы доводились ему родней (Сергей Трубецкой — троюродный брат Веры Федоровны и сосед Вяземского по имению). Он охотно делился с этими людьми своими мыслями о политическом и экономическом устройстве России, снабжал списками самых острых своих стихотворений. Его политические требования — конституция, парламент, отмена крепостного права — совпадали с программой созданного в 1821 году Северного общества. Декабристы считали Вяземского одним из виднейших деятелей русской оппозиции. Что же помешало ему, пылавшему свободолюбием, заклеймившему деспотизм в «Негодовании», встать в ряды тайного общества?

Сам князь Петр Андреевич полусерьезно на этот вопрос отвечал так: «Честному человеку не следует входить в тайное общество хотя бы затем, чтобы не оказаться в дурном обществе». Для него была неприемлема сама тактика заговора, а тем паче вооруженной борьбы против какой бы то ни было законной власти. «Горсть людей... никогда не вправе по собственному почину своему распоряжаться судьбами Отечества и судьбами тысяч и миллионов ближних своих, — писал он. — Восставая против злоупотреблений настоящего... эти господа сами покушаются на величайший произвол: они присваивают себе власть, которая ни в каком случае им законно не принадлежит. Они в кружке своем... тайно, притворно, двулично замышляют дело, которого не могут они предвидеть ни значение, ни исход. Можно сказать почти утвердительно, что никакое тайное политическое общество не

достигло цели своей: оно никогда и нигде никого и ничего не спасало, но часто проливало много неповинной крови и губило много жертв».

Это писалось в 1876 году, когда в России вовсю действовала «Земля и воля». Более чем сомнительно, чтобы отечественные террористы читали на досуге статьи престарелого поэта, но если читали, то можно представить, какое веселье у них вызывали наивные рассуждения князя о «законной власти» и «величайшем произволе»!.. Тайные общества новой генерации давно готовы были пролить океаны неповинной крови ради счастья грядущих поколений. Вяземский умер за сорок лет до революции, но, к счастью для себя, не верил, что она может произойти в России. «Законная власть» казалась ему незыблемой, между тем как уже в 1878-м, в год его смерти, она была сильно подточена изнутри.

Однако главная причина его отказа от декабризма крылась даже не в незаконных методах борьбы и не в «произволе». Яркий и честолюбивый индивидуалист, Вяземский выше всего на свете ценил свободу личности и самовыражения и подчиняться кому бы то ни было ни в образе мыслей, ни в творчестве не желал (именно поэтому он всю жизнь упорно подчеркивал свою — личную и творческую — самостоятельность и оригинальность). Тайное же общество требовало подчинения «личной воли своей тайной воле вожаков». «Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя», — едко говорил князь Петр Андреевич. Именно поэтому его членство в варшавской масонской ложе ограничилось единственным ее посещением: закабалять себя кому бы то ни было Вяземский не собирался.

«Тайно, притворно, двулично»... Ни тайным, ни притворным, ни двуличным Вяземский не хотел и не мог стать. Он не мог отдать все свои помыслы заговору, отречься от себя и своего призвания, вести двойную жизнь. Да и не видел он особенного мужества в том, чтобы хулить правительство тайно. По его мысли, лишь гордая аристократическая фронда, совершенно открытая и потому уязвимая, имела право на высокое звание гражданского подвига, *подвига бытия*. И фронда Вяземского не нуждалась в заговорах и конспиративных квартирах, ибо сама ценность ее как политического явления состояла в легальности. Он готов был говорить — и говорил — правду, но не за спиной, а в лицо.

«Подпрапорщики не делают революций». Таков был ответ Вяземского на предложение Бестужева *изменить судьбу*. Других вариантов быть, собственно, и не могло. Да и вообще сделать такое предложение Вяземскому могли только

плохо знавшие его люди. Представить себе князя Петра Андреевича на собрании декабристов затруднительно, а на Сенатской площади — невозможно...

...28 марта 1823 года у Вяземских родился сын Петр. Вере Федоровне, уже второй год подряд хворавшей, роды не пошли на пользу — она заболела снова. В мае неожиданно слег Карамзин — все опасались за его жизнь. Князь немедля помчался в Петербург, и, как писала дочь Карамзина Софья, «приезд неожиданный милого Вяземского послужил также ему приятным лекарством». В середине июня Николай Михайлович поправился.

В Петербурге князь повидал больного Батюшкова — это было их первое свидание за семь лет.

Еще в конце апреля 1823 года у Вяземского случилось приятное знакомство, которое на время заставило его забыть о семейных проблемах. «Здесь Грибоедов Персидский, — писал он Тургеневу. — Молодой человек с большой живостью, памятью и, кажется, дарованием». Грибоедов принадлежал к совсем не близким Вяземскому московским литературным кругам — Петр Андреевич хорошо помнил грибоедовскую статью «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады: Ленора», в которой тот придирчиво критиковал Жуковского и которая летом 1816 года возмутила всех арзамасцев; да и с осмеянным драматургом Шаховским-Шутовским Грибоедова связывали вполне теплые отношения... Так что сходились новые знакомые медленно, приглядываясь друг к другу, и близкой приязни меж ними не получилось. Но Грибоедов все же прочел Вяземскому «Горе от ума» с глазу на глаз и даже принял кое-какие поправки. Например, Вяземский предложил фразу Чацкого «Желал бы с ним убиться для компаньи» (2-е действие, 8-е явление) разделить на две — «пошлый», по его мнению, вопрос «Для компаньи?» отдать служанке Лизе... Так Грибоедов и сделал: точка разделила стих на два, и в старости князь с улыбкой вспоминал эту точку, называя ее своей неотъемлемой собственностью в «бессмертной и гениальной комедии Грибоедова».

Банальные для нашего уха эпитеты применены к «Горю от ума» здесь с явной иронией: князь признавался, что ему «оскомину набили эти стереотипные прилагательные». Вяземский (как и Пушкин) относился к грибоедовской комедии вовсе не так восторженно, как можно думать, и сопровождал свои похвалы многими оговорками. Прежде всего он не считал «Горе от ума» собственно *комедией*, а скорее драматической сатирой, почти начисто лишенной сценичности и юмора, необходимого в комедии (хотя и не отрицал, что

пьеса эпохальна для русского театра). К тому же в старости у Вяземского вызывало сильную досаду то, что фамусовскую Москву отождествляли с «допожарным» городом его молодости. Грибоедов наряду с Гоголем стал для Вяземского родоначальником ироничной, «обличительной» литературы, которая, по мысли князя Петра Андреевича, увела русскую словесность с карамзинско-пушкинского пути... Стихи Грибоедова, по мнению Вяземского, «за исключением многих удачных и блестящих стихов в «Горе от ума», вообще грубоваты и тяжеловаты». «Я любил автора, уважал ум и дарования его; вероятно, я один из тех, которые живее и глубже были поражены преждевременным и бедственным концом его, — пишет Вяземский. — Но сам автор знал, что я не безусловный поклонник комедии его; вероятно, даже в глазах его умеренность моя сбивалась на недоброжелательство по щекотливости, свойственной авторскому самолюбию, и по сплетням охотников, всегда ищущих случая разводить честных людей». Этого пассажа в VIII главе книги «Фон-Визин» достаточно, чтобы понять: отношения классиков были отнюдь не безоблачными. Известно, что Вяземский считал Грибоедова слишком самолюбивым. Существовали и какие-то «охотники», желавшие поссорить князя с Грибоедовым (может быть, Михаил Дмитриев и Александр Писарев, которые в начале 1824 года единым фронтом выступили против обоих).

Но бывали, конечно, и минуты доверия, приятельской близости... И тогда Вяземский с удовольствием отмечал, что Грибоедов «умен, пламенен, и с ним всегда весело». Грибоедов не раз бывал в Остафьеве и даже принимал участие в любительских спектаклях, которые ставились в усадьбе. Особенно хорош он был в роли Еремеевны («Недоросль» Фонвизина). Спектакли давались в библиотеке, а летом открывался Зеленый, или Воздушный театр — прямо в парке ставили скамьи для публики, плотники строили сцену... Это был настоящий театр, с декорациями, дорогими костюмами... Играли в основном водевили, русские и французские, комедии польского драматурга Александра Фредро, из более серьезных вещей — пьесы Озерова, Расина, Корнеля и Вольтера. В женских ролях блистала Вера Федоровна Вяземская, почти не уступавшая мужу в разнообразии талантов. Нередко звучала в усадьбе и музыка — исполнялись под аккомпанемент клавесина модные романсы и арии, труппа итальянца Джузеппе Негри ставила целые оперы... Этого Негри Вяземский звал Осипом и говорил, что ему петь нельзя, потому что он вечно *осип*.

Записным театралом Вяземский был еще с ранней юности — именно театр, как мы помним, послужил причиной его удаления из Петербурга в 1806 году. А в московские двадцатые он — прямо-таки почетный гражданин кулис. «В известный час после обеда заноет какой-то червь в груди; дома не сидится; покидаешь чтение самой занимательной книги, отрываешься от приятного и увлекательного разговора и отправляешься в театр», — с удовольствием вспоминал князь. В 1823-м только-только начало строиться здание нового Большого театра, и спектакли проходили в домашних театрах, у графов Апраксиных на Знаменке и в доме Пашкова на Моховой. Письма Вяземского Тургеневу полны театральных впечатлений, отзывов об актрисах и балеринах. Особенно его вдохновляла тогда черноглазая и темноволосая цыганка Таня Новикова.

Отдельным пунктом шла любовь Вяземского к итальянской опере. Ее он пронес через всю жизнь, ради нее даже рисковал иногда здоровьем (Булгаков сообщал, что 4 июля 1823-го Вяземский, будучи больным, «велел себя почти перенести в театр, чтобы послушать Сороку, которую подлинно славно дают»). «Я совершенно *омакаронился* в отношении к Театру, et hors l'opera Italien point de salut*, — писал он. — Для меня какой-нибудь Турок в Италии (опера Россини. — *В. Б.*) забавнее всего Скриба и, прости меня Господи и Василий Львович Пушкин, может быть, всего Молиера... В Россини есть остроумие, веселость, которая действует на нас симпатически, как смех. Разумеется, меня не столько либретто смешит, как то, как рассказывает, как передает его композитор». Впервые попав в Париж, он чуть ли не половину времени проводит в итальянской опере. А прослушав «Севильского цирюльника» в 1830 году, записывает: «В музыке Россини весь пыл, все остроумие, вся веселость прозы Бомарше». Этот отзыв почти дословно был повторен в 1853 и 1859 годах, когда он смотрел «Цирюльника» в Венеции и Ницце. С годами оперные страсти отнюдь не слабели. Так, уже семидесятилетним стариком Вяземский устроил себе настоящий оперный марафон в Милане: за неделю посетил пять спектаклей, причем на «Лючию ди Ламмермур» Доницетти ходил дважды.

Осенью 1823-го Вяземскому и самому довелось побывать в роли драматурга (кем он только не был за свою жизнь...). Директор московских театров Федор Кокошкин попросил его написать «оперу-водевиль» в одном действии для бене-

* Без итальянской оперы нет спасения (*фр.*).

фиса своей жены, актрисы Львовой-Синецкой. Вяземский отвечал, что не признает в себе никаких драматических способностей, но готов сочинить для водевиля стихотворные куплеты, если кто-нибудь состряпает пьесу. «Состряпать» он попросил Грибоедова; тот охотно согласился и взял на себя всю драматическую часть. Но сюжет пьесы, получившей название «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», явно придуман Вяземским, — дело происходит в Польше, на сцене — смотритель польского почтового двора пан Чижевский, его дочери Антося и Лудвися, польские костюмы, польские танцы... Работали соавторы быстро и весело, часто за бутылкой шампанского. Музыку написал 25-летний Александр Верстовский. Водевиль был поставлен 24 января 1824 года в Москве, в доме Пашкова; 1 сентября его увидели петербургские театралы. Ни Вяземский, ни Грибоедов никакого значения своему детищу не придавали — имен авторов на афише не значилось, Вяземский иронично назвал водевиль «калмыцким балетом», а Грибоедов даже не пришел на премьеру. «Кто брат, кто сестра...» выдержал всего семь представлений, четыре в Москве и три в Питере.

В августе 1823-го в Остафьево на два дня приехал погостить Вильгельм Кюхельбекер, поэт и соученик Пушкина по лицею, странный и немного забавный, простодушный и вместе с тем умный и трогательный человек. Он читал Вяземскому свои стихи и трагедию «Аргивяне». «В трагедии, право, много хорошего, — отметил князь. — В хорах, занимающих в ней важное место, встречаются даже и красоты возвышенные... В других мелочах его также много хорошего. Вообще, талант его, кажется, развернулся». Кюхельбекер думал издавать журнал. «Надобно будет помочь ему и, если начнет издавать, то возьмемся поднять его журнал, — писал Вяземский Жуковскому. — План его журнала хорош и европейский, материалов у него довольно, он имеет познания. Кажется, может быть прок в его предприятии». Этот замысел потом претворился в жизнь — в альманах Кюхельбекера и Владимира Одоевского «Мнемозина» Вяземский дал еще доваршавское «Послание к графу Чернышеву в деревню», «Прощание воина», эпиграммы и куплеты из водевиля «Кто брат, кто сестра...».

Кюхельбекер поселился в Москве — приходил к Вяземскому за советом и помощью. Надо было устраивать его на службу. Появилась идея перевести Пушкина из Кишинева в Одессу, под крыло только что назначенного новороссийским генерал-губернатором графа Воронцова; Тургенев взялся хлопотать, и дело устроилось как нельзя лучше,

Сверчок перебрался в Одессу... В августе князь получил от него письмо, где тот просил переиздать «Руслана» и «Кавказского пленника» и «освятить» их прозой, «единственной в нашем прозаическом отечестве». В планах самого Вяземского — серия хрестоматий зарубежной прозы, создание Общества переводчиков (Жуковский — немецкие переводы, Дашков — итальянские, Блудов — английские, Вяземский — французские); князь начал переводить отрывки из Руссо, Дидро, Фенелона, Лагарпа, Массильона... Снова задумался он об издании своих сочинений книгою (ни одной книги у него до сих пор не было). Он перечитывает девятый том «Истории» Карамзина, следит за событиями в Европе (Испания... освободительная война в Греции...). Получает приглашение сотрудничать в парижском журнале «Revue Encyclopédique»* и специально для него переводит на французский 111 строк «Негодования»... Публикует восемь стихотворений в «Новостях литературы» и одиннадцать — в «Дамском журнале» князя Шаликова. Наконец-то вышел из печати том стихов Дмитриева с многострадальным предисловием Вяземского... Снова театр, очень много театра («обыкновенно из ложи переходим в ложе»). Лето — осень 1823 года выдались для него горячими. От сумрачного уединения двухлетней давности не осталось и следа. К счастью, и нервические расстройства, бессонница и «меланхолия», атаковавшие его летом 1821-го и 1822-го, больше не объявлялись. Пока.

Напомнил о себе из Петербурга Рылеев — он собирал вторую книжку «Полярной звезды». И тут Вяземского будто кто под руку толкнул — он решил опубликовать в альманахе «Петербург» и «Негодование»... Для «Полярной звезды» он подготовил специальную редакцию «Петербурга», добавив несколько десятков строк. Хлопотать взялся неизменный Александр Тургенев, который одному ему известными способами припугнул цензора Бирукова. Тот согласился пропустить две трети «Петербурга», но финал — где «мысль смелая, богов неугасимый дар» и «свободный гражданин свободныя земли» — решительно вымарал. Пропали и многие вставки, сделанные автором специально для альманаха. «Негодование» не прошло ни в какую: цензоров затрясло уже при одном названии**.

---

* «Энциклопедическое обозрение» (*фр.*).

** Впрочем, Вяземскому все же довелось увидеть фрагмент из «Негодования» опубликованным. В 1829 году в альманахе «Северная звезда» 12 строк «Негодования» были напечатаны под заглавием «Элегия» и за подписью... Пушкина.

Вторая «Полярная звезда» вышла в декабре 1823 года. Оскопленный «Петербург» соседствовал там со стихами Жуковского, Батюшкова, Козлова, Федора Глинки, Дельвига, Кюхельбекера, Алексея Хомякова, В. Л. Пушкина, Плетнева, Рылеева. В обзорной статье Бестужев упомянул статью Вяземского о Дмитриеве в числе главных литературных событий уходящего года.

Публикация изуродованного «Петербурга» привела Вяземского в бешенство. Вообще он терпел от цензуры куда больше других русских писателей. Собственно, и поэтическую книгу свою князь не издавал именно потому, что в нее невозможно было включить лучшие его вещи. А так — что ж выдавать безделки?.. Его вполне устраивала слава *рукописного* и *изустного* поэта. «Нам только и можно лакомиться что рукописным, а печатное так черство, так сухо, что в горло не лезет», — замечал князь. Все, кто считали себя прогрессивными людьми, знали его «Негодование», каждый, кто ценил лихой юмор, переписывал себе его эпиграммы. Дамы восхищались мадригалами и «Унынием». Пушкин знал наизусть немаленький «Первый снег»... Число русских читателей было совсем невелико (средний книжный тираж тех лет — 1200 экземпляров, и этого вполне хватало. Три тысячи карамзинской «Истории» поражали воображение — это был супербестселлер). Так что все, кто хотел читать Вяземского, его читали и без всяких книг... А цензура... С ней воевать бессмысленно. Русские цензоры от века были бедой и посмешищем отечественной литературы. Почти по всем критическим статьям Вяземского прошлись их безжалостные ножницы, а самые острые стихотворения были опубликованы только через много лет после создания: «Негодование» — через сто три года, «Петербург» полностью — через сто семнадцать лет... (Кстати, в советские времена цензура не пропускала уже другие стихотворения Петра Андреевича — его религиозную лирику.) В конце 1822 года Вяземский даже вынашивал идею коллективной жалобы русских писателей на цензуру, «чтобы показать, что ценсура у нас руководствуется нелепыми причудами». Тем острее ирония судьбы: знать бы радетелям просвещения, что в 1856 году Вяземский сам встанет во главе русской цензуры... Он, конечно, рассмеялся бы, если бы кто-нибудь сказал ему об этом в двадцатых. Да и друзья его повеселились бы наверняка немало. Вяземский-цензор (и не просто цензор, а главный цензор)! Да это взаимоисключающие понятия...

...В середине ноября, как раз в разгар работы над водевилем «Кто брат, кто сестра...», Вяземский получил из Одессы

весточку от Пушкина и объемистую рукопись. Это был «Бахчисарайский фонтан». «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма... Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, да сделай милость, не уступай этой суке ценсуре, огрызывайся за каждый стих и загрызи ее, если это возможно... Еще просьба: припиши к «Бахчисараю» предисловие или послесловие...» Пушкин просил друга заняться изданием поэмы, а попутно сочинить предисловие этнографического характера. Вяземский хорошо знал, как нуждается Пушкин в материальной поддержке, и потому без промедления занялся издательскими делами. Но просьбу друга о предисловии истолковал по-своему, сделав свою статью программным документом русского романтизма. Эта статья вызвала первую в истории русской критики большую полемику вокруг теоретической литературной проблемы. Сам того не желая (а желая лишь уязвить побольнее противников да доставить Пушкину денег), он *оживил* журналистику, сделал ее по-настоящему современной и актуальной, как позднее оживил ее вторично — своим «Московским телеграфом»...

Намерение написать такую статью, конечно, возникло у Вяземского задолго до появления «Бахчисарайского фонтана». Он много размышлял над самим понятием романтической поэзии, которое в России многими связывалось прежде всего с «туманной далью», немецкими балладами в переводах Жуковского или в лучшем случае с именем Байрона. «Не знаешь ли ты на немецком языке рассуждений о романтическом роде? — спрашивал князь Жуковского. — Спроси у Блудова, нет ли также на английском? Мне хочется написать об этом... Романтизм как домовой: многие верят ему; убеждение есть, что он существует, но где его приметы, как обозначить его? Как наткнуть на него палец?» Вяземский понимал, конечно, что романтизм — не изобретение последних байронических лет. Он вспоминал слова Дидро: «Умеренные страсти — удел заурядных людей». Вспоминал других энциклопедистов — они умели быть чувствительными и страстными. Откровенный до взбалмошности Руссо... Великолепный Шиллер... А «Адольф» Бенжамена Констана?.. Да это же прямой предок Чайльд Гарольда... Все эти старые, хорошо известные чувства и герои словно заиграли в начале 20-х новыми красками...

«Наткнуть палец» в конце концов Вяземский решил на Пушкина — кто же, как не он, воплощает в себе русский романтизм?.. Еще в апреле 1820-го собирался он «придраться» к Пушкину «и сказать кое-что о поэзии, о нашей словесно-

сти, о писателях, читателях и прочее»... Вот и случай!.. И задеть попутно всех московских воронов, которые держатся за обветшалые классические знамена, как будто в них слава русской поэзии заключена. И с коммерческой колокольни будет не худо — вокруг поэмы поднимется шум, ее раскупят, имя Пушкина будет на слуху, а романтизм — под защитой... Статья сочинилась быстро. Вяземский, впервые почувствовав вдохновение журналиста, посмеивался — вот и предоставилась возможность понаездничать — и снова ощущал себя бесшабашным арзамасцем.

В конце февраля 1824 года в доме в Большом Чернышевом переулке предисловие к «Фонтану» было закончено. Снова компактная, небольшая статья с длинным названием «Вместо предисловия. Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова»... Название это восходит к статье князя Н. А. Цертелева «Новая школа словесности», подписанной «Житель Васильевского острова»; она была напечатана в петербургском «Благонамеренном», и в ней Цертелев лягнул Вяземского за его послание к Дмитриеву... «Какой-то шут Цертелев... лается на меня в Благонамеренном», — писал об этом Вяземский Тургеневу. Поэтому свое предисловие он выстроил в форме диалога между Издателем и педантичным, мелочным противником романтизма Классиком.

Просьба Пушкина об этнографическом предисловии аукнулась в статье крошечным кусочком в середине — Издатель, который вообще ведет себя довольно пренебрежительно с оппонентом, на его просьбу познакомить с содержанием «Фонтана» сухо сообщает, что «предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме... Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в *Путешествии* своем по *Тавриде*, недавно изданном, восстает, и, кажется, довольно основательно против вероятия сего рассказа. Как бы то ни было — сие предание есть достояние поэзии». Все остальное время собеседники ломают копья вокруг сущности романтизма и классицизма. Классик, как ему и положено, слегка тугодум и придира, а Издатель — вылитый Вяземский: язвительный, то и дело перебивающий собеседника шуточками и ироническими выпадами.

«Классик. Что такое народность в словесности? (Слово *народность*, придуманное им в 1819 году, Вяземский употребляет с явным удовольствием! — *В. Б.*) Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Горация.

Издатель. Нет ее у Горация в пиитике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток

народности, местности — вот что составляет, может быть, главное существеннейшее достоинство древних и утверждает их право на внимание потомства...

Классик. Уж вы, кажется, хотите в свою вольницу романтиков завербовать и древних классиков. Того смотри, что и Гомер и Вергилий были романтики.

Издатель. Назовите их, как хотите; но нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо больше сродства и соотношений с главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом. Неужели Гомер сотворил «Илиаду», предугадывая Аристотеля и Лонгина и в угождение какой-то *классической совести*, еще тогда не вымышленной?..»

И так далее, и так далее... В сущности, все это было не совсем ново. О том, что древние греки и римляне стали бы непременно романтиками, писали итальянский поэт Джованни Берше и Стендаль. О «романтизме» Тассо, Камоэнса, Шекспира и Мильтона — обожаемая Вяземским мадам де Сталь. Но на момент написания предисловия ни с одной из этих работ Вяземский знаком не был, так что рассуждения Издателя идут в ногу со взглядами самых передовых европейских критиков... И снова Вяземского кидает в длинный монолог, бесконечно далекий от Пушкина и его «Фонтана»... Он говорит о том, что многие писатели верят в классицизм по привычке, потому что он уже устоялся и обрел теоретиков. А романтизм только появился на свет... Классик, кажется, больше интересуется Пушкиным, чем сам Издатель, и задает вопрос, так сказать, по существу поэмы. Опомнившись и извинившись (довольно ядовито) за «отступления романтические», Издатель скороговоркой отделывается от содержания «Фонтана» и тут же снова ныряет в любезные ему глубины теоретического монолога, выныривая лишь для того, чтобы повторить о Пушкине какие-то общие фразы из своей же статьи «О Кавказском пленнике»: «Цвет местности сохранен в повествовании со всею возможною свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге... Поэт явил в новом произведении признак дарования, зреющего более и более... Рассказ у Пушкина жив и занимателен». Сейчас читать такое про Пушкина довольно странно — неужели нельзя было подобрать более выразительные эпитеты? — но не забудем, что в 1824-м любая похвала молодому поэту мерилась на других весах. Кроме того, достаточно сравнить статью Вяземского с другими публикациями (Федорова, Олина,

Корниолин-Пинского), чтобы убедиться в том, что работа князя Петра Андреевича на несколько порядков выше.

Собственно, на этом (на ядовитой фразе «Оставим прозу для прозы! и так довольно ее в житейском быту и в стихотворениях, печатаемых в “Вестнике Европы”») собеседники и расставались, вернее, Классик куда-то исчез «с торопливостию и гневом». Сказать, что спор закончился победой Издателя, нельзя, потому что спора никакого не было. Был именно *разговор*, где собеседники друг друга не слышали, не слушали и не заботились (поскольку спора нет) ни о каких аргументах. Вряд ли получилось и *предисловие* к поэме «Бахчисарайский фонтан». Вяземскому следовало бы выпустить свой «Разговор» отдельной брошюрой или напечатать его в журнале. Но он хорошо помнил о том, к чьей поэме он пишет вступление. И умно воспользовался предоставленным шансом — новое творение Пушкина раскупали, естественно, все, и все читали предисловие к ней Вяземского. Так что получились две сенсации под одной обложкой. Гремело имя чудотворца Пушкина, но гремело и имя смелого «наездника» Вяземского.

Через цензуру «Фонтан» и предисловие, как ни странно, прошли почти без потерь. Кстати, ирония судьбы: цензором поэмы был Алексей Федорович Мерзляков, тот самый, на которого Вяземский написал когда-то первую эпиграмму... Мерзляков внес в рукопись семь мелких поправок, из которых четыре Вяземский принял. Поэма печаталась в типографии Августа Семена, вышла обычным тиражом 1200 экземпляров и была продана Вяземским книготорговцам Ширяеву и Смирдину за три тысячи рублей. Это была исключительно удачная сделка и чуть ли не первый в русской литературе случай такого высокого гонорара — пять с лишним рублей за строку (за «Руслана и Людмилу», например, Пушкин получил всего 500 рублей). Вяземский очень гордился этой своей удачей в делах финансовых и даже написал специальную заметку о коммерческой стороне проекта. Интересно, что в хлопотах о своей собственной несостоявшейся книге он вовсе не проявлял такой заинтересованности и деловой сметки. «Ты продал все издание за 3000 р., а сколько ж стоило тебе его напечатать? — упрекал друга Пушкин. — Ты все-таки даришь меня, бессовестный! Ради Христа, вычти из остальных денег, что тебе следует, да пришли их сюда».

Книга вышла из печати 10 марта 1824 года, а к Пушкину попала лишь через месяц. «Сейчас возвратился я из Кишинева и нахожу письма, посылки и Бахчисарай, — писал он Вяземскому. — Не знаю, как тебя благодарить: «Разговор»

прелесть, как мысли, так и блистательный образ их выражения. Суждения неоспоримы. Слог твой чудесно шагнул вперед. Недавно прочел я и «Жизнь Дмитриева»; все, что в ней рассуждение — прекрасно». И дальше: «Знаешь ли что? твой «Разговор» более писан для Европы, чем для Руси... Мнения «Вестника Европы» не можно почитать за мнения, на «Благонамеренного» сердиться невозможно. Где же враги романтической поэзии? где столпы классической? Обо всем этом поговорим на досуге». Никто еще, кажется, не оценил степень такта и дипломатичности Пушкина в этом письме. Ведь на самом деле Пушкин вовсе не просил Вяземского подкладывать в «Фонтан» «бомбу». Ему нужно было мирное этнографическое предисловие, а вместо него он получил крайне субъективную, задиристую и, что самое главное, *необязательную* статью, которая могла заочно рассорить Пушкина с очень многими его потенциальными союзниками. Поскрипев на Вяземского зубами (подозреваем, что скрип был довольно сильный), Пушкин был вынужден специально оговорить свою позицию уже публично, в «Сыне Отечества»: «Разговор... писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения». И опять бездна такта! Ведь Пушкин ни словом не намекнул Вяземскому о том, что тот, в сущности, *проявил своеволие и сделал то, о чем его никто не просил*... Отношения друзей после этого не ухудшились — но все же Пушкин никогда больше не попросит Вяземского стать его издателем. В 1825 году он напишет эпиграмму «О чем, прозаик, ты хлопочешь?..», сдержанную, дружескую и тактичную, но все же эпиграмму, и Вяземский только в глубокой старости догадается о том, что именно он послужил ее героем... Впрочем, догадка будет верна лишь наполовину — в представлении Вяземского эпиграмма связана с его рецензией на пушкинскую поэму «Цыганы», а не с «фонтанной» полемикой.

Но так или иначе, в случае с «Фонтаном» оба добились задуманного — поэма хорошо раскупалась (хотя еще в январе в Петербурге ходили «пиратские» рукописные копии), Пушкин получил долгожданные деньги, а Вяземский оказался в центре внимания — то есть под шквальным огнем критики. За него всерьез принялась московская словесная молодежь, которая давно недолюбливала князя за *все*: за успехи в свете, за то, что вошел в поэзию легко и надолго, за то, что дружит с Карамзиным, Жуковским и Пушкиным... Первым рискнул напасть на Вяземского (на страницах «Ве-

стника Европы» Каченовского) Михаил Дмитриев. Этот юноша был племянником кумира Вяземского, почтенного Ивана Ивановича Дмитриева, но от дяди своего не перенял ни ума, ни таланта, ни такта. Он писал стишки, служил, с упоением думая о будущих орденах, гордился высшим образованием и тщетно изживал комплекс провинциала... Вот этот-то лже-Дмитриев (как его тут же окрестил Вяземский) и напечатал в «Вестнике», причем под псевдонимом N, «Второй разговор между Классиком и Издателем Бахчисарайского Фонтана», где обвинял Вяземского в элементарной необразованности: Карамзин, дескать, преобразовывая русскую прозу, ориентировался не на германскую, а на французскую словесность... И еще какие-то мелочи. Словом, с самого начала становилось ясно, что полемика будет не по существу вопроса. Но в этом и состоит смысл любой журнальной *драки*: был бы повод, а уж затем схватка будет развиваться по своей собственной логике... Дмитриеву начал подпевать его приятель, водевилист Александр Писарев. Вяземский, думая, что под буквой N скрывается сам Каченовский, ответил двумя публикациями в «Дамском журнале» князя Шаликова (хотел отдать статьи в петербургский «Сын Отечества», но, на беду, как раз был отставлен министр просвещения князь Голицын, его сменил приснопамятный адмирал Шишков, столичных цензоров лихорадило и с ними было лучше не связываться)... На стороне Дмитриева и Писарева ввязался в дело петербуржец Фаддей Булгарин. Коалиция попробовала привлечь и Пушкина, на что тот отреагировал письмом в «Сын Отечества»... Иван Иванович Дмитриев демонстративно перестал принимать у себя племянника, так как был на стороне Вяземского («Нехорошо и несправедливо это было со стороны дяди», — через сорок лет обидчиво вспоминал лже-Дмитриев). Князя начал поддерживать и Грибоедов... Москва, и не только литературная, полнилась слухами и смешками. В театре завсегдатаи лож следили за тем, как между креслами Дмитриева и Писарева и креслами Вяземского и Грибоедова курсирует грибоедовский приятель Николай Шатилов с записочками — противники обменивались эпиграммами (Вяземского в них называли «Мишурским», а Грибоедова «Грибусом»). Дошло до того, что драматург Василий Головин сочинил водевиль «Писатели между собой», в котором Вяземский был выведен под фамилией Лезвинского. Потом появились водевили «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье», «Хлопотун, или Дело мастера боится», анонимная сатира «Певец на биваках у подошвы Парнаса»...

Ни один друг Вяземского не одобрил его поведения и самой полемики в целом. Это была уже не литература, а то, что принято называть окололитературными дрязгами. И вряд ли уже кто-нибудь из оппонентов вспоминал, с чего все началось — с романтизма, классицизма или предисловия Вяземского... Карамзин, Жуковский и Тургенев открыто считали, что и сама полемика, и ее предмет (что выше — классицизм или романтизм?) — пусты и надуманны. Не должен писатель с дарованием размениваться на такие пустяки. Да еще и Вяземский, хоть и укрепил и без того широкую известность, показал себя откровенно неважным спорщиком. Журнальная полемика — сложный жанр (именно жанр!), бойцам нужно обладать настойчивостью, неутомимостью, использовать малейший промах соперника и раздувать его до размеров проблемы... А Вяземскому искать блох в текстах Дмитриева и Писарева вовсе не хотелось — потому что блохи там были на каждом шагу. Да и что это за противники? Просто чванливые мальчишки. Спорить с ними было неувлекательно и скучно, а этого полемика не прощает... Так что он забавлялся тем, что вот — все закрутилось благодаря ему, и как теперь повернется — кто знает... Ему нравилось черкать эпиграммы в театральных креслах и, насмешливо морща губы, чувствуя рядом улыбку Грибоедова, наблюдать, как начинают ерзать на своих местах Дмитриев и Писарев... как они спешно изобретают рифмы для ответа... В этом было что-то от светской игры. «Воля твоя, ты слишком строго засудил мою полемику, — писал он Тургеневу. — Разумеется, глупо было втянуться в эту глупость, но глупость была ведена довольно умно... Вступление совсем неглупо; впоследствии некоторые удары нанесены удачно. Вся Москва исполнена нашей брани. Весь Английский клуб научили читать по нашей милости. Есть здесь один князь Гундоров, охотник до лошадей и сам мерин преисправный, к тому же какой-то поклонник Каченовского. Читая в газетной мою первую статью, останавливается он на выражении *бедные читатели* и... спрашивает, обращаясь к присутствующим: «Это что значит? Почему же князь Вяземский почитает нас всех бедными: может быть, в числе читателей его найдутся и богатые. Что за дерзость!»... Одна вышла польза из нашей перебранки: у бедного Шаликова прибыло с того времени 15 подписчиков».

...С февраля по август 1824 года князь Петр Андреевич, помимо журнальных драк, занимался оформлением продажи самого крупного своего поместья, тверского села Спасского. С высочайшего разрешения его покупала комиссия по по-

стройке в Москве храма Христа Спасителя. Кое-как начал расплачиваться с долгами. В марте удачно провел кампанию по выкупу из крепостной зависимости скрипача Семенова — собрал по подписке деньги и организовал концерт, где Семенов выступил... В мае отправил на морские купанья в Одессу расхворавшихся Надю и Николеньку. С ними ехала Вера Федоровна. Вяземский провожал их верхом. Все было вроде бы хорошо, и вдруг он почувствовал приступ такой дикой тоски, что сам испугался. С чем это связано, он не знал. Это-то и было страшнее всего — что тоска возникла на пустом месте. Словно предчувствие чего-то ужасного... «Я опять байронствую», — сказал он себе, пытаясь успокоиться... Он поцеловал жену и детей, бешено рванул поводья и поднял коня в галоп... «Поторопился я ускакать в город от нервической и сердечной тоски, которая меня давила», — написал он Тургеневу. 7 июня княгиня с детьми благополучно достигла Одессы.

«Жена твоя приехала сегодня, — сообщал Вяземскому Пушкин, — привезла мне твои письма и мадригал Василия Львовича, в котором он мне говорит: *ты будешь жить с княгинею прелестной*; не верь ему, душа моя, и не ревнуй». Вера Федоровна долго искала в Одессе пристанища и в конце концов обосновалась «на Houtor'е» недалеко от моря... Вяземский же, как всегда, на лето сдал московский дом под жилье, а сам поселился в Остафьеве. «Погода все скверная; дожди немного унялись, но все воздух холодный и небо пасмурное. Черт бы их побрал! — жаловался он жене 28 мая. — Мне тошно, грустно и скучно. Ты и смерть Бейрона не выходят у меня из головы и из сердца». А тут еще скучнейшие финансовые заботы — поездки в Коммерческий банк, оформление документов на Спасское... 16 июня: «Сегодня начинают писать купчую и, кажется, на неделе все кончится... Страшно и больно подумать, кроме скуки и хлопот считать, пересчитывать, записывать, расписываться! А ты, счастливица, ты купаешься теперь в море, а мы здесь только что мокнем на дожде! Погода все еще не устанавливается: час солнышка в неделю, а там все дождь да дождь!.. Дети здоровы, и все идет порядочно... Как я высек Павлушу на днях голою рукою по голой жопе! так что и рука, и жопа равно разгорелись! Он кусал или исцарапал Машеньку и замахнулся на мамзель Горе, которая брала его за ухо... С нетерпением ожидаю вестей твоих из Одессы, как купаетесь и как дети выносят эти купания. Нежно тебя целую». 10 июля: «Дети здоровы, и все идет порядочно... Ты удивилась бы моему *либерализму* с ними. Даю им есть... всего, чего захотят;

пускаю гулять во всякую погоду, только сносную, — одним словом, тешу во всю мочь!» 31 июля — о делах денежных: «Я приехал в Москву, плачу́ и пла́чу...»

Слушая радостные визги Машеньки и Пашеньки, резвившихся на берегу пруда под присмотром гувернантки Каролины, Петр Андреевич невольно улыбался. На большом письменном столе — хаос разрезанных журнальных книжек и просто книжек, вороха заемных писем и счетов, оплаченных и неоплаченных... Он сдвигал в сторону всю эту груду, брал Байронова «Гяура» во французском переводе. Так и не перевел Жуковский эту поэму. Так и не выучился он, Вяземский, по-английски. А Байрона уже нет... Вяземский узнал о его смерти в Москве, в Английском клубе, из газеты «Conservateur»*. Байрон скончался от лихорадки 19 апреля, в греческом городе Миссолунги. Погиб как герой, не оставив боевой лагерь сражающихся за свободу греков. Гордый человек, изгнание, непонимание на родине, великолепная поэзия... Какая прекрасная гибель, достойная прекраснейшей жизни... А он, Вяземский, в это время отругивался на жалкие лжедмитриевские эпиграммки... «Он предчувствовал, что прах его примет земля, возрождающаяся к свободе, — писал князь Тургеневу. — Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину. Вот случай Жуковскому!» Жуковский стихов на смерть Байрона не написал, но их написали Пушкин, Козлов, Кюхельбекер, Рылеев, Веневитинов... Вяземский тоже чувствовал, что скажет о Байроне свое слово, но слишком свежо было чувство утраты: он только набрасывал в записной книжке строки и тут же вымарывал. Разве что прозою?.. Байрон... свобода... поднимающаяся из рабства Греция... Тема должна была устояться.

Он откладывал перо и перечитывал одесские письма жены. Вера Федоровна загорелась идеей переезда в Одессу и доказывала, что на 30 тысяч в год там можно жить очень даже прилично. Подробно перечисляла все плюсы и минусы Одессы... Эти планы Вяземский обдумывал некоторое время (да так, что растревожил Карамзина: «Одесса не может ли быть второй Варшавой?»). Хорошо сейчас Вере — наверное, любуется южным морем, катается на яхте с графиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, смеется остротам Пушкина... Да и Сверчку наверняка не совсем уж дурно под начальством Воронцова (хотя в письмах князь предупреждал Пушкина, что «в случае какой-нибудь непогоды Воронцов не отстоит тебя и не защитит»)... Вяземский не догадывал-

---

* «Консерватор» (*фр.*).

ся, что Пушкин уже давно в связи с женой своего начальника и пишет на него эпиграммы, что Воронцов все прекрасно понимает и тихо бесится, что Пушкин уже съездил по его милости «на саранчу» и доживает у моря последние деньки... Вера Федоровна всего лишь около месяца наслаждалась обществом Сверчка. До этого они были знакомы только заочно. Пушкин в первый же день распознал в княгине «добрую и милую бабу» (хотя и заметил, что мужу был бы рад больше), а вот Вере Федоровне он поначалу не понравился: в голове беспорядок, страсть к злословию, мизантропия... Но уже через две недели общения княгиня писала мужу: «Он меня часто огорчает, но еще чаще заставляет смеяться»; «Я хотела бы усыновить его, но он непослушен, как паж. Будь он менее некрасив, я назвала бы его Керубино»; «Мы с ним подружились, он очень смешной, я его песочу, как собственного сына».

Вместе с детьми они гуляли по Одессе, Пушкин читал Вере Федоровне отрывки из «Евгения Онегина», а Вяземская давала ему письма мужа, над остротами и сальностями которых Пушкин от души хохотал. Но что-то вдруг промелькивало в нем другое, и омрачалось лицо, и, стоя под дождем на берегу, он неотрывно смотрел на море, трепавшее французский фрегат, покусывал губы... Вера Федоровна взглядывала на него ласково. Как он мучается, бедный, из-за графини... Воронцова Вяземской почему-то сразу не приглянулась, хотя Елизавета Ксаверьевна явно искала дружбы Веры Федоровны и принимала ее очень тепло. «Ну же, Пушкин! Полно грустить...»

1 августа потерявший терпение Воронцов выслал Пушкина из Одессы, точно предписав, через какие именно города ему следует ехать. Крепко расцеловал на прощанье Пушкин успевшего с ним подружиться Николеньку, чмокнул двухлетнюю Наденьку, церемонно приложился к ручке княгини, а она сама, смеясь, поцеловала его в сухую прохладную щеку. Пушкин вспыхнул, улыбнулся, погрозил пальцем: «Княгиня Вертопрахина...» Вяземские махали вслед. Он приподнялся на сиденье и тоже помахал, улыбка сошла; в кармане лежала унизительная подорожная; Одесса, Элиза уходили от него, прямо на глазах становились прошлым...

Впереди было Михайловское.

...На одном из вечеров в октябре к Вяземскому подвели скромного молодого человека в каком-то странном, чересчур долгополом сюртуке, с приятным простоватым лицом и потупленным взглядом. Он назвался Николаем Полевым. Вяземский стал припоминать: Полевой, Полевой... Не тот

ли, из холопов «Вестника Европы»? Кажется, ему даже приписывали ядовитое «Послание к Птелинскому-Ульминскому», которое на самом деле написал Сергей Аксаков... В любом случае это не круг Вяземского. Полевой простодушно подтвердил, что удружал в свое время Каченовскому мелкими рецензиями и разборами, да вот теперь «Вестник» ему надоел, слишком Михайло Трофимович сделался стар и глуп... И к Вяземскому Полевой, оказывается, всегда испытывал уважение и симпатию... Отчего бы не затеять что-нибудь вместе?.. Барыши пополам... Петр Андреевич чуть не расхохотался — давно к нему никто не подходил эдак вот запросто и не предлагал что-нибудь «затеять»... Но Полевой смотрел на него своими васильковыми глазами совершенно серьезно. И Вяземскому понравился этот простоватый журналист, за пять лет в Москве так и не изживший милого провинциализма. У него были купеческая хватка, талант, трудолюбие, упрямство... Полевой много читал, бегло говорил по-французски. По крайней мере, в свете с ним показаться было не стыдно. Разве что сюртук... Но это дело поправимое.

Вяземский пригласил его зайти как-нибудь утром. И вот однажды Полевой явился, когда у князя уже сидел его старинный, еще допожарных времен приятель, граф Михаил Юрьевич Виельгорский. С обычной для него вкрадчивой мягкостью Виельгорский спросил у Полевого, что он теперь, после ухода из «Вестника Европы», поделывает.

— Да покамест ничего, — отвечал Полевой.

— Зачем не приметесь вы издавать журнал?

Полевой взглянул на хозяина дома, покраснел, заерзал и забормотал что-то насчет недостатка средств и подготовительных пособий... Но Виельгорский как будто лично был заинтересован в этом самом журнале — неожиданно пылко начал уверять Полевого в том, что Вяземский с друзьями его обязательно поддержат. «Дело было решено, — писал Петр Андреевич. — Вот так, в кабинете дома моего в Чернышевом переулке, зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете».

Полевой тоже оставил воспоминания о начале сотрудничества с Вяземским. В 1839 году он писал: «Когда начал я издавать журнал — была ли тогда эпоха журналов? Не думаю; в Москве сиротел тогда «Вестник Европы», совершая уже двадцать третий год своего существования; в Петербурге тринадцать лет издавался «Сын Отечества», а за ним шли только в Москве «Дамский журнал», да в Петербурге «Благонамеренный», по своим особенным колеям... (Полевой за-

был еще «Отечественные записки». — *В. Б.*). Мне казалось, что надо было оживить, разогреть журналистику русскую, как лучшее средство расшевелить нашу литературу. Не знаю, успел ли я, но, по крайней мере, толпой явились после того Атенеи, Московские Вестники, Галатеи, Московские Наблюдатели, С.-Петербургские Обозрения, Северные Минервы, и почти все брали форму и манер с моего журнала... Важнейшие вопросы современные были преданы критики, объем журналистики раздвинулся, самая полемика острила, горячила умы, и, по крайней мере, в истории русских журналов я не шел за другими».

«Начал *я* издавать журнал... *Мне* казалось... Успел ли *я*...» И ни разу — *мы*. Полевой пишет, что «не шел за другими», но в начале деятельности нового журнала он именно что послушно шел за опытным Вяземским, присматривался к нему и ловил на лету его идеи. Младший брат Полевого Ксенофонт вспоминал, что Николай приносил Вяземскому все свои ранние статьи: «Некоторые с начала до конца были написаны князем, некоторые он переделывал почти совершенно». Более того, именно Вяземский дал журналу название «Московский телеграф», он добивался разрешения на выход очередной книжки в цензуре, он обеспечил журналу в полном смысле слова элитный набор сотрудников. Иной номер наполовину был заполнен самим Вяземским или материалами, которые он раздобыл. И благодаря Петру Андреевичу, его умелой руке «Телеграф» быстро пошел в гору, стал самым читаемым в России журналом... Обо всем этом Полевой в 1839 году не упоминает — бывшие союзники к тому времени давно уже враждовали. Коалиция Вяземского с Полевым оказалась непрочной и неглубокой... Сам князь Петр Андреевич вспоминал о нем так: «Полевой был просто смышленый русский человек. Он завел литературную фабрику на авось, как завел бы ситцевую и всякую другую мастерскую. Не очень искусный и совестливый в работе своей, он выказывал товар лицом людям, не имеющим никакого понятия о достоинстве товара. Опять как русский человек, надувал он их немножко, как следует надувать русских потребителей».

Но в 1824 году все друзья-литераторы приветствовали начинание Вяземского. Совсем немногие решались тогда браться за такое нешуточное дело, как журнал, и мало у кого оно хорошо получалось. Давно отошли от журналистики Карамзин и Жуковский. Арзамасский журнал, о котором столько шуму было в 1817 году, не сложился. А издатели 20-х (не все, конечно) уже меньше думали о пользе и про-

свещении читателей и все больше заботились о том, как бы положить себе в карман барыш... И к тому же — журнал, а не альманах... Вот это действительно ново: журналов было мало, все старые, и к ним давно уже привыкли. Литературу захлестнула мода на альманахи — «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева, «Мнемозина» Кюхельбекера и Одоевского, «Северные цветы» Дельвига, «Русская Талия» Булгарина, «Новые Аониды» Раича... «Альманашникам» было легче: собрал материалов на книжку — и тиснул, не заботясь о периодичности... На альманахи не объявлялась подписка... Журнал же нужно ставить на серьезные коммерческие рельсы. Разрешение на издание Полевому дали быстро: министр просвещения Шишков захотел поощрить «истинно русское» дарование из народа. Вяземский, сам себе удивляясь (откуда брались энергия и силы?), *закрутился*: быстро залучил в новорожденный «Телеграф» Жуковского, Козлова, Владимира Одоевского... Огромную помощь оказал ему Александр Тургенев — много лет спустя, в 1840-м, Вяземский даже заметил, что «его (Полевого. — *В. Б.*) журнал держался мной, письмами и книгами Тургенева, мне сообщаемыми»... Потом добавились Николай Языков, Иван Киреевский, Евгений Баратынский. Разве что Пушкин сразу отнесся к «Телеграфу» скептически, даже назвал его «вралем и невеждой», но тем не менее напечатал в журнале десять произведений, и все впервые... «Телеграф» стал к тому же первым русским журналом, помещавшим новости из Европы и обзоры литературных процессов в разных странах, включая такие экзотические, как Северо-Американские Соединенные Штаты, Персия и Китай... Рубрики журнала назывались «Изящная словесность», «Наука и искусство», «Критика и библиография», «Известия» и «Смесь», печатались также картинки парижских мод. Выходил «Телеграф» два раза в месяц и приносил Вяземскому 10 тысяч рублей ежегодно.

Успех к журналу пришел сразу, и успех большой, не сиюминутный. Успех — конечно, в журналистском смысле слова: «Телеграф» не только хвалили, но и ругали почем зря, и сдержанно поругивали, и выжидательно на него смотрели. Например, Александр Бестужев в «Полярной звезде» отозвался так: «В Москве явился двухнедельный журнал Телеграф, издаваемый г. Полевым. Он заключает в себе все; извещает и судит обо всем... Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частное пристрастие — вот знаки сего телеграфа; а *смелым владеет Бог* — его девиз». Не было недостатка в досаде, за-

висти и брани... Словом, вокруг журнала был *шум*. Что для успеха и требуется.

...Первый номер «Телеграфа» появился в продаже 8 января 1825 года. На другой день, 9 января, Николеньке Вяземскому, который вроде бы пошел после южных купаний на поправку, вдруг стало худо. Он умер на руках матери, несмотря на все усилия лучших одесских врачей.

«Вяземский был очень болен, — писал Пушкину его лицейский друг Иван Пущин. — Теперь, однако, вышел из опасности». Тяжелейшая нервическая горячка, которая заставила опасаться за его жизнь, продолжалась до конца марта. Вся Москва следила за самочувствием Петра Андреевича, словно только сейчас все осознали, что могут лишиться одного из *символов* Первопрестольной («Что такое Москва без Кремля? Что такое Москва без Вяземского?» — риторически спрашивал Денис Давыдов...). Вяземский бредил, метался в жару и звал Николеньку. Вера Федоровна вытирала смоченными в ароматическом спирту салфетками пот с его лба... Приезжали медицинские профессора из университета. Александр Булгаков, появляясь в Английском клубе, с порога произносил: «Лучше» или «Хуже». Наконец «лучше» стало повторяться каждый день, и все вздохнули с облегчением. Москва не отпустила князя от себя... 2 апреля Пущин сообщил Пушкину: «Вяземский совсем поправился, начал выезжать».

Из Петербурга написал Рылеев: «Чувствую вполне и по опыту, как велика должна быть горесть ваша, но делать нечего... Твердость — обязанность каждого, и вы... как просвещенный гражданин и писатель, обязаны, призвав ее в помощь, посвятить себя снова на пользу общую, должны снова разить порок и обличать невежество своими ювеналовскими сатирами к удовольствию публики и к радости друзей и почитателей ваших... Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что, однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно: давайте нам сатиры, сатиры и сатиры... С сердечной преданностию ваш Кондратий Рылеев». Вяземский, прочитав письмо, закрыл глаза на минуту. Вот она, *жизнь*. Ты похоронил Николеньку, а тебя в утешение хлопают по плечу — ну, ничего, ничего, бывает — и требуют сатиры. У Рылеева тоже умер недавно сын (недаром он пишет, что знает о горести по собственному опыту), вот пускай он, Ры-

леев, и преодолевает свою горесть с помощью сатиры — на радость своим почитателям... Вяземский вдруг подумал, что Рылеев в этом письме обращался к нему, как офицер к раненому солдату: тяжела рана? ну что ж, на то и война, вставай и иди снова в атаку... Как будто Рылеев уже обладает над ним какими-то правами... Очно они познакомились совсем недавно, в декабре 1824 года, когда Рылеев приезжал в Москву. Тогда князя позабавила его манера вставлять в каждую фразу присловье: «Voila la chose!*» Но говорили они как единомышленники, и Вяземский даже взялся помочь Рылееву издать в Москве «Войнаровского» и «Думы»; эти книги увидели свет в марте 1825-го.

Мало-помалу князь все же снова выбирается за письменный стол. «Московский телеграф» спасает его, вытаскивает из отчаяния и тоски... На столе груды корректур, неразрезанные еще свежие книжки, забытый стакан крепкого чая. Недосуг даже дочитать переписанную Пушкиным вторую главу «Онегина». Жизнь настоящего журналиста... Вяземский много курит. Обшлага домашнего халата испачканы чернилами. Вечерами Вера Федоровна забирает груду черновиков для перебелки...

В апреле — мае «Телеграф» поместил совместную статью Вяземского и Полевого «О Русской Талии», статьи Вяземского «Жуковский. — Пушкин. — О новой пиитике басен», «Чернец, Киевская повесть» (о новой поэме Ивана Козлова), рецензию на разбор записок Наполеона, сделанный Денисом Давыдовым (Пушкин: «Чудо-хорошо! твой слог, живой и оригинальный, тут еще живее и оригинальнее»). Все статьи были подписаны псевдонимами (особенно часто встречался *Журнальный Сыщик*). Но читатели легко узнавали тигра по когтю — жалящий юмор и задорный боевой тон были визитками князя. Трудно поверить, что эти статьи писал человек, недавно в буквальном смысле слова умиравший от горя.

Статья «Жуковский. — Пушкин. — О новой пиитике басен» появилась после прочтения Вяземским статьи Фаддея Булгарина «Письмо на Кавказ», опубликованной в «Сыне Отечества». Автор этой статьи пытался противопоставить Пушкина Жуковскому. «Что за принужденная и наобум сделанная оценка! — возмущается Вяземский. — В Пушкине нет ничего Жуковского, но между тем Пушкин есть следствие Жуковского. Поэзия первого не дочь, а наследница поэзии последнего, и по счастию обе живы и живут в ладу».

* Вот так штука! (*фр.*).

Элегии Пушкина Булгарин *похвалил*, назвав *прелестными игрушками*. «Новое противоречие, новый non-sens!..* — мгновенно реагирует Вяземский. — Элегии Пушкина не *прелестные игрушки*, но горячий *выпечаток* минутного ощущения души, минутного вдохновения уныния — и вот чем они прелестны!» Пушкин отозвался на эту публикацию: «Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что сказал ты обо мне в «Телеграфе». Что за вопрос? Европейские статьи так редки в наших журналах! а твоим пером водят и вкус и пристрастие дружбы. Но ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его... Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его... К тому же смешно говорить об нем, как об отцветшем, тогда как слог его еще мужает». (Впрочем, это — Вяземскому, представителю «старой школы», для которой Жуковский свят. Рылееву, молодому и незашоренному, можно и по-другому: «Не со всем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском... Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводной слог его останется всегда образцовым». Вот тут Пушкин вполне откровенен. Жуковский для него уже устарел, и, самое главное, он воспринимает его как образцового *переводчика*, а не как оригинального поэта.)

Итак, «Жуковский. — Пушкин. — О новой пиитике басен» бьет по Булгарину. Но этой отповеди мало, и Вяземский пишет на него злую эпиграмму. На критику Булгариным статьи Вяземского о Дмитриеве отвечает статьей «Несколько вынужденных слов»; Булгарин в свою очередь печатает «Маленький разговор о новостях литературы»... В полную силу новая полемика не развернулась, но Булгарин сделался завзятым врагом Вяземского. Князь мимоходом назвал его «зайцем, бегущим между двух неприятельских станов», Фигляриным и Флюгариным — эти прозвища, конечно, до Булгарина дошли...

...12 июня 1825 года, оставив журнальные хлопоты Полевому, Вяземский отправился на морские купанья в Ревель, в Эстляндию (хочу, писал он Тургеневу, «посолить впрок свои нервы: дураки на них имеют бедственное влияние»). 21 июня приехал в Петербург, где задержался на две недели. Вместе с отцом ехал и пятилетний Павлуша, которому предстояло провести лето у Карамзиных в Царском.

Друзья очень князю обрадовались, и все эти две недели он, по существу, пробегал по гостям. Был у Рылеева, Бесту-

---

* Нонсенс (*англ.*).

жева, Муравьевых, Тургеневых, Карамзиных, Жуковского, Козлова. С Карамзиным Вяземский откровенно поговорил о том, что мысли о службе посещают его чаще и чаще. Семью нужно содержать, нужны деньги... Устроиться в Министерство юстиции? или в посольство куда-нибудь?.. Карамзин сказал, что посоветуется с Дмитриевым, и окончательное решение отложили пока на осень. Николай Михайлович нашел в воспитаннике своем «новую любезность и старую нерешительность»: «Он умен, любезен, но не знает, что делать в свете и скучает; горд и нерешителен»... Князь поделился с Карамзиным свежей литературной новостью — Пушкин у себя в деревне принялся за «романтическую трагедию» и просил доставить ему сведений о юродивых времен Ивана Грозного... Карамзин похвалил Пушкина за удачный замысел и обещал помочь материалами.

Побывал Вяземский и у полного, медлительного барона Антона Дельвига, недавно выпустившего первую книжку альманаха «Северные цветы» (в ней шесть стихотворений Вяземского). Дельвиг, соученик Пушкина по лицею, держался немного особняком, к веселым компаниям не присоединялся, шампанское ему язык не развязывало, почему он и казался Вяземскому важным гекзаметром среди веселых четырехстопных ямбов... Но стихи Дельвига он ценил высоко: «Первобытная простота, запах древности, что-то чистое, независимое, целое в соображениях и в исполнении...» В день приезда, 21 июня, у Ивана Козлова слушал новую поэму Пушкина «Цыганы» — ее читал вслух младший брат поэта Лев, такой же курчавый, быстроглазый и остроумный. Лев, или, как его все называли, Лёвушка, знал наизусть все стихи брата, в том числе и ни разу не публиковавшиеся. «Цыганами» Пушкин давно дразнил Вяземского — слухи об этой поэме ходили еще с прошлого лета, а князь услышал ее чуть ли не последним из русских поэтов. Многочисленные просьбы друга доверить ему издание «Цыган» Пушкин пропустил мимо ушей — после истории с «Бахчисарайским фонтаном» он твердо решил не связываться больше с Вяземским-издателем... После первого чтения поэма показалась Вяземскому лучшим произведением друга, но потом он изменил свое мнение — щедро исписал замечаниями поля своего экземпляра поэмы и попенял Пушкину насчет некоторых неудачных строк. В мае 1827 года, вскоре после публикации «Цыган», Вяземский напечатал в «Московском телеграфе» рецензию на поэму, которой Пушкин остался недоволен.

Козлов прочел Вяземскому вслух свою недавнюю поэму «Чернец». Петр Андреевич уже не раз читал эту прекрасную

вещь, словно напитанную духом второй части Байронова «Гяура», отозвался на ее выход восторженной рецензией и даже находил в ней «более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина». Теперь он наслаждался исполнением автора. Козлов был хорошо знаком Вяземскому еще по допожарной Москве. Тогда он слыл первым щеголем и танцором Первопрестольной — теперь же стал обездвиженным, паралпчным слепцом... Но удивительной была сила духа этого человека — сидя в инвалидной коляске, Козлов по-прежнему одевался как картинка из модного журнала, захватывающе ярко говорил, наизусть читал всю европейскую поэзию. Мало кто догадывался, что по ночам его терзали жестокие боли... Козлов читал красивым, звучным баритоном, держался очень непринужденно, а Вяземский думал: «Какая душа должна быть у человека, чтобы в неподвижности, в слепоте думать о возвышенном, творить прекрасное...» Козлов был не только тяжело больным слепцом — постоянная нужда терзала его. После выхода в отставку он получал 836 рублей пенсии в год. А Вяземские только на остафьевские спектакли ежегодно тратили две тысячи... Правда, когда Козлов время от времени просил у Вяземского в долг, князь спешил прийти к нему на помощь.

Старые друзья... Простившись с Карамзиным, Вяземский и Жуковский вместе шли по мокрой от дождя Рамповой аллее в Царском Селе. Добрели до кагульского монумента. И оба одновременно вспомнили: «В тени густой угрюмых сосен / Воздвигся памятник простой. / О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен! / И славен родине драгой!..» Вспомнили, как читал Василий Львович стихи своего странного племянника, как трепетали оба, слушая строфы о Бородине, пожаре Москвы... Как знакомились с племянником здесь, в лицее... Десять лет назад. Племянник заперт в Михайловском, дядя, состарившийся и растерявший былую славу, доживает свой век в Москве.

Жуковский в придворном мундире, расшитом золотом. На пальце блестит перстень с вензелем императора, на шейной ленте — новенький крест Святого Владимира III степени. С июля 1824 года Жуковский — наставник семилетнего великого князя Александра Николаевича и весь в педагогических занятиях: как ни зайдешь к нему, составляет планы, чертит с линейкою генеалогические таблицы, перечитывает древнюю историю, географию, даже арифметикой занялся. Сочинил прелестную детскую азбуку, к каждой букве нарисовал картинку. И при этом — никаких стихов. В глазах Жуковского старое, прежнее — мир, доброта, понимание... Не-

много располнел он от сидячей жизни, отяжелел, но Вяземский видел — будут идти годы, Жуковский останется...

Несмотря на разность, на придворное положение Жуковского, на все опасения, которые Вяземский теперь уже в лицо ему высказал, им было вдвоем хорошо; может быть, и вправду Жуковский своим присутствием давал князю понять — не гибнет душа при дворе, можно быть здесь честным человеком, себе не изменять и оставаться поэтом. Ведь занятия с великим князем для Жуковского тоже поэзия... На каком-то вечере Василий Андреевич вдруг тронул Вяземского за рукав: «Подожди здесь» — и скрылся в толпе, а потом появился уже не один, с ним был высокий молодой человек с печальными глазами и суровыми складками у губ.

— Евгений Баратынский...

Изгнанный из Пажеского корпуса, Баратынский служил солдатом в Финляндии и лишь недавно стараниями Жуковского был произведен в прапорщики. Его поэмы «Финляндия», «Пиры» и совсем недавняя «Эда» гремели в петербургских литературных кругах. Вяземский сразу же взял для публикации в «Телеграфе» «Запрос Муханову» и «Веселье и горе» Баратынского. Они заговорили о чем-то, но Баратынский смущался и отвечал невпопад и скупо. Вяземский пригласил его запросто в Москву или Остафьево... Так он обрел одного из лучших своих друзей.

4 июля Вяземский выехал в Ревель. В полутора верстах от Нарвы можно было видеть водопад на реке Нарове, что делит пополам эстонскую Нарву и русский Ивангород. Водопад невелик, но Петра Андреевича зрелище ревущей водной стихии поразило — он долго стоял над обрывом, обдаваемый водяной пылью, оглушенный шумом падающей воды... Не усмирить ничем — напрасно воздвигать плотины на пути водопада... Сам по себе, странно смотрится посреди чинной эстляндской природы, словно бразильский посланник на московском балу... Вот так же любовь возникает — внезапно, тихим ручейком, и вдруг низвергается с ревом, ни увернуться, ни остановить... Терзает душу, где родится, и преображается в самое себя... «Кипучая бездна огня», — сказал Козлов о Байроне. А здесь — кипучая водяная бездна... И еще он, Вяземский, — водопад. Такой же своенравный, неподчиненный никому, грохочет в виду молочно-кисельных струй русской словесности... Как это у Жуковского: «Славянка тихая, сколь ток приятен твой... Ручей, виющийся по светлому песку...» Ну, Жуковскому ручьи ближе...

Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!
Над тишиной окрестной ревом
Господствуй, бурный исполин!

Жемчужною, кипящей лавой,
За валом низвергая вал,
Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!

Дождь брызжет от упорной сшибки
Волны, сразившейся с волной,
И влажный дым, как облак зыбкий,
Вдали их представляет бой.

Все разъяренней, все угрюмей
Летишь, как гений непогод;
Я мыслью погружаюсь в шуме
Междуусобно-бурных вод.
....

Противоречие природы,
Под грозным знаменем тревог,
В залоге вечной непогоды
Ты бытия приял залог,

Ворвавшись в сей предел спокойный,
Один свирепствуешь в глуши,
Как вдоль пустыни вихорь знойный,
Как страсть в святилище души.

Как ты, внезапно разразится,
Как ты, растет она в борьбе,
Терзает лоно, где родится,
И поглощается в себе.

Конечно, он помнил и державинский «Водопад», «где все дышит дикою и ужасною красотою», не мог не помнить... Набрасывая карандашом в тряской карете две первые строфы, радовался — фонтаном, водопадом забили снова стихи!.. Достаточно было сменить обстановку, повидать друзей, в дорогу выбраться... Он решил, что доработает стихотворение уже по приезде.

Поселился князь в Екатеринентале, предместье Ревеля. Это место принадлежало когда-то Петру Великому, который назвал его в честь жены. Здесь были прекрасный парк с фонтанами и скульптурами и небольшой изящный дворец, выстроенный итальянским архитектором Микетти и похожий на петергофские парадизы. Сам Ревель — маленький, как старинная картинка, с черепичными крышами, ратушей и соборами — особенно нравился князю прямой, с уходящим в небо скелетом сгоревшей пять лет назад колокольни храм Святого Николая; там хранилось без погребения на-

бальзамированное тело герцога де Кроа, генерал-фельдмаршала русской службы, взятого шведами в плен лет сто двадцать назад... И море... Не близость моря, как в Петербурге, не Нева с множеством Невок и Пряжек, а именно само море, серое и холодное даже на вид, с крепким ветром, с болтающимися на волне кораблями, жаждой путешествия. Вяземский любил смотреть на море. Первое в его жизни море — именно Балтийское (или, как его называли ревельские немцы, Восточное, Ostsee), потом случалось ему путешествовать по Северному (тогда его называли Немецким), Черному, Мраморному, Средиземному, Эгейскому, пересекать Ла-Манш... И, неожиданно открыв для себя любовь к морю, он в 1825 году начал свой поэтический «морской» дневник. Сначала записал удачное сравнение волн с лебедями: «Как стаи гордых лебедей плывут по зыбкому зерцалу...» Облака — «как дым воздушного сраженья, — на небосклоне рисуются воздушною крепостию, объятою пламенем»... «Корабль — плывущий мир»... Он начал стихи «на ревельский рейд», которые год спустя станут стихотворением «Море». Любовался на море в молодости, будет вслушиваться в его шум и старцем, многое передумавшим и многое потерявшим...

Началось лечение морскими купаньями. «Сам байронствую, сколько могу, — делился Вяземский впечатлениями. — Ныряю и прядаю! Здесь есть природа, а особливо для нас, плоских москвичей». Тем летом в Ревеле хватало русских отдыхающих: Багреевы, Шеншины, Обресковы... И вот сюрприз — гостило там в полном составе семейство Сергея Львовича Пушкина, отца поэта. Сам Сергей Львович, вечно чем-то обиженный и недовольный, Вяземского не интересовал. А вот старшая сестра Пушкина Ольга Сергеевна, «премилая девочка», «милое, умное, доброе создание», ему понравилась. Заочно они были уже с полгода знакомы и переписывались. Еще понравилась курортница Дорохова — «белокурая вакханка», «виноград на снегу»... Они заключили тройственный союз, совершенно безгрешный, как уверял Вяземский жену... Во время прогулок по Ревелю и окрестностям князь и Ольга Сергеевна, конечно, обсуждали положение, сложившееся в семье Пушкиных; это имело значение не столько семейное, сколько литературное и общественное, и Вяземский был введен в круг забот как равный. А дело заключалось в том, что внезапный приезд Пушкина в Михайловское в августе 1824 года страшно напугал его отца, который готов был стать соглядатаем — следить за сыном, вскрывать его письма... Произошло объяснение. «Голова моя закипела, — писал Пушкин Жуков-

скому. — Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца... Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить*». Пушкин просит друзей *спасти* его, хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем... Сергей Львович распространял слухи, что Александр плохо влияет на сестру, брата Льва... Ольга Сергеевна, однако, приняла сторону брата и хотела остаться с ним в ссылке; лишь по его просьбе она уехала из Михайловского.

Вяземского эта история взволновала чрезвычайно. Он сразу же начал предпринимать попытки вытащить друга из глуши. «Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жребии несчастного Пушкина, — еще в августе 1824 года писал он Тургеневу. — Он от нее отправился в свою ссылку; она оплакивает его, как брата... Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека? Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными сплетнями... Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью! А тут за необдуманное слово, за необдуманный стих предают человека на жертву... Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревню на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина! В его лета, с его душою, которая также *кипучая бездна огня* (прекрасное выражение Козлова о Бейроне), нельзя надеяться, чтобы одно занятие, одна деятельность мыслей удовольствовали бы его... Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку Пушкина, как на coup de grâce*, что нанесли ему. Не предвижу для него исхода из этой бездны. Неужели не могли вы отвлечь этот удар?»

Нет спору, возмущение Вяземского вполне объяснимо и понятно. Но, как это ни парадоксально, оно *неглубоко*. Видно, что Вяземский не верит в Пушкина, не считает его «богатырем духовным», не понимает, что его ссылка может дать миру новые гениальные творения. Жуковский оказался куда прозорливее: он уговаривал Пушкина не отчаиваться и трудиться...

Это письмо к Тургеневу интересно и мыслями Вяземского по поводу воздействия (точнее, невоздействия) пушкин-

---

* Смертельный удар (*фр.*).

ской поэзии на общественную жизнь России. Доказывая, что ссылка Пушкина бессмысленна и никому не нужна, князь с усталой и едкой разочарованностью пишет: «Скажите, ради Бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, бояться прозы и стишков какого-нибудь молокососа?.. Она, православная матушка наша, зеленеет и *бе-белеет* себе так, что любо! Хоть приди Орфей возмутительных песней, так никто с места не стронется! Как правительству этого не знать? Как ему не чувствовать своей силы? Все поэты, хоть будь они тризевные, надсадят себе горло, а никому на уши ничего не напоют. Мне кажется, власти у нас так же смешно отгрызаться, как нашему брату шавке смешно скалить зубы». Как непохожи эти слова на пламенные варшавские филиппики пятилетней давности!..

Уже 28 августа 1825 года, в Царском Селе, Вяземский написал самому Пушкину огромное письмо, полное нравоучений и правды... но снова правды постороннего человека, глухого к душе друга: «Уж довольно был ты в раздражительности, и довольно искр вспыхнуло от этих электрических потрясений. Отдохни! Попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением... Лучшие люди в России за тебя; многие из них даже деятельны за тебя; имя твое сделалось народною собственностью. Чего тебе не достает? Я знаю чего, но покорись же силе обстоятельств и времени... Если приперло тебя потеснее другого, то вини свой пьедестал, который выше другого. Будем беспристрастны: не сам ли ты частью виноват в своем положении? Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и все! Я не говорю, что тебе хорошо, но говорю, что могло бы быть хуже... Ты любуешься в гонении: у нас оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание... Оно — звание только для немногих; для народа оно не существует... Ты можешь быть силен у нас одною своею славою, тем, что тебя читают с удовольствием, с жадностию, но несчастие у нас не имеет силы ни на грош... В библиотеках отведена тебе первая полка, но мы еще не дожили до поры *личного уважения*... Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием для себя... Она не в цене у народа... Нет сомнения que la disgrâce ne donne pas chez nous de popularité, elle n'est que le prix des succès*».

Это объемистое нравоучение, вероятно, сочинялось Вяземским на глазах у Жуковского; во всяком случае, Жуков-

* Что опала не способствует у нас известности; она является лишь расплатой за успех (*фр.*).

ский его читал, потому что увидел «в письме Вяземского... много разительной правды! Этот Вяземский очень умный человек и часто говорит дело».

Ирония судьбы порой бывает жестока. Спустя три года Вяземский окажется почти в такой же ситуации, что и Пушкин. И уже ему придется выслушивать нравоучения друзей...

...В Ревеле Вяземский начал писать стихи. За журнальными и прочими хлопотами поэзия для него в 20-е годы отступила на второй план — «пора стихов» выдавалась в нечастые дни отдыха и душевного спокойствия. Иногда ему казалось, что он разочаровался в стихах навсегда. «Ты меня слишком огорчил — предположением, что твоя поэзия приказала долго жить, — писал князю Пушкин. — Если правда — жила довольно для славы, мало для отчизны. К счастию, не совсем тебе верю, но понимаю тебя. Лета клонят к прозе, и если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию». Еще в 1819 году в послании «К В. А. Жуковскому» Вяземский едва ли не первым из русских поэтов вслух пожаловался на бедность отечественных рифм. «Стихи мне почти надоели; черт ли в охоте говорить всегда около того, что мыслишь и чувствуешь... Слово много высказывает, но не все, и потому всегда наткнешься на *нельзя*... Да что же делать с нашим языком, может быть, поэтическим, но вовсе не стихотворческим? Русскими стихами (то есть с рифмами) не может изъясняться свободно ни ум, ни душа. Вот отчего все поэты наши детски лепетали. Озабоченные побеждением трудностей, мы не даем воли ни мыслям, ни чувствам. Связанный богатырь не может действовать мечом. Неужели Дмитриев не во сто раз умнее своих стихов? Пушкин, Жуковский, Батюшков в тайнике души не гораздо сочнее, плодовитее, чем в произрастениях своих?» Убежденность в том, что русский стих в основе своей беден и только связывает поэта, Вяземский пронес через всю свою семидесятилетнюю словесную карьеру; отсюда и многочисленные отступления в его стихах от синтаксических правил, неологизмы... Пуристам-современникам все его новаторства (по нынешним масштабам довольно скромные) казались по меньшей мере странными. Как так: вроде бы Вяземский ратует за карамзинский слог, радуется гладкозвучной музе Жуковского, а сам, случается, пишет почти тарабарщину... Он вполне осознавал это противоречие, но нисколько им не казнил себя. Карамзин, Жуковский, Пушкин — *идеалы*, нужно стремиться к ним, учиться у них... а он, Вяземский — беспечный *неудачник*, и тут уж как пишется, так и пишется. Ну не лежит у него душа к гладкости и опрятности слога, от

такого стиха отдает мертвечиной. Разве Байрон задавался целью писать непременно гладкие стихи?.. Он писал как писал. Вот и теория романтизма в действии.

Потому-то любимым его жанром всегда были письма, потому-то письма Вяземского и сейчас читаются мало сказать с интересом — с редким удовольствием, потому что писаны они *русским человеком*, русским задорным слогом, не подчиненным никаким правилам. Не присутствуют в них ни Карамзин, ни Жуковский, и хорошо. Можно даже сказать, что в первой половине 20-х годов письма Вяземского приняли на себя поэтическую функцию, потому что стихи его, написанные в этом пятилетии, за немногими исключениями, относятся к разряду *безделок*. А в письмах чего только не найдешь! И неожиданные метафоры, и едкие остроты, возникающие нередко вне всякой связи с сюжетом, ради красного словца, и длинные монологи на философские темы — совсем как отступления в его критике, — и красиво поданные светские сплетни, и даже самые обычные домашние дела, связанные с детьми и деньгами... И все на редкость живо — потому что из сердца, из души, и действительно не сковано ни строфикой, ни ритмом, ни рифмами. Среди друзей Петра Андреевича немало было эпистолярных мастеров — Александр Тургенев, например, или Александр Булгаков, но именно в письмах Вяземского во весь дух говорят интеллект, нрав и *русскость* автора. Всю тоску, всю радость, все мысли свои выплескивал он на бумагу, адресуясь друзьям, и не удивительно поэтому, что письма его читались как газета, как бюллетени о нравственном состоянии современной России, потому что чувствовали все — Вяземский не лукавит, не прячется за маску светского льва и известного сочинителя, и потому частные письма Петра Андреевича есть верный термометр, показывающий общественную, литературную, душевную русскую температуру...

Но вот впервые в этом десятилетии вырвался он надолго из дома, и можно даже сказать — уехал за границу, потому что Эстляндия — уже другой мир, строгий, протестантский, кругом благонравные остзейские немцы и русская речь звучит не так уж и часто (русские курортники, естественно, говорят меж собой по-французски...). Здесь спокойно, никто от Вяземского не ждет ни светских острот, ни сатиры, ни журналистской беготни. И в тихой прохладной своей комнатке, где слышен шум моря, он вдруг тянется к рифмам... Снова непослушный и все же самый любимый русский стих скребется пером по бумаге... 3 августа он вчерне закончил «Нарвский водопад», 4-го — «Не для меня дышала утра сла-

дость...», 7-го — «О. С. Пушкиной» (мадригал, но серьезный), 12-го — наконец закончен «Байрон» (впрочем, к этому стихотворению Вяземский будет еще возвращаться не раз), 16-го — «К мнимой щастливице».

Именно это стихотворение вызвало знаменитый отклик Пушкина: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах, извини: Щастливице) слишком умны. — А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Существует немало толкований этой сентенции, многие исследователи склонны видеть в ней едва ли не самый загадочный «завет», данный Пушкиным русской поэзии... Думается все же, что Вяземский мысль друга отлично понял. Сам он не раз признавался, что в стихах своих нередко «умствует и умничает» — и на пользу стихам это идет далеко не всегда. «К мнимой щастливице» как раз образец такой «умничающей» поэзии.

Как-то Пушкин в ответ на вопрос Жуковского, какая цель у его «Цыган», удивленно заметил: «Вот на! цель поэзии — поэзия». В творчестве Вяземского стихов, цель которых — просто поэзия, наберется немного. Как никто другой он умел и любил произносить длинные зарифмованные монологи на разные темы. Читателям такая манера письма чаще всего казалась скучноватой или, как деликатно выразился Пушкин, «слишком умной».

Отсюда и разница в оценках Пушкиным и Вяземским еще одного ревельского стихотворения — «Нарвский водопад». 4 августа, переписав его набело, Вяземский отослал стихи Пушкину с просьбой о критике. Через десять дней Пушкин ответил большим письмом: «Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто ж виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го года на славяно-росском... Благодарю очень за «Водопад». Давай мутить его сейчас же». И Пушкин добросовестно принимается «мутить» стихи друга именно с точки зрения Поэзии. В ответном письме Вяземский упрямо отвергает большинство предложенных другом поправок — для него водопад важен как удачная метафора, как *мысль*, развернутая на все стихотворение, и ради этой мысли он жертвует гармонией и благозвучием... Хотя некоторые строки в окончательном варианте «Водопада» все же пушкинские или почти пушкинские. «О. С. Пушкиной», «Нарвский водопад» и «К мнимой щастливице» появились потом в дельвиговских «Северных цветах на 1826 год».

В 1825-м, но неизвестно точно — когда именно, было написано и одно из лучших стихотворений Вяземского, «Станция». Из текста ясно — писал его князь в дороге, семь с

лишним часов просидев на станции в ожидании лошадей. Невольно потянуло на воспоминания о цивилизованной польской езде, а там и о Польше... Получилась элегантная, свободная и полная юмора зарисовка варшавских времен. Пушкин (помянутый Вяземским в «Станции») отблагодарил друга, вспомнив это стихотворение в примечаниях к седьмой главе «Евгения Онегина» и заимствовав из «Станции» эпиграф к своему «Станционному смотрителю». Кроме того, строки из «Станции», где перечисляются доступные русскому путнику гастрономические изыски, аукнулись в пушкинских «Дорожных жалобах». В 1829-м «Станция» была напечатана в Петербурге отдельной книжечкой.

Эстляндия до того понравилась Вяземскому, что он всерьез начал подумывать о переезде туда. Карамзин попросил у Александра I вице-губернаторское место в Ревеле оставить для князя, и государь милостиво обещал. «На этом месте в два года можно отложить тысяч сорок, и тогда на этих деньгах легче будет отправиться далее, — убеждает он Веру Федоровну. — Ревель всем хорош: уж не совсем Россия; дешевизна, природа, здоровый воздух, рассеяние не круглый год, а два раза в году; много порядочных людей; а если бы далее пожить, то для Павлуши и дерптский университет недалек; близость Петербурга для дел, для Карамзиных; самое вице-губернаторство в тех губерниях не кабачное дело, как у нас, а место чистое. Вот много преимуществ, и все несомнительные!» Но — Homo proponit, Deus desponit... Не получилось с Одессой, не получилось и с Ревелем.

Еще 25 июля светская жизнь Ревеля сильно оживилась. В порт с маневров вернулась Практическая эскадра Балтийского флота под командованием адмирала Кроуна. Встречали моряков с почетом. В Екатеринентале, в особом павильоне, каждый вечер начинались танцы под аккомпанемент рояля и арфы. Вяземский быстро перезнакомился с офицерами флагманского линкора «Сисой Великий» и вскоре сообщал жене, что его «корабль усыновил: старик Кроун полюбил меня». Семидесятилетний адмирал, «храбрый, ласковый, добродушный», в самом деле был прелюбопытной личностью. Шотландец по национальности, подданный Англии, он состоял на русской службе с 1788 года и участвовал во многих морских сражениях. Корабль Кроуна доставил на родину из эмиграции французского короля Людовика XVIII. Словом, ему было о чем рассказать.

В августе эскадра получила приказ идти в Кронштадт на высочайший смотр. Вяземский попросил у Кроуна разрешения вернуться в Петербург на его корабле. Прощальный бал

начался в Екатеринентале и продолжался прямо на палубе «Сисоя Великого». Адмирал лично открыл танцы, выступая в экосезе. Несмотря на лета и заслуги, Кроун был бодр, подвижен, и ему ничего не стоило забраться на мачту, чтобы проверить работу матросов.

Когда линкор вышел в Финский залив, пассажиров — Вяземского, офицеров Пущина и Башуцкого — пригласили к адмиральскому столу. Кроун возгласил тост «Добрый путь!», потом — «За друзей!», потом — «Здоровье глаз, пленивших нас!», потом — «Здоровье того, кто любит кого!». Матросы уносили пустые графины из-под портвейна и приносили новые...

Первый день своего первого плаванья Вяземский с непривычки был «в тоске неодолимой и страшном расстройстве нервов». Эскадра должна была десять дней крейсировать в заливе, но сильный встречный ветер вынудил повернуть к Кронштадту уже на второй день. К этому времени князь вполне освоился на корабле. «Знаменитый поэт был очарователен как собеседник; приятный, остроумный, веселый, он оживлял наши вахты и нашу кают-компанию; говорил нам много своих стихов, среди которых были и очень либеральные», — вспоминал декабрист А. П. Беляев, тогда 22-летний мичман, об этом плавании.

18 августа Вяземский был в Петербурге. Он жил в Царском у Карамзиных, часто видел Жуковского. В Москву уехал 12 сентября.

Снова — Остафьево, Полевой, журнальные хлопоты... И Ревель с его вице-губернаторским обещанным креслом оказался далеко-далеко. 19 октября Вяземский на две недели уехал в костромские поместья. А по возвращении рад был получить от Пушкина известие о завершении «романтической трагедии, в которой первая персона Борис Годунов»... Даст Бог, и выпустят Сверчка из его псковского заточения. И перестанет он скептически крутить носом при имени Полевого. Нужен *журнал*, нужна мощная коалиция авторов-единомышленников, нужно собрать вокруг «Телеграфа» всех литераторов с душою и талантом, сделать из него настоящий укрепленный лагерь вкуса и дарования, к которому не могли бы подступиться Булгарины... Собрать бы всех в Москве... Вот, кажется, Баратынский собирается здесь остаться — и чуть ли не поступить в ту самую Межевую канцелярию, где Вяземский когда-то начинал постигать науку русской службы... В конце года они часто виделись и с каждой неделей общения все больше ценили друг друга. Баратынскому двадцать пять лет, но ум его светел и зрел, суждения — смелы и оригинальны, остроумие — мягкое, но непреклонное.

«Я сердечно полюбил и уважил Баратынского, — признавался князь Пушкину. — Чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет. В нем, кроме дарования, и основа плотная и прекрасная». И Тургеневу: «Чем больше вижусь с Баратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на предмет».

Баратынский вполне отвечал князю взаимностью: «Отсутствие ваше для меня истинная потеря и, проходя мимо вашего дома, жалею, что могу любоваться одною его архитектурою и не могу зайти к милому хозяину», «Вы не можете представить, как Москва для меня без вас опустела».

...30 ноября 1825 года Пушкин писал Александру Бестужеву из Михайловского: «Ты — да, кажется, Вяземский — одни из наших литераторов — учатся; все прочие разучаются. Жаль! высокий пример Карамзина должен был их образумить. Ты едешь в Москву; поговори там с Вяземским об журнале: он сам чувствует в нем необходимость, а дело было бы чудно-хорошо». Бестужев действительно побывал в Москве, и не один, а с Александром Якубовичем. С Вяземским они не только говорили о журнале, но и пригласили его вступить в тайное общество. Якубович, знаменитый бретер, лоб которого украшала черная шелковая повязка (он был ранен в голову), спросил у Вяземского, как он относится к обилию в России немцев, заполонивших собою все министерства, все армейские должности... Князь, ухмыльнувшись, заметил, что Дельвиг и Кюхельбекер, например, тоже немцы — выходит, что и они что-то там «заполонили»?.. «Я не разделяю этих общих мест, которые у нас в ходу», — добавил он. Бестужев и Якубович только молча переглянулись. Они отобедали втроем, и столичные визитеры уехали ни с чем...

...30 ноября 1825 года Вяземский сидел в своем остафьевском кабинете над стихотворением «Байрон», переделывал ревельский текст:

Так, Байрон, так и ты, за грань перескочив
И душу в пламенной стихии закалив,
Забыл и дольний мир, и суд надменной черни;
Стезей высоких благ и благодатных терний
Достиг ты таинства, ты мыслью их проник,
И чудно осветил ты ими свой язык.
Как страшно-сладостно в наречье, сердцу новом,
Нас пробуждаешь ты молниеносным словом
И мыслью, как стрелой Перунного огня,
Вдруг освещаешь ночь души и бытия!
Так вспыхнуть из тебя оно было готово —
На языке земном несбыточное слово...

Не писалось. И он рассеянно грыз перо, глядя в окно на подернутый льдом пруд, когда вошедшая Вера Федоровна тихо произнесла по-русски: «В Таганроге умер государь...»

Свежую новость, конечно, обсуждал тесный кружок, собравшийся в Остафьеве 12 декабря — из Москвы приехали Федор Толстой-Американец, Денис Давыдов, Степан Жихарев... Вспоминали, спорили, строили планы, смеялись и грустили — для всех александровская четверть века была эпохой в жизни, все они, в сущности, выросли при Александре... Вяземский размечтался вслух о Париже... Эту тему он развил на другой день в письме к Тургеневу. «Климат Парижский был бы впору и голове и ногам моим... Мне непременно нужно год побегать, побрыкать, побеситься на вольном воздухе, — писал он. — Чувствую, что кровь моя густеет от застоя». И верил в эту минуту, что обязательно вырвется в наступающем году в Европу. Вот Карамзин собирается в Италию; поехать вместе — ни о чем лучшем и мечтать нельзя!.. Хотя новый император Константин Павлович, как и покойный брат, никаких симпатий к Вяземскому не питает, есть в России магическое слово — *авось*...

Понедельник, 14 декабря, прошел в Остафьеве тихо.

Глава V
ПОЕДИНОК

Правду сказать, ты теперь не баловень судьбы.

Жуковский — Вяземскому, 1826

Как не беситься от мысли, что я игралище какого-нибудь Булгарина оттого, что писал в журналы статьи, которые читались публикой.

Вяземский, 1829

Спокойной смены власти Россия не знала никогда. Как правило, каждый последующий государь считал необходимым если не решительно разделаться с политическим и идейным наследием предыдущего, то, по крайней мере, подчеркнуть, что в его правление жизнь пойдет *по-другому*. Передача власти неизбежно была осложнена какими-либо внешними обстоятельствами — чаще всего враждой придворных партий, доходившей иногда до прямого вооруженного вмешательства гвардии в государственные дела. Петра III, мешавшего венценосной супруге, и сына его Павла I, крепко «прижавшего» привыкшее к екатерининским вольностям высшее дворянство, убили. Александр I поспешил откреститься от отцовской линии, но к середине 20-х годов непоследовательной внешней и внутренней политикой восстановил против себя и правых, и левых. Как и Андрей Иванович Вяземский, он был сыном века Просвещения и искренне хотел «в Пензе сделать Лондон» — в масштабах целой страны... Но сбыться этому не было суждено. Величественные замыслы потерпели крах, и император впал в меланхолию. Ему докладывали, что многие молодые офицеры состоят в тайных антиправительственных обществах — ответом было смиренное: «Не мне их судить». Александр понял, что *подвиг бытия* не удался, и, как и Вяземский, решил ограничить свою судьбу малым кругом добрых дел. Отвернувшись от политики, светской жизни и грандиозных планов, он обратился к воспитанию собственной души — шаг, который большинство его современников-подданных даже не попытались понять, осмеяв императора за «мистицизм»,

«лицемерие», «двоедушие» и прочие грехи. Тем более что от государственной личности ждали вовсе не самокопания, а деятельности. Бодрой, молодой и талантливой эпохе было недосуг смотреть на небо и тем более в глубь себя — она мерила человека дружбой, дарованием и просвещенностью. О душе тогда говорили много и красиво, но часто ли заглядывали в нее?..

Как это ни парадоксально, приблизительно с 1819—1820 годов русское общество ждало некоего антипода Александра I — монарха, который *взялся бы за дело.* На эту цель с равным успехом годились как малообразованный, вспыльчивый, вздорный, но *добрый, простой и отходчивый* Константин, так и суровый, подозрительный, но *прямой, мужественный и деятельный* Николай. И когда коренная смена образа русского царя произошла, в обществе возникла легкая эйфория, которая владела даже очень умными людьми в 1826—1828 годах. Да, декабристы были разгромлены, это был шок, временно оцепенивший страну. Но, *с другой стороны,* это были мятежники, бунтовавшие против законной власти, расправа над ними была, как ни странно, вполне в европейских рамках тех лет, и ведь Николай многим заменил смертную казнь вечной каторгой, а вечную каторгу — 20-летней... Кроме того, вернулся из ссылки Пушкин, в 1828 году был принят новый, весьма прогрессивный цензурный устав, началась война с Турцией, в поддержку свободолюбивых греков... Начались перемены, и это было главное. «В надежде славы и добра / Вперед гляжу я без боязни...» Это — не только субъективное ощущение Пушкина. «Россию вдруг он оживил / Войной, надеждами, трудами... И новый царь, суровый и могучий, / На рубеже Европы бодро стал...» Именно молодого, *бодрого* царя ждала страна, равнодушно отвернувшись от растерянного, издерганного и несчастного Александра...

«Будь на троне человек», — призывал императора в 1801 году Карамзин. Александр внял этим словам, он был не просто человеком на троне, а совсем недурным и весьма незаурядным человеком. Но, похоже, именно этого не простили ему современники. Император оказался слишком сложным для них. Он был «к противочувствиям привычен» — это сочли грехом. Ну что ж, наступала другая эпоха — эпоха бодрого «единочувствия»...

И вот он умер... Умер ли? Официально было заявлено о том, что Александр I скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года. Но много, слишком много таинственных обстоятельств сопровождало эту внезапную смерть. И на редкость устойчи-

вой оказалась легенда о старце Федоре Кузьмиче, который объявился через 11 лет после смерти государя на Урале, вел там праведную жизнь и скончался в 1864 году. Был он очень похож внешне на Александра I и поражал всех знанием дворцовых обычаев. Мощи его остались нетленными. Сейчас он причислен к лику святых, в земле Сибирской воссиявших...

Любит царь детей своих;
Хочет он блаженства их:
Сан и пышность забывает —
Трон, порфиру оставляет. —

Царь, как странник, в путь идет
И обходит целый свет...

В то, что Александр I переменил судьбу, удалившись от мирской жизни под именем Федора Кузьмича, верил Лев Толстой. Верил в это и официальный биограф Романовых Николай Карлович Шильдер. Верил и внучатый племянник Александра I, знаменитый историк великий князь Николай Михайлович. Более того, гробница Александра I в Петропавловском соборе сейчас пуста... Но чье-то *тело* (говорили, что солдата, внешне очень похожего на государя) набальзамировали, одели в генеральский мундир, и под видом покойного императора отправили в последнее, пятинедельное путешествие по стране — из Таганрога в столицу... Так или иначе, Александра I на политической сцене больше не было.

По невеселой российской логике, преемник императора должен был начать царствование с крутых перемен. Но с преемником получалась неловкость. Детей у Александра I не было (две его дочери умерли во младенчестве). Долгое время наследником русского трона был великий князь Константин Павлович, с которым Вяземский не раз пикировался в Варшаве. Константин был сильно ухудшенной копией старшего брата, но мыслил, по крайней мере, довольно трезво — в 1819 году он твердо отказался от прав на престол, полагая себя недостаточно для этого образованным, устроил скандальный бракоразводный процесс с великой княгиней Анной Федоровной и женился на польской графине Грудзинской. После морганатического брака путь к престолу был для него закрыт окончательно. 16 августа 1823 года Александр I издал манифест, извещавший об отречении Константина, и назначил наследником следующего по старшинству брата, Николая Павловича. Копии этого документа были отданы в Государственный совет, Сенат и Синод, знали о нем лишь немногие.

Последствия этого неловкого в своей секретности акта всплыли сразу же после смерти-исчезновения императора. Ничего не подозревавшая страна присягала Константину I. Он, однако, подтвердил свое отречение и в Петербург из Варшавы ехать отказывался. Его вполне удовлетворяла должность командующего польской армией. На престол должен был вступить Николай I.

На 14 декабря в Петербурге была назначена новая присяга...

...Обо всем этом в Москве в ноябре — декабре 1825 года, конечно, не догадывались. Москвичи горевали об Александре Благословенном, вспоминали его пламенную речь в Слободском дворце в двенадцатом году, пышные празднества семилетней давности, самые памятливые рассказывали, какая была радость в Первопрестольной, когда узнали все о воцарении молодого Александра... Плакал, как ребенок, величественный старик Дмитриев, утирал слезы Василий Львович Пушкин... Наполеон, пожар Москвы, падение Парижа — сколько всего ушло с государем! Это ушла *их* эпоха... Были, конечно, и слухи, один страннее другого, и пересказывали их с оглядкой (что государь якобы сел в Таганроге на английский бриг и уплыл ко Гробу Господню замаливать грехи...). А 20 декабря по Москве поползли и другие, куда более страшные разговоры: в Петербурге был *бунт*. И бунт не такой, как в двадцатом году, когда волновался лейб-гвардии Семеновский полк... Мятежники захватили Сенат, ругались на увещевавшего их митрополита, убили графа Милорадовича... Отказались от присяги Николаю Павловичу... выстроились на Сенатской площади и кричали: «Ура, Константин!»... Чернь готова была содействовать, в свиту государя кидали камни... Решила дело картечь. В центре столицы гремели пушки. Лед на Неве был красен от крови. В заговоре — блестящие гвардейские офицеры лучших фамилий...

Таковы были первые, неясные слухи. Но и этого было достаточно, чтобы Москва содрогнулась. Всякое бывало: гвардия врывалась в государевы покои, с громом рушились ослепительные карьеры (Сперанский), в Москве хозяйничал Наполеон, Пугачев кровавил дальние губернии... Но чтобы в центре Петербурга офицеры лучших русских фамилий падали под русской же картечью — такого не было... Приезжие из столицы были в центре внимания. Ждали официальных известий от правительства.

«Северная пчела» от 19 декабря (№ 152) напечатала заметку бойкую, как барабанная дробь, почти ликующую, как будто дело шло о взятии вражеской крепости, и непонят-

ную, как все официальные сообщения. Опасности никакой не было (а как же убитый Милорадович?), бунт учинили две роты лейб-гвардии Московского полка, которыми начальствовали семь-восемь пьяных обер-офицеров (надо полагать, далеко не лучших фамилий?) и несколько человек гнусного вида во фраках (а что за фрачники? и почему все они, как на подбор, гнусного вида?). Государь император (это уже *новый*, Николай I, надо привыкать) вышел из дворца без охраны и был встречен в толпе изъявлениями благоговения и любви (камни, летящие в свиту?). Несколько залпов картечи рассеяли бунтовщиков (зачем же картечь, чтобы рассеять две роты?). На том, собственно, дело и завершилось.

Дальше — больше. 29 декабря «Русский инвалид» напечатал список главных мятежников. Вяземский, когда ему показали измятый газетный лист, схватился за голову... Кондратий Рылеев... Александр Бестужев... Никита Муравьев (арзамасец Адельстан)... Вильгельм Кюхельбекер... Михаил Орлов (арзамасец Рейн)... Николай Тургенев (арзамасец Варвик)... Он невольно поискал глазами свою фамилию. Пушкина. Александра Тургенева. Павла Киселева. Больше никого из знакомых нет. Сразу вспомнил приезд Бестужева в Москву, его предложения... Нет, подпрапорщики не делают революций. Если это даже гвардейские подпрапорщики из лучших фамилий. Несчастные безумцы...

«Сколько мы обрадовались, что бурная туча не коснулась до вас ни краем, ни малейшим движением воздушным. Только ради Бога и дружбы, не вступайтесь в разговорах за несчастных преступников, хотя и не равно виновных, но виновных по всемирному и вечному правосудию, — взывает из Петербурга Карамзин. — Не хочу упоминать о смертоубийцах, грабителях, злодеях гнусных; но и все другие не преступники ли, безумные или безрассудные, как злые дети?.. Еще повторяю от глубины души: не радуйте изветников ни самою безвиннейшею нескромностию! У вас жена и дети, ближние, друзья, ум, талант, состояние, хорошее имя: есть что беречь. Ответа не требую. Уведомьте только о здоровье детей милых и своем». В камине пылает огонь... Бумага быстро темнеет, рдеют края листов, слова, мысли, рифмы становятся пеплом. Вяземский в теплом халате, с дымящейся трубкой, сидит часами в каком-то странном оцепенении. Нет, ему не страшно — он-то ни в чем не замешан. Но 21 декабря арестовали Михаила Орлова (попрощаться не успели)... 30-го — доброго знакомого Вяземского барона Штейнгейля, приехавшего из Петербурга после восстания. 5 января — полковника Нарышкина (совсем недавно, два ме-

сяца назад, Вяземский был у него на Пречистенском бульваре, слушал чтение Рылеева... были там и Пущин, Евгений Оболенский...). 13 января 1826 года в励ькомире арестовали командира Клястицкого гусарского полка, брата Веры Федоровны князя Федора Гагарина, увезли полубольного в столицу... На княгине лица нет... А Москва словно затаилась... Что ни день, то аресты. По пустынным улицам шагом пробираются конные разъезды. Многие знакомые попросили у генерал-губернатора позволения взять на постой солдат — на всякий случай... Бог миловал, Первопрестольная не полыхнула. Но воздух был напитан страхом, отчаяньем, неизвестностью.

С телом покойного государя попрощались вполне пристойно. Траурная процессия прибыла в Москву 3 февраля — войска, знамена губерний, государственное знамя, колесница с гробом, делегации от дворянства и купечества... Менялись юные камер-юнкеры в почетном карауле у гроба, величественно высился в траурном одеянии князь Дмитрий Владимирович Голицын... Вяземский поклонился роскошному гробу, поклонился генерал-губернатору, который ласково блеснул близорукими глазами в ответ. Вышел из Архангельского собора. По Москве мела дикая вьюга, лед был на сердце, на душе, на улицах, мальчишки с криками бегали по льду реки... Лежит неподвижно в холодном ящике победитель Наполеона. Лежат неподвижно павшие под картечью на Сенатской площади. Голова болела от ветра, мороза, жалости к себе, к Александру, к Милорадовичу, к Бестужеву...

Газеты по-прежнему печатали официальную чушь, переписка возможна разве что с оказиями. Мелькнул лучик надежды — вернулся князь Федор Гагарин. Он рассказал Вяземскому, что его десять дней продержали в госпитале, присылали туда вопросные листы. 2 февраля освободили с оправдательным аттестатом...

«Ограниченное число *заговорщиков* ничего не доказывает — *единомышленников* много, а в перспективе 10 или 15 лет валит целое поколение к ним на секурс. Вот что должно постигнуть и затвердить правительство. Из-под земли, в коей оно теперь невидимо, но ощутительно зреет, пробьется грядущее поколение во всеоружии мнений и неминуемости, которое не будет подлежать следственной комиссии Левашовых, Чернышевых и Татищевых... Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но

пространное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги. Доказательство тому, что я не одобрял ни начала, ни средств, кои покушались привести в действие, есть то, что пишу тебе из Москвы; но постигаю причины и, не оправдывая лиц, оправдываю действие, потому что вижу в нем неминуемое следствие бедственной истины... Я не верю, не могу верить положительным замыслам о цареубийстве. В пылу прений, может быть, одна или две буйные головы указывали на это средство, но оно не было общим и основательным положением Общества. — И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... В этом отношении жалею, что чаша Левашова (член Следственного комитета. — *В. Б.*) прошла мимо меня и что я не имею случая выгрузить несколько истин, остающихся во мне под спудом. Не думаю, чтобы удалось мне обратить своими речами, но, сказав их вслух тем, кому ведать сие надлежит, я почел бы, что не даром прожил на свете и совершил по возможности подвиг жизни своей» (Вяземский — Жуковскому).

Это знаменитое письмо нередко цитировали (и цитируют до сих пор) как свидетельство того, что Вяземский оправдывал декабристов. Нет, не оправдывал... Кровь и насилие претили ему не меньше, чем Жуковскому, и замыслы восставших князь называет «ужаснейшими» и «безрассуднейшими». «Казнь и наказания несоразмерны преступлениям», — пишет он, подчеркивая, что *преступления* все же были. Декабристы для него — преступники, покусившиеся на законную власть, то есть, проще говоря, самозванцы. И естественно, что они будут наказаны за мятеж. Но он, не оправдывая их, умеет им сострадать и безусловно осуждает жестокость победителей. В его глазах восстание — логичная реакция русской молодежи на вялую и непоследовательную политику Александра I, поэтому главные виновники бунта, как это ни парадоксально, — не мальчики в мундирах, высыпавшие 14 декабря к Фальконетову монументу, а те, кто с чувством собственной правоты будет судить этих мальчиков.

У князя была возможность вписать свое имя в историю русской тайной борьбы с государством — и, соответственно, отправиться потом в Сибирь на каторгу (с шансом вернуться в столицу в лучшем случае в 1856 году. Хотя Жуковский мог бы выхлопотать ему перевод на Кавказ...). Он от-

казался — и правильно сделал, сохранив себя для легальной жизни, для поэзии, прозы, Пушкина, жены, детей, путешествий... А отказался потому, что уже чувствовал себя состоявшейся личностью, прошедшей через открытый конфликт с властью. У него уже был один поединок с правительством — 1820—1821 годы, письма на грани смуты, «Негодование», громкая отставка, демонстративный отказ от камер-юнкерства. И тогда, формально проиграв по всем пунктам, он победил — Александр I принял его отставку и отпустил в имение под надзор. Это был мужественный шаг — громко заявить об «открытой противуположности со всеми действиями правительства». Потому-то он и мог позволить себе роскошь отказаться от предложения Бестужева. Он выстоял против государства в одиночестве — без солдат и криков «Ура, Константин!».

И по сей день не вполне ясно, почему Вяземский не был привлечен к ответственности по делу 14 декабря. Этому удивлялись (и одновременно, конечно, радовались) Карамзин и Жуковский. Пушкин тоже всерьез беспокоился за друга — недаром в начале 1826-го он нарисовал на одном листе портреты четы Вяземских, Рылеева, Пестеля и Трубецкого... Удивляться было чему — следствие велось настолько тщательно, что в следственных делах фиксировалось упоминание любой фамилии, прозвучавшей на допросе, в том числе и совсем далеких от мятежников людей (например, Дельвига). Но факт остается фактом: ни один знавший Вяземского заговорщик не назвал его имя во время допросов. Бестужев, например, подробно объяснил, что не стал принимать в общество Грибоедова, потому что не хотел подвергать опасности его талант, но умолчал о том, что делал такое же предложение Вяземскому. Молчал о нем Рылеев, которому Вяземский помогал в издательских делах, молчал Никита Муравьев, к которому от Вяземского попал список Государственной Уставной грамоты, молчали Кюхельбекер и Михаил Орлов... Возможное объяснение такому дружному нежеланию замешивать Вяземского в дело таково: декабристы были хорошо осведомлены об опале князя, о его сложных отношениях с властью, и по молчаливому уговору берегли его от возможных неприятностей.

Правда, 9 апреля 1826 года лично с князем незнакомый Михаил Бестужев-Рюмин все же назвал авторов «вольнодумчивых сочинений» — Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова, добавив при том: «Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет, мне совершенно неизвестно». «Вольнодумчивые сочинения» тут же были приобщены к следст-

венному делу, но никаких последствий для авторов это, к счастью, не имело. Уже 29 мая был отдан приказ «из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Какие именно стихи Вяземского горели вместе с пушкинскими и давыдовскими, легко догадаться — «Негодование», «Сравнение Петербурга с Москвой», эпиграммы...

Николай I, лично руководивший следствием, читал эти стихи. Но Пушкин, Вяземский и Денис Давыдов были не чета никому не известным «подпрапорщикам», обнажившим 14 декабря оружие, — это были крупные фигуры, широко известные в обществе и литературе. И гораздо разумнее было не шельмовать их за вызывающие рифмы, а постараться привлечь на службу и направить их дарования в нужное русло. Впрочем, свое отношение к Вяземскому молодой император не преминул высказать вслух. Просматривая в присутствии Блудова список арестованных мятежников, он заметил:

— Отсутствие имени Вяземского в этом деле доказывает лишь, что он был умнее и осторожнее других.

А декабрьский день продолжал крушить судьбы «друзей, товарищей, братьев». Один из виднейших деятелей заговора, Николай Тургенев, покинул Россию еще в апреле 1824 года, разочаровавшись в самой идее вооруженного восстания. В момент мятежа он находился во Франции, откуда для верности перебрался в Лондон — в России его приговорили заочно к смерти. Александр Тургенев, сам уж полуопальный (в 1824 году его по доносу отстранили от всех должностей), приехал хлопотать за брата и тут узнал, что в Следственном комитете правителем дел служит старинный друг Дмитрий Блудов, арзамасец Кассандра; пылкий, впечатлительный Александр вдруг подумал о том, что и Блудов, должно быть, приложил руку к утверждению смертного приговора... Тургенев сразу же оборвал все отношения с Блудовым. Через восемнадцать лет они случайно столкнулись в салоне Карамзиных; Блудов, министр внутренних дел, возведенный в графский титул, с искренней улыбкой протянул Тургеневу руку, на что тот с ненавистью процедил: «Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату»...

Весною — новая потеря: 18 апреля умер трехлетний сын Вяземских Петр. «Ты жалуешься на мое молчание: я на твое, — писал Петр Андреевич Пушкину. — Кто прав? Кто виноват? Оба. Было время не до писем. Потом мы опять имели несчастие лишиться сына 3-х летнего. Из 5 сыновей

остается один. Тут замолчишь поневоле. Теперь я был болен недели с две. Вот тебе бюджет моего времени незавидный. Скучно, грустно, душно, тяжко. Я рад, что ты здоров и не был растревожен. Сиди смирно, пиши, пиши стихи и отдавай в печать... Я надеюсь, что дело обойдется для тебя хорошо».

Пушкин отвечает двумя письмами — утешает Вяземского, как умеет, справляется о женитьбе Баратынского, удивляется: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь». «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиными — Бог знает, свидимся ли когда-нибудь»... Это письмо Пушкин писал в Пскове 27 мая 1826 года — Николая Михайловича Карамзина уже пять дней как не было в живых...

14 декабря Карамзин был на Сенатской площади рядом с государем, видел кровь, ярость, толпа швыряла в него камни... Это подкосило его, сломало что-то в уставшей душе... Началась болезнь. Он просил у нового императора место консула во Флоренции, и это означало отказ от должности историографа, от придворной жизни... 13 мая Николай I назначил Карамзину огромную пенсию — 50 тысяч рублей в год, предоставил фрегат для поездки в Италию. «Это значит, что я должен умереть», — заметил Карамзин по поводу этих милостей... И перед кончиной не изменила ему ироничная независимость — качество, которое Вяземский перенял от него в полной мере.

Вяземский видел Карамзина в последний раз 12 сентября 1825 года. Тогда Николай Михайлович был еще здоров, и они вместе строили планы заграничной поездки. Карамзин за прошедшие годы несколько попривык к Петербургу: «Помышляю иногда о Москве, но не хотелось бы на старости переменять места...» Карамзину 59 лет, по понятиям его века — старик, глубокий старик...

Вяземский страшно обеспокоился вестью о болезни Карамзина, собирался ехать к нему — проститься перед отъездом Николая Михайловича в Италию. Но тут — смерть Петруши, потом неожиданная болезнь: у Вяземского воспалился коренной зуб, следствием чего стали «жар, желчь в движении, тоска, бессонница, безаппетитность». Только окончательно выздоровев, Вяземский рискнул отправиться в Петербург. 23 мая, уже почти приехав, в Царском Селе встретил он племянницу Жуковского Александру Воейкову. Она-то и сказала, отведя взгляд... Опоздал всего на день... Вяземский сам не помнил, как лошади вихрем пронесли его через заставу... Сестра, Екатерина Андреевна, в слезах, в

траурном платье... Старшая дочь Карамзина, двадцатичетырехлетняя Софья, с плачем уткнулась в плечо дяди... Маленький Петруша, безгрешный ангел, унесенный безжалостно. И Карамзин — воплощение благородства, труда, духа, большая жизнь, честная, чистая... Их нет. Где логика?.. Бог испытует, любя, сказал бы Жуковский...

На похоронах Вяземский стоял рядом с Александром Тургеневым. Оба не стыдились слез. 13 июня Петр Андреевич повез осиротевшую семью в Ревель. «Не знаю, долго ли там останусь с ними, — писал он Пушкину, — но буду тебе писать оттуда, а теперь писать нет ни времени, ни мысли, ни духа». Дмитриеву, уже из Ревеля, он написал: «Есть горести, которые не передаются в словах».

Какая пустота... Нет того, кто вел литературу русскую, кто дал ей Жуковского, Батюшкова, Пушкина, — все они выросли на Карамзине. Смерть Наполеона в истории, смерть Байрона в поэзии, смерть Карамзина в русской жизни... Словно отпало что-то от нравственного бытия... Жуковский из Бад-Эмса писал Александру Тургеневу: «Карамзин — в этом имени было и будет все, что есть для сердца высокого, милого, добродетельного. Воспоминание об нем есть религия». На смерть Карамзина откликнулись все русские журналисты — от Булгарина до князя Шаликова. Греч в «Северной пчеле» и Свиньин в «Отечественных записках» больше всего места уделили перечислению наград покойного (особо подчеркивая, что один Карамзин в чине статского советника имел анненскую ленту) и к тому же заставили Карамзина умереть от «злой чахотки»... «Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь, — писал Пушкин князю. — Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том “Русской истории”». Вяземский действительно начал собирать материалы для такой работы, призывал Пушкина, Жуковского, Дмитриева, Блудова, Дашкова писать о Карамзине воспоминания. Но сам так ничего и не написал — лишь в старости несколько статей о прозе, письмах Карамзина... Когда его спрашивали, почему он не работает над биографией историка, Вяземский неизменно отвечал: «Ведь не напишешь же, например, биографии горячо любимого отца»...

Была и еще одна причина, по которой ни Вяземский, ни Тургенев, ни Жуковский не принимались за воспоминания о Карамзине. Писать о нем в 1826—1827 годах значило присоединить свой голос к «холодным, глупым и низким» панеги-

рикам, которые во множестве печатались в прессе. Вливаться в хор казенных славословий подлинные друзья Карамзина не хотели. И одновременно казнили себя за молчание...

Пытаясь хоть как-то отвлечь и развлечь многочисленных детей Карамзиных, Вяземский поселил их в красивом предместье Ревеля — на даче сахарозаводчика Клеменса, что на холме Штрихберг. Устраивал прогулки по Ревелю и округе. К ним присоединялась Ольга Пушкина, опять проводившая там лето. Они бродили по окрестностям города — ездили в шведское селение Вихтерпаль, смотрели на живописную скалу Тишер, видели на море настоящий небольшой тайфун (или, как его назвали морские офицеры, тромбу), любовались эстляндским обычаем зажигать бочки со смолою в ночь Иванова дня... Но на душе у Петра Андреевича скверно. Развлечения не развлекают. И, откладывая в сторону «Ламермурскую невесту» Вальтера Скотта, он раскрывает записную книжку, где комментирует связанные с бунтовщиками правительственные указы.

1 июня 1826 года, в день учреждения Верховного суда над мятежниками, Николай I издал указ о награждении прапорщика Шервуда, предавшего Южное общество. Ему высочайше повелено зваться Шервудом-Верным. «Не одобряю этого, — записывает Вяземский 27 июня. — Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносчика за спасителя отечества... Таких спасителей можно подкупать за сто рублей».

Июньский номер парижской «Журналь де деба» — в нем напечатан французский перевод манифеста Николая I о смертной казни в Финляндии. В этом путаном официальном документе Вяземский прозорливо (и, по-видимому, единственный в стране) увидел «предисловие к последствиям Верховного суда», то есть к участи декабристов. В отличие от тех, кто надеялся на смягчение приговора в связи с близкой коронацией, князь ожидал самого худшего: «На днях грянет гром, душно мыслить и чувствовать... Хорош прелюд для ваших московских торжеств и празднеств! Совершенно во вкусе древних, которые также начинали свои праздники жертвами и излияниями крови ближнего!». Запись о смертной казни в Финляндии он сделал 13 июля, в день, когда пятеро мятежников были повешены на кронверке Петропавловской крепости...

Хоть он и трезво предвидел конец самый ужасный, все равно надеялся на внезапный приступ милосердия, на чудо, на *проблеск цивилизации*... Ведь со времен Пугачева в России официально никого не казнили. Нет, чудес не бывает... Пе-

стель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский повешены. Трех из них Вяземский знал лично.

«При малейшей возможности, тотчас вырвался бы я из России надолго, — пишет он жене через четыре дня после казни. — Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... Сколько жертв и какая железная рука пала на них!.. Я не ожидал такой решимости в мерах... Знаешь ли лютые подробности сей казни? Трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский — еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после этого возвели на вторую смерть... Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!» 20 июля — о том же: «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место».

19 июля Вяземский снова раскрывает записную книжку: «13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го. — По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли». Он последовательно обосновывает юридическую неправомерность смертной казни вообще: «Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может; но жизнь изъемлется из его ведомства». «Как нелеп и жесток доклад суда! — негодует он. — Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по-настоящему три: смертная, каторжная работа и ссылка на поселение... А какая постепенность в существе преступлений!.. Еще вопрос: что значит участвовать в умысле цареубийства, когда переменою в образе мыслей я уже отстал от мысленного участия? И может ли мысль быть почитаема за дело?.. Неужели не должно существовать здесь право давности?»

Его буквально трясет. Он готов забыть даже то, что бунтовщики пошли против законной власти. Он *с ними*. На какой-то миг Вяземский — самый пламенный защитник и союзник декабристов... «Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя слов своих к России: «*Честному человеку не должно подвергать себя виселице!*» Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к

Провидению: но как согласить с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений?.. Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что *можно* и чего не должно *терпеть*... Хладнокровный вытерпит долее, пламенный энтузиаст гораздо менее. Как ни говорите, как ни вертите, а политические преступления *дело мнения*.

Сам Карамзин сказал же в 1797 году:

> Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
> Достоин ли пера его?
> В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
> Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
> Жалеть об нем не должно:
> Он стоил лютых бед несчастья своего,
> *Терпя, чего терпеть без подлости не можно.*

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному... Несчастный Пущин в словах письма своего: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай» дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом... Достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском усиленным общего ропота, стенаний и жалоб? Этот вопрос по совести и по убеждению разума могла разрешить бы одна Россия, а не правительство и не казенный причет его, которые в таком деле должны быть слишком пристрастны. Правительство и наемная сволочь его по существу своему должны походить на Сганареля, который думал, что семейство его сыто, когда он отобедает. Поставьте судиями врагов настоящего положения, не тех, которые держатся и кормятся злоупотреблениями его, которых все существование есть, так сказать, уродливый нарост, образованный и упитанный гнилью, от коей именно и хотели очистить тело государства (законными или незаконными мерами — с сей точки зрения — все равно, по крайней мере, условно...); нет, призовите присяжных из всех состояний общества, из всех концов государства и спросите у них: не преступны ли те, которые посягали на перемену вашего положения? Спросите у них по совести: не ваши ли общие стенания, не ваш ли повсеместный ропот вооружил руки мстителей, хотя и не уполномоченных вами на деле, но действовавших тайно в вашем смысле, тайно от вас самих, но по вашему невыраженному

внушению? Ответ их один мог бы приговорить или спасти призванных к суду. Но решение ваше посмеятельное. Правительство спрашивает у своих сообщников: не преступны ли те, которые хотели меня ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из которого вывела моя слепая прихоть и моя польза, худо мной самим постигнутая? Ибо вот вся сущность суда: вольно же вам после говорить: «таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено...» В этих словах замечательное двоемыслие. И, конечно, это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом, участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка всеобщего неудовольствия. Там огнь тлел безмолвно за недостатком горючих веществ, здесь искры упали на порох, и они разразились. Но огонь был все тот же!.. Дело, задевающее за живое Россию, должно быть и поручено рассмотрению и суду России: но в Совете и Сенате нет России, нет ее и в Ланжероне и в Комаровском! А если и есть она, то эта Россия — самозванец, и трудно убедить в истине, что сохранение этой России стоит крови нескольких русских и бедствий многих. Ниспровержение этой мнимой России и было целию голов нетерпеливых, молодых и пламенных: исправительное преобразование ее есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству *молитв вооруженных*».

Казнь мятежников высекла из его души дремавший пять лет огонь. Он снова был прежним Вяземским — автором «Негодования». Он снова произносил страстный монолог Одинокого Героя, обличающего палачей: «О, подлые тигры! и вас-то называют всею Россиею и в ваших кровожадных когтях хранится урна ее жребия!»...

Он не бравировал своей смелостью, посылая жене по обычной почте антиправительственные письма и с откровенным отвращением отзываясь о палачах. Он не мог иначе; это закваска древнего независимого рода, характер, политические убеждения. Реакция Вяземского на декабрьское восстание — самая откровенная и самая сочувственная в русском эпистолярном наследии тех лет. Князь совершенно не осторожничал (можно сказать и *не берег себя*). Снова он, как и шесть лет назад, «бескорыстный, укорительный представитель мнения общего», своего рода термометр (опять

любимый образ Вяземского), по которому можно было определять общественную температуру... «Любезный друг, знаю всю твою дружбу и умею ее ценить, — пишет ему 20 июня 1826 года Михаил Орлов, освобожденный из крепости благодаря хлопотам брата. — И брат в Петербурге, и жена в Москве показывают на тебя, как ты благородно чувствуешь, как ты берешь участие в друзьях своих, как ты стоишь грудью за них и как не отходишь в несчастии от тех, которых в счастии любил... Мой друг, с чувством нежнейшей дружбы прижимаю тебя к сердцу своему».

Как уже говорилось выше, убеждений декабристов Вяземский не разделял никогда — ни до, ни после восстания. С годами отношение его к ним стало более прохладным (встретив кого-то из амнистированных в Петербурге в конце 50-х годов, он едко — и справедливо — заметил, что для этих людей так и не наступило 15 декабря). «Изо всех несчастных жертв, которые разгромила и похитила гроза 14-го декабря... человека два-три, не более, носили в себе залоги чего-то, которое могло созреть в будущем и принести плод... Сама затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых и самозваных преобразователей... Это были утописты, романтические политики. Много знавал я таковых» («По поводу бумаг В. А. Жуковского», 1876. Нельзя не заметить, что при всей сдержанности оценок 84-летний Вяземский, как и полвека назад, сочувственно называет декабристов «несчастными жертвами»). Но, не разделяя политических убеждений мятежников, осуждая их за попытку свергнуть законную власть, князь искренне и глубоко сочувствует им и помогает не только словом, но и делом. Когда княгиня Волконская уезжала к мужу в Сибирь, Вяземский послал с ней двести рублей ссыльному Федору Шаховскому, с которым не был знаком лично. В 1829 году Вяземскому прислали стихи Александра Одоевского, «писанные под небом гранитным и в каторжных норах», — и князь сумел, обманув цензуру, опубликовать их. В 1841 году брат декабриста Ивана Пущина отдал Вяземскому на сохранение чудом уцелевший портфель с документами Северного общества — и спустя шестнадцать лет князь вручил сбереженный портфель вернувшемуся из ссылки Пущину... Вряд ли Пущин случайно решил поручить опасные документы именно заботам Вяземского. (Отношения с И. И. Пущиным, по-видимому, были особенно теплыми: в 1845 году Вяземский послал ему свой пере-

вод романа «Адольф» и коробку сигар.) Да и составляя в глубокой старости «Алфавит имен и списки лиц, припоминаемых Вяземским П. А.», князь не забыл аккуратно внести в этот «алфавит» всех своих знакомых декабристов...

Летом 1826-го он написал одно из самых сильных своих стихотворений — «Море». «Ты скажешь qui'il faut avoir le diable au corps pour fair des vers par le temps qui court*. Это и правда! Я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе», — отправляя «Море» Пушкину, добавлял Вяземский... «Море» — это Ревель, Балтика, но это и недавняя казнь, и предательство, и грязь, которая угнетает душу. И он пытался смыть эту грязь, забыться, любуясь на «лоно чистой глубины»:

Как стаи гордых лебедей,
На синем море волны блещут,
Лобзаются, ныряют, плещут
По стройной прихоти своей.
И упивается мой слух
Их говором необычайным,
И сладко предается дух
Мечтам пленительным и тайным.

Да, море чудесно... Чудесно тем, что волны не опозорены ничем, не замараны ничьей кровью, что «малодушная злоба» победителя декабристов их не коснулась.

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной.
....
Людей и времени раба,
Земля состарилась в неволе;
Шутя ее играют долей
Владыки, веки и судьба.
Но вы все те ж, что в день чудес,
Как солнце первое в вас пало,
О вы, незыблемых небес
Ненарушимое зерцало!

Море дает иллюзию забвения, счастья: «Волшебно забывает ум / О настоящем, мысль гнетущем, / И в сладострастьи тайных дум / Я весь в прошедшем, весь в грядущем...»

* Что надо быть одержимым дьяволом, чтобы в такое время сочинять стихи (*фр.*).

Не так уж часто Вяземского можно было застать в таком настроении, но пушкинский ответ на «Море», посланный с коротким и довольно холодным письмом 14 августа, словно призван сбить с него романтический настрой... Поводом для стихов Пушкина послужил слух, что Николая Тургенева схватили и морем везут из Англии в Россию. К счастью, всего лишь слух. Но море Пушкин развенчивает решительно:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

...Вера Федоровна ждала мужа в Москве. Но Вяземский туда не торопился. «Ты спрашиваешь, когда буду? — писал он 17 июля. — Право, не знаю теперь. Прежде полагал я приехать ранее, но мысль возвратиться в торжествующую Москву, когда кровь несчастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и душит. Вероятно отложу свой приезд». И в другом письме: «Желал бы знать скорее, когда будет коронация, чтобы приехать к шапочному разбору... Я человек не праздничный, да и к тому же это материалы для моего биографа: 1-е. Проезжал в таком-то году через Ригу и не видел Риги. 2-е. Был москвичом и не хотел возвратиться в Москву на коронацию». Одно из писем к жене он завершал в высшей степени издевательским пассажем, где прямо обращался к тем, кто вскрывал его переписку: «Я не против этого, но прошу только вас, господа, на письменных заставах команду имеющие, недолго задерживать наши письма! Я знаю, что вы не очень грамотны и довольно тупы по своей природе и что легко не разбираете вы ни руки моей, ни смысла моего... С глубочайшим высокопочитанием имею честь пребыть вашим... (Что, бишь, вы? — превосходительство, или выше, или еще выше? Право, не знаю; но сами вставьте титла...) ...всепокорнейшим слугою князь Петр Андреевич сын Вяземский, отставной камер-юнкер и более ничего».

Первопрестольная готовилась к коронационным торжествам — туда съехался дипломатический корпус, гвардейские полки. Велено было веселиться. Возвращаться в эту официальную Москву не хотелось. Вяземский выехал из Ревеля только в ночь с 3 на 4 сентября, когда торжества

шли уже полным ходом. В Москве был 9-го, «к шапочному разбору».

Одна была радость посреди этой пляски на костях казненных — вернули из ссылки Пушкина. 8 сентября Николай I беседовал с ним в Чудовом монастыре, заявив после, что только что разговаривал с умнейшим человеком России. А на другой день в половине двенадцатого умнейший человек России, оставив вещи в гостинице «Европа», уже входил в особняк в Большом Чернышевом переулке... «Пушкин, Пушкин приехал!!!» — наперебой закричали шестилетний Павлуша и девятилетняя Пашенька, бросаясь наперегонки к гостю, и даже тринадцатилетняя Маша, которой уже неприлично было так вести себя, и та не удержалась и вприпрыжку устремилась за братом и сестрой... А Пушкин, белозубо смеясь, уже склонялся к ручке Веры Федоровны.

— Дорогая княгиня, снова я у ваших ног, как и обещал... Ах да, я и позабыл, что вы против целованья ручки, это, кажется, вышло из моды. Трясу вам ее на английский манер. — Со смехом пожал княгине руку и огляделся. — А где же...

— В бане, в бане! — смеялась в ответ Вера Федоровна. — Хочет быть чист перед вами, как ангел!

Вяземский действительно уехал мыться с дороги, и Пушкин, как ни уговаривали его княгиня и дети остаться и подождать его дома, помчался к нему немедля. Романтическая встреча старых друзей в бане... Они не видались семь с половиной лет, но ни тот, ни другой никаких свидетельств о предмете тогдашнего разговора не оставили. Нет сомнений, что был он долгим — столько событий, столько невысказанных в письмах мыслей...

Так началась их *очная* дружба. До этого — в сущности, только несколько личных встреч (25 марта 1816-го; май 1817-го — неделя общения; январь 1819-го — тоже частые, но недолгие встречи), из которых 1816—1817-й — знакомство и поддержание знакомства, в присутствии Карамзина, смущение, полуофициальность. Потом жаркая переписка с обеих сторон (1822—1826), и, к слову сказать, *золотое время* их отношений, потому что на бумаге поссориться хоть и возможно, но все же сложнее, чем в жизни... Одна из самых, кажется, хрестоматийных и растиражированных дружб в русской истории — ведь именно в качестве *друга Пушкина* существует Вяземский в массовом сознании сегодня, он своего рода апостол Петр при Христе; дружба с Пушкиным стала, в сущности, его *профессией*, была закреплена в анекдотах, в многочисленных биографических романах, в стихах

(например, у Геннадия Шпаликова: «Здесь когда-то Пушкин жил, / Пушкин с Вяземским дружил...»). И вот они видятся каждый день, 29 сентября Пушкин читает в Большом Чернышевом «Бориса Годунова» (Вяземский: «Зрелое и возвышенное произведение... Ум Пушкина развернулся не на шутку... мысли его созрели, душа прояснилась и... он в этом творении вознесся до высоты, которой он еще не достигал»), безоговорочный союз, творческий и личный; планы, ожидания, сокровенные мысли... Оба, кажется, счастливы.

Но именно что «кажется». Дружба их никогда не была безоблачной. (Можно даже задуматься о том, насколько Вяземскому вообще была свойственна *дружба...* и прийти к выводу, что все его дружбы уходят корнями в арзамасские времена, стоят незыблемо на переписке, прозаической и поэтической, в меньшей мере на личном общении и, не будучи лишены нежности и доверия, почти лишены романтичности, так свойственной, например, дружбе «старших» Жуковского и Александра Тургенева. Все поздние дружбы Вяземского — всего лишь попытки найти себе собеседника в пустыне, слабую тень того, что было когда-то, а отнюдь не предмет для сердечной привязанности; статус друзей приобретают тогда просто давние знакомые — А. С. Норов, П. А. Плетнев — или «молодые» люди, успевшие хлебнуть воздуха пушкинской эпохи, как Тютчев.)

Достаточно беглого знакомства с мемуарными заметками князя о Пушкине, с их перепиской, чтобы понять: благостной дружбой двух добряков-единомышленников тут и не пахло. Их отношения — сложный поединок двух воль, двух жизненных концепций, да и двух поколений русской словесности тоже: несмотря на всего семь лет биографической разницы в годах, Вяземский и Пушкин — принципиально разные эпохи нашей литературы. Наиболее «хрестоматийные» их творческие расхождения — «святость» Карамзина и Дмитриева, талант трагика Озерова, талант Батюшкова, полемика классиков и романтиков — связаны именно с литературной разницей в возрасте. На глазах Пушкина не было никаких шор, Вяземский на все смотрел еще с карамзинской колокольни (хотя на практике нередко совершал дерзкие рейды «на сторону»).

«Споры наши были большою частью литературные. В политических вопросах мы вообще сходились: разве бывало иногда разномыслие в так называемых чисто русских вопросах. Он, хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отвращениям замкнутой в себе России, я вообще держался понятий меж-

дународных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую, совершившегося по почину и богатырской воле и силе Петра. И мне иногда хотелось сказать Пушкину с Александром Тургеневым: «да съезди, голубчик, хоть в Любек» (1877).

«Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. По характеру моему я был более туг, несговорчив, неподатлив; это различие между нами приводило нас нередко к разногласию и к прениям, если не к спорам. Подобные прения касались скорее и более всего до литературных вопросов и литературных личностей... В литературных отношениях и сношениях я не входил ни в какие уступки, ни в какие сделки... Он, пока самого его не заденут, более был склонен мирволить и часто мирволил. Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования, более благоразумной терпимости и здравой оценки действительности» (1875).

«Со мною любил он спорить; и спорили мы до упаду, до охриплости об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове и о многом прочем и прочем... Были мы оба натуры спорной и друг пред другом ни на шаг отступать не хотели. При задорной перестрелке нашей мы горячились: он все ниже и ниже унижал Дмитриева, я все выше и выше поднимал его. Одним словом, оба были мы не правы. Помню, что однажды в пылу спора сказал я ему: «Да ты, кажется, завидуешь Дмитриеву». Пушкин тут же зардел как маков цвет, с выражением глубокого упрека взглянул на меня и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказал: «Как, я завидую Дмитриеву?» Спор наш этим и кончился, то есть на этот раз, и разговор перешел к другим предметам, как будто ни в чем не бывало. Но я уверен, что он никогда не забывал и не прощал мне моей неуместной выходки... Нет сомнения, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива. Впрочем, и то сказать: в то время Пушкин не был еще на той вышине, до которой достигнул позднее» (1876).

«Пушкин Озерова не любил, и он часто бывал источником наших живых и горячих споров. Оба мы были неуступчивы и несколько заносчивы. Я еще более, нежели Пушкин. Он не признавал в Озерове никакого дарования. Я, может быть, дарование его преувеличивал» (1876).

Эти так называемые «приписки», которые Вяземский добавлял к своим ранним статьям в глубокой старости, без сомнения, доносят до нас точную картину взаимоотношений двух «спорных натур». Себя князь, как видим, не обеляет,

напротив, подчеркивает «уживчивость» Пушкина и собственную нетерпимость. «В нем терпимость его никуда не годится», — жаловался Вяземский на Пушкина в 1830 году, не подозревая, что с годами именно терпимость, уважение к чужому мнению и нежелание впадать в крайности станут едва ли не главными чертами его собственного характера...

Свидетелями их споров бывали и посторонние. Александра Россет: «Никого я не знала умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли, — бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтобы Пушкин был его умнее, надуется и уж молчит...» А вот дневниковая запись Николая Муханова: «29 июня 1832. К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина... Пушкин очень хвалит Дюмона*, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Оба они выходили из себя, горячились и кричали... Спор усиливался». Вяземский в письме к жене подтверждал, что с Пушкиным они проспорили в тот день «битых два часа».

Литературные (и не только) схватки нередко продолжались и в письменном виде. Вот, например, черновик письма Пушкина Вяземскому: «О Дмитриеве спорить с тобой не стану, хоть все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры — одного из твоих посланий, а все прочее — первого стихотворения Жуковского. Сказки писаны в дурном роде, холодны и растянуты. Ермак такая дрянь, что мочи нет. По мне, Дмитриев ниже Нелединского и сто крат ниже стихотворца Карамзина. Хорош русский поэт, poète de notre civilisation!** Хороша и наша civilisation!*** Грустно мне видеть, что все у нас клонится Бог знает куда, ты один мог бы прикрикнуть налево и направо, порастрясти старые репутации, приструнить новые и показать им часть истины, а ты покровительствуешь старому вралю». Беловой вариант этого письма менее резок, но позиция Пушкина осталась более чем ясной... Вяземский, в свою очередь, упорно не признавал прав Крылова на первенство в жанре русской басни: «Что такое за представительство Крылова?.. Как ни говори, а в уме Крылова есть что-то лакейское: лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами — все это перемешано вместе. Может быть, тут и есть черты на-

* *Пьер Этьен Луи Дюмон* (1759—1829) — швейцарский публицист, автор воспоминаний о Мирабо, изданных в Брюсселе в январе 1832 года. Эта книга и была предметом спора.

** Поэт нашей цивилизации (*фр.*).

*** Цивилизация (*фр.*).

родные, но по крайней мере не нам признаваться в них... И жопа есть некоторое представительство человеческой природы, но смешно же было бы живописцу ее представить как типическую принадлежность человека. Назови Державина, Потемкина представителями русского народа, это дело другое; в них и золото и грязь наши par exelence*; но *представительство Крылова* и в самом литературном отношении есть ошибка, а в нравственном, государственном даже и преступление».

Еще пример. В конце 1826 года Вяземский дал Пушкину свою старую статью про Озерова и попросил сделать заметки на полях. По характеру этих заметок можно понять, что Пушкин, правя статью, изо всех сил пытался сдержать раздражение. Но все же не удержался и вынес финальный вердикт: «Часть критическая вообще слаба, слишком слаба. Слог имеет твои недостатки, не имея твоих достоинств. Лучше написать совсем новую статью, чем передавать печати это сбивчивое и неверное обозрение»...

...Нуждался ли Пушкин в Вяземском, в его дружбе и творчестве? Вопрос этот не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Юрий Нагибин в свое время проницательно подметил, что Пушкин, в отличие от всех его друзей, был лишен возможности читать... Пушкина, и поэтому относился к дарованиям близких с огромной доброжелательностью и любопытством: этим компенсировалось отсутствие в его читательской жизни пушкинских стихов. В этом смысле Вяземский, безусловно, был Пушкину очень нужен. В письмах, обращенных к Вяземскому, не раз звучит одна и та же просьба: пришли новых стихов и прозы. И оценки Пушкиным творческих талантов князя мало сказать комплиментарны — зачастую они завышены (а критика, заметим, касается только частностей и никогда не обидна). «Присылай нам своих стихов; они пленительны и оживительны — «Первый снег» прелесть; «Уныние» — прелестнее», «Образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах...», «Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно... читал я твои стихи в «Полярной Звезде» — все прелесть», «Твоя проза — богатая наследница твоей прелестной поэзии», «Прочел я давнишние замечания на Булгарина, это лучшая из твоих полемических статей», «“Разговор” прелесть, как мысли, так и блистательный образ их выражения», «Чуть не задохся со смеху, прочитав твою «Черту

---

* По преимуществу (*фр.*).

местности». Это маленькая прелесть», «Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору», «Твои письма гораздо нужнее для моего ума, чем операция для моего аневризма. Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини»... Цитаты можно продолжать. Это ли не убедительные свидетельства того, что Пушкин высоко ценил творчество друга?.. Правда, можно уловить в этих однообразных похвалах — Пушкин постоянно употребляет слово *прелесть* в применении к Вяземскому — некоторую иронию. Но в заметках, предназначенных для печати, Пушкин всегда говорил о таланте Вяземского без всяких подтекстов, да и в многочисленных поэтических посланиях Пушкина к Вяземскому добрые чувства к адресату налицо. Если ирония и присутствовала, то она была глубоко запрятана от посторонних и, так сказать, неофициальна.

Об этом свидетельствуют воспоминания литератора барона Е. Ф. Розена. Он пишет, что Пушкин «позволял перебирать с ним критически лучших его друзей-литераторов, за исключением только *одного* из них. Лишь только коснусь слабой стороны этого NN, радушный, эпиграмматический Пушкин становится серьезен, и фраза моя пресекается». NN в этой записи — Вяземский. Розену было любопытно, почему Пушкин не позволяет шутить над стихами Вяземского, и он задался целью разгадать эту загадку. Однажды это удалось — когда Розен процитировал строку из «Послания к М. Т. Каченовскому» Вяземского («Как оный вечный огнь на алтаре весталок»). Пушкин неожиданно рассмеялся, сказал, что тут невольно напрашивается рифма «палок». И объяснил, что «частые резкие изысканности» Вяземского, «так и вызывающие эпиграмматическую критику», заставили его «вооружиться против нее, однажды навсегда, этою серьезною миною».

Но это единственное свидетельство того, что Пушкин мог подшучивать над Вяземским-поэтом, меркнет, даже если не знать всех вышеприведенных добрых пушкинских отзывов — а просто раскрыть «Евгения Онегина». Эпиграф к первой главе, аллюзия на «Первый снег» — «Согретый вдохновенья богом, / Другой поэт роскошным слогом / Живописал нам первый снег / И все оттенки зимних нег...» — наконец, появление князя «у скучной тетки», где он занимает Таню Ларину разговором...

Ну а верх доброжелательности Пушкина — это посвящение Вяземскому третьего издания «Бахчисарайского фонтана» (1830): «Посвящаю тебе стихотворение, некогда явившееся под твоим покровительством, и которое тебе обязано

было большей частью успеха. Да будет оно залогом нашей неизменной дружбы и скромным памятником моего уважения к благородному твоему характеру и любви к твоему прекрасному таланту». Посвящение это цензура не пропустила, но князь о нем знал и отвстил не менее велеречивым посвящением Пушкину своего перевода романа «Адольф», вышедшего год спустя: «Дар мною подносимый да будет свидетельством приязни нашей и уважения моего к дарованию, коим радуется дружба и гордится Отечество».

Итак, в интеллектуальном плане Пушкин не только нуждался в Вяземском, но и в буквальном смысле слова заваливал его роскошными подарками — эпиграфами к своим произведениям («Евгений Онегин», «Станционный смотритель»; только из-за ссоры с Федором Толстым снял Пушкин эпиграф из Вяземского к «Кавказскому пленнику»), скрытыми и явными цитатами из Вяземского, восторженными отзывами о нем в письмах к нему и к другим адресатам, хвалебными заметками в прессе, поддержкой и одобрением всех его литературных начинаний, негласным запретом на критику Вяземского в его присутствии, посвящением «Бахчисарайского фонтана», наконец, приглашением в качестве действующего лица в «Евгения Онегина». Кто еще из друзей Пушкина был так щедро им одарен?.. Кто из русских писателей вообще получал такое количество комплиментов от Пушкина?.. Кому из своих друзей Пушкин писал так много и часто (сохранилось 74 письма Пушкина к Вяземскому — больше он писал только к жене)?.. Можно даже подумать, что Пушкин нарочно *привязывал* Вяземского к себе. Не льстил, но при каждом удобном случае давал понять, что творчество и дружба князя ему дороги.

В каком-то смысле, наверное, действительно привязывал. Пушкин понимал, что таких многогранных друзей, стоящих на одном с ним интеллектуальном уровне, к тому же почти ровесников, у него больше нет. Вяземский был нужен и интересен ему и как поэт, и как критик, и как журналист, и как издатель, и как историк, и как партнер в споре, и как светский человек, и как политический единомышленник. Пожалуй, в пушкинском окружении других таких разнообразных дарований не было: все прочие друзья ценятся Пушкиным, так сказать, с какой-то одной стороны.

С сердечностью сложнее. Вяземского было легко любить за что-то. Но, по всей видимости, *ни за что* Пушкин не испытывал к нему особенных чувств. «Ни за что» он любил Нащокина, лицейских друзей — Дельвига, Пущина, Кюхельбекера. Ни разу его взгляд на Вяземского не был отума-

нен слезой упоительного дружеского восторга. Отсюда и известные нам скептические отзывы Пушкина о Вяземском. Не желая ссориться с ним, он никогда не давал волю отрицательным чувствам в письмах к самому князю и лишь мельком выплескивал раздражение в устных отзывах, которые донесли до нас третьи лица. По этим отзывам довольно точно можно определить душевные качества князя, вызывавшие недовольство Пушкина, — неуступчивость, отсутствие гибкости, педантизм, «прозаический взгляд», сухость, склонность к учительству. Отдельный разговор — несходство их политических взглядов во время польского восстания 1830—1831 годов, об этом немного позже.

А Вяземский, его отношение к Пушкину?.. Вспомним взаимные посвящения. Пушкин — Вяземскому: «...залог нашей неизменной *дружбы...*». Вяземский — Пушкину: «...свидетельство *приязни* нашей...». Конечно, «приязнь» и «дружба» стоят достаточно близко, но все же расхождение красноречивое. Вяземский по отношению к Пушкину — безусловная, часто восхищенная приязнь, но вряд ли дружба.

Еще в 1815 году Вяземский оценил дарование Пушкина, услышав «Воспоминания в Царском Селе». С тех пор он неизменно отзывался о пушкинском творчестве очень одобрительно. «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши»; «Пушкин читал мне своего Бориса Годунова. Зрелое и возвышенное произведение»; «Пушкин кончил шестую песнь Онегина. Есть прелести образцовые. Уездный деревенский бал уморительно хорош. Поединок двух друзей, Онегина и Ленского, и смерть последнего, описание превосходное»; «Убитого Ленского сравнивает он с домом опустевшим... Как это все сказано, как просто и сильно, с каким чувством» (похоже, эти строки были любимейшими у Вяземского); «Стихосложение в «Кавказском пленнике» отличное. Можно, кажется, утвердить, что в целой повести нет ни одного вялого, нестройного стиха. Все дышит свежестию, все кипит живостию необыкновенной»; «Не только читал Пушкина, но с ума сошел от его стихов. Что за шельма!»; «В поэме «Цыганы» узнаем творца «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», но видим уже мужа в чертах, некогда образовавших юношу. Видим в авторе более зрелости, более силы, свободы, развязности и, к утешению нашему, видим еще залог новых сил»...

В личных письмах к Пушкину Вяземский тоже высказывает свой восторг вполне откровенно. Например, о «Цыганах»: «Ты ничего жарче этого еще не сделал... Шутки в сторону, это, кажется, полнейшее, совершеннейшее, ориги-

нальнейшее твое творение». Или письмо от 6 сентября 1824 года: «Твое Море прелестно! Я затвердил его наизусть тотчас, а по мне это великая примета. Вообще стихи потеряли для меня это очарование, это *очаровательство* невыразимое. Прежде стихи действовали на меня почти физически, щекотали чувства, les sens*; теперь надобно им задеть струны моего ума и сокровенные струны души, чтобы отозваться во мне. Ты играешь на мне на старый лад. Спасибо тебе, мой милый виртуоз! Пожалуйста, почаще бренчи, чтобы я не вовсе рассохся! — Твое любовное письмо Тани: *Я к вам пишу, чего же боле?* прелесть и мастерство».

Эти похвалы, конечно же, звучат от всей души. Во многих случаях Вяземский первым среди русских критиков подавал голос в поддержку Пушкина, не особенно заботясь об аргументации, все время выделяя его из числа других русских поэтов, настойчиво подчеркивая, что именно Пушкину принадлежит ведущее место в литературе. Но все-таки отделаться от чувства, что во всех похвалах князя сквозит холод его ума, невозможно. Вяземский любил Пушкина как поэта. Но, скажем, любовь Жуковского к Пушкину была совершенно иной — теплой, доверчивой, восхищенной, радостной, — такова любовь матери к шалуну-сыну. Любовь Вяземского к Пушкину на этом фоне выглядит любовью критика, искренне расположенного к молодому быстрорастущему писателю...

О его ранней ревности к Пушкину — полушутливой, полусерьезной, впоследствии тщательно скрываемой — уже говорилось. Ревность эта несомненно была. Потом из души Вяземского ее вытеснила *забота* о Пушкине, забота старшего, умудренного жизнью брата о младшем — и нет сомнения, что Пушкину эта роль Вяземского была не особенно приятна. Если Жуковский имел полное право на учительскую миссию как в силу возраста, так и в силу гения и мудрого миролюбия, то Вяземский с его нравоучениями и частыми приступами душевной глухоты не мог не раздражать Пушкина. Роль друга-наставника Вяземский сохранял примерно до 1828 года, после чего тон отношений снова меняется — Пушкин уже «вырос», и Вяземский для него теперь коллега и единомышленник. По всей видимости, в 30-х годах отношения друзей ухудшились, но что послужило к этому поводом, не вполне ясно. Возможно, Вяземского оттолкнула политическая позиция, занятая Пушкиным в 1831 году; возможно, отчасти справедлив намек Нащокина на то, что

* Чувства (*фр.*).

Пушкину было неприятно «волокитство» Вяземского за Натальей Николаевной. Да и годы, заботы уже не располагали к частому дружескому общению — Вяземский обживался в столице, начинал служить и постепенно уходил из активной литературы, Пушкин занимался творчеством и семейными хлопотами. Они остались близкими приятелями, нередко навещали друг друга, случалось, и переписывались (оба жили уже в Петербурге, и в частой переписке необходимости нет), обменивались замечаниями творческого порядка. Но к роковой дате Пушкин подойдет в одиночестве. Вяземский найдет его поведение смешным и нелепым, не сможет и не захочет поддержать друга и тем самым резко уронит себя в глазах будущих поколений (хотя для того, чтобы верно оценить обстановку спустя сто с лишним лет, большим умом обладать не нужно...). Мы не знаем наверняка, кого сам Пушкин в последние дни видел в князе — бывшего друга, холодно «отвратившего лицо» и находящего поведение Пушкина странным, или же человека, посвященного не во все обстоятельства и потому неспособного сделать правильные выводы. Внешне между ними все оставалось по-прежнему. На смертном одре Пушкин пожал Вяземскому руку и произнес: «Прости, будь счастлив»...

В старости Вяземский сказал о Пушкине немало хорошего, и это общеизвестно. Но не менее интересны и другие высказывания князя — те, которые не тиражируются, ибо *не поддерживают* легенду о дружбе... Например, 6 ноября 1840 года, по свидетельству Плетнева, «Вяземский много, умно и откровенно говорил... о Пушкине-покойнике. Отдавая всю справедливость его уму и таланту, он находит, что ни первая молодость его, ни жизнь вообще не представляют того, что бы внушало к нему истинное уважение и участие. Виною — обстоятельства, родители, знакомства и дух времени». А вот как Вяземский реагирует в 1851 году на чье-то утверждение, что Жуковский относится к пушкинской эпохе: «Правильнее сказать, что Пушкин принадлежит к периоду Жуковского»... Считал ли Вяземский Пушкина гением?.. В одной из поздних заметок князь долго рассуждает на тему русских гениев и приходит к выводу, что таковых было трое — в первую очередь Петр I, затем Ломоносов и Суворов. Пушкин же — «высокое, оригинальное дарование», не более.

И, наконец, последний, достаточно красноречивый факт, на который почему-то до сих пор никто не обращал внимания. Пушкин создал несколько чудесных стихотворений о Вяземском, в том числе великолепную надпись к его порт-

рету. Вяземский, охотно писавший послания к кому угодно, почтил Пушкина стихами только после его гибели.

...Их дружба — резкое, полное мгновенных пульсаций, интеллектуальное, умственное, головное, но никак не сердечное отталкивание-притяжение двух очень разных, очень самостоятельных и очень умных людей, волею судеб оказавшихся рядом в жизни и литературе.

Но пока все идет хорошо — они рады друг другу. Вяземский с удовольствием рассматривает Сверчка, совершенно непохожего на того шумного курчавого мальчишку, с которым он виделся в начале 1819 года в Петербурге. Нынешний Пушкин, пожалуй, сойдет за франта, никак не определишь, что он приехал из псковской глуши. Он держится уверенно, просто и элегантно. На московских улицах на него оборачиваются, в театре его встречают овацией, литературные юноши зазывают наперебой на всяческие обеды и просят «Годунова». Его быстрые глаза и улыбка мелькают то здесь, то там. Он *в моде* (ах, как редко русский поэт бывает в моде! Когда это случалось в последний раз? Кажется, в 12-м году, Жуковский...).

Пушкин тоже смотрит на князя с нескрываемой симпатией. И замечает с грустью, что Вяземский совершенно непохож на того язвительного остряка, который произносил когда-то пламенные речи о вольности и конституции. Теперь чаще мелькает на его губах скептическая, даже горькая усмешка. Болезни, смерть детей, Карамзина, декабрь... Судьба не перестает проказить с Асмодеем. Но какие невеселые у нее проказы...

Весь сентябрь 1826 года в Москве громыхают коронационные балы, словно все стараются забыть о недавних бедах. Балы у французского маршала Мармона, у британского посла герцога Девонширского, у князя Юсупова, графини Орловой-Чесменской... 17 сентября — великолепный фейерверк... На одном из этих балов, среди толкотни, смеха, круженья, Вяземский с Пушкиным увидели красавца-генерала в преображенском мундире и молодую даму в ослепительном платье. Перед ними все расступались, дамы приседали в глубоком реверансе, мужчины кланялись... Это были император с императрицей. Странные чувства испытывал Вяземский, щурясь сквозь очки на белое правильное лицо Николая. По его приказанию были сооружены недавние петербургские виселицы. И он же — простил Пушкина, вернул его из заточения... Пушкин, подробно рассказав князю о

своей аудиенции, сделал вывод: государь умен и славолюбив, на две эти пружины можно с успехом воздействовать... Жуковский теперь уже воспитатель наследника цесаревича... Отчего ж не быть им представителями русской грамоты у трона?.. В октябре Пушкин начал работу над запиской «О народном просвещении»; текст рождался в бесконечных ночных спорах в кабинете Вяземского, в чтении карамзинской «Записки о древней и новой России»...

Любимым салоном Пушкина и Вяземского той осенью был дом княгини Зинаиды Александровны Волконской. «Царица муз и красоты» жила на Тверской. Вяземский помнил ее с детства — Зинаида была дочерью князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, друга покойного Андрея Ивановича; они встречались на детских балах еще допожарной Москвы, Вяземский бывал в поместье ее отца Ясеневе. Потом долго не виделись — Зинаида вышла замуж за князя Волконского, жила в Италии, Петербурге, Одессе. Всюду она блистала красотой и талантами — писала изящную прозу по-французски, сочиняла оперы, в которых сама исполняла главные партии, изучала древнюю русскую историю... В ее доме собирались все московские поклонники искусств. «Дом ее был как волшебный замок музыкальной феи, — писал Вяземский, — ногою ступишь на порог, раздаются созвучия... Там стены пели; там мысли, чувства, разговор, движения, все было пение».

У Волконской Пушкин и Вяземский чувствовали себя чуть ли не классиками. К Зинаиде приходило новое поколение московских словесников и околословесных людей — Сергей Соболевский, Степан Шевырев, Иван Киреевский, Михаил Погодин, Дмитрий Веневитинов... Но, пожалуй, главным «угощением» вечеров считался Адам Мицкевич. Он был выслан по политическому делу из Ковно и приехал в Москву 12 декабря 1825 года. У него было с собой рекомендательное письмо поэта Авраама Норова Вяземскому... Мицкевичу было двадцать семь лет. Резкое худощавое лицо, вьющиеся черные волосы — он скорее напоминал француза, нежели поляка. Мицкевич был умен, благовоспитан, утонченно вежлив, держался просто, не корчил из себя политическую жертву... «Мицкевич с первого приема не очень податлив и развертлив, но раскусишь, так будет сладко», — писал князь жене. «Раскусить» удалось довольно быстро: Вяземский, хорошо знавший польский язык еще с варшавских времен, стал проводником Мицкевича по Москве и крепко с ним подружился. У Волконской Мицкевич стал завсегдатаем и иногда импровизировал по-французски, прозой, на

заданную тему. Его лицо тогда страшно бледнело, глаза смотрели поверх слушателей в какую-то недостижимую даль... В эти минуты все ему покорялись — невозможно было не восхищаться «огнедышащим извержением поэзии»... Пушкин вскакивал, восклицая: «Quel génie! Quel feu sacré! Que suis-je auprès de lui!*»... Впечатления от этих импровизаций Пушкин позже передаст в отрывке «Египетские ночи», а Вяземский — в статье «Мицкевич о Пушкине».

В конце 1826 года в Университетской типографии вышла книга «Sonety Adama Mickiewicza»**. Вяземский отозвался на нее в «Московском телеграфе» большой рецензией. «Г-н Мицкевич принадлежит к малому числу избранных, коим предоставлено счастливое право быть представителями литературной славы своих народов», — пишет он. И тут же, по уже привычной его читателям традиции, пускается в рассуждения о судьбах польского языка, Польши вообще, о сонете, Байроне, затем следует огромный пассаж о том, что возвышенные умом и чувствами люди неизбежно сближаются, возникает *стачка* гениев... «Извиняться ли мне перед читателями за длинное отступление? — лукаво спрашивает князь. — *Написанного не вырубить топором*, говорит пословица, а особливо же если топор в руке авторского самолюбия. На всякий случай предоставим вырубку секире критики, а сами обратимся к сонетам, как будто ни в чем не бывало».

Вяземский же стал первым переводчиком Мицкевича на русский — он перевел прозой двадцать его сонетов (они были опубликованы в приложении к рецензии). Получились небольшие изящные стихотворения в прозе. «Надеемся, что сей пример побудит соревнование и в молодых первоклассных поэтах наших и что Пушкин, Баратынский освятят своими именами желаемую дружбу между польскими и русскими музами», — писал князь. С подстрочника Вяземского были сделаны и первые поэтические переводы Мицкевича на русский — уже в 1829 году Иван Козлов опубликовал книгу «Крымские сонеты», высоко оцененную самим Мицкевичем. Предисловием к ней послужила рецензия Вяземского.

Дружбой Вяземского Мицкевич очень дорожил и доверял вкусу русского поэта. Именно князю принес он новую поэму «Конрад Валленрод», и Вяземский, по свидетельству

---

* Какой гений! Какой священный огонь! Что я в сравнении с ним! (*фр.*).

** «Сонеты Адама Мицкевича» (*польск.*).

друга Мицкевича Л. Реттеля, «прежде всех ознакомился с рукописью «Валленрода», оценил его по достоинству и помогал ему изо всех сил проскользнуть сквозь цензуру». И много позже, когда политические взгляды Мицкевича изменились, общение с Вяземским доставляло ему только радость. На посту товарища министра просвещения Вяземский добился разрешения опубликовать поэму «Пан Тадеуш» в Варшаве. «Из друзей-русских и почитателей Мицкевича всех лучше умел его оценить, полюбить и остаться до конца ему верным князь Вяземский», — заключает Л. Реттель.

...Журнальные хлопоты продолжались, «Московский телеграф» выходил исправно и приносил доход, и Вяземский все еще надеялся залучить в него — не временно, а на постоянной основе — Пушкина. Но Полевой у Пушкина не вызывал никакого энтузиазма (хотя несколько новых стихотворений в портфель редакции он дал). Куда больше его интересовал новый журнал «Московский вестник», вокруг которого собрались молодые посетители салона Волконской, члены и сочувственники «Общества любомудрия». «Вестник» издавал молодой историк Михаил Погодин, в нем печатались Веневитинов, Шевырев, Алексей Хомяков, князь Владимир Одоевский. Все они были одарены многими талантами: Погодин писал драмы (несколько суконные) и прозу, Хомяков и Веневитинов — стихи, Одоевский интересовался сразу многим — музыкой, литературой, историей, экономикой... Но все они были при этом *немцы*, то есть воспитывались на философии Шеллинга. Это Вяземскому казалось скучным — он не мог понять, как можно совместить Шеллинга с поэзией и зачем их вообще совмещать. «Я не дам и шиллинга за Шеллинга, — говорил он Пушкину. — И охота тебе знаться с москворецкими немчиками?» Пушкин, как всегда, хохотал, но с «немчиками» не переставал встречаться. «Бог видит, как я немецкую метафизику презираю, — отвечал он, — да что ж делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а черт свое...» Впрочем, что-то у него с «теплыми ребятами» все же не заладилось... И в «Телеграф», популярнейший «Телеграф» он так и не захотел идти... «Итак, никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! все в одиночку, — писал Пушкин князю 9 ноября, уже из Михайловского. — Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно». Полевой, по мнению Пушкина, кандидатура неподходящая: в силу своей безграмотности. «Согласись со мной, что ему невозможно доверить издания

журнала, освященного нашими именами, — продолжал Пушкин. — Впрочем, ничего не ушло. Может быть, не Погодин, а я буду хозяин нового журнала. Тогда, как хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к матери в гузно». Вяземский упрямо стоял на своем: «денежная спекуляция» вернее с Полевым, «Телеграф», в который вложено столько сил, бросать жалко и совестно, а вестниковская молодежь хоть и не без дарований, но удивительно надменна. А поскольку характер у Вяземского тоже не сахар, конфликтов не миновать.

Пушкин, не желая ссориться с Вяземским, с ним не спорил, но старался не потерять связей и с молодежью. Погодину он писал: «В «Телеграфе» похвально одно ревностное трудолюбие — а хороши одни статьи Вяземского, — но зато за одну статью Вяземского в «Телеграфе» отдам три дельные статьи «Московского вестника». Его критика поверхностна или несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны, он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться; важное достоинство, особенно для журналиста!» (В печати он скажет деликатнее: «Критические статьи князя Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостию самого софизма».)

Впрочем, при всей своей нелюбви к «надменным» метафизикам московского разлива, Вяземский не мог не видеть, что литературная молодежь умна и талантлива. Многие «любомудры» станут впоследствии добрыми знакомыми князя. Да и в конце 1825 года Вяземский не отказался поучаствовать в альманахе Погодина «Урания» — там его стихи появились в соседстве с произведениями юных Веневитинова, Шевырева и Тютчева. (Это была первая заочная встреча Вяземского с Тютчевым...) «Все они более или менее отличаются или игривостию мыслей, или теплотой чувства, или живостью выражения», — писал Вяземский.

Как в черную бездну канул страшный 1826 год... Все-таки сработал извечный закон русской жизни, новое царствование и впрямь началось с ощущения новизны. Словно гроза грянула над Россией, освежила, сожгла посевы и — пролетела... Пока что *дышалось.* И всю первую половину 1827-го в Москве был Пушкин, и Баратынский с женою поселился в доме тестя своего — буквально напротив Вяземского, тоже в Большом Чернышевом переулке... Летит светская жизнь. «Поутру на похоронах, в полдень на крестинах,

а к вечеру до утра на балах», — писал о князе Федор Толстой. Журнальные хлопоты поглощают его целиком (с коротким перерывом на летний Ревель — там снова Ольга Пушкина, Карамзины, приехал и Дельвиг). «Как трудно у нас издавать журнал, — жалуется Петр Андреевич Александру Тургеневу. — Вовсе нет сотрудников, а все сотрутни. Чужих материалов нет, своих не бывало. Пишущий народ безграмотен; грамотный не пишет. Наши Шатобрианы, Беранжи, Дарю гнушаются печати, и вертишься на канате перед мужиками в балагане журнальном, под надзором полицейского офицера, один с Булгариными, Каченовскими и другими паяцами, которые, когда расшумятся, начнут ссать на публику. Вот портрет автора в России». О том, как не хватало Вяземскому-журналисту авторов, красноречиво говорят его письма к уехавшим за границу Жуковскому и Тургеневу: князь буквально умоляет их прислать свои путевые заметки...

И все же даже при острой нехватке материалов «Московский телеграф» умудряется оставаться модным и летит вперед на всех парах. Полевой судит о Викторе Гюго, Вальтере Скотте, Гофмане, Бенжамене Констане; Вяземский публикует «Письма из Парижа», «Поживки французских журналов в 1827 году» (цензура пропустила их почему-то только через год), «Об альманахах 1827 года», «Сочинения в прозе В. А. Жуковского», «О злоупотреблении слов» (эту статью, во многом навеянную «Придворной грамматикой» Фонвизина, Вяземский написал еще в 1818 году), «Журналистика», «Об альбоме г-жи Шимановской», «Цыганы, поэма Пушкина», бесчисленные рецензии, обзоры, переводные статьи... «Пишущий народ безграмотен» — это, конечно, преувеличение, но, говоря по чести, по-прежнему все дарования русской литературы можно перечесть по пальцам. «Один хороший автор рождает сотни читателей... Утверждать, что у нас не пишут оттого, что не читают, значит утверждать, что немой не говорит оттого, что его не слушают. Развяжите язык немого, и он будет иметь слушателей. Дайте нам авторов; пробудите благородную деятельность в людях мыслящих — и читатели родятся». Это еще 1823 год, но картина мало переменилась. Нет русской критики, нет романа... Нет переводного прозаического слога. Только-только образовался язык драмы («Борис Годунов» Пушкина). Образовывается язык поэзии (и снова Пушкин)... Сколько всего предстоит! Сколько еще переводов, статей, стихов, дружеских встреч за шампанским!.. Сколько планов! И сколько новых рифм спрятано в чернильнице!.. Отложив пачкающую руки корректуру, Вяземский не может скрыть усмешку, читая статью

в парижском «Ревю энсиклопедик»: «Произведения Вяземского носят отпечаток живого и просвещенного ума; его стиль отмечен вдохновением, сжатостью, яркой самобытностью; его поэзия исполнена идей и острот, блещущих изобретательностью и доставляющих наслаждение. Но то, что преимущественно отличает его, — это убеждения, согласованные с прогрессом просвещения и современным состоянием наших знаний». Ну, и что же смешного? Ровно ничего, за исключением названия статьи — «Joukowsky, Chakhovsky, Merzliakov et Viazemsky»*... Каково соседство?..

«Я хотел бы, кроме журнала, издавать «Современник» по третям года, соединяющий качества «Quarterly Review» и «Annuaire Historique», — пишет Вяземский Тургеневу 12 ноября. — Я пустил это предложение в Петербург к Жуковскому, Пушкину, Дашкову. Не знаю, что будет; дальнейшие толки об этом отложены до приезда моего в Петербург в январе. Но вряд ли пойдет дело на лад: у нас, в цехе авторском, или деятельные дураки, или бездейственные умники. Жуковский решительно отказывается от пера... Я на днях написал ему длинное письмо об этом и, по обыкновению своему, немного поругался...» Так и появилось в будущем славное название... Но до «Современника» еще далеко.

«Тут жить нечем, — звучат в его письмах совсем другие, грустные и земные нотки. — Вдобавок ко всему сгорело у меня дочиста костромское село. Совершенно не знаю, что придется делать. Служить нет охоты и никакой пользы не предвижу. Из совести, из любви к благу служить у нас не можно; из денег не стоит того, потому что денег дадут немного. Пришлось бы служить, как кухарке, *из чести лишь одной*. Между тем дети подрастают: средства к воспитанию у нас затруднительны. Надобно счастие, чтобы попасть на добрый выбор, и деньги, чтобы заплатить это счастие. А у нас нет ни того, ни другого». Вера Федоровна с детьми в саратовской деревне, Павлуша болен корью, Маша только недавно оправилась от скарлатины. Вяземский рвется к ним, но его держат в Москве скучные дела с Гражданской палатой — требуется уплатить в казну восемь тысяч, какой-то чуть ли не отцовский еще долг... И мало-помалу начинаются трения с Полевым — издатель «Телеграфа» много задолжал Вяземскому. Полевой хлопает своими честными глазами, разводит руками, лепечет что-то невнятное... Да, «трудно у нас издавать журнал»... особенно с такими издателями... «Как ты думаешь, даст ли мне Полевой хоть на сапоги за го-

---

* «Жуковский, Шаховской, Мерзляков и Вяземский» (*фр.*).

довую работу мою для Телеграфа? — спрашивал Вяземский жену. — Перед отъездом объяснюсь с ним». «Умоляю тебя, не позволяй Полевому поступать с тобой недостойным образом, — отвечает княгиня. — Ты сказал чистую правду, поведение его лакейское...» Дальнейшее соседство с Полевым было князю неприятно. Добрая душа Баратынский обещал последить за Полевым в его отсутствие и даже настоял на том, чтобы издатель выплатил Вяземскому три тысячи. В конце концов после двух с половиной лет журнальной горячки можно позволить себе отдых... Он еще раздумывал о предполагаемом «Современнике», но 19 ноября с грустью сообщил Тургеневу: «Я хлопочу о журнале, а между тем, вероятно, мое журналистическое и авторское поприще кончится с нынешним годом. Здесь дан нам в цензоры Аксаков, который воевал против меня под знаменами Каченовского, а ныне греется под театральными юбками Кокошкина, Загоскина и всей кулисной сволочи, явно восстающей против меня и Телеграфа. Если не заставят Аксакова образумиться, то положу перо: делать нечего». В конце концов он махнул на все рукой и твердо решил на Рождество приехать к жене в Мещерское Саратовской губернии — имение ее отчима Кологривова.

В семь часов вечера 12 декабря 1827 года Вяземский выехал в Мещерское. Шестьсот девяносто шесть верст пути тонули в степных снегах. Вместо оглушительного полонеза, писем, журнальной сволочи — звон бубенцов и тихая песня ямщика... Вяземский сдвинул шапку на лоб, закрыл глаза, пытаясь забыть обо всем и уснуть.

13 декабря, в полдень — Владимир; ночью — Муром, на другое утро замерзшей белой Окой выехали к Выксе, большому селу, вокруг которого стояли три чугуноплавильных завода братьев Баташевых. За Выксой был самый большой отрезок пути — все время на юг. 16 декабря в десять часов вечера въехали в Пензу, оттуда еще восемьдесят пять верст на юг — на Елань и, наконец, 17-го после обеда — Мещерское; издалека было видать колокольню только что построенного сельского храма... Село было обширным, растянулось на целых три версты. Это северо-запад Саратовской губернии (до Пензы гораздо ближе, чем до Саратова). Совсем недалеко — лермонтовские Тарханы и Мара Баратынского.

Саратовские края — степи, в которых, как острова в море, затеряны городки — Аткарск, Вольск, Петровск, Сердобск... Зимою огромные пространства покрыты снегом. А в снегах этих лежат деревни и села соседей с «говорящими» названиями — Радищево, Чаадаевка, Лунино, Голицыно...

имение трех Бекетовых — Новая Бекетовка; с одним из братьев, отставным мичманом Николаем, Вяземский приятельствовал (этот Бекетов — прадед Александра Блока). Деревня Бориса Полуэктова Шатки... Словом, «кругом соседей много есть». Глушь, оказывается, не такая уж и глухая.

Вяземский уже бывал в этих краях в арзамасские времена. Снег... снег... Пофыркивают замерзшие лошади. Ямщик изредка подбодрит их вожжами, прикрикнув: «Ну, чтоб вас...» Проползают мимо верстовые столбы — единственный признак цивилизации. На станциях — обжигающий чай, тараканы, непременный портрет Кутузова, засиженный мухами, какой-нибудь мимоезжий штабс-ротмистр... И дальше, дальше... без конца дорога... Не верится, что где-то есть Москва, Петербург, Париж... Никаких журналов, рецензий, Полевых... Воздух тонок, прозрачен — дышать легко. И ни живой души на земле — только затерявшаяся в снегах кибитка. За полозьями тянется рыхлый след, в белом небе — холодное неживое солнце.

День светит; вдруг не видно зги,
Вдруг ветер налетел размахом,
Степь поднялася мокрым прахом
И завивается в круги.

Снег сверху бьет, снег веет снизу,
Нет воздуха, небес, земли;
На землю облака сошли,
На день насунув ночи ризу.

Штурм сухопутный; тьма и страх!
Компас не в помощь, ни кормило:
Чутье заглохло и застыло
И в ямщике и в лошадях.

Все как обычно: стоит ему вырваться за тесно означенный московский круг, стряхнуть с души светские и журнальные обязанности (одна другой стоит), позабыть о постоянной смирительной рубашке, в которой душу держишь, как поневоле тянет к перу. Во второй половине 20-х, вернувшись в большую поэзию «Нарвским водопадом» и «К мнимой щастливице», он много публиковался, вновь подтвердив свою репутацию одного из лучших поэтов страны. Но его поклонники не могли не чувствовать, что Вяземский изменился. Политическая тема в его поэзии угасла в 1820-м, своеобразно преломляясь впоследствии разве что в редких эпиграммах. Вяземский-элегик, в сущности, так и не состоялся: хотя «Уныние» единогласно было признано шедевром, все же нельзя было отделаться от мысли, что элегии Вязем-

ского — это вариации на темы, заданные Жуковским... Мелькнула у князя и «байроническая» тема, но бурнопламенного в его характере было явно недостаточно: став виднейшим теоретиком русского романтизма, сам он внес в его развитие очень скромный вклад...

Спасителем и вдохновителем Вяземского-поэта во второй половине 20-х годов стал Пушкин. Однако долго мажорная, светлая, полная юмора и воли к жизни струна в поэзии Вяземского звучать не будет. Уже в начале 30-х вынырнут из забвения мотивы неудачи, смирения, впервые раскрытые им в элегиях «К воспоминанию» и «Уныние» — и будут со временем разрастаться, пока не станут магистральной темой поэзии Вяземского. Недаром в 1857 году он напишет второе «Уныние», а стихов-воспоминаний, обращенных в прошлое, у позднего Вяземского не перечесть...

Но пока, в 1825—1828-м, он весь во власти пушкинской музы, наслаждается «Онегиным» и пишет «дорожные» стихи в жанре рифмованной болтовни — слегка остроумные, немного грустные, полные лукавых отступлений от темы. Первым опытом в этом роде стала «Станция» 1825 года, за ней последовали «Коляска» и гораздо менее удачная, сбивающаяся на обычный мадригал «Саловка»* (Вяземский хотел объединить их в одно «Путешествие в стихах»). Таковы «Зимние карикатуры. Отрывок из журнала зимней поездки в степных губерниях. 1828», где понемногу достается всем приметам типичной русской зимы — романтическому месяцу, бегущему над санями, подруге путешественника кибитке, традиционной метели и даже обозам, которые «несут к столицам ненасытным» гречиху, рожь, овес и «мерзлых поросят», предмет радости отставного бригадира... Этот цикл далеко не шедевр в поэтическом отношении, с пера Вяземского то и дело срываются труднопроизносимые сочетания слов (хотя добродушный Пушкин и писал о «Зимних карикатурах»: «Стихи твои прелесть... Обозы, поросята и бригадир удивительно забавны»).

А вот князь совсем в другом настроении:

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,

---

* *Саловка* — село на границе Саратовской и Пензенской губерний (ныне Пензенская область). Через него шел путь из Мещерского в Пензу.

Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
....
Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он, русский бог.

К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он, русский бог.
....
Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.

Долгие годы «Русский бог» был предметом особенной гордости советского литературоведения: как же — редкое по резкости своей осуждение николаевского режима; в 1854 году его выпустила отдельным листком герценовская Вольная русская типография, Огарев перепечатал в «Русской потаенной литературе XIX века» и — кульминация! — сам Карл Маркс, не смутясь, надо думать, финальной строфой, заказал для себя немецкий перевод «Русского бога»!.. За эти революционные факты Вяземскому (который ни сном ни духом не был в них повинен и, конечно, так никогда и не узнал, что им интересовался Маркс) многое прощалось. Между тем ожесточенный до крайности «Русский бог» был написан одним духом после какого-то неудачного вояжа по провинциальным дорогам: «Дорогою из Пензы, замученный и сердитый, написал я, или сотворил, следующую песню...» Было *все вместе* — и метель, и ухабы, и тараканы на станции, чье-то заложенное-перезаложенное поместье, тут же вспомнилось недоходное Остафьево, попался какой-нибудь глупый мужик с горьким лицом и опухшими ногами, какой-нибудь отставной коллежский советник в санях с двумя лакеями и Анной на шее... Не из ряда вон выходящие злодеяния — *самые обычные русские вещи*, свойственные не только

«николаевскому режиму», а России вообще. И именно обыденность происходящего, его вечность и неизменность — убивали... Неужели всегда так будет в России — тараканы, грязь, бесконечно далекие друг от друга (в прямом и переносном смысле) люди? Может, вспомнились ему польские дороги? тихий чистенький Ревель, где уже «не совсем Россия»?.. «Конечно, Русский Бог велик и то, что делается у нас впотьмах и наобум, иным и при свете не удастся сделать, — еще в 1822 году, в Нижнем Новгороде, занес он в записную книжку. — При нашем несчастии нас балует какое-то счастие. Провидение смотрит за детьми, пьяными и за русскими». Восемь строф «Русского бога» выплеснулись на бумагу сразу, без всякой внешней отделки; финальную, про немцев, князь дописал потом. Это была, конечно, не поэзия, а зарифмованный фельетон, дневниковая запись, сделанная под горячую руку.

Русская провинция... Найдешь в ней и умника, который слывет средь соседей опасным вольнодумцем (отставной штабс-капитан Юрий Никитич Бартенев, которого Вяземский звал «мистиком, философом, классиком, романтиком и хиромантиком», «умным, образованным, великим чудаком»), и восторженную девицу, пишущую стихи (Анна Ивановна Готовцева, в которой Вяземский принял большое участие и даже посвятил ей «Стансы»)... 5 января 1828 года князь решил проехаться в Пензу; выехали в тихую теплую погоду, но буквально через полчаса грянули ужасный мороз и вьюга, форейтор отморозил себе нос и колено, ямщики отказывались везти, несмотря на обещания двойных прогонов... Просидели пятнадцать часов в дымной избе в обществе телят, куриц, родильницы с трехдневным младенцем и тараканов... После этого Пенза показалась довольно приличной и многолюдной, особенно понравились Вяземскому местные дамы. Он представился губернатору Лубяновскому, навестил мать Вигеля... Вспомнил, конечно, и об отце, когда-то пензенском наместнике, усмехнулся его мечте «в Пензе сделать Лондон»... Вот, например, местный *храм муз*: «Пензенский театр. Директор Гладков-Буянов, провонявший чесноком и водкой. Артисты крепостные... Театр, как тростник от ветра колыхаясь, ветхий и холодный, род землянки. В ложи сходишь по лестнице крючковатой. Освещение сальными свечами, кажется поголовное по числу зрителей: на каждого зрителя по свечке. В мое время горело — или, лучше сказать, тускнело — свеч 13. Я призвал в ложу мальчика, которого нашел при дверях, и назначил его историографом и биографом театра и артистов и содержателя.

«Кто эта актриса?» — «Саша, любовница барина. Он на днях ее так рассек, что она не могла ни ходить, ни сидеть, ни лежать». — «Кто эти?» — «Буфетчик и жена его!» — «Этот?» — «Семинарист, который выгнан был из семинарии за буянство»... Гладков имеет три охоты, которые вредят себе взаимно: охоту транжирить, пьянство и собачью. Собаки его не лучше актеров. После несчастной травли он вымещает на актерах и бьет их не на живот, а на смерть. После несчастного представления он вымещает на собаках и велит их убивать... Впрочем, *Саша* недурна собою и не многим, а может быть, и ничем не хуже наших императорских. Актер также недурен. Давали *Необитаемый Остров, Козачий Офицер* и дивертиссемент с русскими плясками и песнью *За морем синичка не пышно жила*... Больнее всего, что пьяный помещик имеет право терзать своих подданных за то, что они дурно играли или не понравились помещику. Право господства не должно бы простираться до этой степени... И после таких примеров находятся еще у нас заступники крепостного состояния!.. Возмущения нынешние в деревнях приписывают проделкам либералов. Кто из либералов... действовал на крестьян? Рабство, состояние насильственное, которое должно по временам оказывать признаки брожения и, наконец, разорвать обручи недостаточные».

Он строит планы: съездить на месяц в Петербург (на то есть причина), а летом — в Сарепту, из Нижнего в Астрахань на пароходе... И даже, может быть, заграничное путешествие. В два месяца можно бы съездить в Лондон и обратно, заглянув еще на две недели в Париж... Жена вовсе не против. Деньги на поездку — от издания стихов книгою.

...На письменном столе в Мещерском — весточка от Жуковского: «Не могу быть поэтом на досуге. Могу им быть только вполне, то есть посвятив себя исключительно музам»... Хорошо Жуковскому — постранствовал по Европе, согрел душу прекрасным, нашел счастье в занятиях с великим князем (теперь уже наследником), и еще хватает его на стихи, переводы — бездна сил в этом тихом на первый взгляд человеке... *В боренье с трудностью силач необычайный.* А ему, Вяземскому, именно что приходится быть поэтом на досуге, преодолевая вещественность. И не может он по природе своей писать о том, что греет сердце, — лезет под перо то, что возмущает... Но станет ли сил?.. Молодости уже нет. Нет и задора. Он вдруг со страхом подумал, что души его не только на других никогда не хватало (в противоположность Жуковскому), но и на себя самого... А если предстанет ему одиночество? *Намек* на него есть и сейчас: «дружеская ар-

тель» распалась. Пушкин сам по себе, он холоден, его не ухватишь, у него свое на уме. Жуковский при дворе. Батюшков в сумасшедшем доме. Александр Тургенев за границей... Все справляются с жизнью в одиночку. Никому ни до кого дела нет. Давно уже не слыхать веселых гусиных кликов бывших арзамасцев. Хотя — как сказать...

Он отложил письмо Светланы, придвинул письмо Кассандры, полученное еще в сентябре, в Москве... Представил себе некрасивое, умное, волевое лицо Блудова. И тут же подумал о Булгарине.

История русской литературы уже в предпушкинское время была богата яркими биографиями писателей — довольно вспомнить трудную карьеру Державина или полную лишений жизнь Ермила Кострова, судьбу подвижника Тредиаковского или многогранного таланта Николая Львова... Но именно Фаддей Венедиктович Булгарин первым открыл для русской словесности биографию авантюрную. Не зря Вяземский называл его «зайцем, который бежит между двух неприятельских станов». Рано ставший полнеть, с симпатичным, немного женственным пухлым лицом, с живо все подмечавшим взглядом, Фаддей Венедиктович и впрямь немного смахивал на зайца, всегда готового улепетнуть, но при том лукавого и нахального.

Он родился в 1789 году в семье бедного польского шляхтича, отчаянного либерала, который назвал сына в честь Тадеуша Костюшко. Девяти лет Булгарин поступил в петербургский Сухопутный шляхетский корпус, где начал сочинять стихи. В 1807 году уланский корнет Булгарин сражался с французами под Фридландом, был ранен и награжден орденом Святой Анны III степени. Но за сатиру на великого князя Константина его перевели в провинциальный полк, а в 1811 году за «худую аттестацию в кондуитных списках» вовсе уволили. Булгарин подался в Ревель, потом оказался в Варшаве и Париже, где вступил уже во французскую армию. В составе польского корпуса он воевал в Испании, а за Русскую кампанию получил орден Почетного легиона и чин уланского капитана. После войны Булгарин обретался в Вильно, где много публиковался в местной прессе. С 1819 года жил в Петербурге, где сначала воспринимался всеми как польский литератор. Но Фаддей Венедиктович удивительно быстро оброс связями в русской словесной среде — подружился с Рылеевым, Бестужевым, Кюхельбекером, Грибоедовым... Уже в 1822 году он начал издавать журнал «Северный

архив», год спустя — приложение к нему «Литературные листки», в 1825 году выпустил альманах «Русская Талия», где впервые поместил отрывки из «Горя от ума», в том же году стал соиздателем Греча по журналу «Сын Отечества» и начал выпускать коммерческую газету «Северная пчела» — в сущности, первую русскую газету современного типа («Пчела» активно практиковала скрытую рекламу, а ее материалы нередко были эксклюзивными). Уже в 1827 году начало выходить пятитомное собрание сочинений Булгарина. В общем, его биография вполне достойна небольшого авантюрного романа, и, кстати, именно Фаддей Венедиктович может считаться основоположником этого процветающего ныне в России жанра — его «Иван Выжигин» в 1829 году стал первым русским романом-бестселлером.

Как всякий новичок в литературных и издательских кругах, сначала Булгарин хотел дружить со всеми подряд, но, обзаведясь связями, стал позволять себе многое. Он напечатал в «Северном архиве» обширную отрицательную рецензию польского историка Иоахима Лелевеля на карамзинскую «Историю». В 1824-м раскритиковал статью Вяземского о Дмитриеве, резко противопоставив Дмитриеву Крылова. Пытался поссорить Жуковского с Пушкиным, Дельвига и Баратынского — с Грибоедовым... Булгаринская критика строилась по принципу «вы нас похвалите — и мы вас похвалим». Одним из первых, кто распознал в Фаддее Венедиктовиче оборотистого литературного барышника, был Вяземский — именно он первым, задолго до того, как ругать Булгарина стало модно, написал на него эпиграмму, чего самолюбивый польско-русско-французский улан, естественно, не простил. Он уже был широко известен, издавал популярнейшие журналы и газеты, его лучшим другом был сам Грибоедов (хотя были у них и крупные ссоры, в частности, после вышеупомянутой попытки противопоставить Грибоедова Баратынскому и Дельвигу) — нет, обид Булгарин не забывал и умел наносить ответные удары...

Как всякий журналист, он постоянно оглядывался в поисках потенциальных сотрудников и компаньонов. С ними он был ласков и почтителен. Стоило же ему убедиться, что использовать человека в своих интересах невозможно, как Булгарин начинал подозревать в нем конкурента и всячески старался убрать его с дороги. Именно так развивались его отношения с писателями «Полярной звезды» — пока они были в силе, Фаддей Венедиктович усердно крутился рядом; грянуло 14 декабря — и Булгарин поспешил откреститься от ставших бесполезными вчерашних друзей...

Именно так он строил отношения с Пушкиным — сперва льстил, искал приятельства, потом, после появления «Литературной газеты», поспешно расчехлил свою уланскую саблю и напал, грубо и откровенно, не гнушаясь ни клеветой, ни поклепами... Впрочем, тут Булгарин оскандалился: он не знал или забыл о том, что Пушкин находится под опекой-надзором императора. И реакция Николая I оказалась мгновенной: назвав булгаринскую статью о Пушкине «несправедливейшей и пошлейшей», он предложил вообще закрыть «Северную пчелу»!.. Так что с Пушкиным связываться было рискованно. И Булгарину приходилось делить с ним журнальный рынок.

Мятеж 14 декабря очень сильно помог ему — круг «Полярной звезды» был выкорчеван под корень, Воейков, пытавшийся утопить Булгарина доносом, довольно сумбурно вел свой «Русский инвалид», «Отечественные записки» Свиньина всерьез никем не воспринимались; журнальный Петербург опустел. Оставалась Москва. Новоявленный «Московский вестник» не казался Булгарину серьезным конкурентом (хотя на всякий случай он все же регулярно упоминал в своих доносах имена молодых литераторов из круга «любомудров»). Главным булгаринским соперником был «Московский телеграф». Его он откровенно боялся — за два года журнал приобрел множество сторонников, издатель его Полевой окреп, а задиристая критика Вяземского обеспечивала изданию сотни постоянных подписчиков... В сущности, это был самый модный русский журнал. Но Фаддей Венедиктович прекрасно понимал, что журналу, как бы популярен он ни был, нужны высокие покровители. А за «Телеграф» заступиться некому. Это издание частное, неофициальное, и Вяземский с Полевым, при всех их талантах и известности, не защищены ничем. Над ними нет августейшего покровителя-цензора. У них есть известность, подписчики, репутация, но кого и когда это спасало в России?..

Фаддей Венедиктович точно просчитал все свои ходы. Сперва он предложил Полевому бросить Вяземского и издавать «Телеграф» вместе. Полевой отказался. Тогда Булгарин объявил ему войну. Но если Полевого он хотел просто убрать с журнального рынка, то Вяземского Булгарин мечтал не только обезопасить — *исправить* его. «*Знатные и богатые люди*, — писал он. — Преждевременное честолюбие, оскорбленное самолюбие, неуместная самонадеянность заставляет их часто проповедовать правила вредные для них самих и для правительства. Весьма легко истребить влияние сих людей на общее мнение и даже подчинить их господствующе-

му мнению... Их легко можно перевоспитать, убедить, дать настоящее направление умам». Итак, пришло время заносчивому и честолюбивому князю Вяземскому расплатиться за свои эпиграммы и шуточки в адрес скромного литературного труженика Булгарина.

...Первые доносы на Вяземского поступили «наверх» еще в ноябре 1826 года. Тогда его вместе с Пушкиным назвали «меценатом молодого Погодина»: «Два человека в Москве, князь Петр Андреевич Вяземский и Александр Пушкин, покровительством своим могут причинить вред. Первый, которого не любили заговорщики за бесхарактерность, без всякого сомнения более во сто крат влиял противу правительства, образа правления и покойного государя, нежели самые отчаянные заговорщики. Он frondeur par esprit et caractère* — из ложного либерализма отказался даже от камер-юнкерства и всякой службы, проводит время в пьянстве и забавах в кругу юношества и утешается сатирами и эпиграммами. В комедии «Горе от ума» — зеркале Москвы, он описан под именем князя Григория». Но этот донос остался для Вяземского без последствий, если не считать распоряжения главноуправляющего Третьим отделением собственной Е. И. В. канцелярии А. Х. Бенкендорфа «не терять из виду интимные связи» Вяземского и Пушкина.

Останавливаться на полпути было не в правилах Булгарина. Тем более и Полевой не стоял на месте и летом 1827 года начал добиваться разрешения на издание газеты «Компас» и журнала «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы»... Надо было спешить, и 19 августа 1827 года к Бенкендорфу поступил еще один донос на Полевого — а заодно и на Вяземского.

«В «Московском телеграфе» беспрестанно помещаются статьи, запрещенные с.-петербургскою ценсурою, и разборы иностранных книг, запрещенных в России, — читал Бенкендорф. — В нынешнем году помещались там письма А. Тургенева из Дрездена, где явно обнаружено сожаление о погибших друзьях и прошедших златых временах. Вообще дух сего журнала есть оппозиция... Г. Полевой, по своему рождению не имея места в кругу большого света, ищет протекции людей высшего состояния, занимающихся литературою, и, само собой разумеется, одинакового с ним образа мыслей. Главным его протектором и даже участником есть известный князь Петр Андреевич Вяземский, который, промотавшись, всеми средствами старается о приобретении денег.

---

* Фрондер по уму и характеру (*фр.*).

Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пиесе *Негодование*, служившей катехизисом заговорщиков, которые чуждались его единственно по его бесхарактерности и непомерной склонности к игре и крепким напиткам. Сей-то Вяземский есть меценат Полевого и надоумил его издавать политическую газету... Вообще, московские цензоры, не имея никакого сообщения с министерствами, в политических предметах поступают наобум и часто делают непозволительные промахи. По связям Вяземского, они почти безусловно ему повинуются... Г. Полевой, как сказано, состоит под покровительством князя Вяземского, который по родству с женою покойного историографа Карамзина находится в связях с товарищем министра просвещения Блудовым. Не взирая на то, что сам Карамзин знал истинную цену Вяземскому, Блудов из уважения к памяти Карамзина не откажет ни в чем Вяземскому».

Ну что ж, картина получалась действительно внушительная: Вяземский — неразоблаченный мятежник, к тому же социально опасная личность — бесхарактерная и имеющая склонность к крепким напиткам (крайне взрывоопасное сочетание)... Пользуясь тем, что московские цензоры «почти безусловно ему повинуются», он превратил «Московский телеграф» в свою вотчину, где свободно обсуждаются возмутительные предметы. Именно Вяземский протащил через московскую цензуру запрещенную в Петербурге поэму повешенного мятежника Рылеева «Войнаровский». Плюс еще готовящийся к изданию «Компас»... Словом, классический русский донос, мощный, красивый, убедительный... Его автором был управляющий Третьим отделением М. Я. фон Фок, а сведения поступили от Булгарина.

21 и 23 августа Бенкендорф получил от фон Фока еще два доноса. Там цитировалось «Негодование» Вяземского, приводилась подборка «крамольных» мест из «Телеграфа», перечислялись участники московской «либеральной шайки», а вывод звучал зловеще: «Если свыше не взято будет мер, то якобинство приобретет величайшую силу для действования на умы».

Бенкендорф ознакомил с доносами Николая I. Молодой император нахмурился — Вяземского он прекрасно помнил. Лично они знакомы не были, но и заочно князь раздражал Николая своей независимостью и высоким самомнением. Кроме того, он был литератор, а Николай относился к русской литературе с подозрением, потому что хорошо знал — от нее всегда можно ждать неприятностей. Он помнил, что в следственных делах заговорщиков присутствовали списки

возмутительных стихотворений «Петербург» и «Негодование». И то, что Вяземский не был замешан в мятеже, свидетельствовало лишь о том, что он был умнее и осторожнее других. Ну а в том, что в Москве продолжала действовать «либеральная шайка», атаманом которой был князь-сочинитель — в этом сомневаться нисколько не приходилось...

Принято думать, что Николай I буквально на дух не переносил Вяземского как человека. Вряд ли это соответствует истине. Скорее всего, император воспринимал его просто как неисправную деталь в огромном механизме, каким ему представлялась страна. Впоследствии, в 30-х и 40-х, государь относился к Вяземскому двойственно — не скупился на похвалы и поощрения, однако и не давал забывать, что имя князя «числится на черной доске». И даже будучи камергером, вице-директором департамента, академиком, заслужив множество комплиментов и наград от царя, Вяземский прекрасно знал: выше определенного уровня в царствование Николая I ему никогда не подняться.

В этом заключалась главная драма Вяземского-политика. С самого начала подвергнув князя незаслуженной травле, грубо сломив его волю, заставив стать обычным чиновником, Николай I не угадал в подозрительном Рюриковиче потенциального реформатора, человека пронзительного ума и отменных государственных качеств. Сложись обстоятельства иначе, Вяземский вполне мог бы сыграть огромную роль в формировании официальной российской идеологии, стать реформатором образовательной системы... Словом, в правительстве Николая I он безусловно был бы не последней фигурой. Но вся беда заключалась в том, что императору, по собственному его признанию, было «не нужно умных голов, а нужно верноподданных». Старинные приятели Вяземского — Блудов, Уваров, Дашков, Киселев — были гораздо менее яркими фигурами, чем князь, зато гораздо более верноподданными. Именно это и привело их на министерские посты в 30-х годах.

Итак, не разгадав Вяземского, не узнав в нем своего единомышленника (оба — и Николай, и Вяземский — благоговели перед Карамзиным), император решил исправить нестройную ноту в общем хоре. Не стоит думать, что Николай I, решая заняться Вяземским, хотел сделать приятное Булгарину. К нему, как мы видели выше, он относился с изрядной долей брезгливости и даже не знал толком, как Булгарин выглядит. «Северная пчела», хотя и считалась полуофициальной газетой, временами все же подвергалась правительственным экзекуциям за допущенные «промахи». Но частные

интересы Булгарина и «государственные» интересы императора в отношении Вяземского совпали. И это не было случайностью.

...Однажды Вяземский сделал в дневнике такую запись: «Напрасно некоторые угрюмые и желчные умы утверждают, что успех в свете есть достояние глупцов и злых. Нет, глупцы и злые не всегда торжествуют. Баловень успехов в свете есть человек дрянь. Это особенный тип: он и не умен и не глуп, не добр и не зол: все не то, а он просто и выше всего *дрянь*». Пожалуй, эту характеристику можно применить к человеку, которому поручили «вразумить» Вяземского, — к 43-летнему действительному статскому советнику и товарищу министра просвещения Дмитрию Николаевичу Блудову. В конце александровского царствования жизнь арзамасца Кассандры не складывалась: дипломатия ему надоела, литератором, в отличие от своих друзей, он так и не стал, ум и вкус, некогда почти безупречные, тускнели; он целиком посвятил себя семье и, отчаявшись, решил уж идти в отставку... 14 декабря все переменилось: его назначили правителем дел в Следственный комитет, что стоило ему потери дружбы Александра Тургенева. Карьера Блудова неожиданно пошла вверх. Пост товарища министра, на котором Вяземский в старости закончил свою государственную деятельность, для Блудова оказался только началом — впереди у него министерские кресла, президентство в Академии наук, председательство в Государственном совете и Комитете министров, графский титул... Он воспрял духом, жизнь ему улыбалась. Как за всякое дело, он старательно взялся за письмо Вяземскому, порученное государем. 26 августа проект письма был одобрен императором, а 31 августа послание отправилось по адресу.

(Вряд ли Блудов подозревал, что этим письмом проверяли главным образом его самого. Ведь в доносе поминалось, что «Блудов из уважения к памяти Карамзина не откажет ни в чем Вяземскому». Мнительность Николая I была напрасна: Блудов оказался верным слугой. Память Карамзина, конечно, он чтил высоко, но выручать старинного приятеля по «Арзамасу» из неприятностей, похоже, вовсе не собирался.)

Пространное письмо Блудова Вяземскому — «одно из самых подлых писем в истории русской литературы» (Ю. М. Лотман) и любопытнейший документ. Помимо того, что оно заставляет задуматься о том, насколько были присущи Блудову такие понятия, как честь и совесть, это еще и прекрасный образчик усмирительных рекомендаций русского правительства в адрес писателя — едва ли не первый в

России. Блудов говорит с Вяземским так, словно и не было семнадцати лет знакомства, взаимного уважения, планов издания книги, строк Вяземского: «О Блудов, наш остряк...». Все это в прошлом — Дмитрий Николаевич генерал, у него большая семья: нельзя рисковать карьерой, только-только пошедшей на взлет. И он пишет (оригинал по-французски):

«В № 1 «Телеграфа»... на стр. 8 ставится вопрос: *что сделали русские в течение двух последних лет*? А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите: *в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м; эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет!* Далее цитируются стихи Сади в переводе Пушкина. Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях, умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так».

(Речь идет о словах Вяземского: «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто... с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который передал нам слова Сади): Одних уж нет; другие странствуют далеко!» Все, и Блудов в том числе, прекрасно поняли, что Вяземский имеет в виду именно «людей, справедливо пораженных законом», — декабристов.)

«В вашем № 7, стр. 195, 196 и 197, обратило на себя внимание то, что вы говорите о *так называемой стачке или согласии* господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Нет сомнения, что талант Байрона замечателен; но известно, какое печальное употребление он часто делал из него, известно, что этого великого живописца страстей всю жизнь пожирали мрачные, почти доходящие до ненависти страсти вследствие своего рода гордого отвращения ко всему, что имеет право на любовь и уважение человечества... Поэтому можно справедливо удивляться, когда говорят о том, что люди нашего времени, выдающиеся своими талантами, придерживаются его взглядов... Также отмечены были в №№ 4 и 6, стр. 133—150 и 112—113, 114, весьма преувеличенные похвалы, расточаемые Жан-Жаку Руссо... Полагаете ли вы, что все эти замечания сделаны каким-нибудь личным врагом? Я этого не думаю...»

«Я вам рекомендую не только осмотрительность и осторожность, — продолжает Блудов свои наставления, — хотя осторожность также обязательна, особенно для отца семейства; существует еще более священная обязанность: долг совести и чести. Я глубоко убежден, что честь, совесть и разум совместно советуют и настоятельно предписывают вам не

только умеренность, покорность и верность, которых от вас вправе требовать правительство, но также уважение и доверие, на которое оно равным образом имеет право благодаря своим постоянным усилиям достигнуть цели всякого хорошего правительства: сохранения и улучшения всего существующего. Не утешительно ли думать, что всякий человек в своей особой сфере деятельности, какой бы тесной она ни была, может, проявляя добрые чувства, распространяя здравые мысли, поддерживая разумные надежды, способствовать более или менее успеху этих усилий, осуществлению видов правительства, желающего добра и только одного добра. Это назначение, хотя и скромное, раз оно может быть назначением каждого, не больше ли стоит, чем эфемерная слава дерзости и оригинальности, чем необдуманные поступки, часто имеющие последствия если не разрушительные, то по крайней мере прискорбные. Итак, я вам говорю и повторяю, будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны, действительно полезны; с вашим умом и вашими способностями, если они будут должным образом направляемы, вы легко этого достигнете. Этот совет я вам *передаю по повелению свыше*; но в то же время это и совет друга; я даю его шурину того, кто был... как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольнем мире нет совершенства. Я говорил вам также и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему. Ввиду конфиденциальности этого письма оно должно остаться между нами. Оно не требует ответа; самым лучшим ответом — и я надеюсь, что получу его — было бы известного рода покаяние, которого я желаю и требую от вас во имя всего, что вам дорого. Весь ваш Блудов».

Можно только попытаться представить, какие чувства испытал князь Петр Андреевич, прочитав это «дружеское» письмо. Никогда, никому еще русское правительство устами заместителя министра просвещения не предъявляло таких ультиматумов. Конечно, жестоко карали за явное вольномыслие (Радищев). Конечно, случалось, что писателю рекомендовали *не делать чего-либо* (скажем, не затрагивать определенную тему). Но ни Екатерине, ни Александру, ни даже Павлу не могло прийти в голову письменно указывать писателю, *что ему нужно делать.* Это было бы недопустимым вторжением в частную жизнь дворянина (а литературные занятия в России всегда были частным делом каждого. Самым выдающимся поэтам — Жуковскому, Гнедичу, Крылову — назначались государственные пенсионы, но никто их не

считал при этом служащими и не требовал у них отчета о проделанной работе)... Блудовское письмо возглашало о том, что настали новые времена. Вяземскому недвусмысленно дали понять, что «Московский телеграф» «под колпаком», не нравится власти и что достаточно любой мелочи, чтобы журнал был закрыт. От него самого ждут покаяния и «здравых мыслей». Частная жизнь независимого гражданина и издание популярного журнала расценивались как «дерзость и оригинальность». Нужно было быть «полезным, действительно полезным», то есть как можно быстрее сунуть шею в хомут государственной службы... Все это напоминало выговор строгого гувернера нашалившему малышу. В качестве аргумента Блудов не постеснялся выступить от имени покойного Карамзина, не постеснялся напомнить князю о том, что он — отец семейства... Впрочем, сам факт согласия Блудова написать приятелю такое письмо говорил о том, что служба для Дмитрия Николаевича превыше всего: приказали — выполнил... Вяземский подумал о том, что Блудов, может быть, вполне искренне желал ему вместо «эфемерной славы дерзости и оригинальности» мирной службы: кресты, чины, должности... чем плохо? Что тут позорного? И что необычного? Служат *все*. И он, Вяземский, седьмой год гордящийся своей отставкой, на общем фоне действительно странен.

Ничего конкретного ему не предлагали. Письмо Блудова при всей своей грозности допускало определенную свободу толкования, и за эту свободу Вяземский ухватился. Ответный шаг должен быть тонким: нужно выскользнуть из кольца облавы, прежде чем прозвучит сигнал начать травлю.

«Московский телеграф» он оставил почти без сожаления. Цензурные придирки Аксакова делали сотрудничество в журнале бесперспективным. Последней статьей Вяземского в «Телеграфе» стали «Поживки французских журналов в 1827 году», которые после долгих препирательств цензура все же пропустила. Причитающиеся Вяземскому деньги с Полевого получил Баратынский. Полевой в последнее время вообразил себя не только издателем, но и историком и заранее объявил подписку на свою (еще не написанную) «Историю Русского народа»... Самое название звучало явной полемикой в отношении «Истории государства Российского». Малейшая попытка оспорить заслуги Карамзина вызывала у Вяземского приступ ярости, поэтому на Полевом он сразу же поставил крест... Никаких отношений, кроме коммерческих, их не связывало, поэтому разрыв получился безболезненным с обеих сторон. Правда, Вяземский еще

около полугода сочувственно следил за своим бывшим детищем и просил друзей поддерживать журнал. Имя же Полевого отныне вызывало у него только отвращение.

А служба... что ж, служба тоже бывает разная. В январе 1828 года Вяземский приехал из Мещерского в Москву, 27 февраля прибыл в Петербург и сразу отправился к старинному своему приятелю Павлу Дмитриевичу Киселеву; они давно были на «ты», оба участвовали в Бородинском деле, а знакомство их относилось к временам допожарной Москвы...

Генерал-майор свиты Его Величества, начальник штаба 2-й армии Киселев — герой Наполеоновских войн, красавец, умница, одаренный многими талантами, слыл в русской армии «римлянином» — прямодушным, честным и неподкупным. Александр I очень ценил Павла Дмитриевича за эти качества и не раз посылал в инспекционные поездки, заранее зная, что отчет будет правдивым и нелицеприятным. Киселев был либералом — ровно настолько, насколько это не мешало карьере, — дружил с Михаилом Орловым, хотя и не состоял в тайных обществах, и в случае победы восстания явно не отказался бы от поста в революционном правительстве. Мгновенный крах мятежных друзей положил конец честолюбивым планам Киселева, но не поколебал его положения в армии. Впоследствии он завоевал уважение Николая I, стал первым министром государственных имуществ, получил графский титул, а при Александре II занял пост посла во Франции.

В 1828 году Киселев еще не был графом и министром — он только-только осматривался в новом царствовании. Близилась Русско-турецкая война, и 2-я армия готова была выдвинуться на боевые позиции, в Молдавию и Валахию. Войн с Турцией Россия вела немало, но эта была не совсем обычной — в ней Россия поддерживала добивающуюся независимости Грецию. Этой войны в России ждали все прогрессивные люди, о ней мечтали декабристы. Киселев сам предложил Вяземскому место в своем штабе: от столицы подальше, новые края, война за свободу греков, да и начальник по службе — давний друг и единомышленник... Этой идеей загорелся и Пушкин. Но Киселев неожиданно наткнулся на сопротивление начальника Главного штаба — генерала от инфантерии графа Дибича. Сгоряча Вяземский решил обратиться с прошением к самому императору, но Киселев отговорил его от этой затеи и дал рекомендательное письмо к главноуправляющему Третьим отделением собственной Е. И. В. канцелярии Бенкендорфу. Это князю пока-

залось странным — он не сомневался в том, что Бенкендорф «человек добрый», но... «зачем мне ехать на Бенкендорфа, если дорога моя на Россию и на царя?». Павел Дмитриевич, как опытный царедворец, мягко порекомендовал не делать резких движений и прислушаться к его совету. И Вяземский со смятением в душе отправился к Бенкендорфу...

Встреча с шефом жандармов произошла на лестнице его дома — Бенкендорф спускался вниз под руку с женой, был недоволен настойчивостью, с которой Вяземский требовал аудиенции, и разговаривал сухо, сквозь зубы. Но когда за Вяземского попросил еще и князь Алексей Григорьевич Щербатов (муж рано умершей старшей сестры Вяземского Екатерины), Бенкендорф был вынужден встретить настойчивого просителя уже любезнее. На этот раз беседа получилась доброжелательной. Бенкендорф заверил Вяземского в том, что он на его стороне, и обещал похлопотать перед государем. За Пушкина он тоже обещал ходатайствовать. Перед обоими внезапно вспыхнула надежда — *сменить судьбу*... Война... армия... юг... Греция... Чем черт не шутит?.. Слухи о том, что для них уже подготовлены места в походной канцелярии императора, ширились с каждым днем. Киселев, уверенный, что все задуманное получится, 12 апреля с легким сердцем отправился на фронт. Вяземский и Пушкин остались в Петербурге ждать решения своей участи...

18 апреля, через три дня после объявления войны, друзья, не вытерпев, попытались получить аудиенцию у Бенкендорфа, но им было отказано. Тогда Вяземский и Пушкин составили и подали официальные прошения о зачислении их в действующую армию. И оба уже вряд ли верили в успех своего предприятия. В этот же день или даже днем раньше кто-то — может быть, Жуковский — сообщил Вяземскому и Пушкину о том, что их ходатайства скорее всего останутся безрезультатными. Пока что это известие было неофициальным. Но Вяземский буквально взбеленился. Можно подумать, что он просил командования дивизией или корпусом!.. Особенно его разозлило, что его, *коренного русского*, не берут на войну в момент общего патриотического подъема, когда «весело быть русским»: «Во мне не признают коренных свойств и говорят: сиди себе с Богом да перекрестись, какой ты русский! у нас русские — Александр Христофорович Бенкендорф, Иван Иванович Дибич, Черт Иванович Нессельроде и проч. и проч.».

Наверное, именно 18 апреля, почувствовав на себе, что есть *немцы* Бенкендорф, Дибич и Нессельроде, он и дописал последнюю строфу «Русского бога»:

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.

В тот же день, буквально кипя от гнева, Вяземский сел за огромное письмо Александру Тургеневу, в котором послал уже окончательный текст «Русского бога» и описал свои петербургские мытарства: «Высокие государственные чины занялись этим делом, как государственною важностью, и куда доброжелатели мои ни совались, находили везде уже приготовленную оппозицию. Говорили, что меня должно принять в службу, но не туда, куда я прошусь; а я все на своем стоял... Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в каталогах и в биографических словарях все-таки имечко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля Александра Христофоровича будет забыто, ибо, вероятно, Россия не воздвигнет никогда пантеона жандармам».

Вяземский писал это письмо в номере Демутова трактира. Время от времени перебрасывался словом с Пушкиным, который за туалетным столиком мрачно наводил блеск на ногти... Потом решили прогуляться. Вдвоем сели в лодку, пересекли под холодным ветром Неву, по которой шел мелкий лед, и отправились бродить по Петропавловской крепости. Был день Преполовения Пятидесятницы, по стенам крепости двигался крестный ход; друзья медленно шли вслед за ним... Много странного, и мрачного, и грозно-поэтического было в этой прогулке по каменным плитам старых бастионов. Был разговор, может быть, самый важный разговор Пушкина с Вяземским за всю историю их дружбы. Что делать дальше?.. В армию их, скорее всего, не пустят. Может быть, удастся вырваться в Париж? Или найти какую-нибудь другую *нестыдную* службу?.. Гуляя, они набрели на спиленные столбы от декабристских виселиц и взяли себе с этого места по пять сосновых щепок — по числу повешенных. Эти щепки Вяземский положил в особенный ящик с памятной заметкой — в знак того, что день 18 апреля был одним из важнейших в его жизни.

Вечером та же тема всплыла в разговоре между Пушкиным, Вяземским, Крыловым и Грибоедовым. Они собрались на третьем этаже Шепелевского дворца, в квартире Жуковского. Вяземский, мрачно веселясь, предложил отправиться в Париж вчетвером и там показываться публике за деньги, как жирафы или американские индейцы: не каждый день увидишь вместе сразу четырех русских литераторов!.. А потом написать совместные путевые заметки и продать их ко-

му-нибудь в России — да хоть и Полевому... Париж светил им с Пушкиным в те дни обетованной землей. Не раз возникало желание рвануть во Францию без паспорта — просто спрятаться в трюме какого-нибудь парохода... И, словно дразня себя, они часто выбирались в Кронштадт на проводы каких-нибудь счастливцев-приятелей, ехавших за границу на воды или по казенной надобности.

Между тем 19 апреля Бенкендорф карандашом набросал текст ответа на полученные им прошения друзей. На другой день, 20-го, Вяземский распечатал официальный (и вполне предсказуемый) ответ. Писарская рука и внизу — уверенная генеральская подпись.

«Милостивый государь, князь Петр Андреевич,

вследствие доклада моего Государю Императору, об изъявленном мне вашим сиятельством желании содействовать в открывающейся против Оттоманской Порты войне, Его Императорское Величество, обратив особенно благосклонное Свое внимание на готовность вашу, милостивый государь, посвятить старания ваши службе Его, Высочайше повелеть мне изволил уведомить вас, что Он не может определить вас в действующей против турок армии по той причине, что отнюдь все места в оной заняты. Ежедневно являются желающие участвовать в сей войне и получают отказы. Но Его Величество не забудет вас, и коль скоро представится к тому возможность, Он употребит отличные ваши дарования для пользы Отечества.

С совершенным почтением и истинною преданностию, имею честь быть

вашего сиятельства

покорнейший слуга

А. Бенкендорф».

Последняя надежда рухнула. Пушкину отказали в точно таких же вежливых выражениях. 21 апреля он послал Бенкендорфу просьбу отпустить его во Францию — снова отказ... А Вяземский в этот день начал письмо жене — письмо, где за ленивым ерничаньем и беспечными столичными сплетнями крылся тяжкий мрак, охвативший его душу. Иногда этот мрак прорывается: то раздраженьем против Киселева, которого Вяземский считает трусом, то яростным выпадом против «действительной свиньи» Нессельроде. «Эх, да матушка Россия! — вздыхает князь. — Попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее...»

Сам того не зная, Бенкендорф вдохновил Вяземского на создание одного из самых интересных его стихотворений —

«Казалось мне: теперь служить могу...». Вчерне оно было написано уже 20-го, то есть в день получения официального письма. Возможно, сочинялись эти стихи на глазах у Пушкина, во всяком случае, он выправил четыре строки. 22 апреля Вяземский доработал финал, введя в него великолепное курсивное *отнюдь* — издевательский намек на «...отнюдь все места в оной заняты...» из письма Бенкендорфа.

Казалось мне: теперь служить могу,
На здравый смысл, на честь настало время
И без стыда несть можно службы бремя,
Не гнув спины, ни совести в дугу.
И сдуру стал просить я службы. — Дали?
Да! черта с два! Бог даст, мне отвечали.
Обчелся я — знать, не пришла пора
Дать ход уму и мненьям ненаемным.
Вот так *отнюдь* нам, братцы, людям темным
Нельзя судить о правилах двора.

Маленький шедевр. Именно потому что очень личный, целиком посвященный раздражению. Не эпиграмма, скорее поэтическая дневниковая запись, домашняя, ядовитая и насмешливая — поделом наивному автору, «сдуру» попросившему службы...

...Странной выдалась петербургская весна 1828 года. Тогда в столице пересеклись многие любимые Вяземским люди — Пушкин, Жуковский, Крылов, Виельгорский, Козлов, Алексей Перовский, Дельвиг, Плетнев, Грибоедов, Мицкевич... Все словно торопились нагнать что-то ускользающее — вспыхивали мгновенные романы, проносились балы и пикники, вечеринки, прогулки, концерты, чтения... Одно за другим следовали события, вызывавшие общие толки: то триумфальное возвращение из Персии Грибоедова (14 марта), то война с Турцией (14 апреля), то принятие нового цензурного устава (22 апреля), то отставка министра просвещения Шишкова (23 апреля), то назначение Грибоедова посланником в Тегеран (25 апреля)... Все как будто пьяны были слегка от апрельского петербургского ветра, грядущих перемен, дружеских встреч. Это было пышное угасание александровской, «дружеской» эпохи русской литературы, ее Золотого века. И за всем этим — за планами совместной заграничной поездки, за вдохновенными импровизациями Мицкевича, за фортепьянными всплесками Марии Шимановской, за чтением Пушкиным нового романа «о дяде своем Аннибале» — сгущался какой-то трудноосознаваемый *мрак*, дыхание которого чувствовали все... Уходила молодость. Уходила эпоха.

Особенно тяжело было Вяземскому и Пушкину. Пожа-

луй, они никогда не были так близки, как весной 1828-го. Пушкин был мрачен, много пил и играл в карты. 5 апреля он начал было поэму «Полтава», но очень быстро бросил работу. На глазах Вяземского развивался его роман с Анной Олениной, вернее, не роман, а мучительная и заведомо обреченная попытка влюбиться всерьез, предпринятая одновременно с существованием многочисленных минутных связей. Вяземский в это время тоже пытался отключиться от реальности — бесчисленные балы и танцы соседствовали с ночными бдениями у друзей, с алкоголем и увлечением графиней Аграфеной Закревской, «медной Венерой», в объятиях которой перебывали, кажется, все звезды Золотого века. Плюс ко всему долгое безнадежное ухаживание за юной фрейлиной Александрой Россет. И мучительные, до бреда доходящие сомнения — как дальше жить?.. Или в службу — или вон из России... Голова горела. То же чувствовал и Пушкин. И не об этом ли времени вспомнит он в 1833-м, начиная вчерне «Пиковую даму»: «Года 4 тому назад собралось у нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к Софье Астафьевне побесить бедную старуху притворной разборчивостью; день убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга...»

21 мая Вяземский запиской пригласил всех на очередную вечеринку. 25-го, накануне 29-летия Пушкина, небольшой дружной компанией — Алексей Оленин-младший, Адам Мицкевич, Александр Грибоедов, младший брат Павла Киселева Николай, толстый веселый барон Павел Шиллинг фон Канштадт, известный остряк князь Сергей Голицын по прозвищу Фирс, Вяземский и Пушкин — отправились на пароходе в Кронштадт. Туда добрались удачно. Обратно — начался сильный ветер и дождь... Пароход качало. Бывшие на борту дамы перепугались не на шутку. Все много пили. Вяземский заговорил с Грибоедовым о том, что завидует ему и хотел бы ехать с ним хоть в Персию, хоть куда... Пушкин был хмур и угрюм. Через пять дней он напишет:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум...

«Однозвучный жизни шум» порядком утомил и Вяземского. Прощание со столицей получилось невеселым. «Петербург стал суше и холоднее прежнего, — сделал свой вывод князь. — Эгоизм брюха и жопы, добро бы европейский эгоизм головы, овладел всеми».

Я Петербурга не люблю,
Но вас с трудом я покидаю,
Друзья, с которыми гуляю
И, так сказать, немножко пью.

Я Петербурга не люблю,
Но в вас не вижу Петербурга
И Шкурина, Невы Ликурга,
Я в вас следов не признаю.

Я Петербурга не люблю,
Здесь жизнь на вахтпарад похожа
И жизнь натянута, как кожа
На барабане...

И похоже, и непохоже на Вяземского: похоже — малоудачным повторением «Здесь жизнь... И жизнь...» в соседних строчках, непохоже — разговорной интонацией, скорее даже не пушкинской, а филимоновской. Поэт Владимир Филимонов был колоритнейшей фигурой — толстяк, мудрец и ленивец, он долгие годы писал странную поэму «Дурацкий колпак», где жизнь его и история России преломлялись под самыми затейливыми углами... «Дурацкий колпак» вышел как раз в конце марта 1828-го, его издание праздновалось шумно и весело... И еще непохоже — драматическим обрывом последней строки. Благодушные первая и вторая строфы, где Петербургу многое прощается за наличие в нем друзей, с которыми «немножко пьется», сменяются напряженным финалом, где и вахтпарад, и барабанная кожа, и, может быть, уже издевка над собственными военными мечтаньями; ну что ж, война — Киселеву... Подвиг бытия вновь не удался...

Эти стихи Вяземского были известны Пушкину. И вполне возможно, что аукнулись в осеннем пушкинском:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...

А сам Вяземский поспорит с собой четыре года спустя, в послании к графине Завадовской: «Я Петербург люблю, с его красою стройной...». И Пушкин вспомнит эти стихи, работая над «Медным всадником»: «Люблю тебя, Петра творенье / Люблю твой строгий, стройный вид...»

В 1828-м петербургская тема в творчестве Вяземского и Пушкина так синхронно возникает далеко не случайно. Оба одновременно остро почувствовали свою беспомощность перед лицом огромного государства, свою чуждость пышному и бедному городу. Задумывались об истоках всего с ни-

ми происходящего. И вспыхивали разговоры — о России, Петербурге, Петре... Гуляя по Сенатской площади с Пушкиным и Мицкевичем, Вяземский, глядя на Фальконетов памятник, заметил, что Петр скорее не двинул Россию вперед, а поднял ее на дыбы. Эту фразу князя использовали потом и Мицкевич, и Пушкин — первый в «Памятнике Петру Великому», второй в «Медном всаднике»*. Непостижимы, неисповедимы тайные связи между поэтами... От весны 1828-го, от разговоров за бутылкой шампанского в Демутовом трактире или на Большой Мещанской, от совместных прогулок протянулись нити к «Полтаве», «Пиковой даме», «Истории Петра» Пушкина, «Дзядам» Мицкевича, «Фон-Визину» и поздним мемуарным статьям Вяземского...

И вот весна 1828-го кончилась. Скоро убьют Грибоедова. Умрет совсем молодым Дельвиг. Уедет навсегда из России Мицкевич. Завершится победой России Русско-турецкая война. Не оправдаются благие надежды на Николая I. Ни Пушкину, ни Вяземскому не видать желанной свободы. Жизнь шла вперед, и можно было только расцвечивать ее — стихами, балами, женщинами...

...Итак, поединок начался, но после первой, разминочной схватки все вроде бы осталось на своих местах. Вяземскому пригрозили — он изъявил готовность честно служить и услыхал в ответ: «Спасибо, в ваших услугах не нуждаемся». На нет и суда нет. Князь уехал обратно в Москву и Мещерское. Как написал он жене, «я возвращаюсь в ряды бездейственной, но грозной оппозиции». Было очевидно, что скоро последует очередной ход правительства, но какой?..

Лето 1828 года, словно по контрасту с весной, для Вяземского вольное и счастливое. После холодно-враждебного Петербурга и тамошнего света — радушная русская провинция. Одна из улиц современной Пензы носит имя Вяземского, а в Саратове даже выпустили водку «Князь Вяземский» с его портретом на этикетке — с этими городами, с дальними степными губерниями князя связывало многое... Здесь он был полон сил, весел, звал Пушкина к себе в гости, много разъезжал, находил «в провинциях прелесть» и пленял «дворянство своим известным талантом, как столичные артисты, которые спадут с голоса и выезжают на провинции». Среди новых стихов той поры выделяется чудесная, пушкински-

* Любопытно, что в стихотворении «Памятник Петру Великому» Мицкевич вкладывает эту фразу Вяземского в уста Пушкина. «И хорошо он сделал, что вместо меня выставил Пушкина. Оно выходит поэтичнее», — прокомментировал Вяземский в 1872 году.

изящная и веселая «Простоволосая головка», написанная в конце июля для пензенской красавицы Пелагеи Николаевны Всеволожской... Все это — стихи, вдохновенье, ощущение счастья — внезапно кончилось 27 сентября. Морока со службой началась вновь.

3 июля 1828 года главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте граф Петр Александрович Толстой отправил московскому генерал-губернатору князю Дмитрию Владимировичу Голицыну секретное отношение за № 2645. Неделю спустя Голицын уже читал его. «Государь Император, — говорилось в письме, — получив сведение, что князь Петр Андреевич Вяземский намерен издавать под чужим именем газету, которую предположено назвать Утреннею Газетою, Высочайше повелеть изволил написать вашему сиятельству, чтобы вы, милостивый государь мой, воспретили ему, князю Вяземскому, издавать сию газету, потому что Его Императорскому Величеству известно бывшее его поведение в Санкт-Петербурге и развратная жизнь его, недостойная образованного человека. По сему уважению Государю Императору благоугодно, дабы ваше сиятельство изволили внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни».

Добрый и справедливый человек, князь Дмитрий Владимирович Голицын встревожился. Он не стал ничего «внушать» Вяземскому. И даже не стал его беспокоить, зная, что Вяземский находится в Мещерском. Только в сентябре, когда князь появился в Москве, Голицын переслал ему письмо Толстого с просьбой дать письменное обязательство, что «упомянутая газета» издаваться не будет. Письмо Вяземский получил 27 сентября в Остафьеве.

Это новое обвинение было столь гнусным и неожиданным, что князь растерялся. До сих пор он разговаривал с правительством уверенно и спокойно, *на равных*. С ним обращались вполне уважительно, и даже жутковатое блудовское письмо было полно комплиментов и заверений в почтении. Теперь же в глазах власти он был не отставным оппозиционером себе на уме, большие способности которого можно и должно развивать в нужном направлении, но грязным развратником, опасным для молодежи, к тому же позволяющим себе сомнительные издательские проекты...

Был нанесен удар по его личной чести, чести семьи. Русские дворяне хорошо знали, как поступать в таких случаях.

Пушкин, попав в подобную ситуацию, немедленно бросил вызов на дуэль Геккерну. Но Вяземского оскорбил не конкретный человек, которого можно было вывести к барьеру. На него клеветало *государство.* И таких ситуаций в истории России еще не встречалось. Ни разу высокопоставленный сановник по указанию царя не вмешивался в интимную жизнь дворянина и уж тем более не оскорблял его, величая развратником.

Прецедент был создан...

Указание императора — письмо Толстого — письмо Голицына... Ключиком, который завел всю эту непростую машину, был опять-таки скромный Фаддей Венедиктович Булгарин, страшно опасавшийся появления на рынке новых изданий. «В Москве опять составилась партия для издания газеты политической под названием Утренний Листок, — писал он. — Хотят издавать его или с нынешнего года с июня, или с 1-го января 1829 г. Главные издатели суть те самые, которые замышляли в конце прошлого года овладеть общим мнением для политических видов, как то было открыто из переписки Киреевского с Титовым. Все эти издатели по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, князь Одоевский, два Киреевских и еще несколько отчаянных юношей». И еще: «Князь Вяземский (Петр Андреевич), пребывая в Петербурге, был атаманом буйного и ослепленного юношества, которое толпилось за ним повсюду. Вино, публичные девки и сарказмы против правительства и всего священного составляют удовольствие сей достойной компании»... Булгарин не поленился отправить новый донос прямо на русско-турецкий фронт, в Главную Императорскую квартиру, откуда уже отгрянуло в Петербург (а оттуда — в Москву и Остафьево) эхо государева гнева. Не забудем, что Булгарин крайне заботился об исправлении нравов России, и, кстати, нравов опустошенных и никчемных аристократов в частности. Знатный неслужащий «развратник» Вяземский на фоне целомудренного и работящего «демократа» Булгарина смотрелся действительно невыигрышно... Фаддей Венедиктович сыграл на строгости Николая Павловича, которая уже в начале его царствования вошла в поговорку. Впрочем, строгость эта трактовалась в пределах дворца достаточно широко, и юные фрейлины государя хорошо знали об этом. Но что значат милые вольности отдыхающего от трудов императора в сравнении с гнусным развратом главаря московской либеральной шайки?..

Вызывать было некого. Оскорбление было пустым, безличным, вполне официальным и оттого особенно пугающим.

Булгарин?.. У князя Петра Андреевича не было никаких доказательств, что причина его бед — именно он. Скорее Вяземский подозревал в клевете Александра Воейкова (и, будучи в Петербурге, в лицо, при свидетелях назвал его доносчиком, чем поверг Воейкова в полное недоумение — он хотя и не брезговал доносами, но Вяземского не трогал, напротив, относился к нему с почтением...). Да и вызвать Булгарина было, в общем, нельзя: он был *недуэлеспособен.* У этого хладнокровного дельца без чести и совести, буревестника грядущего демократического времени, атрибуты дворянской культуры вызывали только улыбку. Все в литераторских кругах знали о том, что Дельвиг вызывал Булгарина на дуэль, но Фаддей Венедиктович ограничился ответной шуткой: «Передайте Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он — чернил». Согласно правилам, отказываться от дуэли, ссылаясь на собственную храбрость и боевые заслуги, было нельзя. Но Булгарин отказался — и продолжал жить, издавать свою газету, получать деньги... Имя свое отказом он не запятнал — оно и без того было запятнано. Ничего, собственно, не изменилось. Разве что благородный Дельвиг, привыкший видеть в противнике человека чести, стал на какое-то время посмешищем булгаринских приятелей. Это было еще одним ярким свидетельством тому, что времена меняются...

Толстой?.. Но ему не было никакого дела до Вяземского, он просто выполнял приказ. Хотя все равно удивительно, как мог он без малейшего смущения подписаться под клеветой.

Государь?.. При всей степени своей оскорбленности до такого поступка Вяземский подняться не мог. В русской истории было только два случая, когда назревала дуэль дворянина с великим князем, и обе ситуации разрешились без поединка: Константин Павлович шутливо заявил Михаилу Лунину, что тот молод с ним стреляться, а Николай Павлович, наоравший на лейб-гвардии капитана Василия Норова, растерянно распорядился перевести оскорбленного офицера, требовавшего сатисфакции, в другой полк... И ни разу, никто не вызывал на дуэль императора. Это было бы безумием. Да и не было у Вяземского никакой уверенности в том, что государь действительно имеет отношение к шельмующему письму. Долго ли поверить искусно поданной клевете и дать мимоходом приказ Толстому?.. Или все же — инициатива исходила именно что с самого верха? И государь не введен в

заблуждение чьим-то наветом, а высказывает собственное мнение? Что тогда?.. Голова шла кругом от этих вопросов.

И вот впервые в жизни тридцатишестилетний князь Петр Андреевич Вяземский, известный сочинитель и журналист, сын екатерининского вельможи, опальный оппозиционер, несостоявшийся автор первой русской конституции, находится в полной растерянности, близкой к панике. На столе лежит роман Бенжамена Констана «Адольф», за перевод которого он взялся, но работа почти не движется... В дневнике его появляется запись: «Мои мысли лежат перемешанные, как старое наследство, которое нужно было бы привести в порядок. Но я до них уже не дотронусь; возвращу свою жизнь небесному отцу; скажу ему: «Прости мне, о Боже, если я не успел воспользоваться ею, дай мне мир, который не мог я найти на земле. Отец! Ты, единая благость! Ты прольешь на меня одну каплю сей чистой и божественной радости».

«Как бы мне хотелось прочь убраться лет на десять, пока Павлуше можно еще быть отлученным из России, — пишет он 14 ноября из Москвы Александру Тургеневу. — Я для России уже пропал и мог бы экспатрироваться без большого огорчения; признаюсь, и за Павлушу не поморщилась бы душа, а за дочерей и говорить нечего. Я не понимаю романической любви к отечеству. Я не согласен на то, что где хорошо, там и отечество, но и на то не согласен: «Vive la patrie quand même»*, или по крайней мере: «Vis dans ta patrie quand même!**» Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мать была из фамилии O'Reilly. Она прежде была замужем за французом и развелась с ним, чтобы выйти замуж за моего отца, который тогда путешествовал. Сошлись они, кажется, во Франции и едва ли не в Бордо... Может быть, и придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии. Еще лучше, если бы нашелся богатый дядя или богатая тетка для моих детей. Вот славное приключение романическое! Будь Вальтер Скоттом нашего романа». О его возмущенном и желчном состоянии можно судить по письмам к друзьям. Вяземский то и дело срывается на бранные слова: «Неужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется, нельзя; так о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России — такой, какой она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отече-

---

* Да здравствует родина, несмотря ни на что (*фр.*).
** Живи на родине, несмотря ни на что (*фр.*).

ству у нас не понимаю... Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя». Какое-то время Вяземский всерьез готовился стать политическим эмигрантом. Перед глазами был пример Николая Тургенева, оставшегося в Англии. В который раз стоял он перед выбором, перед возможностью *сменить судьбу*... И снова не сделал решительного шага. Удержало опасение за будущее детей. Ну что ж, наверное, это к лучшему — стоит вспомнить невеселые судьбы всех эмигрантов николаевской эпохи: Долгорукова, Бакунина, Головина, того же Николая Тургенева, Печерина... Колебания — уезжать, не уезжать — были, конечно, связаны с уникальностью ситуации, в которой оказался князь. Взвесив все шансы, он решил остаться и продолжить борьбу за собственное честное имя, причем законными способами. «Я прошу следствия и суда, — сообщает он Александру Тургеневу, — не знаю, чем это кончится, но если не дадут мне полного и блестящего удовлетворения, то я покину Россию».

Немного успокоившись, он сделал остроумный ответный ход: попросил заступничества у... самого императора. «Прежде довольствовались лишением меня успехов по службе и заграждением стези, на которую вызывали меня рождение мое, пример и заслуги отца и собственные, смею сказать, чувства, достойные лучшей оценки от правительства: ныне уже и нравы мои, и частная моя жизнь поруганы, — писал он Голицыну. — Оная официально названа *развратною, недостойною образованного человека*. В страдании живейшего глубокого оскорбления, я уже не могу, не должен искать защиты от клеветы у начальства, столь доверчивого к внушениям ее против меня. Пораженный самым злобным образом, почитаю себя в праве искать ограждения себя и справедливого удовлетворения перед лицом самого Государя Императора... Если частная клевета могла на минуту привлечь его слух и обратить его гнев на меня, то почему не надеяться мне, что и невинность, взывающая к нему о правосудии, должна еще скорее преклонить к себе его сердобольное внимание».

Одновременно он начал по пунктам опровергать обвинения, выдвинутые против него в письме Толстого. Ни о какой «Утренней газете» Вяземский, конечно, слыхом не слыхивал. Более того, вскоре выяснилось, что ее собирался издавать некий титулярный советник Иванов, чиновник

канцелярии генерал-губернатора Голицына, и сам Голицын 3 октября 1828 года сообщил об этом Толстому. Оставалась пресловутая «развратная жизнь, недостойная образованного человека». Конечно, всякий не без греха... но величать Вяземского развратником... «Пушкин уверял, — вспоминал князь, — что обвинение в развратной жизни моей в Петербурге не иначе можно вывести, как из вечеринки, которую давал нам Филимонов и на которой были Пушкин и Жуковский и другие. Филимонов жил тогда черт знает в каком захолустье, в деревянной лачуге, точно похожей на бордель. Мы просидели у Филимонова до утра. Полиции было донесено, вероятно, на основании подозрительного дома Филимонова, что я провел ночь у девок». Память подвела Вяземского: эта версия принадлежит не Пушкину, а Жуковскому, хотя довел ее до слуха князя именно Пушкин. «Сделай милость, забудь выражение *развратное его поведение*, оно просто ничего не значит, — писал он Вяземскому в конце января 1829 года. — Жуковский со смехом говорил, что говорят, будто бы ты пьяный был у девок, и утверждает, что наша поездка к бабочке-Филимонову, в неблагопристойную Коломну, подала повод этому упреку» (и дальше Пушкина несет в какие-то холодно-легкомысленные дебри, из чего ясно, что драму друга он всерьез не воспринимает...). Добрейший Владимир Филимонов, веселым застольем отметивший 13 апреля 1828-го свое назначение на пост губернатора Архангельска, так и не узнал, что «подозрительный дом» его был, оказывается, под наблюдением... «Смешон ты мне, говоря: забудь *развратное поведение*, — отозвался Вяземский на пушкинское письмо. — О том все и дело. Не будь этого обвинения, и мне нечего спорить. Что мне за дело, когда запрещают мне издавать газету, о которой мне и во сне не снилось. Все равно, как бы запретили мне въезд в Пекин».

Князь защищался — сдержанно и с достоинством. И — выиграл раунд. 7 ноября обвинение в развратной жизни с него сняли так же неожиданно, как и предъявили. Но одновременно Бенкендорф сообщил Голицыну, что император все же недоволен — не интимной жизнью князя, но его политической позицией: «О нем судили не по его личному поведению... князя Вяземского судили по его сочинениям, побывавшим в руках Его Императорского Величества». То есть какие-то стихотворения Вяземского Николай I все-таки прочел... 14 ноября Вяземский получил от Голицына это письмо Бенкендорфа. Об этом он тут же сообщил Жуковскому (три письма — 14, 15 и 17 ноября).

Вяземский, скорее всего, сам не осознавал, что это была

его победа — не окончательная, но дающая надежду. Из сферы частной жизни он сумел снова перевести поединок с правительством в сферу общественную. Это не получилось у Новикова в 1792 году, у Владимира Раевского в 1823-м, у Пушкина в 1837-м — их драмы непосвященному могли показаться незначительными, случайными эпизодами личной жизни... Вяземский вновь получил возможность говорить с властью открыто и не оправдываясь. Он не задумывался о том, что игра давно идет по навязанным ему правилам...

Жуковский предложил князю написать письмо царю (через Толстого или Бенкендорфа), но Вяземский решил объясниться с императором напрямую. 30 ноября 1828 года он сообщал Жуковскому: «Приведу... свои мысли кое-как в порядок и на днях, может быть, доставлю тебе... род объяснительной записки о себе, потому что в письме нельзя разболтаться». В течение всего декабря 1828-го и января 1829 года (в это время он был в Москве) Петр Андреевич работал над пространной «Запиской о князе Вяземском, им самим составленной», получившей впоследствии известность под гордым названием «Моя исповедь».

«Исповедь», по словам Вяземского, есть «зеркало жизни», «зеркало не разбитое, не искривленное злонамеренностью». Это небывалый в русской литературе жанр — политический автопортрет со всеми его острыми углами, написанный яркой и простой прозой, смело и убедительно. Это достойный поступок честного человека — наследника идеалов эпохи Просвещения. Это умный, обстоятельный и горький укор государству, объявившему войну лучшим своим гражданам.

«Исповедь» пытались трактовать как покаянное письмо Вяземского императору. Но нужно быть слепым, чтобы увидеть в «Исповеди» покаяние. Это *разговор на равных*, «с умом, на просторе, с сердцем наголо»...

За всю историю русской литературы только один человек — Вяземский — имел право на *такой* разговор с государем. Это право ему давало его происхождение. Все прочие русские дворяне-писатели, даже титулованные, были лишь смиренными слугами престола, не смевшими обращаться к царю напрямую и откровенно. Простое сопоставление историй Романовых и Вяземских показывает, насколько князь был, как это ни странно звучит, *знатнее* Николая I. Род Романовых восходил корнями к Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву (XVI век), самым первым их пращуром был Андрей Кобыла (XIV век). Род Вяземских восходил к Владимиру Мономаху (XII век), самым первым их пращуром был Рюрик (IX век). Романовы не были князьями и были

избраны на царство в 1613 году. Князья же Вяземские были прямыми потомками древних правителей России — с 862 года, от Рюрика, велся отсчет русской истории. К тому же все любители генеалогии прекрасно знали, что род Романовых угас по мужской линии еще в 1730 году, по женской — в 1761-м и что начиная с Екатерины II на русском троне сидят немецкие правители, имеющие весьма отдаленное свойство с вымершими Романовыми. В сущности, у Вяземских было больше прав на престол, чем у правящей династии... Не следует забывать, что свое странное положение в российском дворянстве род Романовых (вернее, Романовых-Голштейн-Готторпских) хорошо осознавал и очень болезненно реагировал на намеки, связанные с его правами на трон*. С годами таких намеков становилось все меньше — возможные конкуренты-Рюриковичи уходили в небытие или мельчали. Но о Вяземских такого сказать было никак нельзя...

Нет никакого сомнения, что Николай I не простил Вяземскому этого разговора на равных — если не сказать более: разговора *более знатного* дворянина с *менее знатным.* Он не простил ему родовой гордости Рюриковича, самоуважения, просто масштаба его личности...

Вяземский писал в «Исповеди» о правлении Александра I, польских проектах... «С Тропавского конгресса решительно начинается новая эра в уме императора Александра и в политике Европы. Он отрекся от прежних своих мыслей; разумеется, пример его обратил многих. Я... остался, таким образом, приверженцем мнения уже не торжествующего, но опального... Русская пословица говорит: у каждого свой царь в голове. Эта пословица не либеральная, а просто человеческая. Как бы то ни было, но положение мое становилось со дня на день все затруднительнее. Из рядов правительства очутился я невольно и не тронувшись с места в ряду противников его. Дело в том, что само правительство перешло на другую сторону». О 14 декабря князь пишет очень смело: «19-е ноября 1825 года отозвалось грозно в смутах 14-го декабря. Сей день, бедственный для России, и эпоха, кроваво им ознаменованная, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давнопрошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали. Сколь ни прискорбно

---

* Об этом свидетельствует история графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, потомка Рюрика, во всеуслышание заявлявшего в конце 1810-х годов о том, что Романовы не имеют никаких прав на российский престол. В 1821 году Дмитриев-Мамонов был арестован, а в 1826-м, после отказа присягать Николаю I, объявлен сумасшедшим.

мне было, как русскому и человеку, торжество невинности моей, купленное ценою бедствий многих сограждан и в числе их некоторых моих приятелей, павших жертвами сей эпохи, но, по крайней мере, я мог, когда отвращал внимание от участи ближних, поздравить себя с личным очищением своим, совершенным самими событиями... Но по странному противуречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины; мне известно следующее заключение обо мне: отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других. Благодарю за высокое мнение о уме моем; но не хочу променять на него мое сердце и мою честь».

«Высокое мнение о уме» Петра Андреевича принадлежало императору. Вежливо, но твердо возвращая назад сомнительную похвалу, указывая свои истинные приоритеты — сердце и честь, он нарушал всякую субординацию: *так* с государем разговаривать не осмелился бы никто...

В конце письма он предлагал Николаю I сотрудничество. Это тоже было бы неслыханной наглостью для обыкновенного человека, но Вяземский, за плечами которого десять веков истории рода, держится уверенно и с достоинством: «Мог бы я по совести принять место доверенное, где употреблен бы я был для редакции, где было бы более пищи для деятельности умственной, чем для чисто административной или судебной... Я... желал бы просто быть лицом советовательным и указательным, одним словом, быть при человеке истинно государственном — род служебного термометра, который мог бы ощущать и сообщать».

Он предлагал воплотить в жизнь свою давнюю идиллическую мечту. Как Жуковский и Пушкин, он хотел быть «представителем просвещения у трона непросвещенного». Он мечтал с улыбкой говорить царю правду в глаза, как Державин — Екатерине II и Карамзин — Александру I. Он рассчитывал на пост главного представителя Общественного мнения России. Он был уверен, что происхождение, заслуги предков, ум, характер и дарования его достойны высокой оценки императора.

Князь, конечно, был прав, оценивая себя и свой ум самыми высокими баллами. Все качества государственного человека в нем присутствовали, причем в большей степени, чем у многих его ровесников и приятелей, бывших при Николае министрами. Протягивая руку власти и прямодушно предлагая ей заключить взаимовыгодный мир, целью которого было бы Благо Отечества, он не обманывал себя. Он пытался думать, что прямодушие, честность и независимый

ум будут оценены «суровым и могучим» молодым монархом. Убеждал себя, что с властью можно сотрудничать и что игра будет вестись по правилам...

Работа над «Моей исповедью» шла медленно. В декабре князь писал Жуковскому: «Моя египетская работа подходит к концу. Дописываю свою Исповедь». 10 января 1829 года: «Я дописываю свою Исповедь. Надеюсь доставить ее тебе дней через пять или шесть». Но прошел еще месяц, прежде чем 9 февраля готовая «Исповедь» отправилась в Петербург, к воспитателю наследника престола Жуковскому.

Добрая и деятельная душа Василия Андреевича, разумеется, не могла остаться в стороне от беды друга. «Он принимает в тебе живое, горячее участие, арзамасское — не придворное», — писал Вяземскому Пушкин. Жуковский, сам имевший у императора довольно ограниченный кредит доверия, не раз заводил с Николаем I разговоры о Вяземском, доказывая, что тот вовсе не главарь «либеральной шайки». На все такие попытки император реагировал в лучшем случае скептической усмешкой, в худшем — начинал *кричать* на Жуковского. Правда, и сам Жуковский нередко приходил в ужас от нежелания князя устраивать собственную судьбу. («Ты, говорят, умный человек! Вздор говорят. У тебя нет ни капли здравого смысла», — сердито писал он другу. Точно так же шесть лет спустя Жуковский будет выговаривать и Пушкину.) Хлопотал за князя еще и Дмитрий Дашков — арзамасец Чу, человек кристальной честности и благородства. («Бронза» — звал его Пушкин; Вяземский говорил о Дашкове: «Любопытен, тверд, и благонамерен, и ясновиден»...) Но, всеми силами защищая друга от напастей, и Жуковский, и Дашков видели в Вяземском не оскорбленного до глубины души человека, не известного писателя, достойного уважения, и не потенциального государственного деятеля, а сумасбродного Асмодея, который, несмотря на свои тридцать шесть, ведет себя, как мальчишка, забывая о том, что он давно отец семейства... В сущности, они хотели образумить его, как и Блудов, только более мягкими методами. Они пытались мирить его с теми, кто не задумываясь мог бы Вяземского растоптать. И князь не зря чувствовал себя Робинзоном на острове в океане Скуки и Мерзости. Он действительно был одинок, и не было в России человека, который мог бы разделить его боль и страх перед будущим. Через девять лет в такой же ситуации окажется Пушкин — друзья (и Вяземский) будут недоуменно находить его поведение *неприличным* и всеми силами попытаются укротить надвигавшуюся с каждым часом грозу... Но

Пушкин докажет, что свою честь он ценит выше жизни и судьбу выбирает сам.

18 апреля Вяземский написал Голицыну письмо, в котором указал, что его «могут удовлетворить на служебном поприще две должности: или попечителя университета, или гражданского губернатора — обе вне обеих столиц». Он напоминал, что является почетным членом Московского университета, что в формулярном списке его сказано «к повышению в чине достоин», что лучшим местом для него был бы Дерпт (тем более что Жуковский однажды уже выхлопотал дерптскую кафедру Воейкову)... Но за непринужденностью этих строк проступало бессилие, осознание того, что поединок заканчивается совсем не в его пользу...

Он пытался взять себя в руки и жить как прежде. Кажется, впервые в жизни составил себе какой-то *план деятельности*: «Перевод Адольфа. Прочитать Китайский роман, рукопись... Кончить Sta viator, Облака, Ярмарку, Встречу колясок. *Чтение*. Историю Карамзина. — Тит Ливий и Мюллера. Сумарокова для извлечения двух томов». Он читает «Обрученных» Алессандро Мандзони, «Канонгетские хроники» Вальтера Скотта, «Красного корсара» Фенимора Купера... И, конечно, письма, письма — сотни писем, которые он пишет друзьям, приятелям, знакомым, людям известным и неизвестным. Он планирует издавать альманах с Баратынским, он нагружает себя деятельностью ума, он не желает подчинять свою жизнь переживаниям, связанным со службой и клеветой. Но волей-неволей, так или иначе мысли его прибивает к одному — к судьбе «Исповеди», к своей будущей судьбе. И ожидание казнит тяжелее пытки.

Весь 1829 год, в Москве и Мещерском, ждал Вяземский ответа на «Мою исповедь». Ждал напрасно. Он еще был «готов дать всего себя, словесного, письменного и внутреннего, на исследование» (письмо Жуковскому, 6 ноября 1829 года), но потом понял, что от него ждут не прямодушия, не ума, не самостоятельности и не уникальных талантов — а уничижения. Николай I не распознал в авторе «Моей исповеди» своего единомышленника и относился к нему с прежним подозрением... «Неужели равнодушие есть добродетель, неужели гробовое бесстрастие к России может быть для правительства надежным союзником?» — этот крик любви не был услышан и понят царем. Победить Вяземский не мог, рассчитывать, что все останется так, как прежде, тоже не приходилось. Решалась его судьба, судьба его семьи и детей.

И что же в дар судьбы мне принесли?
В раскладке жребиев участок был мне нужен.
Что? две-три мысли, два-три чувства, не из дюжин,
Которые в ходу на торжищах земли,
И только! Но сей дар вам не был бы по праву,
Он заколдован искони;
На сладость тайную, на тайную отраву
Ему подвластные он обрекает дни.

Сей дар для избранных бывает мздой и казнью,
Его ношу в груди, болящей от забот,
Как мать преступная с любовью и боязнью
Во чреве носит тайный плод.
....

И я за кровный дар перед толпой краснею,
И только в тишине, и скрытно от людей
Я бремя милое лелею
И Промысл за него молю у алтарей.
Счастливцы! вы и я, мы служим двум фортунам.
Я к вашей не прошусь: она мне зарекла
Противупоставлять волненью и перунам
Мир чистой совести и хладный мир чела.

Этот поэтический монолог (он датируется 1828 или 1829 годом), хотя и обращен «К ним» (так называется стихотворение), но уже ничем не напоминает пылкое «Негодование». В нем скорее что-то от Чацкого — изверившегося, уставшего... Это прощание перед финальным «Карету мне, карету!», которое из уст князя так и не прозвучит. «Мир чистой совести и хладный мир чела» уже через год замкнется в пределах его дома, и только записным книжкам, смирно лежащим в бюро владельца, будут поверяться подлинные помыслы одного из умнейших людей страны. На автографе «К ним» сохранилась помета Пушкина — стремительная вертикальная черта на полях вдоль последних строф и короткое слово «Прекрасно»...

...Морально надломленный, изматываемый мольбами Жуковского, Дашкова и жены о смирении, измученный физически, он решил ехать в Петербург и добиться аудиенции у императора. Вечером 28 февраля 1830 года Вяземский появился в столице. Через две недели оттуда в Москву уехал Пушкин, и Жуковский пересказал князю диалог, состоявшийся между ним и Николаем I:

— Пушкин уехал в Москву. Зачем это? Что за муха его укусила?

— Я не знаю причины его отъезда, государь, — отвечал Жуковский.

— Один сумасшедший приехал, другой сумасшедший уехал, — недовольно заметил император.

Что ж, это было лестно, но тайная полиция вполне всерьез задавалась вопросом: не сговорились ли Пушкин и Вяземский между собой, не стоит ли за этими перемещениями «либеральная шайка»?.. Жуковский передал государю просьбу князя об аудиенции, на что Николай отвечал отказом.

И тут старинный варшавский приятель князь Голицын-Рыжий надоумил Вяземского написать письмо великому князю Константину и попросить у него заступничества перед царем. Просить о каком-то одолжении Константина, которого Вяземский откровенно не уважал, было противно, поэтому письмо князь постарался сделать по возможности обтекаемым и неопределенным («Я нарочно ничего ясного не сказал, потому что ничего нет ясного ни в ссоре, ни в примирении нашем», — сообщал он жене). 25 марта послание отправилось в Варшаву и вполне удовлетворило Константина. Великий князь прекрасно знал о том, как в действительности относился к нему гордый Рюрикович, и теперь, читая почтительные строки Вяземского, не мог не испытывать удовольствия: аристократ *каялся* и просил о заступничестве... Копию этого письма Вяземский отправил императору. И уже 1 апреля Николай I сам заговорил о Вяземском с Жуковским.

Это был тяжелейший разговор на грани ссоры — император словно решил выплеснуть на Жуковского все свои отрицательные эмоции, поэтому время от времени срывался на крик. Он упрекал Жуковского в дружбе с Николаем Тургеневым, в хлопотах за осужденных бунтовщиков. А когда Василий Андреевич попробовал возразить, перебил его:

— Слушай! Ты имел связь с Вяземским, который делал множество непозволительных поступков, врал сам, подбивал врать и действовать других, был настоящий bont-feu*... — Последовала грозная пауза, после которой тон государя неожиданно резко изменился: — До вчерашнего дня был он таков. Теперь я сам позволю тебе его обнять. Я все, все это скажу ему сам, когда увижу его; теперь он все загладил своим раскаянием! Он поступил так, как очень редко поступают; смирился, писал к великому князю... Если бы он четырьмя годами раньше сделал бы это с покойным императором, то получил бы тоже прощение, и он открыл бы Вяземскому свои объятия... Вяземский показал пример того, как красиво можно признать свою вину и раскаяться в ней. Рад буду теперь обеими руками принять его на службу.

12 апреля Бенкендорф, сияя доброжелательной улыбкой,

---

* Зажигатель (*фр.*).

от имени государя объявил Вяземскому о том, что он прощен. В чем именно — Бенкендорф уточнять не стал, а князь не стал переспрашивать. «Ваша вина, князь — это вина всего поколения, воспитанного предыдущим царствованием», — заметил Александр Христофорович и даже слегка вздохнул. Вяземский подумал о том, что Бенкендорф и сам принадлежит к поколению, воспитанному предыдущим царствованием, но промолчал. И лишь через несколько минут, после еще каких-то реплик, спросил, по какому ведомству государь повелел его определить. Сам он хотел быть причислен к Министерству юстиции, где товарищем министра служил Дашков.

— Высочайший указ последует дней через пять, — вежливо отвечал Бенкендорф и по привычке своей, вошедшей в поговорку, быстро облизнул губы кончиком языка. — Но, насколько мне ныне известно, вас ждет служба по ведомству Министерства финансов. Да, Дмитрий Васильевич докладывал государю о желательности причисления вашего к его министерству... Но, к сожалению, — он опять приметно вздохнул и даже горестно надломил бровь, — все возможные вакансии в оном ведомстве уже заняты...

Ни о каких крупных постах, где можно было бы проявить инициативу и способности, речи не было. Ему не грозили ни попечительство учебного округа, ни кураторство в Дерптском университете, ни губернаторское кресло в Ревеле. 18 апреля 1830 года высочайшим указом коллежский советник князь Вяземский был зачислен в Министерство финансов на должность чиновника для особых поручений при министре графе Канкрине.

Еще через три дня он написал Николаю I письмо, которое нельзя читать без неловкости и сострадания — письмо *раздавленного* человека, который униженно благодарит за милости, истово винит себя в легкомыслии и своеволии и жаждет очиститься от гнева императора... Сломленный и униженный, он сдавался на милость победителя.

Разумеется, «каялся» князь для вида, и император прекрасно это понимал. Но он, как и Константин Павлович, добился своего — заставил гордого аристократа просить пощады, и потому позволил себе сделаться великодушным. Он «простил» Вяземского.

Служили при Николае I многие русские литераторы. Но никто из них не относился к самому факту государственной службы как к удавке на своей шее и оскорбительной обязанности. Поколение, рожденное в 1780-х годах и занимавшее высокие посты — Жуковский, Блудов, Уваров, Дашков, Ки-

селев, — относилось к службе вдохновенно, как к творчеству, и служило не за страх, а за совесть. Для более молодых людей служба зачастую была просто источником дохода, и жизнь вне службы представлялась им немыслимой. Положение Вяземского снова оказалось уникальным: никого, кроме него, службой не *смиряли*. По ведомству Министерства финансов служило в 30-х годах немало литераторов — знаменитый тогда поэт Владимир Бенедиктов, Иван Мятлев, Владимир Бурнашев, Нестор Кукольник, будущий романист Иван Гончаров. Они тоже немало вздыхали по поводу несоответствия природных своих склонностей и профессиональных обязанностей. Но никто не ссылал их в Министерство финансов, как на каторгу, и никто не препятствовал им перевестись в другое ведомство или вовсе уйти в отставку...

Если бы Вяземский заупрямился, его могла постигнуть участь Петра Яковлевича Чаадаева. В 1833 году Чаадаев тоже рассчитывал получить службу в Министерстве просвещения и тоже был направлен в Министерство финансов. Оскорбившись, он отказался от должности. И через три года был объявлен сумасшедшим.

...Фаддей Венедиктович Булгарин был весьма доволен — газета «Компас» так и не появилась, а «Московский телеграф» лишился ведущего критика; правда, оставался еще Полевой, но с ним Булгарин рассчитывал как-нибудь справиться. Главное — был нейтрализован Вяземский.

Император был доволен еще больше: московская «либеральная шайка» лишилась своего «атамана».

Княгиня Вера Федоровна облегченно вздыхала — с репутации мужа наконец смыто черное пятно, новое годовое жалованье в три тысячи рублей хоть и не поражало воображение, но вовсе не было лишним в семейном бюджете, служить мужу предстояло в столице, а не в провинции. В этом не было ничего дурного.

Дмитрий Николаевич Блудов при встрече с Вяземским искренне уверял его, что права русская пословица: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают...

Василий Андреевич Жуковский благодарил Провидение за то, что со строптивым Асмодеем все завершилось столь благополучно.

Глава VI

НА ПЕРЕЛОМЕ СУДЬБЫ

Все не то, что было. И мир другой, и люди кругом другие, и мы сами выдержали какую-то химическую перегонку.

Вяземский, 1833

Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себя.

Баратынский

Ничего общего с финансами (и вообще с точными науками) у Вяземского не было никогда. Смутно вспоминались попытки отца привить ему страсть к алгебре... Это, конечно, был хорошо продуманный наверху шаг — непонятная и нелюбимая служба. Еще более утонченным издевательством стала должность чиновника для особых поручений. Николай I читал «Мою исповедь» и запомнил желание Вяземского быть «лицом советовательным и указательным» при «человеке истинно государственном». Князь, конечно, имел в виду нечто красивое и романтичное, наподобие должности Карамзина, который, официально будучи историографом, олицетворял при дворе добрые чувства, честность, независимость и здравый смысл. Но император с циничной любезностью предоставил князю возможность стать самым настоящим «служебным термометром». Чиновник для особых поручений — должность не слишком заметная, хоть и не низкая; от него ничего конкретно не зависит, но при случае министр поручает какую-либо ответственную миссию именно ему... Чем не «термометр»?

Апрельский Петербург продувался насквозь холодными ветрами с близкого моря. После степного Мещерского, занесенного снегами, и уютной домашней Москвы было здесь голо, пустынно и уныло. Угнетали желтые коробки домов, сквозняки, возникавшие Бог весть откуда, неожиданные площади... В новеньком тесноватом мундире темно-зеленого цвета, так называемом «маленьком мундире», Вяземский шел по пустынным коридорам огромного здания Министерства финансов — оно помещалось напротив Зимнего двор-

ца. Перед князем распахнулись двери, и навстречу ему поднялся из-за стола высокий, почти седой человек в мундире с двумя звездами и эполетами инженер-генерала. Поднял на лоб темные очки. Суровое рябое лицо. Умный, неторопливый и доброжелательный взгляд... За спиной графа Канкрина возвышался саженный портрет Николая I.

— Прошу фас, батушка, — с каким-то карикатурным немецким акцентом произнес министр. — Фы есть мой новый чинофник тля осопых поручений?.. Отшень рад...

Вяземскому будущие сослуживцы уже успели порассказать о Егоре Францевиче Канкрине, о его смешном произношении, о его болезни глаз, о том, что он в свободные минуты «скрипит на скрипке», а во время доклада государю беспрестанно пьет воду из графина и греет ноги у камина... Но знал князь и о том, что Канкрин — герой Отечественной войны, незаурядный военный инженер, архитектор, экономист... Занимался он и литературой, написал несколько повестей. С 1823 года Канкрин был министром финансов, сменив на этом посту печально знаменитого графа Гурьева, и ценой неимоверных усилий сумел выправить работу запущенного ведомства. Обычно довольно бесцеремонный с людьми, Николай I обращался к Канкрину только на «вы». Когда в 1829-м император возвел Канкрина в графское достоинство, девизом своим Егор Францевич сделал одно слово: «Трудом». Он и вправду всего добился исключительно трудом и способностями. При некоторой холодности и сухости Канкрин был добр, честен, благороден, он с участием отнесся к удрученному своим назначением Вяземскому. Со временем поэт и министр, несмотря на разницу в возрасте и положении, почти сдружились и нередко проводили время за беседой в неофициальной обстановке.

— Вот все порицают вас, батюшка, — говорил Канкрин князю, — что вы все время проводите на обедах, балах и спектаклях, так что мало времени остается у вас на дела. А я скажу — и слава Богу! А меня все хвалят: вот настоящий государственный человек, нигде не встретите его, целый день сидит в кабинете и занимается бумагами. А я скажу — избави Боже!

Служба сперва не слишком обременяла Вяземского. Канкрин осторожно вводил его в курс дела, «особых поручений» пока не возникало, так что свободного времени было более чем достаточно. После почти двухлетней паузы князь почти соскучился по той самой журналистике, которая ему в конце 1827 года совершенно «огадила»... «Московский телеграф» во главе с раздувшимся от самомнения Полевым,

правда, был по-прежнему гнусен, но в Петербурге пушкинский однокашник барон Антон Дельвиг затеял «Литературную газету», вокруг которой быстро сплотились лучшие силы русской словесности — ее поддержали Пушкин, Жуковский, Баратынский, Владимир Одоевский... И самому князю было приятно вновь почувствовать себя литературным бойцом — он написал для Дельвига статьи «О Ламартине и современной французской поэзии», «Поэтическая и духовная гармония Ламартина», «О “Московском телеграфе” и “Сыне Отечества”», «О Сумарокове», «Несколько слов о полемике» (раннее название — «О московских журналах»), «О духе партий; о литературной аристократии», «История Русского народа. Критики на нее...», множество рецензий (на альманахи, сочинения Фонвизина, Хемницера, Булгарина) и, конечно, стихи — в их числе «К ним» и «Дорожную думу». Чаще Вяземского в газете печатались только сам Дельвиг и Орест Сомов. Нет, рано любимец черни Фаддей Венедиктович списывал князя со счетов...

Вокруг газеты сразу же завязалась полемика. Первый номер вышел 1 января 1830 года, а уже через десять дней Пушкин опубликовал в газете статью «В одном из наших журналов», которую русская пресса приняла в штыки. «Северная пчела», «Сын Отечества» и «Северный архив», «Московский телеграф», «Северный Меркурий», «Галатея», «Московский вестник» — все дружно обвинили «Литературную газету» и ее сотрудников в элитарности, «литературном аристократизме». Особенно негодовал Булгарин, которого Пушкин задел своей рецензией на роман «Димитрий Самозванец» и памфлетом «О записках Видока»... «С некоторого времени у нас в литературе, не во гнев *некоторым* сказать, ввелся Венецианский Аристократизм: все решается в совете Десятерых», — ехидничал альманах Раича «Галатея»... Это была настоящая журнальная война — такой не видывали русские читатели с 1824 года, со времен знаменитой битвы Классиков и Романтиков. И снова Вяземский впереди: «Есть и в литературе аристократия: аристократия талантов; есть и в литературе площадные витязи, но, по счастью, нет здесь народного обычая, повелевающего литературным *джентлеменам* отвечать на вызовы *Джона Буля*». Вызовы «Джона Буля», то есть Булгарина и Полевого, на «джентлеменов» так и сыпались. Любопытно, что два непримиримых врага — издатели «Пчелки» и «Телеграфа» — действовали против «Литературной газеты» плечом к плечу...

Статьи князя, защищающие право «людей, возвышенных мыслями и чувствами» соединяться в дружеский круг, как всегда, изысканно-ироничны и полны колких выпадов

в адрес простоватых оппонентов. Он пишет, что в русской литературе всего два «разряда» — писатели с талантом и бесталанные. Естественно, что таланты «сближаются единомыслием и сочувствием». Это — скрытая цитата из Д'Аламбера... Небрежно-изящны и стихи «К журнальным благоприятелям»:

К чему вы тяжко развозились,
За что так на меня озлились,
Мои нежданные враги,
Которых я люблю, как душу?
К чему с плеча и от ноги
Вы через влагу, через сушу,
Чрез влагу пресных эпиграмм,
Чрез сушу вашей прозы пыльной,
Несетесь по моим пятам
Ордой задорной и бессильной?

Но Вяземский не мог не видеть, что пошлости, невежества и нахальства в русской журналистике больше с каждым годом. «Задорная орда» стремительно набирала силу. Первой ласточкой журнальной демократии был Булгарин, потом появился Полевой... Для этих людей не существует авторитетов. Они пишут, что Карамзин устарел, Вяземский — салонный поэт, обязанный славой только своим приятелям, а талант Пушкина «совершенно упал» (об этом, например, заявляет «Северный Меркурий» и выдвигает взамен Пушкина нового гения — Подолинского...). Но пренебрежительным отказом выходить с ними на драку из-за того, что драться с Булгариным — себя не уважать, ничего не добьешься: Булгарину это только на руку. А опускаться до уровня Булгарина — значит уподобиться ему, стать не критиком, а шавкой, лающей из подворотни... На это даже самые сильные и задорные полемисты дельвиговской газеты — Вяземский и Пушкин — не были способны. Им оставалось только уклоняться от грязной полемики, отступать, сохраняя лицо... Замкнутый круг: опускаться до полемики нельзя, а не ввязаться в полемику значит добровольно сдаться на поругание врагу. Писатели пушкинского круга инстинктивно чувствовали, что власть над читателями и силы, отпущенные им, уходят безвозвратно, что грядет новая эпоха русской литературы. Всего четыре года оставалось до дебюта Белинского. Удивительно ли, что блистательная «Литературная газета», вокруг которой сплотились последние бойцы погибающего Золотого века, сразу оказалась в осаде злобствующих конкурентов, издававшихся кем угодно, только не аристократами по крови и духу?.. Двенадцать лет спустя Вяземский писал

Жуковскому: «Мы без боя уступили поле Булгариным, Полевым и удивляемся и негодуем, что невежество и *свинтусы*, как говорит Гоголь, торжествуют». Интересно, вспоминал ли князь, что именно он первый отказался скрестить оружие с «площадными витязями» русской журналистики?..

Уже в ноябре 1830 года от «Литературной газеты» осталось одно воспоминание. Прочитав четверостишие Казимира Делавиня памяти жертв Июльской революции, напечатанное в 61-м номере, Бенкендорф пришел в бешенство и немедленно потребовал к себе Дельвига... Смирнейший барон выслушал длинный гневный монолог Бенкендорфа, завершившийся пламенным обещанием упрятать его, Дельвига, за компанию с Пушкиным и Вяземским в Сибирь... Эта выходка вызвала такое возмущение среди русских писателей, что Бенкендорфу пришлось извиниться и снова разрешить издание газеты, уже под редакцией Ореста Сомова. Но аудиенция у шефа жандармов потрясла Дельвига, он заболел гнилой горячкой и 14 января 1831 года скоропостижно скончался. «Литературная газета» пережила своего создателя всего на полгода — 30 июня ее запретили окончательно.

Литературные баталии... Служба... Свет... Три его ипостаси. С каким удовольствием (если уж быть совсем честным перед собою!) князь снимает домашний халат, в котором сидит над статьями для «Литературной газеты», и уж тем более постылый мундир! Смотрит на себя в зеркало. В волосах заметны седые пряди, меж бровей держится угрюмая складка, худое сумрачное лицо кажется еще некрасивей, чем было прежде... Да, по чести, мало что остается в нем от изящного франта, следившего десять лет назад за модными картинками французских журналов. С нынешними деньгами особенно не пофрантишь, но волей-неволей приходится тратиться на модный фрак, светлые перчатки, галстух, жилет... Без них не появишься в свете. Тем более в таком злословном и приметливом, как петербургский. Это не Москва, где все, даже чужие, одинаково *свои*. В столице он, Вяземский, пришлец со стороны, к тому же многие здесь наслышаны о его деле и поглядывают с недоброжелательным любопытством: не каждый день увидишь раскаявшегося либерала и свежеиспеченного финансиста... Но светским холодом князя не удивишь, недаром ему говорят, что он сам похож на сдержанного англичанина. Как-никак в его жилах течет ирландская кровь...

Больше всего времени князь проводил в салоне молодой жены австрийского посланника, графини Дарьи (Долли) Федоровны Фикельмон, с которой познакомился 14 марта.

Каждые понедельник, четверг и субботу Вяземский надолго засиживался в Красном салоне графини, заставленном камелиями, гиацинтами и тюльпанами. Двадцатишестилетняя графиня долгое время царствовала в сердце Вяземского (впрочем, он сам называл свое сердце широким благоустроенным шоссе, по которому несколько дам могут идти свободно, не мешая друг другу...). Помимо личных встреч долгое время между ними длилась переписка, наполовину интимная, наполовину интеллектуальная. «Он поэт, светский человек, волокита, некрасивый, остроумный и любезный... Он говорит умно, приятно и легко, но он так некрасив... Знакомство с ним очень приятно, так как он умный (и образованный) человек (без всякого педантизма и писательских претензий)... Он прелестен как светский собеседник; это умный человек, и я дружу с ним». Дарья Федоровна высоко ценила Вяземского в качестве друга, хотя в дневниковых записях, сделанных для себя, задевала порой довольно остро («Вяземский, несмотря на то, что он крайне некрасив, обладает в полной мере самоуверенностью красавца; он ухаживает за всеми женщинами и всегда с надеждой на успех»). Сам же Петр Андреевич на первых порах был очарован красотой и умом молодой посольши, готов был играть роль приятного *разговорщика* (causeur), развлекателя на вечер; конечно, в глубине души надеялся и на большее... И только в августе 1832 года отношения между ним и Фикельмон перестали быть дружескими. В общем-то, из-за пустяка: Дарья Федоровна тактично дала понять, что присутствие князя на посольском приеме в честь австрийских офицеров будет не очень уместно, и попросила прийти в другой день... Вяземский невероятно оскорбился. «В общежитии есть замашки, которые задевают и наводят тошноту, — писал он жене. — Часто видишь себя на месте какого-нибудь домашнего человека, танцмейстера, которого сажают за стол с собой семейно, а когда гости, ему накрывают маленький столик особенно или говорят: приди обедать завтра. Я заметил нечто похожее на то и там, где никак не ожидал, а именно у Долли... Приготовься быть часто и чувствительно оскорбляемой. Я тебя уверяю, что здесь вовсе нет умения жить». Разрыва не случилось — князь дорожил связями в столичном свете, думая о будущем детей, — но теплым и искренним отношениям с Фикельмон пришел конец.

Тем не менее 1830—1831 годы во многом были для Вяземского годами Фикельмон. Пушкин (добившийся у Долли куда большего успеха, чем Вяземский) добродушно писал князю: «Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в

Петербурге. Говорят, что у Канкрина ты при особых поручениях и настоящая твоя служба при ней».

Почти каждый день заходил Вяземский и к Карамзиным на Моховую, где ему даже отвели несколько комнат. Екатерина Андреевна Карамзина принимала у себя главным образом друзей покойного мужа. Приезжал Блудов, целовал руку хозяйке — и как ни в чем не бывало ласково улыбался Вяземскому, расспрашивал о службе. Забывал о своих юстиц-заботах обычно сдержанный Дашков и оживленно спорил с Жуковским о принципах перевода древнегреческих текстов — оба были опытными переводчиками: Дашков еще в январе 1828 года напечатал в «Московском телеграфе» свои переводы греческих эпиграмм, а Жуковский в «Северных цветах на 1829 год» — перевод фрагмента из «Илиады»... Дашков доказывал, что переводить греков должно только с подлинника, а не как Жуковский — с немецкого переложения Фосса. «Да полно тебе, Дашенька!» — с улыбкой успокаивал Жуковский друга... Сослуживец Вяземского Иван Петрович Мятлев, недавно пожалованный в камергеры, читал свои уморительные стихи, в которых были перемешаны в вольном порядке русские и французские слова — получалось некое подобие старой арзамасской *галиматьи*. Младшие Карамзины — Софья, Андрей, Саша — хохотали над мятлевской галиматьей до слез. Екатерина Андреевна мягко пеняла Мятлеву за стихи — в салоне Карамзиных говорили меж собою только по-русски... а тут французские слова... Это снова вызывало бурю веселья...

Бывала у Карамзиных и двадцатилетняя фрейлина императрицы Александра Осиповна Россет, барышня кокетливая и светская. Жуковский звал ее «небесным дьяволенком», Вяземский — «донной Соль», по имени героини модной тогда пьесы Виктора Гюго «Эрнани». В отличие от спокойной, немножко ленивой красоты Фикельмон красота Россет была дерзкой, южной и совсем юной... По отцу она швейцарская итальянка, по матери — наполовину грузинка, наполовину немка. Но было в Россет и много русского, и Вяземский даже поддразнивал ее за привычку постоянно вставлять в разговор словечко «бишь» («О чем бишь вы говорили?»)... Близость ко двору, постоянное окружение блестящих мужчин, оказывавших ей знаки внимания, сделали Россет немного циничной, в ее остроумии часто сквозил ядовитый холодок. Но умела она быть и трогательной, откровенной. Все душевные качества Александры Осиповны (и очень похожих на нее ее братьев) Вяземский называл одним словом — *россетство*. Он долго ухаживал за юной

фрейлиной, написал для нее немало альбомных стихов, среди которых настоящие маленькие шедевры — «Черные очи», например:

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

Тайным восторгом сердце объято,
В вашем сгорая огне;
Звуков Петрарки, песней Торквато
Ищешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы!
В сердце нет песней, увы!
Южные очи северной девы,
Нежных и страстных, как вы!

Но даже это стихотворение (на которое Пушкин ответил посвящением Олениной «Ее глаза» и в подражание которому юный Лермонтов написал свои «Черные очи») Александра Осиповна приняла вполне равнодушно — она не раз цитирует его в своих записках, упорно перевирая строки... Хотя и признавала, что Вяземский — «великий мастер английского флёрта... Мы отсюда произвели глагол *флёртовать*».

Положение соломенного холостяка никогда не было Вяземскому в тягость, но по жене и детям он все же сильно скучал. «Всем домом» в столице жить было дорого, и Вера Федоровна пока что находилась в Остафьеве. Трехтысячного жалованья не хватало даже на квартиру в Петербурге — ее годовая аренда обходилась в семь тысяч. В мае 1830 года князь потратил восемьсот рублей на покупку кареты, без которой не проживешь, — а новых летних панталон у него по-прежнему нет, и он в письме просит жену отобрать те, «которые могут быть представительны»... Когда же Вера Федоровна вместе с другой одеждой прислала ему и маскарадный костюм, Вяземский не преминул язвительно заметить, что это очень тонкий намек на его новую службу... Он собирался съездить в Москву, но этому помешал самый прозаический случай: 4 июня на мосту Каменного острова, по пути в Елагинский театр, опрокинулась коляска, в которой он ехал. Князь сильно ушиб ногу и долгое время появлялся в свете, опираясь на трость. Его навещали Дельвиг, Лев Пушкин,

Василий Перовский, Полетика, Гнедич, Оленин, Дашков, Блудов, и даже старик Хвостов приезжал. Впрочем, и в этой ситуации Вяземский видит смешное — пишет Александре Россет о том, что почерк его теперь станет еще хуже, чем обычно, потому что он всегда выводил свои крючочки и загогулины левой ногой, а она теперь болит... Он в сотый раз принялся за дневник («журнал»), потому что в новеньких «Воспоминаниях» Мура о Байроне нашел отрывки Байронова дневника. «А меня черт так и дергает всегда во след за великими», — писал он.

14 июля, попросив у Канкрина отпуск, Вяземский поехал на купанья в Ревель, где помимо многочисленных светских визитов немножко занимался «Адольфом» (перевод был готов, но он перечитывал его и поправлял). Воды ему очень помогли. Ранним утром 4 августа вернулся в Петербург и сразу же попал в служебный оборот — Канкрин объявил, что князю предстоит командировка в Москву. Неделя ушла на выправку нужных бумаг из министерства.

Еще 20 июля в Петербург приехал Пушкин. Он рассказал, что гостил неделю в Остафьеве у Веры Федоровны, показал портрет невесты своей, Натали Гончаровой... Вяземский предложил другу венчаться в остафьевской церкви и свадьбу справить в Остафьеве, Пушкин обещал подумать... Оба, разумеется, жадно и жарко обсуждали последнюю новость — революцию во Франции (Вяземский узнал о ней еще в Ревеле, 31 июля). С волнением говорили о том, что народное возмущение 26 июля подготовили журналисты — сотрудники десяти крупнейших французских газет, обратившиеся к Франции с посланием: «Правительство сошло с законной почвы... Представители печати должны показать гражданам пример сопротивления». Король Карл X, приказавший распустить свежеизбранную Палату депутатов и изменивший избирательный закон, ничего не смог поделать с восставшим народом. Вперед выдвинулись любимые политические деятели Вяземского — Казимир Перье и Бенжамен Констан, к титулу короля прибавились слова «волей народа», была отменена цензура... Да, поэзия во Франции делает политику. Вяземский и Пушкин переглядывались... Тут же начали спорить (на бутылку шампанского) о министре внутренних дел Перонне — будет ли он предан казни за измену?.. Пушкин утверждал, что да, Вяземский — нет. (Выиграл Вяземский.) С Жуковским поспорили о том, кто займет пустующий трон. Жуковский стоял за десятилетнего Генриха V, Вяземский возражал: «Si un diner réchauffé ne valut jamais rien, une dynastie réchauffé

vaut encore moins»*. Он уверенно предсказал, что королем станет герцог Луи-Филипп Орлеанский — так оно и произошло 9 августа. Лафайет вывел Луи-Филиппа на балкон парижской ратуши. Новый король обнял давнего товарища по оружию (в 1789 году герцог служил под руководством Лафайета в Национальной гвардии) и торжественно поднял трехцветный флаг...

— Странный народ французы, — заметил Пушкин. — Сегодня у них революция, а завтра, глядишь, все столоначальники уж на местах и административная махина в полном ходу...

— Грустно, что нас нет с тобою сейчас в Париже, — отозвался Вяземский, складывая газету. — Увидеть бы все своими глазами... Впрочем, Парижа мне не видать, я в этом совершенно уверен.

— Почему? — улыбнулся Пушкин. — Еще успеем поехать... Вот уляжется все — и выпустят.

— За нас с тобой Жуковский с Тургеневым съездят...

Пушкин фыркнул.

— А вы злы нынче, ваше сиятельство.

— Так ведь каковы обстоятельства? — в рифму ответил Вяземский, и оба рассмеялись.

Они уехали из столицы 10 августа (Пушкина провожал Дельвиг, Вяземский догнал их по дороге). Дилижанс неторопливо катил давно знакомым, самым неживописным и самым непоэтическим русским маршрутом — из Петербурга в Москву. Первая мысль при этом, конечно, Радищев. Вторая — доступные валдайские девушки (см. опять-таки Радищева). Третья — новгородские вольности. Четвертая — пожарские котлеты и бублики. Пятая — торжковские туфли. Шестая — ижорские маневры... Нет, и из этой поездки можно было извлечь свои удовольствия. Петр Андреевич строго допрашивал Пушкина, с чего это тот вздумал обучить десятилетнего Павлушу Вяземского приемам английского бокса — Павлуша недавно на детском балу решил показать девочкам свое уменье и был с позором выведен прочь... Пушкин оправдывался: «Павлуша написал на меня критику! Я было сочинил ответ с эпиграфом *Павлуша медный лоб — приличное названье*, но он затерялся куда-то...» — «А в карты зачем его учишь играть? Мало того, что я в свое время полмиллиона на ветер выкинул...» — «Да мы же играем визитками...» Они хохотали, выпрыгивали из кареты размяться

* Если подогретый обед никуда не годится, то подогретая династия — тем более (*фр.*).

(выпрыгивал Пушкин, а князь вылезал осторожно, держась за трость). В Твери повидали ссыльного декабриста, поэта Федора Глинку, который служил советником губернского правления; с ним поговорили об исторических рукописях Зиновия Ходаковского. В Торжке Пушкин купил на базарчике двадцать персиков и одним духом умял их, так что Вяземский только дивился и спрашивал участливо: «Худо не будет?»... Пушкин в дороге всегда отпускал усы, и вид у него с усами был презабавный. У заставы проверили у них паспорта, записали в книгу и впустили в утреннюю летнюю Москву, пустую, ленивую и разморенную.

Для князя это было его первое «особое поручение» — требовалось курировать проведение в Москве Всероссийской промышленно-технической выставки, запланированной на начало сентября. Этому предшествовали некоторые перемены на службе: 8 августа Вяземского назначили членом общего присутствия департамента внешней торговли и членом комиссии по устройству выставки... В распоряжение Пушкина князь отдал дом в Большом Чернышевом переулке. Сам же нанес визиты генерал-губернатору князю Голицыну, Дмитриеву и вместе с женой отправился в Остафьево. 15 августа праздновали именины дочери Маши, 16-го поехали в гости в соседнее Валуево, к молодой чете Мусиных-Пушкиных...

Литературная жизнь Москвы совсем иная, нежели в Петербурге. Тут свои авторитеты и классики. Есть новинки, литературные события... Николай Языков, Михаил Погодин... Но Вяземский не мог не заметить, что эти фигуры ни в какое сравнение не идут с теми колоссами, которые владели умами читателей лет пятнадцать назад. На фоне молодежи даже пьяница Мерзляков, умерший совсем недавно, 26 июля, даже карикатурный Каченовский, безграмотный нахал Полевой и пигмей лже-Дмитриев кажутся чем-то значительным... В Петербурге хоть события происходят, кипит журнальная драка, а тут болото, да и только. Многих уже нет — умер тонкий, нежный Веневитинов, уехали в Италию Зинаида Волконская и Шевырев, в Германию — умница и талант Иван Киреевский. Спит Москва-матушка... И не скажешь даже, где лучше — в каменной столице, выстроенной на пустом месте, с беспрестанными Невками, Мойками и канавками, с «желтизной правительственных зданий», где ни на грош искренности и теплоты, где все выровнено, однообразно, где на все готовые убеждения, а душу сверни да спрячь в карман; или здесь, где скука разлита по привольным бульварам, где почти не движется мысль, где жур-

налы печатают тоскливую муть, где на каждого столичного гвардейца смотрят во все глаза, где всего две порядочные красавицы: классическая — Алябьева и романтическая — Гончарова.

20 августа в начале третьего часа пополудни умер Василий Львович Пушкин. В одиннадцать Вяземский приехал к нему, в маленький деревянный дом на углу Старой Басманной и Токмакова переулка. Василий Львович лежал на подушках, изможденный, тяжело дышащий и мало похожий на прежнего записного любезника. Князю стало так его жаль, что он чуть не заплакал. Знал, о чем думает Василий Львович — вот жизнь прошла; стихи, «Арзамас», веселые речи, балы, женщины, путешествие в Париж в четвертом году, «Опасный сосед»... все, все.

— Очень рад тебя видеть, мой любезнейший, — еле слышно прошептал староста «Арзамаса», глядя на Вяземского полными слез глазами. — Очень рад...

Хотел еще что-то сказать, но уже звуков не было.

23 августа Василия Львовича хоронили в Донском монастыре. Здесь покоились многие русские поэты — Сумароков, Василий Майков, Херасков... У свежей могилы сошлись и старик Иван Иванович Дмитриев, олицетворявший после смерти Карамзина *прежнюю* русскую поэзию, и племянник его Михаил лже-Дмитриев, и князь Шаликов, кумир четвертьвековой давности, и пристойно вздыхающий Полевой, и серьезный, с умным грубоватым лицом Погодин, и Языков, и Пушкин. Протопоп храма Никиты Мученика в надгробном слове упомянул литературные заслуги покойного и вообще говорил просто и пристойно. Пушкин первый бросил на дядин гроб горсть земли. Потом постояли перед могилой Сумарокова. И не спеша пошли к ожидающим за оградой монастыря экипажам: Дмитриев с Шаликовым, Языков с Погодиным, Полевой с братом своим Ксенофонтом... На Полевого все литераторы посматривали косо — знали, что из-за него недавно лишился места единственный толковый московский цензор Сергей Глинка. Вяземский и Пушкин, оба в черных сюртуках, черных траурных жилетах, шли последними. Пушкин был хмур, говорил о том, что ни один дядя еще не умирал так некстати, что придется теперь из-за траура свадьбу откладывать, ехать в деревню на осень... Потом вдруг рассказал, что перед смертью Василий Львович произнес: «Как скучны статьи Катенина!» «Умер на щите, с боевым кличем на устах», — добавил он с грустной улыбкой.

Конец августа Пушкин и Вяземский провели вместе, ви-

делись чуть ли не каждый день. 22-го вместе завтракали у Вяземского с Юрием Бартеневым, Сергеем Глинкой, Нащокиным. 29 августа Пушкин и Вяземский отправились в подмосковное Архангельское в гости к 80-летнему князю Николаю Борисовичу Юсупову*. Оба любили этого великолепного старика, воплощавшего собой ушедшую екатерининскую эпоху. Сказать, что он жил в Архангельском роскошно, значит ничего не сказать. Несмотря на возраст, вид у Юсупова был сияющий и цветущий — по слухам, он получил в Париже от графа Сен-Жермена эликсир вечной молодости. Старик обожал женщин — с каждой дамой, зашедшей в сад Архангельского, князь галантно раскланивался, целовал руку, спрашивал, не нуждается ли она в чем-либо. Стены его дворца украшали триста портретов красавиц, соблазненных Юсуповым, в том числе и его собственный двойной портрет с Екатериной II, где они были изображены в виде обнаженных античных божеств... Юсупов охотно делился с гостями своими интимными воспоминаниями, Вяземскому с Пушкиным оставалось только слушать и втихомолку завидовать...

Старик оставил их ночевать у себя. Заснуть было трудно — во всех комнатах были клетки с певчими птицами, одуряюще пахли какие-то экзотические цветы, звонко отбивали время стенные часы с курантами. Наутро во дворе был устроен сельский праздник: Юсупов, сидя в кресле, с благосклонным видом принимал подношения своих крестьян. Вяземский и Пушкин смотрели на все это без особого восторга. Скучающе-недовольными оба они и получились на картине француза Николя де Куртейля, который зарисовал эту сцену.

На другой день Пушкин уехал в Болдино. Перед его отъездом Вяземский показал ему письмо с известием о том, что из Астраханской губернии в Саратовскую идет холера... А 19 сентября князь узнал, что холера движется и на Москву. И хотя сказали ему об этом в самой будничной обстановке, у Мухановых, и был он уверен и раньше, что эпидемия дойдет до Москвы, сердце забилось чаще и дыхание стеснилось...

«Отсутствие жены, поехавшей к матушке, неизвестность, что благоразумнее: перевезти ли детей в Москву или оставаться в деревне, волновали и терзали меня невыразимо», — вспоминал он. Конечно, ни о какой выставке речи не

---

* Потомки Вяземского и Юсупова породнились в июне 1938 года, когда праправнук Вяземского граф Николай Дмитриевич Шереметев женился на праправнучке владельца Архангельского княжне Ирине Феликсовне Юсуповой.

было — холерная эпидемия на россиян наводила ужас не меньший, чем когда-то нашествие Бонапарта. Болезнь была незнакомая не только простому народу, но и многим врачам. Думали, что холера — это поветрие, что в Индии она поразила не только людей и животных, но и растения, что происходит она от «гнилых плодов»... Уже 23 сентября вышла первая «Ведомость о состоянии города Москвы», издававшаяся Погодиным, ее бесплатно раздавали на улицах... Еще через шесть дней в Москву приехал Николай I. Это известие произвело на всех необычайное впечатление. Пушкин написал стихотворение «Герой», Вяземский сделал в дневнике запись: «Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу владыке».

Слухи ширились. Говорили, что от холеры человек умирает в полчаса, что от нее не спасают никакие средства и что вообще все это выдумали немецкие профессора из университета... Вяземский все еще раздумывал, как быть. Наконец, решился он на Остафьево, «запасся пиявками, хлором, лекарствами, фельдшером и приехал вечером в деревню». Все пути были оцеплены карантинными патрулями, выбраться из усадьбы стало невозможно.

А погода стояла совсем не под стать холере. Пышная, великолепная подмосковная осень, полная ярких красок, с щедрым солнцем и голубым небом... И над всем этим — Смерть, невидимая, неосязаемая...

Как осень хороша! Как чисты небеса!
Как блещут и горят янтарные леса
В оттенках золотых, в багряных переливах!
Как солнце светится в волнах, на свежих нивах!
Как сердцу радостно раскрыться и дышать,
Любуяся кругом на Божью благодать.
Средь пиршества земли, на трапезе осенней,
Прощальной трапезе, тем смертным драгоценней,
Что зимней ночи мрак последует за ней,
Как веселы сердца доверчивых гостей.

Но горе! Тайный враг, незримый, неизбежный,
Средь празднества потряс хоругвию мятежной.
На ней начертано из букв кровавых: Мор...

Вяземский не знал о том, что одновременно с ним этим странным сочетанием Красоты и Смерти любуется и Тютчев:

Люблю сей Божий гнев! Люблю сие незримо
Во всем разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,

И в радужных лучах, и в самом небе Рима!
Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз... и это все есть Смерть!

«Осень 1830 года», стихотворение необычайно эффектное и яркое, выстроено Вяземским во многом по той же схеме, что и «Первый снег». «Роскошный слог» — назвал такую манеру друга Пушкин. И, кстати, послал другу привет в собственной «Осени» (1833), лукаво повторив «вяземские» эпитеты: «В оттенках золотых, в багряных переливах» — «В багрец и золото одетые леса»... Вяземский, в свою очередь, подхватил пушкинский образ угасающей от чахотки девушки и обыграл его в своей «Осени» («И в осени своя есть прелесть. Блещет день...»), впервые опубликованной в 1862 году. Закрыта «осенняя» тема им была в германском курорте Бад-Гомбург, где престарелый князь написал небольшое, но живописное стихотворение «Осень 1874 года (Гомбург. Октябрь)».

...Эпидемия уже в соседних селах. В пустом и полутемном господском доме пахло хлором, редькой, ромашкой, уксусом, еще какой-то гадостью; слуги держали в карманах флаконы с ароматической солью. На кухне во все блюда добавляли постное масло. Комнаты окропили святой водой. На столе Вяземского стояла большая бутылка испанского хереса — почему-то считалось, что херес защищает от холеры. Дети, вопреки обыкновению, не шалили, не поддевали друг друга, а молча жались к отцу — им было страшно. Чтобы их подбодрить, князь вечерами устраивал игру в шарады, в логогрифы, которые сам сочинял, а то и читал вслух старые русские комедии — Фонвизина, Сумарокова, Капниста, Екатерины II. Приходил слушать и воспитатель Павлуши, средних лет француз мсье Робер, очень нервный, ипохондрического склада человек, мало что понимавший, но усердно пытавшийся смеяться даже в несмешных местах.

Времени у Вяземского было предостаточно. И как всегда у него, в необычной обстановке — пальцы просятся к перу, перо к бумаге... Ничто не отвлекало его от работы в ясные дневные часы. Он писал быстро и почти всегда набело... Так появились «Леса», «Хандра», «Два ангела», «Девичий сон», «Сельская песня».

Хотите ль вы в душе проведать думы,
Которым нет ни образов, ни слов, —
Там, где кругом густеет мрак угрюмый,
Прислушайтесь к молчанию лесов;
Там в тишине перебегают шумы,

Невнятный гул беззвучных голосов.
В сих голосах мелодии пустыни;
Я слушал их, заслушивался их,
Я трепетал, как пред лицом святыни,
Я полон был созвучий, но немых,
И из груди, как узник из твердыни,
Вотще кипел, вотще мой рвался стих.

Не в каждом современном издании Вяземского можно встретить этот шедевр. А между тем «Леса» (уж не Батюшков ли припомнился ему: «Есть наслаждение и в дикости лесов...»?) напрямую наследуют ревельскому «Морю» и «Унынию» варшавских времен. Это снова Вяземский-*неудачник*, Вяземский-созерцатель, которого многому научили бесплодные тяжбы с государственными дураками... Оглядываясь на двадцатые, он видит, как незаметно, сквозь пальцы ушла молодость, растранжиренная на Остафьево, цыган, глупую полемику с Лже-Дмитриевым, «Московский телеграф», статьи, потом на тщетную попытку отстоять свою честь и независимость. У него ничего не вышло. Его друзья — Жуковский, Пушкин — творят великое и вечное или красиво погибают (Батюшков... Рылеев... Грибоедов... все они эффектно сошли со сцены). Князь представлялся себе самым независимым, самым свободным среди друзей своих — и вот оказался самым закабаленным, самым смирившимся, самым проигравшим... Ему остается только чувствовать *невыразимое*, как Жуковский («ни образов, ни слов»). Отказаться от поисков логики в происходящем. Увериться (снова Жуковский), что в жизни много хорошего и без счастья. Вести себя достойно и просто. Не щеголять неудачами. Уйти в себя, в свой тесный маленький мир, где нет насилия, злобы и лицемерия, где можно скинуть мундир, уединиться со смутными мыслями:

Колокольчик однозвучный,
Крик протяжный ямщика,
Зимней степи сумрак скучный,
Саван неба, облака!
И простертый саван снежный
На холодный труп земли!
Вы в какой-то мир безбрежный
Ум и сердце занесли.
И в бесчувственности праздной,
Между бдения и сна,
В глубь тоски однообразной
Мысль моя погружена.
Мне не скучно, мне не грустно, —
Будто роздых бытия!
Но не выразить изустно,
Чем так смутно полон я.

Кажется, снова на пороге его болезни — ипохондрия и меланхолия. Но «глубь тоски однообразной» — это и очень русское чувство, тут не только сам Вяземский...

В Остафьеве он пишет и большое стихотворение «Родительский дом». Точнее будет назвать его небольшой поэмой — в ней 38 строф-катренов. «Родительский дом» в поэтической биографии князя сопоставим по значению своему разве что с «Унынием» и «Лесами»: в этой поэме вся тематика позднего Вяземского... До сих пор душа его была устремлена почти исключительно в будущее. Но проигранный поединок с властью, упорное *несбывание* всего, о чем мечталось в юности, смерти друзей, крах многочисленных планов — все это заставляет его на многое взглянуть по-новому. Природа — ее тайный язык рождает «немые созвучия», которые могут воплотиться в стихи («Море», 1826; «Леса», 1830). И еще прошлое — «невнятный гул беззвучных голосов», которые живы в памяти, не обманут и не предадут, по первому зову придут на помощь.

Лишь верно то, что изменило,
Чего уж нст и вновь нс знать,
На что уж время наложило
Ненарушимую печать.

То, что у нас еще во власти,
Что нам дано в насущный хлеб,
Что тратит жизнь — слепые страсти
И ум, который горд и слеп, —

То наше, как волна в пучине,
Скользящая из жадных рук,
Как непокорный ветр в пустыне,
Как эха бестелесный звук.

В воспоминаниях мы дома:
А в настоящем — мы рабы
Незапной бури, перелома
Желаний, случаев, судьбы.

Впервые здесь называет князь свою судьбу «загадочной сказкой», смысл которой разгадывать бесполезно. Это еще одна вариация на тему *летучих листков*, перемешанных Роком в своевольном порядке... Будущее грядет — это все, что о нем известно. Надежды — всего лишь «ропот немощи слепой». На переломе судьбы, случая, желаний стоит почаще вспоминать Жуковского: «Жизнь живущих неверна, жизнь отживших неизменна». Эти строки из «Торжества победителей» взял Вяземский эпиграфом к «Родительскому дому» — поэме грустной, спокойной и *не безнадежной*, словно понял

Вяземский что-то самое главное в своей жизни, и сказка, несмотря на загадочность, все же с намеком. Словно невидимый свет разлит над «Родительским домом», свет, который исходит всегда от философских стихов Жуковского... Снова Вяземский отдавал дань великому другу, признавая его правоту: да, только ушедшее — наша единственная опора; только в «тихом саркофаге» родительского дома постигается тщета притязаний, споров, упований на обстоятельства и свои силы...

Золотая осень сменилась холодным, тяжелым поздним октябрем. Облетевшие остафьевские рощи. Свинцово-серая вода, казалось, пахнущая хлором. На столе новенькие брошюры московских профессоров — «Краткое описание холеры, наставление, как лечить сию болезнь», «О болезни, называемой холерою». В церкви служат молебен во здравие государя. Новостей из Москвы никаких, только слухи — каждый день умирает тысяча человек, Арбатская площадь завалена свежестругаными гробами... На заставе поймали бежавших из Сибири бунтовщиков с подвязанными бородами. Убили какого-то приезжего немецкого принца и великого князя Михаила... «Воля ваша, ваше сиятельство, а по-моему, холера не что иное, как повторение 14 декабря», — убежденно твердил в разговоре с князем настоятель остафьевского храма.

Вяземский приходил из мокрого парка, переодевался. От десяти свечей становилось в кабинете тепло и покойно. Наливал хересу и мятной воды из английского «магазейна». Убаюкивает осень, оплывают свечи... и даже от того, что смерть в тридцати верстах, делается на душе странно и безмятежно... В теплом халате он заходил в пустую, нетопленую Карамзинскую комнату. Там все было так же, как при Николае Михайловиче — простой деревянный стол, беленые стены. Здесь Карамзин начал свой подвиг бытия, свою «Историю». Тогда ему было тридцать восемь. Как и Вяземскому сейчас... Тридцать восемь — полный расцвет. И самое начало увядания. Сорокапятилетний человек в обществе считается уже стариком. От него ничего не ждут — подразумевается, что он уже все сказал...

Карамзин понимал, что пришло время создавать вечное — и в свои тридцать восемь начал «Историю»...

У Вяземского на столе белеет немараный лист бумаги. Рядом с записками кардинала Ретца, лондонским старинным изданием «Моих мыслей» Лабомеля, томом Дидро, перепиской Гримма — раскрыт на последних страницах Констанов «Адольф»...

Начатый в Мещерском перевод «Адольфа» — любимого романа Вяземского — был пересмотрен и выправлен набело в эти пасмурные осенние дни. Книга Бенжамена Констана, написанная в 1807 году, изданная в 1815-м, имела шумный успех в Европе и, по мнению многих, запечатлела отношения самого Констана с мадам де Сталь... Еще Байрон заметил, что «Адольф» содержит в себе «мрачные истины». Эти истины чрезвычайно привлекали и русскую молодежь — «Адольфом» зачитывался пушкинский Онегин, да и сам создатель Онегина высоко ценил прозу Констана. Молодому Вяземскому Констан нравился настолько, что он называл его просто *Бенжамен* — и всем было ясно, о ком речь... Констан был и политиком, произносил во французской Палате депутатов пылкие речи в защиту свободы, что придавало его писательству особый оттенок. В России «Адольф» уже был переведен и издан в 1818 году в Орле, под названием «Адольф и Елеонора, или Опасность любовных связей». Но этот перевод никем не был замечен, быстро канул в Лету, и Вяземский даже не подозревал о его существовании — иначе упомянул бы об этом переводе в предисловии.

В сущности, русский перевод «Адольфа» не был необходим. Эту изысканную светскую книгу читали только представители высшего света; естественно, читали они ее во французском оригинале еще в конце 10-х годов, когда книга была новинкой (сам Вяземский, к примеру, прочел «Адольфа» в октябре 1816-го). Стали бы они перечитывать тот же роман по-русски, исключительно для того, чтобы насладиться качеством перевода и звучностью родного языка? Вряд ли. Читатели из других слоев общества заинтересоваться сюжетом романа не могли, и печальная судьба первого перевода «Адольфа» тому свидетельство. Кто мог оценить старания Вяземского? Только его друзья из литературных кругов. Можно даже сказать, кто именно — Пушкин и Баратынский. Это был перевод *для немногих*. Добавим также — и в первую очередь *не для чтения*...

Вяземский переводил «Адольфа» по нескольким причинам. Во-первых, эта книга ему действительно очень нравилась. В нервном, впечатлительном и переменчивом Адольфе, не французе, не немце, не англичанине, а просто *сыне своего века*, в его странных и сложных отношениях с Элеонорой узнавал он и самого себя, и многих знакомых. Это был нестареющий литературный характер — миновало пятнадцать лет со дня выхода романа, появились уж и Чайлд Гарольд, и Онегин, а образ Адольфа так же трогал и был так же прав-

див... Во-вторых, Вяземский узнал о том, что переводом «Адольфа» вознамерился заняться Полевой, и эта новость вызвала у князя приступ нервического веселья — купец переводит роман о светской жизни! — вперемешку с гневом и желанием немедленно поставить зарвавшегося журналиста на место. В-третьих, перевод был прекрасным поводом для любимых Вяземским экспериментов с языком русской прозы: «С этим романом имел я еще мне собственную цель: изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному» (и именно этими «пытками» интересовались Пушкин и Баратынский). И в-четвертых, «повторяя неизбежно муки авторской руки» Констана, выполняя работу копииста, Вяземский сам *учился писать роман.* В старости он не раз заявлял о том, что такая мысль ему вовсе в голову не приходила, но достаточно пристально вчитаться в его критические заметки 1829—1831 годов — и сделается ясно: идеей романа был напитан тогда самый воздух пушкинского круга.

И не только этого круга. Вся русская литература с нетерпением ждала появления большой прозы. Поэзия отступала на второй план, причем весьма заметно. Ушли в прошлое эпическая и романтическая поэмы, их место заняли заимствованные из прозы жанры — роман в стихах и повесть в стихах. Поэтические новинки больше не становились всероссийскими сенсациями (в 30-х годах будет только два громких поэтических дебюта: Бенедиктов и Лермонтов). А вот любое начинание в прозе приветствовалось и встречалось с интересом, будь то «Арап Петра Великого» Пушкина, «Иван Выжигин» Булгарина или «Юрий Милославский» Загоскина. Как раньше Байрону, пылко поклонялись иностранным прозаикам — Вальтеру Скотту, Алессандро Мандзони, Фенимору Куперу... «Лета к суровой прозе клонят»... Что ж, в этом тоже была доля истины: весь цвет Золотого века был уже не молод...

...Своего рода предтечей русского романа был жанр записок, чрезвычайно распространившийся после 1812 года. Записки отнюдь не всегда были мемуарами старых заслуженных людей, часто их писали юные офицеры, проделавшие единственную кампанию. Это был странный жанр, в котором подвиги автора перемежались с заметками об экономике, истории и политике стран, где приходилось воевать, дневниковыми записями, автобиографическими признаниями, вставными лирическими новеллами и чувствительными философскими рассуждениями. В общем, всего понемно-

гу — и сражений, и романтики, и любви, и описаний... Успехом записки пользовались колоссальным.

Вяземского жанр записок очень привлекал: «Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок». Он коллекционировал записки (у него хранились рукописи воспоминаний Е. Р. Дашковой, И. В. Лопухина, Екатерины II), не раз признавался, что любит их читать и всех знакомых «вербовал» писать мемуары (так появился «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриева). Однако собственных записок он не оставил. «Почему не пишете вы записок своих? — спрашивали NN. — А потому, — отвечал он, — что судьба издала в свет жизнь мою отрывками, на отдельных летучих листках. Жизнь моя не цельная переплетенная тетрадь, а потому и можно читать ее только урывками». Из этой записи ясно, что Вяземский всерьез сомневался в возможности упорядочения своей биографии и даже в праве своем на биографию. Этот жанр был сугубо серьезным и официальным, биографий удостаивались видные государственные мужи. Биография соответствует человеку, свершившему высокое предназначение; летучие же листки идеально подходят именно «дилетантской» жизни без видимой цели. «Бог фасы мне не дал. А дал мне только несколько профилей», — заметил Вяземский за два года до смерти, имея в виду, что подлинно великий человек по природе своей монолитен, то есть имеет «фасу»; любимые примеры Вяземского — скромный труженик Карамзин и добродетельный гений Жуковский. Самому же себе Вяземский отказывал в такой монолитности (и тем самым невольно признавал собственную сложность, впрочем, вовсе не считая ее добродетелью). К слову, австрийский исследователь творчества князя Гюнтер Вытженс послушно последовал рекомендации своего героя — разделил книгу на множество глав, отражающих различные «профили» героя. «Фасы» из набора «профилей» действительно не сложилось. Впрочем, такой задачи исследователь себе и не ставил: докторская диссертация и биография — жанры разные, и судить их следует по разным законам.

Итак, основная ценность записок для Вяземского заключалась в их всеохватности, универсальности и не в последнюю очередь неофициальности (так, прочитав мемуары Дмитриева, он очень досадовал, что тот писал их «в мундире»). Единственное препятствие к осуществлению — сомнения в ценности собственной судьбы. Вяземскому требовался *герой*, которому можно передать свои черты и

мысли, но который не будет идентичен автору. Отсюда и интерес к жанру романа.

«Англичане роман рассказывают, французы сочиняют его, — замечал Вяземский. — Многие из русских словно переводят роман с какого-нибудь неизвестного языка, которым говорит неведомое общество». От записок (и Вальтера Скотта) ранний русский роман перенял основные свои черты — сочетание историко-героического фона с романтическими приключениями. Первые русские романы были историческими: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Загоскина, «Димитрий Самозванец» Булгарина, «Последний Новик» и «Ледяной дом» Лажечникова... К ним Вяземский относился пренебрежительно, считал их «чтением при ночнике на сон грядущий» и вообще был убежден, что русский исторический роман пока невозможен: «Нет нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста». Тягаться с Вальтером Скоттом бессмысленно (тем более что и Вальтер Скотт не идеал). Гораздо важнее пробовать создать новый прозаический язык для нового героя — образованного и умного светского человека. Первой попыткой в этой области Вяземский считал «Евгения Онегина» (хоть и поэзия, но все же — *роман*). Впрочем, «“Онегин” хорош Пушкиным, но, как создание, оно слабо», — таков приговор Вяземского, вынесенный в апреле 1828 года.

Читая в 1830 году английскую книгу Томаса Листера «Гренби», князь заметил: «В самом деле, читая этот роман, думаешь, что переходишь из гостиной в гостиную. Нет ничего глубокого, нового в наблюдениях, но много верности. Кажется, если написать мне роман, то в этом роде: тут нет и ткани плотно сотканной, а просто перемена лиц и декораций». И Вяземский, и Пушкин думали о романе, в сущности, не как о жанре, но как о способе высказать мысли своего круга, сословия, закрепить на бумаге «практическую метафизику поколения нашего». Так или иначе, они пользовались для этого стихами, критикой, письмами. Но создается впечатление, что разочарование в возможностях поэзии, которое Вяземский испытал еще десять лет назад, в конце 20-х становится общим. Русские поэты растут и чувствуют — стихов уже мало, в них не выскажешь всего... Отсюда и активная журналистика, серьезное и даже возвышенное к ней отношение («Я вхожу в журнал, как в церковь, как в присутствие», — писал Вяземский Тургеневу), потому что журнал — верное зеркало общественных настроений, настоящего момента... Отсюда мечта о прозе, где можно будет вло-

жить свои мысли в уста вымышленного героя, не торопясь воссоздать животрепещущую современную историю, которую еще рано излагать в формате карамзинских девяти томов, но которая уже есть и оказывает влияние на ныне живущих (1812 год... декабристы... новое царствование...). Все друзья Вяземского знали о существовании его записных книжек (да и не только друзья: в 1827 году он начал печатать отрывки в «Северных цветах»). Именно дневники и письма Вяземского и были, по мысли Пушкина, тем горном, где выплавлялся «метафизический» язык русской прозы — язык современности, язык мыслей. Идеальным жанром для этого языка был светский роман.

Вяземский и Пушкин мечтали о светском романе как об итоговой форме их литературного существования, как о некоем концентрате жизненного и философского опыта всего поколения — единственного в полной мере светского поколения русской литературы. Это должен был быть роман-мысль, полный авторских отступлений и боковых линий, — итоговый документ мыслящего поколения, сходящего со сцены русской истории. Это должен был быть роман о русском дворянстве. О *подлинном* русском дворянстве, которое в 30-е годы уже почти потеряло влияние в России и медленно вымирало, подавляемое новой аристократией, дворянами «по чину» и «по кресту» и крепнущим мещанством. Такой роман не мог быть написан ни Гоголем, ни Лермонтовым, ни Одоевским, ни Соллогубом — это были представители другого поколения и других кругов. Только Пушкин и Вяземский были способны на это. Но такой роман не состоялся, а уже десять лет спустя эта тема была для русской прозы (и русского дворянства) совершенно не актуальна. Предпушкинское и пушкинское поколения, жившие напряженной духовной жизнью, сошли со сцены. Дворяне же 40-х уже не были озабочены в такой мере сохранением «чистоты рядов» и не обладали в массе своей таким острым чувством чести, как Пушкин. (Именно поэтому его поведение в предуэльные дни многим представлялось просто *смешным* — рожденным после 1810—1812 годов логика Пушкина была уже недоступна. «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими», — писал Павел Вяземский.)

По-видимому, роман Вяземского, будь он написан, был бы очень близок по структуре к «Адольфу». В нем, как и в «Адольфе», не было бы ни «драматических пружин», ни «многослойных действий» — всей этой «кукольной комедии романов». Действие разворачивалось бы в светских гости-

ных и представляло бы собой, конечно, отражение светской биографии самого Вяземского, его отношений с Фикельмон и Россет, с друзьями и недругами. Это была бы психологическая проза без ярких сюжетных поворотов, но богатая «внутренней жизнью сердца». Повествование, как и в «Адольфе», велось бы от первого лица. Об этом позволяет судить сохранившийся набросок: «Я жил в обществе, терся около людей; но, общество и я, мы два вещества разнородные: соединенные случайностью, мы не смешиваемся, и потому ни я никогда не мог действовать на общество, ни оно на меня. Меня люди не знают, и я знаю их по какому-то инстинкту внутреннему: сердце мое при встрече с некоторыми сжимается, наподобие антипатического чувства иных зверей при встрече с зверями враждебными. Лошадь вернее всякого натуралиста угадает в отдалении волка».

Что же до Пушкина, то он начинал свой роман несколько раз. В последние годы жизни он, видимо, склонялся к модели «Пелэма, или Приключений джентльмена» — светского романа, написанного молодым английским аристократом Эдуардом Булвер-Литтоном. «Русский Пелам» Пушкина остался незавершенным, но его структура была тщательно разработана. Нет сомнений в том, что это был бы выдающийся русский роман...

«Адольф» и «Пелэм» не были похожи друг на друга. Обстоятельства светской судьбы героев этих романов сильно различаются. Но это были книги о людях свободных благодаря своему происхождению и положению в обществе; о людях, разочаровавшихся в этом обществе и готовых найти себя в чем-то другом — в чувстве ли, в творчестве... И Вяземский, и Пушкин, читая иностранные светские романы и размышляя над их русским аналогом, невольно думали и о себе.

Они проживали абсолютно разные судьбы и были разными людьми. Но для обоих 30-е годы стали переломными. Пушкин отчаянно рванется со службы в отставку — и будет усмирен напоминанием о том, что для него закроются государственные архивы, столь нужные для «Истории Пугачева». Вяземский окончательно поймет, что рассчитывать на милости судьбы не приходится, общественная судьба не удалась и нужно устраивать судьбу личную — даже не свою уже, а детей (какие-то надежды у него возникнут снова лишь много лет спустя — в 1848 и 1855 годах). Оба, хотя по-разному, уйдут в семью, в быт, потянутся к «далекому, вожделенному брегу», где нет честолюбия, предательства, суеты, обмана... «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Об этом думает Пушкин, выезжая с женой на ненавистные ему балы в

Аничковом дворце. Об этом думает Вяземский, сидя по утрам в ненавистном ему министерском кабинете окнами на Дворцовую площадь.

Роман мог бы стать для них побегом в *большое творчество* — уходом от мелких дел надолго, на год, на несколько лет... Уходом от мелких жанров. От рутины, от службы. Подведением итогов и началом нового, истинного. Как был для Гнедича побегом из собственной биографии перевод «Илиады». Как в старости Жуковский спасался от бед и болезней переводом «Одиссеи». Как заново строил свою жизнь Карамзин «Историей государства Российского»... Вымышленного героя можно было бы наделить чертами, которых так недоставало реальным знакомым. Можно было бы воскресить ушедших друзей, выведя их под псевдонимами. Роман мог бы стать *новой жизнью* — взамен неудавшейся реальной...

От романного замысла Вяземского осталось совсем немногое — три фразы, занесенные им в записную книжку для памяти, предисловие к переводу «Адольфа», где он четко изложил собственные требования к жанру романа, и письмо к графине Фикельмон от 25 декабря 1830 года, где князь сообщал: «Мое сердце не похоже на те узкие тропинки, где есть место только для одной. Это широкое, прекрасное шоссе... Вся эта топографическая часть мужского и, в частности, моего сердца будет разъяснена в романе, который пока является лишь историей и который докажет, что можно быть одновременно влюбленным в четырех особ, быть постоянным в своем непостоянстве, верным в своих неверностях и незыблемым в постоянных изменениях». Это уже прямой ключ к сюжету несостоявшейся большой прозы Вяземского.

Но он все же счел нужным объяснить свой отказ от работы над задуманной книгой — в той же форме, в какой объяснил свое нежелание писать записки. «Почему не пишете вы романа? — спрашивали NN. — Вы имели столько случаев узнать коротко свет, жизнь и людей, ознакомились с обществом на разных ступенях; имеете наблюдательность и сметливость». — «А не пишу романа, — отвечал NN, — потому что я умнее многих из тех, которые пишут романы. Мой ум не столько произрастительный, сколько сознательный и отрицательный. Подобные умы знают положительно, чего сделать они не могут». По-видимому, опыт перевода «Адольфа» оказался решающим — получив представление о том, как пишется роман, Вяземский отказался от соперничества с Констаном.

В записных книжках князя сохранилась любопытная запись, свидетельствующая о том, что он подумывал о «боль-

шой прозе» и в старости. «Если умел бы я писать комедии или романы, я дорожил бы преданиями нашей старины: без озлобления, без напыщенного декламатерства выводил бы я на сцену некоторых чудаков, живших в удовольствие свое, но, впрочем, не в обиду другим... Имей я нужное на то дарование, я обмакивал бы кисть свою не в желчь; не с пеною во рту, а с насмешливою улыбкою растирал бы я для картин своих свежие и яркие краски простосердечной шутки... Я бегал бы, чуровался бы от всякого *тенденциозного* направления, как от злого наития. Так, кажется, вообще поступал и Гоголь. Где, в художествах, в литературе, в живописи, является тенденция с притязаниями на учительство, там уже нет ни натуры, ни искусства». Дальше приводится сюжет, который, по мнению князя, просится «под кисть русского Теньера, под перо... русского Диккенса», и рекомендации Вяземского молодому прозаику: «Не нужно стучать и пером о бумагу как кулаком. Пиши с натуры, не черни ее, не клепли на нее, и выйдут картины, очерки забавные, но миловидные, и с сатирическими оттенками».

Глубоким стариком он уже делал вид, что и не собирался никогда выступать в роли романиста: «Я очень взыскателен и не легко удовлетворяем по части романов. На всем веку своем едва ли шесть прочитал я с полным удовольствием и никогда не признавал в себе сил и достаточного дарования, чтобы пополнить это число седьмым».

Впрочем, перевод «Адольфа» и сам по себе был событием в русской прозе. В целом он был готов еще в конце апреля 1830 года (Вяземский собирался послать его Констану, и Александр Тургенев успел сообщить французскому писателю о переводе друга). Осенью Вяземский еще раз просмотрел текст и внес туда последние поправки. В середине января написал предисловие к переводу. 17 января 1831 года, закончив его, он просил Пушкина: «Сделай милость, прочитай и перечитай с бдительным и строжайшим вниманием посылаемое тебе и укажи мне на все сомнительные места. Мне хочется, по крайней мере в предисловии, не поддать боков критике. Покажи после и Баратынскому, да возврати поскорее». Через несколько дней Пушкин прислал Вяземскому рукопись с пометками своими и Баратынского. «Прими мой перевод любимого нашего романа, — писал князь в посвящении Пушкину. — Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему; в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть, призывал в ареопаг

свой и Баратынского, подвергал вам свои сомнения и запросы и руководствовался угадыванием вашего решения». Пушкин напечатал об «Адольфе» заметку в «Литературной газете»: «Князь Вяземский перевел и скоро напечатает славный роман Бенж. Констана «Адольф»... С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы». Пушкину вторил Баратынский: «Вы победили великие трудности в вашем переводе, но... вы наложили на себя слишком строгую верность переложения». (Через два года, перечитав перевод Вяземского, Баратынский заметил: «Вы избрали лучшую систему перевода, именно полезнейшую для языка. Когда вы мне прислали вашу рукопись, я не понял вашего намерения, вот почему замечания мои были истинно бестолковыми».) Друзья, для которых «Адольф» и переводился, отозвались о работе с одобрением — больше ничьи мнения Вяземского не волновали, вкусу Пушкина и Баратынского он доверял...

Издательскими делами в Петербурге занялся Плетнев. Последнюю корректуру держал Жуковский. Печатался «Адольф» нелегко. Цензор А. В. Никитенко записывал в дневнике: «Цензура затруднялась пропустить этот роман, потому что он — сочинение Бенжамена Констана! Сколько труда мне стоило доказать председателю цензурного комитета... что одно имя автора еще не есть статья, оскорбляющая правительство или грозящая России революцией». В начале июня 1831 года шестьсот экземпляров «Адольфа» появились в продаже. До самого Вяземского добрели только пять или шесть. В розницу книга стоила 1 рубль 40 копеек. Никаких доходов переводчику она не принесла.

Как ни старался Вяземский опередить своим переводом Полевого, тот, «всегда готовый на какую-нибудь пакость», начал печатать свой вариант «Адольфа» в «Московском телеграфе» еще в январе. «Проверьте с моим переводом перевод Телеграфа, — взывал князь к Плетневу. — Помилуй Боже и спаси нас, если будет сходство. Я рад все переменить, хоть испортить — только не сходиться с ним». Но волнения оказались напрасными. Для Полевого Констан вовсе не был учителем и кумиром; «Адольф» для него — «анекдот», «верный список с невымышленной сцены — не более». Перевод Полевого вовсе не был плох, но он подавал «Адольфа» читателю просто как увлекательное «чтиво» из светской жизни.



Вяземский. *С гравюры К. Афанасьева. 1822.*



Вяземский.
С литографии К. Беггрова. 1820-е гг.

Император Николай I.
С портрета Ф. Крюгера. 1830-е гг.



Граф Александр Христофорович Бенкендорф. *С портрета неизвестного художника. 1830-е гг.*



Прошение Вяземского на Высочайшее Имя о зачислении на государственную службу.
30 марта 1830 г.
РГАЛИ.
Публикуется впервые.

Всемилостивѣйшій Государь!

Желая вступить снова въ Государственную службу, осмѣливаюсь изъявить предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ сіе усерднѣйшее желаніе вѣрноподданнаго, который чувствуетъ свои обязанности къ Престолу и Отечеству.
Благоволите, Всемилостивѣйшій Государь, обратить ~~обратите~~ вниманіе на всеподданнѣйшую мою просьбу: благоволите дать мнѣ возможность доказать на самомъ дѣлѣ искренность чувствованій, которыя и здѣсь осмѣлился выразить.

Всемилостивѣйшій Государь!

Вашего Императорскаго Величества

Марта 30го дня
1828го года.
С. Петербургъ.

вѣрноподданный
Князь Петръ Вяземскій
Коллежскій Совѣтникъ.

Санкт-Петербург. Дворцовая набережная (ныне Кутузова). На переднем плане — дом Баташева, где в октябре 1832-го — августе 1834 года жил Вяземский, а в августе 1834-го — октябре 1836-го — Пушкин.







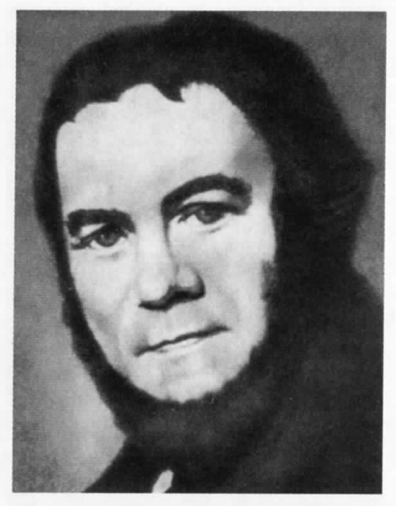
Вяземский.
С портрета К. Афанасьева. 1828.

Александра Осиповна Россет.
С портрета П. Соколова. 1830-е гг.

Гостиная в имении Олениных в Приютине. Крайний справа стоит Вяземский. *С картины неизвестного художника. 1828.*



Князь Петр Борисович Козловский.
С портрета неизвестного художника.



Стендаль. *С портрета неизвестного художника. 1830-е гг.*

Вяземский.
С портрета О. Кипренского. Рим, 1835.



Княгиня Зинаида Александровна Волконская. *С портрета неизвестного художника. 1830-е гг.*





Княжна Прасковья Петровна Вяземская. *С портрета Ф. Бруни. Рим, 1835.*



Княгиня Вера Федоровна Вяземская. *С портрета А. Молинари. 1810-е гг.*

Дочери Вяземского — Прасковья (1817—1835), Надежда (1822—1940) и Мария (1813—1849). *С картины Ф. Бруни. Рим, 1835.*

Вяземский и Пушкин
в Архангельском
30 августа 1830 года.
Н. де Куртейль. 1830.



«Полярная звезда», 1824. «Элегия» Пушкина и «Воли не давай рукам» Вяземского — на одной странице.

(198)

ЭЛЕГІЯ.

Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!
Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,
И дремлющій заливъ и черныхъ скалъ вершины.
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ,
Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ.
Я помню твой восходъ знакомое свѣтило,
Надъ мирною страной гдѣ всё для взоровъ мило;
Гдѣ стройны тополы въ долинахъ вознеслись
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ,
И сладостно шумятъ полуденныя волны.
Тамъ нѣкогда въ горахъ сердечной нѣги полный,
Надъ моремъ я влачилъ задумчивую лѣнь;
Когда на хижины сходила ночи тѣнь,
И дѣва юная во мглѣ тебя искала,
И именемъ своимъ подругамъ называла.

А. Пушкинъ.

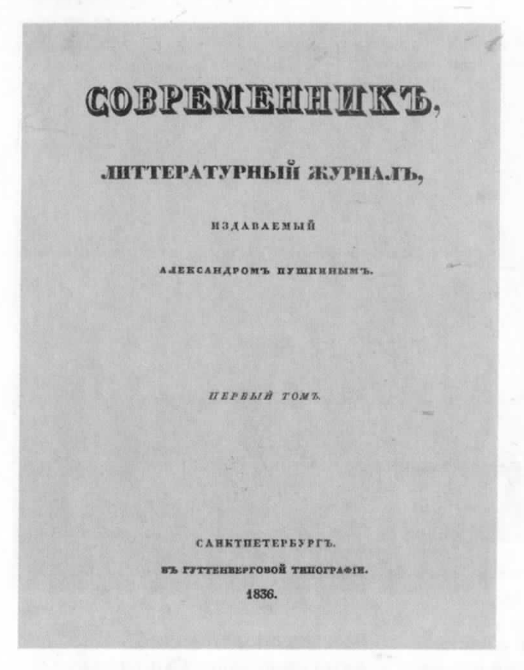
ВОЛИ НЕ ДАВАЙ РУКАМЪ.

1.

Воли не давай рукамъ!
Говорили наши предки;
Измѣняли тѣмъ словамъ
Лишь тогда, какъ стрѣлы мѣтки
Посылали въ грудь врагамъ.

Вяземский и Пушкин
в книжной лавке Смирдина.
Обложка альманаха «Новоселье».





СОВРЕМЕННИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

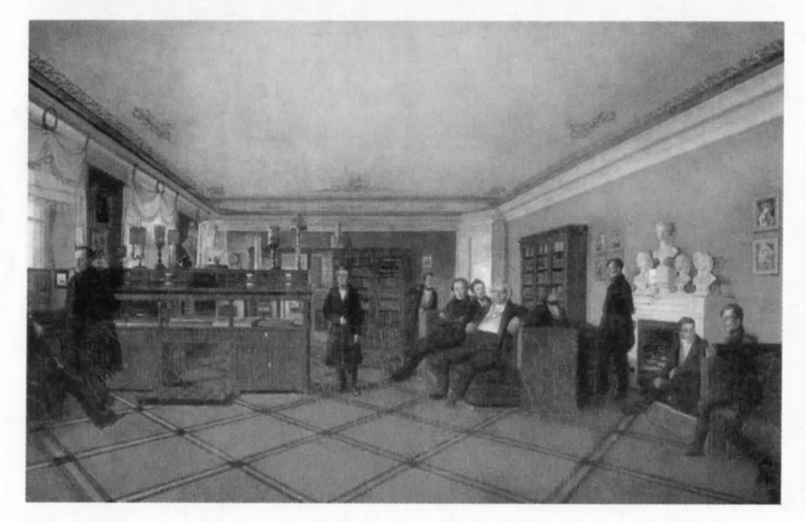
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

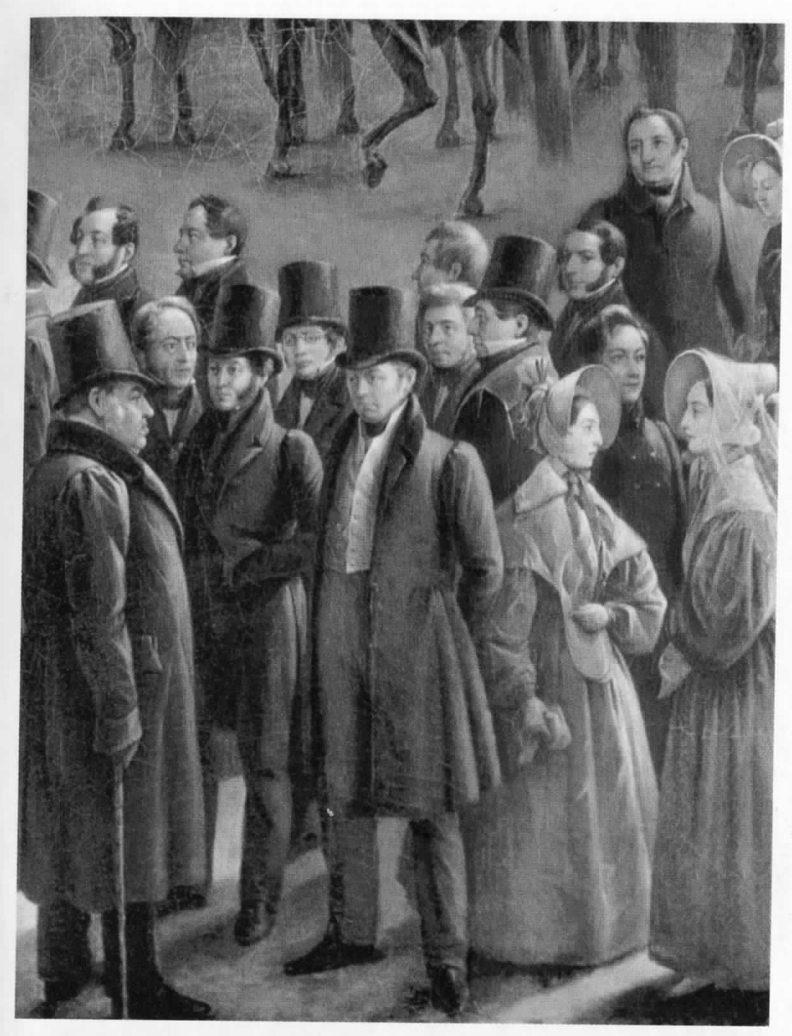
ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФІИ.

1836.

Журнал «Современник».
1836.

Субботнее собрание у В. А. Жуковского. Слева направо: П. А. Плетнев, В. Ф. Одоевский, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. И. Глинка, И. А. Крылов, Н. И. Кривцов, М. Ю. Виельгорский, И. И. Козлов, А. Н. Карамзин.
С картины художника школы А. Г. Венецианова. 1838.





Крылов, Пушкин, Вяземский, Жуковский, Гнедич на параде по случаю завершения Польской кампании 6 октября 1831 года. В реальности Вяземского на параде не было, так как в это время он находился в Москве. *Фрагмент картины Г. Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу». 1832—1837.*



Дуэль Пушкина. *С картины А. Наумова. 1884.*

Реликвии Вяземского: жилет, который был на Пушкине в день дуэли, и перчатка, парную к которой он положил в гроб друга.

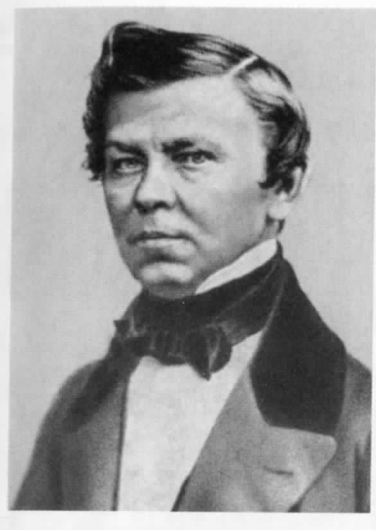


Вяземский. *С портрета С. Дица. Бад-Киссинген, 1838.*

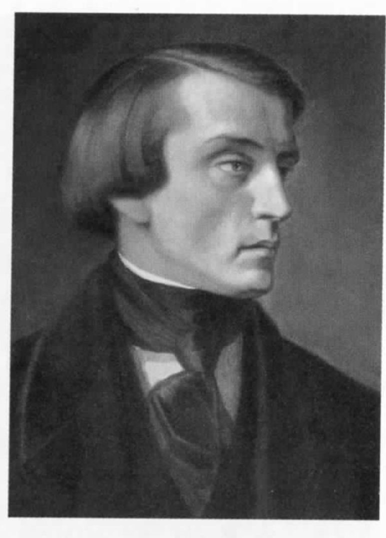
Фрагмент письма, написанного Вяземским жене во время смертельной болезни дочери Надежды. *17 сентября 1840 г. РГАЛИ. Публикуется впервые.*

Париж.
Вандомская площадь.
С литографии. 1830-е гг.



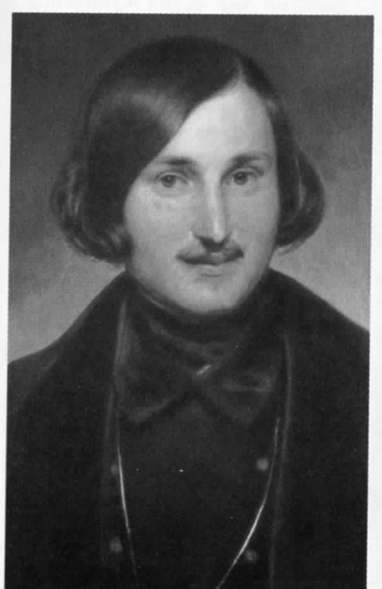


Владимир Григорьевич Бенедиктов.
С литографии. 1830-е гг.



Виссарион Григорьевич Белинский.
С портрета К. Горбунова. 1843.

Николай Васильевич Гоголь.
С портрета Ф. Моллера. 1841.



Михаил Юрьевич Лермонтов.
С портрета неизвестного художника.





Петр Яковлевич Чаадаев. *С портрета неизвестного художника. 1810-е гг.*



Петр Александрович Плетнев. *С портрета А. Тыранова. 1836.*

Александр Иванович Тургенев. *С портрета К. Брюллова. 1836.*



Василий Андреевич Жуковский. *С портрета К. Брюллова. 1835.*



Титульный лист книги
Вяземского «Фон-Визин».
1848.

ФОНЪ-ВИЗИНЪ.

СОЧИНЕНІЕ

Князя Петра Вяземскаго.

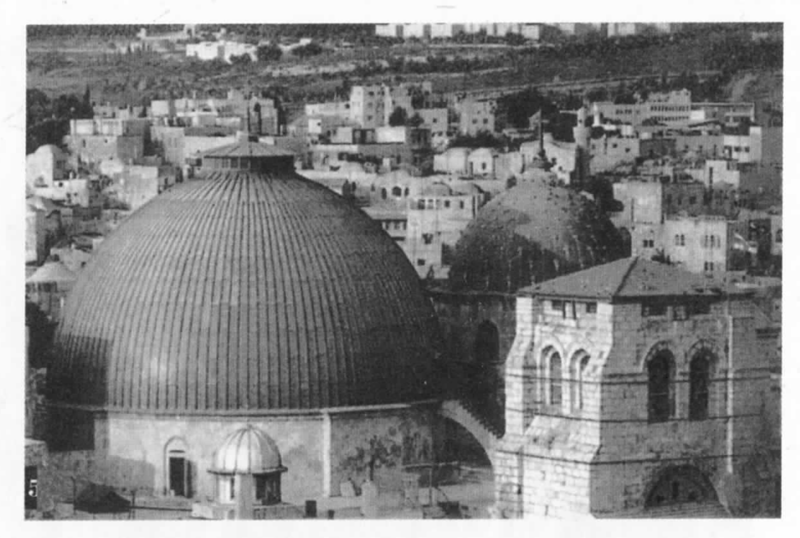
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНѢШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

1848.



Вяземский.
С портрета Т. Райта.
1844.



Иерусалим. Храм Гроба Господня.

Москва. Волхонка. *С картины неизвестного художника. 1851.*



Рецензии на «Адольфа» были в основном сдержанными. В «Московском телеграфе» появилась анонимная статейка, автором которой, скорее всего, был сам Полевой: «Пламенный, глубокий, красноречивый Б. Констан говорит по-русски каким-то ломаным языком, на который наведен лак сумароковского времени... Перевод кн. Вяземского нехорош: тяжел, неверен, писан дурным слогом». Все эти претензии были, откровенно говоря, враньем чистой воды: перевод князя и сейчас читается с удовольствием, это сдержанная, элегантная, чуть суховатая проза, точно соответствующая духу эпохи и требованиям языка. Но «Телеграфу» до этого дела не было: он издевательски писал о претензиях Вяземского «быть Петром Великим русского языка... Благодарим за труд, но смеем уверить г-на переводчика, что его предприятие похоже на затеи алхимиков». Не преминул Полевой и царапнуть Вяземского незнанием раннего анонимного перевода «Адольфа» и «детским подобострастием» переводчика перед автором...

Погодин в «Московском вестнике» тоже был чем-то недоволен, но недовольство неуклюже драпировал похвалами: «Этот перевод, разумеется, будет приятным явлением, но не *важным событием* в истории русской словесности, как сказано в Литературной Газете... Кн. Вяземский так оригинален, так негибок, что не скроется ни в каком переводе, а это достоинство писателя — уже недостаток в переводчике».

«Адольф» заменил в литературной судьбе Вяземского его собственный роман. Маскируясь переводом, он представил публике свой взгляд на современную европейскую прозу. Это была *сублимация романа.*

В 1830 году в Остафьеве князь завершил еще одну книгу, которая стала сублимацией его записок.

Этой книгой стал «Фон-Визин»*.

«Habent sua fata libelli**, особенно мои», — написал Вяземский за год до смерти. Ко всем его книгам применим один эпитет — несчастливая. Несчастливым был «Адольф», заранее рассчитанный на понимание и одобрение *двух человек.* Несчастливой была политическая книга «Письма рус-

* Написание «Фон-Визин» или «фон Визин» официально сохранялось в русском языке до конца XIX века. Исторически оно вернее, так как родоначальником Фонвизиных был ливонец Берндт-Вольдемар фон Виссин. Однако вопрос о написании фамилии был спорным уже спустя 30 лет после смерти драматурга; так, в 1824 году Пушкин напоминал брату Льву: «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из перерусских русский».

** Книги имеют свою судьбу (*лат.*).

ского ветерана», написанная для европейских читателей и вышедшая в Бельгии и Швейцарии. Несчастливой была первая и единственная прижизненная книга стихов «В дороге и дома» — хотя бы потому, что вышла она, когда поэту исполнилось семьдесят лет.

Книга «Фон-Визин» выделяется даже на этом невеселом фоне — завершенная в 1830 году, она пролежала в столе восемнадцать лет, в 1848 году была издана (благодаря случайным обстоятельствам) крохотным тиражом и не получила и десятой доли того успеха, который ей предрекали первые читатели... И ее тоже оценили в полной мере, пожалуй, лишь несколько человек, среди которых были, правда, Пушкин, Тютчев и Гоголь.

В истории с «Фон-Визиным» немало странностей. Начать хотя бы с того, что замысел ее возник у Вяземского почти случайно. Самого Фонвизина князь, естественно, знать не мог — «Денис, невежде бич и страх», умер 1 декабря 1792 года, когда его будущему биографу не было и шести месяцев. Но с Фонвизиным был близко знаком Иван Иванович Дмитриев, старший друг Вяземского. Еще в арзамасские времена Вяземский был знаком с неопубликованной «Придворной грамматикой» Фонвизина. В 1822 году, когда известный книгоиздатель Платон Бекетов задумал издать собрание сочинений Фонвизина, он обратился с просьбой о предисловии именно к Вяземскому. Какие-то наброски князь тогда сделал и даже напечатал в «Сыне Отечества» заметку с просьбой присылать ему материалы о Фонвизине, но основная работа началась только в декабре 1827 года в Мещерском. О предисловии Вяземский уже не думал — планы издателя изменились, а князь к этому времени собрал столько материалов на фонвизинскую тему, что статья волей-неволей расширялась до размеров книги... По-видимому, уже тогда Вяземский начал понимать, что выйдет не просто жизнеописание классика русской комедии. Но только остафьевская осень 1830 года дала нужную творческую свободу. Он перечитал, или, вернее, пробежал, почти всю старую русскую словесность — больше половины многотомного собрания «Российского театра», почти всего Сумарокова... Много помогала богатая отцовская библиотека. Работал князь усидчиво и прилежно, по целым часам до обеда и вечерами за полночь. Он чувствовал, что никогда еще творчество так не увлекало его, как теперь. «Радуюсь, что ты принялся за Ф. Визина, — писал 5 ноября Пушкин Вяземскому. — Что ты ни скажешь о нем, или кстати о нем, будет хорошо, потому что будет сказано». *Кстати о нем* — за

этой пушкинской оговоркой стояло многое. Пушкин прямо предлагал Вяземскому сказать кое-что *кстати*, то есть воспользоваться Фонвизиным как поводом для создания... чего?

На этот вопрос вроде бы существует точный ответ — книга Вяземского о Фонвизине считается первой русской биографией писателя, своего рода прародительницей всех литературных жизнеописаний, прабабушкой «Державина» Ходасевича и «Мольера» Булгакова... Но снова странность — сам Вяземский жанр своей работы специально не оговаривал, на титульном листе обозначено только: «Фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского». Между тем изначально книга называлась гораздо длиннее и любопытнее — «Биографические, исторические и литературные сведения о Д. И. Фон-Визине и времени его». Жанр «сведений» автора не устраивает, он заменяет его «очерками» и, наконец, находит хорошо знакомое и привычное читателю — «*записки*». Именно такое название и носила книга в начале 30-х годов. Именно так — «Биографические и литературные записки о Фон-Визине и времени его» — рекламировалась она в 1836 году в «Современнике». Именно так она и выстраивалась в сознании Вяземского. Еще в январе 1823-го, отвечая на критику Жуковским статьи о Дмитриеве, Вяземский четко обозначил свое видение биографического жанра: «Биография не портрет, а картина, то есть биография в роде моей; она ближе подходит к запискам (mémoires). Тут могу я прибрать все принадлежности, соответствия, которые не только при главном лице, но и те, кои видятся от него в перспективе».

Выше уже было сказано о разнице между универсальными, всеохватными, сугубо частными записками — предтечи романа — и строгой, официальной биографией. Биографии в России посвящались в основном полководцам и государственным деятелям и редко становились литературными событиями. Возвышенный жанр жизнеописания, соответствовавший оде в поэзии, не позволял посвятить такую книгу *частному лицу*, пусть и много сделавшему на благо России. В России было только три писателя, положение которых в государственной иерархии позволяло им рассчитывать на биографию, — Ломоносов, Державин и Карамзин. Но судьбы двух первых были слишком монументальны, они требовали огромной исследовательской работы, и Вяземский вряд ли справился бы с ней в одиночку. Карамзин умер совсем недавно, его судьба была слишком памятна, как герой биографии он воспринимался еще с трудом. Кроме того, он был назначен своего рода «святым» русской литературы, стал из живого, любимого человека официально-благостной фигу-

рой; рассказывать о нем в государственно-почтительном тоне Вяземский бы, конечно, не смог, и кроме того, ему бы просто не позволили писать об императорском историографе — для этой цели имелись проверенные баснописцы... Да и возьмись он за этот труд на свой страх и риск — огромная фигура Карамзина, искренняя любовь к нему невольно подавляли бы Вяземского (вспомним его слова: «Не напишешь же биографии горячо любимого отца»). Книга получилась бы действительно *о Карамзине.* Поэтому он и не брался за эту работу (не уставая «сватать» ее Дмитриеву)... Конечно, думал о ней не раз — и находил, что еще «рано приниматься за дело».

Вяземскому была нужна достаточно заметная, но при этом не самая яркая фигура в русской литературе, недавняя, еще актуальная, но и не слишком близкая, привеченная обществом и двором и в то же время неофициальная — которая *не мешала бы повествованию.* Одним словом, ему попрежнему нужен был *герой*, стоя за спиной которого можно было бы высказать свои мысли и чувства. Герой, который бы мог «служить центром записок современных».

Этой формуле идеально подходил Денис Иванович Фонвизин. О нем Вяземский отзывался с неизменным уважением, отлично знал его произведения (знаменитая строка из «Негодования» «Я вижу подданных царя, но где Отечества граждане?» — это цитата из «Рассуждения о непременных государственных законах» Фонвизина: «Есть подданные, но нет граждан»...). Однако легко заметить, что творчество Фонвизина вызывало у него хотя и почтительную, но довольно прохладную оценку. Еще в 1821 году в статье о Дмитриеве Вяземский заметил, что, хотя Фонвизин «первый, может быть, угадал игривость и гибкость языка, но не оказал вполне авторского дарования: слог его есть слог умного человека, но не писателя изящного». Отзывы о «Бригадире» и «Недоросле» тоже нельзя назвать восторженными: «Фон-Визин не был решительно драматиком, не был и комиком, даже каков например Княжнин... Басня обеих комедий автора нашего слаба и бедна, в картине его есть игривость и яркость, но нет движения: это говорящая картина — и только; но и то говорят в ней не всегда участвующие лица, а часто говорит сам автор». Примерно так же — беспристрастно отмечая удачи и неудачи — судил Вяземский о творчестве Озерова, Княжнина, Сумарокова, Радищева. Нигде не дает он понять, что именно Фонвизин привлекает его больше других русских писателей прошедшего века. Так что с большой долей вероятно-

сти можно утверждать, что, не попроси Бекетов в 1822 году заняться именно Фонвизиным — и из-под пера князя вполне могла выйти книга, например, об Озерове, тем более что Вяземский явно гордился своим ранним очерком о нем (1817) и справедливо считал, что «форма и обработка моей биографической статьи должны были иметь в свое время отпечаток и какой-то запах новизны»... Известно, что собирал Вяземский в 1828—1829 годах и материалы о жизни Радищева.

Так что писал Вяземский никак не биографию в строгом смысле этого слова. Вопрос о возможности существования этого жанра (имеется в виду именно *литературная*, а не официально-героическая биография) активно обсуждался в конце 20-х годов в переписке пушкинского круга в связи со смертью Карамзина — и большинство склонялось к тому, что русская биография пока что невозможна (причем именно в силу этических причин), а уж если рискнуть и приняться за нее, то за образец нужно брать классическую «Жизнь Сэмюэля Джонсона» Роберта Босуэлла. Для биографии такого типа немаловажным условием было *личное знакомство* автора с героем (Босуэлл много лет дружил с Джонсоном и вел дневник, куда заносил подробности его быта, брошенные им меткие фразы и т. п.). Вяземский считал, что русская биография такого типа может появиться — например, если Дмитриев напишет о Карамзине... «Фон-Визин» был трудом новаторским уже потому, что он был написан не другом, не родственником и не учеником Фонвизина. Достаточно взглянуть на любую страницу работы Вяземского, чтобы понять: автор заметно абстрагируется от своего героя, более того — сам автор и есть главное действующее лицо книги... Вяземский не раз подчеркивает остроту ума Фонвизина, другие его достоинства, подкрепляет это обильным цитированием и документами, но уступать ведущую роль своему герою явно не намерен. Вот и еще одна странность: фигура Фонвизина, как это ни парадоксально, в книге Вяземского занимает далеко не самое видное место. Но это парадокс только в системе координат биографии. В *записках* первенство автора естественно и уместно.

Эту сторону книги очень точно оценил Гоголь, прочитавший рукопись в 1843 году. «Не скажу вам ничего о глубоком достоинстве самого сочинения, — писал Гоголь автору, — об интересе эпохи и лиц и живости и самого героя биографии; в них меня ни один столько не занял, сколько *сам биограф* (курсив мой. — *В. Б.*). Как много сторон его сказалось в этом сочинении: критик, государственный муж, политик,

поэт — все соединилось в биографии, и каждая сторона многое объемлет».

О чем же эта книга Вяземского? В заголовок вынесена фамилия Фонвизина, и действительно, из книги можно узнать много интересного о родословной драматурга, ознакомиться с его перепиской, не публиковавшимися ранее переводами, о взаимоотношениях с Ипполитом Богдановичем, Державиным, графом Никитой Паниным. Но совершенно ясно, что и сам Фонвизин, и его творчество для князя были лишь поводами для пространного монолога, не стесненного никакими рамками, — то есть, собственно, для записок в чистом виде. Косвенно он признался в этом потом, вспоминая: «Тут на опыте убедился я в пользе и правдивости учения, что *все во всем* (tout est dans tout). Все в мире, часто незаметно, но более или менее связывается и держится между собою... Нередко одно слово, одно имя, одно малейшее событие может все увлечь в разнообразные и далекие изыскания». Такими «изысканиями» на тему «Все во всем» (сама эта фраза — цитата из французского педагога Жана Жакото) и стала книга «Фон-Визин». Первым подметил эту особенность книги Баратынский и написал Вяземскому в декабре 1829-го: «Вы один на поприще нашей литературы поступили, как настоящий писатель, вы передаете ваше мнение обо всем и наконец нам будет известно, что вы о чем думали».

Планировал ли Вяземский опубликовать эту книгу — если не сразу, то вскоре после написания? Безусловно — «Фон-Визина» нельзя назвать неподцензурным текстом, внутренний редактор в Вяземском присутствовал, многие пассажи явно рассчитаны на восприятие, что называется, благонамеренного читателя. Достоверно известно, что издателем книги в 1832 году собирался быть Пушкин, в 1835-м рукопись благополучно прошла цензуру... Но несмотря на то, что «Фон-Визин» писался для печати, он остался во многом исследованием *частного историка* о *частном лице*. Книга стала для Вяземского и полем спора с противниками «Литературной газеты», и обширным очерком современного состояния литературы, и записной книжкой, куда выплеснулось несколько монологов о России и русских. «Фон-Визин» на какое-то время заменил ему и письма, и дневники. Это была вторая после «Адольфа» попытка передать свое «мнение обо всем» — на этот раз устами не Адольфа, но собственными.

Выше уже было сказано, что в возможности создания записок о себе самом Вяземский сомневался: «Жизнь моя не целая переплетенная тетрадь». Но размышления о русской

истории и литературе, о собственной судьбе, невольно порожденные вынужденным досугом и близостью возможной смерти в холерную остафьевскую осень, требовали большого литературного пространства — тут статья удовлетворить уже не могла. В «Адольфе» он высказал себя, как мог, и читатели это увидели («кн. Вяземский так оригинален, так негибок...»), но все же перевод — вышивание по чужой канве, мысли Констана не подправишь и свои чувства в уста его героев не вложишь. А полотно записок — причем записок не о себе — давало почти полную свободу действий. Отдав должное своему герою через документы, князь Петр Андреевич вылетал на широкий «стратегический простор» повествования, и только от него зависело теперь, куда повернет книга...

Она и начиналась вовсе не Фонвизиным. Вяземский сразу бросал читателю почти боевой лозунг: «История народа должна быть вместе историею и его общежития». Вся первая глава очень напоминала по стилистике полемические статьи князя, и не случайно в январе 1830 года он отдал ее для публикации в «Литературную газету». Читатели, внимательно следившие за статьями Вяземского, могли убедиться в том, что основные положения этой главы им хорошо знакомы — князь уже в который раз говорил о том, что «русское общество еще вполне не выразилось литературою. Русский народ сильнее, плечистее, громогласнее своей литературы... Русское общество не воспитано на чтении отечественных книг... Какое может быть на народ влияние литературы, не имеющей эпопеи, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков?» Об этом Вяземский писал еще восемь лет назад. Расцвел Пушкин, появились Грибоедов, Баратынский, но князь, отдавая им должное, упорно продолжал твердить: русской литературы как таковой по-прежнему нет — есть отдельные хорошие писатели. Причина этому сугубо историческая: вся русская поэзия — отзвук военных побед XVIII века, величественного екатерининского времени, отсюда и «лирическое, торжественное, хвалебное направление, данное поэзии нашей»... Он утверждает, что отголоски «хвалебного направления» слышны до сих пор — достаточно вспомнить «Певца во стане русских воинов» Жуковского и последние строфы «Кавказского пленника» (и правоту Вяземского подтвердит следующий, 1831-й год, когда и Жуковский, и Пушкин откликнутся официальными одами на подавление польского бунта...). Фонвизин интересен Вяземскому уже тем, что он — редкое исключение из этого правила: «Он был преимущественно

писатель драматический и сатирический, следовательно, живописец и поучитель нравов». К тому же еще одна любопытная черта: «Он не был человек кабинетный, писал урывками, между делом и обязанностями службы деятельной и прямо государственной; а несмотря на блистательные литературные успехи, он никогда не мог быть образцом и не был главою новой школы». Да уж не набрасывает ли автор свой автопортрет, лукаво прикрываясь Фонвизиным?.. О Вяземском тоже можно сказать, что он «преимущественно писатель сатирический», то есть, другими словами, *негосударственный*, неофициальный...

Времени Екатерины II Вяземский посвятил несколько страниц, в разных вариациях повторяя одну мысль: это была золотая эпоха русской государственности и русского искусства. Сама Екатерина для него — идеал правительницы: «Ум ее был отверст для всего возвышенного и способен на все усилия. В числе предметов, занимавших деятельность его, успехи образованности и просвещения были целью ее особенной заботливости. Она не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, но, так сказать, баловала и щадила неизбежные его уклонения». Вяземский, конечно, превосходно помнил об участи Новикова и Радищева, которых вовсе не баловали за «уклонения ума». Но, рисуя екатерининскую эпоху только светлыми красками, он пользовался старинным приемом царедворцев, открытым еще Фенелоном: аллегорией дать понять правящему монарху, что не мешало бы следовать примеру просвещенного предка... «Щадить неизбежные уклонения ума» — вот к чему призывал Вяземский Николая I, и читатели книги это понимали. Напротив этой фразы Пушкин написал на полях: «Прекрасно».

Своеобразным дополнением к мыслям Вяземского, высказанным в книге, служит его дневниковая запись от 3 ноября 1830 года. Перечитав «Записки» екатерининского генерала А. И. Бибикова, он отметил: «Занимательная книга... Много любопытных фактов. Как мы пали духом со времен Екатерины, то есть со времени Павла. Какая-то жизнь мужественная дышит в этих людях царствования Екатерины, как благородны сношения их с императрицею; видно точно, что она почитала их членами государственного тела. И самое царедворство, ласкательство их имело что-то рыцарское: много этому способствовало и то, что царь была женщина. После все приняло какое-то холопское уничижение. Вся разность в том, что вышние холопы барствуют перед дворнею и давят ее, но пред господином они те же безгласные

холопы... При Павле, несмотря на весь страх, который он внушал, все еще первые года велись несколько екатерининские обычаи; но царствование Александра, при всей кротости и многих просвещенных видах, особливо же в первые года, совершенно изгладило личность. Народ омелел и спал с голоса. Все силы оставшиеся обратились на плутовство, и стали судить о силе такого-то или другого сановника по мере безнаказанных злоупотреблений власти его. Теперь и из преданий вывелось, что министру можно иметь свое мнение. Нет сомнения, что со времен Петра Великого мы успели в образовании, но между тем как иссохли душою. Власть Петра, можно сказать, была тираническая в сравнении с властью нашего времени, но права сопровержения и законного сопротивления ослабли до ничтожества. Добро еще, во Франции согнул спины и измочалил души Ришелье, сей также в своем роде железнолапый богатырь, но у нас кто и как произвел сию перемену? Она не была следствием системы, — и тем хуже».

Говоря о ослабевшем до ничтожества праве на законное сопротивление, он имел в виду себя, свой проигранный поединок с правительством. Он писал о гигантах «времен Очаковских и покоренья Крыма», блистательных фаворитах и полководцах — Потемкине, Суворове, Долгорукове, Чернышеве, Панине, — и видел духовных и телесных лилипутов, окружавших Николая I. Алексей Орлов — карикатура на Григория Орлова, Дибич-Забалканский — карикатура на Румянцева-Задунайского, Нессельроде — карикатура на Бестужева-Рюмина... Все «омелело» в России, все «спало с голоса»... Он вспоминал отца, который воплощал собою честное русское дворянство екатерининских лет... Он думал о том, что Потемкин, будучи недоброжелателен к отцу, тем не менее *не травил* его, не сживал со свету... Он понимал, что славное прошлое привлекает к себе больше бесславного и постыдного настоящего...

Отдельную главу князь Петр Андреевич посвятил драматургии XVIII столетия. Вновь видимая странность — книга об одном из классиков русской комедии, а Вяземский убежден, что русской комедии как таковой не существует, а есть опять-таки отдельные удачные пьесы, не более того. Пьесы эти можно перечислить по пальцам: «Недоросль» Фонвизина, «Ябеда» Капниста, «Горе от ума» Грибоедова (шесть лет спустя Вяземский прибавит к списку гоголевский «Ревизор», и на этом история русского театра для него закончится). Почему так? Вяземский объясняет бедность русской драматургии не только ее несамостоятельностью

(много заимствований и переводов с французского), но и тем, что «в русском уме нет драматического свойства». «И нравы наши не драматические, — продолжает Вяземский, — у нас почти нет общественной жизни: мы или домоседы, или действуем на поприще службы... В общежитии мы очень чинны, мерны и опасливы в своих поступках и разговорах. Не только гласные события общества нашего, но и тайные хроники его не могут быть обильным источником драматических приключений. У нас мало огласок в общественной жизни, а драма любит соблазн, крутые перевороты в жребиях людей... Во всех званиях, во всех степенях общества нашего удивительное однообразие: все как будто вылиты в одну форму, выкрашены под один цвет. Стройный, правильный, выравненный, симметрический, одноцветный, цельный Петербург может некоторым образом служить эмблемою нашего общежития. Без надписей, без нумеров на домах трудно было бы отличить один дом от другого... Воспитание почти у всех одинаковое, поприще общее. Служба, потом отставка и домашнее житье с хозяйственными заботами или стеснение дел, более или менее расстроенных, — вот вся жизнь дворянства... Военный был или будет статским, и обратно; он же и автор, он же и деревенский помещик, он же и промышленник, он же и купец. Купеческое звание также не имеет особенных примет; оно двумя концами примыкает или к дворянству, или к простонародию. В таком положении мало игры, мало резких противоречий». Читая все это, забываешь поневоле, что речь-то шла всего лишь о том, почему нет в России хороших пьес... Нет, это была книга не только о драматургии.

«Наше общественное мнение недовольно щекотливо, мнительно и взыскательно. Оно таково не от расслабления нравов, но именно от излишней осторожности, от боязни огласки. Мы терпим в обществе своем бесчестного человека, принимаем его наравне с другим, достойным уважения, не потому, что совесть общества нашего усыплена или зачерствела, но потому что не хотим ни с кем ссориться, говоря: «Наше дело сторона»... «Наше дело сторона», — говорим мы, и жмем руку подлецу, и принимаем к себе негодяя». Все глаголы — в настоящем времени. Речь идет явно не о 1780-х годах. Это — биография Фонвизина?..

Да, но это и записки Вяземского.

Сквозь черты Фонвизина слишком явственно проглядывало сумрачное и умное лицо князя.

Сквозь его восхищение веком Екатерины прорывалось возмущение веком Николая.

Он писал о Фонвизине, странствующем по Европе, — и видел себя, которого в 1828 году не выпустили в Париж.

Он видел перед собой вполне конкретных подлецов и негодяев, которых принимают в салонах и с почтением жмут им руки, — Блудова, Воейкова...

Он видел: «в людях что Иван, что Петр; во времени что сегодня, что завтра: все одно и то же». Он понимал, что это — идеальное государство Николая I. И знал, что бедственное положение драматургии — далеко не единственная и не главная проблема этого государства.

Далеко не одними только судьбами русской комедии был озабочен князь, сидя над записками о Фонвизине в остафьевском кабинете. *Кстати о Фонвизине* удалось сказать многое.

«Вяземский везет к вам Жизнь Фон-Визина, книгу едва ли не самую замечательную с тех пор, как пишут у нас книги (все-таки исключая Карамзина)» (Пушкин — Плетневу).

6 декабря 1830 года, в Николин день, карантины в Москве были сняты. Холера отступила. Через девять дней в Остафьево приехал Пушкин, просидевший в нижегородском Болдине вместо одного месяца — три. Он был весел: закончен «Онегин», написаны «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», статьи, около трех десятков стихотворений... По крепкому снегу подкатили сани к крыльцу Остафьевского дворца. Дом наполнился смехом, восклицаниями, вспыхнули свечи в зале-ротонде, где все готово было для дружеского обеда. Снова радовал один вид резкого, своеобычного, дорогого лица...

«Третьего дни был у нас Пушкин, — отметил в дневнике Вяземский. — Он много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника. Куплеты: Я мещанин, я мещанин; эпиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: Дон-Жуана, Моцарта и Салиери». Десятилетний Павлуша Вяземский на всю жизнь запомнил, как Пушкин «во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как будто катаясь на коньках, и потирая руки декламировал»:

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.

Родов дряхлеющих обломок
(И, по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава Богу, мещанин...

Потом князь читал Пушкину «Осень 1830 года», «Родительский дом», «Леса», и гость «слушал... с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого». Рукопись «Адольфа» Пушкин увез с собой в Москву для прочтения, а «Фон-Визина» просмотрел в кабинете автора. Конечно, не обошлось без спора: «Пушкин находил, что я слишком живо нападаю на Фон-Визина за его мнение о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Этого чувства я не знаю. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, лучшую награду за свой труд».

Конечно, говорили и о последней политической новости: месяц назад в Варшаве началось восстание, охватившее вскоре всю Польшу... Вяземский рассказал, что в день получения известий неожиданно вспомнил варшавскую службу, раздумался о том, что, может быть, снова сведет судьба с великим князем Константином. С этими мыслями встал с постели, а через час получил письмо от Александра Булгакова с вестью о бунте...

Через две с половиной недели, 4 января 1831-го, в воскресенье, Пушкин вновь появился в Остафьеве. Святки отмечали шумно и с истинно московским размахом — в Остафьево съехалась вся родня хозяев: Святополк-Четвертинские, Лодомирские, Гагарины, Полуэктовы, Трубецкие, приехали Николай Муханов и Денис Давыдов, из села Никульского под вечер пришли Анна, Варвара и Елизавета Окуловы... В ротонде под звуки оркестра князя Волконского, приглашенного из соседнего Суханова, танцевали кадриль, гавот, котильон, русскую плясовую. Польскую мазурку Вяземский под-

черкнуто серьезно плясать запретил. «Это мятежный танец», — объявил он под дружный смех гостей... Пушкин был весел, разговорился с Вяземским о великом князе Константине. «Еще так молод и дважды вдов, — сострил о нем Пушкин, — потерял империю и королевство». Поговорили о смерти Бенжамена Констана (он умер 8 декабря). «Все мои европейские надеждишки обращаются в прах, — сказал Вяземский. — Редеет, мелеет матушка Европа. Скоро не на кого будет глаз кинуть»... Шампанским отметили выход из печати «Бориса Годунова» — 31 декабря книга появилась в Москве в продаже. Пушкин напомнил Вяземскому о предстоящей свадьбе, а Веру Федоровну пригласил быть посаженой матерью. Прийти на венчание она не смогла по очень грустной причине: у 40-летней княгини случился выкидыш...

18 января Москва узнала о смерти Дельвига. В очередном номере «Литературной газеты» были напечатаны некролог Плетнева и стихи Гнедича и Туманского памяти пушкинского однокашника. 27 января в трактире француза Транкиля Ярда (он открылся в первый день 1826 года; москвичи быстро переименовали трактир в «Яр»), на углу Кузнецкого моста и Неглинной, Пушкин, Вяземский, Языков и Баратынский помянули друга. Вяземский рассказал, как он «открыл» для себя Дельвига — летом прошлого года, когда вместе ездили на дачу к Олениным; по дороге обычно сдержанный барон разговорился, поведал князю о том, что задумал повесть и даже набросал сюжет... Вяземский был поражен — Дельвиг совершенно преобразился, он говорил с живостью, красноречиво и увлекательно. Пушкин, слушая Вяземского, кивал: да, Дельвиг был на эдакое способен. Еще в лицее, бывало, импровизировал целые устные романы — якобы воспоминания свои о детстве, проведенном на войне... Баратынский рассказал, как они с Дельвигом однажды целых три дня питались одним вареньем — денег не было вовсе. Вспыхнул мгновенный смех и тут же погас. Пушкин смотрел в свой бокал. Вяземский сумрачно попыхивал сигарой. Баратынский предложил собрать все сочинения и письма Дельвига и издать с приложением гравированного портрета, факсимиле и объяснений... В пользу семьи Дельвига решено было издать альманах «Северные цветы на 1832 год».

А жизнь — все вперед, вперед... Вот и смерть Дельвига уже прошлое. 17 февраля Пушкин пригласил друзей в новую квартиру на Арбате на мальчишник накануне долгожданной своей свадьбы. Пришли Вяземский, Денис Давыдов, Баратынский, Языков, Иван Киреевский... И опять было скорее грустно, чем весело — снова вспоминали Дельвига, обсуж-

дали Польшу, спорили (Вяземский с Баратынским — «о нравственной пользе»). Поздравляли Пушкина с окончанием холостой жизни, Вяземский, как семьянин с самым большим стажем, прочел ему небольшое шутливое нравоучение, но, как ни старались развеселить жениха, Пушкин был необыкновенно грустен... Назавтра он венчался с Натальей Гончаровой, первой московской красавицей, восемнадцатилетней девушкой с удивительно тонким, наивным, прелестным лицом. Вяземский смутно слышал, что дворянство Гончаровых всего лишь столетнее, отец невесты давно помешался (впрочем, на свадьбе он присутствовал и держался тихо), а мать славится дурным характером... Бедный Пушкин, это с его-то нелюбовью к практическим делам, с его заботами и мыслями — сколько ему приходилось добиваться своей невесты, сколько выдержать разговоров с будущей тещей о приданом... Венчанье было по соседству с Вяземским, в притворе недостроенного храма Вознесения Господня на Большой Никитской — Большого Вознесения (так его называли в отличие от Малого Вознесения, что на углу Большой Никитской и Большого Чернышева переулка; в этом храме Вяземский был старостой от прихожан). Наталья Николаевна глаз не подымала и была очень бледна. Лица Пушкина Вяземский не видел — держал венец над его головой.

Что-то во время венчания не задалось: сперва порыв ветра из дверей загасил у жениха свечу, потом Пушкин неловко задел крест с аналоя, и он упал на пол... Когда Пушкин надевал обручальное кольцо на палец жены, оно выскользнуло из рук... И тут Вяземский увидел злое, напряженное лицо друга — хищно опущенные углы губ, мрачные глаза... Дурные приметы, что и говорить. Но грех им верить. Все будет хорошо.

На Арбате молодых с иконой встречали Нащокин и Павлуша Вяземский. Супруги задали друзьям славный обед, и Александр Булгаков за столом все удивлялся тихонько, откуда у Пушкина, всегда живущего по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство... Пушкин не отходил от жены. Вяземский поглядывал на них, мысленно улыбаясь — уж больно непривычно рядом с маленьким Сверчком смотрелась высокая, очень юная и очень скромная *жена*... К тому же контраст внешностей: Пушкин по-своему привлекателен, конечно, но бывают у него минуты какого-то полного внешнего безобразия — арап, да и только; вот как в церкви, когда он разозлился на свою неловкость. Наталья Николаевна же — спокойная, невинная, правильная, русская прелесть... Вулкан и Венера.

...Польша пылала. 1830 год вообще выдался неспокойным — после краткой Июльской революции 25 августа начались волнения в Нидерландах (и образовалось вскоре Бельгийское королевство). Польша восстала в ночь с 17 на 18 ноября. Уже на другой день повстанцы овладели Варшавой. Великий князь Константин Павлович едва успел бежать из своего дворца — его преследовала выпестованная им польская кавалерия... В начале декабря русские войска вынуждены были отступить и с территории Польши. Диктатором восстания стал генерал Хлопицки, которого 6 января 1831 года сменил князь Адам Чарторыйски. Через неделю сейм объявил о том, что лишает Николая I польского трона. Стали поговаривать, что Чарторыйски провозгласит себя королем Польши... Николай I повел себя решительно — отказался от всяких переговоров с восставшими и бросил на подавление мятежа армию. Но первое же сражение при Сточеке окончилось поражением русских.

13 февраля произошел кровопролитный бой при Грохове. Поляки отразили три атаки русских, но главнокомандующий, генерал-фельдмаршал граф Дибич-Забалканский бросил в бой гренадерскую дивизию, которая решило дело. Десять тысяч убитых было у русских, двенадцать тысяч потеряли поляки... 14 мая — сражение при Остроленке: семидесятиверстный марш 15-тысячной русской армии, переход через реку Нарев и бой с 24-тысячной армией Скржинецкого. Снова победа русских, тяжелая и кровавая... «Ты читал известие о последнем сражении 14 мая... — писал Пушкин Вяземскому. — Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей».

Вяземский узнал о восстании 3 декабря 1830 года. Польские известия сначала «огорошили» его. Он видел в бунте не народное возмущение, «а буйство нескольких головорезов, подобных нашим 14-го декабря», «печальную неизбежность, которая толкает эту столь несчастную страну к окончательной гибели». По его мысли, эту «неизбежность» надо было немедленно остановить с помощью войск, а не бросать Варшаву на произвол восставших... Он полурастерянно-полураздраженно писал Александру Булгакову о том, что восстание обречено: «И чего же другого ожидать Польше, восставшей на Россию? Она и не Бельгия. Там есть какая-нибудь соразмерность, да и бельгийцы могли надеяться, что дело их сделается европейским делом, что не дадут их на расправу победителей. Но как

полякам не знать, что Европа и не заикнется об них и что Россия справится с ними, как с бунтом в Коломне». Первые прогнозы не оправдались — Европа «заикнулась», и довольно громко; Лафайет во французском парламенте пламенно заверял восставших в полном сочувствии, антирусские настроения охватили почти все западные страны... Но в итоге Вяземский оказался прав: пылкими речами в парламентах дело и кончилось. Угрозы вторжения объединенных европейских сил в Россию так и не возникло. Вооруженной помощи поляки тоже не дождались. По большому счету польское восстание и в самом деле оказалось «бунтом в Коломне»...

6 августа 85-тысячная русская армия под руководством нового главнокомандующего генерал-фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского окружила Варшаву и утром 25-го пошла на штурм. Польскую столицу защищал 35-тысячный гарнизон. Через тридцать шесть часов боя Варшава сложила оружие, потеряв восемь тысяч человек убитыми, три тысячи — пленными и 132 орудия.

Паскевичу повезло: взятие Варшавы почти совпало с годовщиной Бородинской битвы. Известие о победе тоже обставили торжественно и красиво — с донесением в Петербург отправился князь Александр Аркадьевич Суворов, внук полководца, взявшего Варшаву в 1794 году... Разгром восстания был воспринят при дворе как историческая победа. Суворов прибыл в Петербург 4 сентября, в тот же день Паскевич был пожалован светлейшим князем Варшавским, а уже через десять дней в свет была выпущена за казенный счет брошюра «На взятие Варшавы». Торжественными стихами победу русского оружия славили Жуковский и Пушкин.

Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их...
....
Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми восторгов общий глас!..

Это «Бородинская годовщина» Пушкина. И еще — «Клеветникам России», обращенное к депутатам французского и британского парламентов, резко выступавших против действий России в Польше:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
....
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? От Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

Возмущению князя Петра Андреевича не было предела. Им тут же были забыты собственные отзывы о польском восстании как о «буйстве нескольких головорезов». Это уже в прошлом: восстание раздавлено, Варшава пала. И ликовать над трупами павших врагов, по мнению Вяземского, было недопустимо. Он считал, что «гимны поэта никогда не должны быть славословием резни» (письмо к Тургеневу, 1822). А «торжественная, лирическая, хвалебная» русская поэзия на этот раз воспевала не освобождение отечества от нашествия иноземцев, не героизм русских солдат, сражавшихся с турками, шведами и французами, а именно что резню, подавление мятежа, уничтожение людей, жаждавших получить *свободу*. Для Вяземского это было равнозначно тому, как если бы друзья написали песнь, прославляющую артиллеристов, расстрелявших 14 декабря картечью «друзей, товарищей, братьев» на площади у Сената... Что же за природа такая у русской литературы, если непременно ей нужно подгавкнуть одою палачам с руками по локоть в крови? Неужели нельзя хотя бы промолчать?.. Еще Карамзин упрекал Дмитриева, написавшего в 1794 году оду (и тоже на взятие Варшавы): «Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона»...

В письме к Пушкину в Петербург князь не решился на открытую ссору с другом. Весь огонь он перенес на Жуков-

ского, автора «Песни на взятие Варшавы»: «Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами), и не совестно ли певцу в стане русских воинов и певцу в Кремле сравнивать нынешнее событие с Бородином. Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. Можно было дивиться, что оно долго не делается, но почему в восторг приходить от того, что оно сделалось... Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нет тут вдохновений для поэта. Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете?» Упреки Жуковскому — это упреки и самому Пушкину, тоже автору *шинельных* стихов... Письмо, написанное 14 сентября, осталось неотправленным — «не от нравственной вежливости, но для того, чтобы не сделать хлопот от распечатанного письма на почте». Переписка с Пушкиным осталась почти беззаботной по тону. Весь гнев, все раздражение и ярость Вяземский выплеснул в записную книжку...

«Какая тут, черт, народная поэзия в том, что нас выгнали из Варшавы за то, что мы не умели владеть ею, и что после нескольких месячных маршев, контр-маршев мы опять вступили в этот городок. Грустны могли быть неудачи наши, но ничего нет возвышенного в удаче, тем более что она нравственно никак не искупает их... Мы удивительные самохвалы, и грустно то, что в нашем самохвальстве есть какой-то холопский отсед... Как мы ни радуйся, а все похожи мы на дворню, которая в лакейской поет и поздравляет барина с именинами, с пожалованием чина и проч. Одни песни 12-го года могли быть несколько на другой лад, и потому Жуковскому стыдно запеть иначе... Что было причиной всей передряги? Одна: что мы не умели заставить поляков полюбить нашу власть... Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас... Есть одно средство: бросить Царство Польское... Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступать, но по победе очень можно. Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде: она в ней не уместится и разорвет, как ветры разрывали жопу отца его... Какая выгода России быть внутреннею стражею Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным вра-

гом... Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо более предмет для поэзии, нежели во взятии Варшавы. (Да у кого мы ее *взяли*, что за *взятие*, что за слова без мысли!) Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках».

Для Вяземского польское восстание было, конечно же, неожиданностью, он сам в этом признавался, но неожиданностью возможной и даже предполагавшейся. Он видел в нем повторение российского 14 декабря, яростную вспышку национальной гордости, которую уже больше четверти века ущемляли русские, немцы, австрийцы... Хорошо зная Польшу изнутри, князь приходил к мысли, которая была «широка» для головы не только министра иностранных дел Нессельроде, но и абсолютного большинства тогдашних россиян: полякам нужно предоставить независимость, это обезоружит европейских русофобов и одновременно обезвредит «мину замедленного действия», которой неизбежно станет усмиренная Польша. Насчет этой мины князь оказался совершенно прав — в 1863 году Польша снова восстала, а «при первом движении в России» в 1918 году провозгласила независимость. До этого было еще далеко, но Вяземский, в отличие от его друзей, был трезвым политиком. Он знал, что рано или поздно так *будет*.

Он читал «Русскую песнь на взятие Варшавы» Жуковского... И думал, *что* нужно чувствовать и *кем* быть, чтобы писать такие стихи. Что это? Духовная и душевная слепота субъективно честного человека? Непонимание того, что славить тех, кто проливает кровь, безнравственно? Неодолимое в русском поэте желание получить очередной перстень или табакерку с вензелем? Искренняя радость за нашу армию, которая наконец раздавила опасный мятеж? Стихоплетство «по привычке», без сердца?.. «Стихи Жуковского навели на меня тоску. Как я ни старался *растосковать*, или *растаскать*, ее по Немецкому клубу и черт знает где, а все не мог. Как можно в наше время видеть поэзию в *бомбах*... Мало ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи; но разве вы будете их петь? Мы были на краю гибели, чтобы удержать за собой лоскуток Царства Польского, то есть жертвовали целым ради частички. Шереметев, проиграв рубль серебром, гнул на себя донельзя, истощил несколько миллионов и наконец, по перелому фортуны, перелому почти неминуемому, отыграл свой рубль. Дворня его восхищается и кричит: «Что за молодец! Знай наших Шереметевых!»... Я более и более *уединяюсь*,

особняюсь в своем образе мыслей. Как не говори, а стихи Жуковского — une question de vie et de mort* между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть. Разумеется, Жуковский не переломил себя, не кривил совестью, следовательно мы с ним не сочувственники, не единомышленники. Впрочем, Жуковский слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности их».

«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» Пушкина стали известны Вяземскому через несколько дней. И записи князя становятся откровенно издевательскими: «Пушкин в стихах своих *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. *Народные витии*, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим.

Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от *мысли до мысли* пять тысяч верст...

Вы грозны на словах, попробуйте на деле.

А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: «Да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то!» Неужли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы?..

И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою*? Россия вопиет против этого беззакония...

После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его старорусские, Нессельроде — за подписание мира. Когда решишься быть поэтом *событий*,

* Вопрос жизни и смерти (*фр.*).

а не *соображений*, то нечего робеть и жеманиться, как проебенная блядь. Пой да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что *мы не сожжем Варшавы их.* И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее».

Долгие годы официальное литературоведение твердо стояло на одной позиции: Пушкин ошибаться не может. Один из корифеев русской пушкинистики М. А. Цявловский прямо заявлял: «У Пушкина все хорошо!»... Соответственно и «Бородинскую годовщину», и «Клеветникам России», в которых Пушкин не вполне соответствовал представлениям о нем советской власти, истолковывали и оправдывали как могли. Были написаны тома о сложности политической позиции Пушкина, о том, что, прославляя победы русского самодержавия, он одновременно в душе сочувствовал свободолюбивым полякам... В предельно ясных строках письма к Вяземскому: «И все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна» — находили либеральный подтекст. И даже строки писем к Элизе Хитрово: «Итак, наши исконные враги будут совершенно истреблены... Начинающаяся война будет войной до истребления — или по крайней мере должна быть таковой... Мы получим Варшавскую губернию, что следовало осуществить уже 33 года тому назад» — пытались как-то объяснить.

Доходило до откровенно непарламентских приемов: даже Натан Эйдельман колол безответного Вяземского тем, что он, дескать, упрекал Пушкина в написании «шинельных стихов», а сам в середине 50-х «опустился» до откровенных поэтических похвал Николаю I... Вадим Перельмутер в послесловии к своей книге «Звезда разрозненной плеяды!..» приводит характерный пассаж из внутренней рецензии (1981) на его многострадальное сочинение о князе: «Позиция автора в отношении стихотворения «Клеветникам России» абсолютно неприемлема. Не понимая сложности вопроса, получившего ясность в нашем литературоведении, автор... отдает предпочтение радикалу Вяземскому впротивовес (так в тексте рецензии. — *В. Б.*) Пушкину». Одним словом, будь Вяземский хоть сто раз прав, преимущество всегда будет за Пушкиным... Просто потому, что Вяземский — это Вяземский, а Пушкин — это Пушкин.

Как это ни забавно, но изменение политической конъюнктуры в России лишь слегка поменяло акценты в этой старой проблеме. «Имперским» литературоведением позиция Пушкина уже не объясняется замысловато, а одобряется в полный голос, без поисков либерального подтекста. «В свете новых решений» Пушкин бодро стоит на страже инте-

ресов великой империи, а Вяземский проявляет необъяснимые симпатии к полякам и почему-то не жаждет потопить восстание в крови. «Но исполнял ли Вяземский волю масонов или выражал свое собственное мнение, мы не знаем» (Н. Богданов. Возвращение на истинный путь). Все это пишется без тени улыбки.

Для нас сегодня нет никакого сомнения в том, что и Пушкин, и Вяземский были патриотами своей страны. Хотя патриотизм у них был разный.

А вот у Пушкина сомнения относительно патриотизма Вяземского были. 5 июля 1832 года в разговоре с Николаем Мухановым он сказал, что Вяземский — «человек ожесточенный, aigri*, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу». Пушкин хорошо знал Вяземского. Можно ли доверять его высказыванию?

На первый взгляд, свидетельства «ожесточенности» действительно разбросаны там и сям по обширному эпистолярному наследию князя. Например, в мае 1824 года, отказываясь сотрудничать во французском журнале «Revue Encyclopédique», Вяземский так объяснял причины своего отказа редактору: «Вы просите невозможного, требуя сведений главным образом о фактах, которые могут характеризовать развитие и успехи цивилизации на нашей родине. Разве вы не знаете, что Россия находится в еще совсем младенческом возрасте и что говорить вам о ней — значит делать крайне жестокую критику той опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства?.. Я вижу свою национальную гордость не в том, чтобы торжествовать по поводу того, что у нас есть, а в том, чтобы сожалеть о недостающем. Я не принадлежу к нищим, старающимся выставить напоказ богатства, которых они не имеют, а скорее принадлежу к тем, которые нарочно показывают свои лохмотья, потому что считают себя достойными лучшей судьбы. И все мои благомыслящие соотечественники, конечно, разделяют мое мнение».

А вот записная книжка: «Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским:

В любви я знал одни мученья.

Какая же тут любовь, спросят, когда не за что любить? Спросите разрешения загадки этой у строителя сердца человеческого. За что любим мы с нежностию, с пристрастием брата недостойного, сына, за которого часто краснеем?»

---

* Озлобленный (*фр.*).

Вариация этого высказывания в финале письма к Александру Тургеневу: «Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти России — такой, какой она нам представляется... Другой любви к отечеству у нас не понимаю».

С одной стороны, Пушкин как будто совершенно прав — Россия Вяземскому действительно не по вкусу, и он ее не любит... Но не будем забывать, что это писалось в 1828 году, в трагические минуты жизни князя, когда он думал об эмиграции. И достаточно прочесть такие стихотворения Вяземского, как «Первый снег», «Еще тройка», «Русские проселки», «Памяти живописца Орловского», «К старому гусару», «Степью», «Тихие равнины...», «Очерки Москвы», чтобы убедиться в том, что их писал патриот России. Достаточно узнать, что мечтой князя было составить сборник, куда «вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения... исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или злоприобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей». Очевидно, что такую мечту мог лелеять (и осуществить!) только истинный русский патриот... С трактовкой истинного патриотизма поздним Вяземским можно познакомиться в его статье «Граф А. А. Бобринский» (1868): «Он был патриот, также в лучшем и высшем значении этого слова, всецело преданный отечеству. Но также и патриотизм его не имел узких свойств односторонности и исключительности. Русский душою, он был европеец по образованности и сочувствиям своим. Он не раболепно предавался подчинению французскому, немецкому или английскому, но признавал, что и Россия есть часть Европы... Он считал, что не может и не должно быть систематического разлада и разрыва между Россиею и всем тем, что есть хорошего и поучительного в Европе».

Вот этими самыми «узкими свойствами односторонности и исключительности», по мнению Вяземского, страдал Пушкин. Со слов князя широко известен анекдот о том, как Пушкин в кругу друзей однажды «сильно русофильствовал и громил Запад»; слушавший его Александр Тургенев прервал пламенную речь скромным замечанием: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек». Немецкий Любек был тогда первым пунктом, куда прибывали пароходы из Петербурга, и служил своего рода воротами в Европу для русского путешественника. Пушкин, осекшись, рассмеялся: действительно, легко «русофильствовать», не повидав хотя бы Любека...

С другой стороны, «русофильские» настроения были свойственны Пушкину далеко не всегда, и с этим согласит-

ся любой, кто хотя бы бегло знаком с его перепиской. Этого знакомства вполне достаточно, чтобы назвать самого Пушкина «человеком ожесточенным, aigri, который не любит Россию». «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног», «Что мне в России делать?», «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь», «Наша общественная жизнь — грустная вещь... это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поневоле могут привести в отчаяние»... «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» — вот своеобразный итог подобного рода высказываний Пушкина.

Так что у Вяземского, наверное, тоже были иногда все основания сомневаться в патриотизме Пушкина.

Позиция Вяземского в 1831 году, если всмотреться в нее пристальнее, вполне ясна. Это не сентиментальный патриотизм в декабристском духе — пристрастный и требовательный. Это полное размежевание с правительством, которое никак не олицетворяет для князя Россию («У нас ничего общего с правительством быть не может, — писал он жене еще в апреле 1828-го. — Je n'ai plus ni chants pour toutes ses gloires, ni larmes pour tous ses malheurs»*).

«Торжествовать о том, что у нас есть», по Вяземскому, — смешно и нелепо. Это наивный анахронизм в духе XVIII столетия. Это значит — с горящими глазами воспевать армию Паскевича, которая заливает кровью Польшу. Это значит — с верноподданным восторгом наблюдать за казнью декабристов. Это значит — не моргнув глазом написать вчерашнему другу письмо с требованием покаяния. Это значит — считать Нессельроде и Бенкендорфа крупными государственными деятелями. Это *квасной патриотизм*. Неслучайно само это выражение принадлежит именно Вяземскому. Впервые он употребил его в 1827 году в рецензии на книгу Ж. Ансело «Шесть месяцев в России».

«Торжествовать о том, чего у нас нет» — недостойно, мелко, грубо и глупо. Радоваться недостаткам родины, издеваться над ней — это участь действительно обиженных судьбою, озлобленных людей, которые во множестве появятся начиная с 40-х годов. Таким человеком станет эмигрант князь Петр Долгоруков. «Торжествовать о том, чего у нас

---

* У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его несчастий (*фр.*).

нет», позже будут Герцен, Огарев, Чернышевский. Еще позже большевики во имя абстрактной идеи будут желать своей стране поражения в Первой мировой войне.

«Сожалеть о недостающем», по мнению Вяземского, и значит любить Россию, быть ее патриотом в полной мере. Любить ее такой, *какой она должна быть.* Не прощать ей ее недостатки. Негодовать на них. Но всеми силами желать ей избавиться от недостатков и стать *подлинной*, не фальшивой Россией...

Такая трактовка патриотизма, конечно, свойство не только конкретного человека, но большей части преддекабристского поколения. Мотив ненависти к нынешнему состоянию государства, пламенного стремления его *улучшить*, привести его к благоденствию, цивилизации, просвещению — на этом были сосредоточены умы русской молодежи, отстоявшей отечество от Наполеона.

Патриот Вяземский превосходно помнил, что его предки — Рюрик и Святой Равноапостольный Владимир Креститель. За бородинский подвиг он получил боевой орден Святого Владимира (в честь его собственного прямого пращура). Он с упоением работал над русской конституцией, которая должна была принести России благо.

Болью проникнута дневниковая запись Вяземского: «Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения Европейского. Что мы усмирили Польшу, что нет — все равно: тяжба наша проиграна». Эта запись вроде бы о Польше, но на самом деле — о *нас* («наши действия... мы усмирили...»), то есть о России. Что может быть больнее, чем знать, что отечество выглядит в глазах всего света нелепо, глупо, преступно?..

В боли, гневе, ярости Вяземского Пушкин видел отсутствие патриотизма...

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась
И ярым бунтом опьянела,
И смертная борьба меж нами началась
При клике «Польска не згинела!» —

Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда разбитые полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.

Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал
Во прахе, пламени и дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

Это незаконченное стихотворение Пушкина дошло до нас в копии с утраченного чернового автографа. Мы приводим его текст в реконструкции С. М. Бонди, впервые опубликованной в 1987 году; известны также реконструкции Т. Г. Цявловской и Б. В. Томашевского.

Кто герой этого стихотворения? Этот вопрос неоднократно рассматривался в пушкинистике, но исчерпывающего ответа на него нет до сих пор. Два наиболее вероятных кандидата — Александр Тургенев (версия поляка Анджея Дворского, чья книга «Пушкин в кругу польской культуры» была переиздана по-русски в 1999 году) и Вяземский (версия российского исследователя Дмитрия Ивинского).

В пользу последнего предположения вроде бы говорит тот факт, что в декабре 1831 года Пушкин и Вяземский не раз спорили на польскую тему. Легко представить себе, в каком тоне велись эти споры. Союзником Вяземского в них мог стать разве что недавно приехавший из Европы Александр Тургенев. (Впрочем, заочную союзницу князь нашел еще и в графине Фикельмон: «Я восхищаюсь в вас еще в тысячу раз больше, чем вашим умом — благородной душой, горячим сердцем и пониманием всего, что справедливо и прекрасно», — писала она Вяземскому, прочитав его гневные отзывы о пушкинских стихах.) Но Тургенев, приехавший в Россию налаживать отношения с императором, по-видимому, предпочитал не высказывать свои взгляды вслух. Кроме того, он вообще болезненно воспринимал стычки между друзьями. «Вяземский очень гонял его (Пушкина. — *В. Б.*) в Москве за Польшу, — писал Тургенев брату Николаю. — Стихи его «Клеветникам России» доказывают, как он сей вопрос понимает. Я только в одном Вяземском заметил справедливый взгляд и на эту поэзию, и на весь этот нравственно-политический мир (или — безнравственно). Слышал споры их, но сам молчал, ибо Пушкин начал обвинять Вяземского, оправдывая себя; а я страдал за обоих, ибо люблю обоих». А в дневнике, описывая спор Вяземского с Пушкиным 8 декабря, отмечал: «Оба правы».

Можно предположить, что Пушкин обвинял Вяземского в озлобленности, отсутствии любви к России. Он всерьез думал, по-видимому, что Вяземский «променял» русских на поляков еще в годы варшавской службы. Отсюда, видимо, и герой стихотворения, который «нежно чуждые народы воз-

любил». Но — о Вяземском ли это сказано?.. Если так, то Пушкин явно несправедлив к другу — князь не отрицал, что многие национальные черты поляков ему симпатичны, да и польских друзей у него было предостаточно — Урсын-Немцевич, Мицкевич, Шимановска... Но все же утверждать, что он «нежно возлюбил» поляков, нельзя. Говоря словами одного из булгаковских героев, «это типичный перегиб».

В одном из черновых вариантов сохранилась строка о том, что герой «пил здоровье Лелевеля». Тоже явное утрирование. Пушкин словно дает нам полный «джентльменский набор» поведения предателя — не только «возлюбил» чужой народ, но еще и пьет за здоровье его духовного вождя, историка Иоахима Лелевеля.

Тем более не о Вяземском — строки о лукавом смехе героя при известиях о поражении русских войск. Аргументация Д. П. Ивинского по поводу психологического соответствия облику Вяземского эпитета «лукавый» неубедительна — слово «лукавый» носило в пушкинскую эпоху явно выраженный отрицательный оттенок и не так далеко отстояло от «подлого», «обманного», «двуличного» (например, «Властитель слабый и лукавый...»); использованные Пушкиным в посланиях к Вяземскому эпитеты — язвительный, игривый, замысловатый, колкий и т. п. — не имеют такой смысловой окраски, как «лукавый»; напротив, Пушкин подчеркивает прямо противоположное лукавству качество характера друга — простодушие («...И простодушие — с язвительной улыбкой»). К тому же очень трудно представить себе Вяземского, ликующего по поводу поражений русских войск: в конце 1830-го — начале 1831 года князь вполне поддерживал Пушкина в польском вопросе (хотя и не призывал во всеуслышание раздавить бунт как можно скорее). Еще раз напомним, что возмущение князя связано не с тем, что Пушкин мечтал о победе русских, а с тем, что он напечатал «шинельные» стихи об этой победе.

Наконец, финал — «рыдания» героя-космополита на руинах Варшавы. Вот это уже точно не Вяземский. Вот что писал он жене 19 сентября 1831 года, через четыре недели после подавления восстания: «В Варшаве, говорят, все тихо тишиною смерти... Раздают всей русской армии польский военный орден, берут из Варшавы публичную библиотеку и везут сюда... Как не подумать довершить дело силою убеждения и примирения? Хорошо было обезоружить Польшу... Она же нам останется. Ведь это не завоевание, а ресторация (реставрация. — *В. Б.*)... Отец может и должен желать восстановить власть свою над сыном непочтительным, прови-

нившимся». Что-то непохоже это на «рыдания» над судьбой загубленного мятежа. Скорее напоминает интонации писем самого Пушкина, желавшего видеть в Польше «Варшавскую губернию». И еще напоминает манифест, в котором Николай I заявлял: «С прискорбием отца, но со спокойной твердостью царя, исполняющего долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей».

Так что назвать незаконченное пушкинское стихотворение обвинительным актом против Вяземского при всем желании невозможно. Вряд ли в нем вообще идет речь о конкретном лице. Скорее Пушкин дал в нем некий собирательный образ.

В черновом варианте пушкинской статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» можно найти две очень важные фразы, непосредственно связанные с историей «Ты просвещением свой разум осветил...»: «Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах». Итак, сам Пушкин говорит о том, что «бездушный читатель французских газет» не страдал от отсутствия единомышленников — антипатриотичными толками полнилось *московское общество.* Что же это за общество? Мы знаем, что большинство друзей и знакомых Пушкина мятеж безоговорочно осудило. Так что под «обществом» подразумевается явно не пушкинский круг.

Ответ дает нам на страницах «Былого и дум» А. И. Герцен, в 1831-м — представитель поколения 20-летних. «Как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании, — свидетельствует Герцен. — Это уж недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое: Nein! Es sind keine leere Träume!* Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки». Не правда ли, очень похоже на поведение героя пушкинских стихов?.. Именно молодые фрондирующие москвичи (а не Тургенев и не Вяземский) вполне могли и подчеркнуто «пить здоровье Лелевеля», и «с лукавым смехом слушать вести» о поражениях русских войск... И «рыдать», когда пришло известие о взятии Варшавы.

«Толки московского общества», настроения романтической молодежи, сочувствующей полякам, должны были приводить Пушкина в ярость. И скорее всего он задумывал свое

---

* Нет! Это не пустые мечты! *(нем.).* Неточная цитата из стихотворения И.-В. Гёте «Надежда».

стихотворение не как ответ Вяземскому, а как рассчитанное на широкий отклик политическое послание, упрек антипатриотически настроенным московским юношам, «бездушным читателям французских газет».

С польским восстанием в творческой биографии Вяземского связан один любопытный факт. В конце октября 1831 года Бенкендорф прислал ему статью из французского журнала «Мод» с просьбой перевести ее на русский язык. «Мод» издавался сторонниками свергнутых Бурбонов, был в оппозиции к официальной французской прессе и в пику ей писал о действиях русской армии в Польше в хвалебном тоне, утверждая, что Варшава сдалась русским без единого выстрела, а никаких репрессий к полякам не применяется... Казалось, было бы логично, если непримиримый Вяземский, так возмущавшийся компромиссами Пушкина и Жуковского, с негодованием отверг бы предложение перевести лживую статью. Но он, напротив, охотно взялся за перевод, который был затем высочайше одобрен и напечатан (без имени переводчика) в «Северной пчеле»...

Дело в том, что князь отлично понял, какую можно извлечь пользу из французской выдумки — сделать акцент на том, что *поляки не пострадали.* Эта фраза была адресована прежде всего Николаю I, который должен был уже делом подтвердить мнение французского журналиста — помиловать мятежников.

Это была вариация на тему «В боренье падший невредим...» — и, может быть, только работая над переводом этой статьи, Вяземский понял, зачем Пушкин написал «Бородинскую годовщину».

Известно, что перевод Вяземского обсуждался его друзьями (например, 9 декабря 1831 года — Пушкиным, Тургеневым и Чаадаевым). Перевод и его публикация — замаскированный призыв к императору с просьбой о милости — вполне могли примирить Пушкина с Вяземским.

Оба они разными средствами призывали правительство помиловать восставших. Попытка Пушкина явно была рассчитана на очень грубое восприятие власти — недвусмысленно и вполне искренне заявляя о необходимости раздавить восстание, Пушкин тут же намекал на то, что жестокая расправа с мятежниками вряд ли необходима. Пушкин не мог не понимать, что его стихи будут читать разные люди, в том числе и такие, которые не увидят в стихотворении никакого подтекста, которые не захотят увидеть этот подтекст. Понимал он и то, что ни одно стихотворение нельзя читать, имея в виду *только* подтекст. Но, с другой стороны, он не

считал нужным и поступаться своими убеждениями: он вполне искренне желал скорейшей победы российских войск и не испытывал к полякам никаких симпатий. Для него это было просто восставшее население российской губернии, которое нужно как можно быстрее усмирить.

Вяземский вначале тоже не испытывал к восставшим особых симпатий. Он понимал, что лидеры мятежа не пользуются авторитетом в народе и никогда не рискнут вооружить польских крестьян, следовательно, мятеж обречен, следовательно, он *бесцелен* и *глуп*. После падения Варшавы в августе 1831 года настроения князя в принципе не меняются («Хорошо было обезоружить Польшу... Отец может и должен желать восстановить власть свою над сыном непочтительным, провинившимся»), но поведением Жуковского и Пушкина он возмущен. Он горячо сочувствует побежденным — и вовсе не из-за того, что он их союзник, а просто из гуманности и сострадания (что совсем немало). В качестве частного лица, наедине с совестью Вяземский позволял себе резкую и откровенную критику правительства и Пушкина, выступившего заодно с властью. При этом более чем вероятно, что внутренний смысл строфы «В бореньe падший невредим...» был для Вяземского прозрачен. Но, по его мнению, призывать растоптать мятеж только ради того, чтобы тут же попросить помилования для мятежников — это был слишком рискованный и слишком запутанный ход, и потому «Бородинская годовщина» не могла быть им одобрена: в качестве хвалебной оды она была, по мнению князя, подлой, в качестве просьбы о помиловании — слишком туманной.

Однако когда самому Вяземскому предложили выступить официально, он тут же воспользовался возможностью громко сказать о помиловании — и выбрал точно такой же путь, что и Пушкин: перевел ложь французских журналистов о бескровном падении Варшавы и тут же иносказательно попросил пощадить восставших...

То есть пошел на компромисс. Князь надеялся на гуманность, цивилизованность, доброту, величие души. Надеялся и Пушкин, одновременно искренне радуясь падению Польши...

Спустя некоторое время они узнали, что пощады полякам не будет — сотни инсургентов были сосланы в Сибирь, закрыт Варшавский университет, отменена польская конституция 1815 года, запрещен выпуск литературы на польском языке. Словом, из автономного Королевства Польского Николай I сделал обыкновенное российское генерал-губернаторство во главе с Паскевичем, «Варшавскую губернию».

Попытка «милость к падшим призвать» не удалась — ее проигнорировали.

Но она была...

...Спустя тридцать лет история повторилась — Польша восстала снова. Вяземскому суждено было дожить до этого мятежа. Его брошюра «Польский вопрос и г-н Пеллетан», опубликованная за счет автора в 1864 году, стала последним фактом серьезной политической деятельности старого князя. Но акценты теперь были расставлены совсем иначе: Вяземский осуждал русское правительство, но... только за то, что оно проявило «терпимость и непредусмотрительность», из-за которых восстание не было подавлено в самом зародыше.

Польские волнения, мысли, записи, споры шли в жизни Вяземского на фоне московских хлопот по устройству выставки. Первопрестольная готовилась к приезду императора. «Только и новостей, что все наперехват шьют себе новые штаны, новые юбки», — иронически роняет князь в письме к Пушкину. В этой фразе, возможно, намек и на себя самого — еще 5 августа высочайшим указом Вяземский был пожалован в камергеры, так что пришлось спешно заказывать придворный мундир... 11 октября Москва колокольным звоном встретила Николая I, дворянство и купечество поднесли победителю поляков хлеб-соль... Начались балы. «Мы теперь пляшем, поем и так далее», — комментирует Вяземский.

2 ноября в залах Дворянского собрания открылась выставка. Во время посещения ее император неожиданно направился прямо к Вяземскому. Князь невольно напрягся — это была его первая встреча с государем... Но все сошло хорошо: Николай был в добром настроении, улыбался. Выставка и ее организация ему понравились. «Слава Богу, слава вам, выставка наша прекрасно удалась, — писал Вяземский 4 ноября своему начальнику Д. Г. Бибикову. — Государь был ею отменно доволен, и не только на словах, но и на лице его было видно, что ему весело осматривать свое маленькое хозяйство. Он с пристальным вниманием рассматривал все предметы, говорил со всеми купцами, расспрашивал их и давал им советы... Со мною государь был особенно милостив, обращал много раз речь ко мне... и отличил меня самым ободрительным образом... Со вступления моего в службу я еще не имел счастия быть ему представленным, и тут, на выставке, первое слово его обращено было ко мне: так представление и сделалось». Весь ноябрь в

Москве непрерывно шли балы и гулянья для простого народа. И, наблюдая их, Вяземский чувствовал, что «всегда в таких зрелищах есть нечто национальное и народное. Этот Кремль, который господствует над городом, так же как все воспоминания и впечатления, эти волны народа, которые буквально днем и ночью приливают и отливают, следуя за всеми передвижениями царя и царицы, эта связь с землей, этот русский дух, который всюду чувствуется, уносят зачастую мысль за тесные пределы дворца и салона. Здесь чувствуется, что существует неизменная сила, вовсе не искусственная, не вызванная обстоятельствами, и если придают так много значения тому, что ты русский, то, плохо это или хорошо, но ты себя чувствуешь именно в Москве, а не в ином месте». Только настоящий патриот России мог сказать эти искренние слова...

Пушкин настойчиво просил князя помочь «Северным цветам на 1832 год», вся выручка от которых должна была пойти вдове и детям Дельвига. Обещав 11 сентября собрать все, что можно «по альбумам», Вяземский замолчал на два месяца (самое напряженное для него время на выставке) и только 15 ноября послал Пушкину материалы с припиской: «Я виноват перед тобою, то есть перед Цветами, как каналья. Вот все, что я мог собрать». Собрать он смог шестнадцать стихотворений — Зинаиды Волконской, Языкова, Теплякова, сестер Тепловых — и дал шесть своих сочинений: «Хандра», «Тоска», «Д. А. Окуловой», «Володиньке Карамзину», «До свиданья», «Предопределение». В последнем — явственная перекличка с «Эхом» Пушкина, напечатанным в том же альманахе, и даже почти точная цитата из Пушкина («...при светлом празднике весны...» — пушкинская «Птичка», 1823):

Благоуханьем роза дышит,
Созвучьем дышит соловей,
Хотя никто его не слышит,
Никто не радуется ей.

Печально горлица воркует
На светлом празднике весны;
Луна златым лучом целует
Лесов пустынных глубины.

Так бескорыстен, безотчетен
В своих явлениях поэт;
Он об успехе беззаботен,
Равно ему: есть цель или нет.

Над ним минутного влиянья
Всесилен роковой закон;
Без думы, скорби иль вниманья
Поет, страдает, любит он.

«Северные цветы на 1832 год» получились очень впечатляющими по составу авторов — проза была представлена Владимиром Одоевским, Лажечниковым, Погодиным, Федором Глинкой, Сомовым; поэзия — Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Дмитриевым, Языковым, Баратынским, а открывали поэтический раздел пять стихотворений покойного Дельвига... Это был едва ли не лучший русский альманах. Только из-за «Северных цветов» Вяземский разминулся с новым журналом Ивана Киреевского «Европеец», разрешение на издание которого было дано в середине октября. Свободных стихов у него просто не было (как и у Пушкина), поэтому поэзия в первом номере «Европейца» была представлена только Жуковским, Баратынским и Языковым. Новый журнал был окрещен московскими литераторами в шампанском... Краснощекий крепыш Николай Языков, озорной дерптский бурш, которого все любили за добрый нрав, буйный талант и *русскость*, с бокалом в руке декламировал новые стихи:

Я здесь! — Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родныя!
Здесь наша матушка-Россия
Семисотлетняя жива!
Здесь все бывало: плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа,
Все, все!.. Да здравствует Москва!

28 октября, через десять дней после крещения «Европейца», на две недели приехал в Москву Жуковский. Отмечали встречу у Дмитриева — убеленный сединами Иван Иванович, радостно поблескивая раскосыми своими глазами, вышел к гостям с владимирской лентою поверх жилета... Александр Тургенев и Вяземский обняли друга. Почтительно приветствовал его Чаадаев... И разговор пошел обо всем сразу — о Польше (тут уж Вяземский высказал все Жуковскому в лицо...), о переводной статье из «Мод», о царскосельской жизни, о новых балладах, о молодом малороссиянине Гоголе-Яновском и его изумительных повестях, о Пушкине и «Северных цветах» и, конечно, о «Европейце», дай Бог ему здоровья, который станет настоящим наследником покойной «Литературной газеты»... Жуковский привез Киреевскому в подарок новую свою «Сказку о спящей царевне», которая и увидела свет в первом номере журнала. Автор прочел ее вслух у Вяземского 5 и 6 ноября.

Двадцатипятилетний Иван Киреевский нравился Вяземскому своей дельностью, умом, широкой образованно-

стью (с некоторым философским уклоном — он был поклонником Шеллинга, который на князя всегда нагонял страшную скуку). На литературное поприще Киреевский вступил именно благодаря Вяземскому — тот взял с него слово написать что-нибудь для публичного чтения в салоне Зинаиды Волконской, и Киреевский сочинил небольшой рассказ «Царицынская ночь» — описание ночного разговора двух друзей «о назначении человека, о таинствах искусства и жизни, об любви, о собственной судьбе и, наконец, о судьбе России»... Истинным призванием Киреевского оказалась критика — его статьи «Нечто о характере поэзии Пушкина» и «Обозрение русской словесности 1829 года» сразу же привлекли всеобщее внимание. Заработав высокую репутацию в московских литературных кругах, Киреевский задумал издавать собственный журнал. Кстати, и тут ему косвенно помог Вяземский — образцом для «Европейца» послужил «Московский телеграф», структура которого была разработана Вяземским шесть лет назад... Единственным крупным отличием стал отказ Киреевского от раздела мод. Разрешили издание «Европейца» неожиданно легко.

22 декабря 1831-го Вяземский наконец уехал из Москвы в Петербург. Поселился он вновь у Карамзиных; финансовое начальство, Канкрин и Бибиков, приняло его ласково. Новый год Вяземский встретил с Блудовым и Жуковским, в тот же день представлялся в числе других камергеров императрице. Там встретил немало знакомцев еще по варшавской службе во главе с Новосильцевым («Весь этот народ похож на червей, выползших из могилы»). Начал мало-помалу заново обустраивать свой столичный быт — нанял за четыреста рублей карету на месяц, стал посещать вечера и собрания... 28 января на балу в Зимнем дворце вальсировал с императрицей. Тогда же Николай I прилюдно похвалил князя за служебные успехи: «Если бы во всей России дела шли так, как в департаменте внешней торговли, было бы хорошо»...

В десятых числах января до столицы добрался наконец первый номер «Европейца». Вяземскому не понравилось плохое качество бумаги и печати, но заглавную статью Киреевского «Девятнадцатый век», опубликованные в номере стихи он прочел с удовольствием. А уже 6 февраля 1832 года написал жене: «По секрету. Пошли за Киреевским и скажи ему, что на его Европейца собирается гроза... Я уверен, что это Булгарина — Полевого штука». Тревога, к несчастью, оказалась неложной: 22 февраля канцелярия Москов-

ского цензурного комитета официально известила издателя о том, что по высочайшему повелению журнал его *запрещен*... Сказать, что это был шок для всех — значит, ничего не сказать. Русские журналисты знали, что балансируют на лезвиях цензорских ножниц. Полевой с «Московским телеграфом», Николай Надеждин с «Телескопом» давно привыкли жить под дамокловым мечом. Но чтобы вот так — разрешили и тут же необъяснимо жестко запретили, — такого даже журнальные старожилы не могли припомнить.

Как и предполагал Вяземский, «Европеец» пал жертвой доноса. «Журнал Европеец издается с целию распространения духа свободомыслия, — писал бдительный автор. — В 1-ой статье «XIX-ой век» указывается, к чему должны стремиться люди. На странице 10-й разрешается, что из двух разрушительных начал должно родиться успокаивающее правило, и правило сие ясно обнаружено. Автор называет его *искусно отысканною срединою*, то есть конституциею, срединою между демократиею и монархиею неограниченной... В статье «Обозрение русской литературы» на стр. 103 и 104 автор весьма коварно насмехается над нашим правительством, которого прозорливость избавляет нас от занятий политикою... Чего хочет автор статьи — ясно! В конце он возбуждает ненависть противу рожденных в России иноземцев в самых гнусных выражениях». Император «изволил обратить особое свое внимание» на донос, и участь журнала была решена...

Поражены и оскорблены были не только реальные и возможные сотрудники «Европейца» — все честные русские писатели. Гибель журнала означала только одно: делать что-либо так, как велит совесть, в России невозможно. «Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным, — писал Баратынский Киреевскому. — Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным... Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая». К тому, чтобы «писать, не печатая», литераторы в России уже понемногу привыкали, но все же падение Киреевского было *слишком* внезапным, *слишком* жутким, почти инфернальным — и потому казалось, что можно еще что-то исправить, логически объяснить запретившим, что нет никаких намеков в якобы опасных статьях, что автор их — скромный, образованный, умный молодой человек

примерного поведения... Попытки хоть как-то помочь Киреевскому в беде сделали только два человека — Жуковский и Вяземский.

Жуковским руководило главным образом родственное чувство — Киреевский доводился ему внучатым племянником. Его могли сослать (и даже ходили слухи, что уже отдан приказ посадить его в крепость...). Жуковский написал по поводу Киреевского два письма — Бенкендорфу и императору. В личном разговоре с царем он сказал, что ручается за Киреевского.

— А за тебя кто поручится? — раздраженно спросил Николай.

И хотя через несколько дней он публично «помирился» с Жуковским, тот был оскорблен и при первом же удобном случае взял себе годовой отпуск для лечения.

У Вяземского шансов встретиться с государем и убедить его в чем-то не было. И потому, что, несмотря на улыбчивую встречу на московской выставке и бальную похвалу 28 января Николай I, конечно, не питал к нему особенных симпатий («говорун зашаркался», — таков был отзыв царя о поведении Вяземского на выставке). И потому, что при дворе князь мог появляться только в качестве камергера, по особому приглашению. На успех письменного обращения к императору он тоже, видимо, не надеялся. Так что оставалось написать письмо к Бенкендорфу. Но если Жуковский вступался прежде всего за родственника, то князь смело защищал попавшего в беду литератора и *человека, которого он считал невиновным.*

«Речь идет о журнале «Европеец», который, по слухам в обществе, недавно запрещен, — писал Вяземский. — Генерал, я рассматриваю эту меру как несправедливую... Я с исключительным вниманием прочитал и перечитал статьи, содержащиеся в первом номере, и положа руку на сердце удостоверяю, что никакое недоброжелательное намерение, никакой ниспровергающий принцип мною не были обнаружены... Я знаю лично редактора журнала: это молодой человек, нравственность, чувства и принципы которого достойны уважения... Это кабинетный ученый, вдумчивый человек, вовсе не человек действия, не человек нового, но ум пылкий и беспокойный... Я осмеливаюсь вам ответить, что он невиновен ни в поступке, ни в намерении... Примите его под свою защиту... Действуя таким образом, генерал, вы поступите в духе справедливости и правительства... Я сам долго находился под тяжестью подобного обвинения, я знаю, как портит характер ложное положение».

Завершая письмо, Вяземский не удержался от того, чтобы дать понять правительству, что он — *представитель общественного мнения*. Он — и все русские писатели — считал, что «наша цензура очень строга, что цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны и, следовательно, всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия».

Письмо, безусловно, очень мужественное, в особенности если учитывать шаткое положение самого Вяземского. Всего два года назад его *простили* — и теперь он, в принципе, должен был искупать свою вину молчаливым послушанием. А он по-прежнему считал, что может указывать власти, что именно нужно делать, — по праву своего происхождения... Он не оставлял попытки сотрудничать с государством на равных. В глубине души он все еще надеялся на то, что его внезапно оценят, заметят, возвысят... В Петербурге, близ двора, эта надежда всегда вспыхивала, росла; казалось, вот-вот она воплотится в реальность. На первый взгляд, в этом не было ничего невозможного, достаточно было оглянуться на старых арзамасцев: Дашков стал министром юстиции, Блудов — внутренних дел, Уваров стремительно подбирался к креслу министра народного просвещения...

Чаяния князя были беспочвенными. Его убедительный текст, логически продуманный и хорошо обоснованный, был прочтен и оставлен без внимания. Ни логика, ни доказательства, ни скрытые притязания автора на достойную его ума должность никого не интересовали.

«Жуковский заступился за вас с своим горячим прямодушием; Вяземский писал к Бенкендорфу смелое, умное и убедительное письмо; вы один не действовали, и вы в этом случае кругом неправы», — упрекал Пушкин Киреевского. Но Киреевский был совершенно сломлен запрещением «Европейца» и был не в состоянии защищать свое детище... Он ушел из журналистики, женился, стал глубоко и искренне верующим человеком. Запрет «Европейца» неожиданно обернулся для него благом. И когда в 1845 году после долгого перерыва в «Москвитянине» появилась его статья — это был *другой* Киреевский, один из основоположников русской религиозной мысли... Пути Вяземского и Киреевского пересеклись еще раз — через четверть века после «европейской» истории. И Киреевский тогда, по-видимому, даже не вспоминал о том, что Вяземский когда-то пытался смягчить его участь...

Князь был уверен, что гибель «Европейца» — дело рук

Булгарина и Полевого, которые всеми способами избавлялись от возможных конкурентов. Почти весь год велись оживленные разговоры о том, что пора положить конец булгаринской монополии в журналистике; предлагал свой план журнала Жуковский, Пушкин в сентябре даже ездил специально в Москву, искал возможных сотрудников, но в дело вмешался Бенкендорф, и стало ясно, что издание не состоится. Обрадованный Булгарин даже рискнул предложить Пушкину сотрудничество в «Северной пчеле», которое тот с презрением отверг. Нет, 1832-й был положительно несчастливым... К весне следующего года Пушкин с Вяземским задумали сделать еще один выпуск «Северных цветов», «чтобы содрать с публики посильный могарыч», — опять неудача, хотя еще в апреле, как писал князь, они с Пушкиным «жилились и надувались»... Оба, Пушкин и Вяземский, приняли участие в «примирительном» альманахе Смирдина «Новоселье», куда издатель зазвал всех, вне зависимости от симпатий и рангов, — два выпуска «Новоселья» увидели свет в 1833 и 1834 годах. Но всем было ясно, что ничего долговременного, постоянного из этой затеи не выйдет — никогда литературные аристократы не будут печататься под одной обложкой с Булгариным...

Впрочем, будем справедливы — один постоянный печатный орган у Вяземского-журналиста тогда все же был. Он сотрудничал в... «Коммерческой газете», издававшейся Министерством финансов два раза в неделю, а точнее — помогал ее молодому редактору Григорию Павловичу Небольсину. Вяземский и раньше публиковал в газете статьи, посвященные московской выставке. Потом появились и другие — «Записка об успехах промышленности», «О торговле России после польского восстания 1831 года», «Тариф 1822 года»... «Коммерческая газета лежит на руках моих, — писал князь жене. — Работа скучная и мелочная. Сотрудники плохие, так что почти живой строки не оставишь, а материя такая сухая и такая тарабарская грамота, что мочи нет». Сидя над гранками «Коммерческой», князь понимал, что тратит время на занятия, совершенно ему ненужные, чуждые и к тому же малопонятные. По природной добросовестности он старался вникнуть в служебные свои обязанности, читал труды по финансовому делу, заказывал друзьям иностранные книги на эту тему (им была основана библиотека департамента внешней торговли), но чувствовал, что высыхает душа над ними, не остается ни мыслей, ни времени, ни свободы, *ничего*... к вечеру только усталость и безнадежность, а завтра то же. Вот это и называется службой.

Душевное отдохновение можно было найти только рядом с друзьями. Но им часто не до Вяземского. Правда, Пушкин одно время планировал издать «Фон-Визина», который уже два года лежал «в столе», — он нашел время внимательно перечитать рукопись, сделал на ней ряд помет... Но у Пушкина хватает и других забот — он все еще строит журнальные планы, радуется молодой жене, 19 мая у них родилась дочь Маша... А 18 июня уехали в Европу Жуковский с Тургеневым. Счастливцы!.. Прощальный обед давал им Козлов. На пароходе толкучка: за границу ехал воспитатель наследника генерал Мердер, его провожали сам 14-летний великий князь и толпа придворных... Пушкин, Виельгорский, Вяземский и общий их приятель, бывший однокашник князя по иезуитскому пансиону Василий Энгельгардт вместе с Тургеневым и Жуковским устроили «длинные» проводы: вместе отправились на пароходе до Кронштадта... В семь часов вечера Пушкин и Энгельгардт вернулись в Петербург, а Вяземский остался со старыми друзьями. В каюте обедали. Жуковскому было в последнее время худо, мучили его одышка, колотье в боку и боли в ногах. Лицо его пожелтело и отекло. Он ехал пить воды в Бад-Эмс. «Скучно таскаться по белому свету за здоровьем своим», — говорил он Вяземскому... Александр же Тургенев направлялся куда глаза глядят — уже шесть лет странствия были для него необходимостью, он переезжал с места на место, всем успевая интересоваться, сообщая подробно друзьям о своих занятиях — и при этом не отдавая себе отчета в том, что бежит от самого себя, от собственной невеселой, бессемейной судьбы... Самый младший из братьев Тургеневых, Сергей, сошел с ума и умер в 1827 году. Хлопоты за брата Николая были безуспешны, хотя Александр все еще надеялся, что брату позволят вернуться из Англии на родину. Вяземский убеждал Александра выбросить эту мысль из головы — ясно, что никто этого не разрешит, а если и разрешат, то Николая тут же казнят или сошлют. Он уже обжился за границей, к чему тут Россия?.. Александр молчал, тяжело вздыхая, — участь брата мучила его, может быть, больше собственной. Оттого и не мог он успокоиться, все стремился куда-то приехать и нигде не засиживался...

— В комнате моей в Дрездене висел твой портрет, — рассказывал он Вяземскому. — Проездом должен был остановиться в ней государь. Я колебался — убрать твой портрет или нет? Государь-то к тебе тогда был неласков.

— И что же?

— И не убрал. Государь посмотрел на меня грозно. «Это

мой друг, Ваше Величество», — только и сказал я... Он усмехнулся...

Вяземский с нежностью обнял старого друга.

— Дашь ты отдых своим костям когда-нибудь, бесстрашная трясогузка моя? Нет, ты даже не трясогузка — ты странствующий рыцарь, рыцарь Тогенбург! И даже не рыцарь, а Вечный Жид!..

— Старец überall und nirgends*, — добавил Жуковский.

Тургенев, кажется, повеселел. Они допили шампанское... Было три часа ночи.

Большой пароход «Николай I», уже год как ходивший из Кронштадта в Любек, неторопливо удалялся, шлепая плицами по воде, оставляя за собой пенный след и шлейф черного дыма. Жуковский и Тургенев махали с палубы, их силуэты были хорошо видны на фоне светло-сумрачного летнего неба. Вяземский до девяти часов спал на таможенной брандвахте в ожидании парохода на Петербург, потом попал под холодный дождь, вымок до нитки, дома растирал ноги водкой и отогревался чаем...

Опустел и без того пустой Петербург... Вяземского не развеяло даже то, что к нему приехала погостить дочь Маша. Летом он снимал дачу на Черной речке, там отметил день рождения — сорок лет. Если бы не поздравительная записка Козлова, князь бы и не вспомнил про дату («Как умный сорокалетний мальчик я сейчас был у обедни. Однако же глупо иметь сорок лет»)... Да уж, совсем не так отмечалась круглая дата десять лет назад... Впрочем, веселиться на собственном сорокалетии и не принято...

Петербург напоминает Вяземскому какую-то невероятную механическую шкатулку, увеличенную до размеров города, — крутятся медные валы, играет бодрая музыка, плещутся волны, маршируют человечки. В салонах скука, холод, пустота и наглость, и даже Фикельмон уж не радует. Ни ум твой, ни душа никого не волнуют. Стихов никто не читает, разве прозу, и то иногда, от скуки. Все при деле. Все заняты... Петербургские гуляния напоминают Елисейские поля (не парижские): точно тени бродят. Ни звука, ни движения — это называется общественным порядком. На Невском проспекте случалось встретить Булгарина — Фаддей Венедиктович прелюбезно кланялся Вяземскому... Бывали минуты, когда князь ужасался: неужели среди этого придется доживать век?.. И тут же вспоминал, что и в Москве-то не лучше — тоже скука, только иная, московская, не лоще-

---

* Повсюду и нигде (*нем.*).

ная... Кто остался в Москве? Дмитриев, Чаадаев, Булгаков, Михаил Орлов, Федор Толстой. Баратынский и Денис Давыдов сидят в поместьях. Даже улицы московские пусты. На Тверском бульваре встретишь двух-трех салопниц, да какого-нибудь студента в фуражке, да неизменного ветерана князя Шаликова. Тишина...

Вот в такие мгновенья он искренне любовался Петербургом:

Нет-нет, не верьте мне: я пред собой лукавил,
Когда я вас на спор безумно вызывал;
Ваш май, ваш Петербург порочил и бесславил,
И в ваших небесах я солнце отрицал.
....
Я Петербург люблю, с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной,
И с свежей зеленью младых его садов.

Я Петербург люблю, к его пристрастен лету:
Так пышно светится оно в водах Невы...

Это — «Разговор 7 апреля 1832 года», разговор с двадцатипятилетней графиней Еленой Михайловной Завадовской. Ничего двусмысленного — муж Елены Михайловны, граф Василий Петрович, тоже весьма любезен и симпатичен, Вяземский рад видеть обоих супругов. Но почему-то приятнее, когда с графиней можно поговорить наедине... Не зря даже заезжий персидский принц Хозрев-Мирза сказал о ней, что каждая ресница ее ранит прямо в сердце... Знакомство с красавицей началось на балу — Завадовская сказала Вяземскому, что целых три раза перечитывала его перевод «Адольфа». Какое авторское сердце устоит против такого признания?.. Елена Михайловна даже подарила Вяземскому новое перо, на что он немедленно отозвался благодарным каламбуром («вы *оперили* мою поэзию») и еще одним посланием. Увлечение Завадовской (и — чуть позже — Верой Бухариной и Софьей Горсткиной) скрашивало Вяземскому его соломенно-холостяцкую судьбу весною — летом 1832-го.

Служебный перевод в Москву ему, конечно, не грозил. «Я никакими надеждами не увлекаюсь и думаю, что хорошо будет, если сведу концы с концами, то есть без добра и худа, — делился князь мыслями с Верой Федоровной. — Я готов вынести испытание. Главное дело, чтобы было чем жить... Ты ко мне приедешь, поживем, посмотрим год, как поживется... Честолюбия, кажется, у меня нет и, кажется, не будет. Разумеется, я не прочь от успехов, если столкнусь с ними, но чревобесия по успехам не будет». Одно время Вя-

земский надеялся, что министерство предоставит ему казенную квартиру — три-четыре комнаты и угол в каретном сарае, — но эти расчеты не оправдались. Несмотря на дороговизну, пора было забирать в столицу Веру Федоровну с детьми. Переезд этот обошелся Вяземским в немаленькую сумму — двадцать пять тысяч рублей, да еще четыре тысячи они сразу же заплатили за новую квартиру, найдённую с помощью какого-то бойкого итальянца, «черного человечка», как прозвал его князь. 15 октября на Моховой отпраздновали обедом приезд княгини с детьми и на другой день переехали в бельэтаж дома полковника Баташева, на Дворцовую набережную, у Прачечного моста. Дом был относительно новый, построенный всего шестнадцать лет назад. Огромная серая Нева была теперь перед глазами, стоит выглянуть в окно гостиной. По соседству — Летний сад и особняк австрийского посольства, где живут Фикельмоны.

Только начали обживать новый дом, наносить визиты, сами приняли первых гостей — как на князя Петра Андреевича обрушились нежданные повышения по службе. 21 октября, через неделю после приезда жены, он становится вице-директором департамента внешней торговли, а спустя еще десять дней — председателем комитета для надзора за браком товаров. Забегая вперед, скажем, что через год, 6 декабря 1833-го (в день тезоименитства Николая I), Вяземский стал вице-директором департамента внешней торговли в чине статского советника*. А 23 ноября 1835-го «за усердную и полезную службу» — а точнее, за управление департаментом во время отсутствия директора — Вяземскому назначили аренду, то есть ежегодные выплаты в размере 1200 рублей серебром на протяжении двенадцати лет (эта аренда дважды продлевалась на шесть лет). В дальнейшем «социальный пакет», как сказали бы сегодня, Вяземского стал выглядеть еще более внушительно — он ежегодно получал по 2500 рублей ассигнациями «квартирных», 14 раз (почти каждый год, а то и дважды в год) награждался деньгами, в 1839-м стал действительным статским советником, что соответствовало чину генерал-майора, в 1843-м получил во владение две тысячи десятин земли... А Николай I не раз лично ставил его в пример другим чиновникам министерства.

---

* В должности чиновника для особых поручений при министре Вяземского сменил его добрый знакомый князь Василий Петрович Голицын (светское прозвище — Рябчик). За его сыном Алексеем была замужем внучка Вяземского, Елизавета Петровна Валуева.

Для непосвященных это выглядело как исключительная милость царя к князю.

Прошло всего два года с начала его службы, а он уже был фактически вице-директором департамента с немалым жалованьем, председателем комитета, редактором «Коммерческой газеты» и камергером.

Конечно, с головокружительной карьерой Блудова или Уварова не сравнить, но все же совсем недурно...

«Очень радуются назначению Вяземского, — сообщал Александр Булгаков брату. — У него прекрасная душа и способности, и когда останет от шайки либеральной, которая делается и жалка и смешна даже во Франции, да примется за службу, как должно, то, верно, пойдет в гору, будет полезен и себе и семейству своему». И еще: «Сперва говорили все о Вяземском как о ветренике, занимающемся только обедами, стихами и женщинами, а теперь славят его государственным человеком». Реакция Жуковского была иной: «Он вице-директор департамента торговли. Смех да и только! Славно употребляют у нас людей»...

Определенную роль в повышении князя сыграла его жена, хлопотавшая за него перед Канкриным через Екатерину Федоровну Муравьеву. Конечно, об этом ее князь не просил, и когда узнал об инициативе супруги, закатил ей настоящий скандал на бумаге (письмо от 3 сентября). Но проницательный князь прекрасно понимал, что одних простодушных хлопот Веры Федоровны, искренне старавшейся помочь карьерному росту мужа, было явно мало для такого стремительного рывка наверх. Просьба Веры Федоровны была поводом, внутренний расчет и смысл этих внезапных возвышений был другим — и именно оттого 3 сентября Вяземский впал в невиданную для него ярость, отразившуюся в письме...

Новые должности князя должны были уверить общественное мнение в том, что Вяземский примирился с властью. Что его призвание теперь — не стихи, не смелые мысли, а мундир Министерства финансов. Что он добросовестно трудится на скромном поприще, «распространяя здравые мысли» и способствуя «осуществлению видов правительства, желающего добра и только добра».

Волна этой пропаганды была столь мощной, что в перерождение Вяземского поверили даже многие его друзья. Денис Давыдов, например, писал ему: «Я глазам своим не мог поверить. Как? Вяземский без классической своей улыбки? Вяземский без вдохновения, без чувств, без гармоний стихов, а холодный и расчисляющий государственные приходы

и расходы? О времена! Я отсюда вижу тебя выбирающимся из этого океана вещественности, глотающим ее, захлебывающимся ею и протягивающим руки к какой-нибудь спасительной веточке, — но не тут-то было! Вместо рифмы попадается тебе в руки «+» или «—», — вместо коренного русского выражения — извлеченный кубический корень и вместо начальной буквы имени твоей красавицы — неизвестные *x* и *z*... Батюшки мои, он тонет! Запрягайте повозку, я скачу спасать его с бутылкою шампанского в руках!.. Караул! Вяземского топят! Его топят Канкрин и Бибиков! Они тянут его ко дну вещественности, как две гири государственных доходов. Бедный поэт!»

Впрочем, самому князю время от времени давали понять, что его положение «государственного человека» — весьма сомнительно. Производство его в чин статского советника было утверждено императором только со второго раза. Впервые Канкрин ходатайствовал об этом еще 1 августа 1833 года. Но Бенкендорф объяснил Вяземскому при личной встрече 8 августа, что государь отказался утвердить представление: Николай I счел неуместной шутку Вяземского о петербургском генерал-губернаторе Эссене. Шутка была такова: 1 июля Эссена возвели в графы, а Вяземский посетовал, что не сделали его князем Пожарским, так как в эссеновскую эпоху пожары в столице особенно участились.

Бенкендорф вежливо рекомендовал князю Петру Андреевичу *впредь не шутить* насчет заслуженных лиц. То, что Эссена весь Петербург за глаза звал «Эссен-Умом Тесен», никого не смущало. Вяземский должен был служить «без классической своей улыбки»...

Вице-директорство в департаменте на деле обернулось почти директорством, потому что директор Дмитрий Гаврилович Бибиков, помянутый Денисом Давыдовым в письме, подолгу отсутствовал, занимаясь военной своей карьерой. Одно хорошо — Бибиков был старинным знакомым Вяземского еще по допожарной Москве и относился к нему почти по-родственному. Как и князь, он участвовал в Бородинском сражении, в котором был тяжело ранен — ядром Бибикову оторвало руку. С 1835 года директором департамента стал жандармский генерал-майор Дмитрий Семенович Языков — он тоже побывал под Бородином, где был ранен в ногу. Языков совмещал директорство с постом командующего 4-м жандармским округом и часто отлучался в Вильно, так что Вяземскому тоже доводилось его замещать... А на раненных в Бородинском деле шефов ему явно везло: спустя 20 лет прямым начальником Вяземского станет ми-

нистр просвещения Авраам Сергеевич Норов, и история повторится с почти мистической точностью — Норов тоже геройски сражался под Бородином и был тяжело ранен, ядром ему оторвало ногу...

По присутственным дням Вяземский, преодолевая отвращение, надевал «маленький мундир» (на «шитый» мундир денег не было, и это тоже угнетало) и с утра ехал в департамент, где, стараясь не включать голову и душу, отрабатывал свои восемь тысяч в год. «Вчера утром в департаменте читал проекты положения маклерам, — записывал он в дневнике. — Если я мог бы со стороны увидеть себя в этой зале, показался бы я себе смешным и жалким. Но это называется служба, быть порядочным человеком, полезным отечеству, а пуще всего верным верноподданным»... Середину дня проводил дома с семьей, а вечером один или с женой отправлялся к кому-нибудь в салон — и там делал вид, что светская болтовня его очень занимает. Новинки литературы и журналы он листал только на ночь и бегло. Не было ни времени, ни свободы духа, чтобы поразмыслить на свежую голову и со спокойной душой. Жизнь катилась, медленно, плавно, однообразно, как невские волны под окнами, — если можно было ее назвать жизнью. «Таков Фелица я развратен, — усмехался Вяземский, — но на меня весь свет похож...»

13 декабря 1832 года он писал Жуковскому: «Вот сюжет для русской фантастической повести dans les mœurs administratives*: чиновник, который сходит с ума при имени своем, которого имя преследует, рябит в глазах, звучит в ушах, кипит на слюне; он отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например начальника своего, подписывает под этим чужим именем какую-нибудь важную бумагу, которая идет в ход и производит значительные последствия; он за эту неумышленную фальшь подвергается суду, и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по суеверию не примусь за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной».

Он уже знаком с молодым Николаем Гоголем, смешным «хохликом» в аляповатом костюме (смесь писка моды с дешевой вульгарностью), уже восхищался его малороссийскими писаньями. Известно, как любил Гоголь лакомиться сюжетами, подсказанными ему со стороны. Возможно, что и к Вяземскому он приставал, упрашивая помочь каким-нибудь петербургским чиновничьим анекдотом... Во всяком случае, от княжеской фантазии один шаг до «Владимира III степени» и «Записок сумасшедшего».

---

* Из административных нравов (*фр.*).

В эти годы, 1833—1834, у Вяземского были только две относительно крупные поэтические публикации: семь стихотворений в альманахе «Альциона» и пять — в «Новоселье». План публикации «Фон-Визина» отдельным изданием сорвался (хотя в рукописи книгу прочел весь интеллектуальный Петербург, и автору единодушно предрекали большой успех). Главу «О нашей старой комедии» князь Петр Андреевич все же дал в «Альциону». Критикой после гибели «Литературной газеты» он занимался разве что для себя — в столе осталась статья «Краткое обозрение русской литературы и словесности в текущий период, с 1825 по 1835 годы». Печататься негде, да и критиковать, в общем-то, нечего... Новые стихи получались грустными:

Не знаю я, кого, чего ищу,
Не разберу, чем мысли тайно полны;
Но что-то есть, о чем везде грущу,
Но снов, но слез, но дум, желаний волны
Текут, кипят в болезненной груди,
И цели я не вижу впереди.

Когда смотрю, как мчатся облака,
Гонимые невидимою силой,
Я трепещу, меня берет тоска,
И мыслю я: прочь от земли постылой!
Зачем нельзя мне к облакам прильнуть
И с ними в даль лететь куда-нибудь?

Шумит ли ветр? Мне на ухо души
Он темные нашептывает речи
Про чудной край, где кто-то из глуши
Манит меня приветом тайной встречи;
И сих речей отзывы, как во сне,
Твердит душа с собой наедине.

Когда под гром оркестра пляски зной
Всех обдает веселостью безумной,
Обвитая невидимой рукой,
Из духоты существенности шумной
Я рвусь в простор иного бытия,
И до земли уж не касаюсь я.

При блеске звезд в таинственный тот час,
Как ночи сон мир видимый объемлет,
И бодрствует то, что не *наше* в нас,
Что *жизнь души*, — а *жизнь* земная дремлет,
В тот час один, сдается мне, живу
И сны одни я вижу наяву.

Весь мир, вся жизнь загадка для меня,
Которой нет обещанного слова;
Все мнится мне: я накануне дня,
Который жизнь покажет без покрова;
Но настает обетованный день,
И предо мной все та же, та же тень.

Это посвящение Вере Ивановне Бухариной, недавней смолянке. Ей же, по-видимому, посвящен большой мадригал «Не для меня» и цикл «Отрывки из журнала исповеди» — восемь стихотворений, невеселый дневник увлечения замужней дамой (Бухарина в июле 1832 года вышла замуж), которую Вяземский видит не каждый день, и то в свете, и это терзает его невыразимо, хотя и не ждет он ничего от этого заранее обреченного, безответного романа...

Грустным вышло и «До свидания», явно навеянное смертью Дельвига: «В круг наш, рано или поздно, / А вломится железный рок...». И небольшое «Жизнь и смерть», где смерть необычно сравнивается с ясным днем, сменяющим бурную ночь — жизнь... И «Памяти живописца Орловского» — воспоминание о былой езде по трактам, *русской* лихой езде, которая сменяется цивилизованным дилижансом на немецких шоссе. Об этом стихотворении отозвался в своих записках старый соратник Вяземского по «Арзамасу» Филипп Вигель: «Улыбаясь сквозь слезы, читал я прекрасные его стихи к Орловскому о былом мучении, которое мы так весело выносили. Мне казалось, он описывал первую поездку мою из Петербурга в Москву. Все нашел я тут: и вихрю подобный бег тройки, и ловкость ухарского ямщика...»

И даже послание к Денису Давыдову «К старому гусару» — очень русское, неизысканное и на первый взгляд развеселое — все подчинено не настоящему, а прошлому: это воспоминания о том, как было хорошо *когда-то*; и с явным удовольствием поминая «весь тот мир, всю эту шайку / Беззаботных молодцов», Вяземский жестоко называет нынешнюю Москву, Москву 30-х годов, *старухой*, которая ничем не напоминает юный веселый город донаполеоновской эпохи... Все «беззаботные молодцы», пировавшие в допожарной Москве, в Малом Знаменском переулке, еще живы-здоровы, хотя и постарели — но Вяземский пишет о них уже как о покойных, любуясь их (и собственным) прошлым. Неслучайно тем же самым размером, что и «К старому гусару», будут написаны в 50-х годах «Поминки» по уже ушедшим «молодцам». Собственно, «К старому гусару» и есть поминки, только не по мертвым, а по живым, по их молодости... Не жалея родной город, ставший наполовину чужим, Вяземский и себя, и свое поколение не жалеет — они сверстники старухи-Москвы. «За стихи благодарю, — отозвался Давыдов. — В них что-то солдатское, бивачное, разгульное и вместе с тем что-то тоскливое о нашем молодецком житье-бытье, увы, невозвратном». Это послание было подарком Денису в честь выхода его первого поэтического сборника.

В 1834 году, во втором томе альманаха «Новоселье», на обложке которого были изображены Вяземский и Пушкин в книжной лавке Смирдина, появилась «Еще тройка» — одно из самых известных стихотворений князя:

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет
И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто
Раздается яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он.
....
Кто сей путник? и отколе,
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину,
К ближним ли под кров родной,
Или в грустную чужбину
Он спешит, голубчик мой?

И в этом, казалось бы, светлом, быстром, как конский топот, стихотворении мелькают мрак и тоска, царящие в душе Вяземского... Путника, мчащегося в ночной пыльной степи, равно могут ждать и «ближних кров родной», и «грустная чужбина», обручальный перстень и траурный факел над милой сердцу могилой. И неясно, «по неволе иль по воле / Мчится он в ночную тьму». Безымянную тройку Вяземского сопровождает Рок, равно способный миловать и казнить. Смутное ощущение трагедии охватывает при чтении строк, вышедших из-под пера Вяземского в эти годы... Такое настроение было сочувственно Баратынскому («Последний поэт») и Пушкину («Когда б не смутное влеченье...», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»)... Молодости уже не было, свободы, радости бытия — тоже. Судьбы так или иначе сложились.

...Начало 1833 года выдалось сырым и слякотным. Петербург был сражен новой болезнью — необычно тяжелой лихорадкой, от которой человек неделю метался в жару и так слабел, что едва подымался с постели. Лихорадку называли модным словом *гриппа*. Вяземского эта болезнь не миновала. Гриппа была не такой тяжелой, как холера, но все же совсем небезопасной: 3 февраля от нее умер Николай Иванович Гнедич, переводчик «Илиады». Гнедич среди петербургских поэтов держался особняком; ближе других ему был Крылов, а еще раньше — Батюшков... Одноглазого, некра-

сивого, одержимого Гомером, старомодного Гнедича уважали, но часто над ним посмеивались. А собравшись 6 февраля на кладбище Александро-Невской лавры, вдруг поняли, что потеряли настоящего рыцаря литературы, Дон Кихота, совершившего свой *подвиг бытия*... Поэты в складчину поставили над могилой покойного памятник с надписью «Гнедичу, обогатившему русскую словесность переводом Омира».

Но были, конечно, не только мрачные думы и переживания. Строил Вяземский и новые планы — еще раз издать «Северные цветы» (эта идея витала в воздухе вплоть до осени). Были новые книги, были «великолепные, блестящие, разнообразные, жаркие, душные, восхитительные, томительные, продолжительные» балы и маскарады (как обычно — на Масленицу и Святки). Были концерты заезжих звезд, на которые князь всегда ходил с удовольствием (и настаивал, чтобы дочь Пашенька училась играть на фортепьяно). Была игра в «Надо помянуть...», которую придумали Вяземский, Пушкин и Мятлев, — почти что арзамасская галиматья. Состояла эта игра в том, что они втроем писали длинное бессмысленное стихотворение, куда вставляли подряд всякие смешные (и даже не очень смешные) фамилии. Выдумывать эти фамилии запрещалось, нужно было искать их по газетам — в новостях и в разделах приезжающих и отъезжающих (этому их научил Гоголь). Таким образом сочинился большой «поминальник», где были графиня Нессельроде, скрипач Роде, генерал Винценгероде, «Хвостов в анакреонтическом роде», господа Чулков, Носков, Башмаков, Сапожков, Ртищев, Татищев, Бобрищев, Павлищев, не забыли португальского короля, американского президента и даже «князя Вяземского Петра, почти пьяного с утра»... Игра эта веселила поэтов почти полгода — встречаясь в гостях, Вяземский, Пушкин и Мятлев немедленно оглашали списки нелепых фамилий, найденных ими в газетах, и тут же, давясь от смеха, вставляли их в стихи. Сочиняли они и более озорные вещи, которые в их кругу назывались poésies maternelles, матерные стихи.

Была и еще одна попытка напомнить власти о том, что князь Вяземский — не только камергер и исправляющий должность вице-директора департамента. Была записка «О безмолвии русской печати», которую князь Петр Андреевич в конце марта 1833 года подал через давнего приятеля-арзамасца П. И. Полетику Блудову и Дашкову. В который раз Вяземский предлагал правительству основать политический журнал для распространения в Европе. Журнал этот разъяснял бы политику России, опровергал антирусские выпады западной прессы... Это была несколько переиначенная идея,

рожденная еще в арзамасском 1817 году. О таком журнале мечтал и Пушкин: «С радостью взялся бы я за редакцию *политического и литературного журнала*... Около него соединил бы я писателей с дарованиями... Пускай дозволят нам, русским писателям отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет». Такой журнал почти в одинаковых с Пушкиным выражениях предлагал создать под своим руководством и Жуковский: «Хороший *журнал литературный и политический* есть для нас необходимость... Около меня могли бы собраться и наши лучшие, уже известные писатели... В такой журнал могло бы войти и все европейское, полезное России, и все русское, достойное ее внимания». Они все еще надеялись на сотрудничество — плодотворное, честное, взаимовыгодное, на благо России и просвещения... Но никакого ответа ни Пушкин, ни Жуковский, ни Вяземский не получили. Единственная русская газета, в которой Николай I разрешил помещать политические новости из-за границы, называлась «Северная пчела».

Год промелькнул почти незаметно... Летом Вяземский повидал Дмитриева — проездом в Ригу он был в Петербурге, как всегда, милый и, несмотря на лета, бодрый; 14 июля петербургские писатели чествовали его обедом. Вера Федоровна с детьми съездила на купанья в Ревель. А сам Вяземский с 5 сентября по конец октября находился в тихом, чистеньком эстляндском Дерпте. Там встретил вернувшегося из-за границы Жуковского, повидал младших Карамзиных — студентов местного университета... В Дерпте многое напоминало об учившемся здесь когда-то Языкове, и князь написал послание к нему. Познакомился с еще одним дерптским студентом, юным графом Владимиром Соллогубом. Несмотря на разницу в возрасте — Соллогуб годился князю в сыновья — они быстро сошлись, и Соллогуб даже доверительно пожаловался Вяземскому на свои личные обстоятельства: он был увлечен красавицей графиней Эмилией Мусиной-Пушкиной... Вяземский сам неровно дышал к Эмилии, и поэтому его послание «К графу В. А. Соллогубу» было посвящено главным образом «красивым плечам» и «горделивому стану» прелестницы, а не несчастно влюбленному студенту. В Дерпте он написал и «Балтийское видение», обширный мадригал какой-то «балтийских вод царице».

В остальном поездка в Дерпт оказалась печальной — там внезапно умер маленький сын дочери Карамзина, княгини Екатерины Мещерской. Дерпт для семейства Карамзиных вообще был роковым — еще в мае 1833-го там скончался младший сын Карамзина, 15-летний Николай.

Осенью Вяземские потратили много нервов на борьбу с хозяином их квартиры Баташевым — тот собирался под каким-то предлогом их выселять. Пришлось даже обращаться в полицию. В общем, «осенние хлопотишки», как писал князь Тургеневу. 6 декабря, в день тезоименитства императора, Вяземский был произведен в статские советники — последняя ступенька в Табели о рангах до генеральского чина. А через двадцать четыре дня Пушкин был пожалован камер-юнкером... Это было довольно странно: камер-юнкерами становились обычно совсем молодые люди (Вяземский, например, получил это звание в девятнадцать лет). А ведь Пушкину уже тридцать четыре... В субботу 6 января 1834 года, в день Богоявления Господня, Вяземские присутствовали на Божественной литургии в церкви Зимнего дворца. После службы придворные приносили поздравления императору и великим князьям. С Вяземским государь был очень любезен, благодарил за службу, а Вере Федоровне сказал об отсутствующем Пушкине:

— Я надеюсь, что он хорошо принял свое назначение. До сих пор он держал данное мне слово не писать ничего против власти, и я им доволен...

«Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично по моим летам), — записал Пушкин в дневнике. — Но Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове».

Летом светский Петербург пустел — двор уезжал в Царское или Павловск, обладатели недальних имений — в имения, ценители морских купаний — в Ревель или Гельсингфорс, любители городского отдыха снимали дачи на островах, Каменном и Елагине. В 1834-м многие почему-то засобирались в Италию. В Риме работала большая и дружная колония русских художников, там гремел своим «Последним днем Помпеи» великолепный Карл Брюллов, там жила перешедшая в католичество княгиня Зинаида Волконская... В Италии по традиции, тянувшейся еще с прошлого века, русские лечились от разных болезней, нажитых на неласковом севере. 26 мая в Рим отправилась чета князей Мещерских — дочь Карамзина Екатерина с мужем — и Софья Карамзина, а две недели спустя в Италию устремился граф Михаил Юрьевич Виельгорский — заболела его жена, да так тяжко, что бедный граф не чаял застать ее в живых... 12 июня до Кронштадта его провожали Пушкин и Вяземский. Виельгорский мрачно молчал. В полночь расстались. В разгаре были белые

ночи. Бессумрачный, четкий, как гравюра, надвигался на них Петербург... Италия, где мучительно угасал Батюшков... куда так и не успел уплыть Карамзин... Dahin! Dahin!..*

Вяземский еще не предполагал, что ровно через два месяца и он отправится по следам Виельгорского. И причина для заграничного путешествия тоже была такая, что лучше бы и не ездить — открылась чахотка у шестнадцатилетней Полины-Пашеньки Вяземской... Вера Федоровна была с детьми в Москве, там-то дочери и сделалось худо. Впервые Вяземский подумал о путешествии 13 июля. Знойный воздух Италии был бы лучшим лечением для Пашеньки. Но Жуковский решительно посоветовал сначала отвезти дочь в Германию, в Ганау, к доктору Иоганну-Генриху Коппу. Этот «маленький, косой человечек с живым умом», как говорил о нем Жуковский, был ангелом-хранителем русских путешественников: к нему обращались не только за помощью, но и за добрым советом Батюшков, Жуковский, Тургенев, Языков, позднее — Гоголь.

Состояние дочери очень угнетало Петра Андреевича. Пушкин, видевший его в эти дни, писал жене: «Вяземские здесь. Бедная Полина очень слаба и бледна. Отца тяжко смотреть. Так он убит. Они все едут за границу. Дай Бог, чтобы климат ей помог». Свою квартиру у Баташева Вяземские передали Пушкиным. «Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими, — писал Пушкин. — Княгиня едет в чужие края, дочь ее больна не на шутку; боятся чахотки. Дай Бог, чтобы юг ей помог. Сегодня видел во сне, что она умерла, и проснулся в ужасе». Жуковский сообщал Тургеневу: «Паше не хуже, но и не лучше. Он сам (Вяземский. — *В. Б.*), как убитый, ничего не видит и ничем не может быть занят; все думает и грустит об ней. Я душою за него горюю». И в другом письме: «Страшусь за нашего бедного Вяземского, у которого материнское чувство к детям».

За границу ехали Петр Андреевич, Вера Федоровна и дочери — Маша, Надя и Паша. Павлуша только что поступил в немецкую школу Святых Петра и Павла и оставался в России.

12 августа 1834 года в 6 часов утра Вяземские сели в Кронштадте на пароход «Николай I». Для Петра Андреевича, всегда дружившего с морем на берегу, а не на палубе, трое с половиной суток качки показались вечностью... Он отлеживался на палубе, жена и дети — в каюте. Но вот миновали воспетый Карамзиным датский остров Борнхольм. Завиднелись берега Мекленбурга... 15 августа вечером па-

* Туда! Туда! (*нем.*).

роход бросил якорь в порту Травемюнде. Германия встретила дождем.

Так началось первое зарубежное путешествие Вяземского. Он впервые (если не считать Польши) был за границей и жадно всматривался в чужую жизнь, сразу показавшуюся ему много благоустроеннее и разумнее русской. Дорожные впечатления, конечно, во многом были испорчены тяжелым состоянием дочери, но князь все же находил время для подробных писем Павлуше и записных книжек.

Путь семейства лежал через Ганновер, Пруссию, Гессен-Кассель, Гессен-Дармштадт, Гессен-Гомбург и Баварию. 27 августа прибыли в Ганау, где задержались на полтора месяца. Доктор Копп нашел состояние больной девушки серьезным и назначил курс лечения. Несколько раз семейство выбиралось из Ганау в поездки по окрестностям — в Майнц, Франкфурт, на берега Рейна.

В Ганау Вяземский познакомился с князем Петром Борисовичем Козловским — человеком совершенно замечательным, несмотря на то, что ничем особенным он давно не занимался. В молодости Козловский служил в московском архиве Коллегии иностранных дел, дружил с Александром Тургеневым и Блудовым (от которых Вяземский немало был наслышан о нем). Потом был посланником в Сардинии, Вюртемберге и Бадене, в 1827 году вышел в отставку... Когда-то писал стихи, потом целиком перешел на письма — и переписывался с Шатобрианом, мадам де Сталь... Ему присуждена была степень почетного доктора Оксфорда по гражданскому праву... Словом, это был русский европеец в полном смысле слова. Многие считали Козловского мастером светской беседы, но умением вести увлекательный разговор его дарования не исчерпывались. Был он умен, очень образован — но этим удивить тоже было нельзя, с другими людьми Вяземский и не общался. В пятидесятилетнем Козловском присутствовала неуловимая, старомодная светскость, даже не русская, а какая-то версальская, времен Людовика XVI... Ум, любезность, общежительность, редкое обаяние — Козловского невозможно было не полюбить. Даже внешность его напоминала какие-то былые, прежние времена: он был очень тучен, румян, с приятным живым лицом, озаренным постоянно легкой любезной улыбкой. Это был любимый Вяземским тип старого русского барина — князь-Рюрикович (Козловский был потомком Рюрика в 28-м колене), не обремененный службой, независимый, ироничный...

В Ганау Вяземский и Козловский провели вместе только один день — вернее, Вяземский, не перебивая, в восхище-

нии слушал нового знакомого. Козловский говорил долго, перескакивая с темы на тему, но в этом не было никакой безвкусицы, навязчивости, моветона... Он считал, например, что русское дворянство только внешне выглядит внушительно — его силы подорваны петровской Табелью о рангах, и скоро древние роды будут окончательно оттеснены выходцами «снизу», личными дворянами, дворянами «по кресту» и «по чину». С презрением говорил о том, что некоторые патриоты обожают абсолютно все русское — в том числе кнут и остроги... Он рассказывал о встречах с Александром I, Байроном... о Лондоне и Париже... И разговор его, при всем европейском лоске, искрился типично русским юмором, в том числе и умной самоиронией.

Вяземский подивился и устройству быта Козловского. Он был крайне безалаберным, не умел считать деньги, и князя всегда сопровождал его секретарь, слуга, казначей и помощник в одном лице — швейцарец Шарль Штюбер. Вечно в одном и том же сером поношенном сюртуке, он ходил за Козловским, как нянька, и часто устраивал ему выволочки за слишком большие денежные траты.

Козловский так поразил Вяземского, что после его ухода Петр Андреевич записал запомнившиеся ему отрывки из разговора в дневник. На другой день Вяземский провожал Козловского, уезжавшего в Варшаву. Они расстались друзьями, твердо пообещав встретиться вновь.

В половине пятого вечера 18 октября Вяземские покинули Ганау. В немецких лесах лежал кое-где снег, иногда припускал холодный дождь. Вюрцбург был вторым после Гамбурга германским городом, который очень понравился Вяземскому: 20 октября, День Всех Святых, празднично разукрашенная площадь у замка, толпы гуляющих... До Оксенфурта шоссе шло между узкой в этих краях рекой Майн и виноградниками. Заночевали в Уффенхайме в гостинице «Под золотой лампой». Горные дороги были хороши. «Народ везде приветливый», — записал Вяземский... 22 октября в Донаувёрте увидели неширокий Дунай (по-немецки — Донау), в этом месте в него впадали сразу три речки — Вёрниц, Цузан и Шмуттер...

На другой день в 5 часов утра Вяземские приехали в столицу Баварии Мюнхен, «германские Афины», как тогда называли этот город. Баварский король Людвиг I, закончивший два университета — в Ландсхуте и Гёттингене, писавший стихи и прозу, покровительствовал изящным искусствам — миллионы гульденов тратились на приобретение картин, постройку новых дворцов и храмов, художникам и

музыкантам назначались щедрые стипендии... Уже в 1854 году Вяземский познакомился с отрекшимся от престола Людвигом I и посвятил ему стихотворение «Мюнхен»:

Любовь к прекрасному всю жизнь его проникла,
Душой тевтонец он, а чувством древний грек.
Воскресли с ним златые дни Перикла,
С ним Августа воскрес блестящий век.
Германский Рим, германские Афины
Воздвигнул он, искусства царский жрец;
Он розами венчал свои седины,
Поэт, обвил он миртом свой венец...

Первое впечатление от «германских Афин» было отвратительным: переполненная гостиница, грязные комнаты с дымящими печами... К тому же в городе не оказалось русского посланника в Баварии князя Григория Ивановича Гагарина — двоюродного брата Веры Федоровны... Григорий Иванович дружил с Жуковским, был в свое время почетным членом «Арзамаса», сам занимался литературой и живописью... В Мюнхене Гагарин появился только 26 октября и с удовольствием взял Вяземских под свою опеку. Они осмотрели достопримечательности города: Пинакотеку, Глиптотеку, Фрауенкирхе, церковь Святого Людвига с фресками знаменитого мюнхенского художника Петера Корнелиуса; в опере слушали «Отелло» Россини и «Фра-Дьяволо» Обера. Погода стояла теплая, и можно было весь день ходить в сюртуке.

Всю мюнхенскую неделю Вяземский вечерами бывал у младшего секретаря русского посольства — 32-летнего Федора Ивановича Тютчева. В маленьком тютчевском салоне, освещавшемся всего двумя свечами и оттого несколько таинственном, собирались члены дипломатического корпуса и кое-кто из местных жителей. Вяземский знал о том, что Тютчев пишет стихи и лет пять назад печатался в московской «Галатее», но никаких разговоров на эту тему не возникало. Кажется, большее впечатление, чем сам Тютчев, на князя тогда произвела жена молодого дипломата, Элеонора. Опытным глазом ценителя женской красоты приметил он и будущую жену Тютчева, Эрнестину.

1 ноября оставили Мюнхен. Дорога все круче забирала в горы, во тьме ревели невидимые водопады... Карета карабкалась вверх, почти встав на дыбы. Утром увидели, что дорога идет меж сплошных горных речек, прыгавших по вековым валунам. Шумели стройные величественные сосны... В Инсбруке путешественники миновали австрийскую границу (подивившись при этом изысканной вежливости таможенников). «После обеда заходящее солнце задергивало золо-

тым прозрачным покрывалом ущелья гор и отсвечивалось на посеребренных вершинах сосен, слегка осыпанных снегом. Слияние золотого пара с серебряным паром», — записывал Вяземский. Дорога, поминутно извиваясь, шла над пропастью, в которой бурлила зеленая полоса речки Зилль. Близость Италии чувствовалась в католической набожности рабочих в трактире, в большой мраморной плите, вмурованной в трактирный стол... Благополучно проехали знаменитый своими внезапными снежными бурями перевал Бреннер, и Вяземский нашел, что он «не заслуживает славы своей, ни ужасом, ни красотою». 5 ноября были уже в Италии, в Триенте (Тренто). Формально эта территория входила в состав Австрии и называлась Ломбардо-Венецианским королевством, но населяли ее уже итальянцы. «Италия! То есть холодные комнаты, дымящийся камин и кислый хлеб»...

В Вероне Вяземского поразили развалины огромного римского амфитеатра. 8 ноября приехали в столицу великого герцогства Моденского, Модену. Здесь Вяземский не смог отказать себе в удовольствии послушать настоящую итальянскую оперу — «Тибальдо и Изолину» Франческо Морлакки. Итальянское путешествие становилось, пожалуй, даже более приятным, чем немецкое... Впрочем, князь не преминул заметить, что «в Италии постыдное пренебрежение памятников, коими, между тем, она и живет и показывает прохожим, как нищие увечья свои, чтобы вымолить грош. Все зассано, начиная от церквей до театров». Пересекли границу Папской области и два дня провели в Болонье, где Вяземскому показали дом Россини. 10 ноября, перевалив через хребет Апеннин, въехали во Флоренцию, столицу Тосканы... И при виде этого чуда невольно сказалось из Гёте — нет, из глубины сердца:

Ты знаешь край! Там льется Арно,
Лобзая темные сады;
Там солнце вечно лучезарно,
И рдеют золотом плоды.
Там лавр и мирт благоуханный
Лелеет вечная весна,
Там город Флоры соимянный
И баснословный, как она!

Быстрая желтая Арно и над ней — мост Понте Веккьо, облепленный ювелирными лавками... Палаццо Уффици, построенный великим Вазари, древний дворец герцогов Медичи, уже сто лет принадлежащий Флоренции и хранящий сотни шедевров — «Рождение Венеры» Боттичелли, «Святое семейство» Микеланджело, «Поклонение волхвов» Леонар-

до, «Автопортрет» и «Иоанн Креститель» Рафаэля, «Мадонна» Корреджо, «Пророки» Фра Бартоломео, «Венера Урбинская» Тициана... В галерее Питти — «Святое семейство» и «Богоматерь на троне» Рафаэля, «Снятие с креста» Перуджино, «Кающаяся Магдалина» Тициана... Бесконечные Рембрандты, Кранахи, Ван-Дейки, Рубенсы... Вяземский молча переходит от полотна к полотну, наслаждаясь, впитывая всей душой вечные краски, вечные образы... Над городом — купол грандиозного собора Санта-Мария делла Фьоре, похожий на чернильницу из розового кирпича, и мощная башня палаццо Веккьо... Не описать, не перечислить всего... Флоренция — словно старинная шкатулка, переполненная драгоценностями.

Вяземских сопровождал русский поверенный в делах в Тоскане Николай Александрович Кокошкин. Он же вызвался представить князя сестре Наполеона и вдове Мюрата, бывшей королеве Неаполитанской Марии Аннунциате Каролине. Она жила во Флоренции под именем графини Липона. Это была любезная, приятная дама со следами былой красоты. Из вежливости ее все еще называли «Ваше Величество». Когда Кокошкин ввел князя в салон экс-королевы, первыми словами, которые услышал Вяземский, были: «Да помилуйте, как вам не стыдно — вам нужно было ходить с червей, а вы пошли с пиковой десятки!» Эта московская фраза совершенно ошеломила путешественника, и он не сразу понял, что в углу королевской гостиной мирно понтируют Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и Николай Онуфриевич Сухозанет.

Уже в Риме повидал Вяземский и мать Наполеона, Летицию Рамолино, qui avait allaité Romulus et plus d'un Remus*. Собственно, один из этих Ремов и представлял Вяземского матери — Жером Бонапарт, бывший король Вестфалии. Старуха доживала свой век одна, в пустом палаццо на роскошной виа дель Корсо. Но больная и слепая Летиция не произвела на князя впечатления — это была просто старая итальянка вовсе не аристократического вида, плохо говорящая по-французски. Вяземский думал: двадцать три года назад скромный московский ополченец был готов умереть на Бородинском поле... И вот перед ним немощная мать того, чья империя казалась незыблемой... Он поцеловал желтую, невесомую руку старухи...

После Флоренции, кажется, — чего пожелать еще? Рай небесный, в котором не чувствуешь себя чужестранцем... Об

* Которая произвела на свет Ромула и множество Ремов (*фр.*).

этом говорили все русские путешественники — Тургенев, Жуковский... Тургенев даже считал, что русскому, кроме Москвы, можно жить только в Италии. 25 ноября Вяземские покинули Флоренцию, наняв за четыреста франков ветурино (кучера) по имени Мокали. Тосканские холмы, можжевельник, оливы и виноградники кругом, дорога идет то вверх, то вниз. Экипаж тащат четыре лошади, на подъемах иногда припрягают двух, а то и трех волов. На высотах Радико Фано вдруг подул сильный пронизывающий ветер с севера — вмиг все промерзли до костей, хотя светило яркое солнце... «Трамонтана», — сказал кучер. Солнце нестерпимо жарило в лицо, а ледяная «трамонтана» дула в спину... Пашенька кашляла так, что сердце разрывалось... Мерили ей пульс — 140 ударов в минуту...

Показался Тибр. Знакомое с детства название, но легендарная река оказалась совсем не такой величественной, как хотелось бы, — неширокая, с мутной глинистой водой горохового цвета. У огромных ворот дель Пополо со статуями апостолов Петра и Павла по бокам столпилось несколько экипажей, жандармы проверяли у пассажиров документы. 30 ноября в четвертом часу пополудни перед каретой взлетел шлагбаум, открывая путь в Рим. На просторной пьяцце дель Пополо две дамы и шестилетний мальчик радостно приветствовали путешественников... Это были Софья Карамзина и Екатерина Мещерская с сыном Николенькой. Поселились Вяземские на пьяцца делла Минерва, в доме Конти.

Всякого русского новичка в Риме ласково принимали постоянно проживавшие в Италии соотечественники. Конечно, прежде всего это княгиня Зинаида Волконская (зимой она живет в палаццо Поли, а летом перебирается на виллу у собора Сан-Джованни ин Латерано)... Вяземский не мог не заметить, что красота Зинаиды сильно поблекла, что она уже не та прелестница, от которой теряли голову московские юноши. Но она по-прежнему чудно поет, и по-русски говорит особенно очаровательно, с какой-то неуловимой итальянской интонацией... Николай I был взбешен переходом княгини в католичество. Путь в Россию ей закрыт. Но в Риме ей хорошо, ее окружают поклонники, и в палаццо Поли всегда звучит музыка.

У себя в саду Волконская устроила нечто вроде музея — там и сям высились небольшие памятники дорогим Зинаиде людям: урна памяти Дмитрия Веневитинова, бюст Александра I, стела в честь Карамзина... Вяземский и Волконская долго бродили вдвоем по этому садику. Молчали. Ни-

когда не связывала их даже тень увлечения, но сейчас что-то странное промелькнуло, похожее на память о «допожарных», дивных годах, когда оба они танцевали на московских детских балах, не догадываясь о том, что готовит им судьба...

Рим обрушивается на Вяземского водопадом впечатлений. Но князь мужественно пытается устоять и даже выдержать какой-то план осмотра вечного города... Поздним вечером 30 ноября он отправился к Колизею, желая полюбоваться им в лунном свете. Не повезло — луна была какая-то вялая, и Колизея не было видно. Так повторялось еще раз пять. В итоге пришлось довольствоваться часовой прогулкой по руинам под охраной папских солдат и при свете сального огарка.

Софья Карамзина ведет князя в собор Святого Петра. 4 декабря — экскурсия по Ватикану, 25 русских туристов, бегом, бегом. Ничего толком не разглядеть. Возник спор по поводу статуи Аполлона Бельведерского. Вяземский пожимал плечами: конечно, правильно, красиво, стройно, божественно, но — бездушно и без всякого выражения. Надеть бы на него кавалергардский мундир да поставить на часы!.. Дамы со смехом возражали. Софья Карамзина шокировала компанию, сообщив, что была бы не прочь сесть на этого Аполлона верхом.

Римские великосветские салоны — сперва интересно, но очень скоро Вяземский понял, что они не занятнее петербургских: те же «толкотня, мороженое и пустословие». Видел папу Римского — был удивлен его простонародной внешностью и записал: «Папа старичок толстоносый». Разумеется, любимый наркотик Вяземского — опера: «Паризина» Доницетти, «Сомнамбула» Беллини, «Семирамида» Россини... Реакция римской публики привела князя в восторг: неверную ноту весь зал дружно передразнивает, блеет, воет, мычит, зато любимые арии буквально тонут в громе оваций и возгласов... На два дня Вяземский съездил в Неаполь — единственно затем, чтобы послушать знаменитую Марию Малибран в «Сомнамбуле». Но ему не повезло: буквально накануне примадонна сломала руку, и спектакль отменили.

Конечно, посещает Вяземский и мастерские русских художников. Они живут в Риме многие годы, получая стипендии Академии художеств, — работают, вечерами сидят в тратториях... Среди них есть и юнцы, старательно снимающие виды Рима, и нелюдимые затворники, как Александр Иванов, и маститые, купающиеся в успехе мэтры. С главнейшим мэтром Вяземского знакомят, предупреждают о вздорном характере, но мэтр вовсе не заносчив; у него пре-

красные южные глаза, полные губы, пышные вьющиеся волосы, занимательный и острый разговор. И он сам берется показать князю Петру Андреевичу все сокровища Рима!.. Совсем немногим великий Карл Брюллов оказывает такие почести...

— Жаль, что нет солнца, — говорит Брюллов. Они стоят за городскими стенами, на бескрайней Кампанье. — Будь оно, и все это перед нами так и запело бы...

Они заключили меж собой полушутливый договор: Вяземский пишет Брюллову стихи, а Брюллов Вяземскому — картину... Вдвоем они навестили Ореста Кипренского, портреты которого были в большой моде лет двадцать назад. Он тогда писал томного, изнеженного Уварова с перчаткой в руке, задумчивого Жуковского на фоне какого-то романтического замка, кудрявого Батюшкова... Написал и Вяземского (этот портрет маслом, 1813 года, — князь в мундире Межевой каонцелярии — ныне утрачен). Теперь Кипренскому было пятьдесят два, он был почти забыт, что-то продолжал делать, но на фоне полного сил, замыслов, какого-то *пушкинского* Брюллова выглядел совсем невесело. Брюллов познакомил князя с Федором Бруни — надеждой «русской Италии»: он упорно работал над большим полотном «Медный змий», втайне мечтая, конечно, затмить славу «Последнего дня Помпеи». И с двадцатичетырехлетним Михаилом Лебедевым, сыном дерптского крепостного, — со временем, обещал Брюллов, он непременно станет лучшим пейзажистом Европы, в моду войдет, затмит и любимого Жуковским Фридриха, и прочих... И еще мастерские — Иордан, Никитин, Марков... Особенно восхитил Вяземского Александр Иванов, все помыслы которого занимало «Явление Христа народу». Огромная мастерская художника была загромождена бесчисленными этюдами к этой картине, набросками, рисунками; самые стены изрисованы углем и мелом... Одетый в холщовые штаны и блузу, с руками в пятнах от краски, Иванов, обычно замкнутый и недоверчивый к незнакомым, тоже почувствовал симпатию к гостю. Он работал очень медленно, непрестанно поправлял свое творение и вечно был собой недоволен.

«Явление Христа народу» было выставлено на общее обозрение только в 1858 году. Вяземский увидел полотно на выставке в Академии художеств и был настолько им потрясен, что написал большое стихотворение «Александру Андреевичу Иванову». В нем сюжет картины передан с редким мастерством:

Спокойно лоно светлых вод,
На берегу реки — Предтеча;
Из мест окрестных, издалече,
К нему стекается народ;
Он растворяет упованью
Слепцов хладеющую грудь;
Уготовляя Божий путь,
Народ зовет он к покаянью.

А там спускается с вершин
Неведомый, смиренный странник:
«Грядет Он, Господа избранник,
Грядет на жатву Божий сын.
В руке лопата; придет время,
Он отребит свое гумно,
Сберет пшеничное зерно
И в пламя бросит злое семя.

Сильней и впереди меня
Тот, кто идет вослед за мною;
Ему — припав к ногам — не стою
Я развязать с ноги ремня.
Рожденья, суетного мира,
Покайтесь: близок суд. Беда
Древам, растущим без плода:
При корне их лежит секира».

Так говорил перед толпой,
В недоуменье ждавшей чуда,
Покрытый кожею верблюда
Посланник Божий, муж святой.
В картине, полной откровенья,
Все это передал ты нам,
Как будто от Предтечи сам
Ты принял таинство крещенья.

...Среди новых римских знакомств Вяземского — Стендаль. Князь открыл для себя Стендаля еще в 1823 году, с восторгом прочитав «Жизнь Россини», «в которой так много огня и кипятка, как и в самой музыке ее героя». Потом было «Красное и черное» — «одно из замечательнейших произведений нашего времени»; его он прочел летом 1831-го. Вяземский не раз восхищенно писал Тургеневу о Стендале и вот теперь получил возможность лично высказать автору свои чувства... Волею случая они оказались соседями по дому, и Вяземский послал Стендалю почтительную записку с просьбой о встрече. Воочию Стендаль показался ему «мужиковатым», «толстым прикащиком», к тому же угнетенно-грустным. Вяземского он почему-то называл «mon général»*, чем немало его смешил. Но все же они ус-

* Мой генерал *(фр.)*.

пели почти подружиться во время прогулок по Риму. Диоклетиановы термы... Палаццо Боргезе... Мастерская датского гения Торвальдсена... Рим — как роман Вальтера Скотта, чем больше читаешь, тем больше увлекаешься... 8 января 1835 года Стендаль уехал из Рима, но через три недели вернулся, и общение продолжилось.

Вскоре город захлестнул традиционный карнавал. В эти дни Рим сходил с ума: цветы, гирлянды, пенье, танцы на улицах, поцелуи во дворах... Все маскированы, от лакеев до дам-аристократок. У всех в руках мешочки с мучными шариками-конфетти, все швыряют ими друг в друга... Корсо белым-бела от муки... Никаких сословий, все абсолютно равны. Коляска шагом пробирается по улице: Вяземский на козлах рядом с кучером, дамы пытаются закрыться зонтиками... Николенька Мещерский, похожий на мельника-гнома, визжит от восторга... Вечером Корсо расцветает мириадами свечей — это заключительная часть карнавала, мокколетти. Нужно погасить как можно больше свечек. На свечку Вяземского дуют сразу несколько человек, смеются, кричат: «Senza moccolo! Senza moccolo!*» Невозможно такое бездумное, освобождающее веселье представить в России!.. И Вяземский на минуту жалеет, что он не итальянец.

Он просыпается в Риме — и ему некоторое время нужно убеждать себя, что он действительно в Италии. Какое здесь все *другое* — щедрое... свободное... Вяземский непременно хочет написать путевые записки. Это будут совсем особенные записки: записки *неудачливого* путешественника... «Дожить до моих дней сиднем, там вдруг переехать Европу из одного края на другой и все-таки ничего не видать, ни до чего, так сказать, не дотронуться, это уже чересчур оскорбительно, и судьба во зло употребила власть, которая дана ей, смеяться над людьми. Если мне написать путешествие свое, то оно в самом деле может быть очень замечательно и оригинально исчислением всего того, что я не видал. Назову книгу мою: *Промахи моего путешествия*, а эпиграфом выберу: *по усам текло, а в рот не попало*».

...Но вот попадается ему роман маркиза де Кюстина «Мир как он есть», и Вяземский выписывает его последние строки: «Mon Dieu! Mon Dieu! faites moi miséricorde; Vous savez ce que je suis!.. Moi, je ne sais pas ce que Vous êtes; n'abusez pas de votre supériorité, faites moi miséricorde!**»...

---

* Без свечи! Без свечи! *(ит.)*.

** Господи! Господи! будь милостив ко мне; Ты знаешь меня, я же тебя не знаю. Не злоупотребляй своим превосходством, даруй мне милость! (*фр.*).

Отодвигая все светские вечера, все карнавалы, все римские улыбки, концерты и картины, приближается к нему что-то, чему нет названия и от чего кровь стынет в жилах. Медленное ожидание казни...

Душераздирающий кашель дочери в соседней комнате.

Полумертвое лицо Веры Федоровны.

Последний раз они теряли ребенка восемь лет назад.

...Лучшие врачи Рима были приглашены к княжне Пашеньке Вяземской. Девушке было совсем плохо — она похудела так, что черты лица изменились, и все время кашляла кровью. Это была чахотка в последней стадии — смертельная, роковая болезнь, против нее медицина оказалась бессильна... Пашенька понимала, что жить ей осталось недолго, но была спокойна, тверда. На вопросы врачей неизменно отвечала: «Спасибо, сегодня уже лучше». И слабым голосом утешала плачущую у постели мать: «Не плачьте, маменька, что же делать... На все воля Божья...»

В январе 1835 года Федор Бруни написал небольшой акварельный портрет Пашеньки Вяземской. На акварели этой изображена худенькая некрасивая девушка с отрешенным и строгим взглядом. Яркая цветная шаль и пышный чепец подчеркивают мертвенную бледность ее лица, жуткие синие тени под глазами... Ни южный воздух, ни красоты древней Италии не могли спасти угасавшую на глазах Полину. Приехавший из Флоренции священник исповедовал ее и причастил. 11 марта в девять часов вечера она умерла на руках отца и матери.

Похоронили Пашеньку на древнем кладбище Монте-Тестаччо, неподалеку от знаменитой пирамиды Гая Цестия, от могил Шелли и Китса... Вяземские посадили рядом с надгробием кусты роз и кипарисы. Зинаида Волконская написала трогательные стихи о могиле Пашеньки, обещала ухаживать за ней; позже навещал ее и Гоголь, и другие русские путешественники, бывавшие в Риме.

Мог ли предполагать Петр Андреевич, что много лет спустя Тестаччо станет последним приютом для еще трех его прямых потомков?.. В 1943 году там похоронят правнука Вяземского — кавалергардского полковника, флигель-адъютанта Николая II, председателя Союза русского дворянства графа Дмитрия Сергеевича Шереметева. В 1972-м — праправнука, графа Сергея Дмитриевича Шереметева. В 1980-м — Прасковью Дмитриевну Шереметеву, супругу князя императорской крови Романа Петровича. Правнук Николая I и праправнучка Вяземского были мужем и женой...

...В иконографии Вяземского есть один потрясающий

портрет. Замечателен он уже тем, что это последний сохранившийся карандашный портрет работы Ореста Кипренского. Но достаточно взглянуть на дату, проставленную художником на работе, чтобы понять: это не просто портрет князя Петра Андреевича. Кипренский неслучайно дополнил изображение несколькими надписями. Сначала он подписал работу: «Орест К. 1835 Roma». Потом добавил: «В знак памяти» — и подчеркнул двумя чертами. И в левом углу рисунка: «17 марта». Дата все разъясняла. Это была дань скорби и соболезнования, дань, которую друг приносит безутешному другу. Портрет был выполнен через шесть дней после смерти Пашеньки, через три дня после ее похорон.

На портрете — потрясенный, раздавленный, резко постаревший Вяземский. Отчетливо видна вся его некрасивость — и крупный нос, и губы, и уши, и редеющие волосы с сединой, которые он зачесывает на виски и на лоб. И глаза. Отсутствующие, смотрящие куда-то вправо, потухшие...

Все грустно, все грустней, час от часу тяжелей,
Час от часу на жизнь темней ложится мгла,
На жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе
Любимых дум моих святая цель была.
Все повод мне к слезам, все впечатленья полны
Тобой, одной тобой: подъятые тоской,
Теснятся ли в груди воспоминаний волны —
Все образ твой, все ты, все ты передо мной.
Ты, неотступно ты! Грядущего ли даль
Откроется глазам пустынею безбрежной —
Ты там уж ждешь меня с тоскою безнадежной;
Пророчески тебя и в будущем мне жаль.

В горе друга поддержал Александр Тургенев, приехавший в Рим 26 февраля. Доброты Эоловой Арфы хватало на всех...

26 марта Петр Андреевич, Вера Федоровна, Маша Вяземская и Тургенев поехали в Неаполь. Тому были свои причины. Князь собирался в Россию, и посланник при папском дворе граф Гурьев попросил его доставить в Вену дипломатическую почту из Рима и Неаполя. И хотя небольшое странствие на юг Италии было увлекательным — путники побывали в красивейших местах, видели Помпею, Салерно, Пестум, Кастелламаре, Сорренто, сплавали на остров Капри, — в каком состоянии оно совершалось, легко можно вообразить. Утром 2 апреля Вяземский и Тургенев выехали из Неаполя в Рим. 10-го, оставив семью в Риме, Вяземский один, в качестве курьера Министерства иностранных дел, отправился в Россию. В пять часов пополудни выехал он из вечного города, который столько дал ему и столько отнял... Потом будет он возвращаться в Италию, и не раз, но в Ри-

ме так и не побывает. Только в 1845-м, спустя десять лет после смерти дочери, напишет стихотворение:

Звучишь преданьем ты, а не насущным словом.
В тени полузакрыт всемирный великан:
И форум твой замолк, и дремлет Ватикан.
Но избранным душам, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Нельзя — хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.

И позже вторично обратится к римской теме («К Риму»). На этот раз стихотворение уже не о Риме, а именно о родной могиле:

Сочувствие к тебе и внутренней, и чище:
Родное место есть мне на твоем кладбище,
На сем кладбище царств, столетий и племен.
Воспомнится ли мне ограда вечных стен?
И вопрошаю я тоской воспоминанья:
Не кисти, не резца, не зодчества созданья,
В которых смелый дух избранников живет.
Нет, мимо их меня таинственно зовет
Тот мирный уголок, где ранняя могила
Родительской любви надежду схоронила.

«Как я мог решиться ехать один, — думал он, уже сидя в экипаже. — Во мне нет ни твердости, ни бодрости, ни покорности». Он прижимал к лицу мокрый платок — у него опять шла носом кровь. На него находило тяжелое дремотное равнодушие, когда не было сил ни плакать, ни вспоминать... Мысли переваливались одна на другую, как камни, как экипаж с холма на холм. Сизифова работа...

Был итальянский апрель, но погода стояла осенняя, с дождями, холодом. На сердце и того хуже. Судороги тоски. 12 апреля князь приехал во Флоренцию — и, как назло, попал прямо на отпевание умершего Федора Яковлевича Скарятина... Тем же вечером Вяземский поехал дальше. Коляска медленно катила вдоль берегов Арно... 13-го проспал всю ночь в экипаже и проспал Пизу, в том числе и «кривую башню». 14—15 апреля был в Генуе, 16-го — в дождливом Турине, столице Сардинского королевства, где обедал у русского посланника Обрескова и познакомился с писателем Сильвио Пеллико, автором знаменитой драмы «Франческа да Римини» и «Моих темниц». Где-то на пути из Турина Вяземский сильно простудился. 18 апреля, и снова в дождь, показался Милан. Князь посетил собор, дворец графини Са-

мойловой, где было чудное собрание скульптуры и живописи. На другой день Вяземского принял знаменитый писатель Алессандро Мандзони, роман которого «Обрученные» был одной из любимых книг князя. Они провели за беседой около часу. Мандзони говорил о том, что со временем звание писателя совершенно упразднится, потому что любой человек сможет попробовать себя на литературном поприще и издать книгу. Эта фраза запомнилась князю и всплыла потом в его статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина». Вяземский, коллекционировавший автографы, попросил Мандзони расписаться в дорожном альбоме, но тот отказался: «Все это тщеславие, а я, по возможности, отказываюсь от всего суетного». В следующий раз Вяземский повидал Мандзони спустя 28 лет.

Дальнейшее мелькало перед глазами, никак не задевая сердца, — Верона, Виченца, Падуя, Местре, Тревизо... Все это в дожде. 21 апреля разом кончились и дождь, и Италия. В Клагенфурте уже весело сияло солнце. Но это мало радовало Вяземского. Как раз сорок дней...

24 апреля в девятом часу утра он приехал в Вену. Сразу отправился в посольство и передал князю Горчакову дипломатическую почту из Турина, потом оставил вещи в гостинице «У Римского короля», пообедал и поехал в сопровождении Горчакова в Пратер, где прогуливался верхом и в колясках весь венский свет. Австрийские аристократы носили траур — 2 марта умер император Франц. Впрочем, несмотря на черный цвет, все наряды были сшиты по последней моде. Эти траурные обновы Вяземскому показались несколько странны.

Петр Андреевич навестил 83-летнего светлейшего князя Андрея Кирилловича Разумовского — бывшего русского посланника в Австрии, доживавшего в Вене свой долгий век. Несмотря на возраст, Андрей Кириллович считался одним из столпов венского бомонда и имел почтительное прозвище «эрцгерцог Андреас»... «Приятный старик», — отметил в дневнике Вяземский. Он слушал в опере «Норму» Беллини и «Любовный напиток» Доницетти, был на скачках, выставке цветов, в синагоге, в зверинце... Ночью 27 апреля выехал из Вены, которая понравилась ему гораздо меньше Мюнхена, Флоренции и Рима.

«Коляску чинят уже во второй раз из Вены, — записывал он. — Еду хуже прежнего, хотя беру третью лошадь. Здесь все пахнет *Русью*... Я понимаю их язык, а они меня не понимают. Вообще русский слух смышленее прочих. Если мало-мальски не выговоривать, как иностранцы при-

выкли выговоривать свои слова, они уже вас не разумеют. А русский мужик поймет всегда исковерканный русский язык всякого шмерца. И природа здесь сбивается на *русскую* — плоская. Небо молочное, цвета снятого молока. Женский убор — платок, повязанный на голове, тоже русский. Одна почта не русская, а архинемецкая. Язык — смесь польского и русского». 30 апреля в полночь приехал в Прагу, отужинал и покатил дальше. Разумовский говорил Вяземскому, что Прага напомнит ему Москву, но в темноте князь разглядел только, что дома в городе высокие, улицы узкие, а река — широкая. Хорошо Прагу удалось рассмотреть лишь 18 лет спустя.

Ранним утром 1 мая был в саксонском Дрездене: «Дрезден кажется мне веселеньким городом, много зелени, много садов, много улиц вроде московской Садовой». Вяземский отобедал в русском посольстве, побывал в картинной галерее. Когда началась Пруссия, князю показалось, что появилось «что-то военное, русское во всем. И береза встречается. Подъезжая к Берлину, вспоминаешь Петергофскую дорогу». В Берлине остановился в гостинице «Санкт-Петербург» на Унтер-ден-Линден и тут же велел растопить в номере печь — продрог ночью в дороге.

Берлин Вяземскому понравился. Но и тут он не преминул отметить, что город «сбивается на Петербург» (этим и понравился, наверное). Он обедал у русского посланника Рибопьера. Побывал в студии модного портретиста Крюгера, который необычайно ловко, быстро и *похоже* писал всех высших петербургских лиц, начиная с царя. Был в опере на «Семирамиде» Россини (и видел в театре прусского короля с его второй женой, принцессой Лигниц). И уже 5 мая приехал в Любек, где надеялся сразу попасть на пароход в Россию. Но парохода не было еще целых пять дней... Погода стояла промозглая. Вяземский ходил смотреть на серое, ледяное Немецкое море, столь непохожее на ласковую итальянскую лазурь. Днем читал «Андре» Жорж Санд и «Отца Горио» Бальзака. В Любек потихоньку подтягивались русские путники, также ожидавшие парохода на Кронштадт... Смерть была на сердце — смерть, не развеянная ни венскими скачками, ни берлинскою оперой. Вяземский даже нашел для нее точное определение: пила, которая пилит медленно, но безостановочно.

16 мая 1835 года на пароходе «Александр» он вернулся в Россию.

Глава VII
ПУШКИН

Князь остановился у Карамзиных на Моховой. Никого он не видел и не хотел видеть. Один Жуковский приезжал к нему из Царского Села и говорил какой-то ласковый, успокоительный вздор, звучавший в его устах мудростью. Вяземский все думал побывать на старой квартире у Баташева, которую теперь снимали Пушкины, — и не мог собраться с духом: при одной мысли о том, что там жила Пашенька, слезы текли из глаз... К тому же Наталья Николаевна 14 мая родила сына, беспокоить ее было нельзя.

До полудня он, как обычно, сидел в департаменте, потом, никого не замечая, бесцельно бродил по улицам... Сердце и душа были в Риме, закопаны в сухой глине на горе Тестаччо. После бездонного итальянского неба и бездонного итальянского горя Петербург давил невыносимой болью, серой тяжестью. Ничего не было живого в князе, и Жуковский, видевший его в эти дни, понимал, что из Италии вернулся *другой* Вяземский. 21 августа он определил свое состояние в письме дочери Маше: «Полная дисгармония с собой, с другими и с Провидением»...

В начале октября князь с женой опять выбрался за границу — во Франкфурт, Майнц и Ганау, пробыл там две недели. Цель этой поездки не вполне ясна, но, возможно, Вяземский возил к Коппу младшую дочь Надежду. Вернувшись, князь и княгиня сняли новую квартиру на Михайловской площади. Бывали у них только братья Россеты, Жуковский, Виельгорский, приехавший из Варшавы князь Козловский (он сломал ногу, ковылял на костылях). И конечно же Пушкин.

Они сидели друг против друга — Пушкин и Вяземский. Пушкин, униженный своим камер-юнкерством, ненавидящий придворный мундир, который приходилось надевать на балы в Аничковом дворце. Он высох, заметно постарел, стал резче и угнетенней лицом, кудри поредели... Он попытался выйти в отставку — и государь не был против, однако заметил, что в таком случае, как он выразился, «между нами все будет кончено»... «Роман» с императором Пушкину был необходим, иначе перед ним закрылись бы двери государственных архивов. Да еще вмешался в дело Жуковский, обругав Пушкина за глупость и самонадеянность... Пушкин страстно мечтал уехать из Петербурга — и понимал, что ехать ему некуда: отец вовсе не горел желанием видеть сына в Михайловском, а в Болдине не было дома, где можно бы жить с детьми... В августе он, проклиная себя, согласился взять у государства ссуду в тридцать тысяч рублей. Другого выхода не было: он был мужем первой русской красавицы, камер-юнкером, первым поэтом России — и не мог позволить себе жить бедно.

Осень 1835 года оказалась для Пушкина бесплодной и тяжелой. Проведя в Михайловском полтора месяца, он привез оттуда только «Вновь я посетил...» и незаконченные «Египетские ночи». Ни одной готовой для печати крупной вещи у него не было. «История Пугачева» потерпела коммерческий крах: отпечатанная огромным, «карамзинским» тиражом в 3000 экземпляров, книга почти не продавалась... Падал интерес и к поэзии Пушкина*. «Осень, осень, холодная дождливая осень после прекрасной роскошной весны», — так писал о его стихах в 1835 году критик Белинский... И снова мысли Пушкина крутятся вокруг журнального замысла. Это единственный шанс как-то выпутаться из долгов. Журнал ведь нужен Пушкину совсем не только затем, чтобы отбить читателя у Булгарина и вылепить нового читателя, мыслящего и просвещенного. Пушкину нужно жить, кормить крестьян, оплачивать дорогую квартиру, содержать своячениц... Он пробовал было сотрудничать с москвичами — «Телескопом» Надеждина и «Московским наблюдателем» Андросова, но эти журналы, вроде антибулгаринские по духу, действовали вяло, недружно, да и к Пушкину были настороженны. С 1834 года в Петербурге издавался профессором Юлианом Ивановичем Сенковским жур-

* Достаточно сказать, что на 220 сохранившихся списков ранних пушкинских стихотворений и поэм приходится всего 15 списков стихотворений 1830-х годов.

нал «Библиотека для чтения», журнал солидный, с размахом — Пушкин и к нему приглядывался, печатался в нем. Сенковский был человек яркий, талантливый и разносторонний. Вскоре, однако, этот талантливый человек повел себя в делах издательских так непорядочно, что многие его сотрудники с ним разошлись, Пушкин это сделал осенью 1835 года. Собственный журнал был необходим ему как воздух. Но Пушкин все время ощущал на себе пристальный и недоброжелательный взгляд министра народного просвещения Сергия Семеновича Уварова — некогда арзамасца Старушки... Министр с 1834 года, Уваров питал к Пушкину какую-то особенную, утонченную ненависть, и Пушкин вполне отвечал ему взаимностью. Свою карьеру Сергий Семенович делал жестко, целенаправленно и не стесняясь средствами, за что и заслужил почти всеобщее презрение. Тургенев звал Уварова «арзамасцем-отступником». «Это большой негодяй и шарлатан, — писал об Уварове Пушкин. — Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был блядью, потом нянькой, и попал в президенты Академии Наук... Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты — (у него 11 000 душ) казенных слесарей употреблял в собственную работу etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретил Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!»...

Вяземский с Уваровым не ссорился, но в делах журнальных был, разумеется, целиком на стороне Пушкина. К «Библиотеке для чтения» князь не испытывал никаких симпатий. Само название казалось ему нелепостью — для чего ж еще может быть библиотека, как не для чтения?.. Журнал этот переполнен пошлятиной, и русской, и переводной. А Сенковский — просто барышник, купец, потакающий низкопробным вкусам... Вяземский с трудом одолел десять страниц его расхваленного «Путешествия барона Брамбеуса»: шутки натянуты, холодны, тяжеловесны... Обо всем этом нередко заходил разговор на литературных «субботах» Жуковского, которые Вяземский стал посещать с декабря 1835 года.

Василий Андреевич жил по-прежнему в Шепелевском дворце, пристроенном к Зимнему (сейчас на этом месте портик с атлантами). Он занимал обширные низкие комнаты, светлые, изящно обставленные. Уютно потрескивал большой камин, на котором стоял гипсовый бюст Гомера... Конторка Жуковского (он писал стоя) по обыкновению бы-

ла завалена английскими и немецкими книгами, черновиками, огрызками перьев. В этих комнатах, где все было подчинено творчеству, по субботам сходились «литературные аристократы», люди, хорошо знавшие и ценившие друг друга. Приходил строгий, с серьезным умным лицом профессор Петр Александрович Плетнев, нервный, чудаковатый князь Владимир Федорович Одоевский, добродушнейший Иван Андреевич Крылов; на руках вносили слепого, разбитого параличом Козлова, за которым все с любовью ухаживали. Бывал Николай Гоголь, который держался самоуверенно, бойко вертел головою в очках, сыпал смешными малороссийскими анекдотами — а то неожиданно тушевался и, забившись в угол, внимательно слушал рассказы других. Заходил композитор Михаил Глинка, бывали молодые Карамзины... Гости рассаживались на диванах и стульях, а между ними медленно и неслышно, словно домашний кот, похаживал Жуковский; он каждому находил светлое и единственно нужное слово и был добрым, объединяющим духом, который сплачивал это литераторское собрание.

Все бывавшие на этом «чердаке» неизменно сетовали на отсутствие добрейшего Александра Ивановича Тургенева, которого с января 1835 года снова носило по миру. Эолова Арфа аккуратно вел дневник и присылал из-за рубежа огромные, на двадцати-тридцати страницах письма, адресованные «Жуковскому или Вяземскому» (и всем друзьям...). Он помогал всем, кому можно было помочь, и дружил с половиной европейских знаменитостей. Русских приятелей Тургенев заваливал подарками — присылал иностранные книги, газеты, журналы, картины, мраморные статуи, всевозможные сувениры... Из писем его было ясно, что Александр Иванович закопался в парижские архивы. И вот в субботу 29 декабря Вяземский прочел у Жуковского очередное тургеневское послание. «Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc., etc., — писал князь Тургеневу. — Все в один голос закричали: Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!»...

Очень возможно, что сразу же после этого чтения произошел разговор между Пушкиным и Вяземским на предмет создания такого журнала. Вяземский предложил использовать старое, придуманное им еще в 1827 году название — «Современник». Но, чтобы обойти Уварова, нужно было обращаться напрямую к Бенкендорфу и подавать просьбу не о *журнале*, а о *сборнике статей*. Во-первых, это тоже была старая идея (несостоявшийся «Современник» Вяземского пла-

нировался именно как такой периодический сборник), а во-вторых, с некоторых пор журналы испытывали на себе слишком пристальное внимание власти. Всем была памятна печальная участь «Европейца»; в апреле 1834 года с грохотом рухнул Полевой: «Московский телеграф», детище Вяземского, был закрыт за критику высочайше одобренной трагедии Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла»... «Телескоп» и «Московский наблюдатель» тоже дышали на ладан (и жить им оставалось недолго — соответственно два и четыре года). Благополучно чувствовала себя только «Библиотека для чтения», с ней-то и предстояло состязаться «Современнику». Так что 31 декабря Пушкин просил у Бенкендорфа о разрешении издавать не журнал, но «четыре тома статей чисто литературных (как то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных Reviews. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые». Это было прямое воплощение в жизнь замысла Вяземского — тот тоже хотел взять за образец именно английские «Quarterly Reviews»...

Уловка удалась: 10 января император разрешил издать «четыре тома статей», о чем Бенкендорф через четыре дня сообщил Уварову (надо думать, перекосившемуся от злобы). Тем не менее уже 19 января Пушкин получил от Уварова «подарок»: цензором «Современника» был назначен самый тупой и трусливый человек в столичном цензурном комитете, А. Л. Крылов. Так Уваров отплатил Пушкину за памфлет «На выздоровление Лукулла», где поминались и «казенные дрова», и вельможа, у которого Уваров «нянчил ребятишек»...

Между тем забеспокоились и конкуренты — издатель «Библиотеки для чтения» Смирдин предложил Пушкину 15 тысяч отступного. «Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться, — писал Пушкин. — Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура, что с ними связываться невозможно». Сенковский тут же не преминул укусить Пушкина: «“Современник”... учреждается нарочно против “Библиотеки для чтения” с явным и открытым намерением — при помощи Божией уничтожить ее в прах»... В общем, началась бурная жизнь русского журналиста.

Уже привычный круг собрался у огонька, зажженного Пушкиным, — Вяземский, Жуковский, Одоевский, из моло-

дежи самым заметным был Гоголь. Вяземский заручился согласием Александра Тургенева на публикацию его парижских писем под заголовком «Хроника Русского»: «Пушкин просит тебя, Христа и публики ради, быть отцом-кормилицею его «Современника»... Разумеется, пуще всего нужно литературности и невинной уличной и салонной жизни. Политика, то есть газетная политика, не годится, или умеренно, потому что дозволен только журнал литературный, но историческую политику милости просим». Но даже в невинном аполитичном виде письма Тургенева стали первой жертвой цензуры «Современника» — их изуродовали настолько, что Александр Иванович весь был «в жару и в бешенстве» и порывался даже отказаться от сотрудничества. Зато без потерь прошла статья «О Парижском Математическом ежегоднике» князя Петра Борисовича Козловского. Появление этой статьи — заслуга Вяземского: давно уже не бравшийся за перо Козловский написал ее по просьбе друга. Пушкин тоже успел подружиться с Козловским и даже обещал ему перевести на русский его любимого Ювенала...

Сам того не предполагая, Пушкин своим «Современником», деятельностью, хлопотами почти вытащил Вяземского из той беспросветности, в которой он находился с весны 1835-го. Князь снова почувствовал себя литератором — не прежним задорным журнальным молодцом, который стоял на крепостной стене, стрелял из всех орудий по противнику, партизанил, наездничал, — но авторитетным и уважаемым литератором, которому есть что сказать и мнение которого будет всеми выслушано... Он скептически отзывается о новой сенсации — Несторе Кукольнике, том самом, трагедия которого поставила крест на Полевом (по Петербургу ходила эпиграмма: «Рука Всевышнего три чуда совершила: / Отечество спасла, / Поэту ход дала / И Полевого задушила»). Кукольник работал, как хорошо отлаженный механизм — в среднем за год писал пять повестей, драму и роман, не считая стихов; «Библиотека для чтения» исправно печатала его почти каждый месяц. Он был соученик Гоголя по Нежинскому лицею, мучительно завидовал и Гоголю, и в особенности Пушкину и искренне считал себя гением... Вяземский и Пушкин, будучи знакомы с Кукольником еще с весны 1834-го, над ним посмеивались и относились к нему пренебрежительно — он был не их круга. А вот Владимира Бенедиктова, чья первая книга стихов появилась в продаже в середине октября 1835 года, Вяземский сразу приметил: «У нас появился новый поэт, Бенедиктов. Замечательное, живое, свежее, самобытное явление». Звучные, эффектные сти-

хи Бенедиктова, переполненные неожиданными образами и рифмами, стали самой крупной поэтической сенсацией 30-х годов — под обаянием этого поэта находились Жуковский, Александр Тургенев, Плетнев, Шевырев, Тютчев, Сенковский... Бенедиктова стали приглашать на «субботы» Жуковского, но гвоздь сезона, похоже, вовсе не чувствовал себя таковым и очень смущался. Был Бенедиктов мило-провинциальным, с мелким незначительным личиком, плохо говорил по-французски... Но самым забавным было, пожалуй, то, что он служил в Министерстве финансов личным секретарем Канкрина — то есть ежедневно виделся с Вяземским на службе. (Кстати, в канцелярии Канкрина служил одно время и Кукольник.) Бенедиктов начал бывать у Вяземского дома, там он встречался с Пушкиным, перед которым искренне благоговел.

Еще одно новое имя — Алексей Кольцов: «Воронежский мещанин, торгующий скотом, до десяти лет учившийся грамоте в училище и с того времени пасущий и гонящий стада свои в степях. Он здесь по делам отца своего. Дитя природы, скромный, чистосердечный!» Вяземский ласково опекал Кольцова во время его пребывания в столице, и даже не испытывавший никакой любви к князю Белинский не смог не признать после смерти воронежского поэта, что «Кольцов особенно хранил признательную память к князю Вяземскому»... В 1840-м Кольцов посвятил Вяземскому стихотворения «Военная песня» и «Шекспир».

Но главное событие зимы 1836-го, конечно же, Гоголь. 18 января Вяземский читал на «чердаке» Жуковского очередное тургеневское письмо, а после него Гоголь — новую свою комедию «Ревизор»... Чтение шло под неумолкаемый хохот, Пушкин просто катался со смеху. «Петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора. С испуга принимает он проезжего за ожидаемого ревизора, дает ему денег взаймы, думая, что подкупает его взятками, и прочее, — сообщал Вяземский Тургеневу. — Весь этот быт описан очень забавно, и вообще неистощимая веселость; но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуждает un feu roulant d’eclats de rire dans l’auditoire*. Не знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши mœurs administra-

* Раскаты смеха среди слушателей (*фр.*).

tives*... У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фон-Визина, никто из наших авторов не имел истинной веселости. Он от избытка веселости часто завирается, и вот чем веселость его прилипчива... Русская веселость... застывает под русским пером. Один Жуковский может хохотать на бумаге и обдавать смехом других, да и то в одних стенах Арзамаса... Я один, может быть, исключение, то есть был прежде исключение из этого правила; я задорнее письменно, нежели словесно, да и то именно письменно (у меня чернила, как хмель, забирают голову), а не печатно. Когда готовлюсь к печати, то и я уже умничаю, а не завираюсь, и для меня печатный станок есть та же прокрустова кровать».

19 апреля 1836 года «Ревизор» был впервые представлен в Александринском театре. Присутствовали император с наследником, первый ряд занимали министры... Вяземский после премьеры писал Тургеневу: «Tout le monde se pique d'être plus royaliste que le roi**, и все гневаются, что позволили играть эту пиесу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества!» Он решил подготовить «разбор комедии, а еще более разбор зрителей» — и вскоре написал статью «Ревизор. Комедия, соч. Н. Гоголя», которая легла в портфель второго тома «Современника»...

«Разбор зрителей» — это намек на шум вокруг «Ревизора», который поднялся в Петербурге. На бедного Гоголя сыпались десятки обвинений — в пошлости, отсутствии «серьезной идеи», примитивизме сюжета, неправдоподобности... «Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, — писал Гоголь через десять дней после премьеры. — Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня...» Под литераторами имелись в виду Булгарин и Сенковский, которые с редкой оперативностью набросились на Гоголя в «Северной пчеле» и «Библиотеке для чтения». Булгарин со свойственным ему пафосом обвинил Гоголя в *клевете на Россию* — ни больше ни меньше... Одним большим возражением на всю эту чушь и была статья Вяземского.

По старой доброй традиции вступление к своей работе Вяземский посвятил рассуждениям о бедности русской литературы и о том, что полемики критиков в журналах могут быть уподоблены совещанию экспертов и полицейских при-

* Административные нравы (*фр.*).
** Все тщатся быть большими роялистами, чем король (*фр.*).

ставов над убитым: «Съедутся, шумят — и чем же кончат? поднимут мертвое тело...» Затем он решительно перечислял выдающиеся произведения русской драматургии: «Бригадир», «Недоросль», «Ябеда», «Горе от ума»... «"Ревизор" занял место вслед за ними и стал выше некоторых из них», — утверждает Вяземский. Итак, Фонвизин, Капнист, Грибоедов, Гоголь... «Ревизор» — это событие не только для русской сцены, но и для русской жизни, причем непреходящее. И тут же Вяземский начинает по пунктам громить недоброжелателей «Ревизора».

Кое-кто считает, что «Ревизор» не комедия, а фарс («Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу?» — высказался, например, начальник Вяземского граф Канкрин). «За исключением падения Бобчинского у двери, нет ни одной минуты, сбивающейся на фарсу», — сразу отметает это обвинение автор статьи. «Ревизор» неправдоподобен (об этом кричала «Северная пчела»)? Длинным абзацем доказывает Вяземский, что очень даже правдоподобен: у страха глаза велики, городничий вполне мог поверить Хлестакову, истории такие бывали, и «тут нет никакой натяжки в предположении автора, все натурально». «Есть критики, которые недовольны языком комедии, ужасаются простонародности его... Тут автор не суфлер действующих лиц, не он подсказывает им свои выражения: автор стенограф... Слог его везде замечателен. Впрочем, трудно и угодить на литературных словоловов. У которого-то из них уши покраснели от выражений «суп воняет», «чай воняет рыбою». Он уверяет, что теперь и порядочный лакей такого не скажет. Да мало ли того, что скажет и чего не скажет лакей? Неужели писателю ходить в лакейские справляться, какие слова там в чести и какие не в употреблении?.. *Порядочный лакей*, то есть что называется un laquais en dimanche*, точно, может быть, постыдится сказать «воняет», но *порядочный человек*, то есть благовоспитанный, смело скажет это слово и в великосветской гостиной и пред дамами. Известно, что люди высшего общества гораздо свободнее других в употреблении *собственных слов*: жеманство, чопорность, щепетность, оговорки — отличительные признаки людей, не живущих в хорошем обществе, но желающих корчить хорошее общество... Посмотрите на провинциала, на выскочку: он не смеет присесть иначе как на кончике стула; шевелит краем губ, кобенясь, извиняется вычурными фразами наших нравоучительных романов, не скажет слова без прилагательного, без оговорки». Уж не аукну-

* Лакей в парадной ливрее (*фр.*).

лись ли эти рассуждения Вяземского в «Мертвых душах» (вспомните дам, приятных во всех отношениях, и стакан, который «нехорошо ведет себя»)?.. Гоголь, конечно, внимательно читал эту статью...

Поставив на место демократическую критику, которая «мешается не в свои дела», рассуждая о приличиях и неприличиях, Вяземский переходит к следующему обвинению: «“Ревизор” — комедия безнравственная, потому что в ней выведены одни пороки и глупости людские, что уму и сердцу не на ком отдохнуть от негодования и отвращения, нет светлой стороны человечества для примирения зрителей с человечеством, для назидания их, и проч.». Тон князя становится саркастическим: «Не должно забывать, что есть литература взрослых людей и литература малолетних... Конечно, между людьми взрослыми бывают и такие, которые любят быть до старости под указкою учителя; говорите им внятно: вот это делайте, а того не делайте! за это скажут вам: пай дитя; погладят по головке и дадут сахарцу. За другое: фи дитя, выдерут за ухо и поставят в угол! Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя?»

Любопытно выстроил Вяземский и финал статьи. Оправдав Гоголя по всем пунктам, он неожиданно сворачивает на старую комедию Капниста «Ябеда», приводит цитаты из нее, а потом замечает: «Вероятно, и в то время находились люди, которые говорили, что в самом деле не могут существовать в России и нигде такие нравы, что это клевета и проч.». И рассказывает о том, что Павел I не только не запретил «Ябеду», но разрешил Капнисту печатать ее с посвящением «Августейшему имени Его Величества». «Благородные чувства и благородный язык поэта были доступны к просвещенному великодушию государя», — заключает князь.

Вспоминая благополучную историю одной из самых взрывоопасных русских пьес, он упреждал возможные нападки на Гоголя со стороны властей (и одновременно намекал на то, что неплохо бы Гоголя поощрить). Обвинение в «клевете на Россию» в устах Булгарина могло повлечь за собой серьезные последствия. Вяземский хорошо помнил собственную судьбу — его ошельмовали, даже не проверив факты, изложенные в доносе. Он хорошо помнил и судьбу «Европейца» — журнал Киреевского рухнул только потому, что кому-то что-то *показалось*. Он видел, как «Московский телеграф» канул в вечность из-за одной-единственной отрицательной рецензии на то, что не следовало отрицать.

«Ревизору» в этом отношении повезло. Защищать Гоголя от травли сверху не пришлось — «клеветы на Россию» Николай I в пьесе не усмотрел. Но и поощрять Гоголя за «Ревизора» не стал. Пьеса не получила статус *государственной*, как это случилось два года назад с «Рукой Всевышнего...» Кукольника.

...11 апреля 1836 года, за неделю до премьеры «Ревизора», увидел свет первый том «Современника». Пушкин рисковал — на обложке стояло «литературный журнал», и достаточно было одного слова императора, чтобы издателю напомнили о том, что он получил разрешение на *сборник статей чисто литературных*... Состав был сильный — стихи самого Пушкина, Жуковского, Вяземского (мрачная «Роза и Кипарис», написанная после смерти Пашеньки), статьи Пушкина, тургеневские письма, проза Гоголя. Впрочем, Гоголь отличился не только «Коляской» и «Утром делового человека», но и лихой статьей «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах». Можно предположить, что Вяземский прочел эту статью с удовольствием — она напомнила ему собственную журналистскую молодость, былые битвы 20-х, да и с большинством гоголевских положений он был согласен. Но вот издатель Пушкин, прочитав материал, схватился за голову. Статья была правлена и переправлена, но все из нее вычеркнуть было невозможно.

В этой статье Гоголь показал себя в высшей степени талантливым учеником критика Вяземского — статья писана остроумно, небрежно и немного свысока по отношению к оппонентам. А оппонентами Гоголя в ней были *все* — правые и виноватые, явные враги «Современника» и потенциальные его союзники. Он пренебрежительно отзывался о «Телескопе» и «Московском наблюдателе». Мимоходом нанес удар Булгарину (которого очень обидели оба обстоятельства — и то, что мимоходом, и что вообще «Современник» его задевает первым...). И, не скрывая удовольствия, потоптался на «Библиотеке для чтения», от которой буквально не оставил камня на камне. Все это было справедливо и забавно, но с точки зрения литературного бизнеса не лезло ни в какие ворота. Пушкин хорошо помнил судьбу «Литературной газеты», которую погубило нежелание знаться с другими русскими журналистами. Назвать их неучами и подлецами значило объявить войну без надежды ее выиграть. Надо было срочно заглаживать промах, сделанный Гоголем...

Кстати сказать, статья «О движении журнальной литературы...» вышла в «Современнике» без подписи, так что всполошившиеся русские журналисты даже не знали, на кого

гневаться. Гоголь был самый молодой, он был прозаик, а не критик — о том, что такой разнос сочинил именно он, никто и не думал. Булгарин в «Северной пчеле» реагировал настолько растерянно, что было ясно: такого он не ожидал. Опровергая нападки Гоголя на Сенковского за «незнание Востока», Булгарин вопрошал: «А разве вы, г. Издатель, в «Путешествии в Арзрум» обнаруживаете это знание?»

Пушкина в это время одолевали невеселые заботы: скончалась его мать, он был в трауре, 16 апреля вернулся из Михайловского после похорон. И уже через две недели, поручив второй номер заботам Одоевского, выехал в Москву — объяснять коллегам, что гоголевская статья не является программной для «Современника»... Позднее он даже опубликовал заметку о статье Гоголя, смысл которой сводился к фразе «Врачу, исцелися сам!». Но Гоголь был уже далеко. 6 июня 1836 года он вдруг, не известив никого, покинул Россию (Вяземский был свидетелем его отъезда — на одном с Гоголем пароходе уезжали в Германию Вера Федоровна и Павлуша). Гоголь был нравен, самолюбив, он видел, что пушкинский круг, относясь к нему очень тепло и приняв в нем участие, все же продолжает воспринимать его как «хохлика», «Androлька», сочинителя малороссийских повестей с галушками и варениками, сочинителя уморительно смешного «Носа» и забавной фарсы о ревизоре... Вряд ли он успел прочесть статью Вяземского о себе (второй номер «Современника» с этой статьей вышел через месяц после отъезда Гоголя). Он уезжал оскорбленный тем, что Пушкин его *не оценил...* Вяземский утешал его как мог. «Я помню так, как бы это было вчера, и буду помнить долго вашу доброту, ваш прощальный поцелуй, данный вами мне уже на пароходе...» — писал Гоголь князю уже из Рима.

С московскими журналистами Пушкин мог еще как-то поговорить и их успокоить, с петербургскими конкурентами было сложнее. Булгарин и Сенковский, прочитав статью Гоголя, окончательно убедились, что Пушкин им враг, на перемирие не пойдет, и «Современник» стал наследником «Литературной газеты», которую шесть лет назад погубили самонадеянность и желание не замараться... Ну что ж, оставалось только злорадно гадать: сколько протянет Пушкин с такими *элитными* сотрудниками и материалами? Спору нет, и Жуковский, и Вяземский, и Одоевский — это действительно элита, высший класс русской литературы, только много ли читателей у этого класса? Сенковский хорошо знал, что драмы Кукольника, стихи Бенедиктова и повести Барона Брамбеуса (псевдоним Сенковского) ценятся на рус-

ском литературном рынке намного дороже Пушкина. Тираж «Библиотеки для чтения» был устрашающе велик — пять тысяч экземпляров. Но Пушкин надеялся завоевать своего читателя — и первый том «Современника» был отпечатан тиражом в 2400 экземпляров...

«Надменности много, пристрастия еще более, а дела — весьма мало», — заключал Булгарин свой отзыв о первом томе «Современника».

Московский критик Белинский в журнале «Молва» самыми интересными в номере нашел произведения Гоголя, прочее (в том числе и стихи Пушкина) отметил мельком.

Но это было еще полбеды. Самым неприятным было то, что из отпечатанного тиража разошлась только *треть*, остальные книжки остались лежать на складе.

Это был сильный удар, который свидетельствовал о том, что «Современник» широкому читателю, увы, неинтересен.

Пушкину не удалось даже расплатиться с типографией. Чтобы получить деньги на следующие выпуски, он вынужден был сделать новые займы.

Он мечтал о том, что «Современник» освободит его, принеся 60 тысяч годового дохода — пока что «Современник» только разорял.

Тем не менее второй том опять был отпечатан тиражом в 2400 экземпляров.

Для второго тома Вяземский в конце марта закончил еще две критические работы — обе «наполеоновские»: «Наполеон и Юлий Цезарь», рецензию на изданные в Париже комментарии Наполеона к запискам Цезаря, и «Наполеон, новая поэма Э. Кине» — рецензию на поэму Эдгара Кине, присланную Тургеневым. «Начал я читать «Наполеона»... — писал другу Вяземский 7 марта. — Кажется, много вздора!.. Наполеона станет на Эдгара Кине, но Кине не стало на Наполеона». Похвалив Кине за жанровое разнообразие его поэмы (в ее рамках — и ода, и баллада, и элегия), Вяземский все же предъявляет немало претензий к французскому поэту — и заодно ко всей новейшей французской литературе. Он считает ее манерной, склонной к дешевым эффектам и сравнивает с дикаркой, которая ходит голой, но с серьгами в ноздрях. «Где искать любви после романов Кребильона-сына, Лакло, Луве и Жоржа Занда, женщины, которая пишет, как прежде мужчины не читали? — прорывается в авторе раздражение против современной прозы, но Вяземский тут же берет себя в руки и примирительно заключает: — Всему есть время, и

возраст на возраст не приходится»... Кстати, недовольство Вяземского вовсе не распространялось на Альфреда де Мюссе, которого он считал достойным наследником Констана, и на Бальзака, которого он читал с удовольствием.

11 июня князь получил неожиданный подарок из Баварии: сотрудник русской миссии в Мюнхене князь Иван Гагарин, двоюродный племянник Веры Федоровны, привез ему большую подборку стихотворений Федора Тютчева. Тютчев рассчитывал опубликовать их в «Современнике»... Через несколько дней Гагарин зашел к Вяземскому домой около полуночи и долго не мог прийти в себя от изумления и радости: у Вяземского сидел Жуковский, и оба они, перебивая друг друга, вслух читали тютчевские стихи. Попутно делали замечания, и Гагарин с радостью видел, что поэты смогли понять и оценить собрата... Тут же они решили отобрать пять-шесть стихотворений для второго тома журнала. Пушкин увеличил эту цифру до двадцати пяти и «носился», по воспоминаниям Юрия Самарина, с тютчевскими стихами целую неделю.

6 июля вышел второй «Современник». Вяземского в нем было как никогда много — целых три статьи: «Ревизор», «Наполеон и Юлий Цезарь» и рецензия на поэму Кине, кроме того, заметка от редакции. Две статьи без подписи принадлежали самому Пушкину, одна — Владимиру Одоевскому, были стихи Кольцова, записки «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой; открывала номер великолепная тютчевская подборка. Но очередную книжку и читатели, и критика приняли в штыки. Белинский в «Молве» вылил на журнал целый ушат грязи: второй том не дал читателю «ровнехонько ничего», «в «Современнике» участия Пушкина нет решительно никакого», и вообще журнал этот «не будет иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха» — для такого вывода достаточно было того, что его издателем является Пушкин!.. Такой наглости себе не позволял ни один русский критик, даже самый разнузданный, — ни Полевой, ни Булгарин, ни Сенковский... Да, Пушкин был для них конкурентом, они могли его не любить, колоть всякими частностями, но *не уважать* Пушкина, не признавать его главой русской литературы они не могли. Для Белинского же, похоже, никаких авторитетов не существовало. Еще в 1834 году он писал: «Мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет... Тридцатым годом кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период *Пушкинский*, так как кончился и сам Пушкин». Два года спустя,

в марте 1836-го, рецензируя IV том «Стихотворений Александра Пушкина», Белинский был по-прежнему резок: «Вообще очень мало утешительного можно сказать об этой «четвертой» части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта...». Впрочем, развенчивал Белинский не только Пушкина. «Слабые искорки» он видел, например, в чудесной поэзии Баратынского. А Бенедиктова, которым восторгались и столицы и провинция, и вовсе ославил пошлым эпигоном, предсказав скорый его закат...

Итак, пренебрежительно отмахнувшись от издателя, Белинский опять принимается за «Современник»: он, оказывается, «есть журнал “светский”... это петербургский “Наблюдатель”». Кое-какой похвалы ретивого критика удостоились только записки Дуровой да «Урожай» Кольцова, «местами блещущий искорками поэзии». Что касается статей Вяземского, то, по мнению Белинского, «разборы “Ревизора” г. Гоголя и “Наполеона”, поэмы Эдгара Кине, подписанные литерою В., должны совершенно уронить “Современника”».

Достаточно ознакомиться со статьями о «Ревизоре», опубликованными в русской печати в 1836 году, чтобы убедиться: статья Вяземского была *лучшей*. Это непреложный факт. Так считал в числе других и сам Гоголь. Но Белинский был задет обширным пассажем Вяземского о «порядочных лакеях» и «порядочных людях», о большом свете и провинциалах, которым никогда не увидеть света... Это было о нем, о сыне выслужившего в 1830 году дворянство флотского лекаря Белынского, внуке священника. Но Белинский чувствовал: будущее именно за такими людьми. И, чувствуя свою силу и одновременно оскорбляясь своим ничтожеством, он в ответ всласть поиздевался над «светскостью» Вяземского, считающего, что главное в жизни — умение ловко садиться в кресла и держаться в обществе просто и естественно... Так впервые показала Вяземскому свои зубы грядущая *демократическая* эпоха русской литературы и русской жизни — ее Реальный век, как назвал его сам князь.

Впрочем, к беспардонной ругани разночинных борзописцев ему было не привыкать. Он достаточно пообщался с Полевым, знавал Булгарина... Белинским больше, Белинским меньше — какая разница?.. Вывести Вяземского из себя нападками в печати было мудрено.

Но дело было даже не в этом. Своим нигилизмом, своим отрицанием Пушкина Белинский вольно или невольно рыл ему могилу. Публика, читая рецензии критика, верила, что «Современник» скучен и сух, что это «светский» журнал для узкого круга — и не покупала его, *убивая Пушкина*. Вто-

рой том был снова распродан в количестве 700 экземпляров. «Библиотеку для чтения» читало всемеро больше людей...

Конечно, 700 читателей «Современника» — это элита, сливки русского интеллектуального общества, и любители пикантных повестей Барона Брамбеуса, отставные штабс-ротмистры и провинциальные коллежские асессоры, им не чета. Но коль скоро Пушкин ввязался в серьезную журнальную конкуренцию, он должен был играть по правилам рынка или не играть вовсе. Арифметика элементарная: 700 читателей приносили всемеро меньше денег, чем 5 тысяч.

Сжав зубы от отвращения, Пушкин впервые в жизни занимался серьезным *бизнесом*. И ради успеха «Современника» хотел привлечь в свой журнал даже... Белинского. Весной 1836 года, во время визита Пушкина в Москву, они так и не познакомились, Пушкин лишь передал Белинскому через Нащокина первый том «Современника» (на который Белинский отреагировал снисходительным отзывом...). Но, оставив без внимания тон этой рецензии и даже разгромный отклик на второй том, осенью Пушкин (снова через Нащокина) пригласил Белинского сотрудничать в своем журнале. Тот отвечал согласием. Вяземскому об этих планах Пушкина не было известно — только в 1873 году до него дошли туманные слухи о готовившемся участии Белинского в «Современнике»...

Пушкин отзывался о Белинском так: «Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного». Это было напечатано в третьем томе «Современника», уже после того, как Пушкину были известны все уничижительные отзывы Белинского о журнале. И публикация этой мягкой заметки говорила об одном: с Белинским Пушкин ссориться не хотел, Белинский был ему нужен. С помощью его задиристых критик Пушкин рассчитывал поднять интерес читателя к «Современнику».

Вяземскому такой шаг был абсолютно непонятен. В журналистских делах он не был сторонником компромиссов.

В 1828 году он без малейших раздумий оставил свой «Московский телеграф» в первую очередь потому, что Полевой начал делать то, с чем Вяземский принципиально не мог согласиться. Журнал приносил доход, но князь отказался от него — ради убеждений.

Пушкин же вел себя странно — приглашал к себе своего врага, мягко пожурив его за несдержанность и словно не замечая оскорблений...

Все было просто: ему нужны были деньги. И не так, как Вяземскому в 1828-м, а *очень* нужны. Никто из русских писателей не оказывался в таком стесненном положении, как Пушкин. И «Современник» был его единственным шансом. Чтобы поддержать журнал на плаву, повысить на него спрос, он готов был не замечать нападок Белинского, надеясь со временем приструнить его, образовать его вкус и сделать ведущим критиком своего журнала.

Это означало только одно — Вяземский в качестве ведущего критика его не устраивал. И после второго номера князь уже ни разу не появился в «Современнике» как критик...

«Вижу, что непременно нужно иметь мне 80,000 доходу. И буду их иметь, — пишет Пушкин жене, и в этих строках сквозит упрямство обреченного. — Не даром пустился я в журнальную спекуляцию — а ведь это все равно что золотарство... защищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди что... Черт их побери! У меня кровь в желчь превращается».

Тираж третьего тома он снизил до 1200 экземпляров. Вяземский дал в журнал стихотворение «Kennst du das Land?*», посвященное Ораниенбауму и великой княгине Елене Павловне, шуточные «Подражания испанским сегидильям» и «Ответ».

...Семейство Вяземских состояло теперь из Петра Андреевича, Веры Федоровны, 16-летнего сына Павлуши и дочерей — 23-летней Маши и 14-летней Наденьки. В отличие от родителей, которые в молодости своей блистали на московских вечерах, Вяземские-дети не могли похвастать особыми успехами в свете. Правда, Павлуша рос дельным и умным юношей, пользовался заметным авторитетом среди сверстников, хорошо учился, много читал, с ним с удовольствием беседовал Пушкин. А вот княжны Вяземские не блистали красотой — обе пошли в мать, но прелесть Веры Федоровны в Маше и Наде как-то отяжелела, обе девушки были круглолицы и выглядели на фоне ослепительных сверстниц чересчур просто. Вяземский с тревогой замечал, что французский у дочерей оставляет желать лучшего, а без безупречного французского в свете делать нечего. К тому же Вяземские не могли позволить себе дорогих нарядов, которыми щеголяли «новые аристократы», обладатели сотен тысяч душ

* «Ты знаешь край?» (*нем.*).

и миллионных состояний... В общем, поклонников у девиц Вяземских было намного меньше, чем у их сверстниц.

Поэтому большой радостью для Вяземских было сначала известие о том, что Маша стала фрейлиной (5 декабря 1835 года), а там и о ее замужестве. Избранником «невесты Жуковского», как в шутку звали Машу в семье, стал один из самых заметных светских львов Петербурга — камер-юнкер Петр Александрович Валуев, которого Николай I называл jeune homme modèle*. Валуев был на два года моложе Маши, служил во Втором отделении собственной Е. И. В. канцелярии под начальством Сперанского. Род Валуевых был древним и заслуженным: дед жениха, Петр Степанович, был сенатором и начальствовал в Москве комиссией Кремлевского строения (о нем у Дмитриева была строка «У нас есть вал Тверской, у нас есть и Валуев», он упомянут в «Войне и мире»); отец, Александр Петрович, служил в московском отделении Сената; с дядей, кавалергардом Петром Петровичем, Вяземский виделся во время Бородинского сражения... Одним словом, новый член семьи был крепко связан корнями со старой московской жизнью, и Вяземские приняли его радушно. Своей молодостью, прямодушием, честностью Валуев нравился и Пушкину, который, по легенде, отчасти с него списал главного героя «Капитанской дочки» Петрушу Гринева...

Деньги в приданое невесте дал сам император. Свадьбу сыграли 22 мая. Маша была счастлива. Медовый месяц Валуевы решили провести в Остафьеве. Вера Федоровна, у которой в последнее время побаливали ноги, и Павлуша в июне отправились на воды в Бад-Эмс, а князь взял 4 августа отпуск на четыре недели и 8-го приехал в Остафьево к старшей дочери и зятю. Вместе с Валуевыми он съездил навестить тещу в калужское имение и 19-го снова вернулся в родное гнездо... Остафьевские август — сентябрь 1836 года — одни из самых мирных и спокойных месяцев его жизни. В родном доме, как всегда, помогали даже стены. «Я все-таки именинник в одном Остафьеве, — написал он. — В другом месте, где бы то ни было, я — просто безыменный».

Сидя в кабинете на втором этаже, он думал о невеселой судьбе «Современника». Пушкин бьется изо всех сил, чтобы сделать журнал интересным, но, видит Бог, плохой из него журналист. Журналист — поставщик и слуга публики. А Пушкин не может быть ничьим слугою. Он не чувствует, чего хочет публика, а без этого чутья журналистикой лучше не

* Образцовый юноша (*фр.*).

заниматься. Он хочет остаться чистым, не замараться публикацией повестей и модных картинок — а на модах и повестях только и выезжают русские журналы... Эти мысли так Вяземского раззадорили, что он всерьез начал подумывать о возрождении, ну, скажем, «Северных цветов» в каком-то новом обличье... Потеребить Одоевского, Жуковского... Опубликовать наконец несчастного «Фон-Визина». Даже известие о том, что Николай I запретил Одоевскому и Краевскому издавать «Русский сборник», произнеся легендарную фразу «И без того много», не изменило планы князя — осенью 1836 года он активно собирал материалы для своего альманаха, который со временем все больше приобретал исторический уклон. Перебирал собственный архив, просил поделиться материалами друзей... Потом понял, что нужно делать два альманаха — отдельно «Северные цветы» и отдельно исторический. Решил назвать его просто «Старина». Но Пушкин сказал, что такое замшелое название отпугнет публику и посоветовал вариант «Старина и новина».

— Новина? — переспросил Иван Иванович Дмитриев, когда Вяземский, навестив его в Москве, поделился замыслом. — Вы уж простите мне, Пушкина я люблю, но тут он, кажется, предлагает не то... Новиной, помнится, волжские крестьянки зовут свежетканые холстины... Почему не «новизна»?.. Старина и новизна... Тем более что, кажется, у Василия Рубана лет шестьдесят назад была книга под таким названием...

На том и порешили — «Старина и новизна».

В четвертом томе «Современника» появилась заметка: «От редакции. Спешим уведомить публику, что в начале будущего 1837 года выйдет в свет: Старина и новизна, исторический и литературный сборник, изданный кн. Вяземским». Вяземский предполагал напечатать в альманахе несколько глав «Фон-Визина», отрывки из записок Ростопчина и Дмитриева, письма царевича Алексея, Екатерины II, Павла I, Карамзина, воспоминания о Каподистрии и стихи — свои собственные, Пушкина, Языкова, Дмитриева, Нелединского-Мелецкого... Компаньоном же по «Северным цветам» стал Владимир Одоевский, и 17 ноября 1836 года он сообщал Шевыреву о том, что, «кажется, будет недурная книжка».

Как отреагировал бы Пушкин, если бы прочел откровенное письмо Вяземского к Тургеневу: «Полно за чужих работать. Хочу на потовые и трудовые денежки съездить в Мариенбад»?.. Вполне возможно, что он *понял бы* Вяземского. «Давно, усталый раб, замыслил я побег...» Ну, пусть не в обитель дальнюю, так в Мариенбад...

Настала осень. Вернулась с маневров гвардия, съезжались в столицы из имений счастливые обладатели этих имений. Пустели дачи на Елагином и Каменном островах. 12 сентября Пушкины переехали в новую квартиру на набережной Мойки. 21 сентября вернулся из Москвы Вяземский. Его семья тоже сняла новую квартиру — на Моховой, в доме вице-адмиральши Быченской. В квартире напротив поселились молодожены Валуевы.

Вяземские всегда были гостеприимны. Осенью 1836-го у них чаще всего бывали Пушкин с женой и свояченицами, многочисленные Карамзины (сестра князя и его племянники и племянницы), Валуевы и их молодые светские друзья, Виельгорский, Жуковский. 18 октября торжественно праздновали серебряную свадьбу Вяземских; 1 ноября Пушкин читал у них только что законченную «Капитанскую дочку»; 27-го ужином отметили приезд из Москвы Александра Тургенева, а вечером отправились на премьеру оперы Глинки «Жизнь за царя»... Вяземскому опера не понравилась, но вслух он этого не сказал и даже принял участие в чествовании композитора — вместе с Пушкиным, Жуковским и Одоевским сочинил шуточные стихи, которые Виельгорский положил на музыку...

Вроде бы обычная осенняя светская суета. Но вот наблюдательный Тургенев заносит в дневник: «Пушкин озабочен семейными делами»... Вяземский и сам замечал, что Пушкины в его доме почти всегда сталкивались с красивым молодым французом, кавалергардским поручиком бароном Жоржем Дантесом. Он был приемным сыном голландского посланника барона фон Геккерна, и поговаривали, что настоящий отец юноши — наследный принц Нидерландов (и муж сестры Николая I) Виллем. Дантес был всеобщим любимцем, весело и хлестко шутил, его обожала военная молодежь, многие светские девицы мечтали добиться его благосклонности. Петр Валуев и Павел Вяземский не скрывали, что Дантес им симпатичен. Князь Петр Андреевич, когда сын спрашивал у него, что он думает о французе, пожимал плечами:

— Ничего особенного. Человек практический, дюжинный... Добрый малый, балагур, приехал в Россию делать карьеру...

Словом, сначала Дантес мало занимал Вяземского, разве что смешила манера поручика носить с черным фраком серые кавалерийские рейтузы с красной выпушкой.

А Дантес между тем пользовался любой возможностью, чтобы лишний раз взглянуть на жену Пушкина, Наталью Николаевну. Умело и красноречиво разыгрывал страстно влюбленного: заметно бледнел при виде Пушкиной, разговаривая с нею, старался быть загадочным, приглашал ее на танец, наконец, просто смотрел на нее в упор — одновременно страстно и холодно. На это никто не обращал внимания — таких воздыхателей у первой красавицы Петербурга были десятки. Наталье Николаевне, конечно, льстило внимание красавца-француза, но поощрять его увлечение она вовсе не собиралась. Пушкин изредка взглядывал на Дантеса с неудовольствием, но до поры сдерживал себя.

Так продолжалось до августа 1836 года. Тогда в петербургском обществе прошелестели первые слухи о страстной и безнадежной любви Дантеса к замужней даме. Потом сплетники начали утверждать, что любовь вовсе не такая уж безнадежная, а напротив, счастливая и разделенная. Те, кто наблюдал за танцующими Дантесом и Натальей Николаевной, были уверены, что они безумно влюблены друг в друга...

Начались разговоры об этом и у Вяземских. Князь Петр Андреевич и Вера Федоровна, посоветовавшись, решили, что поведение Дантеса выходит за рамки светских приличий и стали принимать его очень холодно. Вера Федоровна даже предупредила барона, чтобы тот прекратил компрометировать жену Пушкина. Но Дантес продолжал вести себя так же двусмысленно, как и прежде. С Натальей Николаевной (и Вяземскими) он виделся почти ежедневно в салоне Карамзиных.

Павел Вяземский как-то рассказал родителям:

— Сегодня мы гуляли по Невскому с Натальей Николаевной, сестрой ее и Дантесом. В эту самую минуту мимо нас вихрем промчался Пушкин и исчез в толпе. У него было страшное лицо...

2 ноября Пушкину обманом завлекли на свидание с Дантесом, который вынул пистолет и грозил пустить себе пулю в лоб, если Наталья Николаевна немедленно не докажет, что любит его. Пушкина в слезах бросилась к Вере Федоровне Вяземской, которая попыталась ее успокоить и дала слово обо всем молчать. Отказ Натальи Николаевны, ее поведение вызвали такой всплеск эмоций у Дантеса и его отчима, что они решили скомпрометировать Пушкину в глазах ее мужа, а самого Пушкина — в глазах столичного света... 4 ноября семь завсегдатаев салона Карамзиных — Пушкин, Вяземские, Соллогуб, Елизавета Хитрово, Виельгорский, сами Ка-

рамзины и братья Россеты — получили по городской почте анонимные пасквили, оскорбительные для чести Пушкина и его жены.

Позднее в письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский писал, что «первым его движением» было бросить пасквиль в огонь, так что экземпляр, посланный Вяземским, не сохранился. Зато сохранился пасквиль, направленный графу Михаилу Виельгорскому (подлинник по-французски):

«Кавалеры первой степени, Командоры и Кавалеры Светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в великом Капитуле под председательством достопочтенного Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого Магистра Ордена Рогоносцев и Историографом Ордена. Непременный секретарь граф И. Борх».

Пушкин, как он писал Бенкендорфу, «в ту же минуту» после получения пасквиля разгадал его слабо завуалированный смысл, заключавшийся в упоминании фамилии Нарышкина. Дмитрий Львович Нарышкин, которому стукнуло уже восемьдесят три, являлся супругом Марии Антоновны, фаворитки Александра I, и шутовское избрание Пушкина коадъютором (заместителем) его могло означать намек на увлечение Николая I Натальей Николаевной. На это указывало и имя «непременного секретаря» графа Борха, чья жена пользовалась благосклонностью императора.

Это был ужасный удар, поскольку Пушкин представал перед всеми в унизительном виде. Намекая на то, что Николай I не скрывает удовольствия от общения с женой Пушкина, автор (или авторы) подметного письма стремились настроить Пушкина так, чтобы он счел для себя невозможным пользоваться покровительством императора...

Очень возможно, что «шутники» рикошетом метили и в Вяземских — Мария Антоновна Нарышкина, урожденная Святополк-Четвертинская, доводилась родной сестрой свояку князя, Борису Антоновичу Святополк-Четвертинскому. Понятна поэтому реакция Вяземского, в гневе швырнувшего оскорбительное письмо в камин. Он и Вера Федоровна дали друг другу слово хранить все в тайне. Так что Пушкин и Вяземский даже не обсуждали историю с пасквилем.

Вечером того же дня Пушкин отправил Жоржу Дантесу-Геккерну вызов на дуэль, который получил его отчим, — Дантес в тот день дежурил по полку. 5-го же ноября на Мойке, 12, где жил Пушкин, появился Геккерн-старший и буквально со слезами на глазах уговорил Пушкина отсрочить дуэль на сутки (затем — на две недели).

Подобная уступка Пушкина вызвала среди его друзей удивление. Но Пушкин к тому времени уже понял, что Дантес, в сущности, всего лишь пешка в завязавшейся страшной игре, что за ней стоит петербургский свет и главные враги Пушкина — графиня М. Д. Нессельроде и Уваров. Он был готов к смертельному бою и в преддверии этого боя пошел на отчаянный шаг — написал министру финансов письмо с требованием аннулировать свои долги в счет 220 душ болдинских крестьян. Он не хотел оставаться должником императора. Канкрин отвечал Пушкину отказом...

...Почти во всех исследованиях о дуэльной истории Пушкина роль Вяземского расценивается почему-то как одна из главных. Между тем достаточно беглого взгляда на преддуэльные события, чтобы понять: главным действующим лицом в ней был Василий Андреевич Жуковский, который не мог допустить даже мысли о каком-либо поединке, кроме словесного. Именно к Жуковскому бросился шурин Пушкина Иван Николаевич Гончаров, умоляя его предотвратить дуэль. Именно Жуковский сделался посредником между Пушкиным и Дантесом и сердито отказался от этого посредничества, когда увидел, что Пушкину вовсе не нужно примирение, что он, напротив, всеми силами рвется к барьеру... 13 ноября Пушкин, не выдержав, рассказал о своем вызове Карамзиным; вероятно, тогда же о нем узнали и ничего не подозревавшие Вяземские. И уж совершенно точно Вяземские знали о вызове 14 ноября, потому что в этот день состоялись переговоры Геккерна-старшего с Пушкиным. Голландский посланник заявил, что Дантес намерен жениться на сестре Натальи Николаевны Екатерине. Пушкин сдержанно сказал, что в этих обстоятельствах берет свой вызов назад...

Но буквально через несколько часов он примчался на Моховую и выплеснул всю ярость в разговоре с Верой Федоровной. Вяземская с испугом смотрела на Пушкина, который безостановочно кружил по комнате, как тигр в клетке, и громко говорил:

— Я знаю автора анонимных писем. Через неделю, княгиня, вы услышите, как все заговорят о мести, единственной в своем роде... Это будет совершенная, полная месть... Она бросит этого подлеца в грязь... Громкие подвиги Раевского — ничто по сравнению с тем, что я задумал!

«Громкие подвиги» А. Н. Раевский совершил в 1828 году, когда граф М. С. Воронцов выслал его из Одессы. Перед отъездом Раевский устроил на улице публичный скандал супруге Воронцова, скомпрометировав ее в глазах всего города. Так что задумал Пушкин публичное разоблачение свое-

го противника, которое опозорило бы его в петербургском свете. Объявление о сватовстве Дантеса связывало ему руки. Но, отказавшись под нажимом обстоятельств от поединка, он никому ничего не простил и продолжал думать о мести...

Вяземский здесь, в отличие от Жуковского и даже от Веры Федоровны, которой Пушкин доверял, — просто сторонний наблюдатель. Правда, по отношению к Геккерну-старшему и Дантесу он по-прежнему занимал непримиримую позицию и, когда Геккерн попытался прямо на улице пожаловаться ему на жизнь, просто не стал его слушать. Но когда путем долгих переговоров вызов Пушкина все же остался без последствий, а Дантес стал появляться в обществе своей неожиданно объявившейся невесты Екатерины, князь Петр Андреевич проявил чудовищную, прямо-таки непонятную и непростительную для его ума душевную близорукость, вообразив, что дело прекращено окончательно, а мир и согласие между Пушкиными и Геккернами восстановлены. Именно к этому времени относится запись в дневнике Александра Тургенева: «Вранье Вяз. — досадно» (вранье, то есть болтовня, сплетни). Именно в это время Софья Карамзина приводит в своем письме шутку Петра Андреевича: якобы Пушкин обижался на Дантеса за то, что тот больше не ухаживает за Натальей Николаевной... Конечно, в большой степени оправдывает Вяземского незнание им всех сторон ситуации — он, разумеется, не был посвящен во все семейные тайны Пушкиных, не знал о том, что Пушкин продолжает думать о мести, но вполне мог знать, что Пушкин говорил 17 ноября своим секундантам: «Я признал и готов признать, что Дантес действовал как честный человек». Такая развязка наверняка подействовала на Вяземского расслабляюще — оттого и начинаются шутки по поводу Пушкина и Дантеса... Кроме того, Вяземский вообще вряд ли интересовался семейными обстоятельствами Пушкина так пристально, как это может сейчас показаться. В конце концов, чужая семейная жизнь его не касалась, а с формальной стороны обстановка более-менее разрядилась — Дантес жених, Пушкин взял вызов обратно... Вяземский и Пушкин часто виделись в это время (например, в декабре 1836 года они встречались и общались 15 раз, примерно через день), но разговаривали исключительно на литературные и светские темы, и невозможно представить, чтобы Пушкин советовался с Вяземским о том, как именно ему поступить и как вести себя с Дантесом... Вяземский же, наблюдая за ситуацией со стороны, видел в ней нечто странное до забавности, часто шутил на эту тему (наверняка без задней мысли — такие бездумные

шутки ради красного словца характерны для его писем) и... занимался своими делами: готовил к печати «Старину и новизну», перечитывал «Философическое письмо» Чаадаева, обдумывал и писал возражение на книгу Н. Г. Устрялова «О системе прагматической Русской Истории», которое Пушкин планировал поместить в четвертом томе «Современника»... У него хватало забот. Декабрь 1836 года получился вполне плодотворным.

Кстати, сам Пушкин придавал творчеству Вяземского в это время большое значение. Рецензия на устряловскую книгу должна была стать «бомбой» четвертого тома. В ней Вяземский должен был разгромить Устрялова, вздумавшего опровергать карамзинскую историческую концепцию. Отозвавшись об устряловской книге как об «отвратительном crescendo* наглости и нелепости», Вяземский не преминул пнуть мимоходом и Полевого — назвал его «Историю русского народа» «хаотическим недоноском». Пушкин не только был с ним согласен, но оставил на тексте свою пометку: «О Полевом не худо было напомнить и пространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и без всякой совести».

Впрочем, на этом сходство их позиций заканчивалось. Для Пушкина Уваров был смертельным врагом. Для Вяземского он по-прежнему был арзамасцем Старушкой, приятелем молодости, пусть грешным, порочным, безвольным, но в основе своей все-таки неплохим. Обращаясь к Уварову, Вяземский целиком и полностью подписывался под его знаменитым лозунгом «Православие, Самодержавие, Народность» и, отвергая Устрялова, предлагал в основу русского просвещения положить «Историю государства Российского». Восхваляя эту «книгу истинно государственную, народную и монархическую», князь в качестве противников Карамзина упоминал декабристов и Чаадаева. С этим Пушкин никак не мог согласиться — напротив соответствующих мест в тексте написал: «Не лишнее ли?»

Письмо Вяземского к Уварову так и не появилось в «Современнике». Пушкин отказался его печатать под предлогом того, что его не пропустит цензура, и это звучало вполне убедительно. Но подоплека пушкинского отказа была иной — он не собирался, в отличие от Вяземского, объединяться с Уваровым, пусть даже ради имени Карамзина.

---

* Крещендо (*ит.*).

...31 декабря 1836 года на Моховую к Вяземским съехались друзья и знакомые. Гремела музыка. С двенадцатым ударом часов все зазвенели бокалами, раздались поздравления с Новым годом... Были Пушкины, был и Дантес с невестой. Очень бледный, похудевший после болезни, барон продолжал пристально смотреть на Наталью Николаевну, не смущаясь присутствием своей невесты и Пушкина... Графиня Строганова сказала Вере Федоровне на ухо:

— У Пушкина такой страшный вид... Если бы я была его женой, то не решилась бы вернуться с ним домой сегодня.

Об этом дневниковая запись Тургенева 2 января 1837-го: «О новостях у Вяз. Поэт — сумасшедший»...

10 января Дантес женился на Екатерине Гончаровой. Молодожены часто наносили в эти дни визиты, а Геккерн-старший всячески пытался наладить отношения с Пушкиным на «родственной» основе. Но Пушкин резко дал понять, что никаких отношений между Пушкиными и Дантесами быть не может. Друзья недоуменно переглядывались: к чему было демонстрировать нетерпимость, когда Дантес не только помирился с Пушкиным, но и породнился с ним?.. Разве не разумнее сделать шаг навстречу?.. Вяземские считали поведение Пушкина странным и неприличным и всячески пытались помирить его с Дантесом. С этой целью они пригласили обе семьи на большой детский бал 15 января (праздновался день рождения Наденьки Вяземской). Но ничего хорошего из этого не получилось — Пушкин на этом балу был так резок с женой, что Петр Валуев даже спросил у нее сочувственно, почему она позволяет так с собой обращаться. Дантес же язвительно заметил: «Пушкин совершенно добился того, что его стали бояться все дамы».

Было очевидно, что обстановка накалилась до предела. 19 января Тургенев и Вяземские весь вечер проговорили «о Пушкиных, Гончаровой, Дантесе-Геккерне». Конечно, говорили о том, что поведение Дантеса по-прежнему неприлично, что он продолжает в открытую компрометировать Наталью Николаевну, даже в присутствии собственной жены. Но наверняка говорили и о странности поведения Пушкина. «Поэт — сумасшедший»... И Тургенев уже не пишет о «вранье Вяземского». Недоумение по поводу того, как ведет себя в свете Пушкин, стало всеобщим.

23 января состоялся бал у графа Воронцова-Дашкова. Вяземские там не присутствовали, но наверняка узнали о пошлом каламбуре, который отпустил Дантес при Наталье Николаевне. На другой день, вечером 24 января, был раут у князей Мещерских — гостей принимала дочь Карамзина, Екатерина

Николаевна Мещерская. Были Вяземские, Пушкин, Россеты, Валуевы, Виельгорский, Тургенев, Дантес. Были и три сестры — жена Пушкина Наталья, жена Дантеса Екатерина и незамужняя Александра. Этот раут известен в описании Софьи Карамзиной: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое выражение тигра. Натали опускает глаза и краснеет под долгим и страстным взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем, все это очень странно, и дядя Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».

Еще Анна Ахматова указала на следы «чужой речи» в этом страшном письме. А С. Л. Абрамович справедливо заметила, что письмо Карамзиной до странности напоминает по своему стилю письма Вяземского — полные иронических характеристик, острот (зачастую ради красного словца), холодного отстранения рассказчика от происходящего. Ссылка Софьи Карамзиной на «дядю» подтверждает то, что ее письмо передает и мнение Вяземского, видевшего в трагедии Пушкина «сентиментальную комедию к удовольствию общества». В то время как Пушкин, стиснув зубы, готовился к смертельному бою, князь холодно острил на его счет и с любопытством ждал дальнейших событий. Прозрение придет к нему слишком поздно.

У Воронцовых-Дашковых и Мещерских ужасное состояние Пушкина заметили все. Вечером 25 января Вяземские давали раут, на котором были Пушкин и Дантес с женами. Об этом вечере вспоминал 16-летний в ту пору Павлуша Вяземский.

Князя Петра Андреевича не было дома — он уехал на бал к Мятлевым. Гостей принимала Вера Федоровна. Дантес был в центре внимания — сидел рядом с Натальей Николаевной и беспрерывно острил. Пушкин, казалось, целиком сосредоточился на шахматной партии. Вера Федоровна подошла к нему.

— Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что ожидает его по возвращении домой. — Пушкин указал глазами на Дантеса и усмехнулся. — Впрочем, с молодым человеком мои счеты кончены.

— Что же именно ждет его? — спросила Вера Федоровна. — Вы ему написали?

Пушкин кивнул и коротко добавил:

— Его отцу.

— Как! Письмо уже послано? Сегодня?..

Пушкин опять кивнул и потер ладонью о ладонь, как всегда делал, когда был чем-либо доволен.

— Неужели вы все еще думаете об этом? — растерявшись, только и выговорила княгиня. — Мы надеялись, что все уже кончено...

Пушкин с усмешкой встал.

— Разве вы принимали меня за труса? Я вам уже говорил, что с молодым человеком мое дело окончено, с его отцом — дело другое. Я предупреждал вас, что мое мщение заставит заговорить свет...

Письмо Геккерну означало только одно: на этот раз дуэль неизбежна. После того как разошлись гости, Вера Федоровна рассказала о письме Пушкина графу Виельгорскому. Петр Андреевич вернулся от Мятлевых в два часа ночи. «Я ему тоже сказала, — пишет княгиня, — но что делать? Невозможно было действовать».

Вот это «невозможно было действовать» часто ставят Вяземским в вину. Дескать, если бы они не сидели сложа руки, а бросились бы спасать Пушкина, дуэль могла бы и не состояться... «Был самым близким другом поэта, а не сумел спасти, помочь, уберечь!» — эта фраза полнее всего выражает современное восприятие далеких событий.

Своего рода апофеозом такого подхода к делу стала опубликованная в 1999 году в газете «Версты» «сенсационная» статья Ю. Шнитникова «К барьеру, князь!». В ней Ю. Шнитников выдвинул версию о том, что Вяземские в своих поздних воспоминаниях намеренно исказили всю преддуэльную ситуацию, выставив себя в выгодном для них свете. Согласно этой версии, именно 25 января, на рауте у Вяземских, между Пушкиным и Дантесом возник какой-то конфликт, после которого Пушкин в ярости бросился домой и написал письмо Геккерну... А весь разговор, случившийся между княгиней и Пушкиным на этом рауте, попросту выдуман В. Ф. Вяземской. Якобы она берегла репутацию своего дома и не могла допустить, чтобы именно у Вяземских случился конфликт, который все-таки привел к поединку. Попутно и Вяземский обвиняется в подтасовке фактов — датой письма Геккерну он называет 25 января, в то время как оно было написано 26-го... Складывается впечатление, что Вяземский чем-то сильно досадил автору статьи. «Состоятельный и родовитый князь не отличался особой нравственностью поведения в обществе», — гневно сообщает

Ю. Шнитников, невольно вызывая в памяти заботу Булгарина об исправлении нравов прогнившей аристократии...

Убедительная аргументация в пользу того, что письмо Пушкина было написано именно 25, а не 26 января, приводится в книге С. Л. Абрамович «Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли)», и возвращаться к этой истории не было бы смысла, если бы не возникали время от времени «сенсации», подобные статье Ю. Шнитникова. (Впрочем, их появление, как это ни странно, закономерно. Пушкинская дуэль — одна из самых «живых» тем истории русской литературы, главный комплекс ее вины, и каждое поколение историков неизбежно будет рассматривать ее под своим углом зрения. Поэтому и каноническая картина преддуэльных дней никогда не будет создана. Ну а посмертную репутацию Вяземского нападки на него — что за дело автору до того, что князь не может возразить! — испортить, конечно же, не смогут.)

Эпизод с разговором на рауте не был придуман Верой Федоровной, чтобы оправдать собственное бездействие. Пушкин и сказал-то княгине о посланном письме лишь потому, что был абсолютно уверен — никаких шагов Вяземские не предпримут. А если и предпримут — все равно его уже никто не остановит...

Таким образом, днем 26 января Вяземские знали о том, что дуэль близка, что послано письмо-вызов Геккерну. Расчет Пушкина был верен — Вяземские не предприняли ничего... Они не вмешивались в *чужую частную жизнь.* Точно так же, как сам Пушкин не вмешивался в частную жизнь Вяземского в 1828 году, когда князь задыхался в кольце травли и как никогда нуждался в дружеской помощи.

Именно поэтому 26 января, потратив весь день на поиски секунданта и повидав Тургенева, Пушкин забежал к Вяземским и снова, уже почти беспечно сказал сидевшим в гостиной Вере Федоровне, М. Ю. Виельгорскому и В. А Перовскому о своем намерении драться с Геккерном на дуэли (Геккерн принял вызов, но вместо себя поставил под пулю Дантеса). Будь среди гостей Жуковский, Пушкин смолчал бы — из опасения, что добрейший Василий Андреевич снова всполошится и бросится его успокаивать и мирить с врагом, в которого так хотелось поскорее всадить пулю. А Виельгорский с Перовским хотя и были приятелями Пушкина, но все же не настолько близкими, чтобы вмешаться и предотвратить поединок, мотивы которого им были не вполне ясны. Вера же Федоровна явно растерялась и не знала, что предпринять. Возможно, она понадеялась на Жуковского, который чудесным образом вмешается и все уладит; или думала, что Пушкин остынет и передумает; или же она *поняла*

Пушкина, почувствовала женской интуицией, что не нужно мешать Пушкину отомстить давнему противнику и покончить с затянувшимся «худым миром»...

От Вяземских Пушкин поехал на бал к графине Разумовской. Там тоже искал себе секунданта. Увидев секунданта Дантеса, атташе французского посольства виконта д'Аршиака, завел с ним разговор об условиях дуэли. И тут из толпы неожиданно показался Вяземский, которого заинтересовала неожиданная беседа друга с дипломатом. Пушкин тут же переменил разговор, взял Вяземского под руку и по-русски попросил напомнить Козловскому о статье для «Современника»... Вяземский обещал.

Мы не знаем, сказала ли Вера Федоровна мужу, когда он вернулся домой, о решении Пушкина стреляться. Собственно, это и не имеет значения, потому что уже 26 января Вяземский знал о том, что Пушкин послал Геккерну оскорбительное письмо... Может быть, Вера Федоровна и не сказала о визите Пушкина и его твердом намерении драться — в марте, давая показания Военно-судной комиссии в качестве свидетеля, Вяземский под присягой поведал о том, что узнал о дуэли и тяжелом ранении Пушкина одновременно... Но если сказала — можно только догадываться, как Вяземские провели день 27 января.

Сейчас все кажется нам простым и ясным: Вяземскому нужно было кинуться к Пушкину и умолить его не драться, устроить какое-нибудь перемирие, затянуть время... Словом, нужно было *спасти Пушкина любой ценой*.

В современной обывательской трактовке это выглядит примерно так: «Вяземский, будучи несравненно ниже по таланту, держался с Пушкиным всегда на равных. Их отношения можно с прямым основанием сравнить с отношениями пушкинских Моцарта и Сальери... Во всяком случае бездействие иногда можно приравнять к злодейству. Накануне дуэли Пушкин пришел к жене Вяземского Вере Федоровне и рассказал ей о положении дел и предстоящей дуэли. Он не мог не сделать этого — внутри все клокотало. Князя не было дома, Вера Федоровна обещала прислать его на следующий день. Вяземский не пришел» (А. Варфоломеев. «Царскосельская газета»). Подразумевается, что уж автор-то статьи безусловно пришел бы — и спас...

На самом деле вряд ли это было возможно. Во-первых, друзья Пушкина знали о том, что он превосходный стрелок — и не сомневались, что в случае поединка падет Дантес. А во-вторых, свою честь Пушкин ценил гораздо выше и своей жизни, и своего дара...

Вяземский это прекрасно понимал. И действовал (не действовал), как любой дворянин на его месте. Наверняка Пушкин был ему только благодарен за это, потому что в январские дни любой, кто мешал ему выйти к барьеру, был для него личным врагом.

Не понимал этого Жуковский, для которого честь не представляла такого абсолюта, каким она являлась для Пушкина. Жуковский всеми силами пытался удержать Пушкина от дуэли, спасти его сразу и от пули Дантеса, и от возможного убийства Дантеса, и от наказания, которое непременно последовало бы за поединком. И современному человеку, человеку XXI столетия, лишенному понятия о сословной чести, действия Жуковского кажутся единственно правильными и разумными, а бездействие Вяземского — преступным.

Но если даже допустить невозможное и представить себе Вяземского и Жуковского на коленях умоляющими Пушкина не рисковать собой ради блага родных, друзей и страны — нет сомнений, что ответом Пушкина в лучшем случае была бы снисходительная улыбка.

Дуэль была в пятом часу вечера.

Князь сидел в своем кабинете на Моховой и собирался начать письмо в Москву графине Эмилии Мусиной-Пушкиной. Готов был наболтать на бумаге всяких пустяков и уже задумался над первыми словами, как распахнулась дверь и потрясенная Вера Федоровна крикнула с порога:

— Пушкин ранен на дуэли с Дантесом!..

Срывающимся голосом Вяземский приказал заложить сани. Вера Федоровна торопливо писала записку Жуковскому. Помчались на Мойку... В Петербурге сгущались ранние зимние сумерки... Одна была мысль: Пушкин прекрасный стрелок; верно уж Дантес убит... или ранен... Позже выяснилось: действительно ранен, Пушкин стрелял в него уже с пулей в животе, истекая кровью...

К дому на Мойке Вяземские подъехали одними из первых; там уже были Плетнев, князь Петр Иванович Мещерский, доктора Спасский и Арендт — все растерянные, бледные... Чуть погодя — кто откуда — примчались Петр Валуев, Жуковский, Тургенев, Виельгорский. Пушкина уже перенесли в кабинет, где он сам разделся и лег на диван. Наталья Николаевна лежала в глубоком обмороке. Один за другим подъезжали врачи — из кабинета слышался звон инструментов, шорох, негромкие стоны раненого...

— Каков он? — тихо спросил Жуковский у лейб-медика Арендта.

— Очень плох, он умрет непременно, — прямо отвечал тот...

Мужество Пушкина было удивительным. «Я бывал в тридцати сражениях, — говорил Арендт, — видел много умирающих, но мало видел подобного...». «До пяти часов он страдал, но сносно, — писал Жуковский. — Кровотечение было остановлено холодными примочками. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души; он начал стонать; послали опять за Арендтом. По приезде его сочли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания». На ночь Жуковский, Вяземский и Виельгорский остались в соседней комнате, с Пушкиным находился врач Владимир Даль. Днем 28 января раненому немного полегчало, он пожелал видеть друзей. Первым к нему вошел Жуковский, потом Вяземский. Пушкин лежал на диване, укрытый пледом. Сквозь застилавшие глаза слезы Вяземский видел, что его бледное лицо блестит от пота... Пушкин крепко сжал ладонь друга и произнес чуть слышно:

— Прости, будь счастлив.

Говорить князь был не в силах, он молча поцеловал горячую руку Пушкина и вышел из кабинета.

Вера Федоровна была тут же — она все время проводила с Натальей Николаевной. Под окнами пушкинской квартиры тем временем собралась огромная толпа — люди стояли молча, не расходились, терпеливо ждали бюллетеней о состоянии Пушкина, которые писал Жуковский... Вяземский смотрел на эту толпу из окна, и слезы текли, текли без конца, потому что в соседней комнате мучился Пушкин, *Пушкин*, и ничем уже нельзя было ему помочь... Иногда ему казалось, что он видит нелепый сон; иногда страстно хотелось вернуть время на неделю, на две, на год назад...

Николай I через Арендта передал Пушкину следующие слова: «Прими мое прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански». Как бы ни хотелось иным современным исследователям видеть в Николае только благодетеля Пушкина, из этой записки следует одно: Пушкину император *не доверял*, иначе не предполагал бы, что он может «кончить жизнь» без исповеди и причастия... Но Пушкин и без советов царя пожелал исповедаться и причаститься. 29-го ему сделалось хуже, он стал забываться, бредить. Друзья собрались вокруг него. Здесь были Жуковский, Тургенев, Виельгорский, князь Мещерский, доктора Спасский, Даль и Андреевский, секундант и лицейский товарищ Пушкина Данзас, Вера Федоровна Вяземская.

Многие авторы в числе видевших последний вздох Пушкина называют и Вяземского. На деле это не так: незадолго

до смерти Пушкина на Мойку прибыл курьер из Министерства финансов и срочно потребовал от Вяземского прибыть в департамент внешней торговли... Живым друга князь уже не застал. Печальное совпадение стало для него символическим — *служба* отрывала его от умирающего Пушкина. Вяземский не принадлежал ни себе, ни своему другу...

В 12 часов 45 минут 29 января Пушкин скончался.

Когда Вяземский вернулся на Мойку, двери кабинета были уже опечатаны. В прихожей негромко говорили о чем-то Жуковский и знаменитый скульптор Гальберг, приехавший снимать с покойного маску... Присев боком к столу и шумно сморкаясь, быстро записывал что-то в дневник Александр Тургенев... Вытирал слезы сразу утративший свою обычную щеголеватость Виельгорский. Тихо плакала Вера Федоровна... И во всем: в звуках, в присутствии посторонних, в пришибленном виде слуг, в занавешенных зеркалах и запахе ароматической соли, в свечах, с которых никто давно не снимал нагара, в людях, с обнаженными головами стоявших на морозе, — во всем была смерть... Вяземскому снова почудилось, что он видит страшный сон, который рано или поздно закончится. Он даже не мог заплакать... На него нашло странное отупение. Он вспомнил, что так уже было два года назад после смерти Полины.

Когда должны были одевать Пушкина для гроба, замешкались: взять камер-юнкерский мундир?.. Но Пушкин терпеть его не мог, звал полосатым кафтаном и наверняка не желал бы, чтобы его в нем хоронили... И тут Вяземский, словно очнувшись, решительно приказал: «Никаких мундиров!» Пушкин лег в гроб в старом своем темно-коричневом сюртуке...

29 января был день рождения Жуковского — пятьдесят четыре года. Пушкин должен был поздравлять его на дружеском обеде у Виельгорского. А теперь... Горе было чудовищным, невообразимым... Вяземский как-то держался на этом траурном обеде, где собрались Жуковский, Виельгорский, Тургенев, держался на панихиде и отпевании 1 февраля, что-то сломалось в нем лишь когда гроб на руках людей вырвался на паперть и под стройное пение двинулся в склеп при храме. На полдороге процессия замерла: поперек пути без сознания лежал князь Петр Андреевич... Жуковский, сам захлебываясь в слезах, поднял друга, долго не мог привести в чувство. С Вяземским сделался нервический припадок — 44-летний мужчина рыдал, бился в руках Жуковского. Вера Федоровна и Павлуша, смахивая слезы, торопливо, сбивчиво говорили на ухо что-то нелепое, утешительное... Мелькали лица Тургенева, Виельгорского, Карамзиных... Снег, несущийся с неба, заби-

вающий дыханье. И жандармы, жандармы... не меньше двадцати жандармских офицеров вокруг.

Напрасны были мысли о том, что смерть Пушкина будет воспринята правительством так же, как смерть Карамзина. Величайшему русскому поэту устроили унизительнейшие похороны. «Карамзин умер как святой, — обронил Николай I в беседе с Жуковским. — А Пушкина мы насилу довели до смерти христианской»... Опасаясь народных волнений, объявили, что отпевание будет в Исаакиевском соборе Адмиралтейства, а потом перенесли его в Конюшенную церковь (сама эта церковь, правда, была придворной). Нигде не упоминалось о том, что Пушкин погиб на дуэли, — сделали вид, что ничего не произошло. И, наконец, самое позорное — некрологи в прессе. Вяземский и Жуковский ждали чего угодно — тупых булгаринских панегириков, официальной розовой воды о том, что скончался дивный гений, всю жизнь положивший на алтарь etc., а прочитали крохотную заметочку в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Вчера, 29 января, в 3-ем часу пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина».

Это было напечатано лишь 31 января, мелким шрифтом, на второй странице — в официальной правительственной газете.

Только «Литературные прибавления к «“Русскому инвалиду”» отозвались некрологом, каждое слово которого резало по сердцу: «Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое Русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!»

Автором этой заметки был Владимир Одоевский*. И хотя она занимала в газете десять строчек петитом, издателю «Литературных прибавлений...» Краевскому такая смелость с рук не сошла: от имени Уварова председатель цензурного комитета князь Дондуков-Корсаков объявил ему строжайший выговор.

— «Пушкин скончался в средине своего великого попри-

* В. Г. Перельмутер обратил внимание на то, что некролог Одоевского, вольно или невольно, напоминает статью Вяземского «О Державине» (1816): «Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее светило ее! Державина нет! Смерть похитила... у Отечества — мужа знаменитого, прошедшего со славою и пользою поприще долгой жизни...»

ща»! — разгневанно говорил Дондуков-Корсаков Краевскому. — Какое это такое поприще?! Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергий Семенович, проходить великое поприще...

Увозили Пушкина 3 февраля. Тоже несмываемый позор — увозили *тайно*, поздно вечером, в сопровождении жандарма, как государственного преступника, как ссыльного увозят в ночи, в метель... Его должны были похоронить в псковских Святых Горах, рядом с матерью. Вяземский хотел сопровождать гроб, но Николай I распорядился отправить с гробом Тургенева как единственного из друзей Пушкина, кто *ничем не занят* (то есть не служит). Тургенев, когда узнал об этом, пришел в совершенное бешенство и даже, кажется, не очень задумывался о том, какая ему честь, пусть и печальная, выпадает — проводить Пушкина в последний путь... Александр Иванович ходил надутый, обиженный, а когда Софья Карамзина спросила у него, почему бы ему не взять с собой Вяземского, резко ответил:

— Разве Вяземский умер? Меня же только к мертвым и подряжают.

Впрочем, обида быстро уступила место знаменитой тургеневской хлопотливости. Как-никак, Александр Иванович не хотел ссориться с царем и потому стал суетиться. Карамзина и Вяземский находили это забавным. Но сегодня поведение Тургенева иначе как странным назвать нельзя...

Жуковский и Вяземский в последний раз попрощались с другом. В гроб Вяземский положил лайковую перчатку, парную к которой оставил себе. Потом в этом усматривали и масонский символ, и знак принадлежности к тайному заговору, и Бог весть что еще. А был это залог будущей встречи — за гробом... Свершилась последняя панихида. Было десять часов вечера. Мела метель. Ящик с гробом поставили на сани; при свете луны Жуковский и Вяземский некоторое время следовали за ними; скоро они повернули за угол дома, и все, что было земным Пушкиным, навсегда пропало из их глаз...

На рассвете 6 февраля в Святых Горах гроб опустили в могилу, вырытую в мерзлой земле. На похоронах были жандармский капитан Ракеев, местные крестьяне... Тургенев, кряхтя, наклонился, бросил на гроб Пушкина горсть застывших земляных комьев, вспомнил неожиданно брата Сергея — как умирал он в Париже десять лет назад... утер слезы и тяжело пошел прочь...

Свершилась последняя панихида по их молодости. Они отпели главу Золотого века и самих себя.

Глава VIII
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

Он горюет и сравнивает себя с деревом порою осени, когда листы один за другим с него облетают.

Плетнев о Вяземском, 1843

Могу ошибаться в своих мнениях, но никогда не могу стыдиться и краснеть за них, потому что всегда мои побуждения чисты и чистосердечны. Что нет уже во мне зеленого пыла, это правда; что смотрю на многое глазами опытности, что во многом и во многих я разуверился — и это правда.

Вяземский, 1843

Страшная зима 1837-го... «Князь Петр... все эти дни был болен — физически и нравственно, как это с ним обычно бывает, но на этот раз тяжелее, чем всегда, так как дух его жестоко угнетен гибелью нашего несравненного Пушкина», — писала Екатерина Андреевна Карамзина 16 марта. 20 марта князь подал прошение об отставке «по домашним обстоятельствам»*. Ему отказали...

Его мучило чувство вины перед погибшим другом. «Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти», — на такое мужественное признание своей вины не отважился больше никто... И все же он нашел в себе силы для того, чтобы начать узнавать о пушкинской дуэли *правду*. Его колотило от ярости, когда ему передавали слухи один грязнее другого — ими был полон Петербург. Многие жалели Дантеса — как же, на совести у него убийство, он ранен, связан с нелюбимой женой, его разжаловали в рядовые и высылают из России, и вообще, он должен был так страдать, узнав о смерти своего противника!.. Так считали, например, Софья и Андрей Карамзины, и они были вовсе не одиноки в своем сочувствии к Дантесу. Иногда Вяземскому казалось, что он сходит с ума — как можно сочувствовать человеку, *убившему Пушкина*? Тем более что никакое раскаяние Дантеса вовсе не терзало... Как в незабываемых стихах Лермонтова: «Не мог понять в сей миг кровавый, / На что он руку подымал...». Да Дантес и думать про

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 605. Л. 2.

Пушкина забыл, его куда больше заботила собственная судьба... Но даже близкие друзья и знакомые Пушкина совсем не были убеждены в том, что Дантес и Геккерн действительно *виновны* в его гибели. Александр Тургенев, например, писал о Дантесе: «Но несчастный спасшийся — не несчастнее ли?». Только 9 или 10 февраля Наталья Николаевна рассказала Жуковскому или Вяземскому что-то, что резко изменило их отношение к голландскому посланнику и его приемному сыну. И теперь уже во мнении Тургенева Дантес с Геккерном «становятся мерзавцами более и более».

Сразу же после смерти Пушкина Вяземский решил изложить свои мысли о нем в письмах друзьям. Первые письма он пишет еще до того, как тело Пушкина увезли к месту погребения. Его адресаты — Александр Булгаков, его дочь Ольга Долгорукова, Денис Давыдов, Эмилия Мусина-Пушкина, Александра Смирнова-Россет, Иван Дмитриев, французский писатель барон Франсуа Лёве-Веймар (с ним Вяземский был знаком с лета 1836 года) и великий князь Михаил Павлович. Письма, адресованные Булгакову и Давыдову, читала вся Москва — это были, в сущности, небольшие рукописные статьи, предназначенные для распространения в копиях...

В те февральские дни он узнал многое, очень многое. Он разговаривал с секундантом Пушкина, его вдовой. Вспоминал то, чему сам был свидетелем... «Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нем... Участие, которое было принято публикою и массою в этом несчастье, могло бы служить лучшим возражением на письмо Чаадаева, и Чаадаев, глядя на общую скорбь, нанесенную несчастьем одного лица, должен был бы признаться, что у нас есть отечество, есть чувство любви к отечеству, есть живое чувство народности», — сообщал он Денису Давыдову. О причинах гибели друга Вяземский сначала писал хотя и с неподдельной горечью, но достаточно абстрактно: «Пушкина в гроб положили и зарезали жену его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безыменные письма». После 10 февраля, когда удалось побеседовать с Натальей Николаевной, тон Вяземского становится более резким — он уверенно пишет о том, что Геккерн и Дантес были *виновны*, что они и есть настоящие убийцы: «Супружеское счастье и согласие Пушкиных было целью развратнейших и коварнейших покушений двух людей, готовых на все, чтобы опо-

зорить Пушкину». Упоминает он и неприглядную роль «красного моря», то есть Кавалергардского полка (повседневный цвет мундира — красный), явно сочувствовавшего Дантесу... И — негодует на то, что никаких улик мерзавцы не оставили, то есть юридических доказательств все-таки нет... Все высказать в письме невозможно, и он убеждает адресатов поверить ему: Пушкин вел себя в высшей степени благородно, а жена его чиста. «Сказанное есть сущая, но разве неполная истина», — сообщал он Булгакову, намекая на невозможность *полного* рассказа о дуэли. «Пушкин и его жена попали в гнусную западню, их погубили, — пишет он Эмилии Мусиной-Пушкиной. — Вы должны довериться мне, вы не знаете всех данных, не знаете всех доводов, на которые опирается мое суждение; вас должна убедить моя уверенность, ее вы должны принять». «Наш «свет» мне стал ненавистен. Не только большинство оказалось не на правой стороне, не на стороне справедливости и несчастия, но некоторые общественные вершины сыграли в этой распре такую пошлую и постыдную роль, было выпущено столько клеветы, было высказано столько позорных нелепостей, что еще долгое время я не буду в состоянии выносить присутствие иных личностей. Я покидаю свет, и не меньше, чем скорбь, побуждает меня к этому негодование», — это слова Эмилии Мусиной-Пушкиной.

Во всех письмах князь неоднократно подчеркивал еще одно обстоятельство: Пушкин умер в любви и доверии к государю, благостно и спокойно: «Смею уверить, что в последние годы он ничего возмутительного не только не писал, но и про себя в этом роде не думал. Я знал его образ мыслей. В суждениях политических он, как ученик Карамзина, признавал самодержавие необходимым условием бытия и процветания России, был почти фанатический враг польской революции и ненавидел революцию французскую». Нет сомнения, что именно так и обстояло все на самом деле, и писал Вяземский чистую правду. Однако эти пассажи преследовали одну скрытую цель — оградить Пушкина от сплетен, которые могли повлиять на судьбу его вдовы и детей. Друзья хлопотали в эти дни о милостях для семейства Пушкина, но Николай I, похоже, вовсе не собирался осыпать осиротевшую семью щедрыми дарами. Дашкову он доверительно сказал:

— Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?..

«Пушкин никоим образом и не был либералом, ни сторонником оппозиции в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был искренно предан государю», — это писалось Вяземским именно в расчете на высочайшую реакцию. Он старался убедить Николая в том, что Пушкин был *безопасен,* и потому его семейство достойно милостей...

Защищая мертвого Пушкина, Вяземский защищал от нападок и самого себя. Смерть Пушкина имела и явный политический оттенок: все его бумаги просматривались III Отделением, и в них усиленно искали улики участия Вяземского в тайном обществе... Узнав, что Пушкина похоронили в сюртуке, а не в мундире, Николай I недовольно заметил: «Это, верно, Тургенев или Вяземский посоветовали». Помянута была и перчатка, брошенная в гроб. Вот это уже можно было толковать как угодно — в любом случае Вяземский оказывался виноват: масонские и прочие общества в России были давно запрещены...

Вероятно, именно в связи с этими обвинениями князь решил обратиться напрямую к члену императорской фамилии, выбрав для этого младшего брата императора, великого князя Михаила Павловича. Знакомство с ним было давним — Вяземский собирался посвятить великому князю свой так и не вышедший сборник 1819 года, в 30-х Вяземские нередко бывали в Михайловском дворце, где великий князь устраивал приемы... Письмо было написано 14 февраля и интересно тем, что в его конце Вяземский в завуалированной, а затем и в открытой форме говорит о себе и о людях своего времени и круга.

«Увлекаемый своей пылкой поэтической натурой, он (Пушкин. — *В. Б.*), без сомнения, мог обмолвиться эпиграммой, запрещенным стихом, — пишет Вяземский, — на это нельзя смотреть как на непростительный грех; человек ведь меняется со временем, его мнения, его принципы, его симпатии видоизменяются. Затем, что значат в России названия — политический деятель, либерал, сторонник оппозиции? Все это пустые звуки, слова без всякого значения... Шутка, некоторая независимость характера и мнений — это еще не либерализм и не систематическая оппозиция. Это просто особенность характера. Желать, чтобы все характеры были отлиты в одну форму, значит желать невозможного. Разве генерал Бенкендорф удостоил меня, хотя бы в продолжение четверти часа, разговора, чтобы самому лично узнать меня? А между тем целых десять лет мое имя записано на черной доске: своим же мнением он обязан нескольким сло-

вам, отрывкам, которые ему были переданы, клеветам, донесенным ему каким-нибудь агентом за определенную, месячную плату».

И хотя большая часть рассуждений Вяземского все же о Пушкине («Я потерял в нем друга... Мы все потеряли в нем прекраснейшую славу литературы, человека, являющегося одной из интеллектуальных вершин эпохи»), это письмо явно выбивается из контекста эпистолярного «дуэльного цикла». Оно обо всем пушкинском поколении. Это второй вариант «Исповеди», где Вяземский давал ясную и точную картину гибели людей, морально сломленных 1825 годом.

Письмо отправилось в Рим, где тогда гостил великий князь, но должного эффекта не произвело. Михаил Павлович был добродушным, но не слишком умным человеком, к тому же склонным видеть жертву скорее в разжалованном за дуэль Дантесе, чем в Пушкине. Он не понял горечи намеков, хотя, вполне возможно, познакомил с этим письмом августейшего брата. Косвенно Николай I дал понять Вяземскому, что предубеждения против него не испытывает — хотя в отставку его и не отпустили, в апреле 1837 года князь получил орден Святой Анны II степени. Но нет никаких сомнений и в том, что стереть свое имя с «черной доски» этим письмом Вяземскому не удалось, равно как не удавалось не испытывать тех чувств, в которых его подозревали.

Об этом говорит краткая, но выразительная запись в записной книжке: «6 декабря 1837. Бутошники ходили сегодня по домам и приказывали, чтобы по две свечи стояли на окнах до часа по полуночи. — Сегодня же обедал я у директора в шитом мундире по приглашению его. Матушка Россия не берет насильно, а все добровольно, наступая на горло».

6 декабря — тезоименитство Николая I. Полицейские, обходящие дома и предупреждающие о свечках, свидетельствующих о всеобщей радости и придающих окнам праздничный вид, обед у директора в шитом мундире — все это «матушка Россия», которая никого ни к чему не принуждает, а добивается добровольности легким сжатием горла... Загнали в могилу Пушкина, увезли тайно с жандармом — и записали сыновей его в Пажеский корпус. Царь оплатил пушкинские долги. За казенный счет издают его сочинения. Это обсуждается в обществе как великое благо...

Чуть ниже князь переходит на французский: «Люди ума и люди совести могут сказать в России: Вы во что бы то ни стало хотите, чтобы была оппозиция. Вы ее получите»...

...Шли дни. Вяземский давал показания Военно-судной комиссии, часто бывал в опустевшей квартире на Мойке

(Наталья Николаевна сделала ему бесценные подарки — письменный стол Пушкина, жилет, в котором он стрелялся, трость), помогал Жуковскому разбирать пушкинские рукописи, ездил на службу (с 18 июля по 1 сентября замещал директора департамента)... Прежние замыслы, «Северные цветы», «Старина и новизна» — все это вдруг оказалось далеким и совершенно ненужным. Была только боль, острая, острее, чем по Пашеньке и Николеньке, была болезнь, «физическая и нравственная», метанья в бреду, слезы, бессонница, опасения жены за рассудок, другая боль, потише, и, наконец, тупая тоска, оцепененье, понимание того, что в жизни рухнуло что-то, чему нет названия, что свершилась главная *неудача*, которую он предчувствовал еще в 19-м году в Варшаве. Все писали стихи на смерть Пушкина — они казались Вяземскому ненужными, пустыми и нелепыми, барабанными считалками, где рифмовались мгновенье, вдохновенье, лира, мира, порфира, увял, упал, перестал... Только два человека отозвались на гибель Пушкина достойно — Жуковский (написавший в апреле два странных антологических отрывка гекзаметром, словно и не о Пушкине, но и очень о нем) и, конечно, Лермонтов, никому доселе не известный Лермонтов, с которым Вяземский не успел познакомиться — уже 18 февраля Лермонтов был арестован, а месяц спустя «за сочинение стихов» его перевели в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ.

Князь тоже написал стихи о Пушкине — *первые свои стихи о нем*. В стихотворении «На память», опубликованном в пятом томе «Современника», ему удалось удачно избежать штампов подобного рода поэтических откликов «на смерть» — это альбомная запись, но не шутливая, какой ей полагается быть, а горестная. Уезжающая соотечественница просит стихов на память, но Вяземский, увы, не может утешить ее «радостным словом»:

Под свежим трауром печального покрова,
Сложив с главы своей венок блестящих роз,
От речи радостной, от песни вдохновенной
Отвыкла муза: ей над урной драгоценной
Отныне суждено быть музой вечных слез.
....
Я вас напутствую единым скорбным словом,
Затем, что скорбь моя превыше сил моих;
И, верный памятник сердечных слез и стона,
Вам затвердит одно рыдающий мой стих:
Что яркая звезда с родного небосклона
Внезапно сорвана средь бури роковой,
Что песни лучшие поэзии родной
Внезапно замерли на лире онемелой,

Что пал во всей поре красы и славы зрелой
Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,
Который трепетом и сладкозвучным шумом
От сна воспрянувших пророческих ветвей
Вещал глагол богов на севере угрюмом,
Что навсегда умолк любимый наш поэт,
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.

«Всякое стихотворение «На смерть...», как правило, служит для автора не только средством выразить свои ощущения в связи с утратой, но и поводом рассуждений более общего порядка о феномене смерти как таковой, — писал в 1980 году Иосиф Бродский. — Трудно, подчас просто неловко, бороться с ощущением, что пишущий находится по отношению к своему объекту в положении зрителя к сцене и что для него больше значения имеет его собственная реакция... Таковы издержки этого жанра, и от Лермонтова до Пастернака русская поэзия свидетельствует об их неизбежности. Исключение составляет, пожалуй, один только Вяземский с его «На память» 1837 года».

Кому адресовано «На память» — неизвестно. Может быть, Авроре Карловне Демидовой, которая весной 1837 года как раз собиралась с мужем «в края далекие, под небеса чужие» — в свое итальянское поместье Сан-Донато. Отсюда, возможно, и образ лавра, напоминающий также о Батюшкове и его переводе из Петрарки «На смерть Лауры».

В «Альманахе на 1838 год» появилось еще одно беспросветно-мрачное стихотворение Вяземского, связанное со смертью друга, — «Я пережил». Ему неожиданно оказалась суждена широкая известность через полтора столетия — в 1984-м композитор Андрей Петров написал на текст Вяземского романс, который с блеском исполнил Валентин Гафт в фильме «О бедном гусаре замолвите слово...». В этой картине прозвучали еще два романса на стихи Вяземского — «Хандра» в исполнении Станислава Садальского и «Друзьям» в исполнении Андрея Миронова...

...Со смертью Пушкина исчез не только стержень нашей литературы, к которому так или иначе все стягивалось, — исчезла сама атмосфера литературного Петербурга, города Пушкина. Стало вдруг *скучно*, скучно невыносимо. Пушкин, самый молодой в их кругу, умел и друзей молодить — без него и Жуковский, и Вяземский, и Тургенев разом постарели, будто сразу увидели друг у друга морщины, редкие волосы, почувствовали одышку и боль в ногах... Словно на глазах испарились, лопнули те нити, что соединяли их в нечто целое, — уехал Тургенев, вечный пилигрим; 2 мая в составе свиты укатил из Петербурга Жуковский — его воспи-

танник великий князь Александр Николаевич отправился в путешествие по России... Гоголь где-то в Европе, пишет «Мертвые души» (Андрей Карамзин уже слушал чтение нескольких глав в Баден-Бадене)... Плетнев ушел с головою в службу — именно под его крыло перешел осиротевший «Современник», который становился все скучнее и продавался все хуже (кстати, когда друзья Пушкина объявили о подписке на 1837 год, Уваров педантично напомнил о том, что разрешение издавать сборник было получено только на четыре тома в 1836 году. Пришлось сочинять очередное прошение). Баратынский в Москве или имении своем занимался сельским хозяйством... В столице правили бал Сенковские, Гречи, Булгарины... Самым наглядным доказательством того, что климат в русской литературе изменился, стал банкет, который устроил Александр Воейков 6 ноября 1837 года в честь открытия своей новой типографии. Вяземский и Жуковский — почетные гости — сидели на этом банкете во главе стола, прочие писатели поодаль. Началось все пристойно, но потом чинный обед буквально на глазах превратился в низкопробную литераторскую попойку: Кукольник с Полевым пили на брудершафт, признавались друг другу в любви, а в конце концов от избытка чувств пустились вприсядку... Любоваться этим демократическим зрелищем Жуковский с Вяземским не пожелали. Их ухода никто не заметил.

В 1837 году постигла Вяземского еще одна горестная потеря: 3 октября скончался на 77-м году жизни Иван Иванович Дмитриев, классик при жизни, «русский Лафонтен», последний патриарх допожарной Москвы. Пережил Пушкина, оплакал его... И вот опустел его дом у Патриарших прудов. Одной могилой больше стало в Донском монастыре. Умерла пушкинская эпоха. Умерла карамзинская, дмитриевская...

Этот роковой год закончился для Вяземского статьей «Incendie du Palais d'Hiver à Saint-Petersbourg»*, которую он написал через неделю после пожара Зимнего дворца, случившегося 17 декабря. Это была «экспортная» работа, предназначенная для французской публики. Усилиями Александра Тургенева статья очень быстро, уже в начале февраля 1838 года, вышла книжечкой в парижском издательстве Дантю и журнале «Gazette de France»; русский перевод появился в «Московских ведомостях». Это один из лучших образцов французской прозы Вяземского — статью похвалили Сегюр и Шатобриан. А Чаадаев написал Тургеневу: «Сейчас

* «Пожар в петербургском Зимнем дворце» (*фр.*).

прочел я Вяземского «Пожар». (Я не представлял его себе ни таким отменным французом, ни таким отменным русским.) Зачем он прежде не вздумал писать по-бусурмански? Не во гнев ему будь сказано, он гораздо лучше пишет по-французски, нежели как по-русски... Никто, по моему мнению, не в состоянии лучше его познакомить Европу с Россией. Его оборот ума именно тот самый, который нынче нравится европейской публике. Подумаешь, что он взрос на улице St.Honoré*, а не у Колымажного двора».

В конце января 1838 года в Петербурге появился Лермонтов, только что из Грузии. «Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось — и сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника», — писал Лермонтов... Жуковский, вернувшись из путешествия по России, пригласил Лермонтова на свой «чердак» в Шепелевском дворце. Не было теперь на «чердаке» ни Пушкина, ни Тургенева, но послушать Лермонтова сошлись все же многие — Вяземский, Одоевский, Козлов, Плетнев... Вяземский слушал чтение и с любопытством разглядывал Лермонтова, о котором уж многие говорили, что это достойный наследник Пушкина. Ну что ж, «Смерть поэта» — прекрасная вещь, и «Тамбовская казначейша» неплоха, есть в ней живость и стих хорош — Вяземскому польстила скрытая цитата из собственного «Первого снега»: «Я жить спешил в былые годы...», — но чем больше смотрел князь на молодого поэта, тем меньше он ему нравился. Лермонтов был некрасив — несмотря на офицерскую выправку, мал ростом, не шел ему статский сюртук, и почему-то еще Вяземскому показалось, что он *копирует Пушкина*. Так же держится, скрещивает на груди руки, даже смех похож — резкий и отрывистый... «К чему еще один Пушкин? — разочарованно думал князь. — Разве может быть замена ему?»

Но «Тамбовскую казначейшу» искренне похвалил. И Лермонтов ответил благодарной улыбкой, наклоном головы, глаза его вдруг вспыхнули, и лицо словно озарилось...

2 февраля столичные писатели праздновали двойной юбилей Ивана Андреевича Крылова — одновременно 70-летие и полвека литературной деятельности. В комитет для проведения праздника вошли Оленин, Жуковский, Вяземский, Одоевский, Плетнев и Карлгоф. На шумном обеде в зале Дворянского собрания Крылова чествовали триста гостей. Вяземский написал к этому обеду куплеты, в которых

* Сен-Оноре (*фр.*).

назвал юбиляра «дедушка Крылов» — выражение это немедленно подхватили, настолько оно оказалось удачным (Гоголь назвал эти стихи «очень умными и остроумными»). Жуковский произнес речь, где упомянул и Пушкина, его гений, его народную славу, приобретенную в немногие годы... Все за столом невольно примолкли, и только министр Уваров с неудовольствием взглянул на Жуковского, словно говоря всем своим видом: ну вот, опять вспомнили «великое поприще»...

В мае Жуковский должен был снова уехать, на сей раз в Европу — снова с наследником (цесаревич навещал родственные европейские дворы и одновременно присматривал себе невесту). И очень был рад слышать, что Вяземский тоже выберется в большой вояж. Предлогом были вконец расстроенные нервы и воспалившийся глаз, и князь действительно чувствовал себя после смерти Пушкина очень худо, но помимо этого было желание присоединиться к Жуковскому и Тургеневу, может быть, втроем постранствовать... Петербург пугал одиночеством, друзья были в Европе. Жуковский сомневался, что этот план удастся воплотить в жизнь, но обещал дождаться Вяземского в Берлине. 3 мая он уехал, а двенадцать дней спустя Вяземский сел на уже знакомый ему пароход «Николай I» и отплыл в Травемюнде. На пароходе было 38 членов экипажа, 132 пассажира, в том числе 20 детей, и 28 карет. Никто и не предполагал, что этот рейс станет для «Николая I» последним.

Путь лежал неблизкий — три дня плаванья по бурным волнам Балтийского моря. Не раз Вяземскому казалось, что кораблю со всеми его обитателями приходит конец, но, знать, судьба уготовила «Николаю I» иную, вполне нелепую гибель. В ночь с 18 на 19 мая, находясь уже в какой-то миле от немецкого берега, пароход загорелся. Багровое пламя взвивалось столбами вдоль мачт. Возникла паника... Вяземский вел себя храбро и хладнокровно, помогал дамам садиться в единственную спасательную шлюпку. В дыму, охватившем палубу, он приметил потерявшего голову от страха русского юношу в хорошем костюме, который метался взад и вперед, причитая высоким голосом:

— Боже мой, умереть таким молодым, не успев ничего создать... Спасите меня, я единственный сын у матери!..

Умереть молодым, не успев ничего создать, этому юноше не пришлось. Это был ставший впоследствии классиком русской литературы Иван Сергеевич Тургенев, которого воспоминания о позорном поведении во время пожара мучили потом всю жизнь. В 1883 году он даже продиктовал Полине Виардо специальный «оправдательный» очерк «По-

жар на море». А Вяземский вспоминал потом о гибели «Николая I» в стихотворениях «Русские проселки» (1841) и «Море» (1853).

Капитан корабля, англичанин Шталь, спасая груз и людей, выбросил судно на камни острова Эльменхорст. Погибло три пассажира и два члена экипажа. Шлюпка сновала между догоравшим пароходом и берегом, который оказался большой лужей полужидкой грязи, где вязли ноги. Продрогший, уставший и переволновавшийся Вяземский кое-как добрался до Травемюнде, где его приютил австрийский консул Курцрок. Узнав о происшествии, Николай I отправил пострадавшим двадцать тысяч рублей серебром, которые решено было отдать в распоряжение дам.

21 мая Вяземский был уже в Берлине и рассказывал Жуковскому о случившейся катастрофе. Столица Пруссии была празднично разукрашена — в ней находились тогда Николай I и наследник в сопровождении большой свиты. Гремели военные парады, ежедневно проходили балы.

Вяземский был в Берлине второй раз. В первый же день Жуковский повел его в королевский музей, полюбоваться на «Святого Франциска» кисти Корреджо. Побывали в мастерской художника Крюгера, который литографировал портрет Жуковского, отдали визиты графам Орлову и Бенкендорфу. Вместе обедали, а вечер провели в компании старшего сотрудника русского посольства Озерова. Вечером 23 мая с Жуковским, Озеровым и еще несколькими русскими дипломатами и придворными ужинали в модной ресторации «Ягор». В ночь на 24 мая Жуковский отбыл в составе свиты наследника в Швецию, а Вяземский не спеша поехал через цепь маленьких тюрингских стран во Франкфурт-на-Майне. Миновал Дессау, Эрфурт, Готу, Айзенах, Бад-Херсфельд... Дни стояли прекрасные; по склонам гор зеленели леса. Экипаж катился по дороге, аккуратно проложенной в скалах. Но на этот раз европейская благоустроенность почему-то не радовала князя, германская строгость, скупость во всем, чистота и порядок утомляли. Он равнодушно смотрел на прелестную Тюрингию и начинал жалеть, что поехал.

Впрочем, потом Германия все же сумела если не приворожить, то хотя бы расположить к себе Вяземского. Его добродушная ирония по отношению к немцам запечатлена в стихотворении «Элиза», а в «Немецкой природе» и «Рейне» типичный германский пейзаж, «красивый и скромный», написан Вяземским с искренней теплотой.

Вольный город Франкфурт-на-Майне находился на стыке Гессен-Дармштадтского и Гессен-Кассельского великих

герцогств — в самом сердце Германии. Здесь и остановился утомленный путешествием князь. С особенным радушием Вяземского принимали в доме посланника России в Германском Союзе Петра Яковлевича Убри. Род Убри был дипломатическим — отец Петра Яковлевича, голландец, служил в Коллегии иностранных дел, а сын его Павел уже при Александре II был первым посланником России в объединенной Германии... Дочь Петра Яковлевича, Мария, замечательно заваривала настоящий русский чай («по-православному, не на манер немецкий»), поэтому за чайным столом Убри всегда было тесно от гостей: во Франкфурте пересекались пути всех русских странников, ехавших на Запад или обратно, в Россию. Славно было сидеть вечерами (когда *сегодня* уже прошло, а *завтра* не настало) за беседой и чаем... 29 декабря 1838 года Вяземский подарил гостеприимным хозяевам стихотворение «Самовар» с посвящением «Семейству П. Я. Убри». И по сей день, пожалуй, «Самовар» — самый любовный, вдохновенный и обстоятельный гимн русскому чаепитию... «Жуковский прочел... твой «Самовар», — сообщал князю Александр Тургенев, — и находит, что это лучшая пиеса твоя и что ты как-то созрел душою и, следовательно, поэзиею».

Из Франкфурта князь съездил в Гессен-Кассель, в недалекий Ганау, откуда родом Канкрин, где познакомился четыре года назад с Козловским, где живет славный доктор Копп... Он посоветовал Вяземскому провести две недели в Бад-Киссингене, но воды не помогли: глаз воспалился пуще прежнего. Оставалась надежда на английский Брайтон. Но князь почему-то туда не торопился; его сковала вялость... Здесь у него были собеседники, он успел подружиться с больным мельником-баварцем и ходил каждый день его проведывать. Лаяла, выбегая навстречу, собака... Шумела река. Высилась мельница. Простые беседы, простые заботы... Тихая приветливость. В этом было что-то успокоительное, усыпительное... Неподалеку, в Бад-Эмсе, жил Шевырев. А в Ганау лечился Николай Языков, увидев которого, Вяземский ужаснулся: вместо прежнего озорного, пышущего здоровьем студента-поэта перед ним был иссохший, согбенный старец, с трудом передвигавший ноги... «Да и я, наверно, выгляжу не лучше», — думал Вяземский...

Брайтон... Германия... Не все ли равно? И разве в болезнях дело?.. Перебить это его настроение смог Александр Тургенев, неожиданно прискакавший во Франкфурт 19 июля. Он собирался ехать в Англию и охотно бы взял Вяземского в попутчики — вдвоем веселее... Князь был счастлив — на-

конец-то свиделись они, старые друзья, столько пережившие. Не хватало лишь Жуковского.

— Как литература наша поживает? — спрашивал Тургенев. — Что новенького слыхать?

— Что сказать на это? — невесело усмехался Вяземский. — Отвечу, как губернская купчиха на вопрос о ее здоровье: не так, чтобы так, а так, что не так что не оченно так.

Заговорили о совместной поездке, и Тургенев упомянул, что путь на Брайтон неизбежно лежит через Париж. Вот и сбудется давняя мечта князя.

— Париж! — восклицал Вяземский. — Неужели я увижу Париж?.. Быть того не может! Скорее Германия станет единым королевством, чем я в Париж попаду... Мой титулярный советник этого не допустит.

— Какой такой советник?

— Я тебе разве не говорил? У всех людей ангел-хранитель, а у меня вместо него — титулярный советник. Un ange tutélaire et un ange titulaire*... Чиновник для особых поручений. Эти поручения в том, что он мне беспрестанно палки в колеса ставит. Так что в Париж ни за что не попаду.

— Еще как попадешь, — добродушно улыбался Тургенев. — И будешь меня просить, чтоб забрал тебя поскорее оттуда. Это ведь издалека Париж хорош кажется... Вон Жуковский, к примеру, вовсе не в Париж едет, а в Рим. Потому как знает, что к чему...

Итак, впереди — Брайтон и Англия. Но еще до Брайтона — Париж. Воистину неисповедимы пути Господни...

Кстати сказать, визы во Францию у Вяземского не было, и ему пришлось выхлопатывать ее прямо во Франкфурте, через Тургенева. Обставили все таким образом, что поездка получалась как бы полулегальной. Поэтому в письмах жене князь не упоминал Париж напрямую: «Я думаю всего вернее заехать по дороге в местечко безымянное... и пробыть там недели две в виде беглого солдата или контрабандиста. Только прошу не выдавать и продавать меня, а писать по-прежнему во Франкфурт». А письма из самого Парижа и вовсе зашифрованы, хотя и довольно прозрачно, — то Вяземский называет его Франкфуртом-на-Сене, то пишет «Paris» справа налево, чтобы можно было прочесть словно в зеркале...

Впрочем, все это чепуха. Главное — сам по себе Париж, а не сопровождающие его русские глупости...

Тургенев ускакал вперед, ему не сиделось на месте.

---

* Каламбур: ангел-хранитель и титулярный ангел (*фр.*).

22 августа в письмах Вяземского появились первые впечатления: «Странное дело! Я не нахожу Франции во Франции. Уж мой чиновник не завез ли меня куда-нибудь в другое место!.. Cette belle France* — Тамбовская губерния... Еду по вшивой Шампании... Подъезжаю к Эперне, все шампанское, выпитое мною во всю жизнь, разыгралось однако ж во мне и что-то стало теплее на душе. Я подбавил еще свеженького и что-то поэтическое забурчало в желудке». Знаменитые погреба фирмы Моэт-э-Шандон, куда за пять франков пускали посетителей, поражали воображение — тянулись на тридцать верст, там хранился миллион сто тысяч бутылок отборного шампанского. Отпивая из бокала «Дом Периньон», Вяземский вспомнил самого лихого из своих собутыльников — Дениса Давыдова. Начал послание к нему, которое так и назвал — «Эперне»... «Икалось ли тебе, Давыдов, / Когда шампанское я пил...»

И вот на рассвете в воскресенье 25 августа 1838 года на горизонте показалось туманное марево — Париж... Громоздкий дилижанс подпрыгивал на ухабах, рядом ерзали клетки с полудюжиной кроликов, купленных кондуктором по дороге... В шесть часов утра въехали на messagerie**, где Вяземского уже поджидали Тургенев и сотрудник русского посольства князь Иван Гагарин. Повезли его в отель на рю Нев. Первым делом князь отправился в китайские бани, оттуда — в православный храм, где нашел многих знакомых — Дурново, Шипова, Репниных... Занес визитную карточку посланнику графу фон дер Палену. И только выйдя из русского посольства на шумную рю Абревуар-Эвек, понял, что он — в Париже... На мгновенье нахлынула мальчишеская радость, он почувствовал, что непроизвольно улыбается. И, чуть ли не зажмурившись, бросился в парижскую толпу, гомонящую, разноязыкую, веселую.

Как выяснилось буквально через пять минут, веселье было вовсе не беспричинным: у наследника французского трона герцога Фердинанда Орлеанского и его супруги Елены родился сын Людовик-Филипп, граф Парижский. Сад Тюильри был окружен национальной гвардией и иллюминирован, вечером гремел фейерверк... Но, немного осмотревшись, Вяземский все же нашел парижскую уличную толпу менее «кипучей», чем римская и неаполитанская. Очень мало и пригожих женских лиц, нет пресловутых les grisettes élégantes***... Отобедав с Тургеневым и Гагариным у атташе

---

* Эта прекрасная Франция (*фр.*).
** Почтовую станцию (*фр.*).
*** Элегантных гризеток (*фр.*).

русского посольства, князя Элима Петровича Мещерского (он выглядел настоящим модным парижанином — небольшая бородка и усы), Вяземский отправился в варьете, смотрел баядерок, «род наших московских цыганок, но пляска наших живее». Потом был концерт, причем публика поразила его своей замороженностью — никто не кричал, не бисировал, не бесновался... Ему указали в толпе на Бальзака — маленького, толстого, с круглыми, как яблоки, щеками, безвкусно одетого. «Что-то широкое и жирное в лице», — записал Вяземский. Рядом с Бальзаком стоял Жюль Жанен, автор знаменитого романа «Мертвый осел и казненная женщина», которым зачитывался в свое время Пушкин.

На другой день князь побывал в Академии наук, там видел Гумбольдта и Араго. Вечер провел в салоне писательницы Виргинии Ансло. Там его как старого знакомого неожиданно приветствовал Стендаль, который показался князю более веселым и оживленным, чем в Риме. Навестил Вяземский и Франсуа Лёве-Веймара, который жил барином, щегольски и роскошно... «Погода здесь прекрасная, персики и дыни объедение, Пале-Рояль обворожительно мил, красив, чист, роскошь кофейных домов ослепительна, Фанни Эльслер восхитительна, я не видал Тальони в качуче, но без ума от здешней оркестр-оперы». Страсть свою к опере Вяземский, кстати, начал удовлетворять немедля — слушал знаменитого тенора Жильбера Дюпре в «Гугенотах» Мейербера, «Немую из Портичи» Обера, новинку сезона — «Бенвенуто Челлини» Берлиоза (не понравилось — похоже на «Жизнь за царя» Глинки, то есть много шума, но сердце не трогает)... Он вполне мог встретить Доницетти и Мейербера — оба композитора в то время жили в Париже.

Лёве-Веймар снабдил русского друга билетом на богослужение в Нотр-Дам в присутствии короля. Когда тот вошел в собор, раздался клич «Шляпы долой!», но из-за давки и тесноты Вяземский толком ничего не разглядел. Лишь потом, на улице, увидел Луи Филиппа, который бесстрашно высовывал голову из кареты. На несчастного короля уже не раз покушались, и все вокруг буквально кишело телохранителями и полицейскими.

Конечно, посетил Вяземский и Версаль, но приехал туда как раз в день, когда никого не пускали. Впрочем, знаменитый художник Орас Верне, знакомый князю еще по Риму, дал ему записку к королевскому архитектору, так что хотя и бегло, но удалось осмотреть самое главное...

Одной из «вечных достопримечательностей» Парижа была хозяйка знаменитого салона мадам Рекамье — к ней по

традиции ездили представляться все русские путешественники. И если в начале века Василий Львович Пушкин видел ее стройной, изящной дамой, то Вяземский застал уже милую, приветливую старушку со следами былой красоты на личике... Рекамье жила на четвертом этаже, ее салон — одна-единственная комната с огромным портретом мадам де Сталь во всю стену. У Рекамье сидели Шатобриан и Балланш. Завязался общий разговор, но ничего занимательного в нем не было. А вот Альфред де Мюссе, которого Вяземский навестил, был взволнован, польщен его визитом и страшно смутился, когда князь наизусть стал читать ему его стихи... Но, пожалуй, самым приятным парижским литературным знакомством для Вяземского стала встреча с поэтом-самоучкой Жаном Ребулем, булочником по профессии, — очень милым, добродушным и простым человеком.

Очень огорчило Вяземского то, что Париж глубоко равнодушен к творчеству русских писателей. После завершения вояжа князь начал много времени уделять пропаганде русской поэзии за рубежом и добился в этом заметных успехов. Так, в 1842 году Луиджи Делатре с его помощью перевел стихи Пушкина на итальянский (эти переводы были изданы во Флоренции в 1856-м), а годом позже Вильгельм Вольфсон после консультаций с Вяземским выпустил в Лейпциге антологию русской поэзии в переводе на немецкий. Консультировал князь и французских издателей Пушкина, готовивших парижский двухтомник 1846—1847 годов.

...Десять дней в Париже не потрясли Вяземского — все-таки он попал в город своей мечты далеко не юношей, — но на многое открыли ему глаза. Конечно, у Парижа масса достоинств — это и свежие устрицы, «как мать их родила», и лавки с фруктами (все время хочется что-нибудь съесть), и десятки газет — «Gazette de France», «La Presse», «La France», «La Quotidienne», «La France Littéraire», — и то, что можно свободно курить на улице (в Петербурге это запрещено — из боязни пожаров)... Но было и то, с чем трудно смириться, что казалось нелепым и даже глупым. Например, «шатающаяся грязь в грязных блузах» — рабочие, которые ведут себя весьма вольно и ходят, где пожелают. Плохие парикмахеры. Портные, которые шьют хоть и аккуратно, но слишком долго. Невкусный белый хлеб. Мороженое в Париже «снеговато». Сам город слишком велик, улиц пропасть, можно запутаться, фиакры тесные и неудобные... И все-таки он чувствовал, что здесь *можно жить как хочешь.* Париж предлагает тебе сотни вариантов, выбирай любой. Вяземский даже хмыкнул, подумав про Петербург.

«Бешеная, угорелая, собачья жизнь путешественника» продолжалась. Тургенев, для которого Париж был уже чем-то вроде Москвы — такой же привычный и даже чуть надоевший, он жил там уже около года, — тянул князя дальше, в Англию. В среду 5 сентября друзья дилижансом выехали в Булонь-сюр-мер. Там пошли на новую оперу Обера «Черное домино», но торопыгин-Тургенев не дал досмотреть — пароход на Лондон отправлялся в полночь, а он всполошился уже в десятом часу. В кромешной тьме корабль под названием «Вагнер» вышел в море... Четыре часа пересекали Ла-Манш, потом началась серая, широкая у устья Темза... На рассвете сильно страдавшие от морской болезни Тургенев и Вяземский с опаской выбрались из каюты на мокрую палубу. Пароход, шлепая колесами, медленно тянулся вдоль пологих берегов, застроенных корявыми, закопченными кирпичными домами. Это была Англия — страна, в которую русские путешественники добирались в те годы нечасто.

Утром 7 сентября 1838 года Вяземский и Тургенев въехали в Лондон. Князю Петру Андреевичу было не до красот британской столицы — плаванье на «Вагнере» так его измучило, что мечталось только о мягкой постели в гостинице... Но Тургенев, как истый путешественник, бодрости не терял: приняв ванну и переодевшись, тут же побежал в русское посольство, а воротившись через четверть часа, первым делом заварил в своем походном приборе крепчайший чай и уселся за стол, разложив перед собой чистые листы бумаги.

— К кому писать собрался? — спросил Вяземский.

Тургенев, уже обмакнувший перо в чернильницу, внезапно призадумался.

— А и вправду, — пробормотал он, — я же обыкновенно пишу к тебе, а ты нынче здесь... Вот незадача... Ну да все равно, тогда напишу к Булгакову. — И тут же настрочил подробное письмо на три страницы...

В Лондоне друзья расстались — князь утром 9 сентября поехал дилижансом в приморский Брайтон, Тургенев же отправился на север Англии, к Ирландскому морю. Интересно, что Вяземскому даже в голову не пришла мысль повидать Ирландию, родину своих предков. Впрочем, собственное здоровье его волновало куда больше.

Курорт Брайтон был в большой моде в 20-х годах, при короле Георге IV — он выстроил близ моря роскошный Королевский павильон, в Брайтон тогда приезжала вся лондонская аристократия. Теперь же, при юной королеве Вик-

тории, город пришел в запустение. Вяземский поселился в гостинице на Кингс-роуд, 26, и стал лечиться морскими купаньями, хотя и не знал толком, может ли это помочь его больному глазу. «По вечерам около глаза, в рамке глаза, чувствую какую-то боль, но глаз не болит, не зудит, — записывал он свои ощущения. — В темноте, когда закрываю глаз, образуется какое-то светлое, вроде лунного, пятно, по которому скользит мрак, и из этого мрака выплывает снова то же пятно. Это повторяется несколько раз и потом все проходит. Утром, просыпаясь, другое явление: перед глазами зеленый кружок с черными точками, род шпанской мухи».

Далеко в море уходят деревянные мостки, на которых стоят купальни. Можно нанять и отдельную купальню на колесах: ее везут на мелководье, потом кучер выпрягает лошадь и возвращается на берег... В конце купанья нужно просигналить ему флажком, тогда кучер с лошадью вернутся и привезут обратно... Море в Брайтоне студеное и довольно спокойное. Можно плавать и на берегу, в большом бассейне с проточной водой и фонтаном посередине. Купающихся мало. Вяземский любит не только купаться, но и просто бродить по взморью, любуясь волнами. Странно, чуть не сгорел на «Николае I», потом мучился от качки на «Вагнере», а все равно — тянет к морю, непонятно отчего... Оно словно плачет — плачет так, как плакал он сам на паперти Конюшенной церкви. Как плакал в Риме на Монте-Тестаччо... И он чувствовал, что напишет об этом.

Сошел на Брайтон мир глубокий,
И, утомившись битвой дня,
Спят люди, нужды и пороки,
И только моря гул широкий
Во тьме доходит до меня.

О чем ты, море, так тоскуешь?
О чем рыданий грудь полна?
Ты с тишиной ночной враждуешь,
Ты рвешься, вопишь, негодуешь,
На ложе мечешься без сна.

Красноречивы и могучи
Земли и неба голоса,
Когда в огнях грохочут тучи
И с бурей, полные созвучий,
Перекликаются леса.

Но все, о море! все ничтожно,
Пред жалобой твоей ночной,
Когда смутишься вдруг тревожно
И зарыдаешь так, что можно
Всю душу выплакать с тобой.

Первоначальное название «Брайтона» было «Бессонница». Вчерне стихи были готовы к началу 1839 года; ранний вариант Вяземский послал из Франкфурта Языкову. Появился «Брайтон» в 12-м номере «Отечественных записок» за 1839 год.

Несмотря на немноголюдность, там все же имелось небольшое светское общество. В него князь вступал с некоторым волнением — все-таки сам он наполовину ирландец и, так сказать, по крови родня этим людям... Когда Вяземский сказал об этом, ответом был общий восторг. Общались, конечно, на интернациональном языке XIX века, французском. Произношение англичан Вяземского искренне повеселило (сам он говорил безупречно), но в целом островитяне князю понравились, хотя он и не преминул заметить, что они люди слишком самолюбивые и слегка зашоренные... Писательница леди Морган, ирландка по национальности, расспрашивала князя о русских женщинах — насколько они образованны и независимы от мужчин. И еще — есть ли надежда на то, что будет облегчена участь ссыльных поляков?.. Приветливо Вяземского приняли и в салоне писателя Хораса Смита. На каком-то вечере он познакомился с подполковником по фамилии О'Рейлли, но так и не смог решить, есть ли между ними родство — британский офицер любезно сообщил, что этот славный род очень многочислен и разделен на множество ветвей. 22 сентября князя приглашали на митинг, который устраивал местный радикал Фергюс О'Коннор, но Вяземский предпочел ему концерт знаменитого певца Джованни Рубини («А есть еще люди, которые считают меня либералом», — иронично заметил он в дневнике по этому поводу). И не пожалел — Рубини был великолепен, голос его, теплый и мягкий, так и лился в душу... Он пел из «Дон Жуана» Моцарта. И что пред Моцартом какой-то митинг какого-то О'Коннора, будь он хоть трижды прав?..

25 сентября в Брайтон прикатил Тургенев, так и не повидав Шотландии. «Некому писать оттуда, — пресерьезно объяснил он, — брат Николай лучше меня все знает, а тебя в России нет». Они вместе съездили в городок Уортинг, посетили старинный замок, принадлежавший герцогу Норфолку. 3 октября были на ярмарке скота. Там наблюдали любопытную сцену: к гостинице подкатила красивая карета с хорошо одетым кучером. Из кареты вышли четыре человека, также весьма пристойной наружности. Среди русских путешественников разгорелся спор: *господа* это или *мужики*? Вышло — мужики, местные фермеры, которые, выпив по стакану портера, отправились на ярмарку... Этот случай за-

помнился Вяземскому. «Эти господа могли нам дать мерку и образчик всего того, чем Англия отличается от других государств», — записал он.

В Брайтоне Вяземский принялся учиться английскому языку, но успел взять только несколько уроков. Дело оказалось для него непростым: «Как родятся Рафаэлями, Ньютонами, Паганини, особенно Паганини, так должно родиться со способностью произнести английский th». Учитель мучил его статьями из «Spectator», и теперь уж настал черед англичан втихомолку посмеиваться над стараньями русского гостя. Но князь не унывал и уже через неделю мог довольно складно сказать горничной Шарлотте «I kiss your hand... Is it good English?*» (на что следовало чопорное «No, sir, it's very shocking**»).

6 октября, искупавшись в двадцать шестой и последний раз, Вяземский простился с милыми брайтонцами, сел в дилижанс и отправился в Портсмут. Рассчитывал успеть на пароход, идущий на остров Уайт, но опоздал и заночевал в городе. 7 октября посетил остров, там два раза купался. Оттуда отправился в Лондон, в котором в общей сложности провел около месяца. Этот город его впечатлил намного больше Парижа: Париж весь принадлежал девятнадцатому веку, в Лондоне, кажется, уже проглядывал двадцатый. Улицы заполнены были народом, движенье непрерывное, но странное: никто, на первый взгляд, не спешит, не толкается, кучера не кричат, а меж тем все перемещаются скоро, деловито, не мешая друг другу... Невольно вспомнились карамзинские «Письма русского путешественника»: «Какое многолюдство! какая деятельность! и притом какой порядок!»... 12 октября он посетил тюрьму Ньюгейт и Вестминстерское аббатство, ему показали Палату лордов и Палату общин... Там было пусто, служители подметали полы. «Странное впечатление видеть пустынным и безмолвным то, что наполняет внимание мира и гремит из края в край», — записал князь. Вечером отправился в знаменитый театр Дрюри-Лэйн, попал на балет «Мелкий бес», который уже видел в Париже. Публика показалась «средней» — в ложах было немало лондонских «дев радости, из коих некоторые очень хороши». Лондонскую аристократию князь толком так и не повидал. Русский посол, старый граф Поццо ди Борго, объяснил ему, что high life*** в Англии кипит только летом,

* Я целую вашу руку... Хорошо ли это звучит по-английски? (*англ.*).
** Нет, сэр, это очень вызывающе (*англ.*).
*** Светская жизнь (*англ.*).

осенью все едут или на континент, или на охоту в поместья. Старик очень скучал в Лондоне и был рад поболтать с Вяземским за партией в вист. Проигрывая, посол забавно сердился. Компанию игрокам составлял старый знакомый князя Николай Киселев.

Впечатлений довольно, но, как и в Париже, в Лондоне Вяземский нашел немало причин поворчать. В оперную залу его не пустили, потому что в руках у него была серая шляпа. Едучи в омнибусе, поклонился на улице какому-то знакомому, а тот разобиделся — по местным обычаям это неприлично. Хлеб за обедом нужно непременно ломать, а не резать...

Посетивший Англию в 1823 году Чаадаев не скрывал своего очарования этой страной: «Когда кроткая приязнь, наслаждение симпатии окружат вас отовсюду и заменят всю скуку первого приема; когда вам удастся, наконец, там, посреди английского семейства, на зеленой лужайке красивого загородного дома, под тенью прекрасных дубов и кленов, — удастся произнести слово home*, как говорит его природный житель, тогда, не знаю, но мне кажется, что без сожаления изгладится из памяти воспоминание об отечестве, хотя бы это отечество была дорогая наша Россия!». Прелесть британского гостеприимства Вяземский тоже оценил в полной мере — его приглашали в старинные загородные поместья, — но, дыша английским воздухом, он на все смотрел русскими глазами, и взгляд этот отнюдь не всегда был восторженным. «Есть слова и выражения, которых нет в Англии, т. е. слова континентальные, например: как-нибудь, покуда, по-домашнему, по-дорожному, запросто, — записывал он. — Здесь все вылито в одну форму или в известные формы, и англичанин, где бы ни был, в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собою или, лучше сказать, находит готовые из одного края Англии до другого, дома в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в трактирах... В английской жизни оттого нет ничего нечаянного». Вывод в устах Вяземского звучит несколько неожиданно: «От того общий результат должен быть скука». Спору нет, удобно жить, подчиняясь раз навсегда заведенному порядку, приличиям и обычаям, и ездить в паровом дилижансе вместо конного, и хорош пятичасовой чай на лужайке перед древним домом... а все же русская неустроенность *живее*, любезнее сердцу, и ничего с этим не поделаешь, и молчат ирландские корни, не протестуют...

* Дом, домашний очаг (*англ.*).

Все же в целом Англия понравилась ему куда больше Франции и Германии. С годами чувство симпатии к Альбиону окрепло. «Лондон не только первостатейная столица, но это столица Европы и всего просвещенного мира... — писал князь в 1876 году. — Не люблю внешней английской политики, но благоговею пред внутренним устройством ее. Пред ее духовным и гражданским могуществом. Пред этою просвещенною и просветительною силою все прочие европейцы ничто как провинциалы. Этот провинциализм невольно чувствовал я в себе во время пребывания моего в Англии, и признаюсь не без некоторой досады и не без уничижения»*.

На обратном пути — снова Париж. Вяземский остановился в центре, на роскошной рю Сент-Оноре, 366. 18 ноября Шатобриан читал у мадам Рекамье отрывок неизданных мемуаров, причем Вяземский с удивлением и неудовольствием увидел, как Шатобриан *кокетничает*: извиняется перед гостем, что отрывок недостаточно занимателен... Это выглядело глупо. У вдовы русского посла в Берлине и Лондоне, княгини Ливен (она недавно устроила у себя салон), князя познакомили с Гизо, с которым проговорили целый час о литературе и политике. Снова упоительная опера — с прежним наслажденьем слушал в «Дон Жуане» Моцарта уже знакомого по Англии великого Рубини, там же пел Луиджи Лаблаш... В «Комеди Франсез» ставили корнелевскую «Цинну», но хороша была одна знаменитая Рашель, все прочие актеры-хрипуны только смешили Вяземского.

Он не преминул пойти на одну из любимейших актрис своей юности — великую мадам Жорж, блиставшую когда-то в трагических ролях, покорившую сердца Наполеона и Александра I. Она гастролировала в Москве еще в допожарные времена, тридцать лет назад, и тогда Вяземский даже нанес ей восторженный визит... Теперь вместо былой прелестницы перед ним предстала старая баба-яга, плотно оштукатуренная белилами и румянами, манерная и жеманная. Она уверяла Вяземского, что прекрасно помнит и его, и Москву. Но настроение у князя от этого лучше не сделалось.

29 ноября его пригласил в Коллеж де Франс на лекцию по сравнительному праву молодой, но уже известный профессор и политик Эжен Лерминье. Вяземский знал, что Лерминье недавно перешел из либерального лагеря на сторону правительства, но не мог даже предположить, что реакция студентов на это «предательство» будет такой бурной. Стоило Лерминье подняться на кафедру и открыть рот, как

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1278. Л. 19.

аудитория подняла возмущенный рев, а к ногам профессора полетели медные монеты: «Ты хочешь денег? Держи!»... Побледневший Лерминье и Вяземский заперлись от разбушевавшейся толпы в маленькой комнатке, откуда выпрыгнули через окно на улицу... Впрочем, князю это приключение показалось скорее забавным.

Новый 1839 год Вяземский встретил во Франкфурте, в отеле «Россия» — туда приехали Вера Федоровна с Наденькой. Потом уже вполне официально получил разрешение ехать в Париж — нужно было отвезти письмо Канкрина русскому торговому агенту во Франции. 23 января вместе с молодым бароном Александром Штиглицем князь отправился в путь. Веру Федоровну с дочерью нагнали через день в Метце. На этот раз Вяземские провели в Париже больше месяца — и чем дальше, тем больше французская столица разочаровывала путешественников...

Февраль в Париже был темный, сырой, дули ветры, погода преподлейшая. Вяземского лечили пиявками. Все разговоры в салонах только и были, что про политику: на глазах разваливался министерский кабинет, возглавляемый графом Луи Моле, Камера депутатов пылала, все нервничали и прикидывали шансы левых и правых на победу... И Вяземский понял вдруг, что его одолевает скука. Все кругом врали — и утонченный Гизо, который поступал совсем не так, как заявлял месяц назад в газетах, и маленький, с писклявым голосом Тьер... Было в манерах у этих политиков-демократов что-то мещанское, чиновничье, хотя и с примесью заемного барства. И это вечное вранье, это мещанство на высшем уровне так надоедало, что хоть уши затыкай и глаза завязывай. С Ламартином — о политике. Со Стендалем — о политике. Познакомили с Виктором Гюго, хотелось о литературе, а Гюго — о политике, да еще норовил поддеть польским вопросом, какими-то глупыми нападками на русского императора... «Как они не видят, не понимают всей этой чепухи!» — удивлялся Вяземский. 30 марта было наконец объявлено о создании нового временного правительства, это опять вызвало бурю споров...

Только одна встреча получилась хорошей, доброй и далекой от глупой парижской вещественности. Князь повидался с Адамом Мицкевичем. После польского мятежа тот жил в Париже, а совсем недавно ему предложили читать в Лозанне лекции по латинскому языку. Они не виделись одиннадцать лет. Мицкевич сильно постарел, был почти сед, лицо изрезано скорбными морщинами... Оба обрадовались друг другу, сильно и искренне. И хотя, казалось, могли бы гово-

рить о поверженной Польше — нет, заговорили о Пушкине, о Ламартине, о Юлиуше Словацком... Мицкевич написал два года назад статью, где говорил, что после гибели Пушкина в России осталось три «отличных писателя»: Крылов, Жуковский и «князь Вяземский, который блистал бы даже среди французов своим остроумием». Он подарил Вяземскому номер журнала «Глоб» с этой статьей.

Мало-помалу все в Париже начало раздражать Вяземского. «Кто тут виноват? — писал он Валуеву. — Я ли? Париж ли? Вероятно, оба». Приемы скучны: все приезжают на десять минут, раскланиваются и дальше, едва не бегом — за вечер надо успеть еще в три дома. Балы — просто толкотня. Красивых француженок нет в помине, все красавицы — заезжие: испанки или итальянки... Мужчины грубы, неловки и пошлы — или заросшие бородами фаты, или похожие на затянутых купчиков, вышедших погулять в воскресенье... Толкаются, ходят по ногам, и заботы нет никакой. Если кто-то произнесет «excusez-moi»*, можно быть уверенным, что это не француз... Вяземского поразил один случай: он разговорился на балу с дамой, которой его только что представили. Вблизи было кресло и стояло еще несколько женщин. Парижанка предложила князю присесть, на что тот, естественно, отказался: не в присутствии же дам!.. «Сделайте одолжение, — улыбнулась она, — бросьте ваши петербургские вежливости: здесь никто их не поймет». Лондонское общество куда приличнее парижского... Из писателей приятно общаться только с Мюссе и Сент-Бёвом, прочие чужды друг другу, а если и не чужды, то живут, как кошки с собаками...

Одно было хорошо, как всегда, — итальянская опера. Вяземский слушал «Пуритан» и «Сомнамбулу» Беллини: «Голос Лаблаша как Божий гром перекатывается. Когда поют Рубини и Гризи, душа поет, теплится, благоухает, плачет, а ушки смеются». 1 апреля слушал «Волшебное озеро» Обера — музыка «очень незначительна», но декорации превосходны. Вместе с итальянцами пел молодой русский тенор Николай Иванов, эмигрировавший на Запад и принявший швейцарское подданство, — про него говорили, что он соперник Рубини, но Вяземский нашел его манеру чересчур приторной и вялой: в прошлом Иванов — певчий придворного церковного хора... Слушал одну из симфоний Бетховена и кратко отметил в дневнике: «Совершенство!»

После Парижа Вяземский хотел отправиться на воды в

---

* Извините (*фр.*).

Бад-Киссинген, но Канкрин неожиданно отказался продлить ему отпуск. Скорее всего, в Петербурге решили, что Вяземский не столько лечится, сколько отдыхает от России (что было, по большому счету, правдой...). Он просил Валуева похлопотать за него перед великим князем Михаилом, но ничего сделать не удалось — в мае 1839 года Вяземский через Франкфурт и Берлин поехал обратно в Россию, отправив жену и дочь на баденские воды. Нельзя сказать, что возвращался он с сожалением: после февральско-мартовского Парижа Европа опротивела совершенно; не дай Бог, привалит еще такое министерство, которое только и будет что кричать «держи лево!» и всех перебьет... Франция раздражающе неустроенна, живет какими-то химерами; Германия раздражающе правильна и спит мертвым сном... Он решительно пишет про Англию и Италию: «Только эти две страны и стоят чего-нибудь, а все прочее хоть потопом залей». И со странной улыбкой думает, что вот опять — *неудача*: сколько мечтал о Париже в 18-м, в 22-м, в 28-м!.. Сколько негодовал в душе на знакомых барынь, которые ездили в Париж по сотне раз Бог знает зачем, в то время как ему эта поездка нужна была как воздух... А съездил — и что же?.. Да ничего. Потрясения не случилось, и он отринул от себя шумный и глупый город, занятый пустяками...

8 мая в Берлине Валуев познакомил Вяземского с известным литератором Карлом Фарнхагеном фон Энзе. Этот немолодой, уже седеющий человек очень светского вида знал наизусть чуть ли не всю русскую поэзию и многие стихи перевел на немецкий язык. Пушкина он почитал наравне с Шекспиром и Гёте и ставил его выше Байрона. Это Вяземского приятно удивило, и в свои последующие наезды в Берлин он непременно виделся с Фарнхагеном... Сам Фарнхаген отметил, что Вяземский очень любезен и мягок в обращении, но настроен решительно против французов и в особенности против их конституции.

Именно вояж 1838—1839 годов оказался единственным *полноценным* заграничным путешествием Вяземского — в нем и очень разные страны, и музыка, и литературные знакомства, и политика, и еще живое, почти молодое восприятие жизни... Вольно или невольно маршрут этого странствия почти повторил знаменитое путешествие Карамзина: Берлин, Франкфурт, Париж, Лондон... Для полного сходства не хватало в этом списке только Швейцарии, но и там князю еще суждено будет провести немало приятных дней.

В Петербурге он начал с того, что сменил квартиру — из дома Лауферта на Большой Морской, переехал на Литейный

проспект, в дом Боровицкой. Здесь предстояло ему прожить до 1843 года... На родине ждали Вяземского печальные вести о смерти Елизаветы Михайловны Хитрово и Дениса Давыдова — неуязвимый в боях генерал скончался 22 апреля от апоплексического удара. 16 июня умер Александр Воейков, а 26 декабря — министр юстиции Дмитрий Дашков. И хотя очень разными были эти люди — с Давыдовым Вяземский был дружен, Дашкова уважал и ценил, а Воейкова презирал за все его гадости, хотя и признавал за ним талант, — все трое были арзамасцами, заметными людьми своей эпохи. И вот ушли один за другим... Редел круг Вяземского. Потери угнетали. «И как они переделали его, — писал часто видевший князя Плетнев. — Это не прежний весельчак; это задумчивый философ, тихий христианин, меланхолический затворник...»

24 июня, почти одновременно с Вяземским, прибыл в Петербург из Штеттина Жуковский. После годовой разлуки оба были счастливы видеть друг друга. В сентябре Жуковский побывал в родных краях — Белёве, Муратове, жил в Москве; в октябре привез в Петербург Гоголя и Александра Тургенева. Гоголя, приехавшего из Рима недавно, с видимой неохотой (его гнали дела, нужно было пристраивать сестер), литературная Москва встретила ликованием. Тут же насели на него друзья, знакомые, редакторы журналов — требовали «Мертвых душ», главы из которых он уже кое-где читал. Гоголь отмалчивался. Его мечтою был уединенный труд, а тут он видел какие-то склоки, партии... Душа его возмутилась, забунтовала. Он покинул Москву с явным облегчением, в дороге был весел, ожил...

Но в Петербурге Гоголь опять захандрил. Он с грустью видел, что друзья Пушкина уже не делают погоду в русской литературе. В журналистике царят *молодые*. «Современник», который ведет Плетнев, теряет подписчиков чуть ли не с каждым часом. Набирают силу «Отечественные записки», канувшие было в Лету в 1830 году, — предприимчивый Андрей Краевский возродил этот журнал, и к нему перешел порвавший с москвичами Белинский. Все это угнетало Гоголя. Он нахохлился, стушевался, ушел в тень. О том свидетельствует дневниковая запись Жуковского: «15 (ноября. — *В. Б.*), середа... Вечер у Вяземского. Спор. Гоголь дикарь».

Он все-таки читал у Вяземского из «Мертвых душ». Явился в каком-то нелепом голубом фраке с золотыми пуговицами; сначала стеснялся, мялся, но Жуковский все же сумел его рассмешить, добродушно сказав:

— Ну что ты кобенишься, старая кокетка! Самому же небось смерть как хочется читать, а все мнешься...

Гоголь улыбнулся, развернул принесенную с собой тетрадь...

Потом они долго говорили с Вяземским о Риме. Гоголь жаловался на свои материальные дела, и князь посоветовал ему попроситься на должность конференц-секретаря к Кривцову, назначенному руководить русскими живописцами в Италии.

И еще — Лермонтов. Осенью 1839 года князь часто видел его у Карамзиных — в их салоне Лермонтов стал завсегдатаем. Павлуша Вяземский, уже студент университета, познакомившись с Лермонтовым, пришел в полный восторг, и Лермонтов стал его кумиром — девятнадцатилетний князь первым подхватывал mots* нового знакомого, переписывал его стихи в альбом... Лермонтов по праву старшего слегка подшучивал над Павлушей, но вполне добродушно (и даже перевел по его просьбе стихотворение Гейне «Сосна и пальма»; юный князь, в свою очередь, перевел два стихотворения Лермонтова на французский). Петру же Андреевичу такое увлечение сына не очень нравилось, сам он по-прежнему находил Лермонтова излишне резким и мелодраматическим — какой-то русский Байрон, да и только... Надменное лицо, улыбки, мундир... Он не понимал Александра Тургенева, который с удовольствием общался с молодым поэтом, и Владимира Одоевского, который был с Лермонтовым на «ты». Но все же случалось и Вяземскому вести с Лермонтовым вполне откровенные литературные беседы. Знаменитые лермонтовские стихотворения «Родина» и «Журналист, читатель и писатель» Вяземский считал превосходными.

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток...

Нетрудно догадаться, почему эти стихи нравились Вяземскому — в них запечатлен явный отголосок его собственных разговоров с Лермонтовым и даже приведена точная цитата из Вяземского. «Журналы наши так грязны, что их нельзя читать иначе, чем в перчатках» — этот старый афоризм князя был актуален на протяжении всей его литературной жиз-

* Остроты (*фр.*).

ни и в начале 40-х относился, конечно, к «Отечественным запискам», в которых правил ниспровергатель Белинский... Как это ни забавно, но напечатали это стихотворение именно «Отечественные записки» — Лермонтов был их крупнейшим козырем, и Краевский решил пренебречь замечанием насчет перчаток.

27 октября 1839 года Вяземский и Лермонтов вместе были в театре — на балете «Сильфида» с Марией Тальони. Новый 1840 год тоже встречали в одной компании — у Карамзиных. Говорили о Дашкове (29 декабря его хоронили). И, конечно, вспомнили Пушкина, Тургенев рассказал о погребении его... Лермонтов слушал внимательно, и не было в его лице ничего ни мелодраматического, ни надменного.

Через месяц, 30 января, умер после долгих страданий слепой поэт Иван Иванович Козлов, давний знакомый Вяземского... 5 февраля были похороны. На другой день в Петербурге неожиданно появился Баратынский, которого князь не видел уже года четыре. 7 февраля они долго разговаривали о Пушкине, назавтра встретились за обедом в ресторане Дюме. Баратынский нашел, что князь выглядит довольно бодро и вообще похож на прежнего Вяземского. Вокруг шумела подгулявшая молодежь, но Вяземский не уставая корил юное поколение за то, что оно разучилось веселиться. Тут Александр Карамзин случайно смахнул со стола рюмку. Смахнуть-то смахнул, но не разбил. И Вяземский с усмешкой сказал Баратынскому:

— Вот видите — уронить еще мог, а разбить силы не стало.

Баратынскому было всего сорок, но он постарел, высох, стал еще более замкнутым, чем прежде. Поговаривали, что в имении своем он пристрастился к вину. Шум светского Петербурга его утомлял.

Расстались... А еще через месяц новая разлука — уехал в Германию Жуковский. Странно сказать, но он *жених* — его невеста, девятнадцатилетняя немка Элизабет Рейтерн, дочь давнего друга поэта... Тургенев и Вяземский не могли взять в толк, как сладилось это дело, и радовались за друга, и огорчались тихонько (Вяземский — тому, что его собственная свадьба осталась уже в какой-то давно умершей допожарной жизни; Тургенев — тому, что у него жены, с кочевой-то жизнью, не будет никогда). Жуковский был неспокоен, думал об отставке. Его пригласили давать уроки русского языка невесте наследника престола, а он мечтал о собственном доме и спокойной работе... У Жуковского в жизни взлет, несмотря на его лета; он полон планов, хочет большого литературного подвига на благо России, и этим

подвигом вскоре станет для него перевод Гомеровой «Одиссеи» на русский язык...

В апреле и непоседа Тургенев надумал ехать в Москву и потащил с собой Вяземского. Александр Иванович остановился в Малом Власьевском переулке, Вяземский же поехал в Большой Чернышев, в старый свой пустой дом... Родной город князя любил и помнил, встречали его с почтением. Все в Москве уже было *новое*, то есть даже не то, что он видел в начале тридцатых, а совсем новое, и Вяземский уже давно учился во всем новом находить отголоски *прежнего*... Он обнял графа Федора Толстого-Американца, героя былых пирушек, бесстрашного дуэлиста, ныне совершенно седого, грузного, с усталыми умными глазами... Навестил Михаила Орлова — несостоявшегося реформатора и бунтовщика, в котором опала не убила гордой «орловской» породы, прямодушия, смелости... Повидал Федора Глинку. Был на Новой Басманной у Петра Чаадаева. С этим странным человеком Вяземскому иногда мучительно хотелось сдружиться, да и Чаадаев не раз делал попытки стать другом князя. Но почему-то ограничивалось все теплой перепиской и взаимными лестными отзывами. Похоже, это был тот самый случай, когда взаимное уважение мешало людям стать просто хорошими друзьями... «Философическое письмо» (1836) вызвало возмущение Вяземского, он считал его отрицанием единственно верного карамзинского взгляда на русскую историю, но, несмотря на полное свое несогласие с Чаадаевым, все же был вполне объективен и назвал статью «превосходной и мастерской сатирой». И, конечно, всей душой сочувствовал автору, объявленному за «Философическое письмо» сумасшедшим (журнал «Телескоп», его напечатавший, был немедленно закрыт)... Впрочем, эта мера, похоже, лишь прибавила Чаадаеву в Москве известности. Он держался важно, холодно смотрел на собеседника выпуклыми голубыми глазами и был похож на мудрого, всезнающего католического аббата.

Грустное все же зрелище Москва. Словно выставка того, *что могло бы быть.*

...Но вот — 9 мая, в Николин день, в доме Михаила Погодина на Девичьем Поле шумит именинный обед Гоголя, на который съехались все писатели-москвичи. Были Вяземский, Баратынский, Тургенев, Глинка, Чаадаев, Орлов, Сергей Аксаков и сын его Константин (старший сын Иван учился в Петербурге, в Училище правоведения), Хомяков, Шевырев, Свербеев, Михаил Дмитриев, Загоскин, знаменитый актер Михаил Щепкин, давний знакомый Вяземского

еще по пензенской глуши Юрий Бартенев, приехавший из Петербурга Лермонтов (за дуэль с сыном французского посланника Барантом его переводили на Кавказ). В беседке Гоголь собственноручно готовил жженку, которую называл (за голубой цвет пламени, похожий на цвет жандармского мундира) *Бенкендорфом*... Вдоль липовой аллеи погодинского сада накрыт был праздничный стол. Сын хозяина над столом повесил две клетки с соловьями, которые перекликались и насвистывали. Налетел и умчался дождь. После обеда гости разбрелись небольшими группами по саду. Вяземский и Тургенев слушали, как Лермонтов читал отрывок из «Мцыри» — сцену битвы с барсом. Потом беседовали с Бартеневым, Михаилом Орловым, слушали уморительные рассказы юного актера Прова Садовского и каламбуры профессора-поэта Армфельдта... Вечером чаевничали в погодинском доме. Вяземский с удовольствием вдыхал ароматный дым сигары, отхлебывал настоящий московский чай — что-то забытое, прежнее было в этом вечере... Гоголь, Лермонтов, Баратынский, Тургенев, Чаадаев, Орлов, Глинка, Хомяков — все рядом, все *вместе*. Пусть по возрасту, по заслугам не все ровня друг другу — но много ли у русской литературы таких посиделок?.. Петр Андреевич улыбался своим мыслям. Возвращаясь домой, взял с собой новенького, еще пахнущего краской «Героя нашего времени». Гоголь уже прочел роман и сказал Вяземскому, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца...

Через девять дней Гоголь уехал в Италию. Еще через неделю Лермонтов — на Кавказ.

В ночь с 11 на 12 августа Вяземский едва не погиб во время железнодорожной катастрофы. Он ехал ночным поездом из Царского Села в Петербург. На восьмой версте от города поезд столкнулся со встречным (машинист-англичанин был пьян). В катастрофе погибло несколько десятков людей, но князь остался невредим. Невольно подумал он о том, что Бог бережет его для чего-то: Бородино, холера, пожар на море, теперь вот паровозы...

Вера Федоровна с дочерью Надей по-прежнему находилась в Европе. Состояние 18-летней Нади медленно, но верно ухудшалось — у нее началась чахотка, юная княжна уже кашляла кровью... Мысль о том, что Надю ожидает та же участь, что и Пашу пять лет назад, была для Вяземского невыносима. Он едва ли не ежедневно писал жене — и долгие часы проводил в молитве, надеясь вымолить спасение дочери.

«Я сейчас из Казанского собора, где молился за вас, мои

милые... молился как умел, но не так, как бы хотелось молиться, — пишет он 17 сентября. — Впрочем, дар, благодать молитвы есть уже спасение... Не менее того молюсь и буду молиться как умею. Авось и выучусь... Дай Бог мне страдать гораздо более нежели страдаю, лишь бы только дождаться дня искупления. Как в скорби моей есть место упованию и вере, так и в надежде моей есть место скорби и страху»*.

Он много размышляет о молитве в эти дни, словно прорывается к Богу сквозь свое вольнодумство и высокоумие, застившие ему глаза всю жизнь. Он, может быть, впервые в жизни понимает, *зачем нужно верить*. И, приходя из храма, продолжает обращаться мыслями к Богу — уже в стихах... Он пишет «Молись (М. А. Бартеневой)», «Молитву», «Любить. Молиться. Петь».

Бывают дни, когда молиться так легко,
Что будто на душу молитвы сходят сами
Иль ангел, словно мать младенцу на ушко,
Нашептывает их с любовью и слезами.

Это «Молитва», одно из самых сильных стихотворений Вяземского. Эпиграфом к нему предпослана молитва Иоанна Златоуста: «Господи! даждь ми слезы и память смертну и умиление»...

Такого с ним не было еще никогда.

Было время, когда он писал Батюшкову: «Сделай милость, не связывайся с Библиею. Она портит людей, я ее прочел нынешнее лето и теперь уже ничему не верю. C'est un ramas d'infamies de bêtises emphatiques**. Приезжай в Москву поспорить со мною». Библия — только предмет для спора, не более... В «нынешнее лето», лето 1810 года, Вяземскому восемнадцать.

В 1812-м, накануне Бородинской битвы, он пишет жене: «Я сейчас получил твое письмо с двумя образами и повесил их на шею, как ты мне велела. Я их не сниму, милый друг, ты можешь быть в том уверена... Молись Богу обо мне, я об тебе, и все пойдет хорошо». И в другом письме: «Молись обо мне Богу. Он твои молитвы услышит, я во всем на Него полагаюсь».

А семь лет спустя, в 1819-м, в Варшаве, он снова перечитывает Библию. И в записных книжках появляются его холодные, насквозь пропитанные скептицизмом коммен-

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3271 а. Л. 109—109 об.

** Это свалка гнусностей и надутых глупостей *(фр.)*.

тарии. «Зачем облекаем мы всегда Бога человеческими понятиями? Зачем называть его отцом? Что за отец, который о детях не печется и дал им волю проказничать, как хотят, чтобы иметь жестокое удовольствие наказать тех, которые от него отшатнулись... Отец еще в колыбели выставил меня на большую дорогу, приложил какое-то наставление, часто непонятное, и требует, чтобы я всегда его помнил, любил и благодарил. За что и как буду любить его?» Того же года — письмо к Тургеневу: «Я никаким свиданиям, ни здешним, ни тамошним (то есть после смерти. — *В. Б.*), не верю или, лучше и правильнее, ни в какие не верую. Не отвергаю их, но и не ожидаю; не сомневаюсь в них, но и не убежден».

Это пишет отнюдь не атеист и не богоборец. Но умственный холод, «вольнодумство», «высокоумие» и сухой рационализм наследника и ученика Вольтера и Дидро сквозят в этих записях. Двадцатишестилетний Вяземский не понимает (и в силу своих духовных истоков пока не может понять), что вера — это *усилие души*. А он хочет всего-навсего рационального доказательства ее необходимости, причем безо всяких усилий: «Тем сильнее полюблю я Бога, чем яснее истолкуют мне его... В духовном не только прозы требую, но математики; докажите мне, что Бог есть, как дважды два четыре, и я набожнейший из людей». Неудивительно, что в 1963 году, в разгар хрущевской антирелигиозной кампании в СССР, эти записи подавались издателем «Записных книжек» Вяземского чуть ли не как вершинные достижения его умственной деятельности...

1830-е годы сильно меняют Вяземского. Он становится терпимее, на многое смотрит другими глазами. Вера для него теперь один из атрибутов полноценной, нормальной жизни. И только трагический 1840 год стал для Вяземского рубежом, после которого его отношение к вере меняется резко и ощутимо. Она становится ему необходимой — уже без всяких умствований и доказательств... И так будет долго — до самого конца, если не считать связанного с психической болезнью срыва 1872 года.

«Минута молитвы есть одно возможное облегчение, — пишет он жене. — Когда молишься, то, кажется, держишь в руках сосуд исцеления и как душе ни грустно, а все верится, что если есть средство к спасению, то оно тут, у тебя. Но как трудно и молиться и быть довольным своею молитвою. Хотелось бы, чтобы эта молитва изливалась слезами, кровью, душою. Но иногда произносишь одни слова. Не чувствуешь ни над собою, ни в себе той благодати, которая дает

силу, веру и надежду. Чувствуешь себя человеком, и только, и впадаешь в уныние и в слабость»*.

Временами он отчаивается, и ему «кажется, что и Земля и Небо отказываются» от него... Он терзается этим и казнит себя: «Тяжело писать, потому что тяжело на душе, очень тяжело. Молишься, молишься, да и молитва не на долго облегчает. Это не ропот, а сознание моей слабости. Если молитва и может быть услышана, то какое право имею я надеяться, что моя молитва должна быть услышана?**» «Верую Господи, верить хочу, помоги моему неверию!» — восклицает он***. И продолжает доверительно делиться переживаниями с женой: «Молюсь, молюсь, но молитва моя сближает меня только с вами. Она тем для меня дорога, что когда молюсь, я ближе к вам, и словно с вами, но далеко еще от того, чтобы молитва моя сближала меня с Богом. На такую молитву нужно готовиться во всю жизнь, надобно, чтобы вся жизнь была приготовлением к молитве, а того не достаточно, чтобы крикнуть, когда больно. Это, так сказать, физическая, плотская молитва, а не духовная»****.

Состояние Нади между тем продолжало ухудшаться. «Спасибо милой Надиньке, что она меня видит во сне... — писал князь. — Весь день-деньской брежу и тоскую о ней. Ночью сон мой утомление от физического движения и сердечной скорби и заботы... Боже мой, неуже-ли во всем Твоем Царстве нет спасительного угла, куда можно было бы укрыться от угрожающего недуга? Верно, есть!.. И кажется, вынес бы туда Надиньку и отказался бы от всего света»*****. Он собирался поехать в Баден, но жена усиленно отговаривала его, оберегая душевное здоровье мужа. И долго не решалась Вера Федоровна написать в Россию, когда Наденьки не стало... Она умерла 22 ноября. А Вяземский все продолжал писать в Баден-Баден нежные письма дочери.

Вера Федоровна не нашла в себе сил сообщить мужу о том, что Нади уже нет. Попросила написать об этом Жуковского.

Смерть Наденьки оказалась не единственным испытанием для Вяземского той осенью. Месяцем раньше, 14 октября, и тоже в Баден-Бадене, умер князь Петр Борисович Козловский, чудесный странный человек, шесть лет дружбы с которым дали Вяземскому больше, чем иные многолетние знакомства.

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3271 а. Л. 111—111 об.
** Там же. Л. 113.
*** Там же. Л. 127 об.
**** РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3271 а. Л. 132 об.
***** Там же. Л. 115 об, 116.

Сказать, что он был потрясен — значит ничего не сказать. Он даже на время перестал посещать храм. «Молитвы мои отлетели с Нашим ангелом, — объяснил он жене, — или онемели с ним»*.

Уже через полгода, 26 июня 1841-го, Вяземский проговорился в письме к Тургеневу о своем тогдашнем состоянии: «Ma vie n'est plus de ce monde, sans que je puisse dire cependant qu'elle soit d'un autre**. Я в раздумии на рубеже. Скорбь сокрушила во мне привычки жизни и веру в обещания смерти. Жить не хочу, а умирать не желаю. Здесь я по крайней мере помню, люблю и страдаю; а после, может быть, и этого не будет. Верно то, что что-нибудь да есть и будет, но не то, что думаем и чему нас учат; тут не могу свести концы с концами. Не вольнодумство, не высокоумие говорит во мне. Нет, одна скорбь, которою я убит. «Лежачего не бьют», — говорят добрые люди; у Провидения, видно, правило другое: оно лежачих и бьет. Но в моей природе нет стихий ни геройства, ни мученичества. Испытания мои выше меры моей, выше силы моей. Рим потряс меня, Баден сокрушил».

После смерти Козловского и Нади он уже не задает себе снова и снова вопрос: *за что?* Почему уходят безгрешные, радующиеся небесному и земному, чистые дети?.. Почему умер добрый, умный, никому не желавший зла Козловский?.. Почему ушел Пушкин? И почему остаются такие, как Дантес?.. Почему именно его, Вяземского, так жестоко наказывает Господь?.. В чем его главный грех? Гордыня? Сладострастие? Высокоумие? Отчаяние?.. Одни из самых известных его стихотворений названы в честь величайших грехов — «Уныние» и «Негодование» (то есть гнев)... Теперь он знал, что на эти вопросы ответа нет и не может быть.

«Из писем твоих вижу, что ты почитаешь меня обратившимся, — пишет он Тургеневу. — Не хочу ханжить тобою и пред тобою. Нет, Благодать мне не далась. Оно, может быть, и лучше: в таком случае горе чище. Когда думаешь, что Бог испытует любя, то какая скорбь не переносима?»

В ноябре 1840 года он начал небольшой прозаический набросок — некролог? воспоминание? жанр определить сложно — о Козловском. Князь уже проводил в могилу немало друзей — Карамзина, Дельвига, Пушкина, Дмитриева, Козлова... И все же именно смерть Петра Борисовича Козловского впервые вызвала у Вяземского желание помянуть

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3271 а. Л. 151 об.

** Моя жизнь не принадлежит больше этому миру, между тем я не могу сказать, что она принадлежит иному (*фр.*).

ушедшего хотя бы небольшим очерком. Фигура Козловского неслучайна — вспоминая о нем, Вяземский решал для себя вопрос смысла человеческой жизни. Заслуги Карамзина, Пушкина перед обществом бесспорны — они были великими писателями. Козловский же, по большому счету, не оставил по себе ничего примечательного... Он был интересен *сам по себе*, как характер, как колоритная фигура... Он был Личностью. Так что *себя* видел Вяземский, думая об ушедшем друге. Себя — уже завершившего, как ему казалось, жизненный путь, обескровленного потерями, похоронившего желание творить... Себя — ничего не свершившего. Себя — не добившегося в жизни ни славы, ни почестей, ни заслуг. Он решал для себя — имеет ли он право на память и любовь потомков. Имеет ли смысл судьба, на первый взгляд лишенная всякого смысла.

«Смерть его оставляет все и всех в том же виде и положении, как и при жизни его, — писал князь о почившем друге. — Ни в сфере государственной деятельности, ни в литературе, ни на каком другом гласном общественном поприще он не занимал высшего места, места ему особенно присвоенного. Никакие обязанности, никакая ответственность на нем не лежали. От него ничего не ожидали, ничего не надеялись. Он жил, так сказать, в себе и для себя, жизнью личною, отдельною, которая отражалась, так сказать, в одном тесном очерке, обведенном собственною его тенью, тенью частного и обыкновенного человека. Но не менее того смерть его есть утрата незабвенная и невозвратимая. Дело в том, что хотя и не был он действительным членом общества, а только почетным, что лица и события шли мимо его и без него, что он ничего не совершил вполне, не посвятил себя ни одному из тех общественных и нравственных служений, которые дают известность, почетность, власть и славу, но в одном отношении был он полным представителем одного ясного и высокого понятия: он был человеком необыкновенно умным, необыкновенно просвещенным, необыкновенно добрым. Сего довольно, чтобы иметь верное, всеотъемлемое место в частной современной, если не во всеобщей истории человечества и верное и неотъемлемое право на любовь и уважение ближних, на слезы и скорбь благодарной памяти. Кто может исследовать пути Провидения и пружины, коими оно действует для направления нас к предназначенной цели? Но если средства сокрыты от нашего близорукого зрения, то самая цель сия ясна для нашего внутреннего убеждения и сознания».

«Кто может исследовать пути Провидения?» — этот во-

прос задает себе уже отец умершей на пороге жизни Наденьки Вяземской. «Высокоумие» отступило перед смирением. Зачем-то Вяземский пережил Пушкина. Зачем-то дети уходят раньше отца... В этом есть Божественный Промысел. А у всякой жизни — «предназначенная цель»...

Очерк о Козловском вышел совсем небольшим. Но странный образ князя Петра Борисовича не оставлял Вяземского еще долгие годы: он смотрелся в него, как в зеркало. И в 1868 году, через тридцать лет после смерти друга, начал работу над биографией Козловского — второй своей биографической книгой, после труда о Фонвизине. Поводом к этому послужил пустяк: Вяземскому прислали две оды, написанные Козловским в самом начале века... Жанр книги князь определил как «рассказы», и это действительно цепочка маленьких занятных эпизодов из жизни Козловского, милых мелочей, которых уже никто, кроме Вяземского, не помнил... К сожалению, писать эту книгу Вяземский прекратил 31 января 1871 года: сил для большой работы у него уже не было*.

На первый взгляд решение писать именно о Козловском кажется странным: Вяземский был близок с Карамзиным, Пушкиным, Жуковским, фигурами куда более крупными; намного логичнее было бы написать о них... Но, как и в случае с Фонвизиным, книга о Козловском должна была стать для Вяземского книгой главным образом о себе самом — русском дворянине, знатном и просвещенном, человеке, который занимался многим и одновременно ничем, кто оставил по себе яркую память, но которому дать определение одним словом (например, «поэт» или «историк») невозможно... В определенном смысле Козловский был для Вяземского идеалом русского человека...

...И вот его нет. Не стало юной Наденьки... 15 апреля 1841 года Вяземский с Жуковским были на похоронах адмирала Шишкова — одного из главных противников юных арзамасцев... В субботу, 3 мая, Жуковский уезжал за границу: свадьба его решена. Накануне был прощальный вечер, пришли Виельгорский, Соллогуб, Одоевский, Плетнев. Вяземский смотрит на друга: Василию Андреевичу пятьдесят девять лет, он облысел, располнел, он ничем не напоминает того стройного юношу, который в далеком 1808-м приехал в июльское Остафьево... Жуковский смотрит на Вяземского:

* По всей видимости, Вяземский не знал о существовании биографии В. Дорова «Fürst Kosloffsky», изданной в 1845 году в Лейпциге. Русские книги о Козловском вышли гораздо позже — «Русский европеец» Г. П. Струве (Сан-Франциско, 1950) и «П. Б. Козловский» В. Я. Френкеля (Ленинград, 1978).

ему сорок восемь, он аккуратно зачесывает седые волосы на виски, потухшие глаза, дымит сигарой и тоже совсем не похож на задорного Асмодея, который громил когда-то Шишкова в «Арзамасе»... *Старики.* Обиды, объятия, журналы, Пушкин, стихи, свои и чужие — сколько всего пережито! Старики.

— С Богом, — тяжело поднялся Жуковский. — Пора.

У коляски они расцеловались, перекрестили друг друга. Оба плакали. Жуковский отвернулся, достал платок, заторопился садиться в экипаж... Вяземский смотрел ему вслед. Больше они никогда не встретились.

15 июля убили Лермонтова... «Мы все под грустным впечатлением о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он уже много исполнил, а еще более обещал... Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бесчеловечно убит. На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова». Лермонтову было двадцать шесть. Вяземский вспомнил себя в свои двадцать шесть: преддверие Варшавы, юношеская горячность, желание судить и выносить приговоры. И — предощущение неудач, несчастий, «Уныние». Не обманула тогда интуиция. В Жуковском отразился Карамзин. В Лермонтове — Пушкин... Странные сближения. Могилы... могилы...

23 сентября Вяземский на две недели отправился в Михайловское навестить Пушкина.

Опять я на большой дороге,
Стихии вольной гражданин,
Опять в кочующей берлоге
Я думу думаю один.

Мне нужны это развлеченье,
Усталость тела, и тоска,
И неподвижное движенье,
Которым зыблюсь я слегка.
....

Мне все одно: обратным оком
В себя я тайно погружен,
И в этом мире одиноком
Я заперся со всех сторон.

Эту «дорожную думу» он набросал в карете, а набело переписал уже в Михайловском, в кабинете Пушкина, его пером. Тогда же начал большое стихотворение «Русские проселки» — про «прелести» отечественных дорог — и дописанное только семь лет спустя «Наш век нас освещает газом...». Как всегда, в дороге дышалось легче — вот и «пора стихов».

...Скромный памятник в Святых Горах... Вяземский дважды приходил на могилу Пушкина и оба раза видел у нее местных мужиков, вспоминавших барина добрым словом. «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть / И равнодушная природа...» Да, да, верно — равнодушная... «В нашу поэзию стреляют лучше, чем в Лудвига-Филиппа. Вот второй раз, что не дают промаха».

В Михайловском жила с детьми вдова, Наталья Николаевна. Ей было двадцать девять. Грустная красота ее по-прежнему ослепляла, и в ее присутствии князь замечал, что сердце невольно начинает стучать чаще, чем обычно. «Что это? — думал он почти со страхом. — Неужто еще способен я на какие-то чувства, способен волноваться при виде прекрасной молодой женщины?» Он вспомнил Батюшкова: «Сердце наше — кладезь мрачный...» Непонятно, как все это совмещается, как перемешано: скорбь, долгие часы на коленях перед иконами, память о Пушкине — и тут же волнение и смутные надежды — на что? На взаимность? Боже, но какая же тут взаимность?..

И все-таки он старался быть честным перед собой — поездка в Михайловское была не только паломничеством на могилу друга. Прежде всего он ехал к *ней*. «Моя помещица», — начинает он называть ее в письмах. «Я ездил на поклонение к живой и к мертвому» — это Тургеневу. Прежде всего — *к живой*.

«Верноподданным» Натальи Николаевны Вяземский стал при жизни Пушкина, в 30-х годах (а заметил юную красавицу еще до ее замужества). Конечно, свое отношение к жене друга он не афишировал, но, видимо, какие-то выводы посторонними были сделаны, если даже совсем не близкий знакомый Вяземского Павел Нащокин вспоминал о досаде Пушкина по поводу княжеского волокитства... Видимо, именно Наталье Николаевне посвятил Вяземский стихотворение «Ответ», напечатанное в альманахе «Новоселье» в 1834 году: речь в нем идет о некой «мадонне молодой» (Пушкин нередко сравнивал жену с мадонной), а свои чувства автор описывает так: «Молюсь, молчу, душа благоухает...» И вот через семь лет, уже после смерти друга, Вяземский на какое-то время, как мальчишка, совсем потерял голову. В Петербурге он начал бывать у переехавшей в столицу Натальи Николаевны почти ежедневно. Обедал у нее. Писал к ней длинные письма и стихи («Вы мое солнце, мой воздух, моя музыка, моя поэзия»). Наставлял, с кем следует общаться в свете. Подарил альбом... Все это продолжалось довольно долго. Он чувствовал себя глупо, и сам каз-

нил себя, и видел нелепость своего положения. Конец у этой истории был неприятный: в июне 1843 года Наталья Николаевна довольно резко дала понять, что бесконечные сидения у нее в гостях и нравоучения на разные темы ей надоели. Его поставили на место — он был *старик*, женатый некрасивый старик, вздумавший волочиться за первой красавицей, вдовой своего лучшего друга...

Правда, оба сумели забыть эту историю, сделали вид, что ничего не происходило. Известие о втором замужестве Пушкиной Вяземский встретил уже спокойно. Десять лет спустя они вполне мирно, без всяких интимных подтекстов, переписывались. Дочерью Натальи Николаевны от второго брака, Софьей Петровной Шиповой, Вяземский был немного увлечен в 1868-м, посвятил ей несколько шутливых стихотворений (в одном из которых, кстати, сравнивал ее с матерью). Саму Наталью Николаевну он пережил на пятнадцать лет.

Эта странная страсть, погасшая сама собою, была сублимацией, заменой чего-то, что могло бы быть, что было раньше. *Старик*. В 1837 году он стал дедушкой — Маша Валуева родила дочь Лизу... Вяземский смотрел на себя в зеркало — да, старик. Но как не хочется признавать себя стариком вслух... И сердце-то, мысли — вовсе не старческие.

В Петербурге жизни никакой не было. Департамент, Канкрин, вицмундир, тусклые подобия прежних салонов, утомительно однообразное остроумие Мятлева... Писалось плохо, да и не о чем было писать; и очень редко публиковался он в эти годы (по иронии судьбы, именно в это беспросветное время пришло официальное признание его литературных заслуг — членство в Российской Академии и Академии наук). Печататься было почти негде: журналы серы и благопристойны, как петербургское небо в дождь.

А в Москве начал выходить журнал «Москвитянин», который вели Погодин, Хомяков, Аксаковы, Шевырев. В первом же номере появилось старое (еще 1833 года) стихотворение Вяземского «Шутка». «Читаю «Москвитянина» с большим удовольствием, и вообще он здесь хорошо принят, — 25 июня 1841 года писал князь Шевыреву. — Продолжайте, и мы будем иметь журнал. Только, ради Бога, будьте осторожны, бдительны, зорки, догадливы. Помните припев Пушкина:

> Не спи, козак; во тьме ночной
> Чеченец бродит за рекой.

То есть: жандармы бродят за рекой; или: Булгарин бродит за рекой. Ваша благонамеренность и добросовестность

не спасут вас. Все можно перетолковать, а толкователи сыщутся... Журналисту нужен необыкновенно тонкий такт». Эти рассуждения, конечно, навеяны воспоминаниями о грустной судьбе «Европейца»... Он публикует у москвичей свои «Русские проселки», «Сюда», «Ночь в Ревеле», эпиграмму на Булгарина... Но споры вокруг назначения и миссии России, вспыхнувшие на страницах «Москвитянина» и в самой Москве, приводят Вяземского в недоумение: он отдает должное патриотизму славянофилов (так их называют), но не может взять в толк, к чему тут боярские одеяния, бороды, святославки, мурмолки... И этот глупый страх перед Европой! Вот тот же Шевырев пишет: «В наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг». А профессор философии Давыдов доказывает, что «философия, как поэзия и всякое творчество, должна развиться из жизни народа»... «Из какой жизни народа? — недоумевал Вяземский. — Философия и поэзия должны развиваться из жизни мужика, который пашет землю? Но этому мужику не нужны ни философия, ни поэзия... А Пушкин, по-французски говоривший лучше, чем многие французы, — он что, *не народ*? Не русский?.. Все Москва пересолит, заставь ее Богу молиться, так и лоб расшибет...»

Жуковский пишет из Германии, что рад был побеседовать с Алексеем Хомяковым. Вяземский соглашается с тем, что Хомяков — «замечательно умный и приятный человек», но тут же добавляет: «Признаюсь, не понимаю, чего хотят они, то есть Хомяков и московская братия. В подробностях они большею частию правы, но подведите все это под одно заключение... и все это рассеется, испарится. Во всяком случае, тут одно очень не хорошее начало: враждебство ко всему чужеземному. Это чувство гордости, но что-то вместе с тем и холопское. Наше время, время чужеземного владычества, по их мнению, дало однако же России 12-й год, Карамзина, Пушкина, если позволишь, и Жуковского. Нынешнее время, то есть их время... что дало России? Ровно ничего... Конечно, мы Западу многим обязаны. Думать, что мы и без него управились бы, образовались, все равно, что уверять, что, может быть, и без солнца было бы светло на земле. Боже упаси раболепствовать нам пред Западом, жить одною жизнью его и действовать беспрекословно и необдуманно по одному его лозунгу. Но подавать ему руку, брать из руки его то, что нам подобает и пригодиться может, это дело благоразумия... Выдумывать какое-то новопросвещение на славянских началах, из славянских стихий смешно и не-

лепо. Да и где же эти начала, эти стихии?.. Вот отчего я говорю, что эти отчаянные руссословы — более всего немцы и что коренная Русь верно их не понимает и не признает».

Будучи в Москве в 1840 году, Вяземский уже застал пылкие споры в салонах Елагиных и Свербеевых — славянофилы и западники искали истину, давно лежавшую, как Вяземский думал, на поверхности. Увлекся этой возней Языков, Гоголя изо всех сил пытались в нее втравить, и даже полуфинн Филипп Вигель, старый арзамасец Ивиков Журавль, оказался внезапно пламенным патриотом и главою «православной партии»... С католиком Чаадаевым многие теперь уж не хотели и здороваться... Вяземского при виде всего этого одолевали то смех, то уныние — на что люди тратят силы, ум, энергию... Если они дурачатся — это глупо; если всерьез так думают — это и вовсе безумие... Сам он определил свою позицию в споре уже давно: «Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца, я удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с головы до ног, но признавал, несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться».

Славянофильский «Москвитянин» был единственным журналом, который интересовал Вяземского, пусть и с оговорками, в 40-х годах. Жуковскому он сообщал свое мнение вполне откровенно: «Все прочие журналы такая дрянь»... Вяземский был огорчен, когда «Москвитянин» начал выходить нерегулярно, и радовался тому, что в конце 1847 года журнал возродился «в первобытном виде». «Сердечно радуюсь возрождению «Москвитянина», — писал он Погодину. — Желаю ему здравия и долгоденствия. Этот журнал полезен и нужен в наше время. Должно противодействовать пагубному направлению нашей журналистики... Если имя мое может вам пригодиться, то прошу выставить его в числе ваших сотрудников. Это будет для меня и приятно и лестно».

Но даже в близком ему «Москвитянине» Вяземский не опубликовал за десять лет ни одной публицистической работы. Хотя издатели этого журнала относились к князю с почтением — для многих он был своего рода патриархом, — все же его скептические отзывы о славянофильстве доходили до Погодина и Хомякова, и предоставлять князю слово в качестве критика в своем журнале они не спешили. Так что в полном смысле слова «своего» печатного органа у него не было. Издавался, правда, «Современник», до 1847 года принадлежавший Плетневу, но акции этого журнала падали, и

в нем князь напечатал только два стихотворения. В феврале 1843 года Вяземский затеял было вместе с Михаилом Глинкой и Владимиром Одоевским «драматическо-музыкально-художественный» сборник, а год спустя пытался издать собранную еще при Пушкине «Старину и новизну» (в ноябре 1844-го она прошла цензуру), но осуществить эти планы так и не удалось. Оставалось жаловаться Жуковскому: «Ты не поверишь, как при этом разливе мнений, совершенно мне противоположных, трудно отстаивать свое мнение. Я один против всех. Даже и сын идет на отца, и от Павлуши мне крепко достается. Впрочем, я обыкновенно отступаю на попятный двор. Жаль, что нельзя печатно перебивать эти вопросы. Тут я как-нибудь бы сладил».

Впрочем, и вопросов, которые вызывали у Вяземского желание их «печатно перебивать», становилось все меньше. Для него не стали событиями ни «Герой нашего времени», ни даже вышедшие в мае 1842 года «Мертвые души», вокруг которых бушевал настоящий критический ураган... Он только усмехался, читая статьи Греча, Сенковского и Полевого, видевших в поэме Гоголя очередной фарс; усмехался, читая похвалы Гоголю Белинского и особенно Константина Аксакова, который находил в «Мертвых душах» нечто величественное, наподобие «Илиады» Гомера... Истины, по мнению Вяземского, не было в обеих этих крайностях. Он призывал Жуковского подвести итоги обсуждения «Мертвых душ», сказать единственно верное заключительное слово: «Гоголю нужно услышать правду о себе». Но сам этой «правды» говорить не собирался: «Мертвые души» остались для Вяземского талантливым, ярким, но отнюдь не эпохальным произведением. «Это галерея людей, более или менее больных общечеловеческими болезнями и в особенности русскими болячками; портреты писаны бойкою кистью и красками чрезвычайно живыми и яркими. Вот и все; а если и скрывается в этом творении тайный смысл... то тем хуже», — писал он Шевыреву.

В 1843 году, правда, появилась-таки книга, сумевшая задеть Вяземского за живое — и очень сильно. Это был изданный в Париже четырехтомник французского писателя Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году».

Маркиз де Кюстин прибыл в Россию в июне 1839 года. Писательскому кругу его рекомендовал декабрист-эмигрант Николай Тургенев; он обратился с письмом к Вяземскому, прося его свести маркиза с Чаадаевым и Одоевским и вообще оказать ему достойный прием. Со своей ролью гида при иностранных писателях Вяземский свыкся, поэтому согла-

сился выполнить просьбу Тургенева. Во время своего недолгого пребывания в России Кюстин собирал материалы для книги-памфлета «Россия в 1839 году», где опытным пером фельетониста расписал социальные уродства «северного колосса». Кюстину не нравилось в России *все*, начиная с деспотического образа правления и заканчивая климатом. Книга вышла бойкая, любопытная, яркая, но во многом несправедливая и неумная.

Памфлет Кюстина, вышедший в 1843 году в Париже, вызвал множество откликов. Он был тут же запрещен к ввозу в Россию, но, разумеется, все, кто хотел прочесть книгу, прочли ее. За рубежом появилось множество хвалебных откликов на сочинение маркиза. В России же книга подверглась серьезной и справедливой критике. Оппоненты Кюстина указывали на поверхностность впечатлений автора, полное незнание им русской истории и культуры, смешение им придворных кругов с образованной частью общества. С опровержениями на книгу Кюстина выступили Чаадаев, Тютчев, Хомяков, Греч, Вигель.

Прочитав «четыре тома одних взглядов, умозрений, поверхностных наблюдений» Кюстина, Вяземский ощутил тоску и усталость. Но многое в книге француза его и возмутило — например, неточное описание пожара на пароходе «Николай I», фраза о том, что русские путники из Европы в Россию возвращаются всегда с неохотой и выглядят мрачнее тучи... Мало-помалу складывался план статьи-отповеди. Мысль о ней подал Александр Тургенев. «Мы знаем наши собственные недостатки намного лучше, нежели наши пересудчики и хулители, — говорилось в этой статье. — Мы видим все то, что нам еще недостает как нации, являющейся дочерью великой европейской семьи. Мы знаем, что нам необходимо еще много трудиться над самими собой и многое приобрести с тем, чтобы достичь того положения, к которому влекут нас наши условия и наши обеты. Мы не ставим наше собственное движение впереди всей цивилизации: мы не претендуем быть наставниками и учителями других народов. Но мы также обладаем своим местом под солнцем, и не маркизу де Кюстину лишать его нас».

Свою статью Вяземский не закончил — его выбил из колеи указ Николая I «О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов» от 15 марта 1844 года. 21 марта князь размахнулся на большое письмо Жуковскому, где изливал душу:

«Я полагал, что я уже вовсе охладел к общественным делам и смотрел с каким-то безнадежным, но и равнодушным

унынием на хроническую болезнь России. Но этот неожиданный взрыв взбудоражил меня и пробудил во мне уснувшие страсти. Честью клянусь, что в течение двух недель этот указ лежал на груди моей как удушье, не давал мне спать, мешал мне порядочно говеть. Я не мог опомниться от этого указа, который нас всех треснул по голове... Неудовольствие и ропот против этой меры всеобщие, во всех званиях, начиная от государственных людей до мелких частностей. Но, верно, не сыскалось ни одного человека, который осмелился бы решительно сказать о том, кому ведать надлежит. Безгласность, низость, трусость, в которых погрязли наши сановники, неимоверны. Ни один из них не понимает, что для самой пользы монархической, для самой пользы лица, которому они будто бы преданы, бывают случаи, в которые обязанность требует отказываться от участия в мерах, признаваемых пагубными. Каждый видит, что меры пагубны, но ни один из них не имеет духа отойти от зла, идти в отставку и протестовать добросовестно и в истинном смысле верноподданнически против направления, которое всех пугает. Никогда еще общее уныние не было так решительно и глубоко, как ныне. Всего не выскажешь, всей горечи не изольешь, и лучше наложить печать на уста и на сердце. Мудрено ли, что Европа вопиет против нас, когда мы во всем идем против течения. И счастливо еще, что Европа и все ее Кюстины и журналы врут и не знают половины того, что у нас делается, и судят криво и бестолково о том, что знают худо и поверхностно. Истина была бы гораздо хуже всех вымыслов или обезображенных рассказов... Я было написал довольно обширное и довольно удачное — по свидетельству тех, которым прочел, — опровержение Кюстина и готовился отправить в Париж для напечатания. Но указ окатил меня холодною водою и, вероятно, не решусь напечатать. Обстоятельства таковы, что честному и благомыслящему русскому нельзя говорить в Европе о России и за Россию. Можно повиноваться, но уже нельзя оправдывать и вступаться. Для этого надобно родиться Гречем».

Князь остался чист перед своей совестью. Он возмущен глупой книгой де Кюстина и считает нужным откликнуться на нее статьей, которую к тому же хочет опубликовать в Париже — отповедь предназначена, конечно, французским сторонникам маркиза. Но вот выходит возмутительный, по мнению Вяземского, правительственный указ — и он тут же отказывается от своих намерений, потому что русская глупость возмущает его не меньше французской. Оправдывать в глазах Европы отечество, когда оно продолжает делать яв-

ные ошибки, — для этого нужен особый талант, «для этого надобно родиться Гречем», который охотно растолкует западной публике любой указ и обоснует его необходимость...

Весной 1844 года в князе действительно проснулись «уснувшие страсти», и причиной этому, надо полагать, послужили именно Кюстин и закон от 21 марта. «Россия в 1839 году» — взгляд постороннего человека, не обремененный ни любовью к России, ни даже сочувствием к ней, — заставила князя взглянуть в глаза «истине, которая была бы хуже всех вымыслов или обезображенных рассказов». В записных книжках Вяземского снова появляются резкие политические записи...

Как и двадцать лет назад, он убежден, что самые высокие должности занимают люди, абсолютно им не соответствующие. Он считает, что внутренняя политика России — это бессмысленное дерганье на месте, без плана и цели, «детские скачки, то вперед, то назад, то в сторону». Но теперь за его язвительными комментариями — не полыхающая ярость, направленная против «подлых тигров», а только бессильная горечь 52-летнего человека, от которого ничего не зависит.

«У нас нет никакого уважения к закону и к законности. Никто не совестится избегать или уклоняться от законов. Это происходит потому, что у нас закон не является ***властью моральной***, а представляет собой только *личную волю...* Над законом властвует еще нечто более сильное, чем закон», — пишет он, понимая, что так будет всегда...

«Как в литературной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком, так и в государстве он рожден для оппозиции. Тут был бы он на месте и лицо замечательное. В рядах государственных деятелей он ничтожен», — пишет он, понимая, что никакой «оппозиции» в России не предвидится... И, кстати, имея в виду и себя — «ничтожного» в рядах так называемых «государственных деятелей».

Глядя на тщетные попытки старого приятеля графа Павла Дмитриевича Киселева, министра государственных имуществ, внушить Николаю I мысль о необходимости освобождения крестьян, он записывает: «В отличие от других стран, у нас революционным является правительство, а консервативной — нация. Правительство способно к авантюрам, оно нетерпеливо, непостоянно, оно — новатор и разрушитель. Либо оно погружено в апатический сон и ничего не предпринимает, что бы отвечало потребностям и ожиданиям момента, либо оно пробуждается внезапно, как от мушиного укуса, разбирает по своему произволу один из жгучих

вопросов, не учитывая его значения и того, что вся страна легко могла бы вспыхнуть с четырех углов, если бы не инстинкт и не здравый смысл нации, которые помогают парализовать этот порыв и считать его несостоявшимся. Правительство производит беспорядки: страна выправляет их способом непризнания; без протеста, без указаний страна упраздняет плохие мероприятия правительства. Правительство запрашивает страну, она не отзывается, на вопрос нет ответа». Киселева он довольно жестоко судит — «в нем много самодовольства, дерзости, жажды славы» — и приходит к выводу, что министр государственных имуществ опять-таки занимает не свое место. «Но у нас власть совершенно лишена способности узнавать и чувствовать людей» — в этой фразе Вяземского прорвалась внезапно его давняя, неутоленная обида на тех, кто заставил его 15 лет назад выйти из большой политики, где он был бы так полезен...

И продолжает свои рассуждения: «Нам следует опасаться не революции, но дезорганизации, разложения. Принцип, военный клич революции: «Сойди с места, чтобы я мог его занять!» — у нас совершенно неприменим. У нас не существует ни установившегося класса, ни подготовленного порядка вещей, чтобы опрокинуть и заменить, что существует. Нам остались бы одни развалины. Такое здание рухнет. Само собой разумеется, что я говорю только о правительственном здании. Нация же обладает элементами жизнеспособности и самосохранения.

Людовик XIV говорил: Государство — это я! Кто-то другой мог бы сказать еще более верно: Анархия — это я!»

Он видел в Николае I не огромного роста красавца, перед которым трепещет и которого втайне ненавидит Европа, а мятущегося, мнительного монарха, озабоченного только состоянием умов своих подданных, сознающего, что какие-то перемены нужны, — и ненавидящего необходимость этих перемен. Отсюда появление правительственных комитетов, которые бесконечно заседают, пытаясь улучшить положение крепостных крестьян, — и все время натыкаются на жесткое противодействие императора... Отсюда «анархия — это я!».

Князь еще раз оглядывается на времена своей молодости, пытаясь постичь логику развития этой алогичной страны. Страны бесконечно родной и в то же время живущей совершенно не так, как хотелось бы, как надо бы ей жить...

«У нас *самодержавие* значит, что в России все *само собою держится*», — признает он свое поражение, свое бессилие понять что-либо и повлиять на ход событий, которые неспешно идут куда-то без него... И с глубокой печалью за-

ключает: «Одна моя надежда, одно мое утешение в уверении, что он и они (Николай I и его окружение. — *В. Б.*) увидят на том свете, как они в здешнем были глупы, бестолковы, вредны, как они справедливо и строго были оценены общим мнением, как они не возбуждали никакого благородного сочувствия в народе, который с твердостью, с самоотвержением сносил их как временное зло, ниспосланное Провидением в неисповедимой своей воле. Надеяться, что они когда-нибудь образумятся и здесь, безрассудно, да и не должно».

Записи эти ни в коем случае не говорят о том, что Вяземский не любит Россию или ее государственный строй. Все обстоит как раз наоборот. Именно страстная, пристрастная любовь к России, желание видеть родную страну счастливой и сильной и заставляют его делать в тайном дневнике горькие заметки для самого себя. Во многом он союзник Николая I (например, политика Уварова в области просвещения Вяземскому очень близка) — но кто же виноват, что власть в стране находится в руках неспособных к ней людей...

...Статья-отповедь Вяземского Кюстину была все же опубликована именно там, где он и предполагал ее печатать, — в Париже. Правда, произошло это не в 1844 году, а в труднопредставимом для автора 1967-м. Ответ Кюстину вроде бы прозвучал (статья получила известность в рукописи, Жуковский назвал ее «прелестью») — и все же не прозвучал: журнала, который взялся бы ее опубликовать, в России не было. Кроме того, печатать статью в России и для русской публики не было никакого смысла: она предназначалась именно «на экспорт»...

Если бы было где, с удовольствием бы выступил Вяземский не только против заезжего французского памфлетера, но и против некоторых отечественных борзописцев, казавшихся ему куда более опасными для страны. Каждый раз, раскрывая том «Отечественных записок» Краевского, он находил там если не большую статью, то уж непременно рецензию за подписью Виссариона Белинского. Эта фамилия была Вяземскому очень памятна — невольно запомнишь человека, который в 1834 году объявил о том, что Пушкин, дескать, умер... Сам он не имел счастья знать лихого критика, но наверняка рассказывали ему о нем Плетнев или Одоевский. Любимыми героями Белинского были Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Кольцов («Мертвые постоять за себя не могут», — думал Вяземский) и Гоголь («Как, должно быть, Гоголю противны его похвалы!»). Но писал Белинский не только о вечном, а *обо всем* (как он сам признавался — «об

азбуках, песенниках, гадательных книжках... о книгах, о клопах, наконец, о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия»), из чего Вяземский заключил, что оборотистый Краевский просто купил Белинского в собственность и заставляет поставлять для журнала определенное число кубических саженей исписанной бумаги...

Белинский, этот маленький, чахоточный, заросший бородой человечек, был для Вяземского символом, воплощением «деловой эпохи», внезапно наступившего *Реального века* русской литературы. Реальный век показывал свои зубы еще в конце 20-х, в писаниях «демократов» Булгарина, Полевого и Сенковского, но прежние кумиры черни показались Вяземскому простодушными детьми, когда вышел на большую литературную сцену тридцатилетний Белинский, недоучившийся студент, смотрящий на мир то восторженно, то озлобленно, меняющий взгляды каждые полгода, несостоявшийся поэт и драматург, решивший перекроить историю русской литературы по своему разумению... Его отличительной особенностью было, по мнению князя, «литературное ухарство и валяй по всем по трем, куда ни попало». Духовным отцом Белинского Вяземский всегда считал Полевого — именно Полевой, по мысли князя, «приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина». Белинского же Вяземский характеризовал убийственно кратко: «Полевой, объевшийся белены». А в 1857 году в письме к Шевыреву уточнил, что Белинский был просто литературный бунтовщик, который за отсутствием бунта на площади бунтовал в журналах.

Из восхищенных отзывов современников о Белинском можно составить толстый том. И нет сомнения, что это был выдающийся человек, прошедший сложный духовный путь, философ, эрудит, обладавший тонким художественным чутьем и разносторонними дарованиями. Но также нет сомнения и в том, что образованность Белинского (и Некрасова, Боткина, Писарева, Добролюбова) — это образованность, приобретенная на медные деньги, пахнущая бесприютными бедными семьями, сырыми петербургскими чердаками, литературной халтурой в журналах не первого разбора... Тем ярче были эти люди, преодолевшие и бедность, и окружавшее их мещанство, и литературные трудности. Но это не был мир Вяземского. Наверное, в идеале Белинский и Вяземский должны были существовать в параллельных измерениях, не слышать друг о друге и никогда не пересекаться. В

социальном смысле так оно и было — Вяземский не был знаком с Белинским просто потому, что *не мог быть с ним знаком*: они принадлежали даже не к разным классам, а к разным цивилизациям. Но на дворе стояли 1840-е, и русская литературная жизнь стремительно демократизировалась. Белинский печатался в самом популярном журнале — «Отечественные записки», и не замечать его существования Вяземский, увы, не мог. Равно как не мог и ответить Белинскому на страницах, допустим, «Современника» — хлесткого слова Белинского боялись, Плетнев не желал с ним ссориться. И высокий тираж «Отечественных записок» (в 15 раз больше подписчиков, чем у «Современника» и «Москвитянина» вместе взятых!), и уверенно-снисходительный взгляд разбогатевшего Краевского (которого Вяземский помнил скромным юношей, в немом восторге внимающим Пушкину) говорили об одном: статьи Белинского, его взгляды пользуются спросом у читающей публики. Золотой век отступил в прошлое так стремительно, что князь не успел этого осознать. Он видел торжество «натуральной школы» в прозе, видел, как «Современник» Плетнева перешел в 1847 году в руки бойкого Некрасова, видел, как на глазах лепят посмертную репутацию Лермонтову и прижизненную Гоголю, — и ему казалось, что происходит что-то несообразное, странное, что можно еще дать решительный бой журнальным крикунам-недоучкам и вернуть утраченные позиции... а это был новый, Реальный век, в литературе которого на одного князя приходилась тысяча обер-офицерских детей. Век этот деловито двигался вперед, к Прогрессу, Равенству, Социальной Справедливости. С Большими Идеями мирно соседствовал Большой Бизнес — мечты Некрасова о «миллионе» хотя и вызывали насмешки бессребреника-труженика Белинского, но уж слишком явственно звучали в этих насмешках обертона одобрения и зависти... И что за дело было Реальному веку до каких-то обломков пушкинской эпохи?..

Конфликт между Вяземским и Белинским не был конфликтом передового прогрессивного критика и безнадежно отставшего от времени поэта, не желающего признавать свое историческое поражение. Конфликтовали два разных культурных уровня, две традиции, две эпохи, наконец, две России: Россия аристократическая, элитная, и Россия разночинная, мещанская. Недаром главным аргументом Белинского против Вяземского была «светскость» его творчества, то есть предназначенность узкому кругу высшего просвещенного дворянства. Поэтому примирение или взаимопонимание между Вяземским и Белинским в принципе были

невозможны. Ждать от Вяземского, что он, потомок древних русских правителей, радостно признает свою «устарелость» и согласится с тем, что первые роли перейдут к «поколению дворников», было бы наивно. Понять Вяземскому Белинского — значило отречься от всей своей литературной судьбы, от мира Карамзина, Жуковского и Пушкина, от мира дворянской цивилизации и культуры. И хотя Пушкин в 1836 году сделал шаг навстречу Белинскому, он руководствовался исключительно интересами своего дела — «Современника» (то, что не удалось Пушкину — купить Белинского в свой журнал, — удалось два года спустя Краевскому, и это действительно был прекрасный коммерческий ход). Вяземский же поступаться своими принципами не собирался. Он по-прежнему видел литературу олимпом, куда допускались лишь избранные, и искренне презирал агрессивных недоучек-самозванцев — сначала Булгарина, потом Полевого и, наконец, Белинского...

Олимп... Между тем еще Пушкин метко назвал русскую словесность «вшивым рынком». На «вшивом рынке» Белинский был очень даже уместен...

Вяземский не мог этого понять — и не потому, что был ограничен. Он стремился к старому утраченному идеалу: во главе литературы — ее духовный лидер и вождь (какими прежде были Карамзин и Пушкин), вокруг — талантливые друзья-соратники. Наступившую после смерти Пушкина эпоху он видел Смутным временем, которым пользуются многочисленные Лжедмитрии. Ни Гоголь, ни Лермонтов, по мнению Вяземского, прав на литературный трон не имели — просто потому, что были в глазах князя «писатели с дарованием» и не более того. Тут нужен был человек, который своим духовным авторитетом мог объединить и примирить все враждующие течения, перед которым склонились бы и Булгарин, и Белинский, и Вяземский... Единственным кандидатом на «трон» был для князя Жуковский, но он «корону» так и не принял, предпочтя тихое творчество и семейную жизнь... В результате — хаос и быстрое вырождение словесности... Новое поколение «литературных наездников», одержимое «демоном миллиона», спешило обустроить свои дела. «Вшивый рынок» бойко торговал всякой дрянью...

Чего ждал Вяземский от русской литературы? Того, что после смерти Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Жуковского она тихо самоликвидируется, убедившись в том, что повторить достигнутое невозможно? Или — надеялся на то, что невесть откуда возьмется новое поколение дворянских юно-

шей-поэтов, которые составят такую же дружную и веселую плеяду, как прежде? Что подрастет новый Пушкин и разгонит зарвавшихся белинских?..

В 1830 году, когда Булгарин и Полевой поливали грязью «Литературную газету», Вяземский не стал ввязываться в полемику с ними: это означало опуститься до уровня неблагородного противника. Уже тогда «Литературная газета» проиграла конкурентам по всем статьям. Но в начале 30-х авангард дворянских писателей был еще достаточно силен и мог делать хорошую мину при плохой игре. Двенадцать лет спустя Вяземский сокрушался в письме к Жуковскому — дескать, тогдашняя политика была неверной, мы сами уступили поле полевым, а теперь удивляемся, откуда взялся Белинский... Но если даже допустить, что в сороковые годы преодолели внутренние раздоры и объединились бы все действующие писатели пушкинского уже не круга, но времени (Жуковский, Баратынский, Языков, Плетнев, Гоголь, Тютчев, Шевырев, Хомяков, Погодин, Аксаковы), и попытались вернуть утраченное влияние на публику — нет сомнения, что коммерческий провал их предприятия (альманаха, журнала ли) был бы неизбежен. Они еще были выходцами с олимпа — за Белинским уже стоял «вшивый рынок», могучий *массовый читатель*, взращенный не на Карамзине, Пушкине и Жуковском, а на романах Булгарина и «Библиотеке для чтения» Сенковского, за Белинским стояли его духовные единомышленники и последователи, и аристократическая концепция развития литературы, предложенная Вяземским, встретила бы только грубые насмешки. Она не была нужна ни новым писателям, ни новым читателям. Каждый следующий год работал только на Белинского и К^{o}...

Эпоха хоронила князя и его ровесников заживо.

Надгробные слова Белинского Вяземскому были разнообразны. То он пускал умиленную слезу над стихами «одного из замечательнейших представителей своего поколения» (надо полагать, это писалось под сильным нажимом Краевского), главное достоинство которого — то, что он не мешает жить молодым. То «простодушно» ставил его в один ряд с Мерзляковым и Василием Пушкиным, безнадежно устаревшими второразрядными литераторами. То неожиданно хвалил неопубликованного «Фон-Визина», отдавая Вяземскому первое место среди современных русских историков («Вяземского он не смеет еще рубить с плеча и гладит его притворными ласками», — комментировал Плетнев). То рассуждал о том, что «светский» поэт не может быть интересен прогрессивному русскому читателю, которому, конеч-

но, в высший свет вовек не попасть, — никаких Больших Идей творчество Вяземского не несет, потому оно бесполезно и для литературы, и для общества.

При этом Белинский вовсе не питал к Вяземскому особенной личной неприязни. Вяземский был ему неинтересен *как явление*, как представитель своего класса и круга, как человек общества, куда его, Белинского, никогда на порог не пустят. Его существование было для Белинского досадно, как досаден разночинцу богатый и благополучный барин; как досаден юноше полный творческих и жизненных сил старик, которого хотелось бы поскорее списать в архив, да вот повода к этому пока что нет. При всем разнообразии откликов Белинского на произведения Вяземского — а отклики, как видим, колебались от благодушного приятия до пренебрежительного полуотрицания — это были именно что надгробные слова, которые с разными оттенками в голосе произносятся над заслуженным покойником. Белинский прекрасно понимал, что время Вяземского прошло, что он уже не представляет никакой опасности в качестве критика, и потому мог позволить себе снисходительно похваливать или небрежно побранивать бессильного противника. Только однажды выдержка изменит Белинскому, вспышкой прорвется на поверхность его ярость — ярость простолюдина, поставленного на место аристократом. Вяземский был далеко не так бессилен, как казалось Белинскому, и сумел-таки уязвить самонадеянного критика...

1 января 1847 года Плетнев принес князю новенькую, только что из типографии книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Вяземский знал о том, что она готовится к печати, — Гоголь еще с июля прошлого года забрасывал Плетнева письмами, в которых наставлял, как именно следует печатать его книгу, кому поднести ее в подарок и прочее. Плетнев об этом рассказывал Вяземскому с легкой улыбкой — в этой настойчивости, деловитости и обстоятельности Гоголя было что-то простонародное, моветонное. Вообще в письмах Гоголя в последнее время проскальзывали странные нотки учительства, будто ему дано было свыше какое-то тайное знание о судьбах человеческих. Прочитав главу из «Фон-Визина», он, например, советовал Вяземскому приняться немедленно за историю царствования Екатерины II, причем к почтительности советов примешивалось желание «указать... назначение»: «Вы владеете глубоким даром историка — венцом Божьих даров... Грех и веч-

ные упреки будут на душе вашей, если вы не приметесь за великий подвиг... Клянусь, вы станете выше всех европейских историков. В этом труде вам откроется много наслаждения... Вы узнаете глубже и много таких сторон, каких вы, может быть, по скромности — не подозреваете в себе. Ваша жизнь будет полна! Во имя Бога, не пропустите без внимания этих слов моих!» Вяземский, прочитав это письмо, с улыбкой подумал, что Гоголь верно уж в себе самом много чего подозревает, раз берется давать такие советы... То же *ребячество* увидел Вяземский в статье Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским», опубликованной в «Современнике». От перевода «Одиссеи», над которым трудился Жуковский, Гоголь ждал чуда — какого-то общего переворота, который якобы должен свершиться во всех кругах русского общества... Вяземский сказал Плетневу, что здесь Гоголь похож на Руссо: тот тоже, кажется, ждал вселенских бед и общего падения нравов от того, что в Женеве откроется публичный театр...

Но ему все-таки нравилось то, что Гоголь — *настоящий*, что в нем живо сердце; что этот Гоголь мало похож на фатоватого Гоголька, сочинившего десять лет назад «Ревизора». И потому страницы «Выбранных мест» князь разрезал с особым волнением, которого давно уже не испытывал при встречах с новыми книгами.

Почему-то открылось на главе «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (ну и название, улыбнулся князь, неужели Гоголь берется поставить точку в этом вопросе?), и сразу упал взгляд на строки о Языкове: «Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга...» «Как хорошо о Языкове!» — думал Вяземский, уже успев заметить, что дальше Гоголь пишет *о нем самом*, но оставляя это чтение на потом — мысли уже полетели в Москву, где бедный, больной Языков все воюет за чистоту русской идеи, народность, православные стихии... Буквально через час Плетнев дрогнувшим голосом сказал ему о только что полученном известии: Языков уже пять дней как мертв. Эти совпадения поразили Вяземского. И совсем другими глазами перечитал он гоголевские строки.

«С ним навсегда умолкнул последний отзвук Пушкина, — думал он, сидя в кабинетных сумерках и листая «Выбранные места». — И слово Гоголя о Языкове, написанное о живом, вдруг стало светлыми и умилительными поминками». Два события слились в одно, соединились в созна-

нии — уход совсем еще не старого Языкова, все совершившего, все сказавшего, и новая книга Гоголя, его слово, за которым движение, жизнь, второй том «Мертвых душ», может быть, еще что-то... Нет, не умрет русская литература, не уйдет бесследно, за смертью спешит жизнь, и никаким Белинским не затоптать славные имена...

В марте он получил от Гоголя письмо с просьбой: «Окажите мне дружбу, которую я, разумеется, теперь еще не заслужил, но которую заслужу, потому что люблю вас... Вооружитесь, после внимательного прочтения моей рукописи, пером... Душа ваша, я знаю, много страдала втайне и приобрела чрез то высшее познание вещей... Взгляните на мою рукопись как на вашу собственную и родную... Итак не оставьте меня, добрый князь, и Бог вас да наградит за то, потому что подвиг ваш будет истинно христианский и высокий». Просьбу Гоголя Вяземский выполнил. И написал в апреле одну из лучших своих критических статей, которой дал двойное название: «Языков. — Гоголь».

Первую часть статьи он постарался выдержать в духе более-менее традиционного некролога, но, конечно, не удержался и выплеснул на бумагу кое-что из того, что тяготило его последние шесть-семь лет — главным образом это касалось славянофильства. «Мне не входит ни в голову, ни в сердце, что можно положить себе за правило и обязанность предпочитать русскую Волгу немецкому Рейну, — пишет он и тут же оговаривается: — Но понимаю Языкова, но сочувствую ему, умиляюсь и увлекаюсь чувством его, когда он остается *волжанином* в виду красивого Рейн-Гау или грозного водопада. Языков был влюблен в Россию». Это чувство Вяземский вполне понимает и разделяет. Но, с другой стороны, не спешит «отрубить чисто народное от общечеловеческого. Первоначально мы люди, а потом уже земляки, то есть областные жители».

Понимал ли он, что своими спокойными рассуждениями, стремлением избежать крайностей приведет в недоумение как славянофилов, так и западников? Конечно. Но такова была его позиция в этом споре — над схваткой. Искренне желая видеть главой русской литературы Жуковского, который мирил бы и успокаивал противников, он подсознательно сам принимал на себя роль мудрого арбитра в бесплодных теоретических боях...

Но смерть Языкова все-таки была частным событием, общественного эффекта она не произвела. Большинство копий вокруг славянофилов тоже было поломано в 1844—1845 годах — тема успела устареть. Поэтому большую часть ста-

тьи Вяземский посвятил гоголевским «Выбранным местам» — книге, которая стала, говоря современным языком, бестселлером 1847 года.

Реакция русского литературного общества на эту чудесную, ни на что не похожую книгу оказалась ужасной. Гоголь обращался к единой России, к стране, которой предстоит великое и светлое будущее, в которой, к счастью, нет «непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе», — и получил в ответ дикий озлобленный вой тех самых партий, существование которых он отрицал. Партии были, понятно, литературные. Гоголя мгновенно лишили своей любви и славянофилы, и западники...

О «Выбранных местах» говорили и писали разное. Книгу настолько *не понимали*, что пошел даже слух о сумасшествии автора (в этом был убежден, например, Михаил Погодин). В ответ на свою исповедь Гоголь выслушал обвинения в гордыне, отрицании России, противоречивости, измене (его уже успели объявить главой новой «натуральной школы» — теперь Белинский славил его изменником, отрекшимся от лучших своих творений), но самое страшное — в неискренности, ханжестве, фальши, *во лжи*. «Артистически рассчитанная подлость» — так назвал «Выбранные места» Белинский.

Теплых отзывов было неизмеримо меньше. Книга понравилась в основном представителям старшего поколения — Александру Тургеневу, Чаадаеву, Вигелю. С оговорками принял ее Жуковский. Булгарин тоже похвалил «Выбранные места», но, понятное дело, со своей колокольни — ему было приятно, что Гоголь публично отказался от «Ревизора» и «Мертвых душ»...

Мнение Вяземского о книге, как обычно, не укладывалось в общепринятые рамки, не соответствовало представлениям о Гоголе какой-либо «партии». Поэтому заранее можно было сказать о том, что статья «Языков. — Гоголь» не угодит никому (как не угодил никому и сам Гоголь). И потому читать эту статью сегодня особенно интересно. Среди поднявшегося в русской критике партийного шума и воя только два человека сумели сохранить объективность и взглянуть на «Выбранные места» незамутненными глазами — это Аполлон Григорьев (его статья появилась в «Московском городском листке») и Вяземский.

Он отнюдь не становится на защиту книги Гоголя грудью и не скрывает того, что многое в «Выбранных местах» ему не нравится. Полная откровенность Гоголя с публикой, обнажение потаенных своих мыслей и чувств не могли вызвать

в князе сочувствия — для него это слишком отдавало дурным вкусом и опять-таки ребячеством в духе Руссо. Он был воспитан иначе и никогда не впускал в свой внутренний мир посторонних (как и Пушкин). Попутно, кстати сказать, Вяземский высказывает Гоголю множество претензий по поводу «Мертвых душ» (по его мнению, в них чересчур уж сгущены черные краски, и «картина от того слишком одноцветна») и по поводу его творчества в целом. Упреки эти поданы Вяземским в очень мягкой форме, но все-таки можно понять, что именно в Гоголе ему не нравилось — сосредоточенность на одном только «хламе и нечистоте общества». По мнению князя, «Гоголь первый, особенно «Мертвыми душами», дал оседлость у нас литературе укорительной, желчной и между тем *мелко придирчивой*». Но, с другой стороны, это уже беда не самого Гоголя, а его бесталанных последователей: «Отдельный голос его имел прекрасное и полезное значение. Но на беду сто голосов подтянули ему и все дело испортили».

Отдельные недостатки присущи и «Выбранным местам» — слишком далеко заносится автор в область благих мечтаний, где строит свои воздушные замки... Но недостатки книги — не что иное, как соринки, которые легко устранить движением пера. Целое же «есть чистая, светлая храмина. Строгое и стройное убранство ее успокаивает зрение и душу... Она призывает к тихому размышлению, втесняет нас, сосредоточивает в самих себя. Из нее выходишь с духом умиленным, с сознательностью и с чувством любви к ее строителю и хозяину». С художественной точки зрения к Гоголю никаких претензий нет: «Письма «О нашей церкви и духовенстве», «О лиризме наших поэтов», «Христианин идет вперед», «Светлое Воскресение», некоторые из литературных портретов его и оценок и многие другие места, здесь и там разбросанные в книге, могут стать наряду с лучшими образцами нашей прозы». «Везде виден человек, который духовными исследованиями над собою и жизнью доискался многого и дошел далеко», — пишет Вяземский, и сложно поверить сейчас, что в 1847 году он, в сущности, *один* отозвался об исканиях Гоголя с таким глубоким уважением и пониманием. Не одобряя гоголевской экзальтации, он все же в полной мере сумел оценить его душевный порыв. Он как никто почувствовал, что «Выбранные места» — действительно исповедь, а не притворство опытного актера, не фарс, разыгранный перед доверчивой публикой. И, не соглашаясь с многими мнениями автора, склонил голову перед его книгой как перед муже-

ственным и достойным поступком, равных которому не было в русской литературе...

Конечно, он не мог не задеть в своей статье и Белинского — Белинского, который отозвался на «Выбранные места» раздраженной статьей в «Современнике», который объявил эту книгу падением Гоголя. Следуя старой, еще 20-х годов, журналистской этике, Вяземский так и не называет своего главного противника по имени, но адресат его выпадов легко узнается. Это был отзвук *прежнего* Вяземского, славившегося острыми, изысканно издевательскими стрелами в адрес оппонентов... «В некоторых журналах, — пишет он, — имя Гоголя сделалось альфою и омегою всякого литературного рассуждения. В литературной нищете своей многие непризванные писатели кормились этим именем как единым насущным хлебом своим». *Непризванный писатель*, то есть писатель не по призванию, а по случаю, наверняка должен был взбелениться при этих словах... А Вяземский продолжает вроде бы мягко иронизировать, а на деле — больно и справедливо колоть Белинского, выставляя его на посмешище: он-де кадил Гоголю фимиам, а Гоголь «Выбранными местами» резко отвернулся от своего «глашатая». Положение «оторопевшего» от неожиданности Белинского и его союзников «неприятно и забавно». «Но что же делать? — заключает Вяземский. — Сами накликали и накричали они беду на себя». И напоминает с убийственной иронией, что в ведомстве Белинского остаются еще *покойники*, которые не могут постоять за себя, — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Кольцов... Вот над ними вполне можно производить опыты «гальванической критики» (объявляя, например, Кольцова «гениальным талантом» и подробно разъясняя, чем именно гениальный талант отличается от собственно гения и собственно таланта...). А Гоголь жив — и, кстати, не принадлежит никому. «Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странные требования, — замечает Вяземский. — Казалось ей, будто она и мы все имеем какое-то крепостное право над ним, как будто он приписан к такому-то участку земли, с которой он не волен был сойти. На эту книгу смотрели как на возмущение, на изъявление предательства и неблагодарности... Гоголь только тем пред вами и виноват, что вы не так мыслите, как он. Мы чувствуем и толкуем о независимости, о свободе понятий, а в нас нет даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный нам единомышленник, мы того считаем парием, каким-то чудовищным исключением. Мы готовы закидать его каменьями». В Гоголе он увидел не только искреннего человека, достойного уважения за смелый шаг, но и в некотором роде

свойственника по духу — писателя, не желающего поступаться убеждениями в угоду какому-либо клану, смело говорящего вслух то, что нельзя не сказать... *Любить* Гоголя призвал он в финале статьи, завершая ее большой цитатой из первого послания апостола Павла к коринфянам...

24 и 25 апреля 1847 года статья «Языков. — Гоголь» была опубликована в «Санкт-Петербургских ведомостях». Реакция публики была такой же, как на сами «Выбранные места» — раздраженное непонимание. Спокойные размышления о творчестве Гоголя и попытки отстоять право писателя на независимость не были понятны ни славянофилам, ни западникам... Вяземский, как и Гоголь, оказался виноват — тем, что мыслил не так, как все. «Скажу вам в двух словах, как сумею, свое мнение о вашей статье, — уже 29 апреля откликнулся из Москвы Чаадаев. — Вам, вероятно, известно, что на нее здесь очень гневаются. Разумеется, в этом гневе я не участвую. Я уверен, что если вы не выставили всех недостатков книги, то это потому, что вам до них не было дела, что они и без того достаточно были выказаны другими. Вам, кажется, всего более хотелось показать ее важность в нравственном отношении и необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора, и это, по моему мнению, вы исполнили прекрасно. Что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге. Все, что ни было о ней сказано другими, преисполнено какою-то странною злобою против автора... Вы одни относитесь с любовию о книге и авторе: спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и более иссякает, по крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще раз!»

Отзыв Жуковского о статье друга прозвучал чуть позже, в письме к Гоголю: «Читал одну прекрасную статью князя Вяземского, в которой, не осыпая тебя притворными похвалами, но и не скрывая слабых сторон твоих, он так мужественно, так трогательно защищает и твое произведение, и твой характер от нападок несправедливости». Историк литературы Яков Карлович Грот, который затем станет добрым знакомым Вяземского, тоже порадовался статье: «Она меня в высшей степени удовлетворила: она так хорошо выразила то, что я сам про себя думал о Гоголе и его последней книге. Статья написана с такою зрелостью и дельностью, какие очень редки в нашей литературе... Она дала мне о князе Вяземском гораздо высшее понятие, нежели какое я прежде имел о нем. Как бы хорошо было, если б он чаще подавал таким образом свой голос».

Эти теплые письма были одними из очень немногих добрых откликов на статью Вяземского. Даже его союзник Плетнев, отметив в ней «много ума, чувства, истины и красоты», посчитал все же, что здесь полно слабых, противоречивых и «пересоленных» мест. Статья не во всем понравилась и самому Гоголю (ему и Жуковскому князь послал 4 мая по отдельному оттиску, как и Чаадаеву). 11 июня Гоголь ответил Вяземскому письмом, полным благодарностей, однако заметил осторожно, что князь слишком уж сурово задел тех, кто ранее Гоголя прославлял... «Передай ему от меня словесно, — писал Вяземский Жуковскому, — или письменно, если он не с тобою, в ответ на письмо его, что по-христиански нет сомнения, что я *слишком сурово напал в статье моей на тех, которые прежде восхваляли его*, но в литературном и житейском отношении, я полагаю, что я прав. Нужно было и ему, Гоголю, сказать начисто правду. Все, что у нас было написано о Гоголе, нанесло вред и ему и общему мнению о литературе нашей».

Но статья Вяземского все же произвела на самого Гоголя большое впечатление. Он был очень подавлен плохим приемом «Выбранных мест», быстро разочаровался в этой книге — объективное и вместе дружеское мнение Вяземского было для него почти спасеньем. Отзвук статьи «Языков. — Гоголь» можно найти в незавершенной «Авторской исповеди» Гоголя, опубликованной только после его смерти, в 1855 году. Описывая прием, который встретила его книга, Гоголь писал: «Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением» — это запомнившийся ему образ, найденный Вяземским: «Странно присвоить себе право делать над живым телом анатомические опыты, рассекать живое сердце, как бесчувственное...»

Был у статьи «Языков. — Гоголь» и еще один внимательный читатель — Белинский. 15 июля 1847 года, будучи на лечении в силезском Зальцбрунне, он закончил знаменитое свое письмо к Гоголю, которое нашло адресата в Остенде. Белинский сочинял это послание, по его же словам, отдавшись гневу с закрытыми глазами, — и письмо получилось действительно яростным и требовательным, это было воплощение той самой *партийности* русской литературы, от которой Гоголь с ужасом отворачивался, той самой нетерпимости, о которой писал Вяземский... Белинский упоминает в своем письме, кроме адресата, всего четыре фамилии — издателя журнала «Маяк просвещения» Бурачка (мельком),

министра просвещения Уварова (мельком), Пушкина, «которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви» (яркий пример бреда Белинского) и... Вяземского. Причем если без всех прочих упоминаний Белинский мог бы легко обойтись — они, так сказать, всего лишь оттеняют «неправоту» Гоголя, — то Вяземский приплетен к делу не случайно: он для Белинского ни много ни мало союзник Гоголя, продолжатель его дела. А значит, достоин отдельного удара.

Белинский обижен за себя. Он пишет, что хвалил Гоголя пусть чересчур восторженно, но все же от чистого сердца, так что Гоголю не следовало бы «выдавать их головою общим их и нашим врагам». «Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, — ядовито пишет Белинский, — а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех более) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его “вялый, влачащийся по земле стих”».

Стрела Вяземского попала в цель. Никогда еще Белинский не писал о нем с такой душащей яростью и в таком базарном тоне. Ни одна из статей о «Выбранных местах» его не задела так, как статья Вяземского. И, захлебываясь от ненависти, он городит откровенную чепуху — называет князя «холопом в литературе», хотя уж в чем в чем, а в холопстве, то есть в принадлежности какому-либо клану, Вяземского никто не мог обвинить. И, конечно, применяет запрещенный прием — высказывает уверенность в том, что Вяземский своей статьей благодарил Гоголя за теплые слова о нем, сказанные в книге. Это тоже звучало глупо: Вяземский даже словом не намекнул нигде, что в «Выбранных местах» немало места отведено ему, да и не играл он никогда по булгаринским правилам: ты меня похвалишь — я тебя похвалю... И «великим поэтом» Гоголь вовсе Вяземского не объявлял, как мы увидим чуть ниже... Но Белинскому не до объективности. Он даже в книгу не заглядывает, чтобы цитату из Гоголя привести точно.

Вяземский прочел письмо Белинского только в 1872 году*. Его комментарий был сдержан, прост и в полном смыс-

---

* По всей видимости, первая публикация письма в герценовской «Полярной звезде» (1855) Вяземскому не была известна.

ле слова благороден: «В сущности, это письмо невежливо до грубости и в этом отношении дает мерило образованности и благовоспитания того, кто писал его... Переписку называет он (Белинский. — *В. Б.*) «надутою и неопрятною шумихою слов и фраз». Не скорее ли к письму его можно применить этот приговор?»

...Гоголь и Вяземский высоко ценили друг друга, но не были особенно близки. Для Гоголя Вяземский всегда оставался прежде всего князем, принятым при дворе, знаменитым литератором, другом и соратником Пушкина, человеком с именем и состоянием. Вяземский видел в Гоголе писателя с большим дарованием, великого художника, великого сатирика (так он писал о нем в 1873-м) — но не мыслителя, не гения, не главу русской литературы, не носителя высшего знания. Никакой тайны не видел Вяземский в Гоголе и упорно доказывал, что книги его не несут Больших Идей, что смысл и суть Гоголя не в этом. (Такая позиция во многом предвосхищает отношение к Гоголю Набокова.) Более того, чем дальше, тем больше предъявлял Вяземский претензий Гоголю в качестве родоначальника «новой» русской литературы — тенденциозной, обличительной, выискивающей во всем одну пошлость. Именно от Грибоедова и Гоголя, по мнению князя, пошла в России мода все чернить и осмеивать. Именно из Гоголя выводил Вяземский и Достоевского, и Толстого. И даже в похвалах, которые он расточал Гоголю и в 1836-м, и в 1847-м, и в 1873-м, отчетливо слышна нотка неудовольствия — неудовольствия тем, что Гоголь «сбил» русскую литературу с карамзинско-пушкинского пути.

Итак, во время немногих встреч они могли поговорить откровенно, но никогда не мог Гоголь сделаться близким и необходимым для Вяземского человеком. В истории с «Выбранными местами» они действительно оказались союзниками, и яростная реакция Белинского подтверждает это предположение. Но этот союз соединял не единомышленников, а двух людей, дороживших своей творческой независимостью и поддерживавших право друг друга на такую независимость...

Тем удивительнее то, что именно Гоголю посвятил Вяземский две свои замечательные критические работы — статьи «Ревизор» (1836) и «Языков. — Гоголь» (1847), а в 1853 году почтил его память теплым и прочувствованным стихотворением «Гоголь», вошедшим в цикл «Поминки», — в нем имя Гоголя стоит рядом с именами ближайших друзей князя: Жуковского, Пушкина, Алексея Перовского... Гоголю

отчасти посвящена и последняя критическая статья Вяземского (1873). И не менее удивительно то, что именно Гоголь сказал о Вяземском самые верные, тонкие и проникновенные слова... Большую характеристику Вяземского-поэта (и Вяземского-человека) Гоголь включил в главу «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», вошедшую в «Выбранные места из переписки с друзьями». Здесь Гоголь проявляет изумительное понимание личности Вяземского и особенностей его творчества — понимание, которое не было доступно ни одному современнику поэта. Кроме того, это вообще первая в русской литературе попытка оценить саму фигуру Вяземского исходя не из избитых штампов об «остроумнейшем писателе, знаменитом своими сатирами». Вовсе не близкий Вяземскому Гоголь проницательно разглядел в князе Петре Андреевиче *тайну.*

Собственно, и раньше друзьям-приятелям мимоходом случалось удивляться Вяземскому (именно — удивляться, а не просто восхищаться и признавать его дарования). «Как он (Вяземский. — *В. Б.*) мог на Руси сохранить свою веселость?» — искренне изумляется Пушкин в письме к Жуковскому. Это восхищенное изумление запечатлено и в знаменитой пушкинской надписи к портрету князя (богатство и знатный род сращены с возвышенным умом, простодушие — с язвительностью; странное, прекрасное сочетание!), и в незавершенном послании 1821 года: «Счастливый Вяземский, завидую тебе...» И Жуковский, который не раз становился жертвой жестокого остроумия Вяземского, без тени сомнения пишет Пушкину: «Этот Вяземский очень умный человек». Эта фраза звучит несколько странно — кажется, между друзьями приватные пояснения, кто именно умен, а кто нет, не очень уместны, это и так понятно. Но Жуковский не просто констатирует общеизвестный факт — он призывает Пушкина сделать выводы из этого факта, взглянуть на него еще раз, обрадоваться и удивиться ему. Вяземский очень умный человек — это праздник, таких людей мало в России, не теряй возможности прикоснуться к источнику...

Гоголь не был другом Вяземского, едва ли можно назвать их даже приятелями — и, бросив взгляд со стороны, увидел он Вяземского не в частностях, а с головы до ног. Это была объективная оценка доброжелательно настроенного человека — как и статья Вяземского «Языков. — Гоголь».

«Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем

здесь. В князе Вяземском — противоположность Языкову. Сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него, как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточения и округления мысли, затем чтобы выставить ее читателю, как драгоценность. Он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворения — импровизация, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком подготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, ум, остроумие, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по образованию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография фон-Визина» обнаружилось еще виднее обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни, словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем, и если бы таким же пером, каким начертана биография фон-Визина, написано было все царствование Екатерины, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слыщится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу; слышна несобранность в себя, неполная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелее участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель».

Все было в этом абзаце — и больше всего искреннее желание Гоголя наставить Вяземского на путь, который приведет его к духовному спасению, внутренней гармонии. Ост-

рое зрение Гоголя разглядело в Вяземском «пестрый фараон всего вместе», который неповторим и самоценен, в котором и кроется тайна его. Чуткий слух Гоголя расслышал в Вяземском «на дне... что-то придавленное и угнетенное», и это было точнее, суровее и правдивее всего, что говорилось о нем до сих пор. Слова об участи Вяземского, которая «тяжелее участи последнего бедняка», могли показаться почти жестокими. Но это была жестокость большого художника и учителя, это была жестокость «Выбранных мест», в которых Гоголь не щадил ближних своих из любви к ним, из желания спасти их души...

Услышал ли Вяземский этот страстный призыв Гоголя, этот крик любви, обращенный к нему?.. За год до смерти он перечитывал «Выбранные места» (в собрании сочинений Гоголя 1862 года), но прокомментировал посвященный ему пассаж, скрывшись за спасительной своей иронией: во-первых, Гоголь его перехвалил, во-вторых, что это за утверждение — дескать, история Екатерины Великой, вышедшая из-под пера Вяземского, непременно была бы выше европейских сочинений? Князь недоволен: «Вот здесь наталкиваемся мы на великороссийское самохвальство»... А прочитав про «отсутствие большого и полного труда», он откликается: «С этим приговором я совершенно согласен, но с оговоркою. Полно, *болезнь* ли это? — разве недостаток. И когда сей недостаток сознаваем самим человеком и, глядя на других, не затевает он труда выше сил своих, то эта мнимая *болезнь* есть, напротив, признак *здоровья*, а *недостаток* есть сила *здравомыслия*». Одним словом, Вяземский верен себе: не распахивать душу перед читателем, в тайники сердца и мысли его не пускать, на похвалы с независимым видом отозваться благодарно-снисходительной улыбкой, порицания с такой же мягко-наставительной улыбкой опровергнуть.

Но кажется отчего-то, что в 1847-м немало времени провел он над гоголевским абзацем, где, как на ладони, лежали перед ним и долгая его жизнь, и неудачи, и указания на труд-избавитель — не только литературный, но и духовный...

Статья «Языков. — Гоголь», несмотря на холодный прием, оказанный ей в литературных кругах, была крупным успехом Вяземского-критика — вокруг нее поднялся шум (а это главное), она задела Белинского, имя князя снова, как в конце 20-х, было у всех на устах... Это был *последний* его успех, сил на длительные баталии у 55-летнего критика уже не

было, да и запала никакого в душе не чувствовалось, но он все же решил выступить со своеобразным продолжением темы — статьей «Полевой. — Белинский». Ее замысел возник у него еще в конце февраля 1846 года, когда Вяземский побывал на похоронах бывшего своего соратника, а потом злейшего врага... Полевой оставил вдову, девять детей, шестьдесят тысяч долгу и странную память о себе в русской литературе. Глядя издали на гроб (покойник лежал небритый, в каком-то засаленном архалуке), Вяземский думал, что Полевой все же заслуживает участия как человек, который начал с нуля, трудился, имел способности, написал немало — но как он писал и что писал, это другой вопрос. Из творений его ни одно не пережило создателя, а вот пагубный пример уже пережил и, видно, надолго останется... «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» — все это дети «Московского телеграфа»... Вяземский вдруг подумал о том, что «Московский телеграф» был когда-то, двадцать лет назад, его собственным питомцем, что критика его тоже была в свое время лиха и многие кумиры падали в прах под его задорной дубиной... Так что в каком-то смысле наставник Полевого — он сам... Но князь тут же отогнал эту мысль: до 28-го года «Телеграф» был вполне приличным журналом, критикуя, он никогда не опускался до грубой бездоказательной брани, а поверженные им «кумиры» справедливо лежат в пыли до сих пор, и никто их извлекать оттуда не собирается. Полевой же покушался на святое — Карамзина, Пушкина... Конец «Телеграфа» стал для него катастрофой, и двенадцать лет он изо всех сил пытался быть актуальным и заслужить прощение властей. Правда, получалось это у него плохо. И вот теперь Полевой обрел достойного наследника — Белинского...

Вяземский не знал, что Белинский смертельно болен и лечение на европейских курортах уже не могло его спасти. Перебравшись в «Современник» к Некрасову, Белинский продолжал активно публиковать свои статьи — первая книжка нового журнала за 1847 год открывалась его обзором «Взгляд на русскую литературу 1846 года»... Одновременно с «Полевым. — Белинским» Вяземский начал писать свой «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина». Это был своего рода ответ Белинскому — обзор не одного года русской словесности, а всех десяти лет, проведенных без законного главы «республики письмен».

Готовя в 1870-х годах Полное собрание сочинений, Вяземский пересматривал свои старые рукописи и ко многим из них добавлял «постскриптумы» — свой «нынешний»

взгляд на давнюю проблему. Основной текст статьи при этом не подвергался переделкам. «Взгляд на литературу нашу...» стал единственным исключением: в сентябре — октябре 1874 года князь сильно расширил третью и четвертую части статьи, дописал конец пятой и целиком переделал шестую и седьмую части, посвященные Пушкину. Именно в этой редакции она сейчас публикуется в большинстве изданий. Такой поступок говорит об одном: тема, затронутая Вяземским в этой статье, была для него необычайно важной даже четверть века спустя.

«Взгляд на литературу нашу...» получился чрезвычайно мрачным: Вяземский фактически объявляет сороковые годы в русской литературе несуществующими, демонстративно не желая замечать ни одно новое имя, появившееся в печати. Говорит он только о Карамзине, Жуковском, Пушкине и Лермонтове (Гоголь не попал в эту компанию потому, что ему была посвящена отдельная статья), а итоги подводит невеселые: «Литература наша обрекла себя на десятилетний траур по кончине Пушкина». Очень много рассуждает о журналистике, которая развернулась невероятно, так, что оттеснила собой саму литературу: «История, роман, поэзия — все это перегорело в политический памфлет». Да и литературы как таковой уже нет — ее место заняла «книгопрядильная промышленность». «Все, что ныне читается с жадностию, разве это литература в прежнем смысле этого слова? — с едким презрением спрашивал князь. — Священнослужение обратилось более или менее в спекуляцию». К этой «спекуляции» он относил и яркие дебюты Гончарова и Достоевского, и всю «натуральную школу» русской прозы, и бурнопламенных славянофилов, и, конечно, Белинского с подручными. Для него не было оттенков в этой «новой» словесности. Нет, конечно, мелькали и отдельные удачи (нравились Вяземскому и Соллогуб, и Жадовская, и Фет, и Аполлон Майков, дебютировавшие как раз в 40-х). Но, как ему казалось, эти имена не делали погоды на фоне общего *хаоса*, бушевавшего там, где еще десять лет назад творил Пушкин, а двадцать лет назад — Карамзин...

Именно поэтому большая часть статьи — это не обзор современного состояния русской литературы (обзор целиком укладывается в строчку о «трауре»), а воспоминания автора о творчестве ушедших великих. Сдержанно отозвавшись о Лермонтове («был с великим дарованием, но он не успел вполне обозначиться. Преждевременная смерть оставила неразрешенную тайну: заместил ли бы он Пушкина

или нет. В недоумении можно думать, что нет»)*, князь с удовольствием предается подробному рассказу о Карамзине и Пушкине — отныне и до самой смерти они (в компании с Жуковским) будут для него идеалами русского писателя... Но лучше бы Вяземский в открытую напал на конкретного противника, как он сделал это в «Языкове. — Гоголе», — повествуя об ушедших кумирах своей молодости, он невольно впадал в скучный тон доброго дедушки, назидающего расшалившихся внуков. Упования на то, что престол «верховного главы» русской литературы будет пустовать недолго, звучали наивно. И как можно было всерьез надеяться на то, что Белинский умилится и устыдится, прочитав о светлых образах былого, осознает себя «Лжедимитрием» и покается?.. Попытка увещевать молодежь, уговорить ее жить по заветам пушкинского времени заранее была обречена на провал. Корни у Достоевского, Белинского, Некрасова, Ивана Тургенева и Панаева были совсем другими, и они при всем желании не смогли бы понять Вяземского...

Может быть, сам князь почувствовал, что во «Взгляде на литературу нашу...» им взят неверный тон, который не позволит его статье стать событием в журналистике и уж тем более что-то в ней изменить. Не очень удачной, кстати, оказалась и редакция 1874 года — статья стала еще больше похожа на главу из ненаписанных воспоминаний о Пушкине... Так или иначе, «Взгляд на литературу нашу...» остался незавершенным, и, надо думать, решение Вяземского отказаться от работы над этой статьей было вполне резонным. Он положил в стол начатую было статью «О современной литературе и критике». Не стал продолжать и «Полевой. — Белинский». Может быть, аналогия между Полевым и Белинским в какой-то момент показалась ему слишком натянутой (сам Белинский относился к Полевому с насмешкой); может, оказалось, что «Москвитянин» эту статью все равно не возьмет, а кроме него печататься негде... Да и литературная

* Интересно, что характеристику Лермонтова в этой статье Вяземский переделывал не менее двух раз. В 1848 году он отметил, что «в природе Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина... в том, что Лермонтов успел сделать, он далеко не поравнялся с Пушкиным». В 1874 году отзыв, с одной стороны, ужесточился: Лермонтов «не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов остался русским и слабым осколком Байрона»; с другой стороны, Вяземский признал, что в Лермонтове, как и в Пушкине, «была в высшей степени развита поэтическая впечатлительность, восприимчивость и раздражительность, доходящая до болезненности; может быть, сближались они и в высоком художественном чувстве».

конъюнктура уже менялась — вслед за 1847 годом грянул революционный 1848-й, европейские передряги взволновали Вяземского куда больше, чем проказы русских журналов. К тому же наследник Полевого пережил его совсем ненамного — 26 мая 1848 года «неистовый Виссарион» отправился к праотцам, после чего его имя на восемь лет исчезло из русской печати: упоминать его было запрещено... А спорить с мертвыми у Вяземского никогда желания не возникало.

Спорить с живыми он был готов. Но с кем?..

Сороковые стали не только временем душного, тяжелого бездействия и невозможности публиковаться, не только временем господства всего чуждого и враждебного. Почти каждый год нес с собой новую утрату. В 1842 году умер Михаил Орлов, в 1844-м — Мятлев, Крылов и Баратынский (последний сборник «Сумерки» он посвятил Вяземскому), в 1846-м — Языков. Уходили богатыри Золотого века... 3 декабря 1845 года на 59-м году жизни скончался в Москве милый странник, арзамасец Эолова Арфа — Александр Иванович Тургенев. Сбылось его желание умереть в России. До конца оставался он верен себе — был все тот же хлопотун за страждущих... В последний раз они виделись в апреле 1843-го. И хотя в 40-х отношения меж Вяземским и Тургеневым слегка подхолодились (князь считал, что Тургеневу пора бы уж хоть немного остепениться), эта потеря стала одной из главных. 23 ноября отправил Вяземский Тургеневу последнее письмо, которое завершалось так: «Не сердись на меня и дай себя обнять не *словом*, а делом»... «Милая Тургенешка» оставил по себе пустоту не только среди друзей своих — в самой русской жизни не стало чего-то большого и доброго.

Смерть жатву жизни косит, косит
И каждый день, и каждый час
Добычи новой жадно просит
И грозно разрывает нас.

Как много уж имен прекрасных
Она отторгла у живых,
И сколько лир висит безгласных
На кипарисах молодых.
....
А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Печально век свой доживая,
Мы запоздавшей смены ждем,
С днем каждым сами умирая,
Пока мы вовсе не умрем.

Сыны другого поколенья,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Они, что любим, разлюбили,
Страстям их — нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны
И на распутии живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.

Давным-давно еще представилась ему жизнь битвою, в которой все выходят наравне, с оружием в руках, у каждого свои планы, и кто мечтает о кресте на шею, кто о том, как бы умереть покрасивее, со знаменем в руках, впереди полка, кто — поскорее вернуться домой, в объятья родных, кто лелеет честолюбивую мечту дослужиться до генерала... Что ни день, то братские могилы, отпеванья, слезы над гробом друга. И под вечер, оглядываясь, замечает старик лишь несколько своих однолеток, и хорошо еще, коль однолеток, а то и людей моложе его двумя поколениями. Он пережил всех, и нет в этом никакой заслуги. По чистой случайности миновали его и пули, и шрапнель — и чины, и ордена, впрочем, тоже. День клонится к закату, поход близок к завершенью, но нужно еще брести, тащить опостылевший ранец и заржавелое ружье...

Иногда Вяземскому, после смертей Козловского и Наденьки переставшему задавать себе и бытию вопрос «за что?», смирившемуся со своей «загадочной сказкой», казалось еще, что хоть какая-то логика должна присутствовать в происходящем. И все ему мнилось, что вот — его очередь... Умирают младшие, умирают старшие (вот — ушли Орлов, Тургенев... уйдет Жуковский...). И, следовательно, час его близок... Он помнит, что русские стихи часто пророчат, и жестоко предсказывает себе скорый уход:

Уж не за мной ли дело стало?
Не мне ль пробьет отбой? И с жизненной бразды
Не мне ль придется снесть шалаш мой и орало
И хладным сном заснуть до утренней звезды?

Пока живется нам, все мним: еще когда-то
Нам отмежует смерть урочный наш рубеж;
Пусть смерть разит других, но наше место свято,
Но нашей жизни цвет еще богат и свеж.

За чудным призраком, который все нас манит
И многое еще сулит нам впереди,
Бежим мы — и глаза надежда нам туманит,
И ненасытный пыл горит у нас в груди.

Но вот ударит час, час страшный пробужденья;
Прозревшие глаза луч истины язвит,
И призрак — где ж его и блеск, и обольщенья? —
Он, вдруг окостенев, как вкопанный стоит.

С закрытого лица подъемлет он забрало —
И видим мы не жизнь, а смерть перед собой.
Уж не за мной ли дело стало?
Теперь не мне ль пробьет отбой?

Смерть Тургенева, декабрь 1845 года, первый снег вызывают в его памяти другую зиму и другой снег — варшавский...

Когда я был душою молод,
С восторгом пел я первый снег,
Зимы предвестник, первый холод
Мне был задатком новых нег.

Мне нравилась в тот возраст жаркий
Зима под сребряным венцом,
Зима с ее улыбкой яркой
И ослепительным лицом.

В летах и в чувствах устарелый,
Я ныне с тайною тоской
Смотрю, как вьется пепел белый
Над унывающей землей.

В картине вянущей природы
Я вижу роковой намек,
Как увядают дни и годы,
Как увядает человек.

«Роковые намеки» шли теперь, пожалуй, сплошной чередой. И все-таки этот скучный, однообразный мир, в котором сменяются привычные зимы и осени, — все еще жизнь, не поддающаяся ни роковым намекам, ни приметам, ни горестным мыслям... «Жизнь мне не блеском и счастьем, / А тайной тоской хороша», — проговорился он в стихотворении «Утешение»... Не только в смертях, что толпились вокруг, — во всем была теперь властная старость. В зеркале, где год от года тускнело лицо, уже морщинистое, с горькой складкой меж бровей, которая почти никогда теперь не раз-

глаживалась, с невеселыми глазами и сухо сжатым ртом. В собственных болезнях (в феврале 1842-го Вяземский был при смерти), в детях (Павлуша, поступивший на службу в Министерство иностранных дел, отправился в ноябре 1843-го секретарем русского посольства в Турцию), внуках (Петя и Лизанька Валуевы очень любили гулять с дедом на островах...), в Петербурге, который разрастался на глазах и вширь, и особенно вверх, в чужих журналах и новых книгах, чаще всего вызывавших приступы тоски и отвращения. В домоседности, которая незаметно сменила желание быть на виду, в свете: «По вечерам почти всегда дома, кое-кто бывает, но за неимением говорунов и разговоров обыкновенно играем в карты: в невинный макао». «Мы теперь с женою совершенно одни доживаем свой век Филемоном и Бавкидою», — пишет он Жуковскому, пытаясь этим в общем-то благополучным сравнением (мифические Филемон и Бавкида — образец счастливой семьи) скрыть горечь слов «совершенно одни»... Летом — дача на Аптекарском острове; в 1843 и 1844 годах — по месяцу в Ревеле, который так же хорош, как двадцать лет назад, и море такое же. На пароходе поездка в финский Гельсингфорс. Все другие путешествия — в рамках Петербургской губернии, например, на мызу Мануйлово, принадлежащую Мещерским.

Даже в службе, которая, по словам Вяземского, не владела всем его временем, но отравляла его, наметился какой-то нездоровый сдвиг. За годы князь привык к своему департаменту и забавному косноязычию министра Канкрина. Но друзья Вяземского немного недоумевали: не засиделся ли князь в вице-директорах с 33-го года?.. Не пора ли «расти»?.. Ответ неожиданно дал сам Канкрин в разговоре с Александром Тургеневым: директором департамента князю никогда не быть, потому что это место для военного; хотя, конечно, у Вяземского есть и достоинства — например, он хорошо пишет по-французски, в чем часто бывает необходимость... Тургенев заметил, что Вяземский по-французски пишет даже лучше, чем по-русски, на что старый граф согласно покивал. И тут же добавил: «Вот еще в чем дело — у него нет червячка». — «Какого червячка?» — оторопел Тургенев. «Он не с таким жаром принимается за дело, как другие...» Узнав от Тургенева про эту беседу, Вяземский написал: «Канкрин совершенно прав, когда говорит, что у меня червячка нет... Я за трапезою службы ем, но не объедаюсь, не упиваюсь, не лакомлюсь... Служу добросовестно, по крайней мере, довольно добросовестно и усердно, но не страстно, не восторженно». А надо было — страстно...

Но вот в 1844 году 70-летний Канкрин был отправлен в отставку, и место его занял тупой, но исполнительный Федор Павлович Вронченко. А в октябре 1846 года новый министр перевел Вяземского на должность... управляющего Государственным заемным банком. Абсурдней для него места было, пожалуй, не придумать — и что самое любопытное, место это для Вяземского подготовил еще Канкрин! Это была политика: назначать людей на места, где они меньше всего могут проявить ум, талант, знания...

28 октября 1846 года Вяземский открыл записную книжку:

«Странная моя участь: из мытаря делаюсь ростовщиком... Что в этих должностях, в сфере этих действий есть общего... со мною? Ровно ничего. Все это противоестественно, а именно потому так быть и должно, по русскому обычаю и порядку... Человек на своем месте делается некоторою силою, самобытностью, а власть хочет иметь одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от ее воли.

22-го числа октября призвал меня Вронченко и предложил мне это место. Я представил ему слегка свои возражения, говоря, что это место менее всего соответствует моим способностям... Но, разумеется, мои возражения не могли иметь ни веса, ни значения, ибо они были в противоречии с общим положением дел в России. Что дано мне от природы — в службе моей подавлено, отложено в сторону: призываются к делу, применяются к действию именно мои недостатки. У меня нет никакой способности к *положительному делопроизводству*, счеты, бухгалтерия, цифры для меня тарабарская грамота, от которой кружится голова и изнемогают все способности, все силы умственные и духовные: к ним-то меня и приковывают роковыми кандалами. Был бы это случай, исключение, падающее на мою долю, — делать нечего, беда моя, да и только. Знать, так на роду моем написано; но дело в том, что это общее правило, и мое несчастие вместе есть и несчастие целой России. — На конце поприща моего я вхожу в темный бор людей и дел. Все мне незнакомо и все в противоположности с внутренними моими стихиями.

Меня герметически закупоривают в банке и говорят: дыши, действуй.

Вероятно, никто не встречал нового назначения и повышения с таким меланхолическим чувством, как я. Впрочем, все мои ощущения, даже и самые светлые и радостные, окончательно сводятся во мне в чувство глубокого уныния».

Хотя князь не удержался от каламбура («закупоривают в

банке»), горечь его очевидна. С таким же успехом его могли переименовать в генерал-майоры и отправить командовать кавалерийской бригадой... К тому же даже в качестве повышения должность банковского управляющего была очень тонким напоминанием о том, насколько Вяземский отстал в своей служебной карьере от сверстников: министр просвещения Уваров, старше Вяземского всего на шесть лет, начальствовал над Заемным банком еще в доисторическом 1823 году...

Оставалось — уединяться с дорогими воспоминаниями, поверять чувства дневнику и письмам. Людей, с которыми хотелось бы разговаривать, в Петербурге почти не осталось. Правда, в сентябре 1844-го в Россию из дипломатической своей заграницы вернулся Федор Иванович Тютчев. Вяземский, узнавший Тютчева близко только летом 1837 года, был очень рад его возвращению и отмечал, что новый приятель «очень умен, мил, мягок и общежителен в обращении». «Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, а разговор многих других возбуждает одно молчание», — рекомендовал он Тютчева Александру Тургеневу... Светское положение Тютчева поначалу было очень невыгодным — он лишен камергерского ключа, в отставке, мало вхож в салоны, — но Вяземский сделал все возможное, чтобы Тютчева приняли в главных домах столицы, и уже в январе 1845-го с удовольствием резюмировал: «Тютчев — лев сезона». «О чем я не могу умолчать, это о приязни, которую при всяких обстоятельствах выказывает мне князь Вяземский, — писал Тютчев родителям. — Самый близкий родственник не мог бы с большим рвением и усердием, нежели он, заботиться о моем благе».

И все-таки князю сильно не хватало старых друзей. Тютчев был моложе на одиннадцать лет (хотя в царстве старости такая разница в возрасте мало что значит), и дружба с ним только-только начиналась... Современников себе найти было трудно: кто слишком стар, кто слишком молод, ни с кем не сходишься единомыслием и единочувствием. Душу Вяземский отводил в письмах к Жуковскому. В 1848 году их дружбе исполнилось сорок лет, друг друга они понимали с полуслова. «В отношении к дружбе я здесь в совершенном одиночестве, — писал Вяземский. — Из друзей ты только один и остался на земле».

Жуковский с семьей жил в Германии, во Франкфурте. Он был уже отцом сына Павла. «Постигаю твое счастие и благодарю Провидение, которое тебе его даровало, — поздравляя его с рождением ребенка, писал Вяземский. — Ты

жил для России, живи теперь для себя, и это будет — жить для России. Можно быть русским и не быть приписанным к русской земле. Я иначе понимаю патриотизм. Как ни желаю свидания с тобою, как ни желал бы дотянуть с тобою последние наши годы, но не зову тебя к нам. Живи себе там, пока живется». Семейная жизнь Жуковского оказалась совсем не таким раем, как ему об этом мечталось, — жена тяжело заболела после родов, — но он неутомимо трудился, не хотел мириться с несчастьями, не замечал старости... В 1841—1849 годах переводил «Одиссею». В глубине души Вяземский предпочел бы, чтобы Василий Андреевич сел за роман или воспоминания, но все-таки радовался его труду и даже слегка завидовал: «Слюнки текут, глядя на это, а то здесь из нас текут только канцелярские чернила и желчь, глядя на все то, что кругом и над головою делается... Теперь насладятся твоим трудом и оценят его немногие на Руси, но я согласен с тобою, главное тут дело — твое собственное, внутреннее, глубокое наслаждение». Время от времени Жуковский присылал Вяземскому свои новые стихи. Перевод поэмы Рюккерта «Рустем и Зораб» вызвал восторженный отклик князя: «Я плакал как ребенок, как баба или просто как поэт на слезах — читая последние главы. Бой отца с сыном, кончина сына — все это разительно, раздирательно хорошо... Удивительно, что за свежесть, за бойкость, за сила, за здоровенность в языке и в стихе твоем. Так и трещит он молодостью и богатырством». Сказка об Иване-царевиче тоже обрадовала Вяземского: «Твой Иван-царевич нас всех пленил. Даже Уваров говорил мне о нем с арзамасским чувством».

Жуковский словно пример подавал Вяземскому из Германии (и Гоголь о том же сказал в «Выбранных местах...») — лишь в труде продолжается жизнь... Но Вяземский в своих письмах упорно уходил от этой темы. Он не терял попыток «короновать» Жуковского на трон русской литературы, заставить его проповедовать «Евангелие правды и Карамзина за себя и за Пушкина»... Но одновременно с этим и отговаривал друга приезжать в Петербург, уверяя, что «с вольного воздуха возвратиться в это удушье тяжело». В апреле 1845 года звал Жуковского в Остафьево, а то и строил куда более смелые планы — в Грецию! Как же «Одиссею» переводить и не побывать там?.. Сначала он предлагал заехать в Константинополь за Павлушей (который был в Греции уже дважды и остался от нее в восторге). «Шутки в сторону, поедем», — уговаривал он Жуковского, но ничего из этих планов, увы, не вышло...

Настал високосный 1848 год. Вяземский встретил его в жестоком гриппе, с женой. Валуевы недавно уехали в Ригу, куда получил назначение Петр Александрович; Павлуша, навестивший родителей летом 1847-го, укатил обратно в Константинополь. Петербургская зима была слякотной, с оттепелями и дождями. Говорили о холере, которая уже охватила ряд губерний и приближалась к столице.

Для Вяземского начало года ознаменовалось выходом из печати многострадальной книги «Фон-Визин». В 30—40-х годах удалось опубликовать только шесть ее глав — главу I в «Литературной газете» (1830), главу V — в альманахе «Альциона» (1833), главу VIII — в пятом томе «Современника» (1837), главу XI — в альманахе «Сборник на 1838 год», главы X и XI — в альманахе «Утренняя заря» (1841). Отдельные главы Вяземский печатал оттисками и раздавал друзьям (так с книгой познакомился, например, Гоголь). Но с годами он испытывал к своему труду все меньше теплых чувств, книга уже была как отрезанный ломоть... Многие друзья Вяземского уже не верили в то, что «Фон-Визин» когда-нибудь увидит свет. «Думаю, что Вяземский никогда не доведет до конца печатания биографии Фон-Визина, хотя давно его начал, — писал Плетнев. — Лень, достойная князя, и литературное кокетство — всегда будут его останавливать в исполнении книжных предприятий».

Трудно сказать, лень ли Вяземскому было издавать «Фон-Визина» и «кокетничал» ли он перед читателями, но своим полным изданием биография действительно обязана чистой случайности. Чтобы не простаивали наборщики, Вяземского попросили дать любой материал в типографию департамента внешней торговли, где печаталась «Коммерческая газета». Князь неожиданно вспомнил про свою рукопись, 5 февраля цензура дала разрешение на публикацию, и «Фон-Визин» был отпечатан «в количестве шести или осьми сот экземпляров» (очень характерный пассаж для Вяземского — он даже не знал, что тираж книги был именно 600 экземпляров). «Фон-Визин» разошелся в узком кругу ценителей, выручку автор получил «экземпляров на сто, прочие как-то улетучились».

Специально для этого издания Вяземский переработал заключительную XII главу, заострив ее против Белинского. Оттого новый финал «Фон-Визина» получился чуть ли не угрожающим: «Горе народу, не почитающему старины своей! Горе поколению, отвергающему заветы родоначальника своего! Горе писателям, которые самонадеянно предают забвению и поруганию дела доблестных отцов!»... Но если не

считать этих ветхозаветных воззваний, последние абзацы финальной главы выдержаны автором в приемлемом тоне — Вяземский сумел сдержать переполнявшие его эмоции и остался верен своей мудрой иронии: «Разумеется, время идет, разумеется, просвещение продирается нетерпеливо все вперед и вперед; но из того не следует, что необходимо каждые десять лет выбрасывать все старое и дочиста заводиться новыми понятиями, новым языком, новыми великими людьми...» Эта финальная глава была отдельно опубликована в «Санкт-Петербургских ведомостях» 14 марта 1848 года.

Вот и появилась наконец у него *первая книга* (автору, напомним, 55 лет), книга, по словам Пушкина, «едва ли не самая замечательная с тех пор, как пишут у нас книги (все-таки исключая Карамзина)». После такой пушкинской оценки говорить о «Фон-Визине» было сложно. Но оценка эта прозвучала в частном письме, к тому же почти двадцать лет назад. Русская проза за минувшие годы узнала уже немало сенсаций — «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Бедные люди», «Обыкновенная история»... Одним словом, выйди труд Вяземского в 1830 году, он стал бы эпохальным произведением и, вполне возможно, был бы включен сейчас в школьную программу. Восемнадцать же лет спустя в журналах начались вялые споры — не столько вокруг книги, сколько вокруг самого Фонвизина... «Сочинение князя Вяземского распалось на две части: в первой он говорит, что старая литература наша не была выражением общества, что он отдал бы ее за несколько исторических записок того времени, а в другой он бранит писателей позднейшего времени, зачем они забыли эту самую литературу, зачем они не читают Хераскова, Петрова, Сумарокова», — недоумевал в «Отечественных записках» А. Д. Галахов. А Шевырев в «Москвитянине», напротив, встал на защиту Вяземского и нашел грозный финал XII главы очень даже уместным: «Слово биографа, перед окончанием книги, загорается чувством справедливого негодования против тех *литературных скороходов*, которые бегут напоказ перед толпою за временем, кружась на одном и том же месте»...

Вяземский сам удивлялся, насколько ему были неинтересны эти отзывы, как ругательные, так и хвалебные. Рецензенты искали какую-то мелкую правду, кололи автора недостаточным знанием вопроса, за что-то хвалили — все это было глупо и нелюбопытно. «Исследований по существу», которых ждал князь, в прессе так и не появилось. Самыми приятными для Вяземского оказались отзывы Плетнева и Тютчева. Плетнев читал «Фон-Визина» в апреле: «Пожираю

биографию Фон-Визина... Вот книга, достойная изучения. Как умно написана, без мелочной вычурности, дельно, объемисто» (Я. К. Грот откликнулся на это письмо: «Я читаю эту книгу с большим наслаждением, как редкость в нынешнее время»). А Тютчев написал Вяземскому: «Ваша книга, князь, доставила мне истинное наслаждение, ибо действительно испытываешь наслаждение, читая европейскую книгу, написанную по-русски, книгу, к чтению которой приступаешь, не спускаясь, так сказать, с уровня Европы, тогда как почти все, что печатается у нас, как правило, стоит несколькими ступенями ниже.

А между тем именно потому, что она европейская, ваша книга — в высокой степени русская. Взятая ею точка зрения есть та колокольня, с которой открывается вид на город. Проходящий по улице не видит его. Для него город, как таковой, не существует. Вот чего не хотят понять эти господа, воображающие, что творят национальную литературу, утопая в мелочах».

Книгу одобрили Пушкин, Гоголь, Плетнев и Тютчев — что ж, для таких читателей стоило ее писать... А все прочее, по чести сказать, неважно.

Успеху «Фон-Визина» не способствовали и политические обстоятельства — история в 1848 году была не в книгах, она творилась в Европе, которую охватил революционный огонь... Это напоминало какое-то сумасшествие, эпидемию; казалось, зараза перекидывается с одной страны на другую... В иностранных газетах, в «Северной пчеле» — целые букеты из дат и географических названий: 24 февраля — восстание в Париже, свержение короля Луи Филиппа, на другой день провозглашена республика... 27 февраля — революционные выступления в великом герцогстве Баденском, 13 марта — в Вене, 15-го — в Пеште, 18-го — в Берлине. Настоящие бои в Венеции, Милане, Риме, Праге... Вяземский вспоминал свое десятилетней давности путешествие по Европе, тогда совершенно мирной и благополучной, и думал о том, что нездоровую основу этого благополучия он угадал правильно. Мир охвачен повальным безумием... В центре Парижа вооруженная чернь громоздит баррикады. Соединенные армии итальянских государств воюют против австрийцев. Прусский король чтит память жертв борцов за свободу, то есть своих собственных врагов. В Европе в спешном порядке появляются несколько новоиспеченных конституций... Все это было ужасно. Даже беспокойный 1830-й так не тревожил сердца и умы: происходившее представлялось скорее отзвуком якобинской диктатуры. Реальный век, век паровозов,

парламентов и Социальной Справедливости, окончательно вступил в свои права. Тревожно стучали телеграфные аппараты, оповещая Россию о вселенском пожаре.

«Сколько лет, сколько зим, сколько революций мы друг другу не писали, — писал Вяземский Жуковскому 12 мая. — Какой дьявольский калейдоскоп!.. Чем все это кончится? Вот вопрос. Но это вопрос в руке Божией, а не в уме людей. Ничего предвидеть нельзя. У нас пока тихо и хорошо». Жуковский во Франкфурте, а потом в Бадене был свидетелем всех ужасов революции — на его глазах совершались убийства, лилась кровь... Болезнь жены вынуждала его остаться в кипящей Германии, но он всей душою рвался домой, в Россию. Жуткий призрак русского бунта виделся Жуковскому в европейских катаклизмах, виделся он и Вяземскому в Петербурге. В то, что пожар может перекинуться на Россию, они не верили, но опасались, что искры из европейского костра могут обжечь общество, воспламенить молодые умы... Любыми силами нужно было не допустить возможность «дьявольского калейдоскопа» в России. И в том, что в стране было «тихо и хорошо», Вяземский (и абсолютное большинство других благонамеренных россиян) видел заслугу Николая I.

Многие сравнили в эти дни Россию с непоколебимым утесом, о каменную грудь которого бессильно разбиваются волны Революции. И это была правда — если не считать Англии, Россия стала единственным великим государством, которого не коснулись бури 1848 года. 14 марта российский император издал высочайший манифест — объявление войны революционной Европе: «Мы готовы встретить врагов наших... и, не щадя себя, будем, в неразрывном союзе с Святою нашей Русью, защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов наших». Манифест завершался грозными словами: «С нами Бог! Разумейте, языци, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» План Николая I по защите границ Пруссии от возможного французского вторжения не осуществился. Но летом 1849 года русская армия все же помогла молодому австрийскому императору Францу Иосифу задушить революцию.

Князь откликнулся на императорский манифест большим (25 строф) стихотворением «Святая Русь», которое было выпущено отдельной брошюрой, напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Сыне Отечества». Вяземский был полностью солидарен с властью и государством. Разыгравшейся в Европе бесовской стихии он противопоставлял могучую Россию, верную своим «коренным заветам» — любви к Богу, к Царю, к Отечеству. «Святая Русь» получилась

вполне в духе славянофильских стихотворений Федора Глинки или Алексея Хомякова. Это были сильные, яркие, запоминающиеся и актуальные стихи, и неудивительно, что они имели большой успех.

Как в эти дни годины гневной
Ты мне мила, Святая Русь!
Молитвой теплой, задушевной
Как за тебя в те дни молюсь!

Как дорожу моей любовью,
И тем, что я твой сын родной!
Как сознаю душой и кровью,
Что кровь твоя и дух я твой!

«Святая Русь» вызвала восторженный отклик Жуковского, который 23 июля написал другу большое трогательное письмо: «Вяземский! как тронули меня, при виде всего этого, столь болезненного и отвратительного, твои стихи: я не мог читать их без слез и не могу иначе перечитывать... Твои стихи не поэзия, а чистая правда. Но что же поэзия, как не чистая высшая правда? Твои стихи *правда* потому, что в них просто, верно, без всякой натяжки выражается то, что глубоко живет в душе, не подлежит произвольному умствованию, не требует никаких доказательств разума... Твои стихи, поэтический крик души, производят очаровательное действие в присутствии чудовищных происшествий нашего времени».

На советских литературоведов «Святая Русь», понятно, вовсе не оказывала такого «очаровательного действия». Вяземский во многом и заканчивался для них именно 1848 годом. Этим годом ограничивается, например, издание записных книжек Вяземского, вышедшее в 1963-м (подразумевалось, что после «перехода в стан реакции» ни одной дельной мысли у князя родиться уже в принципе не могло). М. И. Гиллельсон назвал «Святую Русь» Рубиконом, разделившим судьбу «прежнего» Вяземского и Вяземского «нового» — послушного слуги властей. На самом же деле князь, почувствовав, какая жуткая сила заключена в бушующей революционной стихии, обращался к тому, что могло ей с успехом противостоять. Как всякий верноподданный дворянин, он презирал восставшую чернь и требовал ее усмирения. В этом не было ничего странного или противоестественного, тем более для человека его происхождения и круга. И уж тем более не было никакого Рубикона, через который Вяземский якобы перешел. Его возмущение революциями 1848 года было совершенно закономерным и вытекало из всей предшествующей судьбы князя...

К 40-м годам Вяземский уже успел наслушаться в свой адрес обвинений по поводу «предательства» идеалов либеральной юности. Даже Александр Тургенев колол этим друга, не говоря уж о его брате-эмигранте Николае. По инерции эти обвинения благополучно дожили до нынешнего времени — редкий исследователь Вяземского отказывал себе в удовольствии попрекнуть его тем, что автор «Негодования» достиг к старости высших государственных постов. Таким Вяземский и закрепился в массовом сознании — либералом, который в одно прекрасное утро вдруг проснулся консерватором, отказавшимся от прошлых убеждений.

Для того чтобы понять политическую эволюцию Вяземского, необходимо прежде всего отказаться от стереотипа восприятия его как *декабриста без декабря.* Это эффектное прозвище было придумано для князя в 1932 году С. Н. Дурылиным и, к сожалению, широко употребимо по сей день. В свое время советские литературоведы исписали немало бумаги, доказывая, что Вяземский был «левее» и Пушкина, и Рылеева, что его «Петербург» и «Негодование» — чуть ли не революционные манифесты. Исследователям так хотелось, чтобы день 14 декабря 1825 года Вяземский провел в Петербурге (пусть не с восставшими, но где-то поблизости!), что мало-помалу эта легенда обрела плоть — в относительно недавней (1993) книге В. Г. Перельмутера ею открывается четвертая глава... После этих выдуманных подвигов, после нагромождения возмущенных цитат из варшавских писем конца 10-х годов и язвительных строк «Русского Бога» примирение князя с правительством искусно подавалось как прямое предательство светлых идеалов.

Между тем лучше всех историю Вяземского-политика написал сам Вяземский. Ее можно отыскать в его стихах, письмах, записных книжках. И все они говорят только об одном: ни декабристом, ни противником власти Вяземский не только никогда не был, но и не мог быть. Плоть от плоти Российской империи, ее государственного быта, устоявшегося веками, сын видного вельможи, он был живым воплощением нравной, независимой, мыслящей, просвещенной русской аристократии. Он ни минуты не верил в тайные общества, боялся крестьянского бунта, всегда был сторонником пусть модернизированного, но сильного монархического правления. В сущности, вся политическая биография Вяземского заключалась в попытках законным путем получить в руки реальную власть. Он упрямо стремился действовать заодно с правительством (планы основания политического журнала, 1817 и 1833; работа над

конституцией, 1818—1819; «Общество добрых помещиков», 1820; мечты о вице-губернаторской должности, 1821, 1825 и 1828; письмо к Уварову, 1836) — и в конце концов в 1855 году добился-таки своего: стал на краткий срок «положительным государственным человеком» (Гоголь). Волею судеб этот путь стал неоправданно долгим — в идеале Вяземский был бы на своем месте в правительстве еще в конце 10-х годов. Еще раз повторимся: величайшей драмой Вяземского-политика, драмой всей его жизни было его «несовпадение» сначала с Александром I, а затем с Николаем I, которые (один в меньшей, другой в большей степени) не распознали в князе умного помощника, союзника, единомышленника...

Критику положения дел в России Вяземский действительно охотно практиковал на протяжении всей своей жизни. Восемнадцатилетним мальчишкой, в 1810 году, он надменно сравнил Государственный совет с домом умалишенных; спустя 67 лет возмущался недальновидной политикой России на Балканах. Между этими двумя датами легко набрать еще с десяток фактов подобной критики. При желании, разумеется, можно сделать из этих фактов какие угодно «революционные» выводы, вот только стоит ли?.. Аристократическая фронда Вяземского не несла в себе ровно ничего антигосударственного; к ней можно применить британский парламентский термин «оппозиция Его Величества». А суть оппозиции, как известно, и состоит в том, чтобы умно критиковать правительство, помогать ему дельными советами...

Конечно, бывали времена, когда Вяземский срывался — в приступе отчаяния обещал, что больше не будет иметь с властью ничего общего, не будет «знаться с царями»; когда он клял и Россию, и власть, и существующий порядок вещей: такое с ним было в 1819—1820 годах в Варшаве, в 1826-м после казни декабристов, в 1831-м после разгрома Польши... Но *идеологическую базу* под эти эпизоды общественной жизни князя подводить не следует. Это — не более чем вспышки ярости, сопряженной с горестным осознанием того, что власть в России находится в руках недостойных ее людей. С годами негодование уступило место сарказму, иронии. Менялся характер князя — годы и утраты научили Вяземского ценить любое постоянство, он стал более терпимым, мягким, полюбил душевный и телесный комфорт... Конечно, при желании и это можно назвать «предательством»...

«Революционность» Вяземского, которую ему приписывали позднейшие исследователи, на самом деле была умной, трезвой, часто горестной, иногда срывавшейся в отчаяние

независимостью; его обличения язв России — кровным, страстным отношением к стране, которую он, прямой потомок Владимира Святого и Ярослава Мудрого, с полным правом воспринимал как свою вотчину. Его работа над конституцией, злые слезы над виселицей декабристов, ненависть к Белинскому, «Святая Русь», проклинавшая западные революции, и дружба с Александром II имели, как это ни парадоксально, одни и те же корни. *Либеральным консерватизмом* назвал сам князь свою политическую концепцию. Трезвый, умный, осторожный политик, он в чем-то повторил судьбу своего отца: не был допущен к практической деятельности, в коридоры власти, и — был вынужден сделать политику своим домашним делом, смириться, горько философствовать в узком кругу, изредка занося в дневник грустные мысли по поводу происходящего или отпуская язвительный каламбур...

«Иным колят глаза их минувшим. Например, упрекают их тем, что говорят они ныне не то, что говорили прежде. Одним словом, не говоря обиняками, обличают человека, что он прежде был либералом, а теперь он консерватор, ретроград... Все эти клички, все эти литографированные ярлыки ничего не значат. Это слова, цифры, которые получают значение в применении. Можно быть либералом и вместе с тем консерватором, быть радикалом и не быть либералом, быть либералом и ничем не быть», — писал Вяземский уже в глубокой старости. Нельзя не признать — замечено в высшей степени точно...

...Между Россией и Европой быстро, буквально на глазах воздвигался «железный занавес». Выразилось это прежде всего в усилении роли цензуры: 27 февраля был создан Секретный комитет по надзору за направлением печати. Был резко ограничен ввоз в страну иностранных книг и журналов, к печати вовсе не дозволялась французская проза. Для допросов в Третье отделение вызывались все подозрительные сочинители (Белинского только смерть спасла от неминуемой Петропавловской крепости)... Одно время Николай I предполагал закрыть русские университеты — в них он видел главные очаги либерализма и западных симпатий. Но дело ограничилось тем, что число студентов резко сократилось, многие попечители учебных округов и профессора были уволены, а министра народного просвещения графа Уварова сменил на посту князь Ширинский-Шихматов. Это была отчаянная и, увы, провальная попытка сохранить «добрые начала» русского народа, уберечь его от западной революционной заразы.

В марте 1848 года Вяземский решил сказать свое слово в вошедшем в моду цензурном вопросе. Он изложил свои представления о цензурном ведомстве в обширной записке, которую подал воспитаннику Жуковского — цесаревичу Александру Николаевичу, который относился к Вяземскому доброжелательно и уважительно. Но прямого, немедленного отклика на идеи, изложенные Вяземским в записке, князь не дождался — и это было, в общем, логично, поскольку посреди всеобщего «завинчивания гаек» Петр Андреевич неожиданно предлагал нечто почти противоположное.

Например, он считал, что журналов и газет в России должно быть больше. Логика такая: некоторые журналы имеют тиражи по четыре-пять тысяч экземпляров, число читателей доходит до ста тысяч, следовательно, журналистам достается слишком большая власть над умами, которая может быть использована во вред. Пора отменить монополию нескольких журналов и лишить их, так сказать, избыточного веса в обществе... Это предложение било сразу по двум ненавистным Вяземскому крайностям — прессе булгаринской и прессе некрасовской, «Северной пчеле» и «Современнику». Но этот замысел был, очевидно, чересчур хитроумным, потому что великий князь, читая записку, прокомментировал его на полях недоуменными вопросами. По его мнению, журналов в России было вполне достаточно. А в такие мелочи, как булгаринско-некрасовская монополия на печать, он, конечно, не вникал.

Оригинально звучали и мысли Вяземского о цензуре и цензорах. Цензоры, по его мнению (мнению настрадавшегося от цензуры едва ли не больше всех литератора), — «большею частью люди темные, безгласные, мало образованные, чуждые обществу и не имеющие в нем ни значения, ни уважения». Поэтому необходима реформа — учреждение «особенного высшего управления цензуры», подчиненного напрямую государю; цензоры должны назначаться из числа образованных и уважаемых личностей (пример — Тютчев, в феврале 1848 года ставший цензором при министре иностранных дел), а главноуправляющим обязательно должен быть «один из способнейших государственных людей, не только образованный и преданный пользе самодержца и его подданных, но человек, имеющий особенную доверенность государя, знающий виды и намерения его ко благу государства... Одним словом, главноуправляющий цензурою должен быть лицо правительственное и политическое».

По свидетельству М. А. Корфа, именно мысли Вяземского об «особенном высшем управлении цензуры» повлияли

на решение Николая I о создании второго секретного цензурного комитета — так называемого Бутурлинского, или Комитета 2 апреля. Но князь, видимо, преследовал своей запиской не только практические, сиюминутные (обеспечение безопасности страны посредством цензуры), но и собственные далекие цели. Не случайно он предложил свой проект именно наследнику — будущему императору. Ясно, что «человеком, имеющим особенную доверенность» Николая I, Вяземский уже стать не рассчитывал — несмотря на то, что внешне их отношения выглядели почти теплыми, Николай продолжал упорно держать князя в Министерстве финансов, и это говорило о многом. Должность его хотя и была высокой, в ранге «государственного деятеля» Вяземский все же не был. В свою очередь князь, будучи камергером, открыто пренебрегал придворными обязанностями — на дворцовых приемах он не появлялся с 1839 года... Но о том, что по призванию своему, по праву рождения и по складу ума он — «лицо правительственное и политическое», Вяземский помнил хорошо. И, не рассчитывая на Николая I, исподволь готовил себе почву для действий в следующем, еще не наступившем царствовании и даже изобрел для себя возможную должность — главноуправляющий цензурой... Это была еще одна попытка предложить власти взаимовыгодное сотрудничество. Встряска 1848 года пробудила в князе уснувшие было надежды. Кстати, его расчет оказался совершенно верным: сразу же после воцарения Александр II назначил Вяземского именно на тот пост, который он определил себе в записке семилетней давности. Так что роль этого документа в служебной биографии князя оказалась неожиданно важной — например, «Моя исповедь» 1828 года, на которую Вяземский возлагал столько надежд, не имела таких серьезных последствий.

...Если в мае в Петербурге все было еще «тихо и хорошо», то в июне до города добралась-таки эпидемия холеры. «Ты бежишь от революций, — писал Вяземский Жуковскому, — а здесь мы встретим тебя холерою, которая губительною лавою разлилась по всей России и в Петербурге свирепствует с большим ожесточением. Более тысячи человек занемогает в день и наполовину умирает... Божиею милостию, из круга наших близких, друзей и приятелей пока еще жертв нет... Все бивакируют как могут и убежали из города как после пожара». Много было разговоров о том, что холера и революции как-то взаимосвязаны — в 1830 году тоже ведь был губительный мор и бунты в Европе... Снова пришлось вспоминать проверенные средства — заваренную ромашку, хлор,

английскую мятную воду, настоянный на пенном вине красный перец; появилось и кое-что новое — сигареты Распайля, изящные маленькие трубки слоновой кости, набитые мелкими крошками камфары. Вяземский с женой, Плетнев и Тютчев укрылись от холеры на большой даче близ Лесного института, за чертой города. С 30-х годов это было модное дачное место, по приказу графа Канкрина туда проложили хорошую дорогу, пустили дилижанс... Рядом с институтскими корпусами был разбит английский парк. «Лесная дача» надолго стала любимым местом отдыха Вяземского...

Пользуясь свободным временем, князь работал над очерком «Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий» — он должен был стать предисловием к собранию сочинений поэта. Но получалось вовсе не предисловие, а скорее воспоминания, полные типично «вяземских» отклонений от темы... На одном из таких отступлений он оставил работу, поняв, что не может вспоминать добрейшего Нелединского *официально*, что память о нем неизбежно разрастается в память о «допожарной» московской эпохе, которая уже многим представляется с трудом — только по семейным преданиям или вранью современных летописцев...

Вечерами, вдоволь намучившись с неподатливой темой и надымившись распайлевской камфарой, Вяземский выходил к чаю в гостиную. Федор Иванович Тютчев, одетый с только ему присущей тщательной небрежностью, с растрепанными полуседыми волосами, с массивным, с резкими чертами лицом, доставал рукопись новой своей статьи «Россия и Революция», которую он написал для публикации в Париже. Эта статья уже заслужила одобрение Николая I. Слушать пророчества Тютчева было любопытно — Федор Иванович почему-то пребывал в убеждении, что в 1853 году, через четыре века после покорения турками Царьграда, Константинополь непонятным образом снова станет славянским, столицей огромной православной Греко-Российской Восточной Империи... Эта Империя будет противостоять безбожному революционному Западу... «Странно, — думал Вяземский, улыбаясь, — Тютчев сам безнадежно далек от всякого христианства, он не был у причастия, по собственным словам, лет десять... и он же так пламенно проповедует православные истины... И какое ребячество думать о какой-то империи! Снова странно — Тютчев опытный дипломат, а не видит действительного положения дел». Но все это было увлекательно, непонятно и интересно — Тютчев излагал свои парадоксы гибким, высоким, богатым голосом, его афоризмы невольно хотелось запомнить. Вяземский ис-

кренне любовался другом-златоустом. Хотя случалось им и крепко, чуть не до брани, спорить (и Тютчев мог вполне серьезно сказать: «Я вижу, князь, что мне у вас делать нечего, вы читаете только брошюры да газетные статьи...»). Но оба тянулись друг к другу — и Вяземский, и Тютчев понимали, что собеседников такого ранга у них больше нет.

На фоне Тютчева Петр Александрович Плетнев, еще один постоянный соратник Вяземского в 40-х, выглядел гораздо бледнее. Сын тверского священника, когда-то он пробовал писать стихи, потом переключился на критику, а там и на науку. С 1840 года он был ректором Петербургского университета. К Вяземскому Плетнев относился как младший к старшему, хотя были они ровесники. Безмерно уважал князя и в то же время остро чувствовал розность с ним. «У Вяземского много природного ума, а еще более остроумия, — писал Плетнев, — но у него недостает местной или, лучше сказать, умственной проницательности и находчивости... Остроумие его есть следствие отчасти природного дара, а отчасти преобладание французского воспитания и чтения... Что касается до языка, то он у него какой-то рубленный. Иногда улыбнешься на счастливое выражение, а иногда поморщишься от натяжки. Это все вместе дает ему характер чрезвычайно особенный от других писателей... При том он совсем не знает законов русского языка и тонкостей его словосочинения. Но я все-таки люблю его ум и особенно характер его. Беда, что это знатный человек, следовательно, не нуждающийся в литературе как в ремесле... Да он же и самое ленивое существо, так что и надежды нет видеть исправление недостатков его».

Летом 1848-го Плетнев жаловался в письме, что никак не может выбраться на прогулку вместе с Тютчевым и Вяземским: «Я встаю — они спят; я ложусь — они едут кататься». Полюбил Вяземский и прогулки в одиночестве. Надевал теплый сюртук (погода все лето стояла промозглая и сырая) и не торопясь отправлялся по петляющей в роще тропинке, вдогон опускавшемуся на западе солнцу. Оставались позади парк, дом, выстроенный по проекту Канкрина... Смеркалось, в воздухе разносился благовест колокольни Невского монастыря. Проносился запоздалый ездок, с ним обрывок удалой песни... Пахло сырой травой. Стлались по ней белые призрачные полосы тумана... «Неужели сейчас где-то умирают на баррикадах люди... льется кровь, падают троны? — думал Вяземский. — А совсем недалеко — губительная холера?» Здесь, в Лесном, как на краю земли — тишина и покой...

Когда бледнеет день, и сумрак задымится,
И молча на поля за тенью тень ложится,
В последнем зареве сгорающего дня
Есть сладость тайная и прелесть для меня.
Люблю тогда один, без цели, тихим шагом
Бродить иль по полю, иль в роще над оврагом.
Кругом утихла жизнь и бой дневных работ;
Заботливому дню на смену ночь идет,
И словно к таинству природа приступила
И ждет, чтобы зажглись небес паникадила...

Именно Лесная дача вдохновила Вяземского на одно из самых изящных и глубоких его стихотворений — «Тропинка». С ранней молодости князь питал стойкую нелюбовь к белому стиху (хотя экспериментировал с ним еще в 1814 году в посвящении умершему сыну Андрею — «Из области тайной...»). Но по «Тропинке» об этом не скажешь — стихотворение выстроено на редкость уверенно, белый стих льется плавно, с редкой для Вяземского мелодичностью и живописностью. «Пограничное состояние» между прошлым и настоящим, явью и воспоминанием, которое возникает при бесцельной прогулке по полевой тропинке, передано поэтом с редкостным мастерством:

Картиной миловидною любуясь,
Я в тихое унынье погружаюсь,
И на меня таинственно повеет
Какой-то запах милой старины;
Подъятые неведомою силой
С глубокого, таинственного дна,
В душе моей воспоминаний волны
Потоком свежим блещут и бегут;
И проблески минувших светлых дней
По лону памяти моей уснувшей
Скользят — и в ней виденья пробуждают.
Так в глубине небес, порою летней,
Когда потухнет ярко-знойный день,
Средь тьмы ночной зарница затрепещет,
И вздрогнет тьма, обрызганная блеском.

Таинственно во мне и предо мной
Минувшее слилося с настоящим;
И вижу ли иль только вспоминаю,
И чувством ли иль памятью живу,
В моем немом и сладком обаянье
Отчета дать себе я не могу.

Осенью 1848 года холера от столицы отступила. Вяземские вернулись в Петербург. 4 декабря, в преддверии тезоименитства Николая I, князь был пожалован орденом Святого Станислава I степени. «В Станиславе мало славы, — усмехнув-

шись, вспомнил он относительно свежее чиновничье присловье, — моли Бога за матушку Анну...»

«Видно, что я устарел и что дух во мне укротился, — записывал он свои ощущения. — Эта милость меня не взбесила, а разве только немножко сердит. Во все продолжение службы моей я только и хлопотал о том, чтобы не получать крестов... При графе Канкрине я успевал в этом. Мои нынешние сношения с министром уже не таковы. Ордена в некотором отношении похожи на детские болезни: корь, скарлатину. Если не перенесешь их в свое время, то есть в молодых летах, то можешь подвергнуться действию их на старости лет. Бог помиловал меня до нынешнего дня, но неминуемая скарлатина I-го Станислава постигла и меня на 56 году жизни моей. Поздненько, но не можно сказать: vaut mieux tard que jamais*. Всего забавнее, всего досаднее, что должно будет еще благодарить за это.

Прошлого года по представлению моему не дали I-го Станислава Скурыдину, потому что я его не имел. Теперь могу привить его другим. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a**.

Впрочем, все это, может быть, и к лучшему. Лишениями, оскорблениями по службе нельзя было бы задеть мое самолюбие. Провидение усмиряет мое самолюбие ниспосылаемыми мне милостями. Все мои сверстники далеко ушли от меня. Отличие, получаемое мною, ни от кого меня не отличает, а, напротив, более прежнего записывает в число рядовых и дюжинных. Когда я ничего не получал, я мог ставить себя выше других или, по крайней мере, поодаль, особняком. Теперь, получив то, чего не мог не получить, самолюбию моему уже нет никакой уловки, никакой отрады. Оно подрезывается под общую мерку и должно стать на уровень со всеми».

Через два месяца, 6 февраля 1849 года, нацепив новенькую звезду и надев бело-красную станиславовскую ленту через плечо, Вяземский явился во дворец: «Представлялся сегодня государю благодарить за Станислава. Кажется, с 39-го или с 40-го года не был я во дворце». Император с добродушной улыбкой выслушал его. В свои пятьдесят три Николай Павлович выглядел по-прежнему молодцом, ни военная выправка, ни внушительность ему не изменяли с годами, но что-то в лице появилось поблекшее и растянутое, а красивые холеные усы сильно поседели.

---

* Лучше поздно, чем никогда (*фр.*).

** Даже красивейшая женщина не может дать больше того, чем обладает (*фр.*).

— Как прошла пирушка твоя в честь Жуковского? — спросил государь. — Я бы желал, чтобы он поскорее вернулся домой. В Европе русскому сейчас нечего делать...

«Пирушку» эту Вяземский устроил 29 января у себя дома. Он задумал отпраздновать день рождения (66-летие) Жуковского, совместив это с 50-летним юбилеем его литературной деятельности... К Вяземскому съехались друзья Жуковского, ученики, почитатели его музы. «Свадебным генералом» на юбилее стал цесаревич, воспитанник Жуковского. Приехали граф Дмитрий Николаевич Блудов (графом он стал с апреля 1842 года), Плетнев, князь Одоевский, из женщин — Екатерина Андреевна Карамзина, дочери Дашкова и Пушкина — всего человек восемьдесят, мужчин и дам. Граф Михаил Юрьевич Виельгорский, давно уже утративший образ любезного ветреника, но и в сединах по-прежнему обаятельный, уселся к фортепьянам и приятным баритоном, слегка картавя, запел куплеты на слова Вяземского:

В этот день Бог дал нам друга —
И нам праздник этот день!
Пусть кругом снега и вьюга
И январской ночи тень —
Ты, Вьельгорский, влагой юга
Кубок северный напень!
Будь наш тост ему отраден
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

«Ура» действительно звучало, и «влага юга» в бокалах шипела, и Виельгорский был самый настоящий — а все-таки Вяземский, глядя на гостей своих, не мог не понимать, что на прежние бесшабашные застолья все это совсем непохоже... Присутствие великого князя невольно сковывало, хотя Александр Николаевич держался очень просто и скромно. Когда поднялся Блудов, чтобы читать вслух большое послание Вяземского к Жуковскому, две звезды на его фраке невольно брызнули отраженным светом в глаза... Блудов читал совершенно так же, как читали стихи лет тридцать назад, и это сочетание прежней, милой, светской манеры с его старым, холодным, изрезанным морщинами лицом, в котором было что-то чуть ли не волчье, производило жутковатое впечатление...

И самое главное — не было на празднике самого юбиляра.

«Такое торжество похоже на поминки, только не по мертвом, а по живом, которому его отсутствие придает какую-то идеальность, подливая каплю грусти по нем в пиро-

вую чашу веселья и давая живому, невидимому лицу его ту таинственность, какую получает для нас образ живущих за гробом, — отозвался Жуковский из Баден-Бадена. — Видишь, что я немного кокетствую и кобенюсь, просясь заживо в мертвецы: это и быть не может иначе. Я так много на веку моем воспевал мертвецов, что саван должен мне казаться праздничным платьем. Но кокетство мое не означает, чтобы я не жалел, что с вами не был на моем празднике... Воображаю милую, лучезарную фигуру Вьельгорского за фортепьянами во время пения».

Вяземский не знал, что скоро ему предстоят еще одни поминки. На этот раз по мертвой: 25 февраля неожиданно скончалась 36-летняя Мария Вяземская-Валуева, старшая и *последняя* дочь Вяземских. Она сгорела в три дня от так называемой «сухой холеры». Еле успели ее исповедать и причастить... Троих детей оставила Маша.

...21 мая 1849 года князь и княгиня Вера Федоровна выехали в Москву. Целью их странствия был далекий Константинополь, где служил в русском посольстве единственный их оставшийся в живых ребенок — Павлуша. Оттуда Вяземские собирались совершить паломничество ко Гробу Господню.

Уютного дома в Большом Чернышевом переулке уже не было, он был продан четыре года назад. Первым делом побывали в Остафьеве. Экипаж медленно тащился по Серпуховскому шоссе: несмотря на новизну свою, дорога эта была совершенно невозможна, вся усыпана камнями, так что и колеса, и подковы лошадей портились.

Девять лет не был князь в родной вотчине. Он с грустью увидел, что имение сильно запущено, и даже усадебный дом порядком обветшал — нужно было заново штукатурить фасад... Зато разросся парк, насаженный когда-то отцом. Беседки, отстроенные четверть века назад для «уединенных размышлений», заросли молодой травой. На пруду догнивали лодки... Перед домом появился круглый мраморный фонтан, привезенный из Италии. А в остафьевском храме — новые иконы: Святой Параскевы Пятницы — в память о римской могиле Пашеньки и Преподобного Сергия Радонежского — в память о баденской могиле Наденьки. Икона с ликом Сергия — копия с иконы Казанского собора в Петербурге. Вяземский заказал ее, когда узнал о болезни дочери, а закончена икона была, когда пришла весть о смерти Нади...

5 июня из Москвы приехали навестить хозяев Михаил Погодин и Гоголь. Вяземский был очень рад обоим и с удо-

вольствием показывал гостям усадьбу. За чаем и прогулкой разговоры шли «о Карамзине, о крестьянах, о Петре Великом, литературе и пр.». Погодин рассказал, что Гоголь устроил у него 9 мая именинный обед, наподобие тех, что были девять и семь лет назад. Но никакого праздника теперь уже не получилось.

— Все нынче перессорились, стоят на разных сторонах, — подхватил Гоголь, — а многих уж и нет: Лермонтова, Орлова, Тургенева, Баратынского... Словом, грустный вышел обед и поучительный.

— И превялый, и прескучный, — добавил добросовестный Погодин.

— А уж в конце, по милости вина, перебранились все так, как и не ожидал никто, — закончил Гоголь невесело. — Живая картинка: что стало с русской литературой за десять лет...

Гоголь собирался отправиться в путешествие по России и начать с того, что заехать в Калугу — там жила с мужем-губернатором Александра Осиповна Смирнова, в девичестве Россет, та самая «черноокая Россетти», «ласточка», «донна Соль», которую Вяземский обожал двадцать лет назад... Судьба ее сложилась совсем невесело — она вышла замуж не по любви, у нее умирали дети; из чернокудрой остроумницы-хохотушки она превратилась в желчную, рано постаревшую даму, не потерявшую, впрочем, ни обаяния, ни ума. Гоголь стал ее близким другом уже в 1843 году.

В Одессу Вяземских провожала графиня Евдокия Петровна Ростопчина. Князь помнил ее двадцатилетней девочкой на московских балах, начинающей поэтессой — теперь это была грустная, сильно поблекшая женщина... Она перекрестила их на дорогу.

Продолжался путь, и вот уже не видать слякотного Петербурга, лежит перед странником дорога на юг, где он никогда еще не бывал. Остафьево, Москва еще несколько времени виднелись издали, но вот — и след пропал, и завладели вниманием Вяземского бесконечные малороссийские степи. Едешь, едешь, едешь, едешь — дни и версты нипочем... Гоголевские края. Полтава, вся заставленная обелисками в честь знаменитой битвы — и не имеющая мостовой (грязь вместо улиц). На крышах хат важно сидят долгоносые аисты. Волы, отмахиваясь от мух хвостами, неторопливо тянут возы. Ночью степь, кажется, вся гремит стройным хором цикад, пахнет одуряюще травами и цветами, и снова вспоминаются Гоголь, великолепный его «Тарас Бульба» (Вяземский очень любил эту повесть, считал ее одним из

шедевров русской прозы)... Все как сотни лет назад — *вечная Россия*. Орел, Курск, Харьков... Киев, Умань...

...Знать бы Вяземскому, как путешествовал одновременно с ним Жуковский!.. У него поездка была гораздо короче — из восставшего Баден-Бадена в Страсбург, но впечатлений несравненно больше: «Перед нашим вагоном и позади его около тридцати вагонов, все наполнены солдатами и пьяною чернью с заряженными ружьями, косами, дубинами и прочими конфектами; крик, шум, топот, стрелянье из ружей; и на каждой станции надобно было ждать: одни выходили из вагонов, другие в них лезли — с криком, песнями, воем, лаем, стрельбой; наконец до десяти героев село на кровле нашего вагона».

Василий Андреевич за иронией пытается скрыть страх и возмущение. Он, видимо, не понимает, что и он, и его семья уцелели только чудом...

Ни Жуковский, ни Вяземский, к счастью, не дожили до повторения этих милых немецких картинок в России.

...Дорогой, примостив на дорожном портфеле с вытисненной надписью «Prince Pierre Wiazemsky» записную книжку, князь карандашом набрасывал «Степь»:

Степь широко на просторе
Поперек и вдоль лежит,
Словно огненное море
Зноем пышет и палит.

Цепенеет воздух сжатый,
Не пахнет на душный день
С неба ветерок крылатый,
Ни прохладной тучки тень.

Небеса, как купол медный,
Раскалились. Степь гола.
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла.
....
Пусто все, однообразно,
Словно замер жизни дух;
Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.

Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.

Степи голые, немые,
Все же вам и песнь, и честь!
Все вы — матушка Россия,
Какова она ни есть!

Глава IX

В ДОРОГЕ И ДОМА

Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя —
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот.

Тютчев

Людям искусства — писателям, художникам — редко удается привить детям любовь к своей профессии. Князь Вяземский — счастливое исключение. Его сын Павел, родившийся 2 июня 1820 года в Варшаве, воспитывался на отцовском творчестве и всю жизнь гордился своим знакомством с Пушкиным (можно даже назвать это знакомство близким приятельством — с маленьким Павлушей Пушкин возился с удовольствием и посвятил ему знаменитый экспромт «Душа моя Павел...»). Те, кто знал Павла в юности, искренне изумлялись широте его эрудиции в области истории и поэзии. А теперь, служа младшим секретарем посольства в Турции, он серьезно увлекся византийским искусством и средневековой живописью — в его квартире все было заставлено древними досками, покрытыми мельчайшей сеткой трещинок, — и признавался, что хочет писать работу о «Слове о полку Игореве»... Про себя Вяземский удивлялся такой разносторонности интересов сына, посмеивался над его увлечениями (откуда что берется, в детстве и юности Павлуша вовсе не был таким уж образцовым умницей!), но и радовался, и гордился тем, что сын вырос не шалопаем, каких много в Министерстве иностранных дел, а дельным человеком, просвещенным и образованным, *настоящим Вяземским*, достойно продолжающим род... И еще поражался тому, как Павел похож на него самого в молодости. То же худое костистое лицо, тот же фамильный нос (над своим курносием Вяземские традиционно подшучивали), те же глубоко посаженные глаза... Правда, очков он не носил, и волосы у Павлуши были волнистые и по моде довольно

длинные. Иногда он даже прикрывал их калабрезой — моднейшей «революционной» итальянской шляпой, за которую в России запросто могли отвезти на съезжую. Но в турецком климате такие штуки легко сходили с рук.

Старые князь и княгиня познакомились с женой сына, которую до этого знали лишь заочно: Павел венчался 17 октября 1848 года. Едва взглянув на избранницу Павлуши, Петр Андреевич не мог не подумать, что выбор сына чрезвычайно удачен... Тридцатилетняя Мария Аркадьевна Вяземская, урожденная Столыпина, в первом браке Бек, была необычайно красива, пожалуй, ее можно было сравнить с Натальей Николаевной Пушкиной в годы ее расцвета — нежное овальное лицо с небольшим ртом и огромными черными глазами*. Мария Аркадьевна была на шестом месяце беременности. «Красавица, лицом и душою благонравная, благочестивая, воспитанная в семействе деда своего, графа Мордвинова», — писал о ней Вяземский. 20 сентября 1849 года у Павла Петровича и Марии Аркадьевны родилась дочь Екатерина Павловна Вяземская, в замужестве графиня Шереметева, в 1851-м — Александра Павловна, в замужестве Сипягина**, в 1854-м — Петр Павлович. Павел Петрович принял в семью также дочек жены от первого брака, Марию и Веру Бек (их отцом был поэт Иван Александрович Бек, умерший в 1842 году). Десятилетняя Машенька Бек сразу понравилась старому князю живым и веселым нравом, но ничего не угадал, не увидел тогда Вяземский ни в своей будущей судьбе, ни в судьбе этой девочки...

Сначала настроение Вяземского было довольно мрачным. «Одно меня услаждает и согревает сердце мое: это счастие сына моего, которого Бог наградил милою, доброю и примерною женою, — писал он Плетневу. — Прочую поэзию здешнего пребывания я еще не раскусил и охотно поменялся бы ею на прозу Лесного института. С тоскою и завистью вспоминаю прошлогоднее лето, несмотря на холеру, сырость и постоянное ненастье, которыми оно было ознаменовано... В сердце моем уже нет места для новых, свежих впечатлений. Вижу, что кругом меня все живописно и прекрасно; да мне какое дело!» Но вскоре место для новых впечатлений в сердце все же нашлось.

---

* Мария Аркадьевна Вяземская (1819—1889) доводилась родной сестрой лучшему другу Лермонтова Алексею Столыпину-Монго, двоюродной теткой — самому Лермонтову и реформатору начала XX века Петру Аркадьевичу Столыпину.

** Александра Павловна (Ара, как ее звали в семье) в 1894 году вышла замуж за Д. С. Сипягина, который шесть лет спустя стал министром внутренних дел России, а в 1902 году был убит террористом.

Павлуша с женой жили в русском посольстве в Буюкдере, недалеко от Константинополя. «Буюкдере» по-турецки значило большая долина, и всю эту долину занимали дипломатические представительства иностранных держав. Вяземский, конечно, не мог не отметить, что русские всех перещеголяли — с огромным роскошным особняком, над которым развевался триколор, не могли равняться ни прусское, ни австрийское, ни английское посольства. При здании — великолепный сад, по которому не надоедает бродить, потому что эдаких роскошных деревьев в России и не встретишь (Вяземский даже не знал их названий). Упоительный южный воздух... Вид на Босфор, по которому день и ночь идут корабли под флагами всех государств... На открытой террасе лакеи ввечеру накрывали кофейный стол, являлись местные лакомства; Петр Андреевич и Вера Федоровна ахали, пробовали одно блюдо за другим, а Павлуша и Мария Аркадьевна, смеясь, объясняли — это саурма-берек, это каймак, это форель особенного приготовления, по-турецки «беле балык»... Павлуша терпеливо учил отца расслабляться по-турецки: нужно сидеть на диване, глаза полузакрыты, покуривать кальян и отпивать неторопливыми глоточками кофе. Постепенно впадаешь в приятное полузабытье, и русские уже придумали для этого отдыха слово: *кейфовать*... К столу выходили первый секретарь посольства, ровесник Павлуши Николай Карлович Гирс и сам посланник России в Порте Владимир Павлович Титов. С ним гостей из России связывало давнее знакомство: лет двадцать назад Титов, племянник Дашкова, был начинающим литератором, другом Веневитинова, Шевырева, Одоевского, на его первые опыты Вяземский публиковал рецензии в «Московском телеграфе», да и в доносах Булгарина Титов поминался в одной с Вяземским «шайке»... В Константинополе это знакомство словно оживилось, в Титове Вяземский открыл для себя сочувственника и умного собеседника; после они переписывались, в 1854 году Вяземский посвятил Титову одно из лучших своих стихотворений «Сознание»...

И путешествие через всю Малороссию, и плаванье по Черному морю, и сам Константинополь еще раз доказали верность в применении к Вяземскому аксиомы: его творчество начинается в дороге. Из украинской поездки он привез «Степь», «Степью» и «Полтаву», в Турции написал «15 июля 1849 года», «В поход!», «Ночь на Босфоре», «Босфор». Море, как всегда, вызывает у него восторг. Вяземский готов часами бродить по набережной, смотреть на Босфор, по которому бесшумно мчатся легкие каики; наблюдать за тем, как

принимают груз парусники и пароходы в порту... Расхваливает свой товар разносчик мороженого; невдалеке раздается песня на армянском языке... На набережной вечерами — весь город, там, как на маскараде, увидишь и европейца, и араба, и турка. И ночью безумолчный прилив, шелест набегающих на берег волн будоражит воображение даже похлеще, чем завывания муэдзина с недалекого минарета:

У меня под окном, темной ночью и днем,
Вечно возишься ты, беспокойное море;
Не уляжешься ты, и, с собою в борьбе,
Словно тесно тебе на свободном просторе.

О, шуми и бушуй, пой и плачь и тоскуй,
Своенравный сосед, безумолкное море!
Наглядеться мне дай, мне наслушаться дай,
Как играешь волной, как ты мыкаешь горе.

29 июня в посольстве весело и торжественно отметили именины Петра Андреевича и Павла Петровича, 15 июля — именины Титова... А 4 августа Вяземский отчасти осуществил свою «греческую» задумку четырехлетней давности — отправился на побережье Эгейского моря, к месту предполагаемого расположения Трои. На одном с ним пароходе плыли Титов, известный духовный писатель Андрей Муравьев, синодский чиновник Войцехович, несколько дипломатов и трое русских художников.

Пароход миновал Мраморное море, Дарданеллы. Погода стояла чудеснейшая. Ввечеру завиднелись на горизонте снежные вершины Самофракийских гор. Закатное небо озарилось бледно-лимонным светом. Художники торопились снять виды. Путешественники со зрительными трубками толпились на палубе, переговаривались, восхищались...

Но стоило в половине двенадцатого ночи разойтись по каютам, как на море разыгралась нешуточная буря. Пароход «был сложения некрепкого», и капитан почел за благо вернуться и переждать шторм... Вяземский, сильно страдавший от морской болезни, уже раскаивался в своем авантюризме. Измучившись от качки, он отказался перейти на русский корвет, который шел на Афон, и решил ограничиться сухопутным походом к Трое. Компанию ему составили Войцехович и сестры невестки — 27-летняя Вера Голицына и 24-летняя Екатерина Кочубей.

После завтрака караван из десяти человек выступил в путь. Вокруг на горячих конях джигитовали кавасы — греки-телохранители, увешанные оружием, в живописных чал-

мах, шальварах и куртках. Дорога шла по голому песчаному берегу, только изредка попадались навстречу колючие кусты да чахлые деревца... Встречались стада верблюдов, огромные колесницы, запряженные буйволами и волами... У источников с тепловатой, но чистой водой делали остановки. Наконец добрались до греческого селения Ренкия у подножья горы Ит-Гельмез. Там путникам предложили неизбежный кофе, трубки и невкусный арбуз. Местные старухи напомнили Вяземскому русских крестьянок, а молодые гречанки показались ему стройнее и пригожее русских девушек. Вообще Турция, по его мнению, страна не поэтическая, хотя и живописная. Слишком здесь много корявого, неотделанного... С Италией, где все — гармония, ее не сравнить.

Несмотря на палящий зной и усталость, Вяземский поднялся на Ит-Гельмез. Ночью, при свете луны, скакал верхом по Троянской равнине, усеянной осколками мрамора. И встретил рассвет на развалинах Илиона... Любуясь предрассветным небом, князь искренне пожалел, что не добрался до этих мест Жуковский: сколько красок почерпнул бы он здесь для своей «Одиссеи»!.. И это мохнатое, выпуклое море пронзительно-синего цвета, с изящным, словно нарисованным греческим фрегатом, и бурая пыль, вздымаемая копытами коней, и гортанный говор проводников... Голицына и Кочубей, смеясь, беспечно джигитовали у подножья горы — обе были отличными наездницами, молодые богини в белых амазонках... Вяземский, щурясь от безумного солнца, прошептал еле слышно — не для них, для себя:

Пал Приамов град священный;
Грудой пепла стал Пергам;
И, победой насыщенны,
К острогрудым кораблям
Собрались эллины — тризну
В честь минувшего свершить
И в желанную отчизну,
К берегам Эллады плыть.

Пойте, пойте гимн согласный:
Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей Греции прекрасной...

У него была с собой Гнедичева «Илиада», но вспомнился именно Жуковский. Когда-то из этой баллады взял Вяземский эпиграф к своему «Родительскому дому»: «Жизнь живущих неверна, жизнь отживших неизменна»...

Сколько раз ему приходилось повторять про себя эту фразу!..

На другой день французский пароход, битком набитый поляками, венграми и итальянцами, благополучно доставил Вяземского в Константинополь...

7 апреля 1850 года Петр Андреевич и Вера Федоровна наконец отправились в куда более далекий путь — в Иерусалим, ко Гробу Господню. Он должен был примирить их со всеми другими могилами. Супруги торопились попасть в Иерусалим ко дню Светлого Христова Воскресения.

Дорога к Иерусалиму была трудна и для молодых, не то что для 60-летних, обремененных к тому же многими болезнями. В Константинополе Вяземские и сопровождавший их баварский барон Шварц сели на австрийский пароход. 10 апреля бросили якорь в Смирне, остановились в гостинице «Два Августа». В Смирне шли дожди, было скучно — не читалось, не разговаривалось... Вяземский часами просиживал в кофейне на берегу моря. Пароход, на котором супруги должны были плыть дальше, ушел на выручку другому кораблю, который сел на мель возле острова Лесбос.

13 апреля приплыли на остров Родос. Там, в монастыре Святого Саввы, неожиданно нашли соотечественника — схимонаха Кирилла, бывшего унтер-офицера лейб-гвардии Егерского полка, доброго и простого старика. Потом был Кипр, Ларнака, где путешественников приняли с великим почетом — в монастыре Святого Лазаря звонили колокола... Из Яффы путники отправились в Иерусалим.

Русские путешественники уже бывали здесь — большим успехом пользовались у читателей книги Андрея Муравьева и Авраама Норова, описавших свои странствия по святым местам Востока. Вяземские во время путешествия читали Библию.

И вот 21 апреля 1850 года они въехали в Иерусалим...

Куда ни обращаешь взоры,
Повсюду грустные места:
Нагая степь, нагие горы
И диких дебрей пустота.

И посреди сей мертвой нивы
И скорбью освященных мест
Печально город молчаливый
Стоит, как на кладбище крест.

Но эта бедная картина
Превыше кисти и пера:
Здесь — Гефсиманская долина,
Там — Элеонская гора!

Никакие возвышенные чувства не волновали Вяземского при въезде в Святой град: плоть одолела дух. Он невероятно устал от двенадцатичасовой езды верхом по плохой дороге и от страшного зноя. «Не всем же дана сила духа Готфрида, который после перехода и штурма сразу бросился поклониться Гробу Господню», — думал он... Шум тысяч паломников под окнами окончательно привел нервы князя в расстройство, он опасался даже прилива крови к голове. Но все обошлось. В тот же день проводник отвел его ко Гробу Господню и на Голгофу. Конечно, ни о каких впечатлениях пока речи не было. Помолившись, Вяземский вернулся в келью и заснул мертвым сном. Проснувшись, отправился к заутрене...

Иерусалим входил в его жизнь не сразу. Святой град уступами подымался в горы; казалось, самые дома здесь вырастают из камня... Грязные улочки с мазанками, гостиницы, купола храмов, пыльная зелень... Тысячи людей всех цветов кожи и языков... Конечно, князь захотел видеть Гефсиманский сад. И вот он на этой священной земле — растрескавшейся от солнца, выжженной, полумертвой... Восемь древних маслин с тусклыми неподвижными листьями. Сад обнесен каменной оградой. Место, где молился в последнюю ночь Сын Божий, в точности не было известно — католические и православные монахи показывали князю разные участки сада. «Саженью ближе или дальше — какая разница», — думал Вяземский. Вот здесь, на этой земле молился Спаситель, зная о своей неотвратимой гибели... «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». Апостолов сковала тяжелая дрема... В минуту смертельной скорби каждый остается в одиночестве... Вяземский представил себе раннее утро, тьму, шелест серебристых тяжелых листьев, запах кожи и пота, холод губ Иуды на щеке Спасителя. Вот Петр выхватывает меч, готовясь защитить Учителя от напавших на него...

8 мая Вяземские были в католическом храме у вечерни — там праздновались Пятидесятница и возвращение папы в Рим. В храме толпилось множество арабов. «Греческое духовенство жалуется на происки Латинов и Протестантов, — записал Вяземский, — но, Господи прости мое согрешение, кажется, должно бы оно было более на себя жаловаться. Здесь нужно было бы непременно основать русский монастырь с приличным службе нашей благолепием, с певчими и пр.». Как ни странно, в дневнике князя нет записи о встрече с главой Русской духовной миссии, одним из обра-

зованнейших православных деятелей России — архимандритом Порфирием (в миру К. А. Успенский). Впрочем, Вяземский упомянул о встрече с отцом Феофаном, в будущем епископом Владимирским и Суздальским, в 1988 году причисленным к лику святых.

10 мая Вяземский посетил маленький католический монастырь Святого Иоанна; на обратном пути — греческий монастырь Святого Креста. 12-го слушал русскую обедню на Голгофе. В поминальном списке было 44 имени — родители, дети, друзья, близкие... Поразительно было слышать слова: «Помяни мя, Господи, во царствии Своем» близ того места, где они впервые прозвучали из уст кающегося разбойника... Особенно впечатлял здесь и Символ веры... Вяземский с недоуменьем заметил католическому монаху, что лучше было бы оставить место распятия Сына Божьего в неприкосновенности, нежели воздвигать над ним храм. Но монах резонно отвечал, что в таком случае от священного места давным-давно ничего не осталось бы, его бы затоптали бесчисленные паломники.

Среда, 17 мая, прошла в поездке в Вифлеем. Ночью, в монастыре Святого Илии, князь поднялся на плоскую крышу, над которой молча плыли звезды и месяц. Ему вдруг представилось с необычайной отчетливостью, что, может быть, за 1850 лет до него здесь стоял и тоже любовался лунной ночью современник величайшего на земле события... Стояла благоговейная тишина. В воздухе и уме мелькали и слышались голоса неумолкаемых преданий. В пять часов утра князь участвовал в литургии, которая отправлялась на трех языках — арабском, греческом и русском... Это была одна из счастливейших ночей в жизни Вяземского.

18 мая, после русской обедни в монастыре Святой Екатерины, князь записал: «Все что-то не так молишься, как бы хотелось. В Казанском соборе лучше и теплее молилось. Неужели и на молитву действует привычка? Или мои молитвы слишком маломощны для святости здешних мест». 19 мая, в день Светлого Христова Воскресения — литургия на Гробе Господнем... Обедня началась в третьем часу ночи. Зрелище было величественное и трогательное: огромная толпа паломников, во всех концах храма раздавались молитвы по-армянски, по-гречески и по-латински... Через три дня там же по-русски служил отец Вениамин. «У камня, отвалившегося от Гроба при Воскресении Спасителя, просишь и молишь, чтобы отвалился и от души подавляющий и заграждающий

ее камень и озарилась бы она, согрелась, успокоилась и проникла сь верою, любовию к Богу и теплотою молитвы. Но к прискорбию, не слыхать из души отрадной вести... Нет, душа все тяготеет, обвитая мертвым сном».

Чем ближе становился отъезд из Иерусалима, тем тяжелее делалось на сердце у Вяземского. Он начал привыкать к местной жаре, к ежедневным молитвам у Святых мест, но с горечью понимал, что вера тут ни при чем... Накануне отъезда нервы князя были на пределе «от разного тормошения» и дорожных сборов. Греческий митрополит Неапольский благословил княжескую чету крестом с частицей от Животворящего Креста, затем снял его со своей шеи и надел на Вяземского. Митрополит подарил князю также частицу врат сгоревшего сорок лет назад храма Гроба Господня.

Последним впечатлением Вяземского от Иерусалима стал сумрак долин и золото солнечного заката, облившее городские стены... В среду, 24 мая, в 7 часов утра паломники выехали из Святого града. На последнем холме, откуда был виден Иерусалим, Вяземский спешился и с молитвой поклонился городу...

Обратный путь показался ему менее тягостным. На другой день путники были в Яффе, откуда на английском пароходе отплыли в Бейрут. Там Вяземские провели около трех недель. Их ласково принял русский генеральный консул в Сирии и Палестине, друг и однокашник Гоголя Константин Базили. С ним Вяземский был знаком еще по Петербургу. Вдвоем они гуляли по красивейшей набережной города Рас-Бейрут, протянувшейся по мысу вдоль моря. Базили объяснил, что *рас* по-арабски — «голова» и «мыс». Вяземский сказал, что хотел бы, пока придет пароход, успеть съездить в недалекий Дамаск.

— Не советую, — покачал головой консул. — У нас в Бейруте жарко, но, честное слово, здешняя жара покажется вам в Дамаске сущим раем.

Князь грустно улыбнулся:

— Вот так путешествие... Не видал Назарета, теперь в Дамаск не попаду... И всего месяц в Иерусалиме, да и тот вполовину суетен. Это в моей судьбе: в ней ничего полного не совершается. Все какие-то недоноски, недоделки. Ни на каком поприще я себя вполне не выразил. Вертелся около многого... Это не случайность, а худое свойство воли, излишняя мягкость ее...

Базили деликатно молчал.

— Хотите, прочту вам новые стихи? — неожиданно спросил Вяземский. — Их я написал дорогою из Яффы.

Научи меня молиться,
Добрый Ангел, научи!
Уст Твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи,
Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!

...Пароход «Шильд», еле-еле делая пять узлов и скрипя всем своим рассохшимся корпусом, тащился к Смирне. Ветер Эгейского моря трепал за кормою австрийский флаг. Русский поэт возвращался из своего паломничества.

В сентябре князь был уже в Москве. Странные чувства испытывал он после паломничества ко Гробу Господню — ни просветлением, ни очищением нельзя было назвать то, что произошло в Иерусалиме. Нет, не поколебалась вера, не смутилась при виде тысяч паломников со всего мира, превращавших Святой град в подобие базара. Но Вяземский не мог не понимать, что путешествие на Восток поразило и преобразило его прежде всего как тонко чувствующего человека, умеющего восхищаться прекрасным. Так же — и едва ли не сильнее — поразила его пятнадцать лет назад Италия... И не случайно в «Молитве Ангелу-Хранителю», напечатанной в альманахе «Раут Н. Сушкова», он обмолвился о своих «черствых чувствах», которые только ангел может смягчить. Это было то же, о чем писал после своего паломничества Гоголь: «Как растопить мне мою душу холодную, черствую, не умеющую отделиться от земных, себялюбивых, низких помышлений?» Снова Гоголь и Вяземский вдруг оказались рядом — единственные крупные русские писатели XIX века, посетившие Град Христов, и оба — казнившие себя после паломничества за «черствость»...

Такой результат был неизбежен. Слишком закалена была в гордыне душа Вяземского, слишком умственна, слишком пропитана скептицизмом, чтобы сразу и просто впитать в себя всю благость учения Христова, чтобы стать воцерковленной. Он искренне рвался к Христу — и в изнеможении понимал, что душа как каменистая почва, что «благодатных слез ключи» не пробьются сквозь нее, зачерствевшую после стольких утрат. Тонкий человек, он чувствовал это — и страдал неимоверно, понимая, что *опять ему не удалось что-то главное*, что, на минуту осознав тщету своей жизни в Гефсиманском саду, он все-таки упустил самую суть паломничества, задрапировав ее слишком обильно экзотикой, палестин-

ской пустыней, верблюдами, бедуинами, жареными вифлеемскими голубями... Душа по-прежнему смертельно скорбела. И не было рядом никого, кто бы мог бодрствовать рядом с изнемогавшим князем. В попытке спасения увидели *попытку отдыха*. «Говорят, что это путешествие его очень успокоило, — писала, например, Александра Смирнова Гоголю. — Вяземский еще человек прошлого столетия, и развлечения, какого бы они роду ни были, очень могущественны для него»...

Один из столпов литературной Москвы, поэт, критик и профессор Степан Петрович Шевырев, автор обстоятельной статьи о Вяземском в «Москвитянине», предложил почтить князя торжественным обедом. Идею подхватили, и 21 октября московские литераторы, ученые и актеры чествовали знаменитого земляка в Училище живописи и ваяния на Мясницкой. Обед готовил лучший повар города Порфирий. Среди гостей были Шевырев, Погодин, Нащокин, Александр Булгаков с сыном Константином, Чаадаев, Николай Павлов, жена его поэтесса Каролина Павлова, романисты Вельтман и Загоскин, Щепкин, Лев Мей, Сергей Соловьев, Федор Буслаев, Тимофей Грановский... После тоста Павлова за здоровье виновника торжества слово взял Вяземский:

— Изъявление вашей благосклонности драгоценно сердцу моему и лестно моему самолюбию... Не могу, однако же, обманывать себя в истинном значении вашей приветливости. Вы во мне угощаете и празднуете не столько меня, не столько личность мою, не столько то, что я сам по себе, сколько то и тех, которых я вам собою напоминаю...

Эта речь была почти похоронной по настроению, и недаром многие услышали в ней «слезы». Что ни слово, то поминались в ней уже покойные уроженцы Москвы, так что в конце концов стало казаться, что и сам Вяземский — столетний патриарх былинных времен, которому не сегодня завтра в могилу... Говорил он басом, глухо и вяло, сюртук и галстух были подчеркнуто старомодны, тускнели седые волосы, и фраза «Я родом и сердцем москвич» звучала надуманно и чуть ли не фальшиво — ясно было, что ни Москвы Вяземского, ни прежних его друзей больше не существует. В ответной речи Шевырев попытался сгладить это тягостное впечатление, напомнив присутствующим об *образе Вяземского* в русской литературе — о упоминаниях его в стихах Батюшкова и Языкова, о «Сумерках» Баратынского с посвящением князю, наконец, о гостиной «скучной тетки», где он развлекал разговором пушкинскую Татьяну Ларину...

Вяземский проехался по знакомым с детства улицам — Охотному Ряду, Моховой... Напротив когда-то родной Волхонки уже не было привычного Алексеевского монастыря и рядом с ним церкви Всех Святых — высился в лесах могучий храм Христа Спасителя, и новенький, недавно законченный купол его крыли сусальным золотом. Никто не ездил больше четверней с форейторами. Исчезли с улиц (впрочем, не только в Москве) цветные сюртуки. И не было милейшего генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына, незадолго до смерти пожалованного светлейшим князем...

Велел кучеру править к Новодевичьему. Смоленский собор, как всегда на зиму, был закрыт, в церкви Успения шла служба... Вяземский переходил от надгробия к надгробию, не стыдясь слез, которые помимо воли катились по лицу... Под тяжелой черной плитой с фамильным гербом спит неукротимый Михаил Орлов. Недалеко от него — Денис Давыдов. И тут же — князь Шаховской-Шутовской, давнишний противник арзамасских времен... Две маленькие дочери Карамзина... А вот и скромный памятник из серого мрамора — «Блаженны милостивии, яко тии помилованы будут. Матф, V, 7. Здесь покоится прах раба Божия, Тайного Советника, Камергера и Кавалера Александра Ивановича Тургенева, родившегося 1784 года Марта 27 дня и скончавшегося Декабря 3 дня 1845 года».

Только теперь Вяземский заметил, как близко лежит Александр Тургенев от отца, князя Андрея Ивановича, — их могилы разделяют буквально пять шагов!.. Он поклонился отцовскому надгробию, могиле сестры. Подумал о том, что, если быть погребенным в Москве, то, конечно, здесь, в Новодевичьем, а если в Петербурге — то рядом с Карамзиным.

1851 год начался с празднования 50-летия службы Блудова, и этот праздник, к которому Вяземский написал стихи, хоть и порадовал слабеньким, натужным арзамасским дыханием (все-таки общая память какая-то оставалась), но все же не мог не ужаснуть князя — хотя бы тем, какими все действительно стали *стариками*... Он ведь помнил Блудова тоненьким, изящным юношей, произносившим умные приговоры шишковским писаниям — а во главе стола сидел начальник Второго отделения собственной Е. И. В. канцелярии, возведенный за службу в графы, дважды экс-министр и кавалер всех мыслимых орденов, старый и пугающе некрасивый. И Уварова Вяземский помнил томным красавцем-щеголем, принимавшим его в «Арзамас», — а на празднике улыбался холодный, порочный до кончиков пальцев опаль-

ный вельможа, тоже экс-министр и тоже возведенный в графы. И что самое странное (и жутковатое даже) — Вяземский чувствовал, что не питает ни к Блудову, ни к Уварову никакой неприязни. Блудов своими руками подписал князю приговор двадцать лет назад, Уваров столько крови попортил Пушкину в последние годы его жизни... И, однако, Вяземский улыбался обоим и читал стихи, и втроем они хлопали актерам, разыгрывавшим для них сцены из озеровского «Димитрия Донского». И жареный арзамасский гусь был. Какая-то страшная, стариковская, извращенная пародия на прежнюю дружбу, на Золотой век. Они были почти ровесники, и уже казалось, что они могут понять — просто в силу возраста — что-то такое, чего никто другой, пусть и лучше Блудова и Уварова в сто раз, понять не сможет... И вспоминались все умершие арзамасцы, и действительно начинало казаться, что умерших больше, несравненно больше живых и что пришел его черед... Во всем была какая-то необъяснимая фальшь, что-то неправедное (но что именно?), на Вяземского надвигались жуть и тревога, не отпускавшая князя с тех пор, как он вернулся из Иерусалима...

Никогда он не был еще так близок к помешательству, как летом 1851 года. Плетнев писал, что мучительная бессонница приводила нервы князя в «страшное беспокойство», «за которым следует трепетание членов тела» — судороги. Подобные нервные приступы время от времени одолевали Вяземского уже тридцать лет. Карамзин, например, еще в июне 1822-го сокрушался о том, что Вяземский «не спит ночи, и... нервы его очень расстроены». Особенно сильно ухудшалось его состояние в 1835, 1837 и 1840 годах, после смерти дочерей и Пушкина.

«Вяземский был сильно болен... — сообщал жене Тютчев. — Оказывается, с ним случился один из тех приступов сильного мозгового возбуждения, которые заставляют его опасаться за рассудок. Он пробыл в этом состоянии трое суток, и жена поспешила увезти его в Лесной, надеясь, что ему поможет перемена воздуха и места». Точнее, не в Лесной институт, а на Спасскую мызу — дачное место под Петербургом, где Вяземские купили участок земли и построили, по словам Плетнева, «что-то вроде дачного домика». Но перемена воздуха и места не помогла, и встревоженная Вера Федоровна 20 июня повезла мужа на купанья в Ревель. Оттуда они вернулись 22 июля, а через два дня Тютчев писал: «Рассудок князя находится в довольно плачевном состоянии — я говорю рассудок, а не здоровье, ибо, по крайней мере с виду, — никак не скажешь, что он болен. В наруж-

ности его ничто не изменилось, и, по его собственному признанию, единственное физическое недомогание, на которое он может пожаловаться, заключается в бессоннице, — да и та бывает не всегда. Но рассудок его серьезно болен, и я особенно понял это, когда он стал так пространно и подробно рассказывать о своем положении; ведь он обычно так сдержан и так скуп на излияния во всем, что касается его лично. Он сказал мне, что чувствует себя совсем конченым человеком, и добавил, что ему ничего другого не остается, как обратиться к себе со словами из песенки: «*Друг мой Пьеро, свеча твоя догорела, нет у тебя больше огня*» — и так далее». Врач Беккер, лечивший князя, «видя бедного больного во власти жесточайшего отчаяния, не находил ничего лучшего, как советовать: «*Вы бы, князь, изволили что-нибудь покушать*». Тут же Тютчев сообщает жене о недопустимом, по его мнению, поведении Веры Федоровны, которая считала своим долгом каждому гостю сообщать в присутствии больного «интимнейшие подробности его состояния» и вообще, «несмотря на свое старанье и преданность больному», проявляла «прямо-таки возмутительную глупость и бестактность». Вяземского навещали великая княгиня Елена Павловна, Виельгорский, Мещерские, Одоевские, Карамзины, Бобринские...

Бессонница доводила Вяземского буквально до исступления. Не желая никого видеть, он забивался в свою комнату... Невольно вспоминал несчастного Батюшкова... Потом неожиданно наступало просветление, и тогда визитерам казалось, что Петр Андреевич совершенно здоров. «Эти подъемы и упадки как раз и являются характерными для его болезни», — замечал Тютчев. Лейб-медик Арендт советовал модную гомеопатию; другой врач рекомендовал душ... Знакомые же в голос уговаривали ехать в Европу, на воды. Революционное безумие, слава Богу, два года как утихло, опасностей для русских путешественников больше не было. И хотя буквально месяц назад выдача заграничных паспортов в России была ограничена до минимума, ужасное состояние Вяземского было видно невооруженным глазом, и никаких проволочек с документами для него не возникло. Паспорт ему выдали на полгода. Более того, министр иностранных дел граф Нессельроде лично вызвался предоставить Павлу Петровичу (которого уже полгода как перевели из Константинополя в Гаагу) внеочередной отпуск для встречи с отцом... 14 августа Тютчев и Виельгорский пришли проводить Вяземского. Он был совершенно уверен, что вскоре умрет, и почему-то думал, что полтора месяца назад

его можно было еще спасти. Князь непрестанно ходил по комнате и твердил:

— Опоздали, опоздали на полтора месяца!

Вошел слуга и доложил, что лошади поданы. Вяземский расцеловал Виельгорского, подал руку Тютчеву и глухо сказал:

— Запомните мои последние слова: вы больше не увидите меня, а если увидите, то в состоянии худшем, нежели смерть.

«Нельзя, разумеется, придавать подобным речам особого значения, но сердце сжимается, когда слышишь их от такого человека, как он», — записал свои ощущения Тютчев...

Через две недели после отъезда Вяземского, 1 сентября, в возрасте семидесяти одного года умерла его единокровная сестра Екатерина Андреевна Карамзина.

Встревоженный Павлуша ждал отца в Гааге. Вяземский некоторое время колебался — ехать куда бы то ни было ему не хотелось (безумства 1848 года крепко сидели в памяти), но все же Берлин и Дрезден представлялись более привлекательными, чем все остальное... В конце концов он решил ехать куда глаза глядят и задержаться там, где станет лучше. Дорогой ему немного полегчало. В начале сентября он прибыл в Берлин. Но там тоска и бессонница снова навалились на Вяземского... Жуковский, живший в Баден-Бадене, в письмах стал его уговаривать остановиться для лечения в Париже. Вяземский немного недоумевал — с чего это Жуковский взял, что в Париже лечат лучше всего?.. Но в конце концов решил, что друг лучше его знает свойства западных курортов. «Я душевно радуюсь, что ты отказался от Дрездена, едешь в Гаагу и потом отправишься в Париж, — писал Жуковский. — Пожив немного с своими, непременно отправляйся в Париж, там средств для твоего исцеления множество... Поживи в Париже и, полечившись как следует, приезжай в начале апреля в Баден; мы проведем весь этот месяц вместе; в начале мая я отправлюсь в Россию». (Жуковский не звал Вяземского к себе сразу по двум причинам: во-первых, у Жуковского стремительно ухудшалось зрение; во-вторых, в Бадене была похоронена Наденька Вяземская. Эти обстоятельства, как думал Жуковский, могли еще сильнее расстроить друга. Поэтому он и настаивал на том, чтобы Вяземский сначала вылечился.)

Во время болезни Вяземский начал бояться поездов и поэтому путешествовал в дормезе — большой карете со спальными местами. Хандра с бессонницей и не думали отступать. Хотя, как ни странно, даже в таком невеселом состоянии он разглядел что-то забавное и набросал иронич-

но-горький «Проезд через Францию в 1851 г.», где посмеялся и над собственной болезнью, и над бдительными французскими жандармами, и над цивилизованной Европой, где железных дорог уже было больше, чем лошадей... Но это была скорее ирония по привычке. В последней строфе «Проезда через Францию...» была строка «Измучился Улисс несчастный», и это была правда — он действительно измучился до предела.

В Париже он не был двенадцать лет — и Париж республиканский понравился ему еще меньше Парижа королевского. Президентом республики, установленной после падения в 1848 году Луи Филиппа, был принц Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I. Этот необыкновенно честолюбивый принц несколько раз пытался захватить власть в стране еще в 30-х годах (за что был выслан в Америку и даже шесть лет отсидел в крепости). И вот теперь, будучи президентом, решил добиться своего переизбрания на второй срок, для чего распустил палату представителей и арестовал 80 враждебных ему депутатов... 2 декабря 1851 года в Париже было введено осадное положение. Прямо под окнами Вяземского на Елисейских Полях появились огромные, как дома, баррикады. Но до больших боев дело все же не дошло. Верные президенту войска и полиция патрулировали город, стреляя при малейшем подозрении налево и направо. Для Парижа — по сравнению с бойнями 1830 и 1848 годов — это были «мелочи», для Вяземского — шок, от которого он долго не мог оправиться... Следы пуль на стенах домов, выбитые выстрелами стекла, валявшиеся на тротуарах трупы... Мостовая красна от крови. «И все это — во имя равенства, любви, свободы... Все это — коммунизм, демократия, о которой так много кричат наши либералисты!» — с ужасом думал он.

Еще отвратительнее были «выборы», которые устроил президент сразу после окончания боев в столице. По парижским улицам шныряли бойкие молодые люди и настойчиво совали в руки прохожих какие-то листовки. Такую листовку дали и князю. Это был отпечатанный в типографии бюллетень с заранее выставленным на нем словом «да». Князь пришел в бешенство, подумав о том, сколько *неграмотных* людей опустило такие бюллетени в урны, голосуя за переизбрание Наполеона на второй срок... Вконец издерганные нервы нельзя было успокоить ни прописанным врачами хлоральгидратом и опиумом на ночь, ни чтением, ни оперой, ни встречами с милым сердцу Адамом Мицкевичем... Его невероятно раздражал всякий шум, особенно колоколь-

ный звон, доносившийся с улицы, и бой часов... Вяземский молился — и с ужасом понимал, что в молитву вмешиваются злые, тревожные, суетные мысли. «Господи, — шептал он, — я знаю, что моя болезнь есть наказание Твое за мои грехи и беззакония, но, Человеколюбче, поступай со мной не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему». Отец Иосиф, настоятель православного храма русского посольства, исповедовал его...

«Обнимаю тебя, — писал князь 6 декабря Жуковскому. — До чего же мы с тобою дожили — или до чего я дожил? И надобно же в таком расположении духа и здоровья попасть в Париж, где все возмущает душу. К тому же я никакой доверенности не имею в здешних врачей... Помолись за меня. О, как мне нужны молитвы чистые. На свои молитвы грешные и тревожные не надеюсь». 21 декабря, незадолго до Рождества, Вяземский перечитывал свои иерусалимские записи. Воспоминания о паломничестве привели его в такое расстройство, что он тут же, на полях, стал записывать: «Неужели в самом деле Иерусалим привел меня в Париж, то есть, по мнению некоторых врачей, поездка на Восток и деятельная там жизнь слишком возбудила мои нервы, а по возвращении в Россию они упали и ослабли от однообразной и довольно ленивой жизни. Во всяком случае больно, что не из Парижа я попал в Иерусалим. Уж лучше занемочь Парижем и исцелиться Иерусалимом, нежели делать попытку наоборот». И чуть дальше: «Я не имею никакой надежды на выздоровление, по крайней мере духовное, а без него телесное только продолжение казни. Бедная жена! Бог не дает ей отдохнуть от скорби». Вспомнив о том, как благословлял их на дорогу митрополит, как отдал Вяземским свой нательный крест, князь записал: «И я грешный окаянный ношу его на шее: но благодать его не действует на мое заглохшее и окаменелое сердце. Господи, умилосердись над нами! Просвети, согрей мою душу»...

Восемь дней спустя Вяземский пишет Жуковскому: «Худо кончаю 1851 год и, вероятно, худо начну и 1852. Но как кончу его и кончу ли? Или он меня до конца своего докончит?.. Ты говоришь мне: борись и воюй! И рад бороться и воевать, да нет ни оружия, ни рук. Душою можно одолевать недуги тела и удары судьбы. Но больной душе, но больной воле нельзя врачевать недуги... Раз упавши, не могу восстать иначе, как волею Божиею, то есть тогда, когда Он просветит мою ослепшую душу и обновит мои силы, ослабевшие и притупившиеся. На земное, медицинское врачевание, особенно парижское, нимало не уповаю. В болезненном поло-

жении моем мне везде было худо, а здесь невыносимо... Все во мне наглухо заколочено... Помолись за меня. Только у меня и надежды, что на молитвы ближних и друзей». 3 февраля 1852 года: «Что здоровие твое и твоих? Мое плохо, и я худо начал новый год, и худо его продолжаю. Врачи мне обещают выздоровление с весною: я на выздоровление не надеюсь, но хотелось бы выехать отсюда. Куда? — И сам не знаю, потому что на моем небосклоне нет нигде светлой точки — но не хотелось бы окончательно заболеть и умереть здесь».

Жуковский мучился не меньше Вяземского — дряхлый, полуослепший, он часами должен был сидеть в темной комнате. Но пера из рук не выпускал... 15 февраля он прислал Вяземскому текст своей новой элегии «Царскосельский лебедь»: «Милый Вяземский, вместо письма посылаю тебе стихи...»

«Ах ты мой старый лебедь, пращур лебединый, да когда же твой голос состареется? — с нежностью писал 3 марта Петр Андреевич. — Он все свеж и звучен как прежде. Не грешно ли тебе дразнить меня своими песнями, меня, старую кукушку, которая день и ночь только все кукует тоску свою. Стихи твои прелесть... «Лебедь» твой чудно хорош. Пошли свои тетрадки Павлуше в Гаагу и Софии Карамзиной». В образе величавого царскосельского лебедя, рожденного в век Екатерины, «тихо устаревшего» в век Александра, без труда узнавался сам Жуковский, да и он, Вяземский, тоже; поэтический портрет поколения, завершающийся его уходом в небытие... «Здесь погода почти постоянно дурная, и, как соловья кормят баснями, так и меня кормят весною и обещают, что с весною я, как твой жаворонок, *увижу весь Божий мир*, а пока с грустью и досадою вижу один Париж, который вовсе не похож на *Божий* мир, — продолжал князь письмо. — (Говорю, вижу Париж, но мог бы я сказать, и это вернее, не вижу Парижа. Передо мною все темный бор.) Завидую твоей духовной бодрости и ясности души, которая есть и Божия благодать, и вместе с тем благоприобретенная собственность, усвоенная всею прошедшею жизнью, правильными и постоянными трудами, хорошими хозяйственными распоряжениями и мерами в управлении собою и жизнью. Этого ничего у меня не было, и грустная, дрянная старость расплачивается за беспечность, чтобы не сказать хуже, молодости и зрелых лет, уплывших без всякого направления, а как и куда ветром несло. Тут никакие пилюли и микстуры не помогут, зло выше и глубже. Если по крайней мере сумел бы я научиться у тебя рано вставать. Это бы-

ло бы уже для меня большое пособие в моей болезни теперь, не говоря уже о совершенно бессонных ночах. Но проснуться в 5 часов утра кажется мне наказанием, к которому я никак привыкнуть не могу и которое часто приводит меня в исступление и бешенство... Так худо и тяжко мне, что и сказать не могу. Добро страдал бы я один, но бедная жена моя, несмотря на мою душевную твердость, измучилась, глядя на меня. А я в преступном малодушии моем никак поберечь ее не умею. Нежно обнимаю тебя».

До него доходит весть о смерти в Москве Гоголя — он умер 21 февраля, уничтожив перед смертью второй том «Мертвых душ»... Это поразило Вяземского: совсем недавно получил он от Гоголя письмо, в котором тот вновь советовал ему приняться за историю Екатерины II... Состояние больного резко ухудшилось. 30 марта он снова пишет Жуковскому: «Париж с каждым днем становится мне несноснее, болезнь моя не только не уступает, а в некоторых отношениях усиливается, и бессонницы мои чаще и упорнее прежнего. На здешних докторов никакой надежды не имею. Все они живодеры. Хочу непременно убраться отсюда и хотел бы начать тем, что к тебе заехать, а потом посоветоваться с немецкими врачами... Удастся ли мне обнять тебя и при тебе успокоиться?». Он спрашивал друга, можно ли нанять в Бадене дом. Жуковский отвечал 3 апреля: «Здесь в Бадене есть дом, который можно нанять по 25 гульденов в неделю». Но бегство Вяземского из Парижа не состоялось: 4 апреля из Гааги приехал погостить Павлуша. На другой день Вяземский послал Жуковскому об этом короткую весточку.

Спустя неделю, 12 апреля, Василий Андреевич Жуковский умер. Ему было шестьдесят девять лет. Скончался тихо, благословив жену и детей, вдалеке от своего родного Белёва... Умер, как жил, — стройно, спокойно, оставив по себе память светлую, как его арзамасское прозвище, и непреходящую.

Что-то мистическое оказалось в этом: Вяземский и Жуковский не виделись больше десяти лет, страстно хотели встретиться — и вот все же не встретились... Словно злой рок удержал Вяземского в ненавистном Париже. Еще долго не мог он себе простить того, что не приехал к единственному оставшемуся от прежних времен другу... Но людям не дано предвидеть будущее. Еще более мистическими окажутся обстоятельства смерти самого Вяземского — ему будет суждено умереть в том же городе, что и Жуковский, в доме,

расположенном на соседней улице, в трех минутах ходьбы от места смерти друга. И похоронят его рядом с Жуковским...

Уход Гоголя и Жуковского оказался для него неожиданным и от того еще более тяжким ударом. Бросив Париж, князь с женой и внучкой Лизой Валуевой отправились в Австрию и Саксонию, где провели весь 1852-й и большую часть 1853 года. Маршруты недалеких путешествий сплетались в диковинные кольца — Теплиц, Дрезден, Карлсбад, Прага, Вена, Мариенбад, Франценсбад, снова Прага, снова Дрезден... Это была попытка сбежать от себя, от собственного нездоровья, заглушить впечатлениями душевную боль. С этими городами Вяземского *ничто не связывало*, они не вызывали у него никаких ассоциаций и воспоминаний — здесь было легче, бытие словно писалось по чистому листу, что-то происходило с ним впервые; его властно обступала уютная, комфортная вещественность, и Вяземский чувствовал, что не карлсбадские кислые Хиршеншпрунг и Шлоссбрюнн, а спокойное, плавное, прозябательное существование возвращает ему и силы, и способность воспринимать жизнь. Нет, князь ничего не забыл — ни страшного рубежа 1851—1852 годов, когда был на грани безумия, ни смерти Жуковского... Но все-таки отделался он сравнительно дешево — вынес из парижской зимы только хроническую ипохондрию, с которой не расставался уже до конца. Отныне в жизнь Вяземского прочно вошли всевозможные европейские курорты, он стал завсегдатаем Карлсбада и Баден-Бадена, мчался туда при малейшем намеке на болезнь... Впрочем, преувеличенная забота о собственном здоровье отличала его всегда, достаточно заглянуть в его письма к жене, где князь с упоением перечисляет меры предосторожности, принятые им против холеры, которая, *кажется*, скоро начнется опять.

Он и сам удивлялся — откуда-то брались в нем силы жить дальше, и любоваться Эльбой, и беседовать с Вацлавом Ганкой в виду пражских Градчан, и с умилением слушать русскую обедню, и праздновать Масленицу блинами, и восхищаться комфортабельным поездом, который стрелой примчал его из Праги в Вену... «К сожалению моему, я еще осужден кудахтать на чужбине, — писал Вяземский старому приятелю С. Д. Полторацкому. — Но ты видишь, что с горя я все еще продолжаю играть словами. Эта способность пережила во мне все прочие»... К этому времени, к марту 1853-го, относится замечательный портрет Вяземского, сделанный в Дрездене саксонским художником фон Витцлебе-

ном. Шестидесятилетний князь, одетый в теплое двубортное пальто с бархатным воротником, изображен сидящим в кресле. Лицо исстрадавшееся, напряженное, губы скорбно поджаты; во взгляде — тоска и холод... Сам князь был очень доволен этим «удачным списком», хотя и заметил, что «за старый подлинник и пфеннига не дашь». Он написал благодарственное четверостишие Витцлебену и 17 апреля отправил литографию с портрета сестре невестки — княгине Вере Голицыной, с которой был знаком по Константинополю. К литографии приложил поэтическое поздравление с Пасхой. У этих стихов оказалась интересная судьба: в 1862 году они почему-то были разделены издателем Вяземского на два самостоятельных стихотворения, «Молитва» и «Очарование», и так напечатаны в 1880-м в четвертом томе Полного собрания сочинений. Вновь объединены эти стихи были только в 1887 году — и уже как единое произведение вошли в одиннадцатый том Полного собрания...

В коротких, зато непрестанных разъездах по немецким курортам снова вернулась к Вяземскому способность увязывать между собой «двойчатки» (так он называл рифмы). Именно в дороге им были написаны (вернее, сначала сочинены в уме) «Прага», «Фрейберг», «Дрезден», «Ночью на железной дороге между Прагою и Веною» и «Зонненштейн». Особенно урожайным на стихи оказался 1853 год. Пожалуй, только арзамасские 1815—1817 годы да еще холерный 1830-й были для него столь плодотворными. Такое внезапное возрождение было приятной неожиданностью для самого Вяземского... Хотя назвать стихотворения начала 50-х шедеврами язык повернется разве что у очень яростного поклонника его творчества. И разудалая «Масленица на чужой стороне», и послание «Графу Д. Н. Блудову», и «Палестина» написаны умелой рукой, но, пожалуй, этим их достоинства и ограничиваются. Русский зимний колорит в «Масленице...» лихой, спору нет, но уж какой-то слишком утрированный, чуть ли не лубочный, и производит скорее неприятное впечатление (хотя это стихотворение пользовалось колоссальной популярностью в России). А послание Блудову, в котором вспоминается блудовский юбилей 8 января 1851-го и парижский переворот 2 декабря того же года, — типичный пример многословного и малоинтересного стихотворчества Вяземского. Возможно, в 1817 году такое послание вызвало бы восторг, но в 1853-м оно выглядело уже очень архаично. Иногда кажется даже, что Вяземский намеренно задавал себе темы для сочинения стихов, чтобы проверить себя: справится ли?.. Он справлялся — порой с удивительной легкос-

тью, во всяком случае, стихотворение получалось плавным и почти музыкальным, — но поэзией то, что получалось, можно было назвать все реже. Выходило умелое, ловкое и разнообразное стихосложение, от которого почти всегда веяло холодной опытностью автора и *привычкой писать*.

Пожалуй, даже «Поминки» — цикл, посвященный ушедшим друзьям, не стали достижением Вяземского. Возможно, не вполне хорош оказался для этой темы найденный им размер — только что «обкатанный» в «Масленице...» немного легкомысленный четырехстопный ямб; возможно, неверной оказалась взятая интонация... По-настоящему удачным получилось только стихотворение «Гоголь» — никогда, ни до, ни после, не писал Вяземский о Гоголе с таким уважением и такой теплотой. Портрет Алексея Перовского вышел чрезмерно затянутым; о Пушкине, Дельвиге и Языкове не удалось сказать ничего, кроме каких-то штампованных фраз... Стихотворение «Жуковский» вовсе осталось незавершенным — вероятно, автор сам почувствовал фальшь елейных воспоминаний (хотя финальная строфа неожиданно получилась очень сильной). К «Поминкам» тематически примыкает написанный на пароходе «Зонненштейн» — воспоминание о безумном Батюшкове (в 1853 году «Жуковского и мой душевный брат» был еще жив и жил у своих родственников в Вологде...).

Лучшими стихотворениями Вяземского этих лет стали торжественная надпись «Петр I в Карлсбаде» (23 апреля 1853-го, Карлсбад), ироничный «Александрийский стих» (7 мая, Дрезден), «Ночью на железной дороге между Прагою и Веною» (в поезде в ночь с 28 на 29 мая) и «Одно сокровище» — воспоминание об Иерусалиме. К «Одному сокровищу» в полной мере применимо ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...». Трудно в это поверить, но стройное, величественное, проникнутое благочестием стихотворение было написано после посещения Вяземским дрезденского балагана, где показывали панораму Иерусалима. В «Одном сокровище» князь заявлял о том, что самый великий день его жизни — день, когда он совершил омовение в священных водах Иордана... По-видимому, тогда же была доработана и начатая еще в августе 1850-го «Палестина», тоже воспоминание о паломничестве, но уже менее удачное — растянутое и чересчур экзотическое, с многочисленными кактусами, верблюдами и сынами Магомета в бурнусах.

Новые стихи свидетельствовали о том, что Вяземский выздоравливает. Окончательно вылечила его (и вытащила из

страшной ямы 1851—1852 годов) Венеция. Туда князь отправился на морские купанья по совету знаменитого дрезденского врача Августа Геденуса.

Давно подмечено, что для русского поэта Венеция — одно из самых значимых в мире мест, по нагруженности ассоциациями она вполне может сравниться с Парижем или Петербургом. Современный образованный путешественник, попадая в Венецию, непременно испытывает на себе давление опыта всех предыдущих знаменитостей, навещавших этот чудесный город. В начале 1850-х Венеция еще была относительно свободна от таких наслоений. Вяземский знал, что здесь бывали Жуковский, Батюшков, Александр Тургенев, Гоголь. И, конечно, Торквато Тассо, Руссо, Байрон... Вяземский приплыл в Венецию из Триеста на русском корвете в полдень 7 августа 1853 года. И почти сразу был покорен этим не похожим ни на что городом, которому суждено было вдохновить его на множество стихотворений. Именно с Вяземского и начинается «венецианская тема» в русской лирике.

У Вяземского множество стихов, посвященных разным городам. На своем долгом веку он писал о Москве, Петербурге, Ревеле, Ялте, Полтаве, Одессе, Женеве, Ницце, Дрездене, Праге, Флоренции, Вероне, Виченце, Риме, Берлине, Баден-Бадене, Бад-Эмсе, Бад-Киссингене, Карлсбаде, Иерусалиме, Константинополе... Но именно Венеция стала любимой «героиней» князя всерьез и надолго. В 1853-м он пишет «Венецию», «Ночь в Венеции», «К Венеции», «Guardino Publico»*, «Венецианке», «Гондола», цикл «Баркаролы»... Новый город, новая тема поворачиваются перед Вяземским разными сторонами. Собственно «Венеция» — то, что Вяземский обозначал словом «фотография», то есть мгновенная стихотворная зарисовка, первые общие впечатления от нового города и его жизни... «К Венеции» и «Венецианке» — старомодные мадригалы; «Гондола» (с подзаголовком «Подражание Гёте») — угловатый философский набросок, где жизнь сравнивается с венецианским Большим каналом... В на первый взгляд беззаботных стилизациях «Баркаролы» неожиданно ярко блеснуло небольшое стихотворение «Рассеянно она / Мне руку протянула...». Но все-таки самыми удачными в венецианском цикле стали «Guardino Publico», напоминающий «Тропинку» 1848 года, и «Ночь в Венеции». «Guardino Publico» интересен тем, что в нем Вяземский на мгновение забывает о своей любви к Венеции, переносится мыслями в

* «Публичный сад» (*ит.*).

Россию (точнее, на петербургские острова) — и нам явственно виден старый князь, задумчиво бродящий по осенним тропинкам основанного Наполеоном городского публичного сада Парко делле Римембранце (у этой прогулки есть точная дата — 22 ноября 1853 года):

Люблю бродить в саду и думой дальной
Иных дорожек хладный грунт топтать
И в осени, красавице печальной,
Черты давно знакомые встречать.
Люблю я прелесть тихой сей картины:
Деревьев тощих молчаливый ряд,
Полуразвенчанные их вершины,
Полуоборванный лугов наряд —
И шорох хрупких листьев облетевших,
Ногой моей встревоженных слегка,
В душе подъемлет рой снов, глубоко засевших,
И грустно мне, но эта грусть легка!

Несмотря даже на типичную для Вяземского труднопроизносимую предпоследнюю строчку, стихотворение не теряет своего обаяния. Мотивы осенней прогулки по саду Вяземский обыграет еще раз, почти в тех же выражениях, спустя четыре года, в остафьевском «Приветствую тебя, в минувшем молодея...».

«Ночь в Венеции» вызвала восторженный отклик Тютчева. «Своей нежностью и мелодичностью они (стихи. — *В. Б.*) напоминают движение гондолы. Что за язык — русский язык!» — восклицал Федор Иванович в письме к жене.

По зеркалу зыбкого дола,
Под темным покровом ночным,
Таинственной тенью гондола
Скользит по струям голубым.

Гондола скользит молчаливо
Вдоль мраморных, мрачных палат;
Из мрака они горделиво,
Сурово и молча глядят.

И редко, и редко сквозь стекла
Где б свет одинокий блеснул;
Чертогов тех роскошь поблекла
И жизнь их — минувшего гул...

Своей неторопливой поступью (как в балладах Жуковского или лермонтовском «Воздушном корабле») стихотворение действительно «напоминает движение гондолы». Но с большой долей вероятности можно предположить, что Тютчев обратил внимание именно на эти стихи потому, что в них Вяземский обратился к политическому прошлому Венеции,

ярко описав угасшее величие когда-то могучего государства. Это придавало «Ночи в Венеции» явственное сходство с «Венецией» самого Тютчева (1850). Видимо, именно поэтому в 1886 году стихотворение Вяземского по ошибке попало в собрание тютчевских сочинений, которое готовил Аполлон Майков. У него и тени сомнения не возникло в том, что «Ночь в Венеции» принадлежит Тютчеву. А в следующем, 1887 году то же самое стихотворение вышло уже в одиннадцатом томе Полного собрания сочинений Вяземского...

Венеция открывалась ему не сразу, словно капризная красавица. Первые впечатления были связаны с плохим отелем «Европа» и августовской жарой. «Я только и делаю, что потею», — ворчал старый князь... Потом внезапно установилась сырая ветреная погода, живо напомнившая Петербург («Венеция под дождем и в ненастье то же, что красавица с флюсом, который кривит ее рожу»), а там и чудное равновесие между теплом и влажностью... «Теперь Венеция опять смотрит Венецией, то есть ненаглядной красавицей, днем блистающей в золотой парче солнца, ночью в серебряной парче луны, — писал Вяземский в Москву. — И не знаешь, в каком наряде она красивее. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Но не буду говорить вам о Венеции. Вы ее знаете, и к тому же ненавижу les lieux communs*, а говоря о ней мудрено не впасть в избитую колею, которую все путешественники прорыли своими фразами об *Адриатической Венере, о развенчанной царице* и проч. и тысячу прочих»... Давно уж Вяземский сформулировал для себя «иерархический порядок» изящных искусств: на первом месте для него Музыка, потом Поэзия, Ваяние, Живопись и Зодчество. Венеция с лихвой удовлетворяла его потребности в каждом из них.

Он наконец-то нашел место, где ему было хорошо, и вовсю наслаждался давно позабытым чувством душевного покоя, бодрости, творческого подъема... Все было необычно и внове: и бесшумные длинные гондолы, напоминавшие своей чернотой погребальные ладьи Харона (а когда выстроятся в ряд, то похожи на галоши в прихожей...), и то, что венецианцы, кажется, вовсе не живут дома — день-деньской толпятся на площади Сан-Марко, пьют кофе, едят сорбети (мороженое), смеются, болтают; тут же выводит свои кривые рулады бродячий тенор, подыгрывает ему слепой скрипач, а то и громыхает австрийская полковая музыка. Хлопают крыльями голуби, которые ничуть не боятся людей... Разного народу множество: мелькают красные фески турок,

* Общие места (*фр.*).

белые мундиры австрийских офицеров, клянчат мелочь мальчишки, расхваливают товар продавцы спичек и башмаков. Но больше всего англичан-туристов. Вяземского они безумно раздражали — непременный карандаш в руках и дорожная книжка, в которой перечислены все достопримечательности... Англичане бродили табунами, то и дело громко восклицая: «Fine! Beautiful!*»... Местные чичероне усердно болтали для них свой восторженный вздор.

Особенно Вяземский полюбил Сан-Марко в пятом часу вечера, когда на площадь падала тень, а фасад базилики горел и переливался в лучах заката. После позднего обеда князь с внучкой Лизой пристраивались на жестких соломенных стульях за столиками кафе, им тут же подавали сорбети, особенный венецианский кофе, печенье, стаканы с ледяной водой... В десять вечера Сан-Марко пустела, по ней в тусклом свете газовых фонарей бродили лишь мусорщики, собиравшие окурки сигар, да местные пьяницы храпели на ступенях Дворца дожей... Вяземский с внучкой садились в гондолу, на потертые бархатные диванчики. Сильными ударами весла гондольер Джузеппе выводил свою ладью на середину канала... Они плыли домой, в палаццо Венье деи Леони, который снимали на Большом канале по соседству с семейством Пашковых. Дамы пили поздний чай, барышни пели по-итальянски и по-русски, а князь на террасе любовался луной, дымил сигарой, писал многочисленные письма старым приятелям, пробовал читать по-итальянски «Божественную комедию» или заполнял записную книжку. «Чувствую, как нервы мои растягиваются и успокоиваются», — писал он Блудову...

Шестнадцатилетняя внучка Вяземского Лиза Валуева была удивительно ленивым созданием — могла полдня проваляться в постели, не проявляя ни малейшего интереса к окружающему. Вяземский даже посвятил ее лени (и пристрастию ко всему немецкому) иронический мадригал «Элиза». Но в Венеции Лизу словно подменили — она без устали таскала деда по городу. Держа внучку под руку, князь невольно чувствовал себя моложе и даже не обращал внимания на одышку и боли в ногах... Лиза часто предлагала на ночь глядя отправиться куда-нибудь — посмотреть на дремлющий Лидо, побаловаться мороженым на пьяццетте... Вместе они исследовали почти все венецианские мосты и мостики, изучили Большой канал вдоль и поперек и бесстрашно углублялись в городские дебри, туда, где вода в узеньких боковых

* Прекрасно! Восхитительно! (*англ.*).

каналах цвела мутно-зеленым цветом, а стены домов были темны от сырости и кое-где даже покрыты мхом... Бывали в мастерских местных художников, в картинной галерее Барбариго, недавно купленной Николаем I. Облазили Кампаниле — похожую на остро заточенный карандаш красную колокольню, с которой видны вся Венеция, ее окрестности и даже Падуя и Тирольские горы в снегу. В церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари видели гробницы Тициана и Кановы. В библиотеке — рукописи Тассо, широкие и размашистые... Видели письменный стол Байрона, за которым была написана IV песнь «Чайльд Гарольда». Бывали у обедни в греческой церкви, где архиерей из уважения к русским прихожанам читал временами «Верую» и «Отче наш» по-русски. Гуляли по шумной набережной Скьявони. И, конечно, посетили все знаменитые палаццо — пустующие роскошные дворцы, в которые за цванцигер пускали туристов. Палаццо буквально переполнены живописными и скульптурными шедеврами, но все они страшно запущены, ветшают и разрушаются чуть ли не на глазах. Гондольер ловко пришвартовывал гондолу к грязным мраморным ступеням, и Вяземский заходил в пустые покои, украшенные кистью Порденоне, Веронезе, Тинторетто, Джордано, Гвидо Рени... На мраморных бюстах, золоченых рамах, холстах — всюду была пыль, стены дворцов шли трещинами от близости воды, на них выступала плесень. Видеть запустение было грустно. Но стоило выйти из палаццо и сесть с Лизой в гондолу, как грусть исчезала без следа — так прекрасна была осенняя, вечно юная Венеция, так весело было скользить по глади Большого канала, обгоняя десятки лодок и лодочек и пролетая под переполненными мостами... Гондольеры пели. «Певцы не очень хороши, но все есть какое-то наслаждение лежать в гондоле под сводами Ponte Rialto, особенно для русского, в ноябрьскую ночь и слушать созвучия итальянского языка, который уже сам по себе пение и мелодия». Конечно, любивший хорошее пение князь не упустил возможности побывать и в местной опере. Знаменитая Ля Фениче была закрыта, но в театрах Сан-Самуэле, Гало-а-Сан-Бенедетто и Аполло он слушал «Итальянку в Алжире» и «Севильского цирюльника» Россини, «Пуритан» Беллини и «Лючию ди Ламмермур» Доницетти, которая растрогала его до слез.

В Венеции продолжил Вяземский и «морскую линию» своей поэзии. После «Моря» (1826), «Брайтона» (1838) и «Босфора» (1849) им были написаны небольшое изящное стихотворение «Царица красоты», «Рыбак», где вялые и неудачные

места чередуются с очень уверенными, и полусерьезное-полушутливое «Море», в котором князь неожиданно набрел на тему давнего пожара на пароходе «Николай I» и добросовестно вспоминал его на протяжении двенадцати строф...

«Ужасно заживаюсь в Венеции, — признавался он 18 октября 1853 года. — Я всегда и отовсюду тяжел на подъем, но отсюда особенно тяжело выплывать. Меня удерживает благодатный штиль. Эта безплавная, безколесная, бессуетная, бесшумная, бездейственная, но вовсе не бездушная жизнь Венеции имеет что-то очаровательное». Словно из иного мира, пришло официальное письмо из Петербурга — в связи с кражей двух тысяч архивных документов в Заемном банке Вяземский был отстранен от должности директора и переименован в члены совета при министре финансов. Это его нисколько не озаботило. Сам император разрешил ему оставаться за границей, Вяземский лечился Венецией, морем, frutti di mare*, прогулками и меньше всего думал о своей нелепой финансовой должности.

Но российские события все же вплетаются в его беззаботную жизнь. Обстановка в Европе накаляется: в мае 1853 года были разорваны дипломатические отношения между Россией и Турцией, в конце июня русские войска вошли в Молдавию и Валахию... Дело явно близилось к войне. И она была объявлена 4 октября... Через две недели в ответ войну Турции объявила и сама Россия. Руками Турции против России воевали Франция и Англия, мечтавшие ослабить позиции русских на Балканах. Австрия и Пруссия объявили о нейтралитете, но симпатии их были явно на стороне западных держав. В этом Вяземский видел вину русской дипломатии: «Мы свою дипломатию вверили совершенно антирусским началам. Что может быть противоположнее русскому какого-нибудь тщедушного Брунова?** Ни капли русской крови, ни единого русского чувства нет у него в груди... Ему ли передавать звучный и богатырский голос Русского Царя, например, в настоящем Восточном вопросе? Что поймет он в чувстве народного Православия, которое может ополчить всю Россию?»

Эту войну Вяземский, как трезвый политик, предвидел еще в 1831 году, замечая, что «нам с Европою воевать была бы смерть». История Восточной (Крымской) войны подтвердила печальную правоту князя. Но в самом начале этой

---

* Съедобные моллюски (дословно «плоды моря») (*um.*).

** Барон, впоследствии граф *Филипп Иванович Бруннов* — посланник (1840—1854, 1858—1860) и посол (1860—1874) России в Великобритании.

войны, осенью 1853 года, когда против России выступала одна Турция, он вряд ли задумывался о том, что исход сражения может быть печальным для отечества. Противники России пока что не объединились в официальную коалицию, а громкие победы русской армии следовали буквально одна за другой: 18 ноября вице-адмирал Нахимов сжег весь турецкий флот в Синопской гавани, а 19 ноября генерал-лейтенант князь Бебутов разбил отступавшие к Карсу турецкие войска... В том, что события будут развиваться именно так, князь не сомневался. На одном дыхании он написал стихотворение «Нахимов, Бебутов — победы близнецы...», выдержанное в духе пушкинских «Клеветников России». Было там все, что полагается в такого рода стихах, — и торжественное обращение к победителям, и воспоминания о прежних викториях русского оружия (Кагул, Чесма), и насмешки над «оглушенной пальбой побед Европой», и почти что басенная мораль в духе «нам чужого не надо, но и своего не отдадим»... Свое послание он накануне Нового года отправил Нахимову и Бебутову вместе с благодарственными письмами.

Русское общество захлестывал патриотический порыв — после побед Нахимова и Бебутова над турками откровенно смеялись, англо-французская эскадра, вошедшая 23 декабря в Черное море, тоже не вызывала особых опасений — все были уверены, что повторится победоносный 1812-й, когда Россия устояла одна против двунадесяти языков. 27 и 28 марта 1854 года Англия и Франция официально объявили России войну... «Пришел час показать всему миру, что есть Россия, — думал Вяземский. — Не «больной, расслабленный колосс», а великая держава, которая встанет, как один человек, вокруг государя... Куда уж там французишкам да англичанам!» И он пишет «Песнь Русского ратника», «К ружью!», «1854-й год», «Современные заметки», «Дунайские песни», «Не помните?», «Матросскую песню», «Вот мчится тройка удалая...», «Андрею Карамзину», «Одесса», «Щеголеву», «Блюхер и Веллингтон», «Два адмирала», «На болезнь принца Наполеона», «Мы в стороне чужой, но сердце наше дома...». Стихотворения о войне появляются одно за другим. Вяземский явно вдохновляется примером Жуковского, его «Певцом во стане русских воинов», но... Стихи отчего-то снова получаются умелыми и разнообразными, но *не поэтическими.* Ни разу не удается ему (как, впрочем, и остальным стихотворцам, воспевавшим Восточную войну) подняться до уровня Жуковского. Восхваления России, государя и православного народа звучали искренне, но казенно и однообраз-

но, как барабанный бой; попытки приспособить стих под восприятие «простого читателя» («Дунайские песни», «Два адмирала», «Матросская песня») в лучшем случае очень спорны; высмеивая турок, французов и англичан, Вяземский пытается быть остроумным, но слишком натянут и тяжеловесен этот юмор, к тому же слишком часто поэту изменяет чувство меры... Только стихотворение «К ружью!» заметно выделялось на общем фоне — это действительно образец патриотической поэзии в высоком смысле слова.

Но тематика даже самых неудачных однодневок говорила сама за себя: никогда Вяземского не печатали в России так охотно, как в 1854 году. Например, стихотворение о Нахимове и Бебутове было напечатано по личному повелению Николая I. Чуть ли не через номер публиковала Вяземского булгаринская «Северная пчела». А однажды, просматривая британскую «Таймс», князь с удивлением увидел перевод своего стихотворения «Песнь Русского ратника»... О том, как принимались «военные» стихи Вяземского при дворе, красноречиво свидетельствует письмо Плетнева: «Копию ваших стихов я... отправил к Государю Цесаревичу, который, лишь явился я к нему на другой день, очень благодарил меня, восхищался стихами и — объявил, что советовал А. Ф. Львову (автору музыки гимна «Боже, Царя храни». — *В. Б.*) заняться сочинением нот для хора».

У патриотических стихов Вяземского до сих пор не было своего исследователя. В лучшем случае их просто бранили, возмущаясь тем, что автор-де был либералом, а потом взялся за казенные военные оды... Даже австрийский исследователь Вяземского Гюнтер Вытженс, менее всего склонный обвинять своего героя в чем-либо, удивлялся тому, что автор выражения «квасной патриотизм» сам на старости лет оказался квасным патриотом. На самом же деле совесть князя была абсолютно чиста — как всякий русский, он искренне вносил посильный вклад в борьбу с врагом. Не его вина, что военные стихи 1853—1855 годов в большинстве своем неудачны: опыта создания таких стихотворений у Вяземского не было (если не считать немногих откликов на победу над Наполеоном), а жанр патриотической поэзии вообще невероятно труден. Но не приходится сомневаться в том, что, доживи Пушкин до Крымской войны, он полностью одобрил бы патриотический порыв Вяземского. И совсем не случайно в августе 1856-го князь получил медаль на андреевской ленте в память о минувшей войне...

В 1853 году князь написал и напечатал в нейтральной Бельгии большую (442 страницы) книгу очерков «Тридцать



Вяземский. *С портрета Ф. фон Витцлебена. Дрезден, 1853.*
Под портретом автограф стихотворения «Витцлебен, чудно здесь твой смелый карандаш...».



Михаил Петрович Погодин.
С портрета П. Бореля. 1830-е гг.



Степан Петрович Шевырев.
С литографии Б. Бахмана. 1840-е гг.

Остафьево. Западная колоннада. *Фото автора.*

Вяземский.
Шарж из альбома князя П. А. Урусова. 1840-е гг.





Венеция. Палаццо Венье деи Леони, где Вяземский жил осенью 1853-го и зимой 1863/64 года.



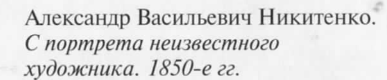
Вяземский.
Фото С. Л. Левицкого. 1857.



Швейцарский курорт Веве, где Вяземский провел зиму 1854/55 года и осень 1864 года.

Император Александр II, императрица Мария Александровна, великий князь Александр Александрович, великая княгиня Мария Федоровна.
Фото конца 1860-х гг.





Авраам Сергеевич Норов.
С литографии П. Бореля. 1857.

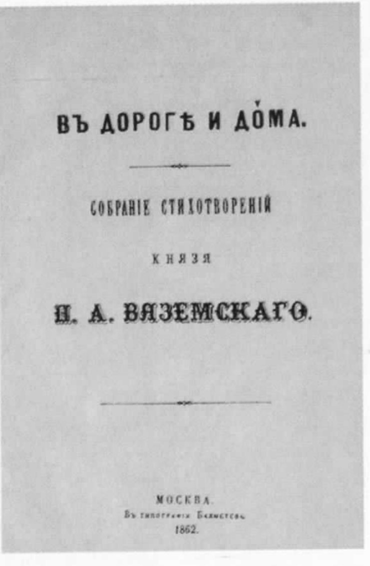


Александр Васильевич Никитенко.
С портрета неизвестного художника. 1850-е гг.





Вяземский.
С литографии П. Бореля. 1857.



ВЪ ДОРОГѢ И ДОМА.

СОБРАНІЕ СТИХОТВОРЕНІЙ

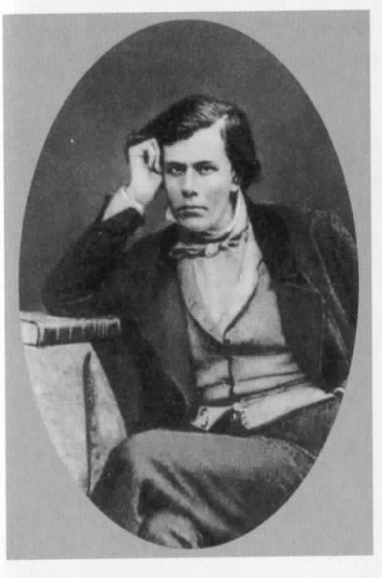
КНЯЗЯ

П. А. ВЯЗЕМСКАГО.

МОСКВА.
Въ типографіи Бахметева.
1862.

Титульный лист единственного прижизненного сборника стихотворений Вяземского «В дороге и дома». *1862.*

Остафьево. Дорожный портфель и письменный прибор Вяземского.





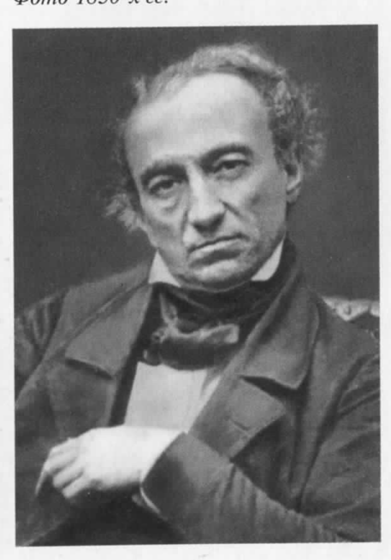
Князь Павел Петрович Вяземский (1820—1888). *Фото 1840-х гг.*

Графиня Мария Ивановна Ламсдорф (1839—1866). *С портрета Ф. Винтерхальтера. 1859.*

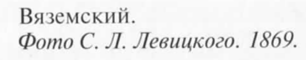
Петр Иванович Бартенев. *Фото С. Л. Левицкого. 1870-е гг.*



Федор Иванович Тютчев. *Фото 1850-х гг.*







Вяземский.
Фото С. Л. Левицкого. 1869.

ИЗЪ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ, НАЧАТОЙ ВЪ 1813 ГОДУ.

•

Пушкинъ (А. С.) отыскалъ въ какой-то старой книгѣ разсказъ Французскаго путешественника о Русской банѣ. Французу захотѣлось попробовать ее, и отдался онъ любознательно и покорно въ руки баньщику. Тотъ и угостилъ его. Подробно описываетъ путешественникъ всѣ мытарства, чрезъ которыя прошелъ и кончаетъ этими словами: „Жара такая нестерпимая, что даже, когда обвѣваютъ тебя березовыми вѣтками, то никакой свѣжести не ощущаешь, а кажется, напротивъ, бываетъ еще жарче“. Несчастнаго парили на полкѣ горячими вѣниками, а онъ принималъ ихъ за освѣжительныя опахала.

•

Хорошъ и другой путешественникъ! Видѣлъ онъ, что зимою грѣться кучерамъ зажигаютъ огни на театральной площади, а кажется, бывало и предъ дворцомъ, во время вечернихъ съѣздовъ. Вотъ и записываетъ онъ въ свои путевыя записки: „Стужа зимою въ Петербургѣ бываетъ такъ велика, что попечительное городское управленіе пробуетъ отапливать улицы; но это ничему не помогаетъ: топка нисколько не согрѣваетъ воздуха“.

•

За границею изъ двадцати человѣкъ, узнавшихъ, что вы Русскій, пятнадцать спросятъ васъ: правда ли, что въ Россіи замораживаютъ себѣ носы? Дальше этого любознательность ихъ не идетъ.

•

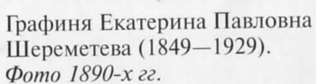
N. N. увѣрялъ одного изъ подобныхъ вопросителей, что въ сильные морозы отъ колесъ подъ каретою по снѣгу происходитъ скрипъ и что ловкіе кучера такъ повертываютъ каретою, чтобы наигрывать или наскрипывать мелодіи изъ разныхъ народныхъ пѣсней. —Это должно быть очень забавно, замѣтилъ тотъ, выпуча удивленные глаза.

Фрагмент из «Старой записной книжки», опубликованный в журнале П. И. Бартенева «Русский архив».

Вяземский с сыном Павлом в Венеции. *Фото 1863 г.*



Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844—1918). *С портрета Н. Панова. 1908.*



Графиня Екатерина Павловна Шереметева (1849—1929). *Фото 1890-х гг.*





— 110 —

ваться. Онъ съ неудовольствіемъ вспомнилъ теперь волненіе и испугъ, которые онъ выказалъ передъ своими подчиненными. — La populace est terrible, elle est hideuse — думалъ онъ по французски. Ils sont comme les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair [1]). — «Графъ! одинъ Богъ надъ нами!» вдругъ вспомнились ему слова Верещагина, и непріятное чувство холода пробѣжало по спинѣ графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и графъ Растопчинъ презрительно улыбнулся самъ надъ собою. J'avais d'autres devoirs, подумалъ онъ. Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont péri et perrisent pour le bien publique [2]), и онъ сталъ думать о тѣхъ общихъ обязанностяхъ, которыя онъ имѣлъ въ отношеніи своего семейства, своей (порученной ему) столицѣ и о самомъ себѣ — не какъ о Ѳедорѣ Васильевичѣ Растопчинѣ (онъ полагалъ, что Ѳедоръ Васильевичъ Растопчинъ жертвуетъ собою для bien publique), но о себѣ какъ о главнокомандующемъ, о представителѣ власти и уполномоченномъ царя. — Ежели бы я былъ только Ѳедоръ Васильевичъ, ma ligne de conduite aurait été tout autrement tracée [3]), но я долженъ былъ сохранить и жизнь, и достоинство главнокомандующаго.

Слегка покачиваясь на мягкихъ рессорахъ экипажа и не слыша болѣе страшныхъ звуковъ толпы, Растопчинъ физически успокоился, и, какъ это всегда бываетъ, одновременно съ физическимъ успокоеніемъ умъ подд̀ѣлалъ для него и причины нравственнаго успокоенія. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ міръ и люди убиваютъ другъ друга, никогда ни одинъ че-

[1]) Народная толпа страшна, она отвратительна. Они какъ волки: ихъ ничѣмъ не удовлетворишь кромѣ мяса.

[2]) Слѣдовало удовлетворить народъ. Много другихъ жертвъ погибло и гибнетъ для общественнаго блага.

[3]) Путь мой былъ бы совсѣмъ иначе начертанъ.

Маргиналии Вяземского на полях «Войны и мира». *1868. РГАЛИ. Публикуется впервые.*

В кругу семьи. *Фото 1870-х гг.*



Вяземский.
Фото С. Л. Левицкого.
Санкт-Петербург, 1869.



Бад-Гомбург фор дер Хёэ, Кисселефф-штрассе, 31.
Отель «Вилла Кисселефф», где Вяземский жил в 1873—1878 годах.
Современное фото.



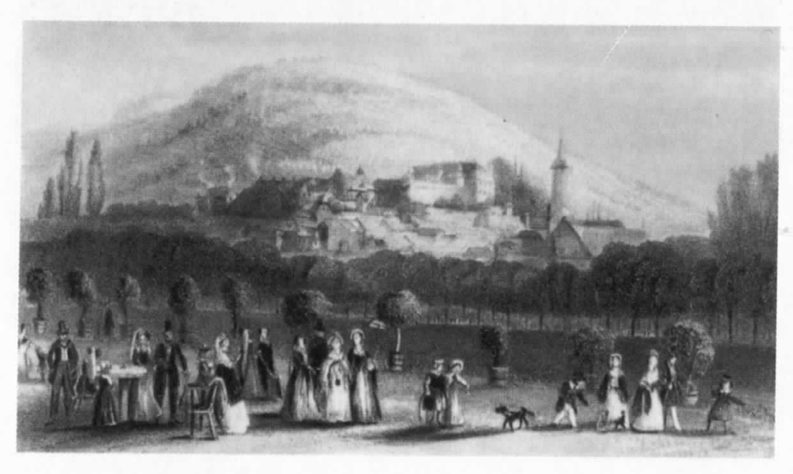
Остафьево. Аллея «Русский Парнас», любимое место прогулок хозяев и гостей усадьбы. *Фото автора*.



«С днем каждым жизни путь темней и безнадежней,
Порвались струны бытия...»

Баден-Баден. Вид на Леопольд-плац. *Фото 1880-х гг.*

Баден-Баден. *С литографии 1850-х гг.*

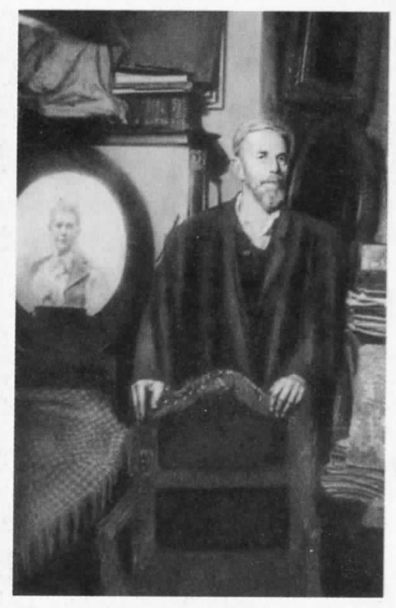




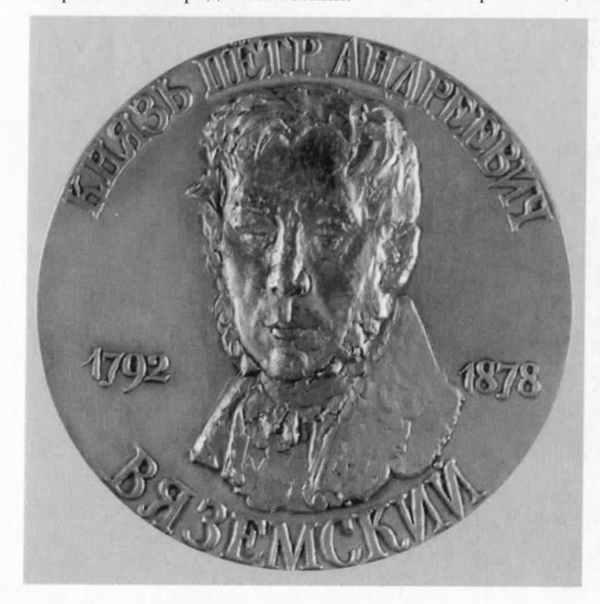
Памятник Вяземскому в Остафьеве.
Скульптор Т. Ольденбургская, архитектор Н. Панов. 1913.



Князь Петр Павлович Вяземский (1854—1931), внук поэта, последний представитель старшей ветви рода Вяземских.



Граф Павел Сергеевич Шереметев (1871—1943), правнук поэта, хранитель Остафьевского музея после революции.



Памятная медаль в честь Вяземского. *Скульптор А. Королюк.*

писем русского ветерана 1812 года о восточном вопросе, опубликованные князем Остафьевским». Некоторые из этих статей уже печатались в немецкой «Journal de Francfort» и бельгийской «Independance Belge». Как и некогда ответ Кюстину, «Тридцать писем...» предназначались для европейской публики и писались Вяземским по-французски (русский перевод этой книги был сделан П. И. Бартеневым в 1883 году для Полного собрания сочинений). Французская проза князя, как водится, немного напыщенна, но изысканна и блестяща. В цикле из тридцати статей автор рассматривает расстановку политических сил в воюющих странах, состояние их экономики, критикует (часто довольно остроумно) политику Англии и Франции. Как и во всяком «экспортном» сочинении такого рода, львиная доля текста была посвящена величию России, сплоченности русского народа вокруг императора, Православной церкви и т.д. Вряд ли «Письма...» пользовались каким-либо успехом — книг такого толка появлялось в Европе немало и по заказу правительства, и, так сказать, по велению души, но, естественно, изменить отношение враждебно настроенных к России людей они не могли. Даже вполне расположенный к Вяземскому Карл Фарнхаген фон Энзе отозвался о «Письмах...» резко отрицательно, найдя в них «дурной тон».

Два года спустя, в 1855-м, Вяземский переиздал «Письма...» уже в швейцарской Лозанне и тогда же выпустил 60-страничное приложение к ним («Trois nouvelles Lettres d'un Vétéran Russe»*). В 1856-м в Бреслау вышел немецкий перевод («Die Orientalische Frage»**). «У нас должны бы всячески поддерживать такого рода вылазки против неприятеля, — записал князь для себя. — Но наши дипломаты держатся одного правила: быть ниже травы, тише воды, и заботятся об одном: как бы покойнее и долее просидеть на своем месте. Это миролюбие, эта уступчивость и накликали на нас войну. Будь наша дипломатия зубастее, и неприятельские штыки и ядра не губили бы тысячи и тысячи наших братьев... Я не обольщаюсь достоинствами своей брошюрки и не придаю ей цены, которой иметь она не может, но я твердо убежден и вижу тому доказательства, что подобные публикации действуют на умы сильнее и успешнее, нежели многие дипломатические ноты... Наш Царь, спасибо ему, умеет говорить за себя и за Россию, но глашатаи его тщедушны, малодушны и дуют в соломинку. Пора бы всех их,

* «Три новых письма русского ветерана» (*фр.*).
** «Восточный вопрос» (*нем.*).

или почти всех, на покой, благо они так любят покой, а поставить людей плечистых и грудистых, людей, от которых пахнет Русью и которые по-русски мыслят, чувствуют и говорят». Николай I словно почувствовал это желание Вяземского — князь Горчаков вскоре получил новое назначение в Австрию именно за русское происхождение...

26 ноября 1853 года Вяземский выехал из Венеции в Германию. Маршрут его лежал через итальянский север, где бушевали вполне русские снежные бураны. Да и в Мюнхене стоял двадцатиградусный мороз. Князь был рад повидать стариннного друга по иезуитскому пансиону и «Арзамасу» — Дмитрия Северина (он был посланником в Баварии с 1837 года). Потом был вюртембергский Штутгарт и столица Бадена, Карлсруэ. Там еще с сентября 1852 года служил старшим секретарем русского посольства Павел Вяземский (а посланником в Бадене 13 февраля 1854 года был назначен родной брат его жены Николай Аркадьевич Столыпин). После Венеции — резкий контраст, «несколько сухая материя», но все же есть и прелести — «детки Павла очень милы, и мне нужны дети, чтобы раскрасить и оживить грунт житейской картины». Он осматривает маленький симпатичный Карлсруэ (красивый дворец, к которому веером сходятся улицы, перед дворцом — площадь с шестью фонтанами, уютный парк Хардтвальд), представляется герцогской фамилии, без устали ходит пешком по окрестностям... Пишет многочисленные «политические» письма о Восточном вопросе и спорит о нем же с Павлушей... Стихи — тоже политические. В Карлсруэ не было скучно, но ничего возвышенного, оригинального в городе, его жителях и его салонах не попадалось. 20 марта 1854 года Вяземский впервые приехал в Баден-Баден — город, который так много для него значил. «Познакомился с могилою Наденьки и был в комнатах, где жил и скончался Жуковский», — записал в дневнике. И, когда вышел из дома, где умер великий друг, на Софиенштрассе, тут же мелькнула странная мысль: уж если умереть на чужбине, в странствиях, так лучше здесь...

Уж если умереть мне на чужбине,
Так лучше здесь, в виду родных могил:
Здесь я нашел, чем скорбь жила доныне,
Здесь я не раз заочно слезы лил.
Приветствию знакомой грусти внемлю:
Здесь вчуже я уж дважды умирал;
В сокровищах, зарытых смертью в землю,
Полсердца я остатки отыскал...

Он знакомился с Баден-Баденом... Маленький, утопающий в зелени, очень уютный городок (совершенно не вери-

лось в то, что пять лет назад здесь гремели уличные бои). Речка Оос, дно которой вымощено брусчаткой. Множество вилл, в том числе принадлежащих русским. Недавно проложенная, усаженная молодыми липками Лихтентальская аллея. Отовсюду видны окутанные синей дымкой горы Шварцвальда... Мартовский Баден-Баден был тих и немноголюден; лишь немногие отдыхающие прогуливались по питьевой галерее Тринкхалле, пусто было и возле Курхауза. Сезон здесь начинался 1 мая: тогда распахивало двери знаменитое казино, принадлежавшее французу Эдуарду Беназе... После того как в 1838 году азартные игры были запрещены во Франции, отец его, предприимчивый Жак Беназе, перебрался в Баден-Баден и вскоре сделал его всемирной столицей рулетки. Вяземский поймал себя на мысли, что казино ему совершенно нелюбопытно (в отличие от Павла, который проводил за рулеткой больше времени, чем в своем посольстве). Петр Андреевич грустно усмехнулся: да он ли это, когда-то «прокипятивший» на картах полмиллиона?..

И печальные «Баденские воспоминания» сменяются обычной для Вяземского полуиронической «фотографией», где сравниваются Баден досезонный и Баден летний, — европейская ярмарка невест, шулеров, рыжих английских лордов, знаменитостей в отставке, модников и прочего «разношатающегося сброда». Он посвятил эти стихи своим давним приятелям братьям Мухановым. А Баден-Баден, несмотря на то, что в нем князя невольно одолевали печальные воспоминания об ушедших, становится, пожалуй, его любимым городом номер два — после Венеции.

12 июля 1854 года, в Дрездене, Вяземский отметил свой день рождения записью в дневнике: «Стукнуло 62 года. Дело идет к развязке». Стал перелистывать старые записные книжки и тут наткнулся на запись годовой давности — 12 июля 1853-го, Прага, шестьдесят первый год рождения и — не то первая строка, не то просто грустная фраза: «Не думал я дожить до нынешнего дня»...

Не думал я дожить до нынешнего дня,
Казалось мне, что смерть уж сторожит меня,
Что тут же должника просрочившего схватит
И мой последний час весь старый долг уплатит...
....

А я еще живу и ношу дней таскаю,
В могилу сверстников и младших провожаю;
Забытый смертью гость на жизненном пиру,
Играю все еще в житейскую игру,
Случайный выигрыш записываю мелом,
А проигрыш лежит в начете мне тяжелом...

Чем дальше, тем безрадостнее делалось стихотворение, от строчки к строчке видно, как портится у Вяземского настроение, все это немедленно отражается в тексте, и шестьдесят два прожитых года воспринимаются им уже как нечто совершенно бесцельное и бессмысленное... Он снова вызывает тени Карамзина и Жуковского — образцовые труженики, свершившие свой подвиг бытия. Можно и нужно было следовать их примеру. «Но я был слишком горд, но я был слишком слаб...» — проговаривается князь... «Поминки так легко убитых мной годов» отмечать бесконечно тяжело. Но все же нельзя не почувствовать и того, что в своих недостатках Вяземский признается спокойно и даже не пытается оправдываться. «Слишком гордый» и «слишком слабый» — этими грехами он явно дорожит и даже готов считать их своими отличиями... Сквозь смирение явно проглядывает уверенность в том, что иной, праведный путь, несмотря на всю его привлекательность, для него неприемлем. С легкой улыбкой ступал на жизненную дорогу Вяземский 1810-х годов — и с той же улыбкой, которую, впрочем, можно было принять подчас за гримасу боли, признавался, что дорога эта была пройдена не так, как следовало.

К этим внешне безнадежным, а внутренне все же горделивым «поминкам» по собственной судьбе примыкает еще одно стихотворение, написанное в тот же день и на одном листе с «12 июля 1854 г.» (даже размер совпадает, любимый Вяземским неторопливый александрийский стих) — «Сознание». Это, в сущности, вариация на тему «12 июля 1854 г.», но более интимная, адресованная конкретному человеку (Владимиру Титову). Снова Вяземский сетует на собственную слабость, лень, называет себя «бойцом без мужества и тружеником без веры», восклицает: «Как много праздных дум, а подвигов как мало!» Но в финале «Сознания» эти самобичевания, звучащие, как и в «12 июля 1854 г.», довольно холодно и шаблонно, сменяются другим — искренним, глубоким и по-настоящему горьким признанием:

...В борьбе слепой
Не с внутренним врагом я бился, не с собой;
Но Промысл обойти пытался разум шаткой,
Но Промысл обмануть хотел я, чтоб украдкой
Мне выбиться на жизнь из-под Его руки
И новый путь пробить, призванью вопреки.
Но счастья тень поймать не в прок пошли усилья,
А избранных плодов несчастья не вкусил я.

И видя дней своих скудеющую нить,
Теперь, что к гробу я все ближе подвигаюсь,
Я только сознаю, что разучился жить,
Но умирать не научаюсь.

Это звучало уже очень серьезно. Попытка «вывести» свою жизнь «на счастье», конечно, была заведомо обречена. Но только к шестидесяти годам Вяземский смог вслух сказать о том, что он не хозяин собственной судьбы. Спор разума с Промыслом оказался бессмысленным и опасным — в 1851 году он привел Вяземского на грань безумия. «Загадочная сказка» (как он назвал свою судьбу) продолжала сочиняться вне зависимости от его чаяний и желаний, и князь, отказываясь от всякой гордыни, чуждый самолюбия, признается: жить он разучился, «новый путь пробить» не удалось, Провидение не обманешь. Это была расписка в том, что сознательная жизнь завершена и впереди ожидает *прозябание.* Расписка в полном собственном проигрыше...

Он заблуждался. Меньше чем через год «загадочная сказка» совершит очередной непредсказуемый поворот...

Скорее всего, «12 июля 1854 г.» и «Сознание» и впрямь объединялись Вяземским в своеобразное поэтическое завещание, потому что в сентябре того же 1854 года (и тем же александрийским стихом) он написал еще и «Литературную исповедь» — подведя итоги поэтической карьере. В «Исповеди» князь уже вполне чувствует себя в своей тарелке, это привычные для него ироничные, ловкие и старомодные стихи, где он стойко обороняет свою литературную позицию — например, подчеркнуто обращает внимание на то, что современные поэты и литературоведы ему не указ, он до сих пор признает только суд Жуковского, Пушкина, Баратынского... Но, судя по названию стихотворения, это опять-таки *последнее слово* Вяземского. Видимо, в Бадене, переполненном замогильными ассоциациями, князя снова навестила мысль о близкой смерти, хотя и не преследовала уже так жестоко, как зимой 1851/52 года.

...Заграничное житье-бытье между тем продолжалось. Возвращаться в Петербург в июле, как планировали Вяземские, не пришлось: 26 августа 1854-го отпуск князя по просьбе наследника и великой княгини Ольги Николаевны был продлен до марта следующего года... 4 мая, сразу же после открытия баденского сезона, Вяземские уехали сначала на воды в Карлсбад (где получили письмо от Павлуши — у него родился сын, которого назвали Петром), потом в Лейпциг, Дрезден, опять в Баден-Баден, снова в Карлсруэ, Канштадт, снова в Штутгарт... Бесчисленные приемы, визиты,

светская кутерьма, апофеоз которой — 28 сентября в Штутгарте, когда Вяземский был представлен старому вюртембергскому королю Вильгельму, его дочери — голландской королеве Софии, саксен-веймарскому великому герцогу Карлу Александру, каким-то принцам и принцессам. Пришлось даже влезать в мундир и надевать ленту, прямо как в Петербурге. Наконец вечером 4 октября княжеская чета пересекла швейцарскую границу — Базель, Интерлакен и 11 октября — маленький курортный город Веве. Там Вяземскому было предписано на редкость приятное лечение виноградом.

Веве лежал на берегу Лемана, Женевского озера, окруженный со всех сторон горами и еще не застроенный высотными отелями, как сейчас. Здесь прекрасный климат (в отличие, например, от Женевы): горы защищают Веве от сильного холодного ветра — фёна. Небольшой этот швейцарский курорт свят и памятен для русской литературы: в 1789 году Веве посетил Карамзин, в 1821 году (и еще несколько раз потом) — Жуковский; именно здесь был начат перевод «Шильонского узника», здесь Гоголь в 1836-м работал над «Мертвыми душами»... Всюду теперь сопровождают Вяземского тени друзей. «Письма русского путешественника» всегда с ним. И глядя на горы, он вдруг вспоминает, что уже видел именно этот пейзаж — зубчатые границы оснеженных пиков соприкасаются с небом, словно купаясь в холодном прозрачном воздухе... Лодка на неподвижной поверхности Лемана. Деревья кудрявятся на берегу... Этот рисунок Жуковского он видел когда-то — когда? В 25-м году? в 33-м? 38-м?.. Тонкие, воздушные линии, мелкие изящные штришки, застывшие фигурки людей, любующихся природой. Такой фигуркой застыл сейчас и сам князь — частью пейзажа, в виду которого невольно думается о Божьем величии.

Стихи пишутся по-прежнему хорошо. (Кстати, о Швейцарии, как и о Венеции, Вяземский написал больше, чем кто-либо из русских поэтов.) Теперь он параллельно ведет два поэтических дневника — «официальный» и личный, интимный. Такое уже было в 1814 году, когда Вяземский одновременно мог сочинять и надпись к бюсту Александра I, и язвительные эпиграммы на литературных противников... Сорок лет спустя его снова волнуют сводки с полей сражений: как и все русские, он возмущается варварским обстрелом Одессы, негодует, узнав, что англо-французская эскадра подходит к Петербургу, что Черноморский флот блокирован в Севастополе... Неудачи преследуют русскую армию. Сражение на реке Альме, Балаклава, Инкерман... 5 октября

1854 года англо-французские войска впервые бомбардировали Севастополь. Война поворачивается к России совершенно непобедной своей стороной. Коснулась она и Вяземского лично: в бою геройски погиб полковник Карамзин, старший сын Николая Михайловича, племянник князя... Совсем недавно Вяземский благословлял его на брань посланием «Андрею Карамзину»... Все это угнетало невероятно: «Силистрия и прочее ядром засели мне в душу. Тяжело» (русская армия не смогла захватить крепость Силистрию), «Что-то нет нам счастия. Большая неустрашимость, примерное самоотвержение, но нет блистательных ударов», «Еще не гадко, а уже грустно быть русским»... И швейцарские красоты больше не радуют... Об этом — большое стихотворение «На берегу Леманского озера», где искреннее восхищение Швейцарией, «подножьем звездного престола», неожиданно переходит в воспоминания о «священном крае России милой»... «Тень Севастопольской твердыни / Ложится саваном на грудь» — так завершаются эти стихи.

Дорогою из Базеля в Берн, в дилижансе, написал Вяземский бодрое по тону «6 декабря 1854 г.» (день именин Николая I) с запоминающимися строками «Отстоит Царя Россия, отстоит Россию Царь!». 29 декабря Плетнев прочел эти стихи в общем собрании Академии наук. «В зале разразились общие рукоплескания, с основания Академии неслыханные в важных стенах ее», — описывает Плетнев это чтение... Но вот из-под пера Вяземского выбегает полное отчаяния четверостишие явно не для широкой аудитории... Это едва ли не самые сильные стихи о Крымской войне во всей русской поэзии:

О Русский Бог! Как встарь, Ты нам Заступник буди!
И погибающей России внемля крик,
Яви Ты миру вновь: и как ничтожны люди,
И как Единый Ты велик!

...Устав бродить по окрестностям, Вяземский запирался в своем прохладном номере гостиницы «Моне» (где на оконном стекле нацарапал свою фамилию какой-то Øзнобишин), ел чудесный местный виноград и с неожиданным даже для себя самого интересом читал «старье Жан-Жаково». Так получилось, что никогда не попадалась ему в руки «Юлия», и вот теперь древний роман казался подчас надуманным, слишком выспренним — но слог Руссо почему-то трогал сердце, Вяземский даже вытирал слезы, набегавшие на глаза... «Человек подвержен тысяче бедствий, его жизнь есть ряд несчастий, и кажется, будто он рожден только для

страданий... Для нас сознание бытия заключается в чувстве горя». Да, это про него... Князь несколько раз навещал соседний с Веве Кларан, в котором происходит действие «Юлии», и беседовал с местными крестьянами о Руссо. Очень тронула Вяземского небольшая находка, сделанная им 28 октября. Идучи по дороге, ведущей в Лозанну, перед домом на окраине Веве он обнаружил совершенно русскую небольшую рябину, усыпанную крупными ягодами, «из коих не умеют делать здесь ни наливки, ни пастилы». Словно письмо с родины... Через пять дней сама собой выбежала из-под его пера чудесная, пропитанная ностальгией по России «Вевейская рябина»:

Все пережил я пред тобою,
Все перечувствовал я вновь —
И радость пополам с тоскою,
И сердца слезы, и любовь.

Одна в своем убранстве алом,
Средь обезлиственных дерев,
Ты вся обвешана кораллом,
Как шеи черноглазых дев.

Забыв и озера картину,
И снежный пояс темных гор,
В тебя, родную мне рябину,
Впился мой ненасытный взор.

И предо мною — Русь родная,
Знакомый пруд, знакомый дом;
Вот и дорожка столбовая
С своим зажиточным селом...

В черновом варианте пейзаж Остафьева прочитывался более ярко:

Все при тебе из тьмы воскресло:
Вот предо мной наш сельский дом,
В углу родительское кресло,
Здесь сад, там церковь за прудом...

Русских в Веве можно было пересчитать по пальцам. На другой же день по приезде Вяземский нашел в городе принца Петра Георгиевича Ольденбургского, генерала русской службы и основателя училища правоведения (с его матерью, сестрой Александра I и Николая I великой княгиней Екатериной Павловной, князь встречался еще в далеком 1811 году). С принцем и его супругой, принцессой Терезией Вильгельминой, Вяземский был знаком всего лишь два месяца. У Петра Георгиевича ежевечерне соби-

рался небольшой кружок — вдова прусского короля Фридриха Вильгельма III принцесса Августа Лигниц и младший брат правящего короля принц Карл Фридрих. Разговоры, конечно, шли о политике, Восточном вопросе, а то и читали вслух, играли в «секретаря» и «ералаш», Вяземский проверял на слушателях новые свои стихи... В этом кружке встречали Рождество и Новый год, сперва по местному, европейскому календарю. Весь крошечный Веве высыпал на берег Лемана — и обнаружилось, что в городке обитает немало умеющих веселиться людей. По улицам бегали дети в масках, стуча в барабаны; всю ночь в Веве не смолкали песни... 24 декабря в доме Ольденбургских был постный обед, ввечеру — елка с подарками. На другой день пастор читал вслух Вторую главу Евангелия от Луки, и Вяземский вспомнил, что слышал ее же в Вифлеемской пещере во время паломничества... 31 декабря в гостиничном номере князя откупорили шампанское и хором спели «Боже, Царя храни».

Супруга принца Ольденбургского, Терезия Вильгельмина, очень пришлась по душе Вяземскому. Терезия, урожденная принцесса Нассау-Вайльбург, была старшей дочерью в большой семье герцога Вильгельма Нассауского, тесно связанной родственными узами с правящими дворами Европы: младшая сестра Терезии София была замужем за шведским королем Оскаром II, ее племянница Елизавета стала королевой Румынии, а младший брат Адольф основал династию, до сих пор правящую в Люксембурге. Судя по портретам, в середине 50-х сорокалетняя Терезия выглядела очень моложаво и привлекательно; лицом, скорее славянского, чем немецкого склада, она немного напоминала Наталью Николаевну Пушкину.

Кстати, род Нассау-Вайльбург оказался семейно соединен с родом Пушкиных. Младший брат Терезии, принц Николай Вильгельм, женился на дочери Пушкина Наталье Александровне. Их дети, в свою очередь, породнились с Романовыми: дочь вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича, внука Николая I, а сын женился на дочери Александра II княгине Юрьевской...

Никакого намека на что-то личное между ним и принцессой Вяземский допустить не мог: в 1855 году Терезия была матерью семи детей (старшей — 17 лет, младшей — три года), она была лютеранка, рядом находился ее муж, да и обращался Вяземский к принцессе, согласно этикету, «Ваше Императорское Высочество»... Но все же что-то между ними, похоже, промелькнуло. В начале ноября, за

три дня, Терезия вылепила с натуры медальон, а в феврале 1855 года — очень удачный гипсовый бюст Вяземского (бронзовая отливка с него сейчас хранится в Остафьеве), и он поблагодарил ее за это стихотворным посвящением «Принцессе Ольденбургской». Стихотворение вроде бы вполне ординарное, нечто среднее между альбомным мадригалом и старомодным посланием, но любопытно то, что уже в пятой строке Вяземский сбивается на что-то более личное, чем принято в таких случаях, — говорит о том, что скульптура ему дорога главным образом потому, что лепили ее руки Терезии... И тут же, словно спохватившись, пытается снова принять официальный тон, но это не удается: после вымученных строк про «просвещенный ум», «любовь к художествам» и «супруги, матери заботливость и нежность» послание увядает само собой.

В Веве случился у Вяземского еще один роман, героиня которого остается неизвестной. Но именно ей должны мы быть благодарны за два чудесных стихотворения, написанных Вяземским 14 января 1855 года. Сейчас они неизменно входят во все антологии русской лирики XIX века — «Ночью выпал снег. Здорово ль...» и «Вечерняя звезда (14 января в Веве)».

Ночью выпал снег. Здорово ль,
Мой любезнейший земляк?
Были б санки да рысак, —
То-то нагуляться вдоволь!

Но в пастушеском Веве
Не дается сон затейный,
И тоскуешь по Литейной,
По застывшей льдом Неве.

Над этими нехитрыми иронично-грустными катренами Вяземский, обычно относившийся к своим творениям небрежно, посидел, видимо, порядочно. Первая строфа сперва звучала так: «Снегом путь осеребрился, / Блещет, словно яркий лак! / Были б санки да рысак, — / То-то б славно прокатился!» Трудно сказать, что тут не понравилось автору — возможно, сравнение снега с ярким лаком показалось Вяземскому слишком надуманным; возможно, стихотворение приобретало чересчур мажорное звучание, что не входило в планы поэта. Но, может быть, ему вспомнился «Русский снег в Париже» Мятлева (1839): «Здорово, русский снег, здорово! / Спасибо, что ты здесь напал...» Отсюда и появился вопрос «здорово ль», обращенный к «любезнейшему земляку»...

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На вечереющий мой день
Отрады луч пролей ты вновь!

Порою, невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл страстей;
Но полурадость, полусвет
Нам на закате дня милей.

День 14 января в дневнике Вяземского пропущен. Но сохранилась записка, с которой князь отправил два приведенных выше стихотворения неизвестной адресатке: «Во вчерашнем письме забыл я сказать Вам две вещи, одну Вы сами...» Надо полагать, отношения с женщиной, которой посвящена «Вечерняя звезда», были достаточно близкими. Загадочно звучит оборванное на полуслове «одну Вы сами...». Означает ли это, что собеседница князя порадовалась, как и он, свежему снегу, напомнившему ей зимнюю Неву?.. Или же — что она была готова сама сказать то, о чем говорилось в «Вечерней звезде»?..

По-видимому, героине вевейского романа посвящено стихотворение Вяземского «Памяти ***», созданное в декабре 1864 года тоже в Веве. Из этих стихов ясно лишь, что в золотокудром «милом созданье» сочетались «мечтательность германской девы / И юга страстные напевы», что она любила Моцарта и Шуберта, Гёте и Шиллера. Что вместе с нею искал Вяземский в Веве и Кларане призраки героев Руссо... Умерла она явно безвременно и похоронена была где-то на «севере», скорее всего в России.

...В пятницу, 18 февраля, принц Петр Георгиевич Ольденбургский показал Вяземскому секретную дипломатическую телеграмму из Штутгарта — в Петербурге скончался Николай I. На престол вступал 36-летний сын покойного государя Александр II...

...Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая биография князя, проживи Николай I, допустим, еще двадцать лет. Вполне возможно, что Вяземский так и умер бы обыкновенным служащим Министерства финансов. Но воцарение Александра II изменило судьбу нашего героя гораздо сильнее, чем мог предполагать он сам. Записка о цензуре, поданная наследнику в 1848 году, сыграла свою роль: Александр наверняка записал Вяземского в «свою команду» и не замедлил вспомнить о князе с началом правления. Из частного, полуопального, не имеющего никакого влияния человека князь в один миг превратился в видного государствен-

ного деятеля, желанного гостя в императорском дворце. «Загадочная сказка»...

Ужасное известие потрясло Вяземского — целую неделю, как свидетельствует его дневник, он и думать ни о чем не мог, кроме как о внезапной кончине императора... Казалось, какой-то страшный рок преследует Россию — военные поражения, теперь еще и смерть государя... 26 февраля, преодолев себя, князь сел за письмо Александру II. «Всемилостивейший Государь! В жизни народов бывают торжественные и священные минуты, в которые великая скорбь сливается с великим упованием... — писал Петр Андреевич. — Позвольте повергнуть к священным стопам Вашего Императорского Величества мою верноподданническую присягу и душевный обет посвятить служению Вашему мои посильные способности, мое перо, всю жизнь мою». Искренне сожалея о смерти Николая I, князь тем не менее хорошо понимал, что со смертью императора устранена единственная причина, по которой он, Вяземский, четверть века числился в Министерстве финансов и занимался тем, к чему не имел никакой склонности. Он рассчитывал, что давнее уважение, которое Александр II испытывал к нему, не замедлит выразиться в конкретных действиях. И не ошибся — письмо из Веве в Петербурге прочли и оценили по достоинству. Впрочем, и без этого письма судьба Вяземского неизбежно изменилась бы...

Одновременно Вяземский пишет несколько стихотворений про покойного Николая. Вряд ли, повторимся, в глубине души князь испытывал к усопшему государю пылкую симпатию: давняя обида на царя, сделавшего из Вяземского обычную чиновничью «пешку», была еще сильна. Но были и другие чувства — благодарность за спасение страны в 1848 году, невольное уважение к сильному, мужественному человеку и, конечно, была *привычка*, замена любви — как-никак тридцать лет Николай I стоял во главе России... Траурные стихотворения по традиции считаются едва ли не самыми яркими неудачами Вяземского (особенно если вспомнить его собственные давние сомнения в письме Тургеневу: «Как можно быть поэтом по заказу? Стихотворцем — так, я понимаю...»). Однако почему-то никто не обращал внимания на то, что из трех «поминальных» сочинений одно обращено к вдове Николая императрице Александре Федоровне, а одно — «18 февраля. 17 апреля. 1855» — посвящено скорее дню рождения Александра II, чем смерти его отца. Кстати, эта обширная ода «на восшествие на престол» завершается очень сильным фрагментом, где Вязем-

ский прямо указывает новому государю, чего именно ждут от него подданные — скорейшего заключения мира, возрождения «светлого духа наук», «жизни промышленности» и суда, послушного закону... Никакого пресмыкательства тут и в помине нет — достойное эпическое стихотворение на возвышенную тему, восходящее к коронационной оде Карамзина, к посланию «Императору Александру» Жуковского. Пожалуй, впервые после «6 декабря 1854 г.» Вяземскому удалось верно найти воодушевленный, простой и одновременно величественный тон, не впав ни в казенную сентиментальность, ни в режущую ухо фальшь. Об этом князю восхищенно написал Шевырев: «Со времен Жуковского мы не читали таких стихов».

Что касается слухов о «пресмыкательстве», то Вяземский достойно опроверг их в письме Погодину 31 января 1856 года: «Раб и похвалить не может (цитата из стихотворения Державина «Храповицкому». — *В. Б.*). А я хочу хвалить, именно потому, что не раб, — что я чувствую и знаю, что я не раб. Опасаться же прослыть рабом в глазах щекотливых судей... вот это было бы совершенно холопски».

Со смертью Николая русская колония в Веве начала разъезжаться — принц Ольденбургский отправился в Петербург сразу же после получения вести о кончине дяди, принцесса Терезия уехала 10 марта. Через два дня Вяземский отправился на пароходе в Женеву. Разумеется, конечный пункт его теперешнего путешествия — Россия, куда еще может направляться русский в такое время?.. Какие мысли одолевали князя перед возвращением на родину, где он не был четыре года, легко понять из стихотворения «На прощанье»:

Я никогда не покидаю места,
Где Промысл дал мне смирно провести
Дней несколько, не тронутых бедою,
Чтоб на прощанье тихою прогулкой
Не обойти с сердечным умиленьем
Особенно мне милые тропинки,
Особенно мне милый уголок.
Прощаюсь тут и с ними, и с собою.
Как знать, что ждет меня за рубежом?
Казалось бы — я был здесь застрахован,
Был огражден привычкой суеверной
От треволнений жизни ненадежной
И от обид насмешливой судьбы.
Здесь постоянно и однообразно,
День за день длилось все одно с е г о д н я,
А там меня в дали неверной ждет
Неведенье сомнительного з а в т р а,
И душу мне теснит невольный страх.

В далеком 1818-м, перед крутым поворотом судьбы и отъездом в Варшаву — те же, типично «вяземские» сомнения в том, что «загадочная сказка» напишется так, как нужно, и типично «вяземское» меланхоличное смирение с этим («Прощание с халатом»). Теперь — задумчивый белый пятистопный ямб, который ближе к финалу неожиданно сменяется рифмованным; конечно, это благодатные уроки Жуковского и Пушкина («Вновь я посетил...») и воспоминания о собственной «Тропинке».

13 февраля в Женеве Вяземский навестил старого русского генерала графа Остермана-Толстого, давно уже перебравшегося в Швейцарию. Князя удивил его кабинет — весь он был увешан портретами Александра I, а на столе лежали том Державина и «Письма русского ветерана» Вяземского. Новейшие события в России нисколько не интересовали престарелого кульмского героя. 1 апреля Вяземский был в Штутгарте, на другой день — в Карлсруэ, 12-го — в Баден-Бадене, где написал стихотворение «Плач и утешение». Целый месяц князь прожил в Бадене, иногда выбираясь во Франкфурт и Карлсруэ. 13 мая в Висбадене он присутствовал на освящении недавно перестроенной православной церкви Святой Елизаветы. На церемонию съехалось множество русских со всей Европы. Мощно, легко и стройно звучал хор немецких певчих; пели они по-русски, и, как отметили все присутствующие, пели прекрасно... Знакомые князю дипломаты на ухо, шепотом передавали последние слухи из России. В империи ожидались перемены... Для семьи Вяземских они начались с семейной радости, с повышения по службе Павлуши — он получил чин надворного советника, что все расценили как «неожиданную и особенную милость». 25 мая во Франкфурте Вяземский навестил Бисмарка. 26-го приехал в Веймар, где представлялся великой герцогине Марии Павловне, сестре Николая I. В Веймаре провели четыре дня. Конечно, Вяземский посетил дома Гёте и Шиллера. 30 мая застало князя уже в Дрездене, где снова, как и в Висбадене, толпа русских знакомых — Воронцовы, Дьяковы, Бобринские, Россетти, Голицыны, Гревеницы... Снова слухи и сплетни. И тяжелые новости о Севастополе — у Вяземского уже не хватало духу брать в руки иностранные журналы.

Жарким летним днем, 22 июня 1855 года князь приехал в Царское Село. Тут же его навестил милейший Федор Иванович Тютчев, и уж он-то, как всегда, был в курсе всех внешне- и внутриполитических новостей... Перемены действительно назревали, подтверждая старую русскую аксиому: каждое царствование в России начинает все заново... Велись

переговоры по заключению мира, готовились реформы армии, суда, цензуры, системы образования. Поговаривали о том, что будут отстранены от дел все министры николаевского правительства. И хотя положение осажденного, кровью истекающего Севастополя по-прежнему было ужасным, а вражеская эскадра маячила в виду Ораниенбаума — 6 июля Вяземский сам увидел в зрительную трубу мачты британских броненосцев, — перемены позволяли надеяться на лучшее.

Старые знакомые, Блудов и Тютчев, в голос предсказывали Вяземскому успех при дворе нового императора, но пока что никаких внешних проявлений этого успеха не наблюдалось. Князь неторопливо восстанавливал приятельские связи, делал визиты, рассказывал о заграницах, жизнь его проходила в основном по дворцовым пригородам — Царское, Павловск, Ораниенбаум. 3 июля у Анны Тютчевой видел государя, но ни к чему эта встреча пока что не привела, как и знакомство 19 июля с новой императрицей Марией Александровной. «В первый раз от роду ее видел, — записал князь. — Очень приветлива и мила. Разговор около часу». В тот же день Вяземский отобедал у вдовы Николая I, императрицы Александры Федоровны. Но только 20 июля, за обедом у министра народного просвещения Авраама Норова, князь почувствовал, что впереди его действительно ожидает новое назначение: мягко, как бы между делом Норов спросил, как отнесся бы Вяземский к месту товарища министра... Князь, несколько смутившись, обещал подумать: предложение было слишком неожиданным. Авраама Сергеевича он знавал не первый год, относился к нему тепло и слегка насмешливо, считая человеком умным и честным, но не очень способным к государственной деятельности. Норов даже фигурировал в его записных книжках как пример человека, взявшегося не за свое дело (по мнению князя, ему больше подошел бы пост обер-прокурора Синода, а в роли министра просвещения был бы хорош Владимир Титов). И вот теперь перед самим Вяземским точно такое же искушение... Справится ли он? выстоит ли под придирчивым взором общественного мнения?.. Теперь ведь предстоит быть не сотой спицей в колеснице, пост товарища министра — огромная ответственность... Норов, понимающе улыбнувшись, кивнул: торопить не буду. «*Предложения*», — так отметил князь в дневнике этот знаменательный для него обед...

Согласиться? Разве не этого добивался, желал и ждал он когда-то?.. Да, но поздно, поздно... Как всегда, мысленно

попросил совета у Карамзина. И тут же вспомнилось: не то седьмой, не то восьмой год; лето, Остафьево; солнечный луч на крашеных досках пола; улыбка Николая Михайловича:

— Мало разницы между мелочными и так называемыми важными вещами... Одно лишь внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте, что и как можете; только любите добро; а что есть добро — спрашивайте у совести. Быть статс-секретарем, министром, автором: все одно!..

Интересно, что Норов заговорил с Вяземским о новой должности, еще не получив на это согласия императора. Пост товарища министра в последние годы правления Николая I оставался незанятым, и перед смертью государь поручил Норову найти достойную кандидатуру... 22 июля министр подал Александру II доклад, где рекомендовал на должность Вяземского, «зная его с давних лет и убежденный в его высоких душевных достоинствах и основательном просвещении». В тот же день, будучи в Петергофе, император наложил резолюцию: «Согласен».

И вот 24 июля состоялась аудиенция во дворце. Александр II вышел к князю запросто, приветствовал его как доброго знакомого, поздравил с новым назначением... Внешне император напоминал покойного отца глазами слегка навыкате, общим очерком лица и отличной офицерской выправкой. Разговор пошел вольно и дельно, «о славянском направлении, о допетровских тенденциях в литературе, о цензуре». Император поблагодарил Вяземского за его последние произведения и вообще произвел на старого князя впечатление самое приятное. Впрочем, Александр Николаевич нравился Вяземскому еще в бытность свою наследником-цесаревичем. А будущий император в детстве учил стихи Вяземского на уроках русской словесности — и нередко, по свидетельству очевидцев, ими восхищался...

Первый месяц, в июле — августе, князь был на испытательном сроке — только «исправлял должность» товарища министра. 27 августа Норов представил Вяземскому цензора Александра Васильевича Никитенко — ему предстояло ввести князя в курс служебных дел. Никитенко, человек необычной судьбы — крепостной крестьянин, выкупленный на свободу и дослужившийся до тайного советника, автор знаменитого «Дневника», — поначалу был настроен в отношении Вяземского скептически. Но со временем бывший крепостной и князь-Рюрикович прониклись друг к другу искренней симпатией: Никитенко безоговорочно поддерживал

Вяземского во всех его служебных начинаниях и стал одним из любимых собеседников старого поэта.

31 августа новый товарищ министра народного просвещения, тайный советник князь Вяземский официально вступил в должность. В этот же день в Царском Селе он благодарил императора за назначение. С Александром II встретились на прогулке в парке, государь был верхом, на коленях держал свою маленькую дочку, великую княжну Марию...

Парадный вход в серое, с белыми колоннами здание министерства, построенное Карлом Росси двадцать лет назад, располагался на Александринской площади. Вяземский уже бывал здесь не раз. Но в качестве хозяина огромного кабинета появился впервые. В Белом зале, расположенном на втором этаже, его уже вполне официально встретил министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов. Заметно прихрамывая, министр приблизился к Вяземскому, они обменялись рукопожатием, потом обнялись... Тут же выяснилось, что сегодня же Вяземский временно вступает в управление министерством — буквально через час Норов уезжал на два месяца с инспекцией в Московский и Казанский университеты.

Случалось, что русские поэты руководили юстицией (Державин, Дмитриев, Дашков — отличный переводчик с древнегреческого и в душе, безусловно, поэт). Но вот с просвещением... Александр I предлагал кресло министра просвещения Карамзину — тот отказался. Одно время министром был приснопамятный адмирал Шишков, потом в течение четырнадцати лет ведомством правил граф Сергий Уваров, единственный арзамасец, заслуживший презрение друзей молодости. Первым же действительно достойным литератором, получившим в 1853-м пост министра просвещения, был Авраам Норов — герой Бородинского сражения, потерявший в бою ногу, интересный и своеобразный поэт, неутомимый путешественник, знаток Древнего Востока (именно благодаря его усилиям на петербургской набережной появились знаменитые сфинксы), добрый знакомый Пушкина, с которым он был на «ты», брат декабриста Василия Норова и наперсницы Чаадаева Евдокии Норовой... Норов был одним из немногих министров поздней николаевской эпохи, уцелевших после смены императоров. С назначением Вяземского товарищем министра в первый и последний раз дело русского образования стало напрямую зависеть от двух поэтов Золотого века, и, наверное, такая ситуация была единственно возможна в атмосфере эйфории

первых постниколаевских месяцев... Хотя и раздавались в адрес Норова и Вяземского шуточки (так, князь Меншиков сострил, имея в виду одноногого министра и его заместителя: «Было у нас министерство на четырех ногах, а теперь на трех, да еще с норовом»), этот тандем достаточно ярко проявил себя в деле — три года его деятельности в министерстве были отнюдь не худшим временем в истории этого ведомства.

Милости на князя посыпались как из рога изобилия. Он тайный советник, товарищ министра, с декабря 1855 года — сенатор. Он чуть ли не ежедневно обедает у различных представителей царствующей фамилии. По вечерам в Зимнем дворце собираются за карточным столом постоянные собеседники императрицы Марии Александровны — Вяземский, министр иностранных дел князь Горчаков, барон Мейендорф, граф Киселев, граф Виельгорский, молодой поэт граф Алексей Толстой; за соседним столом играет в «ералаш» с постоянными партнерами, графом Адлербергом и князем Долгоруковым, Александр II... Наконец-то Вяземский вошел на равных в тот круг, где ему и надлежало быть по праву происхождения. Его внучатый племянник князь В. П. Мещерский свидетельствовал, что «придворная жизнь под старость лет его сладко усыпляла... Интрига и сплетня были от него столь же далеки, как ложь и лесть. Семидесяти лет, в центре придворного водоворота, он как будто продолжал их не понимать». Такое поведение в конце 50-х уже казалось старомодным, но ум и обаяние старого князя не могли не вызывать уважения у придворных и августейшей семьи. И напрасно скептичный П. А. Валуев в своем дневнике сокрушался по поводу того, что «влияние двора, озабочение двором, преобладание двора в... мыслях и жизни» Вяземского ни к чему хорошему не приведут. Как напрасно сам Вяземский опасался когда-то, что Жуковского двор из честного человека сделает камерлакеем... Не было в придворном существовании Вяземского ни лести, ни лжи, ни стремления вырвать себе какие-то привилегии, забраться повыше по служебной лестнице, получить лишнюю звезду на мундир. Когда-то Жуковский искренне любил своего воспитанника, теперь Вяземский так же искренне полюбил Александра II, императрицу, наследника. Надо ли напоминать, что в истинной любви нет ни лакейства, ни раболепства?..

Инерция неприятия поздних придворных успехов Вяземского благополучно дожила до нынешних дней. Видимо, сказывается шаблон, согласно которому русский поэт обяза-

тельно должен быть гонимым, несчастным и не любить власть... И вот маститый критик Станислав Рассадин в 2002 году бестрепетно повторяет обвинения русских «демократов» конца 1850-х: якобы в старости Вяземский «грешил... суетливым верноподданничеством». С каких это пор верноподданничество стало грехом, да еще и суетливым?..

...26 августа 1856 года в Москве состоялась коронация Александра II. В парадном красном сенаторском мундире, белых брюках, при треуголке и шпаге, при анненской звезде и кресте Святого Станислава I степени на шее, Вяземский увлажненными от волнения глазами смотрел на притихшую, крестящуюся толпу, на императора с императрицей... Кому не знакома мудрая фраза: «В России надо жить долго»?.. Вот и добрался Вяземский до чина, которым, кажется, не был обойден ни один из его служивших сверстников: даже летучий Александр Тургенев умер тайным советником. Отец, Андрей Иванович, достиг этой ступеньки в Табели о рангах в 34 года... Сын — в 63. Как, в сущности, мало нужно в России для карьеры, служебного роста! Умер один-единственный человек. Воцарился другой. И меняется *все* — начиная с покроя мундиров и заканчивая внешней политикой... И меняется твоя собственная судьба. Митрополит Московский Филарет благословляет трапезу. Гремит орудийный салют... Балы... парады... приемы иностранных делегаций... Вяземского подхватила придворная суета. Ни минуты покоя.

«Новое назначение мое могло бы во всех отношениях удовлетворить моему самолюбию и даже затронуть мою душу, — писал князь Владимиру Титову на другой день после вступления в должность. — И назначение было самое милостивое, и представление самое радушное и вообще встречено оно было, можно сказать, единогласным сочувствием. Все это очень хорошо и все это ценю я с подобающею благодарностию ко всем и за все. Но, признаюсь, со всем тем преобладающее в этих впечатлениях чувство есть чувство уныния. Вы меня знаете и вы меня поймете. Может быть, лет за 20 тому открывающаяся мне деятельность и расшевелила бы меня и пустился бы я в нее с упоением. Теперь что я? До 63 лет дожил нулем, который в счет не шел, страшно мне сделаться цифрою... Нет, как ни рассуждай, Севастополю не следовало бы пасть, а мне не следовало бы возвышаться. Как бы то ни было, от внешних ли впечатлений, от внутренних ли источников, но на душе очень грустно и темно... Хлопочешь и суетишься с камнем на груди».

Недоброжелатели перешептываются за спиной Вяземского, мол, быстра русская карьера. Верно, но и долга русская опала. И возвышения стыдиться нечего. Об «унынии» князя знают лишь самые близкие. На людях он держится с достоинством, уверенно и спокойно. Не делает вид, что всю жизнь ждал нового назначения, но и не относится к нему пренебрежительно. В конце концов ему доверяют просвещение России...

По должности Вяземскому довелось не раз замещать министра в его отсутствие (сентябрь — октябрь 1856 года, апрель — сентябрь 1857-го). Но основное внимание ему приходилось уделять русской цензуре. С 3 декабря 1856 года он возглавлял Главное управление цензуры — в него входили также попечитель столичного учебного округа граф Мусин-Пушкин, президент Академии наук граф Блудов, президент Академии художеств великая княгиня Мария Николаевна, главноуправляющий Третьим отделением князь Долгоруков, представители Министерств иностранных и внутренних дел и Синода. Это был первый и последний в России случай, когда цензурой ведал писатель, в прошлом полуопальный. Свою власть Вяземский активно использовал во благо писателям, хорошо памятуя о тех препятствиях, что приходилось им обходить при Николае I. Еще 27 января 1856 года была отменена специальная цензура для славянофильских изданий. В течение 1855—1856 годов было разрешено издание огромного количества журналов, у многих из них появились политические разделы; начали шире издаваться произведения Кантемира, Жуковского, Пушкина, Мицкевича, Гоголя, Грибоедова.

Поддержку Вяземского встречали и молодые писатели. В годы его цензурного «правления» свет увидели диссертация Чернышевского «Отношение искусства к действительности», трилогия Сухово-Кобылина, «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» Сергея Аксакова, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Рудин» Тургенева, «Старые годы» Мельникова-Печерского, «Тысяча душ» Писемского, поэтические сборники Фета, Огарева, Никитина и Плещеева. Вполне доброжелательно отнесся Вяземский к Добролюбову — считал его одним из самых перспективных деятелей русского просвещения и всячески помогал.

Впрочем, были и исключения. «Грубый, озлобленный и раздражающий, политический стихотворный памфлет на целое коренное устройство общества и на такие стороны общественного быта, которые в существующем и законном нашем государственном порядке не подлежат литературному

обсуждению, а особенно с тою резкостию и цинизмом выражений, какими запечатлены многие стихи... Стихотворения г. Некрасова, хотя и писаны в форме простонародной, но на деле совершенно чужды русскому духу: в них нет ни теплого чувства любви, ни доброжелательства, а есть одно сухое и холодное ожесточение и язвительное порицание. Они не что иное, как дикие отголоски чуждого нам направления» — так отреагировал князь Петр Андреевич на издание в ноябре 1856 года «Стихотворений» Некрасова. Цензор, пропустивший в печать книгу, получил строгий выговор от Норова. Но уже через год, 10 сентября 1857-го, сам Некрасов сообщал Ивану Тургеневу: «Я был у Вяземского — он меня уверял, что второе издание моей книги будет дозволено и что меня не будут притеснять»*...

Вообще позиция князя по отношению к молодым словесникам достаточно странна: с одной стороны, он не испытывает никаких симпатий к Некрасову и Салтыкову-Щедрину, с другой — в официальной записке, адресованной императору, заявляет о том, что «современная литература не заслуживает, чтобы заподозрили ее политические и нравственные убеждения». Например, о Щедрине Вяземский пишет резко и раздраженно: «Литература обратилась в какую-то *следственную комиссию низших инстанций*. Наши литераторы (например, автор «Губернских очерков» и другие) превратились в каких-то *литературных становых и следственных приставов*. Они следят за злоупотреблениями мелких чиновников, ловят их на месте преступления и доносят о своих поимках читающей публике... В литературном отношении я осуждаю это господствующее ныне направление: оно материализует литературу подобными снимками с живой, но низкой натуры, низводит авторство до какой-то механической фотографии, не развивает высших творческих и художественных сил, покровительствует посредственности дарований этих фотографов-литераторов и отклоняет нашу литературу от путей, пробитых Карамзиным, Жуковским и Пушкиным. Многие негодуют на то, что эти живописцы изображают одну худую сторону лиц и предметов. И негодуют справедливо... От этих тысяч рассказов, тысячу раз повторяемых, общество наше ничего нового не узнает... Каждый крестьянин, и не читая журналов, знает лучше всякого

* Стоит заметить, что Главное управление цензуры, возглавлявшееся Вяземским, постоянно испытывало сильное давление со стороны Министерства внутренних дел. Чернышевский прямо свидетельствовал о том, что цензура не могла разрешить второе издание книги Некрасова до 1861 года именно из-за противодействия МВД.

остроумнейшего писателя, что за человек становой пристав». Ему казалось, что «все эти «Губернские очерки» и тому подобные ничто как подражание» знаменитому роману Эжена Сю «Парижские тайны». А между тем «Губернские очерки» выходят в 1857 году двумя изданиями... Такая политика — конечно, рецидив поведения человека неслужащего, немало испытавшего и, что самое любопытное, — не упивающегося властью.

Подобные действия Вяземского на посту товарища министра легко объяснимы в свете традиций просветительского идеала службы в России. Идеал этот существовал со времен Екатерины Великой, ярко проявился в фигуре Державина и заключался в том, что служба на благо Отечества становилась для писателя в России обратной стороной его литературной деятельности, часто не менее значимой, а сам писатель был «представителем просвещения у трона непросвещенного». Таково было отношение к службе у Карамзина, Жуковского, Пушкина. Всех их отличали безупречная честность, стремление принести России практическую пользу, творческое отношение к своим обязанностям, как бы далеко они ни отстояли от литературы. Этим всегда руководствовался в своей службе (даже финансовой) и Вяземский.

В 1856—1857 годах самым модным словом в России стало, пожалуй, слово «гласность». Еще в начале десятилетия было невозможно вообразить, что деятельность товарища министра просвещения станет предметом споров. Находясь на высокой должности, князь услышал в свой адрес немало и похвал, и брани. Старые его друзья и знакомые — Тютчев, Блудов, Плетнев, Одоевский, Северин, Виельгорский — конечно, от души радовались за Вяземского, поздравляли его с тем, что на старости лет наконец добрался он до приличествующих его титулу и дарованиям поста. К ним присоединялся славянофил Константин Аксаков, которому Вяземский покровительствовал: «Давно нужен был в Министерстве просвещения человек просвещенный». «Так обрадовался я, что и выразить не могу, за любезное всем нам дело, отечественное просвещение. Вы можете сделать много добра!» — ликовал Михаил Погодин... Подчиненные князя в голос отзывались о нем как о честном, справедливом и добром начальнике. Но и в злобных наветах тоже не было недостатка. Многие поначалу даже отказывались верить в то, что Вяземский стал главным цензором России — к цензорам, как и к жандармам, в обществе искони было слегка брезгливое отношение, поэтому безупречная репутация кня-

зя оказалась сильно подмоченной. Например, литератор А. В. Дружинин писал, что не считает цензорскую должность позорной, «но, во-первых, она отбивает время у литератора, во-вторых, не нравится общественному мнению, а в-третьих... в-третьих то, что писателю не следует быть цензором».

Начиная с 50-х годов русская цензура во многом начала соответствовать требованиям, которые предъявлял к ней Вяземский в записке 1848 года. И в первую очередь это выражалось в том, что на службу в цензуру пошли, словно опровергая примером высказывание Дружинина, честные, образованные и авторитетные в обществе люди, известные литераторы. Так, Комитет цензуры иностранной в 1858—1873 годах возглавлял Ф. И. Тютчев, секретарем которого был Я. П. Полонский, а после смерти Тютчева председателем комитета до 1897 года служил А. Н. Майков (в его подчинении, кстати, был сын Вяземского Павел — председатель Петербургского комитета иностранной цензуры). Чиновником особых поручений при Вяземском состоял известный поэт Н. Ф. Щербина. В 1855—1860 годах цензором был прославленный романист И. А. Гончаров. И все-таки никого из них современники не судили так жестоко, как Вяземского. Возглавив русскую цензуру, он принял ответственность за все ее действия, и теперь каждая запрещенная книга давала Герцену повод произнести на страницах лондонского «Колокола» очередной саркастический монолог о «разлитии желчи» в голове старого князя и о царящей в России «свободе печати»...

Что оставалось Вяземскому? Разве ссылаться на пушкинское «Послание цензору», в котором идеал русского цензора был вполне привлекателен:

Но цензор гражданин, и сан его священный:
Он должен ум иметь прямой и просвещенный;
Он сердцем почитать привык алтарь и трон;
Но мнений не теснит и разум терпит он.
Блюститель тишины, приличия и нравов,
Не преступает сам начертанных уставов,
Закону преданный, отечество любя,
Принять ответственность умеет на себя;
Полезной Истине пути не заграждает,
Живой поэзии резвиться не мешает.
Он друг писателю, пред знатью не труслив,
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив.

Разве не об этом мечтал сам Вяземский в своем проекте реформы русской цензуры? Разве не таким был он сам в должности председателя Главного управления цензуры?.. Но в обществе почти все были убеждены: хороших цензоров в

России не было, нет и не может быть. Нюансами цензурной деятельности князя его противники не интересовались — им было достаточно того, что цензура в России есть и книги по-прежнему запрещаются. Адресованные Александру II официальные записки, в которых князь защищал литературу от нападок, оставались секретными внутриведомственными документами. Естественно, Вяземский, как бы ни был он добросовестен на своем посту, не смог переломить общественное мнение в свою пользу.

Никакой симпатии политика князя не вызывала и в Комитете министров. В правительстве Норов и Вяземский были одиноки, они не примыкали ни к реакционерам, тянувшим Россию назад и яростно сопротивлявшимся всем новациям, ни к реформаторам, группировавшимся вокруг великого князя Константина Николаевича. В штыки Вяземского приняла старая николаевская знать, помнившая его опальным оппозиционером, — им он по-прежнему казался «в оттенке алом»; его ревновали к императору новые фавориты; его высмеивала расплодившаяся (кстати, именно благодаря мягкой политике цензуры) левая пресса, видя в нем льстивого придворного одописца; редкий номер «Колокола» обходился без хамской ругани Герцена в адрес Вяземского... А примером совершенного непонимания позиции Вяземского может служить резкое письмо к нему Ивана Киреевского, в котором тот обвинил князя в льстивости и беспринципности. Статья Вяземского «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время», написанная им в октябре 1855 года, действительно содержала хвалы политике Николая I в области образования, но сделано это было с единственной целью — подтолкнуть преемника Николая к реальным преобразованиям. И вряд ли Киреевский, сочиняя свой пламенный обвинительный акт, вспоминал о поддержке, которую оказал ему Вяземский в 1832 году, когда был закрыт «Европеец»*...

На выпад Киреевского князь никак не отреагировал — не объяснять же истинный смысл статьи так прямолинейно все воспринимающему читателю!.. Но молчал он в ответ на обвинения в свой адрес далеко не всегда. Одним из любимейших его жанров в конце 50-х стали «Заметки» — так

* Впрочем, Киреевский, кажется, оскорбился главным образом не судьбами русского просвещения, а тем, что Вяземский игнорировал просьбу близких автору письма А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова об издании журнала «Русская беседа». Разрешение на его издание было дано Норовым 10 декабря 1855 года. Таким образом, уже два месяца спустя письмо Киреевского вряд ли было бы им написано.

он назвал сатирические стихотворные фельетоны, направленные против всего, что казалось Вяземскому несуразным и нелепым: против разночинных журналистов и расплодившихся либералов, глупых дам и модных неологизмов (например, слов *прерогатива* и *игнорировать*), политики Министерства иностранных дел и теории Дарвина... Первые «Заметки» были созданы им еще в 1823 году, а вернулся к этому жанру Вяземский в 1856-м, когда перемены в России лишь начинались. Но и тогда князь уже предвидел опасные последствия демократизации государственных уложений. В своих стихах он убийственно метко подмечал слабости новых порядков — гласность, стремительно выродившуюся в пустословие, легкость в перемене мнений, нетерпимость в отношении к инакомыслящим. Особенно раздражало его то, что нынешняя жизнь вся была подчинена партиям — непременно нужно было слыть либералом или консерватором, *просто человек* никого не волновал. Он видел, что общество заболело вдруг какой-то «французской болезнью» — все вдруг устремились в политику, в разоблачения каких-то мелких несовершенств... Надвигались 60-е годы, время реформ Александра II, время, готовившее великую Россию 80—90-х годов, но и время доносительства, неустойчивости, всплывшей наверх грязи, время хулы на Отечество... Для Вяземского это выражалось прежде всего в забвении пушкинской эпохи и Пушкина. Он с тоской смотрел на то, как уходят в тень люди умные, независимые, образованные, любящие Россию, как занимают их места бесчисленные *потомки Белинского* — беспардонные, необразованные, нахрапистые, готовые предать осмеянию все и вся. Давно уже не Булгарин, не Греч, не Сенковский делали погоду в русской журналистике: после кратковременного обморока в начале 50-х она возродилась в новом качестве, и места для обломков Золотой эпохи в этой журналистике (а следовательно, и в умах читателей) уже не было. Из окна своего экипажа, проносившего его в министерство, Вяземский видел на улицах Петербурга юношей и девушек, в сравнении с которыми журнальные наездники 30-х, Сенковские и Полевые, даже внешне казались элегантными рыцарями чистого искусства... На дворе шумел даже не Реальный век русской литературы — этот век Вяземский называл *Животным*...

«Заметки» были разнородными по составу — там и фельетон, и нравоописательные эпиграммы, и просто полушутливые каламбурные мелочи. Но на сей раз Вяземский заведомо играл не по правилам. Жанр эпиграмматической

войны предполагает в оппонентах юношеский задор и пылкость, умение безжалостно громить противника и утверждать собственную правоту за его счет. «Заметки» же Вяземского были, во-первых, недостаточно конкретны — в них поминались нигилисты, прогрессисты и либералы *вообще*, — а во-вторых, князь вовсе и не собирался никого громить и топтать: нынешняя сатира его была, по большому счету, безобидна, а нередко вовсе беззуба. Он выступал с позиции «золотой середины», умудренного годами человека, искренне готового понять и принять правду обеих сторон — но без перехлестов и взаимных словесных уничижений. «Когда у нас возникнут пренья, / О чем ни шел бы шумный спор, / Ты воздержись от обвиненья, / На оправданья будь не скор...» Нечего и говорить, что «переходная эпоха», помешавшаяся на гласности и прочих злободневностях, без всякого сочувствия выслушивала призывы Вяземского к взаимному уважению. Подобный примирительный тон всепонимающего дедушки, изредка ворчащего, когда уж слишком досаждали шаловливые внуки, не мог не забавлять разночинных стихоплетов, писавших на Вяземского пародии и эпиграммы. Его называли брюзгой, старовером, Брызгаловым (по имени чудака, до 40-х годов ходившего по Петербургу в костюме павловских времен), раскольником, ханжой-аристократом... «Мы думали, что князь Петр Андреевич почувствует, что ему пора перестать писать, — язвительно заявлял в «Колоколе» Николай Огарев, — но их сиятельство не только не почувствовало это, но еще ударилось в жандармствующую литературу». И обращался к Вяземскому с «посланием»: «О! не великий князь (когда-то либерал), / От ссыльных сверстников далеко ты удрал / В жандармскую любовь — к престолу, не к народу...» А Василий Курочкин хамски переиначил пушкинскую надпись «К портрету Вяземского»: тут и «морщины старика с младенческим умом», и «спесь боярская с холопскими стихами»...

Одним словом, недовольны Вяземским по разным причинам были и справа, и слева. «Для стариков я слишком молод, / Для молодых я слишком стар», — повторил он стихами свою фразу из письма к Жуковскому... У него была возможность примкнуть к какой-либо правительственной группировке и тем самым «потеряться», слиться с толпой, зазвучать в общем хоре; мог он и с доброй улыбкой приветствовать литературную молодежь, выступить в роли живой легенды пушкинских времен, принять лозунг Бенедиктова «Шагайте через нас!» — но его независимый нрав и тут дал себя почувствовать.

Конечно, он, по своему обыкновению, «не дорожил ни

похвалами, ни бранью», тем более *такой* бранью, делал вид (и успешно), что ему это вовсе не любопытно. Но все это — внешнее, внешнее... Он был гордым, сильным аристократом, но и ранимым, и впечатлительным человеком с издерганными нервами и, конечно, уставал от публичности, мундира, выверенных фраз, подписей, ответственности, пустяки государственной важности язвили своей ненужностью, радостный лай черни заставлял морщиться, одиночество с каждым днем сковывало своим холодом... Министерское кресло, новая жизнь излечили Вяземского от безвольного «прозябания» 1853—1854 годов, бесспорно, дали какую-то надежду, но, вольно или невольно, служба такого уровня, заботы первого цензора страны отвлекали князя от самого себя, *губили душу*... Нет, не рожден он бороться с жизненными трудностями, радоваться успехам и огорчаться неприятностям. Его призвание — не действие, а ощущение. Давным-давно сравнил он себя с термометром... Князь со вздохом откладывал бумаги, привезенные из Петербурга на подпись, снимал очки, массировал утомленные веки. Медленно, с наслаждением вдыхая сосновый воздух, брел он по знакомой тропинке в Лесном, вовсе не чувствуя себя главным цензором России, не думая ни о чем...

Привычка мне дана в замену счастья.
Знакомое мне место — старый друг,
С которым я сроднился, свыкся чувством,
Которому я доверяю тайны,
Подъятые из глубины души
И недоступные толпе нескромной.
В среде привычной ближе я к себе.
Природы мир и мир мой задушевный —
Один с своей красой разнообразной
И с свежей прелестью картин своих,
Другой — с своими тайнами, глубоко
Лежащими на недоступном дне, —
Сливаются в единый строй сочувствий,
В одну любовь, в согласие одно.
Здесь тишина, и целость, и свобода.
Там между *мною*, внутренним и внешним,
Вторгается насильственным наплывом
Всепоглощающий поток сует,
Ничтожных дел и важного безделья.
Там к спеху все, чтоб из пустого — важно
В порожнее себя переливать.
Когда мой ум в халате, сердце дома,
Я кое-как могу с собою ладить,
Отыскивать себя в себе самом
И быть не тем, во что нарядит случай,
Но чем могу и чем хочу я быть.
Мой я один здесь цел и ненарушим,
А там мы два разрозненные *я*.

...26 ноября 1857 года для выработки нового цензурного устава в министерстве была образована комиссия под председательством Вяземского (делопроизводителем в комиссии был известный поэт Аполлон Майков). Князь настаивал на скорейшем принятии нового устава — формально в России все еще действовал устав 1828 года, безнадежно устаревший, опутанный клубком позднейших добавлений и уточнений. Кроме того, Вяземский резко выступал против обилия в России ведомственных цензур, каждая из которых подчинялась своему начальству, — всего таких цензур было ни много ни мало двадцать две. Словом, готовилась масштабная внутриведомственная реформа, у которой, естественно, тут же нашлись противники.

Об обстановке, в которой обсуждался проект устава, свидетельствуют дневниковые записи А. В. Никитенко: «Министр народного просвещения потерпел сильное поражение в заседании совета министров в прошедший четверг, где он докладывал. Начало доклада, по-видимому, было хорошее. Министр прочитал записку о необходимости действовать цензуре в смягчительном духе. Записку эту писал князь Вяземский с помощью Гончарова. Против Норова восстал враг мысли, всякого гражданского, умственного и нравственного усовершенствования, граф Панин. Он не лишен ума, а главное — умеет говорить. Бедный Норов начал было защищать дело просвещения и литературы, но защита его, говорят, вышла хуже нападок. Панин, разумеется, восторжествовал, и цензуре велено быть строже».

6 февраля 1858 года состоялось первое заседание комитета. На нем Вяземский зачитал свою записку о литературе, которую Норов представлял Александру II. «Записка оправдывает литературу от возводимых на нее обвинений, — отметил Никитенко. — Она составлена умно и изложена изящно. Вообще записка эта делает честь князю Вяземскому по светлым идеям в пользу мысли и просвещения, которые он сумел вложить в нее. Он опровергает ею мнения многих, будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере “Колокола”. Но никакого понимания записка Вяземского не встретила. Большинство членов комитета смотрело на своего председателя с холодным недоумением — в своих “Заметках” бичует расплодившихся либералов, “дикие отголоски чуждого нам направления”, а в официальном документе заявляет нечто прямо противоположное. И как же это понимать?.. Ведь и государь в докладе Вяземского отчеркнул то место, где князь пишет об от-

сутствии в современной литературе всевозможных *косогоров* (то есть опасных уклонов), и заметил: "Косогоры, к сожалению, есть"»...

«Идут заседания комитета для пересмотра цензурного устава, — записывал Никитенко 16 февраля. — Много толков, много изменений. Все это составляет хаос, который надо привести в стройный вид и ясное выражение. Князь Вяземский в данном случае умно и благородно смотрит на вещи, но за этот последний труд не берется». С грустной усмешкой прощался Вяземский с давней мечтой быть «советником царю», «положительным государственным человеком», которого угадывал в нем Гоголь... Совместить желание дать литературе дышать свободно и в то же время вернуть ее на пути, проложенные Жуковским и Пушкиным, оказалось невозможно. Мириться с неустраивавшим его положением дел в правительстве Вяземский не собирался — и в глубине души он был даже рад тому, что все козыри оказались на руках его политических противников: это был прекрасный повод вырваться на свободу... Он вспоминал, что писал когда-то не то Дашкову, не то Блудову: «В свете чем выше поднимаешься, тем более человеку, признающему за собой призвание к делу, выходящему из среды обыкновенных дел, должно быть неуязвимым с ног до головы, непроницаемым, непромокаемым, несгораемым, герметически закупоренным, и к тому же еще иметь способность проглатывать лягушек и при случае переваривать ужей». У него самого таких способностей не было никогда.

23 марта 1858 года Норов и Вяземский подали прошения об отставке. На вопрос императора о причине князь ответил: «Я предпочитаю воевать с цензурой как писатель, а не как ее начальник». На самом же деле министр и его заместитель поступили в полном соответствии со старым этическим кодексом несогласного с государем верноподданного. Норова сменил попечитель Московского учебного округа, в прошлом томский губернатор и директор Горного корпуса Евграф Петрович Ковалевский; Вяземского — его давний знакомый Николай Алексеевич Муханов. «Сей час мы получаем известие об отрешении Брока (министр финансов. — *В. Б.*), Норова и Вяземского, — ликовал в «Колоколе» Герцен. — Это большое торжество разума, большая победа Александра II над рутиной».

Так завершился трехлетний «руководящий период» в жизни Вяземского — и вся его служебная эпопея, начавшаяся еще в допожарном 1807 году. Отныне он был свободен от официальных обязанностей, если не считать деятельнос-

ти в Сенате, Государственном совете, Академии наук и научных обществах. Отставка была почетная, князь сохранил расположение государя... Но итоги были подведены Вяземским еще 24 июня 1857 года, в Петергофе — тогда он написал стихотворение «Уныние», второе свое «Уныние» после варшавского шедевра 1819-го:

К чему скорбеть? Надеяться напрасно —
Что было — было, прошлое — прошло,
Что будет впредь? Как знать? Одно нам ясно:
Жизнь мимо идет, с ней добро и зло.

Я не хвалюсь смиренностью моею,
Не мудрости моей смиренность дочь,
Могу ль сказать, что я духовно зрею?
Нет, вижу я, что наступает ночь.

Уж подвиг мой окончсн. Неудачен,
Хорош ли он? Здесь не об этом речь.
Но близок час, который предназначен
И ношу дня пора мне сбросить с плеч.

...В октябре 1857 года, в последние месяцы службы, ему выпала командировка в Москву. Князь навещал в клинике избитых полицией университетских студентов, был на нескольких показательных лекциях, докладывал императору о состоянии гимназий, посещал старых друзей и знакомых — генерала Ермолова, Сушкова, Шевырева, графиню Ростопчину, съездил на могилы отца и матери... В свободный день, 19 октября, он приехал в печальное, запустевшее Остафьево. Отстоял обедню, был на крестьянской сходке... Усадебный дом, некогда оживленный, веселый, ныне был пуст, обветшал. Погода стояла ясная и холодная. Под ногами трепетали опавшие листья. Пруд уже подернулся первым льдом, крестьянские мальчишки с хохотом гоняли по нему кубари. Вяземский бродил по аллеям старого парка, и скоро к глазам его подступили слезы. Ему казалось, что его обступают тени ушедших, шепчут о чем-то, не то ободряя, не то упрекая...

28 мая 1858 года старый знакомый Вяземского по московским литературным салонам Степан Петрович Шевырев отправил князю письмо. Прочитав его, Вяземский вздохнул: ну вот, опять Шевырев принялся за старое... Еще в 1850-м, после памятного московского обеда в честь Вяземского, Шевырев неожиданно предложил князю стать его биографом. Вообще-то он был не первым, кто заговорил с Вяземским на эту тему. Еще в 1838—1839 годах давний приятель

князя, библиофил С. Д. Полторацкий, начал собирать материалы по родословной Вяземских. Но Полторацкий — это все же свой, близкий, и, может, именно поэтому его работа продвигалась довольно вяло и в конце концов заглохла. Шевырев же был хоть и знакомым Вяземского, но ***не своим***: в узкий круг приближенных он не входил. О его предложении Вяземский вскользь упомянул в стихотворении «Одно сокровище»: «Мой биограф, — быть может: *Шевырев...*» Некоторое время он раздумывал над словами Шевырева — вот и сбывались его тайные мечты, туманные фразы о будущем исследователе... Улыбался невольно... Потом улыбка сошла. Как это грустно... словно патент на близкую смерть... Он и не знал, благодарить Шевырева или обижаться на него... Но Шевырев хотел не просто составить биографию Вяземского, а написать нечто вроде «Разговоров с Гёте» Эккермана: «Желаю написать его биографию при жизни его и под его диктант»... Для этого, по плану Шевырева, Вяземский должен был переселиться в Москву, где вокруг него собралась бы молодежь «и стала бы трудиться». Такой вариант князю решительно не понравился, и идея биографии временно заглохла... Уже в декабре 1855 года инициативу у Шевырева перехватил заочно знакомый Вяземскому историк Степан Иванович Пономарев. Но тут Вяземский легко отговорился тем, что его «нынешняя оффициальность» может дать повод подумать, что он просто хочет таким образом поднять свой писательский престиж.

И вот от «оффициальности» ничего не осталось, и Шевырев снова просит: «Дайте мне средства быть Вашим биографом... Вы теперь старшее звено, связующее всю нашу литературу. Около Вашей биографии скуется вся наша словесность, за исключением разве Ломоносова да Кантемира». Но и теперь Вяземский непреклонен: собирать воедино «летучие листки», на которых писана его судьба, еще рано (да и возможно ли это вообще?..). Биографии пишутся после смерти их предмета... Он благодарит Шевырева и мягко отказывается от титула «старшего звена».

Впрочем, Степан Петрович оказался очень настойчивым: он не оставлял попыток разговорить «старшее звено». В 1861 году Шевырев уже в третий раз предложил Вяземскому надиктовать свои мемуары. «Если бы Вы положили, по порядку времени, продиктовать каждый день одну, две, три странички — ведь в год составилось бы сокровище, — убеждал Шевырев князя. — Вы так всегда любили этот род литературы на Западе и сами ощущали его недостаток у нас... Я бы охотно превратился... в Ваше перо, чтобы передать потомст-

ву все то, что хранит ваша память заветного об нашей прежней литературе».

Но эта идея снова не вызвала у Вяземского энтузиазма. В 1864 году Шевырев умер...

Постоянная занятость по службе и при дворе, конечно, сказывалась на творческой плодовитости старого князя не лучшим образом: в 1856 году — всего восемь стихотворений, из которых удачами стали лишь «На церковное строение» и «Сельская церковь», в 1857-м — и того меньше, шесть (лучшее — цитировавшееся выше «Уныние»). А в свободном от службы 1858-м — резкий взлет, 21 стихотворение, в том числе такие значительные, как «Чертог Твой вижу, Спасе мой...», «Очерки Москвы», «Александру Андреевичу Иванову», «На смерть А. А. Иванова», «Лес горит», «Молитвенные думы»... Наслаждаясь свободой, он в мае 1858 года едет опять в Остафьево, летом живет в Петергофе и на даче Лесного института, где встречает 66-летие, а 2 августа уезжает на воды в Карлсбад. 9 августа через Кёнигсберг приехал в Берлин, где навестил Карла Фарнхагена фон Энзе. Фарнхаген описал состояние князя как «погасшее»: «Ему больше не к чему приложить прежнее усердие». 12-го Вяземский еще раз был у своего немецкого друга за обедом, целый час они обсуждали светские новости. Эта встреча оказалась для них последней — через два месяца Фарнхаген фон Энзе умер.

В тот же день князь навестил 89-летнего Александра фон Гумбольдта. Он познакомился со знаменитым ученым еще тридцать лет назад в Москве. Престарелый Гумбольдт был тяжело болен и уже не вставал.

В Карлсбаде — снова начало «прозябательной, животной» жизни, вместо утомительных прений в Комитете министров — целебные источники и запрет на волнения... Там же Вяземский неожиданно столкнулся с приятелем юности, арзамасцем Николаем Ивановичем Тургеневым. Оба с трудом узнали друг друга. Декабрист-эмигрант был уже помилован русским правительством, навещал родину, но на постоянное жительство в Россию перебираться не спешил... Общего у бывших единомышленников и союзников по «Обществу добрых помещиков» ничего не осталось. Еще в 1843 году Николай Иванович так писал о Вяземском: «Под старость и им, как многими людьми, овладело то благоразумие, которое скорее можно назвать расчетливостью... Чувствуя труд борьбы со злом, они заключают мир со злом и неприметно для них самих делаются врагами добра». В отличие от встреч с другими декабристами (и Иван Пущин, и Сергей Волконский очень обрадовались Вяземскому) свида-

ние с Тургеневым вышло холодно-неловким. Разговор шел в основном о покойном Александре Тургеневе.

В Карлсбаде лечился и русский посланник в Баварии Дмитрий Петрович Северин. Вяземский был очень рад повидать старого друга и 20 сентября подарил ему небольшое стихотворение «Другу Северину».

Из Карлсбада 21 сентября князь и княгиня направились в Теплиц, потом были уже хорошо знакомые Дрезден, Франкфурт, Штутгарт, Баден-Баден. В Швейцарии (Базель, Лозанна и Женева) провели чуть меньше месяца. В Лозанне Вяземского впечатлил отель, названный в честь знаменитого историка Гиббона. А вот Женева, которую ему толком не удалось разглядеть три года назад, совсем не понравилась: «Новое правительство все делает, чтобы обратить ее в безнравственные Афины. Театр, правда, плохой, игорный дом, кофейные и погреба, или просто кабаки, на каждом шагу. Стараются обезшвейцарить Женеву, поглотить ее народонаселение приливом иностранцев, разноплеменной сволочи, бродяг». Женева напоминала огромную стройку — в городе постоянно сносили старые дома, возводили новые... Вяземский перечитывал Руссо. «Нельзя в Женеве не думать о Руссо... — записал он в дневнике. — Карамзин любил его и много имел с ним общего. Гоголь также принадлежал семейству Руссо, с разницею, что он был христианин и усердный православный, а тот деист, — что тот был ум высшего разряда, а Гоголь писатель с дарованием, и только».

11 ноября Вяземские были уже в Лионе, столице французского ткачества, городе мостов и набережных. За ним последовали Марсель и Ницца. Там путешественники остановились на семь месяцев, сняв номер в «Отель де Франс». Изредка выбирались в соседние Канны или Антиб...

В этом уголке Европы Вяземский еще не бывал. С интересом осматривал он дворец Ласкарис в генуэзском стиле, крепость Мон Альбан на холме — с него виден был весь Лазурный Берег и даже Корсика. Присутствовал на закладке православного храма Святого Николая Чудотворца на рю де Лоншен. Гулял, как и все местные завсегдатаи, по бульвару Англичан, тянущемуся вдоль бухты Ангелов (русские называли этот бульвар просто *прогулка Англичан*; англичан там и вправду водилось в избытке, мужчины пешком, дамы верхами)... Юг радовал теплой зимой, на душе у Вяземского было легко и покойно. Про себя он отметил, что совершенно не вспоминает недавнее свое служебное поприще, будто и не было в его жизни трех суматошных, не принадлежавших ему лет. Близкое прошлое настолько его не занимало, что, когда

мимо Вяземского прошмыгнул какой-то русский политэмигрант из герценовского окружения и, злобно взглянув в упор, громко пробормотал: «Вот идет наша русская ценсура...» — князь даже не сразу понял, что речь шла именно о нем. А когда понял, только усмехнулся. Цензура, министерство, Норов, доклады у государя, левые и правые журналы — все это стало для него пустым звуком уже в день отставки.

В Ницце находилось обширное русское общество отдыхающих — великий князь Константин Николаевич с красавицей женой Александрой Иосифовной, великая княгиня Екатерина Михайловна с мужем, герцогом Георгом Мекленбург-Стрелицким, принц Петр Георгиевич Ольденбургский с женой, семья декабриста князя Сергея Волконского, семьи Олсуфьевых, Кочубеев, Голицыных, Похвисневых; в порту города стоял корвет «Баян», на котором приплыл в Ниццу бывший сослуживец князя по цензуре поэт Аполлон Майков... Случались, таким образом, русские обеды и разговоры, «т.е. все кричали разом, перебивая друг друга, и все врали во всю мочь». Но такое общение, судя по ворчливой интонации Вяземского в дневнике, ему не особенно нравилось. Он все больше привыкал к обществу людей, которые доводились ему по возрасту детьми, а то и внуками — с ними гораздо легче дышалось, они были легки на подъем, незашорены, не боялись высказывать собственное мнение; да и сама молодежь, чувствуя искренний к себе интерес, обыкновенно не упускала случая поболтать с остроумным и многознающим старшим другом. Ровесники же вызывали в Петре Андреевиче неосознанное раздражение, все они казались ему скучными и бессмысленными, безнадежно застрявшими не то в 40-х, не то в 30-х годах; беседы с ними он называл «разговоры в царстве мертвых». Кроме того, они напоминали ему о собственном возрасте, а с ним Вяземский мириться отнюдь не собирался. Например, министра иностранных дел князя Горчакова, который был моложе Петра Андреевича на шесть лет, он пренебрежительно называет в дневнике ни много ни мало «старой кокеткой»!.. Кстати, именно в связи с Горчаковым и именно зимой 1858/59 года Вяземский бросил одно из самых легендарных своих mots. С усмешкой наблюдая за тем, как министр пытается ухаживать за молоденькой графиней Олсуфьевой, Вяземский произнес:

— Помнится, пятьдесят лет назад я имел куда больший успех у бабушки этой девицы...

Гораздо больше времени, чем прежде, он проводил теперь и в обществе иностранцев — записная книжка пере-

полнена именами британских, французских и итальянских дипломатов, с которыми князь обсуждал последние политические события (а они были довольно бурными: в апреле — июне гремела война между Австрией и Францией, в результате которой, кстати, Ницца отошла к последней; в начале мая Вяземский даже съездил в зону боевых действий, в Геную и Турин). Стихи сочинялись исправно, большая часть их относилась к разряду «фотографий» — так князь называл обширные зарифмованные пейзажи, которые в обилии появились в его творчестве начиная с 40-х. И «Вечер в Ницце», и «Прощание с Ниццею» получились подчеркнуто старомодными и тяжеловесными, их живописность часто граничит с красивостью в дурном смысле этого слова. Пожалуй, только финальная строфа «Вечера в Ницце» может поспорить по мелодике и изяществу с лучшими элегиями Жуковского, да еще стихотворение «Дорогою из Ниццы в Канны» приятно удивляет неожиданным переходом от описания роскошных южных ландшафтов к воспоминанию о заснеженной России. Об этом — и две шуточные строфы (*выходка,* как говорил сам Вяземский, — то есть то, что вы́ходилось у него во время прогулки):

Природа всем нам мать родная;
Не спорю я, но для чего ж,
Детей дарами наделяя,
Неровен так ее дележ?

Здесь — солнце, апельсины, розы,
Природы прелесть и любовь,
А там — туманы да морозы,
Капуста, редька и морковь.

В апреле в Ницце уже вовсю цвели апельсиновые деревья, благоухали мимозы... На три недели город захлестнул великолепный парад цветов... 15 мая 1859 года, отдав все свои русские книги консулу для церковной библиотеки, Вяземский с женой мальпостом выехали в Марсель, откуда по железной дороге отправились в живописный Арль. Они задумали повторить маршрут путешествия Карамзина 1790 года. Весь юг Франции — лавандовые поля нежно-фиолетового цвета... Виноградники, которые князь прозаично сравнил с воткнутыми в землю вениками... В Арле осмотрели руины римского амфитеатра, в Авиньоне — церкви, в Ниме — снова амфитеатр, в Монпелье — медицинский институт. Побывал Вяземский и на бое быков, и в местном кафешантане, с удовольствием отметив: «Я очень люблю таскаться по демократическим сборищам: крик, свист»... В Ниме он встретил

давнего знакомца по Парижу, поэта-булочника Ребуля, который прочел князю свою новую поэму.

Затем повернули на север, дорога шла вдоль живописной Роны. 6 июня снова были в Лионе. Через три дня уехали в Женеву. Рона на глазах становилась у́же, мелководнее... Вот и величественный Лак Леман (или — по-немецки — Генферзее) — Женевское озеро... В Женеве, в Троицын день отстояли обедню в храме Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, переполненном русскими. И Петр Андреевич, и Вера Федоровна вспомнили, не сговариваясь, Остафьево, сельский храм с устланным травою полом, букеты полевых цвето́в в руках, слезы, капающие на душистые стебли... Князь навестил доживавшую в Женеве последние дни великую княгиню Анну Федоровну — когда-то жену великого князя Константина Павловича, сестру бельгийского короля Леопольда и тетку английской королевы Виктории. В этой, казалось бы, до кончиков волос европейской 80-летней старухе обнаружилось неожиданно много русского. Анна Федоровна оказалась интереснейшей собеседницей, и Вяземский с упоением слушал ее «преданья старины глубокой». Повидал Плетнева, который приехал из Веве.

Вяземский посетил вольтеровское поместье Ферней, подробно описав свой визит в одноименной статье. 12 июня «по следам Карамзина» поднялся на гору Гран Салев. Оттуда открывался прекрасный вид — весь Женевский кантон, Леман до самой Лозанны... Но Монблана Вяземский не увидел, он был закрыт плотными облаками. Это очень сердило князя — за все свои посещения Швейцарии он так и не увидел гор вблизи из-за плохой погоды. Кучер сказал ему, что вершина Монблана очень похожа на голову Наполеона, и верно: на другой день, на закате, когда облака рассеялись, Вяземский наконец увидел, что гора и впрямь напоминает шляпу, нос и лоб великого корсиканца... Он с грустью подумал о том, что Францией правит тепе́рь смешной и жалкий Наполеон III. Впрочем, князь был убежден, что впереди Францию ожидает еще одна революция, которая освободит страну от власти венценосного проныры. Режим самозванца непрочен и ненадежен. Нельзя верить в прочность правления, при котором негодяй Дантес-Геккерен стал сенатором.

(«Загадочная сказка» и в этом случае посмеялась над Вяземским: через 16 лет он напишет большое стихотворение «Современная легенда», где назовет покойного Наполеона III «поэтическим виденьем» и «легендой современных дней». Впрочем, сделано это будет главным образом ради второй части стихотворения — длинного мадригала вдове Напо-

леона, экс-императрице Евгении, с которой князь свел знакомство...)

14 июня, в Женеве, Вяземский написал одно из своих лучших стихотворений — «Во внутрь блестящего чертога...», вариацию на тему притчи о мудрых и неразумных девах (Мф 25, 1—13).

Июль застал Вяземских уже в Германии и Австрии — снова Штутгарт, Баден-Баден, Карлсбад... В Карлсруэ князь держал корректуру небольшого сборничка «За границею», который выпускала придворная типография. В сборничек вошли 12 стихотворений, из которых самым старым была «Масленица на чужой стороне», а самыми свежими — «Ницца» и «Прощание с Ниццею». К книжке прилагалась прекрасная фотография автора. На Рождество 1859 года Вяземский подарил экземпляр этой книжечки внучкам — Кате и Аре.

В сентябре князь десять дней провел в центральной Швейцарии, в Интерлакене, — в обществе супруги Александра II Марии Александровны. Познакомился он с нею, как мы помним, летом 1855 года и сразу искренне привязался к этой милой, скромной женщине, годившейся ему по возрасту в дочери. По словам князя В. П. Мещерского, Вяземский, «невзирая на свои 70 лет, питал высоко поэтический культ к изящной и умной личности императрицы». Мария Александровна, которой в 1859 году исполнилось 35 лет, была, пожалуй, самой домашней из всех русских правительниц. Дочь великого герцога Людвига II Гессенского, она искренне, всей душой приняла новую родину и стала глубоко верующей православной. Держась в тени августейшего мужа, всю себя посвящала многочисленным детям. Александр II был влюбчив, но Мария Александровна научилась сносить измены супруга молча и без упреков. Конечно, это не лучшим образом отражалось на ее здоровье, к началу 60-х Мария Александровна уже болела туберкулезом, и от ее былой миловидности почти ничего не осталось: бледное, исхудавшее, погасшее лицо, печальные большие глаза...

Князь стал одним из любимых собеседников императрицы. Он посвятил ей немало стихотворений — от напыщенного описания коронации до изящного мадригала «Не только Царской диадимой...», от венецианского «Государыне Императрице» до стилизованных под фольклор «Деревенских праздников», приуроченных ко дню рождения Марии Александровны и выпущенных отдельными брошюрами. Во время заграничных поездок писал императрице подробные письма. Остафьевский архив хранит ответы императрицы —

набросанные изящным стремительным почерком, на небольших листочках с короной и вензелем... Часто обменивались они и телеграммами. Например, 30 августа 1861 года Мария Александровна послала Вяземскому из Крыма такую депешу: «Благодарим Вас от всей души Ливадия мне чрезвычайно нравится погода отличная жаль что Вас здесь нет не забудьте писать Княгине мой поклон Мария»*. Портрет Вяземского красовался на веере Марии Александровны, бюст князя стоял в ее будуаре...

Впрочем, граф С. Д. Шереметев считал, что в 70-х годах отношения Вяземского с Марией Александровной подхолодились: «Почет и доверие были те же, и расположение то же, но значения прежнего он уже не имел при императрице, и это горькое для него сознание было тем чувствительнее, что он сознавал себя обойденным не как царедворец (каковым он никогда не был), а как человек доброго и верного совета, как чуткий термометр, присутствие которого было особенно необходимо в это сложное время».

Но пока что, в самом начале «романа» Вяземского с царицей, все было превосходно... В сентябре 1859 года, в Интерлакене, императрица попросту не отпускала Вяземского от себя — приказала отправить княгине Вере Федоровне телеграмму о том, что князь задерживается по ее личной просьбе. Вяземский был рад обществу государыни и ее фрейлин — графини Антонины Блудовой, графини Александры Толстой, Анны Тютчевой, Анастасии Мальцовой... Вместе они любовались величественной горой Юнгфрау, катались на пароходе по горному озеру Бриенцерзее, побывали на развалинах старинного замка... И, конечно, старый князь не мог не чувствовать себя немножко Державиным, делящим досуг с любимой властительницей. Почтенная традиция русской поэзии: так Ломоносов восхищался Елизаветой Петровной, Жуковский — юной Александрой Федоровной... Да и Пушкин писал в дневнике: «Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже 35 и даже 36 лет»... Вяземский вообще с удовольствием посвящал стихи венценосным особам: среди его адресаток принцесса Баденская Мария Максимилиановна, ее сестра герцогиня Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская, великая княгиня Мария Федоровна, королева Вюртембергская Ольга Николаевна...

Дальнейший маршрут путешествия Вяземских вновь пролегал по Германии — десять дней в Баден-Бадене, который имеет «удивительную одуряющую силу», Дюркхайм, две не-

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2259. Л. 6.

дели в Гейдельберге. Там князь написал большой мадригал «Благодарность», обращенный к императрице. Потом опять Баден-Баден, Штутгарт и Берлин. Вяземский не застал уже там своих знакомых — Гумбольдта и Фарнхагена фон Энзе (Гумбольдт скончался совсем недавно, 6 июня). Их памяти было посвящено обширное послание русскому дипломату барону А. П. Мальтицу «Берлин»... Из прусской столицы Вяземский отправился в Кёнигсберг, а оттуда в Петербург, где остановился в гостинице Демута. Еще в конце сентября он подхватил сильную простуду, которая не отпускала его вплоть до возвращения в Россию.

В Петербурге князь мог убедиться, что он по-прежнему желанный гость при дворе. Почти каждый день он обедал в обществе Александра II и Марии Александровны, посещал балы и интимные вечера, в театре сидел в императорской ложе... Служебных забот, к счастью, уже не было, если не считать того, что Вяземский ежедневно приезжал на заседания Сената (частенько злившие его своей пустячностью). Внешне все обстояло более чем благополучно, но в дневнике чуткого к обидам князя появляется запись: «Мне с некоторых пор сдается, что со мною играют комедию, а я на комедию не хочу да и не умею отвечать комедией. От того мне очень неловко и тяжело. Имею внутреннее сознание, что в отношениях со мною нет прежнего, сердечного благорасположения, а соблюдаются одни внешние формальности. Что причиною этой перемены, придумать не могу. Может быть, просто опостылел, как то часто бывает с женщинами и при Дворе. А может быть, и оговорили меня добрые люди. Как и за что, неизвестно. На совести ничего не имею; а положение мое, кажется, так для всех должно быть безобидно, что никому я ничего не заслоняю. Как бы то ни было, вся поэзия моих прежних отношений полиняла и поблекла. При Дворе я не Двор любил и меня вовсе не тешило, что я имею место между придворными скороходами и придворными *скороползами* всех чинов и всех орденов. Мне дорого и нужно было сочувствие; а без сочувствия мне там и делать нечего, о чем и следует при удобном случае крепко и окончательно подумать». Но тревога эта оказалась ложной, и случая «крепко и окончательно подумать» так и не представилось.

...Начало марта 1861 года выдалось для Вяземского особенно приятным. Императорская Академия наук, ординарным членом которой князь состоял почти двадцать лет, постановила торжественно отпраздновать 50-летний юбилей его литературной деятельности. Строго говоря, юбилей этот

приходился на октябрь 1858 года, но князь был тогда за границей, и президент Академии наук граф Д. Н. Блудов перенес дату праздника. 16 февраля 1861 года Александр II изъявил согласие на его проведение. Заранее решено было «снять с академического собрания всю формальность» — гостям велено быть в черных фраках, белых галстуках, при звездах, но без лент — и придать празднику характер дружеского обеда. Сохранилось его меню: расстегаи с пирожками, пюре по-рейнски, жюльен по-королевски, цыплята с трюфелями, салат и «le Soudac» под голландским соусом.

В назначенный день, 2 марта, в малой конференц-зале Академии разместились многочисленные гости, в большой зале были накрыты праздничные столы, на эстраде, украшенной цветами, сидели дамы. Взволнованный и растроганный юбиляр принимал поздравления с самого утра — первыми его поздравили внуки, прочитавшие торжественные куплеты... Плетнев и непременный секретарь Академии К. С. Веселовский к семнадцати часам привезли Вяземского в Академию, где его у входа встречали старый знакомый по Швейцарии и Ницце принц Петр Георгиевич Ольденбургский, министр просвещения Ковалевский и Блудов. Блудов же и открыл вечер, еле слышным голосом сообщив, что юбиляр высочайше пожалован придворным чином гофмейстера с назначением состоять при особе императрицы. Кроме того, к двухтысячной аренде, закрепленной за князем два года назад, была добавлена еще тысяча рублей. Первый тост был, конечно, за государя и августейшую фамилию. Зал единым махом поднялся, когда раздались торжественные звуки «Боже, Царя храни», встали рядом с Вяземским Ковалевский и Блудов, встал и сам князь, сидевший под огромным бюстом Петра Великого, и в этом общем воодушевлении, в этом пении гимна чувствовалось что-то трогательное и вместе с тем величественное...

Благодарственная речь, прочитанная Вяземским, получилась довольно ироничной. Князь заметил, что творческий свой путь он заканчивает, увы, не тем, чем многие сейчас начинают — Полным собранием сочинений... В зале вспыхнул смех, Блудов несколько раз приложил ладонь к ладони, его примеру последовали Плетнев и Соллогуб. Сделав паузу, Вяземский продолжал:

— Не мои дела, не мои труды, не мои победы празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцелел из побоища смерти и пережил многих знаменитых сослуживцев...

Дальше было все, что полагается на официальном юби-

лее. Ковалевский провозгласил тост за Академию, Блудова и принца Ольденбургского. Председатель Отделения русского языка и словесности Академии наук Петр Александрович Плетнев прочел стихи отсутствующего Тютчева:

У Музы есть различные пристрастья,
Дары ее даются не равно;
Стократ она божественнее счастья,
Но своенравна, как оно.

Иных она лишь на заре лелеет,
Целует шелк их кудрей молодых,
Но ветерок чуть жарче лишь повеет —
И с первым сном она бежит от них.
....

Не то от ней присуждено вам было:
Вас, юношей, настигнув в добрый час,
Она в душе вас крепко полюбила
И долго всматривалась в вас.

Досужая, она не мимоходом
Пеклась о вас, ласкала, берегла,
Растила ваш талант, и с каждым годом
Любовь ее нежнее все была.

И как с годами крепнет, пламенея,
Сок благородный виноградных лоз, —
И в кубок ваш все жарче и светлее
Так вдохновение лилось.

И никогда таким вином, как ныне,
Ваш славный кубок венчан не бывал.
Давайте ж, князь, подымем в честь богини
Ваш полный, пенистый фиал!

Граф Владимир Соллогуб спел куплеты на свои стихи и музыку покойного Виельгорского — ту же музыку, которая звучала в 1838-м на юбилее Крылова. Говорил Николай Щербина, чиновник особых поручений при Вяземском в бытность его товарищем министра, известный своей пылкой любовью к античной Греции. Читал свои стихи гремевший когда-то Владимир Бенедиктов — напрочь растеряв былую популярность (во многом «благодаря» убийственной критике Белинского), он переживал в конце 50-х небольшой взлет... Пробился к юбиляру с поздравлениями Николай Иванович Греч — и сам Вяземский не удивился тому, что видит бывшего журнального врага без малейшего раздражения, напротив, с радостью даже... Уроженец Одессы, а теперь дрезденский журналист и поэт Вильгельм Вольфсон произнес по-немецки длинную речь и прочел перевод стихотворения Вяземского «Слезы» на немецкий язык. Граф

Владимир Орлов-Давыдов провозгласил тост за отсутствующего по казенной надобности сына юбиляра. Специально приехавший из Москвы Михаил Петрович Погодин завершил свою речь словами:

— Честь и слава писателю, который не увлекался временными стремлениями, шел прямо своею дорогой, служил искусству для искусства, не для денег и других корыстных целей, не для чинов и отличий... Честь и слава писателю, который сохранял всегда искреннюю, горячую любовь к русской словесности, принимал живое участие во всех ее судьбах, ободрял всегда молодые таланты, оказывал нуждавшимся помощь и покровительство... Да здравствует заслуженный академик, знаменитый писатель, благородный гражданин, да здравствует добрый человек — князь Петр Андреевич Вяземский!

Звучала музыка — Глинка, Даргомыжский, Верстовский... Зачитали приветственные телеграммы из Штутгарта, Мюнхена, Парижа, Москвы. Князю преподнесли адрес, под которым подписались пятьдесят две дамы — светские сливки Северной столицы. Не обошлось без курьеза: княгиня Надежда Трубецкая, племянница Веры Федоровны, надела на юбиляра лавровый венок с надписью «Вот он, вот он, Русский Бог»... Бесшумные слуги без устали открывали шампанское. Ломило глаза от свечей, хрусталя, золота...

Последний тост поднял принц Ольденбургский — неожиданно обратился к эстраде, где сидела в окружении дам княгиня Вера Федоровна, и произнес несколько теплых слов в ее адрес, напомнив, что совсем скоро, 18 октября, — золотая свадьба княжеской четы... Музыканты взмахнули смычками, гости зашумели, зааплодировали, с бокалами в руках дружно потянулись к старой княгине, а Вяземский, безумно уставший за два часа и от стихов, и от улыбок, и от неудобного белого галстука, вдруг почувствовал, что этот последний необычный тост всколыхнул внутри что-то давнее, дорогое... Здесь собрались его друзья, милые, седые, сановные осколки прошлого, — и на какой-то миг ему пожалелось горько, что их никогда уж не увидеть снова мальчишками, полными надежд на что-то великое. Он улыбнулся через весь зал жене и видел, как Вера Федоровна поймала его улыбку...

Этот помпезный вечер завершился интимно — чаепитием в небольшом кабинете. За столом сидели Вяземские, великая княгиня Елена Павловна и императорская чета. Юбилей вполне удался, и даже скептичный П. А. Валуев не мог не отметить в своем дневнике: «С удовольствием ценю в

князе Вяземском дарование привязывать к себе людей. У него действительно друзей и доброжелателей много».

...5 марта, через три дня после юбилея, в Петербурге и Москве был объявлен высочайший манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Событие, которое осчастливило бы Вяземского в 1820 году, теперь задело его только косвенно, по служебной линии: Сенат поручил князю отредактировать приветственный адрес, который должен был быть поднесен императору в память о манифесте. Общее собрание сенаторов решило не благодарить и не поздравлять государя, а верноподданнически отозваться на исторический документ. Это задело Александра II, и 10 марта он отклонил поднесенный ему адрес. Мотивация была такой: если адрес не благодарственный и не поздравительный, следовательно, сенаторы косвенно высказали свое неодобрение.

— Если не поздравили, это еще не значит, что послали к черту, — ворчал раздосадованный Вяземский...

Юбилей словно напомнил Вяземскому, что жизнь в самом деле прошла, что потерь в этой жизни было больше, чем приобретений. Да, были на празднике друзья, но куда больше было родственников ушедших друзей — сын Баратынского, брат Веневитинова, брат Батюшкова, брат Виельгорского... Статья Соллогуба, опубликованная в «Санкт-Петербургских ведомостях», тоже *подводила итоги*: «Значение князя Вяземского в нашей литературе — миротворящее и соединяющее. Он живое звено между прошедшим и настоящим. Он живой признанный образец молодому поколению редкого дарования, утонченного вкуса, подчас игривого, добродушного остроумия, подчас теплого вдохновения. Его перо задевало многих и никого не уязвило. Его стихи повторяются по целой России — и, кроме его самого, все их помнят наизусть. Напрасно он, в нелицемерном смирении, оспаривает свое литературное достоинство. Это достоинство уже перешло в народное наше достояние... Имя князя Вяземского представляет то редкое исключение, что оно не вызывает ничьей злобы, не возбуждает никаких сомнений».

Столичную прессу соллогубовский отчет о юбилее буквально взбеленил. «Животный век» русской литературы продемонстрировал во всей красе и готовность ниспровергать, и злобу, которые вызывало у него имя Вяземского.

Первыми среагировали «Отечественные записки»: «На все переходы направлений русской литературы, на все ее

треволнения он (Вяземский. — *В. Б.*) отзывался стихотворениями, написанными в часы досуга. Стихотворения эти ничего не решали, ни для кого не были поучительны и вообще были каким-то анахронизмом... Ни в одном журнале не принимал князь Вяземский такого участия, которое могло бы его низвести до степени сотрудника... К деятельности журнальной он оставался постоянно враждебен... Его поэтический талант превозносили дамы, которые, вероятно, никогда не говорили по-русски». Издатель журнала Андрей Краевский доверительно сообщил в частном письме Погодину: «Вяземский умный, благородный, весьма образованный человек, но для литературы ничего не сделал, и она уже забыла о нем и никогда не вспомнит».

Некрасовский «Современник» подхватил эстафету ругани: «Литературные заслуги князя Вяземского не имели большого значения. Во всяком случае, они не шли далее внешней оболочки мысли, что, впрочем, должно сказать и о большей части его современников».

Не преминул высказаться герценовский «Колокол» — 15 апреля в нем появилась издевательская заметка «Злоупотребление пятидесятилетий». В сатирической «Искре» зубоскал-стихотворец Василий Курочкин разразился пародией сразу и на Вяземского, и на Соллогуба — «Стансы на будущий юбилей 50-летней русско-французской водевильной и фельетонной деятельности Тараха Толерансова, самим юбиляром сочиненные»:

Без вдохновенного волненья,
Без жажды правды и добра,
Полвека я стихотворенья
На землю лил, как из ведра...

Доживавшая последние годы «Северная пчела», после смерти Булгарина издававшаяся П. И. Мельниковым, опубликовала большую статью о Вяземском, смысл которой сводился к одной фразе: «Золотой век был, конечно, не совсем плох, но...» Завершал публикацию язвительный подсчет: на юбилее Вяземского присутствовало всего 11 писателей и ни много ни мало 99 сановников — таким образом, получился юбилей не 50-летия литературной деятельности, а скорее 50-летия службы...

Конечно, Вяземского шум вокруг его имени не мог не задеть. Послание «Графу Соллогубу» получилось по-молодому задорным:

Со всех сторон сбежалась плеба
Литературных забияк

И отуманенного неба
На нас сошел зловещий мрак.

Но под дождем их всех ругательств
Не возмущаемо стоим:
Непромокаемых сиятельств
Им не пугнуть дождем своим.

Вот тут-то мы аристократы
И не сойдем с своей среды,
Хоть грозно будь на нас подъяты
Все перья площадной вражды.

Нам чужды вопль ватаг нахальных
И черни уличной орда;
Но чернь всех таборов журнальных
Еще нам более чужда.

Пускай бушуют злые дети
И пишут бешено они:
Не мог я дочитать и трети
Их бесконечной болтовни.

Не за себя мне стало стыдно,
Не за свою страдал я честь,
А за Россию, где, как видно,
Подобным вракам место есть.

Но, немного поостыв, Вяземский зачеркнул эти шесть строф. Окончательный вариант послания полон скорее грустной иронии, чем гордой аристократической насмешки над плебсом.

Первым в защиту князя выступил Михаил Погодин, резонно заметивший, что каждому любителю русской поэзии имя Вяземского близко и дорого. Погодина поддержали Евгения Салиас де Турнемир, Николай Павлов и Михаил Лонгинов. «Спасибо добрым людям, которые ратуют за меня, опального, — писал князь Погодину. — Спасибо и вам, Агамемнону или Дмитрию Донскому, сей великодушной рати... Стреляют не столько в меня, сколько в мое знамя, т.е. в наше знамя, освященное и прославленное нашими предшественниками, честными и чистыми литераторами».

Погодин взялся за защиту Вяземского столь ревностно, что 7 мая 1861 года организовал особое заседание Общества любителей русской словесности при Московском университете (Вяземский состоял в этом обществе еще с 1816-го). На нем историк Михаил Лонгинов прочел свою статью о Вяземском «Из современных записок», опубликованную в «Русском вестнике». «Было выслушано с большим сочувствием, — писал Погодин князю, — а стихи ваши... все были

покрыты рукоплесканиями: *Первый снег, Волга, Палестина* и *Послание к Северину*. В последнем я боялся, чтобы упоминовение о Белинском не вызвало знаков неудовольствия от молодежи-студентов, которых было в заседании до 50, но нет; послание все сполна было принято отлично... Я очень рад. Что ни говори, а в Москве все-таки любят словесность чище, чем в Петербурге». 21 июня «Московские ведомости» напечатали еще одну статью Лонгинова в защиту юбиляра — «О заслугах кн. П. А. Вяземского как академика и поэта».

Михаилу Николаевичу Лонгинову суждено было сыграть в судьбе Вяземского чрезвычайно важную роль. Именно благодаря его настойчивым просьбам увидела свет первая поэтическая книга князя. До этого он мог похвастать только переводом «Адольфа», изданным в 1848 году «Фон-Визиным», брюссельским и лозаннским изданиями «Писем русского ветерана» да десятком брошюр, самая объемная из которых («За границею») включала в себя 12 стихотворений. Случай поистине уникальный: крупный поэт, чей юбилей отмечался Академией наук, живой классик не выпустил ни одной книги своих стихотворений, в то время как многие его современники, куда менее значимые по таланту, при жизни издавали многотомные собрания сочинений! Отчасти в этом были виноваты обстоятельства (планы сборников 1818—1819, 1822 и 1828 годов сорвались), отчасти — сознательное противодействие самого поэта, который упорно именовал себя «всегда, везде и во всем дилетантом», чье творчество не заслуживает упорядочения. «В старое время, то есть когда я был молод, было мне просто не до того, — объяснял князь. — Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. Типография была тут в стороне, была ни при чем. Вообще я себя расточал, а оглядываться и собирать себя не думал».

В составлении сборника Лонгинову взялись помогать известные библиографы С. Д. Полторацкий и Г. Н. Геннади. Книга представляла поэзию князя 20—50-х годов довольно полно и верно: вольно или невольно составители не утаили от читателя ни ярких удач, ни провалов творчества Вяземского. Правда, полностью отсутствовали политические филиппики, создавшие Вяземскому славу в варшавские его годы, — «Негодование», «К кораблю», «Петербург» и др. Но, во-первых, эти стихи все равно не пропустила бы цензура, как нрав ее ни смягчился под влиянием политики Вяземского, а во-вторых, автор явно не хотел заглядывать в чересчур уж дальнее и горячее прошлое. В книгу вошло 289 стихотворений (из них 116 печатались впервые). Сборник состоит из

двух частей — «В дороге» и «Дома». В первую часть включены разделы «Россия», «Восток», «Германия», «Швейцария», «Италия», «Франция и Англия». Вторая часть содержит «Разные стихотворения» и «Заметки».

Открывает книгу стихотворение 1826 года «Коляска», которое задает тон всему сборнику, — поэтические «фотографии», сделанные по любимому рецепту Вяземского, в дороге. Это и «Станция», и «Нарвский водопад», и «Ухаб», и даже совсем уж древний «Вечер на Волге». «Западные» разделы сборника гораздо слабее — это многословная и большей частью холодная лирика 50-х годов. Даже названия стихотворений выглядят однообразно-уныло: «Киссинген», «Карлсбад», «Берлин», «Ницца», «Рейн», «Дрезден», «Фрейберг» и т. д. Любой ценитель русской поэзии, если он хочет быть честным перед собой, должен признать, что в позднем Вяземском чрезвычайно много «соединения слов посредством ритма» (если воспользоваться названием книги Константина Вагинова). Семьдесят процентов его поздних произведений можно назвать плодом стихотворчества — но не поэзии...

В разделе «Разные стихотворения» были впервые собраны Вяземским его религиозные стихи 40—50-х годов: ими открывается раздел, что говорит о важности для поэта этой темы. В целом же здесь представлены лучшие стихотворения князя, такие, как «Молитва», «На церковное строение», «Утешение», «Друзьям», «Смерть», «Остафьево», «Лес горит», «Вечер», «Черные очи» и др. Сюда вошли и совсем новые, написанные в 1861—1862 годах стихи.

Вяземский дал сборнику название «В дороге и дома» («оно неизысканно и верно»). Он успел проработать состав книги, дважды ездил в Москву для консультаций с издателем, кое-какие стихи собирался даже переделывать, но в декабре 1861 года, в самый разгар подготовки издания, у него начался сильнейший приступ нервного расстройства, очень похожий на тот, что был десять лет назад... Спешно передав все права на издание книги Лонгинову, 26 декабря князь бежал из Царского Села в спасительный Карлсбад, раздраженный и злой на самого себя... 15 мая 1862 года сборник был одобрен цензурой. В печать он был направлен уже без участия автора и никакой реакции не вызвал — если не считать реакцией очередной приступ граничащего с хамством зубоскальства «демократической» сатиры в лице Дмитрия Минаева и Василия Курочкина. Вяземского это, конечно, не огорчило — он писал стихи не ради удовольствия «почтеннейшей публики», тем более не для кухаркиных детей, и «В

дороге и дома» отнюдь не был попыткой выйти к широкому читателю. Книга разбрелась по библиотекам ровесников Вяземского, его старых друзей и немногочисленных верных поклонников.

Кстати, такая реакция на сборник Вяземского была характерной для литературной России той эпохи. «Время стихов» миновало уже в начале 20-х, и с тех пор сенсацию своим творчеством удалось произвести всего лишь трем поэтам — Бенедиктову, Лермонтову и Некрасову. Конечно, читали и Кольцова, и Майкова, и Фета, и Полонского, и Никитина, и Щербину, но их репутация в литературе была все же несравнима с репутациями ведущих прозаиков — Тургенева, Толстого, Достоевского, Писемского, Гончарова. Поэзия до такой степени отошла на периферию русской литературной жизни, что мимо внимания критики и читателей стали проходить подлинные шедевры, которые в прежние времена непременно сделались бы бестселлерами. Так, гениальная книга Баратынского «Сумерки» (1842) вызвала только недоумение и насмешки критики. Не были замечены ни первый сборник Льва Мея (1857), ни одна из лучших книг Аполлона Майкова «Новые стихотворения» (1864). А второй сборник Тютчева (1868) оставался нераспроданным даже спустя десять лет после издания. Эпоха требовала прозы, публицистики и гневных некрасовских интонаций. На этом фоне александрийский стих «фотографий» Вяземского и его ностальгические воспоминания о гениях Золотого века выглядели в лучшем случае неактуальной архаикой, а в худшем — брюзжанием вышедшего в тираж старика...

Сам автор увидел свой труд только через три года, в Ницце. Вяземский бегло и равнодушно перелистывал «В дороге и дома», вряд ли подозревая, что держит в руках самый странный дебютный сборник за всю историю русской поэзии: ни у кого из крупных литературных величин первая (она же единственная прижизненная) книга не выходила в год семидесятилетия автора...

Глава X

«ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫ БЫТИЯ...»

«Как это так делается, — спрашивали NN., — что ты постоянно жалуешься на здоровье свое, вечно скучаешь и говоришь, что ничего от жизни не ждешь, а вместе с тем умирать не хочешь и как будто смерти боишься?» — «Я никогда, — отвечал он, — и ни в каком случае не любил переезжать» (Je n'ai jamais aimé à déménager).

Вяземский, 1850-е

...Мы часто жалуемся на судьбу, не замечая, что во многом мы сами своя судьба.

Вяземский, 1858

12 июля 1861 года Вяземскому исполнилось шестьдесят девять. Эта некруглая дата была отпразднована вполне торжественно — в Петергофе собралось едва ли не больше народу, чем на юбилей в Академии, а Тютчев поздравил друга новым стихотворением:

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тесный круг друзей —
Сама великая природа
Ваш торжествует юбилей...

За одним праздничным столом с именинником собрались самые близкие. Княгиня Вера Федоровна. Павлуша Вяземский, давно уже ставший Павлом Петровичем, располневшим и седеющим попечителем Казанского учебного округа, с недавних пор владелец Остафьева. Все в нем было крупно, необычно, резко, не как у других, — громкий добродушный смех, размашистые движения, особенные толстые папиросы, которыми Павел беспрестанно дымил, монокль... И почти ничего отцовского, за вычетом внешности, — скорее энергия и обаяние матери, Веры Федоровны, присутствовали в Павле, — но было то, что князь Петр Андреевич ценил в людях больше всего: оригинальность, самостоятельность мыслей, нежелание быть как все. Сын вырос подлинным дворянином, настоящим русским барином, каких с годами становилось все меньше. И старый князь всегда был рад слышать зычный голос Павла, с удовольствием доверялся его сильным рукам, когда Павел отстранял слугу и с нежностью сам поддержи-

вал отца под локоть, помогая взобраться в карету или взойти на лестницу.

Супруга Павла, княгиня Мария Аркадьевна. Дети, 8-летний Петруша, 11-летняя Ара (Александра) и 13-летняя Катенька. Петр Александрович Валуев, когда-то модный светский лев, муж Машеньки Вяземской, ныне управляющий Министерством внутренних дел России, сдержанный, с утомленным длинным лицом, опушенным модными бакенбардами. Его дети, Петр, Александр и Лиза, в замужестве княгиня Голицына, фрейлина, тоже были на празднике. Вяземский про себя дивился тому, с какой скоростью Валуев сделал себе карьеру в новом царствовании — из курляндских губернаторов в директоры департамента, а там и в министры. Впрочем, немало поспособствовала тому записка Валуева о состоянии дел в России, которую Вяземский подал великому князю Константину Николаевичу... Валуев — умный, образованный человек, дай Бог ему удачи на сложном поприще...

Вполуха слушая тосты, едва прикасаясь губами к рюмке с вином, Вяземский думал о дне рождения. У него были странные взаимоотношения с собственным возрастом: в юности он был убежден, что умрет рано, хотя бы потому, что не мог похвастать крепким здоровьем. Со временем уверенность слабела, после сорока пяти князь не раз, и в стихах, и в прозе, задавал смерти риторический вопрос «когда уже?» — но годы шли, уходили из жизни дети и друзья, сначала старшие, потом ровесники и, наконец, младшие, а для него как будто и ничего не менялось. В конце концов он почти привык ощущать себя стариком. Правда, привыкнуть к собственной старости не означало смириться с болезнями, нелегкой походкой, одышкой и перебоями в сердце, с изматывающей бессонницей. Стихи запечатлевали ужас, охватывавший его в ночные часы:

В тоске бессонницы, средь тишины ночной,
Как раздражителен часов докучный бой.
Как молотом кузнец стучит по наковальной,
Так каждый их удар, тяжелый и печальный,
По сердцу моему однообразно бьет.
И с каждым боем все тоска моя растет.
Часы, «глагол времен, металла звон» надгробный,
Чего вы от меня с настойчивостью злобной
Хотите? Дайте мне забыться. Я устал.
Кукушки вдоволь я намеков насчитал...

Одно из наиболее известных стихотворений Пушкина называется «Стихи, написанные ночью во время бессонницы»: «Мне не спится, нет огня; / Всюду мрак и сон докуч-

ный...» Для тридцатилетнего Пушкина бессонница — лишь краткий эпизод; Вяземский, испытав все «прелести» бессонниц еще нервным для него летом 1821 года, в старости буквально впадал от них в неистовство. Бессонница — одна из сквозных тем его поздней поэзии.

Совсем я выбился из мочи!
Бессонница томит меня,
И дни мои чернее ночи,
И ночь моя белее дня.

Днем жизни шум надоедает,
А в одиночестве ночей
Во мне досаду возбуждает
Сон и природы, и людей.

Ночь вызывает злые мысли,
Чувств одичалость, горечь дум;
Не перечислишь, как ни числи,
Все, что взбредет в мятежный ум.

1863

Весь мутный ил, которым дни
Заволокли родник душевный,
Из благ — обломки их одни,
Разбитые волною гневной, —

Всплывает все со дна души
В тоске бессонницы печальной,
Когда в таинственной тиши,
Как будто отзыв погребальный,

Несется с башни бой часов;
И мне в тревогу и смущенье
Шум собственных моих шагов
И сердца каждое биенье.

Ум весь в огне; без сна горят
Неосвежаемые очи,
Злость и тоска меня томят...
И вопию: «Зачем вы, ночи?»

1863

Редко когда удавалось вырвать у Морфея несколько часов забвения «напрокат», как говорил Вяземский, — с помощью хлоральгидрата. Ненавистный ночной мир, населенный мирно спящими людьми, проваливался в желанную тьму, а ввечеру следующего дня все начиналось снова — вялое, апатичное состояние, оставшееся после снотворного, страх при одной мысли, что все повторится, попытки заснуть, бессонное ворочанье на подушке, куренье до одури, раздражаю-

щий бой каминных часов и башенного колокола, словно отсчитывающий последние секунды, и непередаваемая, яростная ненависть к себе и ко всему вокруг, не усмиряемая ни молитвой, ничем иным...

Особенно тяжелым выдался 1862 год: он словно выпал из жизни Вяземского. «Печальные известия из-за границы о князе Вяземском, — 18 апреля записал Валуев в дневнике. — Он в Бонне в прямом умопомешательстве». Протоиерей Иоанн Базаров, навещавший Вяземского в эти дни, был поражен тем, что князь, в частности, болезненно-преувеличенно ревновал жену ко всем мужчинам... Это «прямое умопомешательство», дикая ночная ненависть, охватывавшая его, тоже прорывались в стихах: «Все в скорбь мне и во вред. Все в общем заговоре / Мне силится вредить и нанести мне горе...» Тогда он называл себя Агасфером, гонимым тоской из края в край, и признавался в том, что не испытывает уже никаких добрых чувств к ближнему:

Не знаю, что б могло утешить и развлечь
Тоскующей души томительную праздность.
Чужда мне ближнего приветливая речь,
Не радует меня весны благообразность.

Ленивый сон души не могут пробудить
Высокого ума сказанья и уроки.
Не в силах чувств моих увядших освежить
Когда-то милой мне поэзии потоки.

К прекрасному душой усталой охладев,
Не упиваюсь я их звучными волнами;
Не увлекает вдаль их родственный напев,
И на мечты певца не отзовусь мечтами.

Не чую струй живых в душевной глубине:
Оледенили их болезнь, тоска и годы.
Как буква мертвая — и книга жизни мне,
И книга чудная таинственной природы.

Я пережил себя: развалин ряд за мной.
Во мне страдать одна способность уцелела:
И полумертвый жду, чтоб хладною рукой
Смерть разрушительный свой труд запечатлела.

Иногда болезнь на время отступала, затаивалась. Уже 25 апреля 1862 года Павел Петрович Вяземский телеграфировал жене: «Отцу лучше»*. Но мнительному князю все казалось, что болезнь здесь, рядом, и вот-вот... «Меня и случайная бессонница пугает, как начало и возобновление прежних

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 4108 а. Л. 186.

бессонниц, — писал он. — Тогда минувшие мои страдальческие ночи и ночи будущие колоссально восстают и каменеют передо мною, и кажется мне, не пробью никогда этой ужасной громады». В такие дни он изо всех сил старался не думать ни о чем, жить «прозябательной», «животной» жизнью. Вялые, прожитые без чувств и мыслей однообразные дни давали иллюзию покоя, уюта, хоть какого-то постоянства. Об этом — стихотворение «К лагунам, как frutti di mare...» и маленький шедевр «Мне нужны воздух вольный и широкий...»:

Мне нужны воздух вольный и широкий,
Здесь рощи тень, там небосклон далекий,
Раскинувший лазурную парчу,
Луга и жатва, холм, овраг глубокий
С тропинкою к студеному ключу,
И тишина, и сладость неги праздной,
И день за днем всегда однообразный:
Я жить устал — я прозябать хочу.

Случались, конечно, и радостные для близких дни, когда старый князь чувствовал себя почти бодрым и почти здоровым. Тогда он был прежним, немного старомодным светским львом, блиставшим остроумием в беседах с дамами, с удовольствием слушавшим итальянскую оперу... «Старик князь Вяземский был очаровательный человек, — вспоминал его внучатый племянник князь В. П. Мещерский. — В это время, состоя при императрице, он тихо и сладко отдалился от тогдашней бурной политической жизни, и, любя свою царицу обожанием поэта, он не вносил в свой новый храм ни расчетов честолюбия, ни горьких примесей души умного старика, судящего глупые увлечения молодости того времени... Эта ясная погода в духовном мире князя Вяземского была одною из его прелестей». В минуты такой «ясной погоды» написано множество венецианских стихов 1863—1864 годов, на редкость удачная и живая вариация на старую «дорожную» тему «Дорогою», задумчивое и умиротворенное, но не печальное «Кладбище», насквозь ироничный «Байрон»... Но даже в этих, относительно мажорных по тону вещах состояние Вяземского время от времени давало о себе знать набегающей тенью — то мрачной метафорой, то мимолетной жалобой на возраст и одиночество. Так, в изящном мадригале «Корнелии Мейербер» неожиданно возникает кладбищенский мотив — роза, цветущая на могиле, соловей, поющий на погосте. Два года спустя Вяземский разовьет эту тему стихотворением «Нигде так роза не алеет...».

Одиночество... Не случайно на его академическом юбилее присутствовали в основном люди, годившиеся князю в

сыновья. «Допожарное» поколение, рожденное в 1790-х годах, вымирало; арзамасцы, юные герои Бородина и обожатели элегий Жуковского, уходили из жизни один за другим. Редело пушкинское поколение. Да и относительная молодежь, любомудры, славянофилы и западники уже понесли потери... Из близких знакомых Вяземского в 50-х годах скончались Жуковский, Гоголь, Шаликов, Батюшков, Мицкевич, Уваров, Виельгорский, Чаадаев, Иван Киреевский, Софья Карамзина, Вигель, Сергей и Константин Аксаковы, Жихарев, Хомяков. В следующем десятилетии каждый год наносил удар по когда-то тесному кругу современников: в 1863-м умерли Александр Булгаков, брат Веры Федоровны князь Федор Гагарин, Долли Фикельмон, Наталья Пушкина, в 1864-м — Блудов и Шевырев, в 1865-м — князь Борис Святополк-Четвертинский, Северин и Плетнев, в 1866-м — Юрий Бартенев, в 1867-м — Греч и Екатерина Мещерская, в 1868-м — граф Алексей Бобринский, в 1869-м — Норов и Одоевский, в 1870-м — Дмитрий Бибиков... «Есть еще у меня кое-кто, с кем могу перекликаться воспоминаниями последних двух десятилетий, — писал Вяземский после смерти Плетнева. — Но выше эти предания пресекаются. Они теряются в сумраке преданий времен доисторических. Говоря о том, что тогда занимало меня и нас тревожило или радовало, что и кого любил я, чем и кем жила жизнь моя, уже некому при случае сказать: «А помните ли?» и прочее. Этот пробел, эта несбыточность, несвоевременность подобного вопроса грустны, невыразимо грустны. На подобный вопрос, как он ни казался бы прост, ответа нет... Никто не помнит того, что я помню, что мне так памятно, что так еще присущно, живо и свежо старой памяти моей, пережившей, так сказать, целые века, целый мир лиц и былей... Теперь помню один. Теперь я один с глазу на глаз с памятью моею».

Отсутствие собеседников, с которыми его объединяли бы общие воспоминания, — такова была главная причина того, что с годами князь все больше замыкался в себе. «Перекликаться воспоминаниями последних двух десятилетий» ему оставалось разве что с Федором Ивановичем Тютчевым. «Тютчев не принадлежит к первоначальной нашей старине, — писал Вяземский. — Он позднее к ней примкнул. Но он чувством угадал ее и во многих отношениях усвоил себе ее предания». Федору Ивановичу были, пожалуй, больше всех рады на дне рождения Вяземского, а его стихотворение вызвало бурю аплодисментов...

В точности неизвестно, когда именно познакомились Вяземский и Тютчев. Возможно (хотя и маловероятно), они ви-

делись еще в Москве осенью 1825 года. Вместе провели неделю в Мюнхене в октябре 1834-го. Частое личное общение между ними началось в июне 1837-го в Петербурге, а в 1844-м Вяземский стал в некотором роде «крестным отцом» Тютчева — именно он ввел полуопального тогда дипломата в петербургский свет, всячески его опекал и добился того, что Тютчев быстро сделался «львом сезона». В дальнейшем поэты всегда были рады друг другу и с удовольствием виделись — как в России, так и во время заграничных странствий.

Заочная литературная встреча Вяземского и Тютчева состоялась гораздо раньше — еще в ноябре 1825 года, на страницах московского альманаха «Урания». Тогда Вяземский был уже живым классиком с высочайшей репутацией, Тютчев — автором двух десятков стихотворений. В дальнейшем Тютчев публиковался в альманахе «Галатея», к которому Вяземский относился иронически; тем не менее стихи молодого поэта обращали на себя его внимание. «Тютчев, Ознобишин, от времени до времени появляющиеся в «Галатее», могут почесться минутными Пигмалионами, которые покушаются вдохнуть искру жизни в мертвый обломок», — писал князь в 1830 году в статье «О московских журналах»... Но все же по-настоящему Вяземский открыл для себя поэзию Тютчева только шесть лет спустя, когда князь И. С. Гагарин привез ему из Мюнхена свежие тютчевские рукописи.

До нас не дошли прямые свидетельства того, что молодой Тютчев был знаком с творчеством Вяземского. Но косвенно об этом говорит текст незаконченного наброска тютчевской эпиграммы на М. Т. Каченовского, который датируется 1819—1821 годами:

Харон
Неужто, брат, из царства ты живых —
Но ты так сух и тощ. Ей-ей, готов божиться,
Что дух нечистый твой давно в аду томится!

Каченовский
Так, друг Харон. Я сух и тощ от книг...
Притом (что далее таиться?)
Я полон желчи был — отмстителен и зол,
Всю жизнь свою я пробыл спичкой...

Этот набросок явно создан под впечатлением от известной эпиграммы Вяземского на того же Каченовского (1818 год):

Наш журналист и сух и тощ как спичка,
Когда б ума его весь выжать сок,
То выйдет в ряд учености страничка
Да мыслей пять или шесть строк.

Вяземский написал свою эпиграмму, будучи в ярости от критики, которую позволил себе Каченовский в отношении «Истории государства Российского». Нет сомнения, что 16-летний Тютчев, учившийся на словесном отделении Московского университета, тоже зачитывался «Историей» и был возмущен некомпетентной, как ему казалось, критикой Каченовского. Однокашник Тютчева Михаил Погодин вспоминал, что на лекциях Каченовского, читавшего археологию и теорию изящных искусств, Тютчев строчил эпиграммы на лектора. Одной из таких эпиграмм, вероятно, и была вариация на тему, «заданную» Вяземским...

Как уже было сказано, впервые в полном смысле этого слова Вяземский познакомился с творчеством Тютчева в 1836 году, одновременно с Жуковским и Пушкиным. Начиная с 40-х годов Тютчев-поэт оказывал на Вяземского определенное влияние, основные аспекты которого были изучены Д. Д. Благим (статья «Тютчев и Вяземский», 1933). Кстати, первым подметил сходство между Тютчевым и Вяземским еще Некрасов, написавший в 1849 году статью «Русские второстепенные поэты». Действительно, в поздней лирике Вяземского без труда можно заметить перекличку некоторых мотивов, тем и образов с тютчевскими; в творчестве двух поэтов появились прямые отзвуки произведений друг друга, взаимные посвящения (например, «О, этот Юг! о, эта Ницца!..» Тютчева и «Федору Ивановичу Тютчеву» Вяземского, «Осенний вечер» Тютчева и «Осень» Вяземского, «Как хорошо ты, о море ночное...» Тютчева и «Море широкое, море пространное...», «Опять я слышу этот шум...» Вяземского). Уже в 1851 году отношения двух поэтов были таковы, что Вяземский позволил себе собственноручно выправить строфу в стихотворении Тютчева «Смотри, как на речном просторе...» (и именно в таком виде оно было опубликовано). Выше уже упоминалось о том, что в 1886 году в книгу Тютчева по ошибке попала «Ночь в Венеции» Вяземского, причем составитель сборника Аполлон Майков пребывал в полной уверенности, что печатает неизвестного Тютчева...

Но, несмотря на все эти факты, вряд ли стоит преувеличивать влияние Тютчева на позднего Вяземского и уж тем более зачислять князя в «тютчевскую плеяду», утверждая, что Вяземский вышел на принципиально иной уровень творчества именно благодаря Тютчеву.

Да, в 50—70-х годах поэзия Вяземского не стояла на месте, непрерывно обогащаясь новыми темами и формами. Но легко заметить, что все эти новации заимствовались Вязем-

ским не «на стороне», а у самого себя, в своем собственном «поэтическом хозяйстве».

Так, может показаться новаторским использование поздним Вяземским жанра стихотворного памфлета (многочисленные «Заметки»). Но подобные фельетоны и куплеты он сочинял еще в конце 10-х, а впоследствии высоко ценил Беранже, мода на которого в России возросла с появлением в 1858 году классических переводов Курочкина. Белый стих позднего Вяземского восходит к «Тропинке» 1848 года, к Пушкину и Жуковскому; жанр «фотографий», в сущности, представляет собой слегка модернизированную пейзажную элегию; «поминки» восходят к стихотворениям «Старому гусару» и «Памяти живописца Орловского»; простонародные «русские песни» наподобие «Масленицы на чужой стороне» — к Дмитриеву и Нелединскому-Мелецкому, к собственной «Дружеской беседе» 1830 года... То же можно сказать и о тематике позднего Вяземского: новые темы были, как правило, вариациями прежних находок. Так, тема «загадочной сказки» — Судьбы и невозможности с ней бороться — восходила к «Унынию» (1819) и «Родительскому дому» (1831); тема хандры — к одноименному стихотворению 1830 года; тема загадочного языка природы — вовсе не к Тютчеву, как может показаться, а к собственным «Лесам» (1830), к Батюшкову и Жуковскому; тема моря — к «Морю» (1826), Пушкину, Жуковскому и Байрону; тема зимы — к «Первому снегу» (1819); тема осени — к «Осени 1830 года» (1830) и Карамзину; тема воспоминания — к элегии «К воспоминанию» (1818); тема смерти — к «Жизни и смерти» (1833) и «Сюда» (1842); дорожная тема — к многочисленным «дорожным песням», первой из которых был «Ухаб» (1818). Продолжал он писать и дружеские послания, потерявшие, правда, присущую им некогда легкость, и альбомные мадригалы дамам, и официальные стихи к датам и праздникам. Любимые образы позднего Вяземского — книга жизни с перепутанными листами и солдат, случайно уцелевший в битве, — мелькали в его записных книжках и письмах задолго до 60-х. И смелые неологизмы, которыми Вяземский насыщал свои поздние стихотворения, тоже были присущи ему всегда...

Соблазнительно было бы предположить, что почти буквальное совпадение мотивов в предсмертной лирике Тютчева и Вяземского — осознанный творческий прием. Такие стихотворения, как «Бессонница (ночной момент)», «Все отнял у меня казнящий Бог...», «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» Тютчева и «Все сверстники мои давно уж на покое...», «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...»,

«Эпитафия себе заживо» Вяземского действительно кажутся созданными одним и тем же автором. Но дело здесь, конечно, не в заимствовании темы, а в совпадении жизненных обстоятельств двух поэтов, психологическая реакция которых на болезнь оказалась одинаковой.

Таким образом, реформа поэтической системы Вяземского протекала достаточно плавно и «бескровно», без резких сломов, и вовсе не благодаря «учебе» у Тютчева, а за счет поистине безграничных резервов собственного творчества. Влияние, которое на Вяземского оказывали молодые поэты 60-х, даже, казалось бы, близкие ему по духу апологеты «чистого искусства» — Майков, Полонский, Фет, — было минимальным. А вот говорить о творческом переосмыслении Вяземским традиций классической русской поэзии 10—30-х годов — Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского, — о его попытках приспособить их под требования новой эпохи вполне можно. Например, жанр «постскриптума», широко распространенный у позднего Вяземского, впервые был применен Жуковским в элегии «На кончину Ее Величества, королевы Виртембергской» (1819).

Что же до Тютчева, то он, конечно, не воспринимался Вяземским в ряду учителей, перед которыми князь преклонялся, но не подпадал и под категорию «молодых»; скорее всего, Вяземский воспринимал его как связующее звено между пушкинским веком русской поэзии и современностью. Кроме того, ему была близка позиция Тютчева, не желавшего становиться профессиональным литератором и выпустившего первую книгу (да и то по настоянию окружающих) только в 1854 году.

Так что уроки Тютчева (вряд ли осознаваемые Вяземским) могли заключаться разве что в появлении у позднего Вяземского относительно компактных стиховых форм — например, небольших философских или лирических стихотворений объемом в две-три строфы («Вечерняя звезда (14 января в Веве)», «Горы под снегом», «Чертог Твой вижу, Спасе мой...», «Золотая посредственность», «Иному жизнь — одна игрушка...», «Вкушая бодрую прохладу...», «Кто на людей глядит сквозь смех лукавый...», «Лишь сели мы в вагон, лишь тронулась громада...») да рифмованных отзывов на политическую «злобу дня». Впрочем, для Тютчева политика была профессией и призванием, его «политические» стихи обычно пафосны и взволнованны, как проповедь пророка. Князь же в старости предпочитал отстраненно-иронический комментарий, часто одинаково больно бьющий по обеим противоборствующим сторонам. Таковы его отзывы на

Франко-австрийскую войну 1859 года, Славянский съезд 1867 года, Русско-турецкую войну 1877—1878 годов.

Вне всякого сомнения, на первом месте как для Вяземского, так и для Тютчева был не их творческий диалог, а личное общение. Общих тем хватало с лихвой — оба друга были поэтами, служили в цензуре, часто бывали при дворе, интересовались политикой. В какой-то мере Тютчев заменял старому Вяземскому Пушкина — никто из его знакомых не был столь многогранной личностью... Князь В. П. Мещерский, знавший обоих поэтов, оставил следующие воспоминания об их диалоге: «Самым оригинальным и прелестным зрелищем в то время (1864—1865 годы. — *В. Б.*) были беседы и общение князя Вяземского с его другом Тютчевым... Тютчев, с своими седыми волосами, развевавшимися по ветру, казался старше князя Вяземского, но был моложе его; но, находясь перед князем Вяземским, он казался юношей по темпераменту... Бывало, Тютчев придет к горячо им любимому князю Вяземскому отвести душу, и сразу рисуется прелестная картина: безмятежного, с умным лицом, где добрая улыбка попеременно сменяется ироническою усмешкою, старика князя Вяземского и пылающего своим вдохновением или своею главною заботою минуты старика Тютчева. Тютчев усаживается, как всегда, уходя в кресло, князь Вяземский сидит прямо в своем кресле, покуривая трубку, и Тютчев начинает волноваться и громить своим протяжным и в то же время отчеканивающим каждое слово языком в области внешней или внутренней политики. А князь Вяземский только с перерывами издает звуки вроде: гм... — пускает из трубки дым, такой же спокойный, как и он, и когда Тютчев окончит свою тираду, вставляет в промежуток между другою тирадою какое-нибудь спокойное или остроумное размышление, и как часто с единственною заботою оправдать или извинить, — после чего Тютчев, как бы ужаленный этим спокойствием, уносится еще дальше и еще сильнее в область своих страстных рассуждений. Изумительно кроткая терпимость была отличительною чертою князя Вяземского. Нетерпимость была отличительною чертою его друга Тютчева. Я говорил, что слышал Тютчева в гостиной говорившего одному либеральному оратору в лицо: mais vous dites des sottises*... Князь Вяземский, наоборот, с тою же прекрасною, доброю и умною улыбкою слушал из уважения к человеку, из уважения к чужому мнению, из гостеприимности, из-за доброго сердца —

---

* Но вы говорите глупости (*фр.*).

и глупости дурака, и подленькие речи куртизана, и умные речи друга».

Впрочем, «изумительно кроткая терпимость» иногда изменяла Вяземскому. О споре князя с Тютчевым 27 декабря 1868 года вспоминает граф С. Д. Шереметев: «Кончилось чтение — и гости начали уже расходиться, а в углу гостиной завязался горячий спор, о чем — припомнить не могу. Спорил Петр Андреевич с Тютчевым, спор доходил почти до крика. Князь вскакивал и ходил по комнате, горячо возражая своему противнику. Не так ли, — думал я, — в былые годы спорил он со своими приятелями: с Пушкиным и другими».

Нужно добавить, что Тютчев, высоко ценя ум, образованность и поэтический дар старшего друга, все же бывал довольно жесток к нему. Об этом свидетельствует тютчевское стихотворение 1866 года:

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

Характеристика жестокая. И уж тем более непонятна жестокость Тютчева, если под позорной старческой любовью он имел в виду увлечение Вяземского Марией Ламсдорф (о ком речь еще впереди) — особенно памятуя об отношениях самого 63-летнего Тютчева с Еленой Денисьевой... А ведь повод для такого резкого поэтического отзыва о князе был, если вдуматься, совершенно незначительный: Тютчеву всего-навсего не понравилось, что Вяземский высмеял в стихо-

творных памфлетах «Воспоминания из Буало» и «Хлестаков» редактора газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник» М. Н. Каткова. На Каткова Тютчев возлагал в то время определенные политические надежды — и этого оказалось вполне достаточно, чтобы расправиться с Вяземским в стихах... Тютчев собирался печатать это стихотворение под заглавием «Еще князю П. А. Вяземскому» (то есть бестрепетно шел на разрыв отношений), но сам Катков отказался разместить его в «Русском вестнике», справедливо расценив как чересчур резкое. Не смутившись отказом, Тютчев планировал издать «Когда дряхлеющие силы...» в своем сборнике 1868 года — и лишь незадолго до выхода книги, опомнившись, исключил его из состава...

Удивляет и отзыв Тютчева о статье Вяземского «Воспоминание о 1812 годе», написанной в связи с выходом из печати «Войны и мира». «Это довольно любопытно с точки зрения воспоминаний и личных впечатлений, — писал Тютчев дочери, прослушав чтение статьи дома у князя (то самое, после которого они поспорили), — и весьма неудовлетворительно со стороны литературной и философской оценки. Но натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец».

Если верить Тютчеву, складывается впечатление, что в своей статье Вяземский бездоказательно громит Толстого только за то, что автор «Войны и мира» относится к «новым поколениям». Что ж, если в молодости Вяземский и впрямь был «колючей натурой», то с годами в нем стало гораздо больше противоположных качеств — терпимости, уважения к чужому мнению, желания спокойно и обстоятельно разобраться в проблеме. Именно в таком тоне выдержано «Воспоминание о 1812 годе». Вяземский не согласен с исторической позицией Толстого и обосновывает свое мнение, глядя на события «изнутри», глазами очевидца. Для него 1812 год — это не история, как для Толстого, и не смутные воспоминания детства, как для Тютчева, а один из самых величественных, даже героических моментов жизни... Так что, перечитав письмо Тютчева, вполне можно заподозрить в излишней «колючести» самого Федора Ивановича.

Хотя старость, одинаково серебрившая головы обоих поэтов, сглаживала разницу в возрасте, но все же 11 лет, разделившие Вяземского и Тютчева, так или иначе давали себя знать. Не раз полный душевный и духовный контакт сменялся не менее полным взаимным непониманием. Вряд ли

князь был способен понять и одобрить равнодушие Тютчева к православию, его жадный интерес к сиюминутным политическим проблемам, назавтра уже вытеснявшимся другими, его общение с молодыми писателями, в том числе Иваном Тургеневым, Некрасовым и Достоевским, наконец, его предельную, пронзительную искренность в интимной лирике. Полной откровенности между ними не было и не могло быть. Не было, по всей видимости, и душевного тепла, привязанности друг к другу — их заменяло интеллектуальное притяжение.

Еще в 1847 году Вяземский подметил в Тютчеве одну насторожившую его черту: «Пример его вовсе не возбудительный. Он еще более моего пребывает в бездействии и любуется, и красуется в своей пассивной и отрицательной силе». А подоплеку этого «пассивного и отрицательного» обаяния Тютчева очень точно проглянул граф С. Д. Шереметев: «Когда нам выставляют его (Тютчева. — *В. Б.*) за образец чисто русского человека, а кн. П. А. Вяземского почитают нечистокровным, то меня это не убеждает... У кн. Вяземского из-под французской насыпи бил русский ключ; у Тютчева же из-под русской насыпи бил ключ французский и немецкий... Чувствуется, что под Тютчевым нет почвы... И те, которые могут предпочесть его ум и его сердце князю Вяземскому, те или сами только поверхностны, или же завзятые поклонники направления Тютчева, т.е. славянофильского бреда».

И все же на фоне отношений Вяземского с другими окружавшими его в старости людьми слово *дружба*, пусть с оговорками, применимо только к Тютчеву. И прекрасный, хотя и мало известный ныне поэт начала XX века Юрий Верховский имел право объединить имена своих учителей в одной строке:

О, ясный Вяземский, о, Тютчев тайнодумный...

Князь пережил младшего друга на пять лет. После его смерти в 1873 году он писал П. И. Бартеневу: «Бедный Тютчев! Кажется, ему ли умирать? Он пользовался и наслаждался жизнью и в высшей степени данным от Провидения человеку даром слова. Он незаменим в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нем, что если он и не златоуст, то жемчужноуст. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его! Надо составить бы по ним Тютчевиану, прелестную, свежую, живую, современную антологию». Эта идея Вяземского была воплощена в жизнь лишь полвека спустя.

...Лето 1863 года выдалось для Вяземского вполне плодотворным — в Бад-Киссингене он написал «В нас внутренно идет война...», «Совсем я выбился из мочи...», «А есть же где-нибудь приютный уголок...», «Мне все прискучилось, приелось, присмотрелось...» и «Нет, не видать уж мне Остафьевский мой дом...». Все стихотворения — мрачнейшие, полные жалоб на здоровье, но с поэтической точки зрения — очень уверенные и интересные. Казалось, от киссингенских вод князю стало получше, но в конце июня ночи его опять «свихнулись», и врачи отправили его в Венецию. 15 сентября он с сыном Павлом поселился в том же палаццо Венье на Большом канале, что и десять лет назад... Снова были прогулки по окраинному городскому саду, снова гондола выносила Вяземского на синий простор — и справа открывалась вся панорама волшебного города: две розовые башни Арсенала, набережная Скьявони, Дворец дожей, перед которым выстроились в ряд лодки, пьяцетта с двумя колоннами, чуть в глубине — кампаниле и купола базилики и, наконец, приземистая двухэтажная библиотека Сансовино... Венеция, как и прежде, оказалась для старого князя целебной. Он провел в своем любимом городе восемь месяцев, если не считать двух недельных поездок в Милан в ноябре 1863-го и марте 1864-го.

Улучшение здоровья повлекло за собой появление Второго венецианского цикла, продолжившего стихотворения десятилетней давности. Это «Николаю Аркадьевичу Кочубею», «Пожар на небесах — и на воде пожар...», «К лагунам, как frutti di mare...», «Ни движенья нет, ни шуму...», «Там на земной границе...», «Фотография Венеции», и еще шуточное «По мосту, мосту», и «Santa Elena», и «Недаром здесь вода, везде вода...», и «Старый гондольер», «Торчелло», «Вакханалия», «La Biondina In Gondoletta», и послания Тютчеву, жене его Эрнестине, Владимиру Карамзину, императрице, и еще, еще — Венеция вдохновляла его как никогда!.. Всего им было написано 24 стихотворения. Армянская типография, расположенная в Венеции, напечатала несколько из них отдельной книжечкой, которая тут же была переведена на итальянский.

В ноябре — декабре 1863-го Вяземский вовсю интересовался политическими событиями, возмущался антирусской пропагандой, развернувшейся на страницах «Журналь де Деба» во время польского восстания, и написал статью «Польский вопрос и г-н Пеллетан», где давал отпор французским русофобам. В начале февраля 1864-го он отправил эту статью в редакцию петербургской газеты «Нор», но там она

пролежала три месяца без движения, после чего Вяземский вынужден был напечатать ее за собственный счет отдельной брошюрой. Еще одну заметку по польскому вопросу он опубликовал в местной «Газетта уффиччьале ди Венеция». Мысли по поводу происходящего отразились также в стихотворных «Заметках» и большом стихотворении «Оправдание», посвященном вюртембергской королеве Ольге, дочери Николая I.

9 мая 1864 года князь отправился из Венеции в городок Меран, расположенный в Тироле, на самом юге Австрии (теперь это север Италии). Ехал поездом, и впечатления от поездки немедленно попали в стихотворение «Виченца» — приходится брать билет, бегом взвешивать багаж, высыпая в ладонь служащего горсть зильбергрошей, потом давка на перроне, в вагоне — непременные англичане и какой-нибудь немецкий барон... Потом были Верона, Сало, Гарньяно, Ровередо, Больцано... Итальянский север (или австрийский юг) очаровал князя тишиной, зелеными, кое-где покрытыми снегом горами, обилием горных ручьев и водопадов. Приехав в Меран, князь поселился на уединенной вилле Питтель, пил сыворотку, много гулял, наслаждаясь горным воздухом. Никаких недомоганий, кроме бессонницы, он не чувствовал.

В городке — красивая стройная кирха с самой высокой в Тироле колокольней; вокруг, на склонах гор, четыре древних замка, один из которых — Тироль — и дал название местности... Общества в маленьком Меране не было, но Вяземскому было хорошо в одиночестве. Он задумал издать с помощью Плетнева новые венецианские стихи книгой, составил ее план, приводил в порядок старые бумаги... Как всегда, во время лечения ему запрещалось писать собственноручно. Но можно было диктовать. Так появились послание «П. А. Плетневу и Ф. И. Тютчеву» и большое стихотворение — или небольшая поэма из шести частей — «Меран». Героическое прошлое маленького курорта взволновало Вяземского, оттого в поэме так много замков, рыцарей, романтических красавиц... 18 июля, закончив курс лечения, князь отправился из Мерана в Бад-Крейцнах к своей внучке Лизе Голицыной, а оттуда — в Бад-Швальбах, где лечилась водами императрица Мария Александровна.

29 сентября случилась трагедия — умер 24-летний внук Вяземского Саша Валуев. Он приехал из России в Баден-Баден и там скончался от злейшей чахотки. Поистине Баден был каким-то роковым местом для Вяземского... Оттуда он отправился в Женеву, где повидал Тютчева. Потом берегом

Женевского озера, через Лозанну, поехал в Веве. Остановился в гостинице «Три короны», где в 1821 и 1832 годах жил Жуковский. Здесь лечение Вяземского заключалось в том, что ему приходилось вставать в восемь утра и обертываться в пропитанную холодной водой простыню... Веве был Вяземскому приятен, он не уставал им любоваться. Нередко бродил по вевейскому кладбищу, вознесенному высоко над городом — близко к небу... В великолепной элегии «Кладбище», созданной в ноябре, сами собой слились и отзвук «Сельского кладбища» Томаса Грея в переводе Жуковского, и воспоминания о всех родных сердцу русских могилах за рубежом, и грусть о недавно умершем внуке, и особая светлая интонация, редкая у позднего Вяземского... Этим стихотворением он сам был доволен, что в последнее время случалось редко.

Из Женевы к князю часто приезжала его невестка, княгиня Мария Аркадьевна Вяземская с детьми. Однажды во время прогулки с внуками Вяземский отыскал ту самую рябину, которой посвятил стихи десять лет назад. Через несколько дней, уже в Женеве, он написал новое стихотворение об этой рябине — в альбом внучке Кате. В последней строчке князь подшутил над ней, подчеркнув слово «красивый» — недавно Катя прислала деду письмо, где это слово повторялось раз десять.

Тютчев, с ноября живший в Ницце, прислал Вяземскому свое полное пронзительной боли стихотворение «О, этот Юг! о, эта Ницца!..». Князь знал о том, что Федор Иванович недавно перенес тяжкую утрату — скончалась обожаемая им Елена Денисьева. Откликом стало послание «Федору Ивановичу Тютчеву». В середине декабря Вяземский и сам перебрался в Ниццу — по просьбе государыни. Князь нашел Тютчева в ужасном состоянии — он даже не пытался скрыть свое горе... К этому добавилась сильная простуда. В декабре — январе Вяземский часто навещал больного друга, утешал его как умел. «Не дай Бог пережить любимого человека», — думал он о себе, сидя у постели Тютчева. В долгой его жизни смертей близких — детей, друзей — было более чем достаточно, но терять любимую женщину Вяземскому не приходилось. Лишь при переводе «Адольфа», кажется, сталкивался он с подобной сценой — когда Адольф «с тупым удивлением», еще не веря в случившееся, смотрит на бездыханную Элеонору. А Тютчев пережил такие минуты дважды — похоронив первую жену (тоже Элеонору) и вот теперь Елену...

Вяземский не догадывался, что судьба готовит и ему та-

кое испытание. Но насладиться светом «приветной звезды» ему еще было суждено...

...В 1838 году двоюродная тетка Лермонтова Мария Аркадьевна Столыпина вышла замуж за молодого поэта и переводчика Ивана Александровича Бека. 3 января 1839 года родилась дочь Машенька, а три года спустя Мария Аркадьевна овдовела. Еще через шесть лет она вышла замуж вторично — за князя Павла Петровича Вяземского, который воспитал Машеньку Бек в своей семье наравне с родными детьми.

В Остафьевском архиве сохранились письма Марии Бек Вяземскому. Трогательная, старательная каллиграфия школьницы — и полное отсутствие знаков препинания: «Благодарю вас милый Дедушка за ваше письмо которое мне сделало большое удовольствие тем более что я никогда не осмеливалась думать чтобы такой великой человек как вы удостоил бы меня письмом... Прощайте милый Дедушка целую вас очень крепко и целую ваши ручки»*. Надо полагать, за «великого человека» Маша получила от деда легкую головомойку, так как следующие ее письма уже более раскованны; она благодарит «милого и любезного Дедушку» за новые стихи и иногда даже спорит с ним по поводу собственного будущего: «Я люблю свободу и *природу* и не хочу променять их на вечную беседу с профессором»**, — возражает она на предложение Вяземского поступать в университет... Будущее, в общем, оказалось довольно обыкновенным: в 1857 году Мария Ивановна (чаще ее звали на английский манер, Мэри) вышла замуж за своего троюродного брата, русского дипломата при вюртембергском дворе графа Александра Николаевича Ламсдорфа, родила дочь Марию, сыновей Николая и Дмитрия... В нью-йоркском музее Метрополитен хранится чудесный портрет Мэри, написанный в 1859-м придворным живописцем Наполеона III Францем Винтерхальтером. Молодая графиня изображена на фоне романтического вечернего пейзажа. Спокойное лицо, глубокие чудные глаза... Во внешности много общего с красавицей-матерью, Марией Аркадьевной Вяземской. Можно понять Петра Андреевича, однажды сказавшего о Мэри: «Elle avait quelque chose de la lune»***. В правой руке графиня держит книгу с надписью «Поэзия».

Но это впечатление «лунности», почти святости — обманчиво. Мэри Ламсдорф была натурой страстной, порыви-

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2153. Л. 1, 3.

** Там же. Л. 5.

*** В ней было что-то от луны (*фр.*).

стой, никаких ограничений для нее не существовало. И неудивительно, что отношения с мужем у нее не сложились. А. Н. Ламсдорф, человек малоприятный и незначительный, быстро потерял для нее всякое значение.

В глазах влюбленного князя Мэри, конечно, была воплощением всех добродетелей: он восхищался ее «простосердечным нравом», «свежестью чувств и дум», «свежим детским смехом». Судя по поэтическому портрету Мэри Ламсдорф, в ней сочетались «прелесть женщины и детства простота», и это очень нравилось Вяземскому.

72-летний князь и 25-летняя графиня вместе бродили по бульвару Англичан. Вели бесконечные разговоры обо всем: о поэзии (Мэри недолюбливала стихи Вяземского за излишнюю глубокомысленность и предпочитала Жуковского), о провансальских трубадурах, которыми увлекалась графиня, о детях, о Лазурном Береге и России... Были и ночные прогулки: освещенное луной море, одинокий соловей, рыбаки, собирающие сети... Вера Федоровна смотрела на увлечение мужа сквозь пальцы: она-то понимала, что ничего серьезного быть не может, а *несерьезным* ее возмутить было уже мудрено. И сам Вяземский, ведя под руку молодую, любимую им женщину и потом, дымя сигарой в бессонной ночи, думал о том, что печальней, беспомощней, безнадежней романа у него в жизни не было. И уже не будет...

Горжусь и радуюсь я вами,
И словом — счастье для меня,
Что мы, сочувствуя сердцами,
Еще к тому же и родня.

Но вечно что-то закорючкой
Глядит в моей лихой судьбе:
В вас рад я любоваться внучкой,
Но деду я не рад в себе.

Вяземский посвятил Марии Ламсдорф 15 стихотворений. Есть среди них и полушутливые, как приведенное выше, и церемонные альбомные мадригалы, написанные как бы для посторонних глаз («Мери-Пери», «Нигде так роза не алеет...»), и лирические (цикл «Notturno», «Всегда», «Ce que j'aime et ce que je hais»*, «Je me mis à pleurer comme on pleure à vingt ans»**). Потомки князя, видимо, понимали, что Мэри значила в жизни Вяземского очень много, и собрали все адресованные ей стихи под одной обложкой в 1890 году.

---

* «Что я люблю и что я ненавижу» (*фр.*).

** «Я принялся плакать, как плачут в двадцать лет» (*фр.*).

Напрасно было бы искать в этих стихотворениях дневник обжигающей, мучительной страсти, наподобие «денисьевского цикла» Тютчева. Сделать из собственных интимных переживаний литературный факт, «лирическую величину» Вяземский не был способен, и представить его автором таких вещей, как «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» или «Она сидела на полу...», невозможно. И даже в вершинных достижениях князя — «Вечерняя звезда (14 января в Веве)», «Ты светлая звезда таинственного мира...» и посвящении Марии Ламсдорф «Вы на небе моем, покрытом ночью темной...» — ничего интимного, в сущности, нет: героиня этих стихотворений остается неназванной, безымянной, бесплотной, она воплощает скорее фантазии автора, некий идеал, которым Вяземский задумчиво любуется, не предпринимая попыток к сближению... Образ «светлой», «вечерней», «приветной», «заветной» звезды кочует из стихотворения в стихотворение.

Дело здесь, конечно, не в том, что Тютчев был способен испытывать настоящую страсть и воплощать ее в гениальных стихах, а Вяземский на такое способен не был. Поэты принадлежали к разным поколениям, и в представлении Вяземского поэзия меньше всего должна была напоминать интимный дневник ее автора (да и записным книжкам он никогда не доверял интимностей)*. Не одобрял он, как мы помним, и признаний Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями», а об «Исповеди» Руссо писал так: «Тут действовала и чувственность старого греховодника, и ложная, т.е. в ложном смысле понятая искренность». Только в 60-х (возможно, под неосознанным воздействием Тютчева) у него начали понемногу появляться исповедальные стихи, точно передающие психологическое и даже физическое состояние князя во время болезни. Но и эти стихи не предназначались не только для печати, но даже для чтения в узком кругу — автор знакомил с ними буквально двух-трех лиц, и то с целью дружеской критики и возможной правки.

Портрет Марии Ламсдорф, оставленный Вяземским-поэтом, — это некий идеальный женский образ, наделенный всеми возможными добродетелями и напоминающий дру-

* Тютчев тоже резко высказывался против подобной практики: «Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв сердечных». Однако это вовсе не мешало ему зачастую выставлять сердечные «язвы» напоказ — как в бытовом поведении, так и в творчестве.

гую Марию — «ангела небес» Машу Протасову из элегий Жуковского... Но в том, что то была настоящая «потаенная любовь», не приходится сомневаться.

Вот стихотворение «Всегда», в котором Вяземский предостерегает Мэри от частого употребления этого слова. Ему ли не знать, что никакого «всегда» не существует в здешнем мире?.. Удел человека — сиюминутная радость, а что случится завтра — Бог весть.

Мне счастье — невзначай и встреча, и свиданье,
Прогулка у моря вдвоем в ночной тиши,
Улыбка, сердца весть, иль грустное прощанье,
И ласка нежная, и слово от души.

Еще откровеннее сказалось в одном из «Ноктюрнов»:

Все тобой, все одною тобою, все дни
Занят мысленно я, озабочен сердечно,
И все очи твои, эти звезды мои,
Целовал, целовал, целовал бы я вечно.

На земле без тебя — как от стужи цветок
Увядает — и я увядал бы от скуки.
Без тебя и в раю был бы я одинок
И на землю к тебе простирал бы я руки.

В апреле 1865 года Вяземский и Мария Ламсдорф расстались, причем при очень печальных обстоятельствах.

С осени 1864-го вся русская колония Ниццы с тревогой следила за болезнью 21-летнего наследника русского трона великого князя Николая Александровича. Цесаревич уже пять лет страдал от травмы спины, полученной при падении с лошади. Во время путешествия по Италии боли обострились; с 20 октября великий князь лечился в Ницце, и его иногда можно было видеть в открытом экипаже на бульваре Англичан. Но весной наследник уже никуда не выходил. Больного ежедневно навещали его мать, Мария Александровна, и младший брат Александр. Императрица поселилась на борту пришвартованной в Ницце яхты «Орел», которую любезно предоставил ей Наполеон III. Вяземский неотлучно находился при Марии Александровне.

10 апреля, в пять часов утра, в Ниццу приехали Александр II, его младшие сыновья Владимир и Алексей, невеста наследника принцесса Дагмар с братом и матерью, королевой Дании Луизой. В составе свиты Вяземский встречал на вокзале императорский поезд. Мужчины переговаривались шепотом, дамы вытирали слезы. На устах у всех было имя наследника. Первым императора встретил великий

князь Александр Александрович, в мундире полковника, с красными заплаканными глазами.

Но наследника уже не могло поддержать присутствие близких — его мучили беспрестанные боли в позвоночнике, мигрень и рвота. Ночью 12 апреля, после четырехчасовой агонии, Николай Александрович скончался. Описать горе родителей было невозможно. На панихиде, которую служили утром, все присутствующие плакали навзрыд.

14 апреля, в среду, Вяземский стоял в карауле у гроба цесаревича в церкви Святого Николая Чудотворца. Еще через день вся Ницца вышла проводить великого князя в последний путь. Траурная процессия двигалась через весь город, вдоль моря, вдоль цветущих апельсиновых рощ; за гробом верхами следовали августейшая фамилия, православное духовенство, свита... Стройно звучали пригробные молитвы. Пушечными залпами прощались с усопшим русские корабли «Алмаз» и «Олег»... Тело великого князя принял фрегат «Александр Невский», стоявший на рейде в Вилла-Франке. Вместе с другими русскими гостями Ниццы Вяземский встречал на борту этого корабля новый 1865 год. И вот теперь «Александр Невский» уносил к берегам России уснувшего вечным сном цесаревича.

Князь посвятил этому траурному плаванию стихотворение «Вечером на берегу моря»: сияющее южное море, звезды и под ними — спящий царевич, возвращающийся на родину... В Петербурге Вяземский опубликовал брошюру «Вилла Бермон» — небольшой очерк о последних днях Николая Александровича. Завершался он предложением приобрести виллу, на которой умер цесаревич, в собственность России и построить в ней часовню. Случилось все не совсем так, как предлагал Вяземский: купленную виллу тут же снесли, а часовню на ее месте освятили уже в 1868 году. В 1903—1912 годах архитектором М. Т. Преображенским в Ницце был выстроен пятиглавый Свято-Николаевский собор в память о покойном великом князе — красивейший православный храм за пределами России.

«Прозябательная» спокойная жизнь Вяземского за границей закончилась. Прощание с любимой Мэри было грустным и нежным... 17 апреля императорская чета со свитой отбыла из Ниццы в Дармштадт; начало мая Александр II с женой провели в замке Югенхайм и 12-го прибыли в Петербург. Вяземский временно остановился дома у П. А. Валуева, потом отправился в Царское Село, где собралась вся августейшая фамилия. 28 мая присутствовал на погребении цесаревича. Большую часть лета он провел в дворцовых при-

городах столицы, рядом с императрицей. Нередко виделся он и с новым цесаревичем, великим князем Александром Александровичем (Вяземский, по-видимому, редактировал манифест об объявлении его наследником). При жизни старшего брата будущий Александр III не слишком выделялся на его фоне и теперь очень страдал от неприязненного отношения к себе некоторых родственников и придворных. Например, великая княгиня Елена Павловна прямо заявляла: «Право престолонаследия должно перейти от «бульдожки» к его младшему брату Владимиру...» Великий князь Константин Николаевич обращался к новому наследнику, не скрывая своего презрения. Да и преподаватели, занимавшиеся с Александром, в голос говорили о том, что цесаревич не выдерживает никакого сравнения с покойным старшим братом. Едва ли не единственными придворными, не разделявшими общее мнение о молодом наследнике, были старики Вяземские.

«Великий князь Александр Александрович никогда не отличался светскими наклонностями, — вспоминал граф С. Д. Шереметев. — Придворные дамы двора императрицы Марии Александровны всего менее привлекали его, как и близкий ее кружок. Он определенно не сочувствовал ни Тютчевым, ни Мальцовой, ни Толстой, ни Блудовой. Его калачом не заманишь на придворные вечера, и в то же время он охотно посещал княгиню Веру Федоровну Вяземскую, находя удовольствие в ее беседе... Она с ним шутила, привлекала его живой и блестящей речью, на правах старости позволяла грозить ему иногда своею тростью. И эта трость осталась у него твердо в памяти... В то же время ближе узнал он и князя Петра Андреевича». Наследник начал бывать у Вяземских дома. Например, 15 февраля 1869 года он присутствовал на чтении князем В. П. Мещерским драмы «Десять лет из жизни редактора журнала». «Сочувствие его (цесаревича. — *В. Б.*) всецело было на стороне князя П. А. Вяземского, сумевшего заинтересовать его своим разговором, своими неисчерпаемыми рассказами и воспоминаниями», — свидетельствовал граф С. Д. Шереметев. И после смерти Вяземского Александр III не раз тепло вспоминал о нем.

Несмотря на придворные обязанности и недавние грустные впечатления, лето 1865 года оказалось очень плодотворным для Вяземского-поэта. Разлука с Мэри Ламсдорф вдохновила его на множество стихов: уже 1 мая, в поезде, где-то между Дармштадтом и Югенхаймом он пишет «Забыть ли мне прогулки наши...», через две недели — «Notturno», еще одно стихотворение под этим названием — 14 июня, 16 июня —

«Всегда», 19-го — «Мери-Пери», 27 июля — обращение к императрице «Поздравить ли мне вас?», 4 августа — трогательное и взволнованное «Je me mis à pleurer comme on pleure à vingt ans», 12 августа — «Дача за Петергофом», воспоминание о детских годах Мэри... Через день князь в составе свиты императрицы выехал в Москву и весь сентябрь провел вместе с августейшей четой в подмосковном поместье Ильинском, пять лет назад купленном для Марии Александровны.

Вяземский хорошо помнил Ильинское еще владением Остерманов и Голицыных. Место прекрасное — графом Остерманом-Толстым был выстроен на берегу реки Москвы двухэтажный деревянный дворец и разбит превосходный английский парк с оранжереями, множеством беседок, павильонов и мостиков. Императрица открыла в Ильинском мужское училище... Ильинское сохранило свою элитность по сей день — там ныне находится закрытый дом отдыха — и благодаря этому уцелело в том виде, в каком его знал Вяземский. Сохранились прекрасная аллея вековых лип, ведущая ко дворцу, конюшенный двор, красивейший храм. Сохранился и стоящий на отшибе павильон «Не чуй горе», в котором квартировал князь... Ильинское было описано Вяземским в стихотворении «Подмосковная», посвященном августейшей «звенигородской помещице» и изданном отдельной брошюрой.

Из гостеприимного Ильинского Вяземский иногда выбирался и в Москву, где для него была подготовлена квартира в Большом Кремлевском дворце... В последнее время князь бывал в Первопрестольной почти каждый год, еще в 1858-м написал там добродушные стихотворные «Очерки Москвы», где помянул все московские привычки, обычаи, нелепицы и достоинства, в 1860-м — большое грустное стихотворение «Дом Ивана Ивановича Дмитриева», почтив память одного из главных учителей своих в литературе (столетний юбилей Дмитриева прошел незамеченным)... Москва 60-х уже очень мало напоминала не то что себя «допожарную» — о той Москве давно и помину не было, — а даже Москву 40-х годов. На окраинах стремительно росли фабрики и заводы, в дворянских особняках селились разбогатевшие купцы... Наконец-то освободился от лесов купол храма Христа Спасителя, который Вяземский уж не чаял увидеть достроенным. Канули в небытие манеж на Волхонке и Большой Каменный мост, последние приметы детства. Эта новая Москва начинала напоминать европейский город: «Манчестер ворвался в Царьград»... Князь думал, что родное гнездо становится для

него Помпеей, засыпанной пеплом забвения... И все-таки вырвалось признание:

Чуждый блеску, чуждый шуму,
Средь которых я живу,
Часто думаю я думу
Про родимую Москву...

Из старых знакомых Вяземского в Москве оставались Михаил Погодин, Владимир Одоевский, Сергей Соболевский, Борис Святополк-Четевертинский. Но, пожалуй, самым приятным москвичом для Вяземского теперь был Петр Иванович Бартенев, 36-летний эрудит, умница, знаток русской старины. С ним Вяземский познакомился, по-видимому, в октябре 1857 года. Бартенев публиковал статьи о Державине, Жуковском, записывал рассказы людей, видевших Пушкина в его последние дни... С 1863 года он издавал «Русский архив» — историко-литературный сборник, где публиковал «сырые» материалы по истории XVIII—XIX веков. В первых же книжках «Русского архива» им были напечатаны интереснейшие материалы по истории петровской России, бироновщины, записки дипломатов времен Елизаветы Петровны; после — неизвестные письма и стихи Жуковского, «Материалы для полного собрания сочинений и переводов Карамзина», «Деяния и анекдоты императора Павла»... Все это Вяземский читал с удовольствием, искренне восхищаясь неутомимостью трудов ученого. И всякий раз, бывая в Москве, обязательно заходил в Чертковскую библиотеку, которой руководил Бартенев, — под нее в Фуркасовском переулке был выстроен недавно трехэтажный дом. Богатейшее книжное собрание покойного московского предводителя дворянства Андрея Дмитриевича Черткова открылось для публичного посещения в январе 1863 года. Правда, за день в библиотеке бывало всего пять — семь человек.

Бартенев сразу сказал Вяземскому, что наслышан о его знаменитых записных книжках. Почему бы не публиковать отрывки из них в «Русском архиве»?.. Тем более что еще в 1826 году, помнится, «Московский телеграф» кое-что оттуда напечатал, да и сборник «Старина и новизна» на совести Вяземского... Такая осведомленность польстила старому князю. Он обещал регулярно снабжать Бартенева не только бумагами из своего архива, но свеженаписанными статьями. А Бартенев в свою очередь обещал открыть на страницах сборника постоянную рубрику «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива».

Конечно, «Русский архив», как и все специализирован-

ные издания, имел даже по тем временам крошечный тираж. В 1863 году, например, разошлось всего 280 экземпляров, в 1864-м — 401, в 1865-м — 601 (для сравнения: газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник» имели тиражи по 8—10 тысяч экземпляров). Но Бартенев свое дело знал: в 1866 году у «Русского архива» была уже тысяча подписчиков, затем их число увеличилось до 1300... «Есть и меньшинство; надобно и об нем подумать и не приносить его беспощадно в жертву силе и числу, — писал Вяземский. — Эти немногие, это избранное меньшинство держится еще вечных законов искусства и изящных образцов». «Русский архив» был чтением для немногих, но эти немногие читатели очень тепло встретили публикации Вяземского.

В 60-х, в особенности после настойчивых просьб Шевырева, старый князь не раз обдумывал возможность создания записок о своем времени. Многие его сверстники оставили мемуары — «Записки» арзамасца Филиппа Вигеля, «Мелочи из запаса моей памяти» Михаила Дмитриева, «Записки о моей жизни» Николая Греча, «Записки современника» Жихарева... Но, увы, с годами взгляд Вяземского на собственную жизнь не переменился: она по-прежнему казалась ему грудой «летучих листков», на которых что-то маралось без всякого плана, и теперь перебирать их, восстанавливая хронологию, не хотелось. Максимум, на что Вяземский оказался способен — это небольшие статьи «Воспоминание о 1812 годе» (1868) и «Автобиографическое введение» (1876), да и в тех воспроизведены только крошечные эпизоды «загадочной сказки», а написаны они по конкретным злободневным поводам. С куда большей охотой он вспоминал своих современников, чем себя, — впрочем, при этом выбирая именно тех своих знакомых, кому были присущи ни на кого не похожие черты. Далекими предками этих работ были ранний биографический очерк об Озерове (1817) и книга о Фонвизине (1830), но со временем Вяземский стал отдавать предпочтение людям, которых хорошо знал лично. Первые опыты в таком роде еще имели определенную жанровую привязку — это были некрологи («Князь Козловский», 1840, «С. Н. Глинка», 1847) или вступительные статьи («Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий», 1848). И только в 1865-м Вяземский смог наконец отдаться приятным воспоминаниям, не ограничивая себя ни объемом, ни эстетическими задачами, которые ставит перед собой критик. Он просто вспоминал то, что ему дорого, не особенно заботясь о форме. И не случайно первая его «свободная» статья называлась «Допотопная, или допожарная, Москва» — в виду

родного города, разговоров с Бартеневым иная тема не могла прийти в голову.

Впрочем, как всегда, потребовался и конкретный повод, задевший Вяземского за живое (без этого «раскачаться» ему было все же нелегко). В каком-то журнале прочел он, что «Москва 1805 года была совершенною провинциею в сравнении с Петербургом». Князь, «как старый и допотопный москвич», возмутился этой легкомысленно-несправедливой оценкой невероятно. Свое опровержение он, кстати, начал с того, что основательно задел покойного Грибоедова: «Горе от ума», конечно, неплохая вещь, но ведь по ней новейшие поколения теперь судят об облике старой Москвы, смеются над обрюзглыми Фамусовыми, тупыми Скалозубами и взвинченными Чацкими и верят, что никого, кроме них, в допожарной первопрестольной и не было. Споря с Грибоедовым (а заодно и с Гоголем, и с прозаиками 60-х, возлюбившими пошлых героев и пошлые сюжеты), Вяземский рисует беглые, но очень выразительные портреты людей, населявших *его Москву,* — былинных богатырей екатерининского века, рыцарей без страха и упрека, умевших совмещать личную храбрость на войне и чувствительность, любовь к Вольтеру и к русским лихим поговоркам... И прежде всего тут — отец, князь Андрей Иванович. Его друзья... Вяземский вспоминает уютные вечера в Зеленой гостиной и постоянных посетителей этих вечеров — давно почивших русских аристократов. Вспоминает их остроты, чудачества, привычки... Читатели, державшие в памяти критику Вяземского, могли убедиться в том, что 73-летний князь по-прежнему строит текст так, что его ни с чьим более не спутаешь. В «Допотопной, или допожарной, Москве» мирно соседствовали и воспоминания о детстве, и рассуждения на модную тему эксплуатации человека человеком, и насмешки над противниками телесных наказаний в школе, и проникнутые любовью размышления о природе русского юмора: «Есть некоторый склад ума, балагурство, краснобайство, которое так и пахнет Русью, и этот запах чуется не только в том, что называется у нас народом, — нет, не во гневе будь сказано оплакивающим разъединение высшего общественного класса с низшим, как будто не всегда и не везде развивалось и должно в некоторой степени развиваться такое историческое разъединение, — нет, этот склад, этот норов русского ума встречается не только в избе, на площади, на крестьянских сходках, но и в блестящих салонах, обставленных и проникнутых принадлежностями, воздухом и наитием Запада». Эта тема была для Вяземского болезнен-

ной, и несколькими страницами позже он возвращается к ней: «Недоумие ли, упрямство ли или сознательное заблуждение, но некоторые из наших мыслителей и писателей признают за русский народ то, что на деле и по истории есть *простонародье*... Большинство имеет, конечно, свое значение и свою силу. Но в государственном устройстве и меньшинство, особенно когда оно отличается образованием и просвещением, должно быть принято в счет и уважено... При имени Минина, представителя большинства, есть рядом имя и князя Пожарского, представителя меньшинства, которое дало ход делу и окончательно его порешило. Так было, так и есть и ныне в нашей истории; так будет, надеемся, и впредь, и долго-долго, если не всегда...»

Конечно, нелепо на основании этих строк обвинять Вяземского в снобизме, аристократическом высокомерии или непонимании очевидного. Его взгляд на «простонародье» и на дворянское «меньшинство», которое всегда «дает ход делу» в России, был вполне естествен для потомка Рюрика в двадцать пятом колене. Князь убежден в незыблемости существующего порядка вещей, верит в то, что во главе России всегда будут стоять знатные, просвещенные и гуманные люди.

...1865 год словно обрамлен был для Вяземского потерями двух близких ему людей: 21 января умер Дмитрий Петрович Северин, друг князя еще по былинному пансиону патера Чижа, арзамасец Резвый Кот, а 29 декабря — Петр Александрович Плетнев. Оба скончались за границей — Северин долгие годы был посланником в Мюнхене, Плетнев лечился в Париже... Со смертью Плетнева Вяземский лишился одного из любимых своих корреспондентов — именно ему посылал он на критику почти все свои стихи начала 60-х. Кроме того, Плетнев собирался издать новую поэтическую книгу Вяземского. Князь знал, что Плетнев перенес в Париже мучительную операцию и очень страдал перед смертью... Небольшим некрологом «Памяти П. А. Плетнева» Вяземский отдал дань уважения почившему ровеснику. 5 января 1866 года в университетской церкви он присутствовал на панихиде по Плетневу.

Переполненный похоронами год сменился другим, не менее бурным. Апрель 1866-го начался просто кошмарно: среди бела дня, у ограды Летнего сада некто Каракозов стрелял в Александра II. Покушение оказалось неудачным — мещанин Комиссаров толкнул стрелявшего под руку, — однако сам факт потрясал. По всей России служили благодарственные молебны во здравие государя, перед Зимним дворцом толпились исполненные верноподданных чувств делегации, Комиссаров стал национальным героем и получил потомст-

венное дворянство. Вяземский посвятил спасителю императора восторженное восьмистишие, но куда более интересным получилось стихотворение «16 апреля 1866 г.», написанное к серебряному юбилею свадьбы Александра II и Марии Александровны, — в нем князь говорит и об этом частном семейном торжестве, и благодарит Провидение за спасение жизни государя... Стихи об этом написали тогда многие русские поэты, но именно Вяземскому удалось найти оригинальный подход к теме спасения, соединив ее с темой семейного счастья. Впрочем, от «счастья» уже оставались одни черепки — Александр II был страстно увлечен юной княжной Екатериной Долгоруковой и не обращал на супругу ровно никакого внимания...

Через месяц с небольшим, 9 мая, в Женеве скончалась 27-летняя Мария Ламсдорф. Известие не могло не ошеломлять — все знали, что Мэри обладала отменным здоровьем. У постели умирающей не оказалось ни одного врача. А. Н. Ламсдорф при кончине жены не присутствовал, хотя и был осведомлен о ее болезни. Похоронили графиню в петербургском Новодевичьем монастыре.

Трудно даже предположить, как принял и пережил Вяземский известие о смерти молодой и любимой им женщины.

Только год спустя, летом 1867-го, сочинились у него 22 строфы — сочинились в Царском Селе, записались в далеком Лемберге... Эти поэтические воспоминания о Мэри при всем желании нельзя отнести к удачам Вяземского — с годами он наработал определенные «поминальные» штампы, которые с равным успехом можно было применить к любому покойнику. И только в 1868 году появилось очень сильное и необычное посвящение Мэри «Голос с того света» — вольный перевод стихотворения Шиллера «Текла (Голос духа)» (его еще в 1815-м перевел Жуковский, а в 1847-м — Аполлон Григорьев). Ушедшая подруга обращается к пережившему ее поэту:

Мой бедный друг, ты разлучен со мною,
Но для меня с тобой разлуки нет:
Еще тесней слилась душа с душою
В одну любовь, в один святой завет.
Земной любви моей, которой я жила,
Все светло-чистое я на небо взяла.

Я при тебе, я спутник твой незримый,
Я помыслом благим с тобой делюсь;
Томишься ль ты в борьбе неотразимой —
Хранитель мой, я за тебя молюсь,
И, в светлой вечности минувшее любя,
Тебя мне только жаль, я только жду тебя.

Тема ушедшей любви неожиданно возникла у Вяземского еще раз, через десять лет после смерти Мэри Ламсдорф. В январе 1875 года он пишет «Пробудится ль мой слух напевами Траввьяты...» — вроде бы воспоминание о былом своем увлечении итальянской оперой, но описание посещения оперы в Ницце, «Верди торжества», вдруг переходит в смутное сожаление о чем-то... или о ком-то:

Напрасно, в час борьбы последней, пред порогом
Могилы, счастье вновь знакомых благ залогом
Доверчивой душе блеснуло впереди:
Песнь счастья замерла в надломленной груди;
Как порванной струной трепещет стон печальный,
Как песня лебедя, завет его прощальный,
Так чувству одному обрекшая себя
В созвучьи и любви угасла жизнь ея.

...Май — июнь 1866-го Вяземский в составе свиты снова в Ильинском, в июле возвращается в Петергоф. Начало осени прошло при дворе под впечатлением от приезда в Россию невесты наследника, принцессы Дагмар (Дагмары Датской), получившей в крещении имя Марии Федоровны. Погода, как по заказу, выдалась чудная — ни облачка, в шесть часов вечера термометр показывал плюс 20. Теплую сентябрьскую неделю Тютчев и Вяземский назвали «Дагмариной»... Вяземский отозвался на приезд принцессы и на венчание ее с великим князем Александром Александровичем двумя стихотворениями. «Прекрасные стихи князя Вяземского под стать... милой Дагмаре», — отметил в дневнике П. А. Валуев. Позже напишет Вяземский и небольшое трогательное «6-е мая 1868 года» — стихи на день рождения первенца молодой четы: в них вся Россия «молится над милой колыбелью, / В которой теплится грядущего звезда». И в кошмарном сне князю не могло привидеться, что он пишет стихи на рождение последнего российского государя Николая II...

1 декабря 1866-го Петербург торжественно отмечал столетие со дня рождения Карамзина. Князь был «старейшим представителем русской литературы и как бы знаменщиком» этого юбилея. К торжественному заседанию в Академии наук он написал стихотворение «Тому сто лет». Семью Карамзиных представляли дети историка Александр, Владимир, Екатерина и Елизавета. На почетных местах сидели наследник, великие князья Владимир и Алексей Александровичи и Николай Максимилианович, герцог Лейхтенбергский, князь Романовский. Наибольший успех среди публики имела речь Михаила Погодина, которую не раз прерывали аплодисменты.

К этому юбилею было приурочено издание двух порадовавших Вяземского книг — записок Дмитриева и писем к нему Карамзина. Последние особенно растрогали старого князя — не раз он встречал на страницах книги собственное имя... На публикации Вяземский откликнулся статьями «Стихотворения Карамзина», «О письмах Карамзина» и «Иван Иванович Дмитриев». Собственно, три эти работы он собирался объединить в одну и, может быть, на их основе написать более обширные воспоминания о двух своих литературных наставниках (статья «Карамзин и Царское Село» осталась в рукописи). С нежностью наслаждаясь особенностями карамзинской музы, обильно цитируя давно забытые стихи Николая Михайловича, Вяземский неизбежно подводил читателя (и слушателя — эта статья была прочитана на юбилейных торжествах) к вопросу: «Отчего у русских память так коротка? отчего зрение наше... так устроено, что глаза наши видят только то, что у нас под рукою, а не имеют способности заглядывать ни в обратную, ни в предстоящую даль?» «Стихотворения Карамзина» завершались длинным печальным абзацем, где Вяземский констатировал: литературы первой четверти XIX века в русской памяти уже почти не существует, «Карамзина и Дмитриева видят уже немногие. Едва разглядывают самого Пушкина. Завтра глаз и до него не доберется. За каждым шагом нашим вперед оставляем мы за собою пустыню, тьму кромешную, тьму египетскую, да и только...».

Полно, не сгущал ли краски князь? Не затуманился ли с годами его обыкновенно столь острый взгляд? Ведь если вдуматься, все русские писатели почтенного возраста считали своим долгом пожаловаться на молодежь, забывшую заветы предков. «Это анархия, рабское обезьянство новизнам иностранным, холопской язык... и наглое презрение к предшествовавшим авторам» — это Дмитриев о русской литературе 1830 года. «Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям» — это Жуковский о русской литературе 1848 года. «На моей памяти совершилось поразительное понижение литературы, понижение вкуса и здравого смысла читающей публики» — это Лев Толстой. А Бунин с его знаменитой речью на полувековом юбилее «Русских ведомостей»?.. Ей-Богу, Вяземскому с его нежеланием впадать в крайности было далеко до яростного тона будущего нобелевского лауреата: «Исчезли драгоценные черты русской литературы — глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась

вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый». Это говорилось в 1913 году, и, по мысли Бунина, «драгоценные черты» исчезли из русской литературы как раз за «последние двадцать лет», то есть в начале 1880-х все еще было в относительном порядке...

Конечно, возрастной субъективизм, пристрастный взгляд на молодое поколение не могли обойти ни Дмитриева, ни Жуковского, ни Толстого, ни Бунина, ни Вяземского. Но, даже сделав скидку на «сварливый старческий задор» классиков, приходится, увы, с ними согласиться. Золотой век русской литературы действительно — а не в воображении Вяземского — сменился Реальным, а затем и Животным, и «драгоценные черты» уже не определяли ее облик ни в 60-х, ни в 50-х, ни в 40-х годах. Тоска по утраченному раю предпушкинской и пушкинской эпох оказалась постоянной спутницей Вяземского на протяжении всей второй половины его жизни. Проницательно разглядел он *начало конца* в «оподлении» русской литературы, в превращении олимпа во «вшивый рынок». Оттого и сопротивлялся отчаянно этому «рынку» — сначала Булгарину, потом Полевому, Белинскому, потом Некрасову, потом бесчисленным и безликим левым и правым публицистам 60-х и 70-х; оттого и не уставал поминать в старости Карамзина, Дмитриева, Жуковского, Пушкина — в обреченной надежде заговорить этими именами стремительно разливающуюся Лету, обратить внимание новых поколений читателей к благородной, чистой, глубокой, строгой и светлой классике, к элитарной дворянской культуре.

Добился ли он? был ли услышан?.. Косвенно нам отвечает В. В. Розанов, вспоминая свои гимназические 60-е: Пушкина тогда не только не читали, но даже и не вспоминали, настолько он был неактуален и неинтересен; Некрасовым же зачитывались до одурения, жадно ловили каждую строку. «Аристократизм», культ чести и благородства, какие-либо проявления патриотизма, тем более преданности августейшей фамилии вызывали у молодых только смех. Над умами властвовали Толстой, Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Некрасов, Писарев, Герцен. И не один «пламенный революционер» вступил на свой бурный жизненный путь именно под влиянием прочитанного модного романа на социальную тему, вдохновившись примером «железной воли» Рахметова или умиравшего на баррикадах Рудина...

Это было начало конца не только русской литературы, но всей России, какой ее знал Вяземский. Начало того, о чем с горечью и желчью говорил Иван Алексеевич Бунин.

Конечно, теперь нам ясно, что по самому строгому счету Вяземский был прав, когда отзывался о послепушкинской литературе как о «книгопрядильной промышленности», на которой основано благосостояние «вшивого рынка». С внешней стороны «приличия», разумеется, соблюдались: нападки Писарева на Пушкина были осуждены, сформировался устойчивый пушкинский культ, достигший апогея в 1899-м, в год столетнего юбилея, — но, за немногими исключениями, русские писатели конца столетия склонялись перед Пушкиным и клялись его именем, вовсе не чувствуя себя его духовными наследниками. Он стал, по меткому слову Вяземского, «хорошо бальзамированным почетным покойником русской культуры». Гении Серебряного века скорее отталкивались от Пушкина, преодолевали его, нежели развивали его традиции. И только после революции, в изгнании, русская литература в полной мере осознает справедливость формулы Аполлона Григорьева: «Пушкин — это наше всё». Имя Пушкина станет паролем, которым Владислав Ходасевич будет окликаться в надвигающейся тьме; Владимир Набоков взвесит жизнь и честь «на пушкинских весах»; Георгий Иванов отчаянно воскликнет в «Распаде атома»: «Пушкинская Россия, зачем ты нам изменила?! Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?!»

Выходит все же, что не совсем предала. Кто читает сейчас критические статьи Белинского и Добролюбова? Кто после набоковского «Дара» может всерьез воспринимать Чернышевского? Утратили былую позолоту даже такие гиганты, как Герцен, Некрасов и Тургенев. 1840—1860-е годы привлекают внимание разве что литературоведов, в читательском сознании они почти мертвы. А Карамзин, Жуковский, Баратынский, Тютчев, Пушкин, Лермонтов, весь Золотой век — непоколебимы по-прежнему и всегда будут волновать своей чистотой, светом, благородством...

Может быть, именно желая официально оформить свою деятельность по спасению русской старины от надвигавшегося забвения, Вяземский предложил в 1866 году создать Русское Историческое общество — по примеру Географического и Экономического. Эта идея встретила горячую поддержку наследника, великого князя Александра Александровича, который 7 февраля 1867 года стал почетным председателем общества. Первое заседание состоялось в Аничковом дворце, в его кабинете. Вяземский, единодушно избранный председателем, произнес небольшую речь, обращенную к великому князю, в которой процитировал знаменитые слова Карамзина: «История народа принадлежит царю». Смысл

этих слов, объяснил князь, конечно, не в том, что царь может творить с историей что пожелает, а в том, что он должен изучать ее пристальнее и прилежнее, чем его подданные — ибо от него зависит, какой эта история будет дальше... В дальнейшем великий князь активно участвовал в деятельности общества. Так, в мае 1868 года он, выполняя просьбу Вяземского, получил у отца разрешение на публикацию писем Екатерины II к скульптору Фальконе.

Императорское Русское Историческое общество, основанное Вяземским, просуществовало 52 года; в нем состояли виднейшие русские историки — С. М. Соловьев, К. Н. Бестужев-Рюмин, граф А. С. Уваров, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, П. И. Бартенев, барон А. Г. Жомини, граф С. Д. Шереметев, князь П. П. Вяземский. В 1867—1916 годах общество выпустило 148 томов сборника, где были впервые опубликованы многие интереснейшие документы по истории России. Председателями общества были Вяземский (1866—1878), затем А. А. Половцов (1878—1909), а с 1909 года до революции — великий князь Николай Михайлович. С ним Вяземскому довелось познакомиться в 1876 году в Бад-Эмсе. Смущаясь, великий князь попросил вписать в его альбом какие-нибудь стихи, и Вяземский с удовольствием выполнил просьбу юноши... Последний председатель ИРИО, знаменитый историк великий князь Николай Михайлович, будет расстрелян большевиками в Петропавловской крепости в 1919 году... «Революции не нужны историки», — заявит Ленин, отклоняя просьбу Максима Горького помиловать великого князя.

6 июля 1867 года в составе свиты императрицы Вяземский выехал из Царского Села в большое путешествие. Дорогой написал стихотворение «Петр Алексеевич» (о Петре I, перед которым Вяземский преклонялся всю жизнь). За окнами железнодорожного вагона мелькали Псков, Вильно, Варшава, Краков... наконец Вена, где гостей ждал торжественный прием у императора Франца Иосифа. Затем пароходом вниз по Дунаю, через австрийские земли... Это долгое интересное странствие завершилось в Крыму, в Ливадии, где к жене присоединился Александр II. Семь лет назад это поместье было куплено министерством двора для императрицы Марии Александровны. Сейчас о ней напоминает «Фонтан Марии» в маленьком Арабском дворике Ливадийского дворца...

Четыре месяца, проведенные в этом путешествии, может

быть, были последними месяцами чистого, беспримесного счастья в жизни князя. Летний Крым, напоминавший Вяземскому сразу и Турцию, и Французскую Ривьеру, был, в сущности, еще белым пятном на русской карте; татарские поселки, разбросанные по побережью, хранили отчетливо облик пушкинской эпохи, а Большой Ливадийский дворец, недавно перестроенный из дома графа Потоцкого и напоминавший экзотического вида двухэтажную дачу, блистал новизной*. Жизнь текла вполне беспечная — мирные чаепития с императрицей, прогулки в экипажах и на осликах в горы, веселый щебет детей — 10-летнего великого князя Сергия Александровича и 13-летней великой княжны Марии Александровны, беседы со старым знакомым графом Алексеем Бобринским, «ералаш» до полуночи, виноград, персики и купанье... И стихи ожили. В 1863 году Вяземский уже адресовал императрице стихотворение «Из Венеции в Ливадию...», где пытался воссоздать крымский пейзаж заочно. А тут, в виду настоящих гор и настоящего моря... Государыня нередко просила князя подарить ей поэтическую «фотографию», и Вяземский привычно брался за перо. «Аю-Даг (Дорогою)», «Бахчисарай (Ночью при иллюминации)», «Чуфут-Кале», «Возвращаясь из Кореиза», «Вдоль горы, поросшей лесом...», «Месячная ночь», «Горы ночью (Дорогою)», «Ливадия (27-го июля)» — подарок на день рождения императрицы, «Ореанда», «В Ореанде»... В стихотворении «Слуху милые названья...» словно оживает все побережье — Вяземским не забыты Массандра, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Ореанда... В Бахчисарае он перечел поэму Пушкина и постоял немного в прохладном зале перед ржавою трубкой, из которой вяло капала теплая вода... Тридцать лет назад, 9 сентября 1837-го, был здесь Жуковский — тоже наверняка вытер слезу... Сорок три года минуло с тех пор, как Вяземский написал знаменитое предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» и выпустил поэму в свет. Битву классиков и романтиков теперь проходили дети на уроках русской словесности.

Он искренне полюбил Крым — и снова, в который раз, удивлялся умению своей души оживать, восторгаться величием Божьего творения. Любовался ночным Аю-Дагом, сосновыми лесами, живописными караимами в белых чалмах, мысом Ай-Тодор, великолепным Ореандским дворцом, выстроенным в последние годы царствования Николая Павло-

---

* Старый Ливадийский дворец, ставший свидетелем смерти Александра III, был снесен в 1904 году. Новый белокаменный дворец построен на его месте в 1911-м.

вича... Как всегда, его завораживало море. Это была вторая и последняя встреча с Черным морем в жизни Вяземского.

Опять я слышу этот шум,
Который сладостно тревожил
Покой моих ленивых дум,
С которым я так много прожил
Бессонных, памятных ночей,
И слушал я, как плачет море,
Чтоб словно выплакать все горе
Из глубины груди своей.

Не выразит язык земной
Твоих рыдающих созвучий,
Когда, о море, в тьме ночной
Раздастся голос твой могучий!
Кругом все тихо. Ветр уснул
На возвышеньях Аю-Дага:
Ни человеческого шага,
Ни слов людских не слышен гул...

5 августа генерал-лейтенант Тотлебен, герой Севастопольской обороны, водил августейших гостей по Севастополю; они посетили в том числе и «славное и святое Русское кладбище», где почтили память героев Восточной войны. Навещали Херсонский монастырь. Конечно, заехали и в Ялту — она понравилась старому князю шумом, портовым вечерним оживлением (а вот тесная гостиница совсем не понравилась). 23 августа Вяземского посетил историк Степан Иванович Пономарев, мечтавший написать биографию князя, — он записал рассказ Вяземского о 1812 годе... Через неделю, в день именин Александра II, в Ливадии Вяземский написал небольшую пьеску «Встреча в Ялте», в которой были и мятлевская мадам Курдюкова, и путешественник г. Болтунов, и сочинитель из Вязьмы г. Коврижкин, и довольно бледный юмор, годный разве на то, чтобы заставить зрителей пару раз улыбнуться после ужина. В пьеске поминалась делегация американской прессы, встречавшаяся с августейшей фамилией; в составе этой делегации был 32-летний Марк Твен, который собирал материал для своих «Простаков за границей».

«Крымские фотографии 1867 года» — так, особенно не утруждая фантазию, назвал Вяземский южный свой цикл — завершились уже не в Крыму, а в Кишиневе, 22 октября — там князь дописал стихотворение «В Севастополе». Там же было написано и «Проездом через Кишинев», где странно соседствуют воспоминания о Пушкине и мысли о... женской эмансипации, которая Вяземскому, разумеется, не нравится. Эти стихи заканчиваются ворчливыми строками:

...Весь мир — все тот же Кишинев;
Нет пушкинских стихов, ни шуток,
Ни гениальных шалунов.

Похоже, благостная крымская атмосфера уже перестала оказывать на старого князя свое воздействие. Впрочем, он давно замечал, что осенью и зимой его психическое и физическое состояние ухудшается.

1868-й прошел более-менее спокойно. 27 апреля Вяземский принял участие в празднике лейб-гвардии Гусарского полка, шефом которого был царь, и написал к дате «Песню лейб-гусаров». Лето августейшая семья снова провела в Ливадии, но на этот раз Вяземский уже не поехал в Крым: 30 июня в подмосковном Останкине он присутствовал на свадьбе своей любимой внучки Екатерины Павловны. Избранником ее стал граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844—1918), кавалергардский штабс-ротмистр, адъютант наследника, один из богатейших людей страны. Ему суждено было стать самым ярким представителем легендарного рода Шереметевых. Видный сановник, близкий друг Александра III, тонкий, приятный и очень образованный человек, любовно хранивший лучшие традиции русской аристократии, он оставил интереснейшие мемуары и множество ценных исторических работ, за которые в 1904 году был избран почетным членом Академии наук. С 1898 по 1917 год ему принадлежала усадьба Остафьево, в которой им был создан первый в России общедоступный Пушкинский музей... Впрочем, жизнь и творчество графа С. Д. Шереметева заслуживают отдельного исследования. Как и жизнь его второго сына, графа Павла Сергеевича (1871—1943), первого хранителя Остафьевского музея при советской власти, а также внука, графа Василия Павловича (1922—1989), талантливого художника.

Вяземский был близко знаком с отцом Сергея Дмитриевича, графом Дмитрием Николаевичем Шереметевым, знаменитым своей благотворительностью, и часто бывал в его петербургском Фонтанном доме. «В первый раз видел я князя Петра Андреевича в нашей домовой церкви на Фонтанке, — вспоминал С. Д. Шереметев. — Это было в пятидесятых годах. Помнится мне служба на Страстной неделе. Церковь была полна, и хор пел «Чертог» Бортнянского... Вижу, как Петр Андреевич прислонился к стене и молился горячо». Следующая встреча произошла уже зимой 1868-го на вечере у графа Орлова-Давыдова — там Вяземский предложил Шереметеву принять участие в лотерее в пользу покупки дома Жуковского в Белёве... Граф Сергей Дмитри-

евич, несмотря на молодой возраст, быстро завоевал расположение старого князя, обнаружив обширные познания в русской истории и любовь к Жуковскому и Пушкину. А уж когда Шереметев помог собственному зятю Павлу Петровичу спасти от продажи давно заложенное Остафьево, благодарность Вяземского не знала границ. Лучшей партии для внучки было не придумать... Кстати, идею венчания в Останкине подал молодым именно Вяземский. Медовый месяц Шереметевы провели в Остафьеве, а потом поехали в Европу. 28 мая 1869 года в молодой семье появился первый ребенок, правнук Вяземского — граф Дмитрий Сергеевич Шереметев*. Шесть лет спустя он под диктовку матери сочинил первое письмо прадедушке, в конце собственноручно пририсовав птичку и домик... «Здравия, всяческого благополучия желаю любезнейшему правнуку Димитрию и братьям и сестре его, — отвечал Вяземский. — Жаль, что не вижу, как вы растете и шалите. Всех вас обнимаю». При жизни князя Петра Андреевича у Шереметевых родились еще дети Павел (1871), Борис (1872), Анна (1873), Петр (1876) и Сергей (1878).

Снова Царское Село, привычные уже домики Китайской Деревни, где когда-то Карамзин вычитывал корректуры «Истории»... С. Д. Шереметев не раз бывал у Вяземских в гостях и так вспоминал об этом: «Комнаты Вяземских в Китайской Деревне были очень уютны; особенно хорошо была устроена княгинею гостиная с цветами в разнообразных вазах. Удобно расставлены были покойные, шитые кресла; в них сиделось как-то особенно хорошо, отовсюду веяло прошлым. Зеленые занавески на лампах придавали приятный для глаз полусвет; за открытою дверью виднелся ряд комнат, а в последней из них стоял письменный стол князя с наваленными на нем книгами и бумагами. У стола этого появлялся Петр Андреевич в сером халате, с ермолкой на голове и трубкою в руках. Медленной поступью проходит он через ряд комнат в гостиную и садится в покойное старое кресло; в комнате водворяется знакомый приятный запах трубки... Или невзначай начнется какой-нибудь тихий разговор, то вдруг неожиданно, в хорошую минуту, услышите рассказ из прошлого или меткую шутку. Вы видите на лице князя ту заразительную и едкую улыбку, о которой говорил Пушкин, и нет возможности не смеяться. Как-то раз княгиня, соби-

* В 1912 году Шереметевы еще раз породнились с Вяземскими — на этот раз со второй ветвью рода. Дочь Дмитрия Сергеевича, праправнучка П. А. Вяземского графиня Елизавета Дмитриевна Шереметева вышла замуж за князя Бориса Леонидовича Вяземского.

раясь куда-то выехать, спрашивает у него: какую ей лучше надеть шляпу? — *Во всех ты, душенька, нарядах хороша,* — ответил он».

Наверняка молодому графу было любопытно, что же именно за бумаги громоздятся на письменном столе живого классика. А это были рукописи статей-воспоминаний, которыми Вяземский усердно занимался в то время, — некрологи князю В. А. Долгорукову и графу А. А. Бобринскому, очерк о братьях Александре и Константине Булгаковых, попытка начать биографию князя П. Б. Козловского... Свое кредо Вяземский-мемуарист изложил в статье о Долгорукове: «Официальная государственная жизнь князя Долгорукова не подлежит в этот статье ни нашей поверке, ни нашему суду... В каждом официальном лице есть еще другое лицо — самобытное, так сказать, перворожденное. Это последнее проглядывает сквозь внешнюю официальную обстановку. О нем с полным правом могут судить современники». Все «поминальные очерки» Вяземского — именно такой неофициальный суд: и дань памяти почившему, и окончательное прояснение собственного к нему отношения, и закрепление его образа для потомков, и обстоятельный, полушутливый-полусерьезный рассказ о нем как о живом человеке, а не как о памятнике. Если речь шла о близком друге, трудностей обычно не возникало. С годами Вяземский стал усложнять себе задачу: под его перо стали попадать такие одиозные личности, как граф А. А. Аракчеев или граф Ф. В. Ростопчин. Знакомя читателя с ними, князь очень осторожно подходил ко всем обвинениям, выдвигаемым в адрес своих героев, хотя не склонен был и во всем одобрять их. Готовность выслушать обе стороны, не спешить с обвиненьем и оправданьем — эти черты начали ярко проявляться в его характере еще в начале 30-х. «В летах молодости мы должны иметь жар, запальчивость, резкость, односторонность, исключительность газеты; в летах опыта — хладнокровие, самопознание, суд, но и беспристрастность истории», — писал он тогда Александру Тургеневу.

Правда, «беспристрастность истории» трактовалась Вяземским весьма своеобразно. Легко заметить, что Карамзин и Жуковский в его воспоминаниях вне критики — они непогрешимы всегда, абсолютно. А в тех случаях, когда Вяземский пытался выглядеть нарочито бесстрастным летописцем, добру и злу внимавшим равнодушно, его хладнокровие далеко не всегда шло мемуарам на пользу... Вот князю подвернулся под руку давно забытый Херасков — некогда гремевший поэт, автор «Россияды», для юного Вяземского —

образец холодного и бездарного стихотворца. Теперь же, по прошествии многих лет, Вяземский охотно признает за Херасковым немалые заслуги в русской словесности. Здесь «беспристрастие», пожалуй, вполне к месту. Но вот князь берется заново воссоздать пушкинскую дуэльную ситуацию — и тот же самый метод уже скорее отталкивает, чем привлекает. Непонятны и неблизки русскому читателю попытки Вяземского быть объективным по отношению к Дантесу (1872): словно перечеркивая собственные боль и ярость зимы 1837-го, мемуарист обстоятельно доказывает, что Дантес не мог не вызвать Пушкина на дуэль, что поведение Пушкина было излишне резким... Возможно, такой подход к проблеме и имеет право на существование, но никакого удовлетворения он никому, кроме разве самого автора, не приносит. Вяземский словно дразнил своих читателей, намеренно защищая *правду меньшинства*, отыскивая добрые черты в заведомо недобрых исторических персонажах и подчеркнуто спокойно отзываясь о тех, чьи имена стали к 1870-м святыми — Гоголе, Лермонтове... Отчасти можно понять его желание быть объективным ко всем: сам Вяземский за последние двадцать лет услышал немало безосновательной критики в свой адрес.

Конечно, и в старости ему случалось изменять принципу беспристрастия и выходить из себя (и для этого требовались иногда сущие пустяки — например, услышав слова Софьи Карамзиной о том, что железные дороги сильно сократили расстояния и экономят время; от подобных высказываний Вяземский почему-то приходил в ярость). Но такие случаи были редкостью. «Он никогда не осуждал, никогда никого не бранил, — вспоминал князь В. П. Мещерский, — он всегда только судил кротко и остроумно о людях и о событиях и только с тонким юмором осмеивал в них смешное и дурное». Даже полемика с абсолютно чуждыми ему по духу оппонентами — «красными» журналистами 60-х — велась князем в высшей степени по-джентльменски. От беспощадной колкости его эпиграмм 20-х не осталось и следа, теперь Вяземский предпочитал мягко вышучивать, убеждать, подавлять противника аргументами. (Единственное исключение — эпиграммы на И. С. Тургенева, о чем ниже.) Ярким примером джентльменской полемики старого князя может служить его статья «Воспоминание о 1812 годе», написанная после появления «Войны и мира».

Отношения классиков поначалу были вполне доброжелательными — их связывало свойство (Толстой — четвероюродный брат В. Ф. Вяземской), молодой граф не раз бы-

вал у Вяземского в гостях, читал ему свои рассказы и даже факт запрета Вяземским-цензором одной из глав «Юности» отметил в дневнике без всякого возмущения. О поразительном (и, конечно, неслучайном) сходстве ситуаций, в которых оказались на Бородинском поле реальный Вяземский и вымышленный Пьер Безухов, уже было сказано. Тем не менее понимания между Вяземским и Толстым, конечно, возникнуть не могло — они принадлежали уже не просто к разным, а к совсем разным поколениям. Вяземскому, чтобы поставить на человеке крест, достаточно было услышать от него, что Белинский — крупная величина в русской критике; Толстой же статьями Белинского о Пушкине зачитывался. Судя по дневнику Толстого, 6 января 1857-го между ним и Вяземским состоялся какой-то малоприятный разговор о Белинском: «Я сказал про Белинского дуре Вяз.».

Начиная с января 1868 года Вяземский получал от П. И. Бартенева свежеотпечатанные тома «Войны и мира». И... на полях романа в изобилии начали появляться карандашные пометки наподобие: «Какое отсутствие всякого художественного вкуса и понятия», «Как все это неверно и натянуто», «Что за глубоко-бездонное пустословие вся эта философическая выставка»*... Лишь один-единственный раз князь поставил на полях замечание «Очень хорошо». Все прочие маргиналии — со знаком «минус».

Характер этих пометок дает ясное представление о том, что именно не нравилось Вяземскому у Толстого. Во-первых, стиль — например, фраза «Расходившееся звездой по Москве всачивание французов...» дала Вяземскому чудесный повод поиздеваться над этой «звездой всачивания». Склонность автора к натурализму — старый князь подчеркивал всякие «сморщился и заперхал», «засопел носом»... Ну и прежде всего потуги Толстого философствовать и «перепутывать роман с историей». Вот сцена военного совета — там, где девочка Малаша с полатей следит за конфликтом Кутузова и Беннигсена. «К чему опять эта всевидящая и всепонимающая Малаша? — морщится Вяземский. — Все для того, чтобы такою грубою ниткою сшить роман с историей»**. А фраза романиста «Отступление французов из Москвы есть ряд побед Наполеона и поражений Кутузова» и вовсе повергает сиятельного читателя в полное недоумение: «Что за нелепость! Преследующая армия терпит поражение, а отсту-

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп.1. Ед. хр. 1211. Л. 43, 56 об, 65.
** Там же. Л. 9.

пающая или бегущая армия одерживает ряд побед»*. Общий вывод звучал так: «Автор любит задавать вопросы давно решенные, он точно какой-то новичок на земле, упавший с луны»**.

По мере чтения раздражение накапливалось. И к августу 1868-го Вяземский «созрел» для большой статьи «Воспоминание о 1812 годе», где впервые представил читающей публике подробности своей бородинской эпопеи, а попутно предъявил автору «Войны и мира» немало серьезнейших претензий. Бартенев, рискуя потерять расположение Толстого, тем не менее не мог отказать Вяземскому и разместил его статью в первом номере «Русского архива» за 1869 год.

Тон статьи «Воспоминание о 1812 годе» джентльменски-корректен (с редкими прорывами не гнева, не возмущения — обиды), так что остается лишь подивиться восприятию Тютчева, усмотревшего в статье «предубеждение» и «колючесть». Эти качества отсутствуют даже в заметках Вяземского на полях «Войны и мира», заметках, которые делались не для печати. А в статье князь просто-напросто выдвигает свою концепцию исторической прозы, отличную от концепции Толстого. По мнению князя, «романизировать» исторические события, то есть вводить в повествование наряду с реальными историческими лицами вымышленных персонажей, можно только в том случае, если события взяты «из дальней старины». Например, «Борис Годунов» и «Капитанская дочка» Пушкина: «также соприкосновение истории с романом; но соприкосновение естественное и вместе с тем мастерское. Тут история не вредит роману; роман не дурачит и не позорит историю». Толстой же пишет книгу, действие которой происходит всего полвека назад, очевидцы эпопеи 1812 года еще живы (их, правда, очень мало, но это не значит, что их вовсе нет. *Правду меньшинства* Вяземский всегда отстаивал с особым упорством)... Зачем же тогда наряду с реально существовавшими Степаном Апраксиным, Александром Балашовым и Федором Ростопчиным выводить каких-то вымышленных князей, да еще с искаженными фамилиями (Болконский, Курагин)?..

Другая претензия, предъявляемая Вяземским Толстому, на нынешний взгляд выглядит довольно курьезно. В длиннейшем абзаце, причем не особенно заботясь об аргументах, князь утверждает, что фигура Пьера Безухова *карикатурна* и что Толстой выступает в «Войне и мире» прямым последо-

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп.1. Ед. хр. 1211. Л. 112 об.

** Там же. Л. 82.

вателем... Гоголя, как известно, любившего изображать *пошлость*... «Пред вами жизнь со всеми своими таинствами, глубокими пропастями, светлыми высотами, со своими назидательными уроками; пред вами история с своими драматическими событиями и также со своими уроками, еще более наставительными, чем первые, — писал князь. — А вы из всего этого выкраиваете одних Добчинских, Бобчинских и Ляпкиных-Тяпкиных. К чему такое недоверие к себе, к своим силам, к своему дарованию?» Современным читателям «Войны и мира» образы князя Андрея, Наташи, Пьера, капитана Тушина, Кутузова кажутся вершинными достижениями русской классической прозы без малейшего оттенка пошлости и карикатурности, напротив, со всеми вышеупомянутыми «таинствами» и «высотами» — для князя это были недостойные шаржи, раскрашенные картонные картинки из любимой «допожарной» эпохи... Возможно, задело его и то, что Толстой использовал в сцене Бородинского сражения его собственные рассказы (Вяземский тут же дает «альтернативную», то есть *реальную* версию романных событий, только в главной роли уже не какой-то там Безухов, а сам князь...). Но особенно негодовал он (впрочем, делал это джентльменски-вежливо) на упомянутых Толстым безымянных «стариков подслеповатых, беззубых, плешивых, оплывших желтым жиром» — древних вельмож, слушающих речь Александра I в Слободском дворце. Тут уж явно была двойная обида и за поколение отцов, выведенное князем три года назад в статье «Допотопная, или допожарная, Москва», и за собственный «подслеповатый и беззубый» возраст.

Одна из сцен толстовского романа поразила Вяземского настолько, что он перечел ее несколько раз. Это эпизод появления Александра I на балконе с бисквитом в руках. Кусок пирожного падает на землю, его подбирает кучер; к нему бросается толпа (и с нею юный Петя Ростов) и начинает отбивать съедобный сувенир. Заметив это, император приказывает подать тарелку с бисквитами и принимается кидать их в толпу...

Эта сцена сильно задела старого князя за живое. Мало того что он сам был 15 июля 1812 года в лефортовском Слободском дворце и хорошо помнил, что ничего подобного не происходило. Но ведь если вдуматься, ничего подобного *произойти и не могло*! Сколь же неверное представление было у Толстого о характере Александра I, коли он написал государя кидающим бисквиты в толпу, точь-в-точь как старосветский помещик бросает на драку пряники деревенским мальчишкам! «Он был так размерен, расчетлив во всех сво-

их действиях и малейших движениях; так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким; так был во всем обдуман, чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепетливости, что скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться пред народом, и еще в такие торжественные и знаменательные дни, доедающим бисквит», — писал Вяземский, и нет сомнения, что он был прав — и с исторической, и с психологической точек зрения.

Кстати сказать, эту уверенность Вяземского в своей правоте почувствовал и сам Толстой — и, серьезно обеспокоясь, писал 6 февраля 1869 года Бартеневу: «Князь Вяземский в № Русского Архива обвиняет меня в клевете на характер императора Александра и в несправедливости моего показания. Анекдот о бросании бисквитов народу почерпнут мною из книги Глинки». Бартенев просмотрел книгу С. Н. Глинки «Записки о 1812 годе», но эпизода с бисквитами там не нашел, и потому опровержение Толстого в печати так и не появилось. «Этот человек, вследствие своего пламенного воображения, совсем разучился отличать то, что он читал, от того, что ему представилось», — саркастически написал Бартенев Вяземскому.

Уже много позже, в 1935 году, в комментариях к академическому собранию сочинений Толстого Б. М. Эйхенбаум предположил, что злосчастные бисквиты были заимствованы Толстым из книги некоего А. Рязанцева «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 г.». Но там сцена совершенно другая по характеру: Александр I «приказал камер-лакеям принести несколько корзин фруктов и своими руками с благосклонностью начал раздавать их народу». Эйхенбаум счел, что Толстой описывал эту сцену на память и заменил фрукты бисквитами. Возможно. Но нельзя не согласиться с тем, что образ императора, благосклонно раздающего из своих рук фрукты (что очень вяжется с обликом Александра I), и императора, надменно бросающего с балкона сласти в толпу, мягко говоря, несет разную смысловую нагрузку...

По большому счету, князь понимал, что ввязывается в спор с Толстым без надежды победить — снова и снова был он «присяжным защитником проигранных тяжб». Пресловутые бисквиты так и остались в романе, Безухова Толстой тоже не вычеркнул. Стариков, помнивших события 1812 года, можно было пересчитать по пальцам — кроме Вяземского с разгромной статьей выступил его бывший начальник по службе Авраам Норов. Остальные рецензии — и отрицательные, и положительные — писали в основном те, кого в

1812 году не было еще на свете. И мелкие подробности, на которые обращал внимание Вяземский, не могли волновать их в принципе. Собственно, ценность статьи Вяземского и заключалась главным образом в том, что он отстаивал *свою правду* — правду очевидца, ветерана, правду тех немногих людей, которые помнили свое собственное Бородино.

Вяземский не мог не знать, что его позицию относительно «Войны и мира» разделяют буквально три-четыре человека. И что его статью большинство читателей расценит как подборку скучных придирок выжившего из ума старика к молодому гению. Но нелишне будет напомнить о том, что мнение «почтеннейшей публики» князя всегда волновало в последнюю очередь.

7 сентября 1868 года Вяземский впервые прочел «Воспоминание о 1812 годе» Александру Никитенко.

— Ваши мысли о значении истории и исторического романа чрезвычайно верны и глубоки, — сказал Никитенко, когда они с князем брели по царскосельской аллее. — А ваши воспоминания о Бородине — настоящие золотые блестки. Желаю вам, князь, еще долго мыслить, чувствовать и писать так, как вы это делаете сейчас.

Ободренный этими словами, Вяземский 27 декабря устроил публичное чтение статьи у себя дома. Там же впервые прозвучало и большое стихотворение «Поминки по Бородинской битве» — поэтическая версия бородинской эпопеи и одновременно послание к Дмитрию Гавриловичу Бибикову. Именно после этого чтения произошел крупный спор Вяземского с Тютчевым, свидетелем которого стал граф С. Д. Шереметев.

Эта история порядком испортила отношения Вяземского с Толстым (хотя, если вдуматься, от этих отношений уже мало что оставалось). В 1875 году, прочитав в «Русском вестнике» первую и вторую части «Анны Карениной», Вяземский написал Бартеневу о том, что не против теперь помириться с автором: «Толстой прикрывает все свои парадоксальные понятия и чувства свежим блеском таланта своего — читаешь и увлекаешься, следовательно прощаешь, по крайней мере часто».

И все-таки основное свое мнение о Толстом Вяземский высказал в письме Погодину вскоре после «бисквитного» спора, в апреле 1869 года: «На Руси *дарование* и ум не близнецы и часто даже не свойственники и не земляки... У Толстого (*Война и Мир*) есть, без сомнения, богатое дарование, но нет хозяина в доме». И это касалось далеко не только Толстого.

Еще в конце 50-х, после пятилетнего перерыва вновь по-

селившись в Петербурге, Вяземские завели у себя литературный салон. Среди его посетителей мы видим не только ровесников старого князя — бывали там Владимир Бенедиктов, Владимир Соллогуб, Аполлон Майков, Яков Полонский; Алексей Толстой читал свою трагедию «Смерть Иоанна Грозного», Иван Гончаров — главы из «Обрыва», Алексей Писемский — «Горькую судьбину». Но, по-видимому, этим личные контакты Вяземского с литературной молодежью и ограничивались. К тому же «молодежью» перечисленных выше писателей можно назвать с большой натяжкой — всем им было от 40 до 50 лет. Все они, кроме того, были сослуживцами князя по цензуре либо, как и он, часто бывали при дворе. Таким образом, Вяземский ограничивался общением с «правым флангом» литературы 60-х годов. Иногда его представители удостаивались сдержанной похвалы князя. «Обломов» Гончарова? Замечательный роман, связующее звено между старой и новой прозой. «Тысяча душ» Писемского? Слишком грубая кисть, многое упущено из-за односторонности автора, но ему веришь и увлекаешься сюжетом... В 1864 году одобрение Вяземского заслужил первый роман Н. С. Лескова «Некуда» — и неудивительно, поскольку эта книга была, в сущности, антинигилистическим ответом на «Что делать?» Чернышевского.

«Левый фланг» вызывал у Вяземского смесь отвращения и тоски: в нем он видел торжество той самой посредственности, которая влезла в русскую литературу еще в лице Булгарина и Полевого. Посмотрев в мае 1858 года пьесу Островского «Бедность не порок», Вяземский записал: «Успех этой комедии и восторг публики доказывают совершенное падение искусства и вкуса. Садовский хорошо, т.е. верно играл, но что он представлял? Купца, который промотался и спился, но остался добрым человеком. Что тут за характер? Где творчество и художественность автора? Все сцены сшиты на живую нитку и сшиты лоскутья. Единства, полноты, развития нет»*. Этот его отзыв, слегка изменяя акценты, можно было бы применить ко всем животрепещущим новинкам «левой» русской литературы. Откровенные революционные агитки, наподобие «Что делать?» Чернышевского, вызывали у него вполне понятное негодование. Но и такие, на первый взгляд лишенные «социальных идей» вещи, как «Еду ли ночью по улице темной...» Некрасова или «Преступление и наказание» Достоевского, Вяземский не мог ни понять, ни

* Справедливости ради отметим, что «Гроза» Островского произвела на Вяземского сильное впечатление.

одобрить. И не потому, что был лишен сострадания или не мог со своей аристократической колокольни оценить весь ужас беспросветной жизни героев этих сочинений. Нет, он вполне допускал, что доходные шестиэтажные коробки, которые во множестве возводились на окраинах Петербурга, заселены сентиментальными проститутками, спившимися чиновниками, нищими студентами и скупыми старухами. Но он искренне недоумевал: зачем делать этих несчастных героями элегий и повестей? Разве это предмет для искусства, а не для полицейского рапорта или статьи в филантропическом журнале? Почему всех литераторов так тянет «на дно», туда, где пошлость, грязь, нищета, ужасные отношения между людьми?.. Ведь все давно уже сказано — и как сказано! — Гоголем... Эти вопросы так и остались для Вяземского неразрешенными.

Да сказать по чести, он не очень-то и задумывался над ними. Гораздо приятнее было перечитывать ушедших друзей, чем новомодные бестселлеры. Постоянными спутниками старости Вяземского были Карамзин, Жуковский, Батюшков, Баратынский, Пушкин... Они и остались для князя главными судьями. «Других ныне судей не признаю и ни в грош не ставлю суда и приговоров их», — писал он Я. К. Гроту.

Литературная молодежь, за редкими исключениями (уже упоминавшиеся Гончаров, Алексей Толстой, Писемский), платила Вяземскому той же монетой: реже — насмешками, чаще — равнодушием. А Иван Тургенев и вовсе питал к старому князю сильнейшую неприязнь, выплескивавшуюся даже на страницы его романов. Например, в «Вешних водах» и «Нови» мельком упоминался некто князь Коврижкин, «лакей-энтузиаст». Да и в частных письмах Тургенев с омерзительной злобой набрасывается на Вяземского: прочитав его стихи, восклицает: «Экая мерзость!» — величает князя старым холопом и возмущается тем, что он слишком зажился на свете... Впрочем, у Тургенева, кажется, были личные причины ненавидеть Вяземского: он не мог забыть собственного позорного поведения во время пожара на пароходе, свидетелем которого был князь. Сам Вяземский отводил Тургеневу второе после Гончарова место в современной прозе (имея в виду «Записки охотника» и «Дворянское гнездо»; все прочее у Тургенева ему не нравилось). Но злобные отзывы Тургенева до него, естественно, доходили, и в январе 1872 года князь ответил на них несколькими эпиграммами. Одна из этих эпиграмм по праву может соперничать с самыми острыми инвективами юного Вяземского:

Талант он свой зарыл в «Дворянское гнездо».
С тех пор бездарности на нем оттенок жалкий,
И падший сей талант томится приживалкой
У спадшей с голоса певицы Виардо.

Но все же Тургенев был исключением. Прочие «гранды» 60-х попросту не обращали на Вяземского никакого внимания: он казался им скучным ретроградом. Например, с Достоевским князь даже не был знаком, несмотря на то, что в 1875 году оба отдыхали в Бад-Эмсе. Никто из них не оставил о князе благоговейных воспоминаний, никто не донес до нас облик почтенного литературного «мэтра». Причины этого очевидны: Вяземский не создал школы, не оставил учеников, не был приписан ни к какому течению или группе, в официальных литературных кругах тех лет его вовсе не было видно.

Сам Вяземский насмешливо писал об этом так: «На долгом веку моем был я обстрелян и крупными похвалами и крупною бранью. Всего было довольно. Выдержал я испытание и заговора молчания, который устроили против меня. Я был отпет: кругом могилы моей, в которую меня живого зарыли, глубокое молчание. Что же? Все ничего. Не раздобрел, не раздулся я от первых, не похудел — от других. Натура одарила меня большою живучестью, и телесною и внутреннею. Это может быть досадно противникам моим». Конечно, в этом абзаце присутствует определенная доля литературной позы, и в глубине души Вяземский, несомненно, был уязвлен своим странным положением в литературе.

...В мае—июне 1869 года Вяземский шесть недель просидел в карантине — перенес оспу. Лето выдалось дождливым, и старый князь, гуляя по мокрому Петергофу, посмеивался над воспетыми им четыре года назад фонтанами: как будто мало воды падает с небес!.. 5 июля поездом выехал из Царского Села в Москву, где для него приготовили квартиру в Большом Кремлевском дворце. День рождения отметил в компании генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, романиста И. И. Лажечникова, князя В. Ф. Одоевского и маленькой, все еще привлекательной 60-летней дамы — Александры Осиповны Смирновой, «черноокой Россетти»... «Постарела, поседела, почернела, пожелтела, поюжнела, полимонела, но, кажется, сохранила всю свою умственную живость и бойкость», — записал князь, которого смутила и обрадовала эта неожиданная встреча со своей старой любовью.

В подмосковном Ильинском собралась большая шумная компания — молодые и немолодые придворные, несколько великих князей, юные дамы, в том числе внучки Вяземско-

го Ара и Катя... Дни проходили в сплошных развлечениях — катанья верхом и в экипажах, домашние спектакли на свежем воздухе, лодочные гонки на Москве-реке, пение цыганского хора, — и князь, глядя на веселящуюся молодежь, невольно вспоминал лихие гулянки собственной подмосковной юности... Дамы в голос твердили князю, что он выглядит превосходно и даже помолодел... Почти все персонажи шумного лета 1869-го попали в куплеты Вяземского «Ильинские сплетни»: в великом множестве строф всем нашлось место, а припевом стало любимое присловье Соллогуба: «Благодарю, не ожидал!» Эти шуточные стихи пользовались таким успехом при дворе, что пришлось Вяземскому писать потом «Царскосельские сплетни» и даже «Слухи из Ливадии».

Впрочем, хватало ему и серьезной работы. Засиживаясь далеко за полночь в своем домике «Не чуй горе», он писал для бартеневского «Русского архива» статью к столетнему юбилею Владислава Озерова — уже вторую свою работу про славного некогда драматурга. Перечитал «Сочинения» Баратынского, изданные его сыном, — и начал писать рецензию на эту книгу. Обдумывая положение покойного друга в русской поэзии, Вяземский невольно сказал и о себе: «Его заслонял собою и, так сказать, давил Пушкин, хотя они и были приятелями и последний высоко ценил дарование его. Впрочем, отчасти везде, а особенно у нас всеобщее мнение такую узкую тропинку пробивает успеху, что рядом двум, не только трем или более, никак пройти нельзя. Мы прочищаем дорогу кумиру своему, несем его на плечах, а других и знать не хотим, если и знаем, то разве для того, чтобы сбивать их с ног справа и слева и давать кумиру идти, попирая их ногами». Но эту статью он быстро оставил, видимо, почувствовав, что его уводит куда-то не в ту сторону.

Историк С. И. Пономарев, давно собиравший материалы для Полного собрания сочинений Вяземского, предложил князю — уже во второй раз — стать его биографом. «Вы слишком милостивы ко мне, любезнейший Степан Иванович, и забываете, что я еще жив, — иронично отозвался Вяземский. — Это и выгода, и недостаток. Погодите, может быть, лет через 50, когда черви объедят меня до косточки, меня отыщут и помянут словом беспристрастным и мне подобающим. Я не самохвал, но знаю, что я имею свое время и место в русской литературе».

Мирно прошедший 1869 год закончился для Вяземского тяжелейшим нервным приступом — уже которым по счету. Собирались бесчисленные консилиумы, но все они заканчи-

вались одинаково — Вяземский выгонял врачей, не желая их слушать... Родные старались отвлечь князя то карточными партиями (компанию ему составляли жена, сын и муж внучки), то музыкой (наняли пианиста, который играл деньденьской), то санными прогулками по ночному Царскому Селу. Но все было напрасно. Его повезли на лечение в Висбаден.

23 декабря 1870 года, незадолго до Рождества, Вяземский присутствовал в Висбадене на каком-то вечере. После года, проведенного в полнейшем мраке, он уже мог появляться в обществе. Кто-то пытался расшевелить его, разогнать тоску, вызвать на шутку. Он ответил четверостишием:

Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться,
Остаться должен я при немощи своей.
Зачем, отжившему, живым мне притворяться?
Болезненный мой смех всех слез моих грустней.

Пять дней спустя в письме М. А. Вяземской он прислал «Эпитафию себе заживо», где сказал о своем состоянии еще откровеннее:

Лампадою ночной погасла жизнь моя,
Себя как мертвого оплакиваю я.
На мне болезни и печали
Глубоко врезан тяжкий след;
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.

«Того, которого вы знали» — значит автора изящных альбомных надписей и беззаботных «Ильинских сплетен», мастера поералашничать и полюбезничать с юными фрейлинами, по-молодому влюбившегося в Мэри Ламсдорф. Теперь, после года в аду лечения, Вяземский твердо знал про себя, что он — не более чем живой труп, присутствующий «при своем разложении и распадении». И притворяться живым не было ни сил, ни желания. «Старость уже сама по себе неизлечимая и пакостная болезнь», — роняет он в письме к М. А. Максимовичу и тут же описывает свои симптомы: расстройство нервов, хандра, бессонница, «невежество врачей», ненависть к колокольному звону и бою часов... Он возненавидел Висбаден, ему стало казаться, что он утратил там последнее свое здоровье. «Больной выехал я из Петербурга в конце 1869 года, больным прожил я за границею более полутора лет и больным возвратился в Россию. С приезда моего мне все хуже да хуже».

Близкие старались создать ему все условия для комфорт-

ной жизни. Но князь почти не общался с домашними, был постоянно мрачен, напряженно расхаживал взад и вперед по комнатам. Иногда садился у фортепьяно и, слушая чью-нибудь игру, грустно говорил о том, как хотелось бы ему выучиться играть самому... «Одним из признаков болезненного состояния его было охлаждение к маленьким детям, которых вообще очень любил, — вспоминал граф С. Д. Шереметев. — Раз даже отказался поздороваться с правнуками и вышел из комнаты взволнованный».

Болезнь была для него тем мучительнее, что сам он прекрасно осознавал свое положение. «Кроме главной болезни моей, — записывал Вяземский 4 сентября 1871 года, — ипохондрии в высшей степени, которою одержим я около двух лет, подвержен я еще частым болезненным припадкам. С возвращения моего из-за границы в минувшем году сперва страдал я ревматическими болями в ногах, а особенно в левой... Терплю от болезненных ощущений в животе, которые ни определить, ни выразить не умею... Часто во время прогулки пешком эти припадки усиливаются. Вообще прогулки пешком и в экипаже нисколько не ободряют меня. Эти припадки более всего раздражают меня и наводят на меня глубокое и безнадежное уныние. Вообще, несмотря на уверения врачей, я никак не верю излечению своему. Вот уже третий раз с 1850 года, что я терплю ипохондрическое расположение. Говорят мне: два раза оно проходило, должно пройти и в третий раз. Я этому расчету и выводу не верю. Напротив, судя по крепкому сложению моему, не взирая на то, что мне около 80 лет, я боюсь, что эта болезнь окончательно меня охватила, и что моя натура может выдержать ее еще, пожалуй, лет десять. Чего доброго.

Вот уже около года и 9 месяцев, что я каждую ночь принимаю против бессонницы хлорал... Не могу отучить себя от хлорала потому, что ничего так не боюсь, как бессонницы. При обыкновенной вспыльчивости моей и нетерпении бессонница приводит меня в пароксизмы раздражения и гнева, которыми не могу овладеть. Часто после порядочной ночи просыпаюсь в самом дурном расположении духа. Это тоскливое расположение, более или менее тягостное, почти постоянно. Никакое развлечение не разгоняет мрачных мыслей. Я разлюбил все свои прежние занятия, прежние привычки. Все мне опостылело физически и нравственно»*.

Внезапно и навсегда исчезли из его творчества «внешние», официальные, придворные стихи. Последней попыт-

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 617. Л. 1—4.

кой будет «Красивый Эмс» 1875 года, написанный к приезду в Бад-Эмс Александра II. Благодаря императрицу за посещение («26 января 1872 года»), князь честно признавался в своей беспомощности «достойно воспеть царицу». «Моя поэзия и дни мои угасли» — так начиналось это стихотворение, и эти строки стали лейтмотивом начала нового десятилетия Вяземского.

Впрочем, поэзия «угасла» только для посторонних. Как ни уговаривал Вяземский сам себя, что пора «стихами заговеться», наедине с собой он продолжал увязывать рифмы, и объяснение этому далось еще в начале 60-х («Оправдание»): стихи — самый привычный способ «желчь и скорбь рассеять». Записным книжкам он уже давно не доверял ничего личного; интимным дневником с начала 70-х становятся именно стихи, у которых не было читателей, за исключением Веры Федоровны да редких, особо приближенных гостей. Широко разбрасывая по бумаге корявые буквы, день за днем вел князь поэтическую хронику своего угасания. «Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду», «поминки по себе самом», «тоскующая тень» — из одного стихотворения в другое... Их он, как правило, наборматывал во время тихих прогулок по выученным наизусть уже аллеям царскосельского парка. Не то что импровизация, а какая-то пассивная стихотворческая гимнастика. Если что-то не получалось, он обещал себе доработать стихотворение после. Но за столом, на бумаге поправлять сделанное было уже лень, да и желание пропадало.

Вяземский терпеть не мог перемен. Будущего он не любил, не очень любил и настоящее; начинал привечать его только тогда, когда оно делалось прошлым. За неподвижность, неизменность обстановки ценил старый князь изящные дворцовые пригороды столицы. Здесь, в Петергофе и Царском, ничего не менялось: дева склонялась в тысячный раз над разбитым кувшином, Кагульский монумент, у которого когда-то бродили с Жуковским, был на месте, в Лицее озорничали тени Пушкина и Дельвига, неслышно подкатывали придворные экипажи, раскланивались с Вяземским такие же, как он, древние фрейлины и отставные генералы времен Николая I... Никитенко, повидавший князя в апреле 1872 года, так описывает его состояние: «Он довольно мрачен, однако беседовал со мною как всегда, без малейших признаков какого-нибудь внутреннего расстройства, кроме грустного сознания, что он не так здоров, как бы желалось, и уже очень стар». А Валуев отметил коротко: «Печальная развалина, освещаемая царскосельским солнцем»...

Свое 80-летие 12 июля 1872 года Вяземский отметил двумя строфами:

Все сверстники мои давно уж на покое,
И младшие давно сошли уж на покой;
Зачем же я один несу ярмо земное,
Забытый каторжник на каторге земной?

Не я ли искупил ценой страданий многих
Все, чем пред Промыслом я быть виновным мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить *злопамятливый Бог*?

Упрекнув Бога в злопамятности*, бедный князь и не подозревал, что именно из-за этого в будущем его ждет пусть временная, но оттого не менее грустная и сомнительная репутация поэта-атеиста — ее изобретут для него советские литературоведы. Естественно, до революции эти стихи не могли быть опубликованы: их не пропустила бы церковная цензура. Зато в материалистическом 1935 году из позднего Вяземского уже вовсю лепили богоборца. В. С. Нечаева опубликовала пометки, которые князь «крупным старческим почерком» делал на полях авторского экземпляра сборника «В дороге и дома», напротив своих же религиозных стихотворений: «Все это глупо и пошло», «Все это ложь поэтическая», «Ложь и это»... Ну а уж такое стихотворение, как «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...», и вовсе было лакомым блюдом для литературоведения атеистической эпохи:

Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы Бога знаете по книгам и преданьям,
А я узнал его по собственным страданьям
И, где отца искал, там встретил палача.

Все доброе во мне, чем жизнь сносна была,
Болезнью лютою все Промысл уничтожил,
А тщательно развил, усилил и умножил
Он все порочное и все зачатки зла.

Жизнь едкой горечью проникнута до дна,
Нет к ближнему любви, нет кротости в помине,
И душу мрачную обуревают ныне
Одно отчаянье и ненависть одна.

Вот чем я Промыслом под старость награжден,
Вот в чем явил свою премудрость Он и благость:
Он жизнь мою продлил, чтоб жизнь была мне в тягость,
Чтоб проклял я тот день, в который я рожден.

---

* Впрочем, обратим внимание на то, что слова «злопамятливый Бог» выделены курсивом. Вполне возможно, что это была цитата из какого-нибудь знакомого — например, из Тютчева, от которого вполне можно было услышать подобное. В феврале 1873 года и сам Тютчев помянет в стихах «казнящего Бога».

Спору нет, в этом стихотворении Вяземский действительно предъявляет Провидению крупный счет. И его раздраженные пометки на полях собственной книги тоже существуют. Вот только стоит ли вкладывать в них такой смысл, какой виделся советским литературоведам-атеистам — в частности, В. С. Нечаевой и Л. Я. Гинзбург?..

Мы не станем возвращаться к эволюции отношения Вяземского к православию, заметим только, что на протяжении 50—60-х годов глубокая вера Вяземского не вызывает никаких сомнений — в дневниках поэта встречается немало записей о посещении церковных служб, а исступленность религиозных стихотворений начала 40-х сменяется теплым и глубоким христианским чувством, которым пропитаны даже многие «светские» на первый взгляд стихи князя. Примеров можно привести множество — достаточно обратиться к таким стихотворениям, как «Александру Андреевичу Иванову», «Александре Ильинишне Карамзиной», «Государыне Императрице», «Матери от детей», «Поздравить ли мне вас?», «Памяти Авраама Сергеевича Норова». Отдельно стоят такие жемчужины русской православной лирики, как «Одно сокровище», «Молись (М. А. Бартеневой)», «Молитва Ангелу-Хранителю», «Сельская церковь», «На церковное строение», «Во внутрь блестящего чертога...». Одним из шедевров Вяземского стало изящное переложение ексапостилария* «Чертог Твой вижу, Спасе мой...»:

Чертог Твой вижу, Спасе мой,
Он блещет славою Твоею, —
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать мне пред Тобой.

О светодавче, просвети
Ты рубище души убогой,
Я нищим шел земной дорогой:
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам своим причти.

И вот после таких полных благости строк — язвительные стихи 1872 года... Можно и впрямь подумать, что престарелому князю изменила вера, что «в его поэзии... отчетливо вырисовывается лицо старого безбожника» (В. С. Нечаева).

---

* Ексапостиларий — песнь, соответствующая по содержанию воскресному Евангелию, звучит после канона. «Чертог Твой вижу, Спасе мой...» поется на Страстной седмице, на утрене в великий понедельник, вторник и среду. В сборниках «За границею» (1859) и «В дороге и дома» (1862) стихотворение опубликовано под названием «Молитва».

В 1935-м такая трактовка облика позднего Вяземского была созвучна эпохе и потому привлекательна. И удивительно не это, а то, что ветхая легенда сталинских времен дожила до нынешних дней — и мало кем теперь подвергается сомнению. Более того, «Вяземский-богоборец» стал чуть ли не расхожим штампом, а «Все сверстники мои давно уж на покое...» — одно из самых цитируемых его стихотворений!..

Пожалуй, это можно объяснить только двумя обстоятельствами. Во-первых, материалистической эпохе приятно было иметь дело со «старым безбожником». Это и «увлекательно», и менее «шаблонно», словом, — «пикантно». А во-вторых, мало кого на самом деле интересует подлинный облик позднего Вяземского. Куда проще воспринимать не реалии, пусть и ушедшие, а штампы.

По нашему мнению, «богоборческие» стихи Вяземского — не более чем *случайность* в его творчестве. Но им «повезло» — они были подняты на щит атеистами 1930-х годов. А потом им «повезло» вдвойне и втройне — они фактически подменили собой подлинную духовную биографию позднего Вяземского!.. О реальном человеке, настроениях, мыслях и надеждах нескольких лет его жизни стали судить по *двум стихотворениям*. Пожалуй, история русского литературоведения не знает другой такой разительной ошибки (можно вспомнить разве что исследователей, ставивших знак равенства между Лермонтовым и Демоном...). Впрочем, то была не ошибка, а социальный заказ, не имеющий никакого отношения к поиску истины, — плюс, еще раз повторимся, попросту равнодушие к Вяземскому...

История создания стихотворений «Все сверстники мои давно уж на покое...» и «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...», в сущности, никого не волновала. Достаточно было того, что в них заложен «богоборческий» заряд. А между тем достаточно заинтересоваться обстоятельствами написания этих стихов, чтобы пыльная легенда о Вяземском-богоборце рухнула.

«Все сверстники мои давно уж на покое...» с ярким и страшным образом злопамятного Бога, как мы помним, было написано 12 июля 1872 года, в день 80-летия Вяземского. Скорее всего, именно в этот день Вяземский создал и близкое по настроению «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...». В последней строке этого стихотворения упоминается «день, в который я рожден» — можно предположить, что неслучайно. А автограф, сделанный поэтом во время подготовки Полного собрания сочинений, содержал оба стихотворения на одном листе. Кроме того, день рождения однажды

уже дал Вяземскому повод написать два пессимистичных стихотворения подряд — «12 июля 1854 г.» и «Сознание».

Творцы советской легенды о «богоборчестве» Вяземского в силу своей религиозной безграмотности упустили и еще одну красноречивую подробность: даже наиболее горькие строки в стихотворении «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...» — не что иное, как скрытые цитаты из Книги Иова. Например, «Он жизнь мою продлил, / Чтоб жизнь была мне в тягость» — перифраз Иова 7:20, а проклятия своему дню рождения — это примененная к реальности цитата из Иова 3:3. Получается, что Вяземский «боролся» с Провидением с помощью «божественного глагола»...

Разумеется, вряд ли тематика этих стихов говорит о глубоком, последовательном разочаровании Вяземского в религии и уж тем более о его атеизме. Речь идет о куда более «бытовых», но от этого не становящихся менее печальными обстоятельствах — о сильно расстроенных нервах и ужасном физическом состоянии старого князя. Жаль, что именно эти случайные, нехарактерные для Вяземского стихи, вызванные состоянием одного дня, не раз цитировались в качестве доказательства «настроений, которые он так часто выражал в своей поэзии» (Н. П. Ильин. Трагедия русской философии).

В вышецитированном труде Н. П. Ильин пытается доказать, что Вяземский являет собой типичный пример русского человека, который, однако, и в самом богоборчестве остается христианином: «Он может стать вольнодумцем, «агностиком», даже «теоретическим атеистом»; в его смятенной душе может звучать и ропот на Бога, и прямо богоборческие мотивы. Но он не может, оставаясь русским, стать *врагом Христа*, стать «нехристем» в глубине души». Думается, что эта точка зрения также далека от истины. Ни «ропот на Бога», ни «прямо богоборческие мотивы» Вяземскому не были свойственны. Повторимся — два *случайных* стихотворения, написанных *больным человеком*, отнюдь не говорят о глубинном перевороте в душе поэта.

Другой аргумент любителей представлять старого Вяземского в образе Иакова — пометки на полях религиозных стихов — также чрезвычайно уязвим. Этих пометок всего-навсего три, и относятся они только к двум стихотворениям — «Утешению» (1845) и «Молитве Ангелу-Хранителю» (1850). Ни «Чертог Твой вижу, Спасе мой...», ни «На церковное строение», ни «Любить. Молиться. Петь», напечатанные здесь же, никаких упреков автора во «лжи поэтической», «глупости и пошлости» не вызвали.

Более того. Помета «Все это ложь поэтическая» относится *не ко всему* тексту «Утешения», а только к двум строфам:

Что дух мой окреп под ненастьем,
Что в язвах созрела душа,
Что жизнь мне не блеском и счастьем,
А тайной тоской хороша.

Что в мир и его обаянья
Недолго вдаваться я мог;
Но все его принял страданья
И чувства для них уберег.

Слово «созрела» поэт подчеркнул. Итак, «ложь поэтическая» — потому что душа вовсе не созрела, дух не окреп, чувства для страданий мира не сбережены... а вовсе не потому, что стихотворение — религиозное. Именно так следует понимать и помету «Все это глупо и пошло», которая сопровождает стихотворение «Молитва Ангелу-Хранителю»: Вяземского коробит то, насколько его реальное душевное состояние не соответствует стихам, и он это констатирует.

Но вернемся к «Утешению». Краткая помета Вяземского «Ложь и это» относится к финалу:

Что дня не проходит и часу,
Чтоб внутренним слухом не внял
Я смерти призывному гласу
И дух от него уклонял.

Что в самой житейской тревоге
Сей голос не чужд для меня,
И мыслью стою при пороге
Последнего, страшного дня.

А между процитированными четырьмя строфами поместилась еще одна:

Что тайная есть мне отрада
Внезапно зайти в Божий дом
И там, где мерцает лампада,
С молитвой поникнуть челом.

И вот эти-то строки, самые «религиозные» во всем стихотворении, не вызвали со стороны автора никаких комментариев...

Думается, что приговор, вынесенный Вяземским старым религиозным стихам, объясняется именно «припадками хандры», а кроме того, относится скорее к собственно *творчеству* (недаром — «ложь *поэтическая*», а не «религиозная»). 15 июня 1878 года он написал на титульном листе

своего экземпляра сборника «В дороге и дома»: «Пересматриваю написанное мною. Я в припадках хандры своей часто бываю очень недоволен стихами моими и нахожу, что Белинский, Некрасов с компанией едва ли не правы в строгих своих о них суждениях. Говорю теперь серьезно и добросовестно. По мнению моему, здоровие обманчиво и обольщает нас. Одна болезнь наводит нас на правду, на грустную правду». Кому из творческих людей незнакомы минуты, когда все тобой сотворенное кажется как минимум неудачным, а как максимум — «ложью поэтической», когда кажется, что гадости, которые говорят про тебя противники, — жестокая истина?.. Увы, Вяземский был склонен к самобичеванию — и беспощадный авторский самосуд, творимый на полях экземпляра «В дороге и дома», делался еще беспощаднее во время болезни. Заметим, кстати, что некоторые свои «светские» стихи поэт оценивал в этих поздних пометках не менее жестко: «Что за вздор», «Стихи довольно глупые», «Плоско и плохо», «Довольно слабо и вяло»...

Что попытка предъявить Провидению счет за собственную неудавшуюся судьбу была для Вяземского случайным эпизодом, своего рода поэтическим приложением к психической болезни 1869—1870 годов, доказывает и его творчество последующих лет. Стихотворения 1873—1877 годов по-прежнему во многом проникнуты мрачным мироощущением «живого мертвеца», но ворчливую язвительность обращений к «злопамятливому Богу» сменяют либо бесконечно скорбный вопрос «Где ж благость Провиденья?» (на который Вяземский в стихотворении «Спрошу: зачем землетрясенье...» дает ответ: «Бог весть»), либо жестокий самосуд, едкий взгляд со стороны на самого себя: признаваясь в многочисленных грехах, Вяземский уже не пытается обвинить в этом Бога. На помощь, кроме того, приходит и привычная ирония: такие самобичующие вещи, как «Лукавый рок его обчел...» и «Моя легенда» выдержаны автором отнюдь не в трагическом, а в ерническом ключе. Очень характерно, кстати, появление в словаре Вяземского слова «рок», которому придаются такие нелестные эпитеты, как «лукавый», «насмешливый» и «злобный». Синонимы ли «рок» и «Промысел»?.. Разумеется, нет: «рок» для Вяземского обозначает ту самую «загадочную сказку», «Судьбу», «жребий», над которыми он задумывался еще в далеком 1830 году, в небольшой поэме «Родительский дом»...

Упорные упования князя на отсутствие загробной жизни,

постоянные сравнения ее со вторым томом скучнейшей книги, который ждет впереди, тоже вряд ли стоит приписывать богоборческим настроениям автора. Это признание в бесконечной усталости — и еще эффектный образ, найденный Вяземским в 1863 году в стихотворении «Мне все прискучилось, приелось, присмотрелось...». Этот мотив развивают «Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду...» (1871), «Еще одно последнее сказанье» (1874), «Обыкновенная история» (1875), «Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит...» (1876), «Загадка» (1876).

Однако стихи — стихами, а реалии жизни Вяземского шли с ними вразрез. Ни поздние его письма, ни записные книжки не указывают на то, что в сознании старого поэта произошел какой-то значительный перелом, связанный с верой. Он по-прежнему поздравляет своих корреспондентов с Пасхой и Рождеством, усердно исполняет все положенные обряды, жертвует немалые деньги на постройку православного храма в Бад-Эмсе и присутствует при его освящении. Появляются и новые стихи, проникнутые христианским чувством. Рядом с «Загадкой» в цикле «Хандра с проблесками» стоит сделанное Вяземским изящное переложение начала 140-го псалма:

Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм,
Хочу я волю дать молитве и слезам.
О, да исправится молитва пред Тобою,
Как из кадильницы Тебе моей рукою
Возженный чистый фимиам.
Вечерней жертвы приношенье.
Боец уязвленный, томлюсь я битвой дня:
В свое убежище, в свое упокоенье,
Прими, о Господи, меня.

Это стихотворение было написано в ночь с 17 на 18 января 1875 года*. Как ни грустно, печатная судьба этого небольшого шедевра менялась в зависимости от официальной российской идеологии. В журнале «Русский архив» в 1879 году стихотворение было представлено как предсмертное, созданное Вяземским за несколько часов до кончины. А век спустя, в томе советской серии «Библиотека поэта» (1986), «Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм...» было опущено без всяких объяснений. Уж слишком оно не вязалось с образом ожесточившегося Вяземского-«богоборца», выписанным во вступительной статье Лидией Гинзбург.

* Датировка уточнена по рукописи. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1139. Л. 17.

Весной 1873 года в жизнь старого князя вошел маленький курортный городок Бад-Гомбург фор дер Хёэ*. Совсем недавно, до объединения Германии, он был столицей ландграфства Гессен-Гомбург, теперь оно называлось Гессен-Нассау. Здесь Вяземскому суждено было провести четыре с половиной года. Никакой особой причины задерживаться именно там у князя не было. В Петербурге у него возобновились «ужасные бессонницы, ужасные геморроидальные припадки, ужасная ипохондрия», и врачи рекомендовали ему поселиться в умеренном климате, где круглый год можно гулять пешком на свежем воздухе. «Я испробовал несколько мест и наконец попал в Гомбург, — объяснял Вяземский С. И. Пономареву. — Вот и засел я в этом немецком Конотопе, где я не утопаю ни в веселиях, ни даже в здоровии: но где мне лучше, то есть менее худо, чем инде... Зимою как рак зимую, летом разъезжаю». Обыкновенно шесть летних недель князь проводил в недалеких Бад-Эмсе и Бад-Югенхайме, где отдыхали члены императорской семьи; иногда ездил во Франкфурт и Баден-Баден. А однажды, в августе 1875-го, он предпринял довольно длительный вояж на самый юг Германии — по приглашению вюртембергской королевы Ольги, сестры Александра II, жил в ее дворце в Фридрихсхафене, на берегу чудесного Боденского озера. Там поэта принимали с таким почетом, что он шутил: «Чувствую себя не просто Вяземским, а настоящим владетельным князем Вязьмы».

Сейчас от Франкфурта-на-Майне до Гомбурга двадцать минут автомобильной езды. В городке — красивый четырехбашенный собор в романском стиле, белоснежный замок ландграфов... С покрытых сосновым лесом гор Таунус дует по вечерам свежий ветер. Покой, прохлада, малолюдность (в Гомбурге всего восемь тысяч жителей и не бывает таких сумасшедших «сезонов», как в Баден-Бадене). Идеальное место для «прозябательной жизни», «жизни черепахи», которую вели теперь князь Петр Андреевич и княгиня Вера Федоровна. Единственное неудобство, пожалуй, заключалось в отсутствии в городе православного храма. Впрочем, магистрат Гомбурга вскоре предоставил Вяземским отдельное здание, куда была перенесена из Бад-Эмса походная православная

---

* Bad Homburg vor der Hoehe. В комментариях ко многим советским изданиям Вяземского Гомбург путался с Гамбургом; впервые эта ошибка произошла еще при жизни поэта. «Типография... перенесла меня на жительство из скромного и тихого Гомбурга в шумный и богатый Гамбург, что может ввести в недоумение моих приятелей и корреспондентов», — жаловался Вяземский 22 апреля 1874 года.

церковь (постоянный храм Всех Святых, маленький, изящный, похожий на русскую сельскую церковку, появился в городе только в 1899 году*).

Вяземские сняли виллу на улице с русским названием — Кисселефф-штрассе, 31. Нижний этаж с балконом занимала Вера Федоровна, кабинет Петра Андреевича размещался наверху. В гомбургском климате здоровье Вяземского быстро улучшилось, его каждый день можно было видеть гуляющим по центральной улице городка Луизенштрассе, и вскоре он стал чем-то вроде местной достопримечательности, патриархом курорта. Все радовались его появлению, всюду у него были знакомые, по пути он любезно беседовал с дамами и собирал вокруг себя русский кружок. Не было дня, чтобы не посетил он местный курзал, где играл оркестр. Правда, сильно разочаровало Вяземского отсутствие в репертуаре русской музыки. Пришлось заказывать из России ноты Глинки.

Довольно часто князя и княгиню навещали гости — и иностранные (как, например, император Германии Вильгельм I; а то являлся засвидетельствовать почтение «весь цвет гомбургского бомонда и закидывал нас букетами свежих цветов»**), и русские. Но старых друзей среди них уже не было: в начале 70-х ушли из жизни последние приятели и младшие современники Петра Андреевича — Соболевский, Киселев, Тютчев, Бенедиктов, Погодин... В октябре 1871 года в Париже умер Николай Тургенев, арзамасец Варвик, и после его смерти Вяземский остался последним из участников когда-то шумного и веселого братства.

Навещали стариков и родственники — Петр Валуев, его дочь княгиня Елизавета Голицына. Она обычно баловала деда и бабку щами собственного приготовления, а на 84-летие Вяземского устроила неслыханное по гомбургским меркам торжество с толпой гостей и бенгальскими огнями... Летом 1875 года на месяц приехали Шереметевы. Вместе они гуляли по рейнскому замку Штольценфельс, коротали тихие вечера за самоваром... Графу Сергею Дмитриевичу запомнилось, как в Бад-Эмсе старый князь обходил местные лавки возле курзала: «Тут у него были приятели, а в особенности приятельницы. Какая-то смазливая алжирка его особенно привлекала. Ему подносили кресло, он преспокойно садился около ее лавки и любезничал». И еще — возвращение Вя-

---

* Архитектор этого храма — Л. Н. Бенуа, брат известного художника-искусствоведа А. Н. Бенуа и дед актера Питера Устинова.

** РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 4108. Л. 201 об.

земского из Франкфурта, куда он сопровождал Александра II: явление светского старика во фраке, в белом галстуке, с большим букетом белых роз в руках...

«Еще раз большое и глубокое задушевное спасибо за ваше посещение, — писал Вяземский Шереметеву 11 июля 1875 года. — Оно оставило в нас самое отрадное впечатление и воспоминание. Жаль только, что оно было непродолжительно».

Из других визитеров Вяземский всегда был рад видеть Бартенева и в особенности Якова Карловича Грота. «Радуюсь и дивлюсь вашей неутомимой и энергической деятельности, — писал ему Вяземский. — Вы — редкое явление в наше время, а особенно у нас». Грот с поистине немецкой обстоятельностью неспешно трудился над биографией Державина, резко критиковал Белинского, успешно руководил Отделением русского языка и словесности Академии наук — этого было вполне достаточно, чтобы Вяземский проникся к нему уважением. К тому же Грот имел прямое отношение к новой идее, зародившейся в недрах Академии, — издания Полного собрания сочинений Вяземского. Вполне возможно, что автором ее был сам Грот, с 1863 года издававший полного Державина. Грота сразу же горячо поддержал С. Д. Шереметев, вызвавшийся издать собрание за свой счет.

Сам Вяземский сперва отнесся к мысли о «полной выставке» своих сочинений равнодушно. С какой это стати: у покойных Батюшкова и Жуковского, да что там — у самого Карамзина до сих пор нет Полного собрания... Вот сборник новых стихов — пожалуй... Но мало-помалу идея его захватила. «Благоприятели предложили, а я согласился. Как и почему согласился я, читателям и публике знать в подробности не нужно. Это дело домашнее», — суховато отказался князь пустить любопытствующих на издательско-академическую кухню. Дело действительно было почти домашним — Вяземский «впустил» в редакционную комиссию хорошо известных ему Грота, Никитенко и А. Ф. Бычкова, а общую редактуру поручил историку Николаю Платоновичу Барсукову, племяннику Бартенева, — Вяземский называл его Барсучком. Активно содействовали также сам Бартенев, Шереметев и С. И. Пономарев (он еще в 1868-м выпустил книгу «Материалы для полного издания сочинений князя П. А. Вяземского, в память 60-летия его литературной деятельности»).

Кажется, ни сам Вяземский, ни его издатели не подозревали, какой объем работы им предстоит одолеть. Но дело

продвигалось на удивление споро — уже в декабре 1878 года первый том увидел свет. Редакционная комиссия поднимала из архивов старые журналы и альманахи, в которых публиковался князь, гадала, он или не он скрывается под тем или иным псевдонимом, искала неизвестные рукописи по частным коллекциям... Консультации с автором велись посредством переписки, несколько раз в Гомбург приезжал Бартенев. Результат получился совсем неплохим — двенадцать томов большого формата (в каждом по 400—500 страниц) вместили и лирику, и критические статьи, и служебные документы, и «Фон-Визина», и «Письма русского ветерана» (которые Бартенев перевел на русский), и «Адольфа», и записные книжки. Издание продвигалось довольно споро: с 1878 по 1887-й вышло одиннадцать томов; финальный, двенадцатый (стихи 1863—1877 годов), появился в 1896 году (работа резко затормозилась после смерти Веры Федоровны и Павла Петровича Вяземских). Полное собрание сочинений до сих пор остается самым капитальным изданием Вяземского. И самым изящным — в синих сафьяновых переплетах с золотым тиснением, с узорным обрезом, оно отпечатано на прекрасной бумаге в типографии М. М. Стасюлевича, снабжено великолепными фотографиями и гравюрами...

Довольно скоро сделались очевидны и недостатки Полного собрания. Несмотря на масштабность, оно оказалось далеко не полным: в Остафьевском архиве до сих пор лежат несколько десятков неопубликованных стихотворений, статей, заметок и набросков Вяземского; записные книжки тоже печатались выборочно, а не подряд. Кроме того, опубликованные в собрании стихотворения датировались главным образом по году первой публикации, а не по году написания: так, сатира на Шаликова «Отъезд Вздыхалова» (1811) попала в раздел 1822 года, «Утро на Волге» (1816) — в раздел 1821-го, а «Грусть» (1835) — в раздел 1862-го. Необъяснимой ошибкой стала публикация большого стихотворения «Молитвенные думы» — по стилю и по тематике типичнейший Вяземский конца 50-х — в разделе 1821 года. Некоторые стихотворения были напечатаны дважды, особенно небрежно в этом плане составлялись третий и четвертый тома. Например, «Тоска» появилась в разделах 1832 и 1865 годов (список, сделанный рукой Марии Ламсдорф, был принят за отдельное стихотворение), а «К воспоминанию», написанное в 1818-м, — в разделах 1823-го и 1824-го. Многое не удалось напечатать по цензурным причинам. Больше других пострадал девятый том, в котором публиковались дневнико-

вые записи Вяземского, связанные с казнью декабристов: из уже сброшюрованной книги по приказу цензуры были вырваны 76-я и 77-я страницы... Пристально следил за изданием князь Павел Петрович Вяземский — и по его настоянию в собрание не попало все, что могло как-то скомпрометировать отца. Например, цензор Н. А. Ратынский согласился на публикацию «Негодования» полностью, но Павел Петрович выбросил из текста 22 «особо опасные» строки... Примечания, составленные Н. П. Барсуковым, далеко не так исчерпывающи, как хотелось бы. И, наконец, крохотный тираж, рассчитанный на библиофилов, — всего 650 экземпляров.

Еще печальнее, что за бортом остались личные письма Вяземского — многие тысячи. А ведь именно в них, по собственным словам князя, его талант отразился наиболее ярко. «Надобно мне отобрать свои письма у моих корреспондентов и подарить их Павлуше: тут я весь налицо и наизнанку, — писал он еще в 1830 году. — Более всех имеет писем моих: Александр Тургенев, жена, Александр Булгаков из Варшавы, Жуковский, но они верно у него растеряны, имел много Батюшков, но, вероятно, пустых, до 12-го года писанных, я тогда жил на ветер, Михаил Орлов. А потом у женщин». Немного восполнили этот пробел изданные графом С. Д. Шереметевым пять томов «Остафьевского архива князей Вяземских» — в них вошла почти вся переписка Вяземского с А. И. Тургеневым (за вычетом 17 писем) и кое-что из переписки с женой. Естественно, напечатана переписка с Пушкиным (и вообще все, где Пушкин хоть как-то упоминается). Но все равно это капля в море. Если письма князя будут когда-либо собраны и изданы, двенадцатью томами дело явно не обойдется...

В первый том было решено включить критику 10—20-х годов. К некоторым из старых статей Вяземский добавил «постскриптумы», желая «придать немножко соли старым и залежавшимся запасам», а «Взгляд на литературу нашу в десятилетие со смерти Пушкина» основательно переработал. Написал он также критическую статью «Современные темы, или Канва для журнальных статей», где резко выступил против попыток А. Н. Пыпина вывести Гоголя вождем «прогрессивного движения общества». Параллельно создавались новые мемуарные очерки — «Мицкевич о Пушкине», «Дела иль пустяки давно минувших лет», «Грибоедовская Москва», «По поводу бумаг В. А. Жуковского», «По поводу записок графа Зенфта», «Дельвиг», «Жуковский в Париже», «Московское семейство старого быта», «Характеристические заметки и воспоминания о графе Ростопчине». Тематически к

ним примыкает и большое письмо к троюродному брату Вяземского, князю Д. А. Оболенскому, посвященное допожарной Москве; А. В. Никитенко назвал это письмо прелестным «по остроумию, изяществу и свежести изложения, несмотря на 83 года автора», и с ним нельзя не согласиться.

Почти в каждом выпуске бартеневского «Русского архива» публиковалась теперь «Старая записная книжка» Вяземского. «Мне часто приходило на ум написать свою «Россияду», не героическую, не в подрыв херасковской, не «попранну власть татар и гордость низложенну» (Боже упаси!), а «Россияду» домашнюю, обиходную — сборник, энциклопедический словарь всех возможных *руссицизмов*, не только словесных, но и умственных, — замечал князь. — В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло — хотя до угара и до ошиба, хотя до выноса всех святых!» Такую «Россияду» Вяземский составлял всю жизнь, любовно закрепляя на бумаге то, от чего обычно высокомерно воротит нос «высокая» литература, — светские сплетни, домашние остроты, куплеты, исторические анекдоты, mots — свои и чужие. Ни один исследователь русского быта первой половины XIX века не может обойтись без этих великолепных заметок, в которых лицо эпохи набросано пусть и эскизно, бегло, но резко и характеристически. Многие современники Вяземского вели подобные записи — вспомним «Мысли и замечания» Блудова или пушкинские «Table-Talks», — но жанр *записной книжки* прочно вошел в русскую литературу именно благодаря князю. Специально для бартеневского журнала он пересматривал свои старые записи, нередко переделывая их почти целиком и заново компонуя, чтобы придать актуальное звучание. В Полном собрании записные книжки заняли три тома, да и в дальнейшем переиздавались довольно регулярно. Хотя — придется еще раз повториться — в полном объеме, без купюр, записные книжки Вяземского не публиковались никогда.

Безусловной вершиной мемуарной прозы Вяземского (и одной из вершин русской прозы вообще) стало небольшое «Автобиографическое введение», написанное для первого тома собрания сочинений. Вспоминая раннее детство, отцовский дом, пансион патера Чижа, варшавскую службу и холерную осень 30-го года, Вяземский блещет иронией, умом, умением выстроить фразу, и даже его «фирменные»

отступления от темы — равно как и перепутанная хронология — вовсе не портят общую картину. С трудом верится в то, что «Введение» писал измученный болезнями глубокий старик... В сентябре 1876 года «Введение» было готово, и Вяземский прочел его приехавшему в гости Бартеневу. Петр Иванович похвалил, но заметил с улыбкой, что автор чересчур уж *брыкает* своих литературных оппонентов. Вяземский среагировал моментально:

Вы говорите, я брыкаю:
Нет, не грешна моя нога.
В врага я сзади не лягаю,
Иду я прямо на врага
И не брыкаю, а бодаю:
На то мне Бог и дал рога*.

«Брыкливость» автора, конечно, кое-где заметна во «Введении». Но единственную серьезную претензию Вяземскому можно предъявить, пожалуй, лишь по поводу краткости «Автобиографического введения». Князь тратил куда больше сил и времени на написание писем сотням адресатов, на переделку для печати старых записных книжек и вполне мог, кажется, дать волю «старческой болтливости»...

Но нет. «Стихи еще могу кое-как импровизировать в прогулках моих, под прихотью минуты и воображения: не смею сказать вдохновения, — объяснял он в 1875-м. — На прозу я гораздо туже. Проза требует совершенно здорового духа и здорового тела, спокойствия, усидчивости, равновесия. Относительно собственно до меня, проза нуждается в ночах *без хлорала*, во днях затишья нервов, во днях бодрости и внутренней потребности, так сказать, жажды чернил и труда. А этого часто у меня нет. Часто мне не только не пишется, но и противно то, что напишется».

Что до стихов, то они у Вяземского 70-х были уже далеко не так разнообразны в жанровом отношении, как десятилетие назад. Он продолжал вспоминать ушедших друзей («Поминки» — о Жуковском и Виельгорском, «Памяти М. П. Погодина»), обращался к знакомым дамам («Графине Александре Андреевне Олсуфьевой», «Еще одно последнее сказанье» — А. Д. Баратынской, «Современная легенда» — экс-императрице Франции Евгении, с которой князь познакомился на отдыхе в Фридрихсхафене), сочинял пейзажные стихи («Лес», «Осень 1874 года (Гомбург. Октябрь)») и эпиграммы. Но тема «загадочной сказки», сопровождавшая его

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1330 б. Л. 10.

неотступно еще со времен памятной остафьевской холеры, теперь властно выступила на первый план. Разными словами и разными размерами Вяземский говорил об одном и том же: жизнь не удалась; родился он и рано и поздно, талант вроде бы не зарыт в землю, но и не пущен в ход; ум по-прежнему бодр, но нет уже воли к жизни; старое давно известно, а новому не бывать... И вдруг на этом скорбном фоне — неожиданное признание: «Еще люблю подчас жизнь старую свою / С ее ущербами и грустным поворотом»; или почти прежняя, хорошо знакомая злая ирония над самим собой, над своими страхами и недугами: «Худо, худо, Петр Андреич / В vor der Hoehe было вам...» Именно этим стихам Вяземского, переполненным болью, горечью и разочарованием, суждено было стать самыми искренними и трогательными за всю его поэтическую карьеру. «Лукавый рок его обчел...», «Игрок задорный, рок насмешливый и злобный...», «Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит...», «Привычка», «В воспоминаниях ищу я вдохновенья...», «Бессознательность», «Куда девались вы с своим закатом ясным...», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...» — сочиненные во время бессонных ночей в компании с хлоралом, на дорожках осеннего гомбургского парка, они стали золотым фондом поэта. Эти стихи наиболее близки современным читателям — небольшие по объему, умышленно небрежные, но трогательные и естественные. «Тяжелый, влачащийся по земле» стих Вяземского здесь приобретает прозрачность, иногда его даже можно назвать изящным. Во всяком случае, стоило князю заговорить *о себе* — и из его поэзии мгновенно ушел рассудочный холод, сковывавший большую часть его поздней лирики.

Пожалуй, самым сильным достижением Вяземского этих лет стал цикл «Хандра с проблесками», написанный во время очередного обострения бессонниц. Рядом с жалобами «страдающей тени» («Пью по ночам хлорал запоем...», «И жизнь, и жизни все явленья...», «Чувств одичалых и суровых...», «Я — прозябаемого царства...») и раздраженной «Загадкой» в нем — несколько «проблесков»: безыскусно-задумчивое «Уж падают желтые листья...» (вариация на тему карамзинской «Осени» 1789 года), проникнутое смирением «Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм...», светлое «Жизнь коротка: но в ней не все же скоротечно...» и великолепный «Цветок», аллюзия на одноименные стихи Жуковского и Пушкина.

Все это писалось Вяземским не для печати. В 60-х его имя еще довольно часто появлялось на страницах россий-

ской прессы, но с наступлением нового десятилетия новые публикации князя на родине можно было уже пересчитать по пальцам. Охотно печатал Вяземского разве что его внучатый племянник князь В. П. Мещерский, издатель газеты «Гражданин». Последняя большая подборка поэта (20 стихотворений) появилась 9 апреля 1874 года в альманахе «Складчина», изданном в пользу голодающих Самарской губернии, — там «Крымские фотографии» Вяземского соседствовали с произведениями Достоевского, Некрасова, Гончарова и Майкова. Читателями этих стихов в лучшем случае были такие же старики, как сам поэт. «Какой же вы могучий, свежий и юный, дорогой наш князь Петр Андреевич! — писал ему через две недели после выхода альманаха 74-летний Погодин. — Сейчас только прочел ваши стихи в «Складчине». Редкий праздник в наше глухонемое время». В 1875 году в России было опубликовано пять стихотворений Вяземского (все в «Гражданине»), в 1876 и 1877 годах — по одному. На этом фоне западные публикации Вяземского выглядели даже более солидно: в 1875-м — сборник стихотворений в переводе на французский (Майнц), в 1876-м — еще один (Штутгарт). Летом 1877 года Вяземский задумал издать в Германии книгу под названием «Хандра с проблесками», но этот замысел не был осуществлен.

Начиная с июля 1876 года пристальное внимание Вяземского привлекал к себе так называемый «славянский вопрос»: вспыхнула война между Сербией и Турцией, и Россию в короткий срок охватила настоящая истерия патриотизма — сотни, тысячи добровольцев горели желанием помочь братьям по вере... Это ужасно раздражало Вяземского. Война из-за разности религий для него была полным анахронизмом. Разве турки виноваты в том, что Бог сотворил их магометанами? Да и сербы хороши: в их христианстве ничего христианского нет, одна кровожадность и желание смерти врагу... «Главная погрешность, главное недоразумение наше, что мы считаем себя более славянами, чем русскими, — писал князь П. И. Бартеневу. — Русская кровь у нас на заднем плане, а впереди — славянолюбие... Лучше иметь для нас сбоку слабую Турцию, старую, дряхлую, нежели молодую, сильную, демократическую Славянию, которая будет нас опасаться, но любить не будет. И когда были нам в пользу славяне? Россия для них — дойная корова, и только. А мы даем доить себя, и до крови». Раздражение Вяземского выплеснулось не только в этом большом письме, но и в письмах к невестке, и в нескольких эпиграммах, где предлагалось турок «отправить к черту, / Но с тем, чтоб и от всех

отделаться славян», и в огромном незавершенном стихотворении «Весна 1877 года (Во время прогулки пешком)».

Как обычно, когда Вяземского что-то задевало за живое, он мог обсуждать эту тему бесконечно — и в стихах, и в прозе, и вслух. Всеобщий политический «запой» в России злил его до такой степени, что даже сына, приехавшего в гости, он перво-наперво допрашивал: не черняевец ли он?.. (Главнокомандующего сербской армией генерала Черняева князь заочно терпеть не мог.) «Не черняевец», — улыбался Павел Петрович. «Ну, слава Богу, — ворчал Вяземский, — нет повода таскать друг друга за волосы...»

Престарелый князь, опасавшийся того, что освобожденные Россией славяне не станут ее союзниками, оказался гораздо прозорливее упоенных войной соотечественников. Современный исследователь (В. Виноградов. Балканская политика императорской России) комментирует: «Многое из мрачного предсказания П. А. Вяземского сбылось: сербская династия Обреновичей притулилась к Вене; Румыния вошла в направленный против России Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии; отношения с новорожденной Болгарией испортились настолько, что были прерваны на дипломатическом уровне».

Война 1877—1878 годов стала последним политическим событием, которое вызвало горячий, пусть и неофициальный уже, отклик Вяземского. Газеты и журналы, печатавшие сообщения с фронта, составляли в последнее время основной круг чтения старого князя. Интересовали его также мемуары и переписка государственных деятелей XVIII столетия. К современной же словесности он охладел почти совершенно. «Для меня нынешняя литературщина не существует, — писал он. — Есть три-четыре исключения, принадлежащие все-таки не нынешнему, а старому времени. Кому же говорить не в бровь, а в глаз правду, как не старику независимому... Бог сделал меня не злоязычным, а махонько остроязычным: вот и острю... О будущем, о суде потомства мало думаю, на настоящее плюю. Вот и вся сказка недолга. Я уже не от мира сего. Русскому, и в моем положении, жить в Гомбурге не есть жить: это то же, что покойник в гробу».

В последние годы Вяземский сильно одряхлел. Еще в июне 1875-го он выглядел вполне респектабельно: снимок знаменитого фотографа Левицкого сохранил для нас облик щегольски одетого, спокойно задумавшегося поэта, светского старика, которому при всем желании больше шестидеся-

ти пяти не дашь. А буквально через два года — ссутулившийся старичок, одетый в клетчатый халат, сидит за письменным столом с гусиным пером в руках (стальными перьями он пользоваться так и не привык, хотя пытался научиться). В пальцах левой руки зажат окурок сигары. Корзина для бумаг, стоящая под столом, наполовину полна. Лицо маленькое, усохшее, без всякого выражения. Вяземский смотрит куда-то вбок, и по этому отсутствующему взгляду, по тому, как он неуютно сидит на самом краешке кресла, чувствуется, что это все — маскарад для фотографического аппарата.

«Может быть, менее прежнего страдаю и не так постоянно, но скакать от радости не к чему, — описывал он свое состояние С. И. Пономареву. — Вы жалуетесь на уши: глохну и я. И у меня почти беспрерывно в голове бушует ветер, как в сыром бору. Ноги мои вообще не хороши. О глухоте и головном шуме, двух близнецах, советовался я с здешними врачами: они меня помучили, поковыряли в носу какими-то щипцами, но толку не было. Правда и то, что я живу чужой век, и надобно честь знать. Жаловаться права не имею. Все возможные сроки давности давно прошли».

«Я не болен, а очень нездоров. Скверные дни, а еще сквернейшие ночи. Я буквально состарел и опустился десятью годами, с тех пор, что мы с вами виделись. Дух мой чернейший...» — жаловался он 12 декабря 1877 года невестке, княгине М. А. Вяземской*. И ей же накануне Рождества: «Я уже месяца два впал снова в свою скверную колею: хандра и бессонницы, которые хуже прежнего. Я прежде имел еще физическую силу и мог еще если не бороться, то по крайней мере кое-как сносить и терпеть. Теперь я совсем расслаб, особенно ногами: они отказываются служить. Волочу ноги, и то опираясь на палку с одной стороны, а с другой на руку... Все это сущая истина. За хандру не так боюсь: она бывала и проходила. Стало быть, и в этот раз может пройти, если я пройду. Но ноги другое дело: в мои лета новых не наживешь»**.

В октябре 1878 года, вскоре после восемьдесят шестого своего дня рождения, престарелый князь почувствовал себя плохо. Вернее, *необычно плохо.* К хандре и бессонницам присоединилась сильная простуда, перешедшая в воспаление легких. Ослабевший до крайности организм бороться с нею уже не мог.

---

* РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 4804 а. Л. 57—57 об.

** РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 4804 а. Л. 49—49 об.

Вера Федоровна приказала перевезти князя в Баден-Баден. Она хорошо помнила стихи мужа четвертьвековой давности: «Уж если умереть мне на чужбине, / Так лучше здесь, / В виду родных могил...». Последним приютом Вяземского стал отель «Beausejour» на углу Лангештрассе и Луизенштрассе, в самом центре города. (Сейчас это перестроенный жилой дом 2 по Луизенштрассе.) Последний вид из окна — Леопольдплац с памятником великому герцогу Леопольду, почта и белый четырехэтажный отель «Виктория» напротив. От него вверх уходила усаженная деревьями Софиенштрассе — улица, на которой умер Жуковский.

Мандельштамом сказано (в эссе «Скрябин и христианство») о том, что смерть художника — высший акт его творчества. Вряд ли это применимо к Вяземскому. Его смерть — не каноническое, положенное русскому поэту успение со всеми полагающимися атрибутами: прощальными словами, друзьями у гроба, народной скорбью... Нет, его смерть оказалась очень современной по духу — страшной, тяжелой, неопрятной, какой-то торопливой, скомканной. Вяземский уходил так, как если бы он был поэтом XX или даже XXI века. Исчезли, отступили перед лицом болезни столь свойственные престарелому князю спокойствие и мудрый юмор. Безумно уставший от затянувшегося земного существования, не раз призывавший смерть, он в последние дни, уже ничего не соображая, отчаянно цеплялся за жизнь, за бытие, из последних сил, инстинктивно пытаясь отсрочить, оттолкнуть то неотвратимое, что надвигалось на него...

«Вчера князь целый день спал, — записывал камердинер Вяземского Дмитрий Степанов 6 ноября, — но зато ночь была не хорошая: от 1 до 6 утра — он измучил меня. Утром посылал за M-me Баратынской, жаловался ей на прислугу, докторов, на княгиню... Лекарств принимать не хочет, ибо очень горько, а когда приехал доктор, то тому жаловался, что он спал три дня без просыпу и что ему не дают лекарств. Прошлая ночь была ужасная. Начиная от 9 ч. вечера и до следующего утра, до 6 часов он не спал, но время проводил в писании невозможных писем и в диктовке, понятной только для него самого. Ну и измучил же он меня! Ни одной минуты не дал покоя. Ужасно злой при этом. Упрекал, будто я сейчас был у княгини. Просто ужасный. После двухчасовой пробы писать самому письма он велел писать мне, при этом он лежал в постели, и сколько трудов мне стоило посадить его так, чтобы он мог писать. Наконец начал и что же? — вместо бумаги пишет по столу, потом спрашивает, где написанное?.. Потом он велел мне писать и стал диктовать по-французски...

Вздумал другую рубашку одеть, это тоже черта, которая показывает, что чердак не в порядке. Да, бедный князь совсем рехнулся, все, что говорит, — все нелепость, но большею частью он бранится, и это говорит гораздо чище, отчеканивая каждое слово. Бранится же он мастерски. Право, в этом искусстве он, пожалуй, выше его искусства литературного. Какая прискорбная сцена произошла у нас в доме на глазах всех; я думал, что с княгиней случится удар или разрыв сердца. Княгиня хотела ему, князю, помочь встать, а он в благодарность оттолкнул ее так, что она чуть на пол не растянулась. Ужасная истерика была последствием его безобразной выходки».

Состояние Вяземского быстро ухудшалось. Он страшно исхудал, ничего не ел, только пил чай. 7 ноября он читал в постели изданные Гротом «Сочинения и письма» Хемницера. Остановился на «Метафизическом ученике»:

Отец один слыхал,
Что за море детей учиться посылают
И что вообще того, кто за морем бывал,
От небывалого отменно почитают...

Он раздраженно потребовал записную книжку и, лежа, карандашом написал: «Стихи Хемницера с одноглагольными рифмами своими можно иногда сравнить с подмоченным порохом. Стих осекается. Восприемный Грот слишком снисходителен и пристрастен к своим крестникам. Издание Державина и Хемницера труд почтенный и в русской литературе небывалый. Но в поэтах своих хвалит он часто, что вовсе недостойно похвалы. Поэт, великий поэт, Державин опускается нередко до Хвостова, если не ниже. Хемницер иногда вял и пуст до пошлости...» Эти шаткие, раздраженные строки — последнее, что было написано Вяземским. Старинные стихи Ивана Хемницера с «одноглагольными рифмами» — последнее, что он прочел.

В номере неслышно появлялись посетители — справиться о здоровье Вяземского. Приходили принцесса Баденская Мария Максимилиановна, княгиня Мария Аркадьевна Вяземская, Анна Лазаревна Баратынская — урожденная княжна Абамелек, прекрасная переводчица, которой князь посвятил два стихотворения (одно из них в далеком 1833-м)... Увидав приехавшего из Карлсруэ настоятеля храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, о. Александра Андреевича Измайлова, князь неожиданно твердо отказался принять Святые Дары. Священник, знавший наизусть «Сельскую церковь» и «Чертог Твой вижу, Спасе мой...», много раз исповедовавший князя, подумал

было, что ослышался. Но Вяземский, с необъяснимой улыбкой глядя на жену, произнес:

— И умираю-то я не так, как все!

Гордость, вечная его гордость, гордыня — *не так, как все*... Ну что ж, пожалуй, что и высший акт его творчества — не так, как все. Лозунг, под которым прошла вся жизнь Вяземского.

Вера Федоровна пришла в ужас. В Баден-Баден полетела телеграмма от императрицы Марии Александровны, которая умоляла князя исповедаться и причаститься. О. Александр увещевал князя: последними часами определяется загробная участь, в чем застал Господь, в том и будет судить... Но все было тщетно. Вяземский упрямо стоял на своем.

Загадку его предсмертного поведения раскрыл в своем дневнике П. И. Бартенев. «Княгиня Вяземская мучила своего мужа, — записал он со слов С. Д. Шереметева. — Вообще характер у нее невыносимый. Бедный князь Петр Андреевич приходил от нее в неистовство. Не задолго перед смертью он называл ее Жидовкою и восклицал: *Позорная женщина!* Нет сомнения, что если он не причастился перед смертью, то благодаря ее приставаньям. Когда она уходила из его комнаты, бывший при нем немец видал, как он становился на колени и молился»*.

Всю ночь и весь день 8 ноября ослабевший до крайности старый князь спал. На другой день у него продолжался сильнейший бред. Дмитрий прикладывал к его лбу мокрые салфетки: голова и руки (обычно ледяные) буквально горели. В бреду Вяземский метался, тянул камердинера за руки, стонал: «Дмитрий, я умру... я умираю, Дмитрий! Они хотят меня опоить! они опоят меня!..» — «Не беспокойтесь, ваше сиятельство, — терпеливо говорил слуга, — я буду с вами и если кто придет — всех выгоню вон, полицию позову...» Мало-помалу больной успокоился, его перенесли на диван. Врач померил умирающему пульс: 120. Вяземский тяжело и часто дышал. Послали за священником...

Ночью князь ненадолго очнулся и... тут же попросил записную книжку. Давний знакомый Вяземского Фридрих Шредер, приехавший в Баден-Баден из Дрездена, подал ему небольшой блокнот. Непослушной рукой старик вывел что-то карандашом и опять впал в забытье. Шредер попробовал разобрать три кривые, наезжающие друг на друга строчки, но не смог. Только отдельные слова: «cher», «moi»**...

---

* РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 11 об.

** Дорогой, я (*фр.*).

Наступила пятница, 10 ноября. Около 11 часов утра в комнате, где лежал князь, находились Вера Федоровна, Шредер и Дмитрий. Именно он заметил, что дыханье старого князя стало реже и отрывистее. «В это мгновенье я взглянул на него, мне показались судороги в лице. Я бросился к нему. Княгиня сидела около изголовья, но была погружена в думу и ничего не заметила о происходившей перемене в князе, когда я подбежал... и сказал: «Князь кончается», — то она не могла сразу понять. Я повторил ей. Трудно описать ее горе и ужас. Когда я взглянул в лицо князя, то увидел, что рот, всегда открытый, закрылся, но потом, мало-помалу, начал приходить в свое положение. Дыхание начало возвращаться, но кончина приближалась. Он боролся со смертью. Вдруг он издал звук глухой и полный ужаса, и все кончилось; он умер, но тело его было еще долгое время теплое, будто он заснул и спал непробудным сном».

Мертвящий холод в грудь проник,
Жизнь одичала в мутном взоре,
Обезображен светлый лик,
Друзьям и ближним в страх и горе.

А там нас в тесный гроб кладут,
Опустят в мраки подземелья
И сытной пищей предадут
Червям на праздник новоселья...

Протоиерей начал читать «Последование по исходе души от тела»...

Вера Федоровна все еще не верила в случившееся — несколько раз она спрашивала у врача, жив ли муж...

Дмитрий и старая княгиня обрядили покойного в черный сюртук с белым галстуком и черные брюки. Фотография в гробу: маленький, непохожий на себя без очков старик с запавшим ртом, с выражением безмерной усталости на лице...

В 17 часов на Шиллер-штрассе о. Александр отслужил панихиду по умершему. На ней присутствовали все находившиеся в Баден-Бадене русские во главе с принцессой Марией Максимилиановной. 88-летняя Вера Федоровна чувствовала себя очень плохо, службу выстояла с трудом и дома слегла. Но нашла в себе силы встать и, опираясь на костыли и руку слуги, пришла на баденский вокзал — проводить поезд, который увозил в Россию гроб с телом мужа. По приказанию старой княгини вместе с телом Вяземского был перевезен в Петербург и прах Наденьки Вяземской, погребенной в Бадене тридцать восемь лет назад. Диван, на котором скончался Вяземский, отправили в Остафьево.

В 1847 году князь написал стихотворение «Моя молитва», которое начиналось так:

Господь, ущедри и помилуй:
Не дай мне умереть зимой
И лечь в холодную могилу
Под душной крышей ледяной...

Увы, все вышло именно так, как он боялся. 13 ноября, в понедельник, в Казанском соборе отслужили панихиду. Земля на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры уже была припорошена снегом, и ее смерзшиеся комья громко стучали по крышке гроба... Первым горсть земли в могилу бросил, тяжело нагнувшись, князь Павел Петрович Вяземский, потом подошли его жена Мария Аркадьевна, сын, 24-летний поручик князь Петр Павлович и плачущая графиня Екатерина Павловна Шереметева, которую поддерживал под локоть муж, бледный, с покрасневшими глазами граф Сергей Дмитриевич. Были Я. К. Грот, М. И. Сухомлинов, романист Г. П. Данилевский, писатель и цензор Н. А. Ратынский, фольклорист Т. И. Филиппов, несколько университетских профессоров... На народную манифестацию, как во время похорон Некрасова, это никак не походило, и газеты отметили: «Было больно видеть, с каким хладнокровием отнеслось наше литературное и ученое общество к кончине человека, игравшего такую видную роль в истории нашей литературы и нашего просвещения».

Смерть Вяземского и в самом деле прошла в русской литературе почти незамеченной. Символичным кажется то, что в некрологах трех ведущих изданий тех лет — «Санкт-Петербургских ведомостей», «Голоса» и «Нового времени» — дата рождения покойного князя, словно по уговору, была переврана: 12 июня вместо 12 июля... Большие некрологи поместили также «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация», «Журнал Министерства народного просвещения». И хотя пресса хором писала о «маститом поэте», который «сошел в могилу на 87-м году честной, светлой жизни», о «последнем представителе блестящего пушкинского периода нашей литературы», скорби за этими строками не чувствовалось и не было.

Вяземский не дожил нескольких недель до выхода в свет первого тома Полного собрания сочинений. Старого князя похоронили недалеко от Карамзина, Жуковского, Баратынского, Козлова, Крылова, Гнедича и Плетнева. В 1886 году рядом с мужем и дочерью упокоилась Вера Федоровна, дожившая до девяноста шести лет. Она тоже умерла в Баден-

Бадене. На надгробном камне Вяземских — слова из Нагорной проповеди: «Блаженны милостивии, ибо те помилованы будут». И еще надпись: «Господи, помилуй нас!»

За полтора года до смерти, 20 февраля 1876 года, Вяземский писал из Гомбурга своей знакомой Екатерине Дмитриевне Милютиной: «Вы хотите, чтобы я написал и свой портрет во весь рост. То-то и беда, что у меня нет своего роста. Я создан как-то поштучно и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках. В жизни моей нет, или слишком мало действия. Я не действующее лицо: разве чувствующее. Я никогда и ни в чем не был двигатель: был только рефлектор, и много, что указатель. С этим не далеко уйдешь в составлении мемуаров. Узнавайте меня в живописи моей, когда пишу чужие портреты с натуры. В чужой натуре отыщется и проглянет и моя натура, *хоть в профиль*. Чем богат, тем и рад. *Фасы* моей от меня не требуйте. Бог фасы мне не дал. А дал мне только несколько профилей».

Кто лучше знал этого нервного, пылкого, сдержанного, суховатого, чувствительного, удачливо-неудачливого, непостижимого человека, чем он сам?.. О том, что его биография невозможна в принципе, князь говорил неоднократно. Напрасны попытки найти логику в «записной книжке, / Где жизнь играет роль писца», в перемешанных «летучих листках» — в лучшем случае выйдет лишь «загадочная сказка». Да и недостойны листки того, чтобы разглаживать их и подшивать аккуратно — все равно в лотерее жизни выпал проигрышный нумер, цели никакой не было, ничего великого не совершено, и никому Вяземский не может служить примером...

Но не сам ли он писал Александру Тургеневу в сентябре 1820-го: «Я отзовусь у добрых и счастливейших людей. Я мало означил шагов на пути своего незначительного бытия, но шаг-другой останется впечатленным»? И не он ли полвека спустя обмолвился в последних строках «постскриптума» к четверостишью «Игрок задорный, рок насмешливый и злобный...»:

Но все же, может быть, рожден я не напрасно,
В семье людей не всем, быть может, я чужой,
И хоть одна душа откликнулась согласно
На улетающий минутный голос мой.

«Улетающий минутный голос» его был, к счастью, расслышан следующими поколениями. Живут в русской лите-

ратуре стихи Вяземского — их читают, цитируют, их принимают или отрицают. Не ослабевает интерес к записным книжкам князя — только в 1990-х годах они выдержали несколько переизданий. Оставили памятный след в России потомки Вяземского — сын, внучка, правнук, праправнук. Учреждена литературная премия его имени. Появились работы и о самом Вяземском — первые исследования «загадочной сказки»... И хотя до сих пор предпринимаются попытки уложить его в рамки «пушкинского круга» или раздергать на созвучные нынешнему дню политические цитаты, все же пора признать, что и без всякой «фасы», без всякой поучительной «морали», без всякой «актуальности» или «неактуальности» князь — одна из самых привлекательных личностей русской истории. Он имеет полное право на нашу любовь и благодарную память. И поистине удивительно, что Москва, в последние годы с легкостью воздвигающая памятники и дающая многие славные имена своим улицам, до сих пор не вспомнила об одном из самых славных своих сыновей.

«Счастливый Вяземский, завидую тебе», — написал когда-то Пушкин. «Счастливый Вяземский» — вослед ему назвал Владислав Ходасевич статью, опубликованную к 50-летию со дня смерти князя. Конечно, не следует понимать эпитет «счастливый» слишком буквально — Мафусаилов век Вяземского был все же скорее горестным, чем радостным. Болезни, смерть детей и друзей, постылое долголетие... Но все же — он родился в России, в Москве; он был любим многими, видел многое, изведал все возможные оттенки человеческих страстей. Им написаны «Первый снег» и «Цветок», «Фон-Визин» и «Записные книжки». Он занимает разговором Татьяну в «Евгении Онегине». Это ли не *счастье*?.. Счастливый Вяземский...

Октябрь 2001 — ноябрь 2003

КОНЕЦ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО

1792, 12 июля — В Москве, в семье генерал-поручика князя Андрея Ивановича Вяземского, родился сын Петр.

9 августа — Приобретение А. И. Вяземским села Остафьева Подольского уезда Московской губернии.

1801, 12 марта — Вступил на престол император Александр I.

1802, январь — апрель — Трагедия в стихах «Elmire et Phanor» («Эльмира и Фанор»), посвященная матери, — первое дошедшее до нас произведение будущего поэта.

1802, 12 апреля — Смерть Евгении Ивановны Вяземской, урожденной О"Рейлли, матери П. А. Вяземского.

1802—1805 — Домашнее воспитание Вяземского, знакомство и начало дружбы с Н. М. Карамзиным, И. И. Дмитриевым, Ю. А. Нелединским-Мелецким.

1804, январь — Женитьба Карамзина на единокровной сестре Вяземского Е. А. Колывановой.

1805, 1 сентября — 1806, июль — Вяземский учится в Петербургском иезуитском пансионе патера Чижа.

1806, сентябрь — декабрь — Учится в Петербургской гимназии при Педагогическом институте.

1807, январь — апрель — Знакомство и начало дружбы с В. А. Жуковским.

20 апреля — Смерть отца, Андрея Ивановича Вяземского.

5 ноября — Вяземский поступает на службу в Межевую канцелярию юнкером.

1808 — Знакомство и начало дружбы с А. И. Тургеневым.

27 апреля — Получил чин титулярного советника.

12 мая — Написано «Послание к Жуковскому в деревню», которое в октябре стало первым печатным стихотворением поэта (Вестник Европы, № 19).

1810, 15 февраля — Смерть старшей сестры Вяземского, княгини Екатерины Андреевны Щербатовой.

Март — Знакомство и начало дружбы с К. Н. Батюшковым. Наброски многочисленных статей на литературные («О критике», «О поэзии») и политические («О Пруссии», «Об искусстве государственного управления») темы.

1811 — Активное участие в литературной «войне» со сторонниками А. С. Шишкова.

22 марта — Получил придворное звание камер-юнкера Двора Е. И. В.

18 октября — Женитьба на княжне Вере Федоровне Гагариной (1790—1886).

1812, 19 августа — Вступил в чине поручика в 1-й Конный Казачий полк.

24 августа — Участвовал в Бородинской битве, на поле боя спас раненого генерала А. Н. Бахметева, за что награжден орденом Святого Владимира IV степени с бантом. Выехал в Ярославль и Вологду, где родился его первенец — сын Андрей. Пишет «К Тиртею славян», «К Жуковскому».

1813, 7 августа — Родилась дочь Мария.

1814 — Принимал участие в организации московских торжеств по поводу взятия Парижа. Впервые напечатал стихотворение за пол-

ной подписью («Надпись к бюсту Александра I») и получил за него бриллиантовый перстень от императрицы.

Август — Смерть сына Андрея и связанное с ней стихотворение «Из области тайной...».

1815, 14 октября — Заочно принят в литературное общество «Арзамас» под именем Асмодея. Многочисленные послания и эпиграммы. Родился сын Дмитрий.

1816, 2 февраля — Вместе с Карамзиным прибыл в Петербург, где представлялся Александру I и посетил Г. Р. Державина.

24 февраля — Принят в «Арзамас» очно.

26 февраля — Заочно принят в Общество любителей российской словесности.

25 марта — В Царском Селе познакомился с А. С. Пушкиным. Пишет статью «О Державине», послание «К перу моему», начинает элегию «Первый снег».

1817, 21 февраля — Родилась дочь Прасковья.

Май — Поездка в Петербург, знакомство с М. Ф. Орловым и Н. И. Тургеневым. Планы арзамасского журнала.

27 августа — Получил чин коллежского асессора и перевод в канцелярию императорского комиссара в Королевстве Польском Н. Н. Новосильцева.

6 ноября — Смерть сына Дмитрия. Статья «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», стихотворения «Прощание с халатом», «Деревня», цикл из четырех «Песен».

1818, 11 февраля — Выехал в Варшаву.

15 марта — Речь Александра I на открытии Первого сейма. Рост либеральных настроений Вяземского.

30 апреля — Родился сын Николай.

Август — Поездка в Краков. Работа над Государственной Уставной грамотой.

14 декабря — Начало поездки в Россию. Стихотворения «Петербург», «Ф. И. Толстому».

1819, 28 марта — Получил чин надворного советника.

19 октября — Получил чин коллежского советника. Активная политическая переписка с А. И. и С. И. Тургеневыми. Стихотворения «Первый снег», «Уныние», «Сибирякову», «К В. А. Жуковскому».

1820, май — сентябрь — Поездка в Россию. Аудиенция у Александра I, участие в «Обществе добрых помещиков».

20 мая — Подписывает адресованную Александру I записку об освобождении крестьян.

2 июня — Родился сын Павел. Стихотворения «Негодование», «Волнение», эпиграммы.

1821, 10 апреля — Получает от Н. Н. Новосильцева письмо с запрещением возвращаться в Польшу.

4 июня — Подал в отставку, отказался от звания камер-юнкера и удалился в Остафьево.

21 августа — Заочно избран почетным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Сентябрь — Статья «Известие о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева».

1822—1823 — Москва и Остафьево. Статья «О Кавказском пленнике». Активная переписка с Пушкиным. Знакомство с А. С. Грибоедовым и сочинение с ним водевиля «Кто брат, кто сестра, или Об-

ман за обманом». Родились дочь Надежда и сын Петр.

Май 1823 — Кратковременная поездка в Петербург в связи с опасной болезнью Карамзина.

1824, март — Вышел из печати «Бахчисарайский фонтан» Пушкина с предисловием Вяземского. «Битва классиков и романтиков» в русской критике.

Декабрь — Знакомство с Н. А. Полевым и основание журнала «Московский телеграф».

1825, январь — март — Тяжелая болезнь, связанная со смертью *9 января* сына Николая.

8 января — Вышел первый номер «Московского телеграфа».

6 июля—18 августа — Отдых и лечение в Ревеле. Стихотворения «Нарвский водопад», «Байрон», «К мнимой счастливице». Знакомство с Е. А. Баратынским.

14 декабря — Восстание на Сенатской площади. Вступил на престол император Николай I.

1826, 18 апреля — Смерть сына Петра.

22 мая — Смерть Карамзина.

13 июля — Казнь пятерых декабристов.

Май — август — Петербург и Ревель.

Сентябрь — Москва. Частое общение с вернувшимся из ссылки Пушкиным. Начало дружбы с Мицкевичем. Перевод его «Крымских сонетов» на русский язык.

1827 — Напряженная журналистская деятельность.

Сентябрь — Вяземский получает письмо от Блудова с требованием «покаяния».

12 декабря — Выехал в имение отчима жены Мещерское. Сделаны первые наброски к биографии Д. И. Фонвизина.

1828 — Попытки устроиться на службу в Главную Императорскую квартиру. Разрыв с «Московским телеграфом». Стихотворения «1828 год», «Русский бог», «Черные очи».

Декабрь — Начинает «Записку о князе Вяземском, им самим составленную» («Исповедь»).

1829 — Москва, Мещерское, Пенза, Саратов. Переводит роман Б. Констана «Адольф».

1830, 18 апреля — По прошению на высочайшее имя принят на службу в Министерство финансов чиновником особых поручений при министре графе Е. Ф. Канкрине.

Июль — Откомандирован в Москву для размещения Второй Всероссийской промышленно-технической выставки, но в связи с эпидемией холеры остался в Остафьеве. Там закончил книгу «Фон-Визин», перевод «Адольфа», работал над многочисленными статьями и стихотворениями, планировал написать роман.

1831 — Польское восстание и связанные с ним дневниковые записи Вяземского.

5 августа — Получил придворное звание камергера Двора Е. И. В. Из печати вышел перевод «Адольфа».

25 декабря — Вернулся из Москвы в Петербург.

1832, 15 октября — Переезд в Петербург жены и детей Вяземского.

21 октября — Вяземский становится и. о. вице-директора департамента внешней торговли Министерства финансов. Знакомство с Н. В. Гоголем.

1833 — Статья «О безмолвии русской печати», поэтический цикл «Отрывки из журнала исповеди».

6 декабря — Получил чин статского советника, назначен вице-директором департамента внешней торговли.

1834, 11 августа — Вяземский с семьей едет в Германию и Италию в связи с тяжелой болезнью дочери Прасковьи.

23—24 октября — Знакомство с Ф. И. Тютчевым.

30 ноября — Прибыл в Рим.

12 декабря — Знакомство и начало общения со Стендалем.

1835, 11 марта — Смерть в Риме дочери Прасковьи.

16 мая — Вяземский вернулся в Россию.

Октябрь — Двухнедельная поездка в Германию.

1836 — Сотрудничество с «Современником» Пушкина. Статьи «Ревизор», «Наполеон и Юлий Цезарь», «Наполеон, новая поэма Э. Кине», «Краткое обозрение русской литературы и словесности в 1825—35 годах» (осталась в рукописи).

Август — сентябрь — Остафьево, Москва, поездка в Калужскую губернию. Составлен альманах «Старина и новизна».

1837, 29 января — Смерть Пушкина и связанные с ней письма Вяземского. Стихотворение «На память».

20 марта — Подает прошение об отставке, но получает отказ.

9 апреля — Награжден орденом Святой Анны II степени с короной.

1838, 15 мая — Начало путешествия по Европе (Германия, Франция, Англия). В Париже вышла брошюра «Пожар в петербургском Зимнем дворце». Стихотворения «Я пережил», «Самовар», «Русские проселки», «Ты светлая звезда».

1839, июнь — Возвращение в Россию.

16 октября — Получил чин действительного статского советника.

2 декабря — Избран действительным членом Российской Академии.

1840, 22 ноября — Смерть дочери Надежды. Обращение к религии. Стихотворения «Молись», «Молитва», «Любить. Молиться. Петь». Очерки «Князь Козловский», «Князь А. И. Вяземский».

1841, 19 октября — Утвержден ординарным членом Санкт-Петербургской Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности.

1840—1849 — Петербург. Постепенный отход Вяземского от активной литературной деятельности. Статьи «Языков. — Гоголь», «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина», многочисленные стихотворения: «Старое поколение», «Утешение», «Раздумье», «Ночь», «Рим», «Зима», «Молитва».

1846, 22 октября — Вяземский назначен управляющим Государственного заемного банка.

1848 — Европейские революции и связанное с ними стихотворение «Святая Русь». Из печати вышла книга «Фон-Визин».

Март — Записка о цензуре, поданная великому князю Александру Николаевичу.

4 декабря — Награжден орденом Святого Станислава I степени.

1849, 25 февраля — Смерть дочери Марии, в замужестве Валуевой.

21 мая — Начало поездки к сыну в Константинополь. Стихотворения «Степь», «Полтава», «Ночь на Босфоре», «Босфор».

4—6 августа — Путешествие в Трою.

1850, апрель — сентябрь — Паломничество ко Гробу Господню. Стихотворения «Иерусалим», «Палестина», подробные путевые заметки.

21 октября — В Москве дан литературный обед в честь Вяземского.

1851, июль — Резкое обострение нервной болезни.

Август — Выехал для лечения за границу (Берлин, Гаага, Париж).

1 сентября — Смерть единокровной сестры Вяземского, Екатерины Андреевны Карамзиной.

1852, 12 апреля — Смерть В. А. Жуковского.

1852—1854 — Франция, Саксония, Австрия, Бавария, Вюртемберг, Баден, Швейцария.

29 мая 1853 — Переименован в члены совета при министре финансов.

7 августа — 26 ноября 1853 — Венеция и первый венецианский цикл стихотворений. Начало Крымской (Восточной) войны и посвященный ей цикл публицистических статей «Письма русского ветерана 1812 года о Восточном вопросе, изданные князем Остафьевским» (Брюссель, 1854). Многочисленные стихотворения.

1855, 18 февраля — Вступил на престол император Александр II.

22 июня — Возвращение Вяземского в Россию.

24 июля — Назначен исправляющим должность товарища министра народного просвещения.

31 августа — Пожалован чином тайного советника, назначен товарищем министра народного просвещения.

31 августа — 1 ноября — Временно управляет министерством.

25 декабря — Назначен сенатором. Переиздание «Писем русского ветерана» (Лозанна, 1855), многочисленные стихотворения, статьи «18 августа 1855 г.», «Освящение церкви во имя Святыя Праведныя Елизаветы в Висбадене», «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время».

1856, 14 мая — Награжден знаком «XXX лет беспорочной службы».

26 августа — Награжден орденом Святой Анны I степени.

2 сентября — 27 октября — Временно управляет министерством.

3 декабря — Возглавляет Главное управление цензуры. Служебная записка «Обозрение нашей современной литературной деятельности с точки зрения цензурной». Стихотворения «На церковное строение», «Сельская церковь». Переиздание «Писем русского ветерана» на немецком (Бреслау). Знакомство с графом Л. Н. Толстым. Избран почетным членом Одесского общества истории и древностей.

1857, 27 апреля — 14 сентября — Временно управляет министерством. Наброски многочисленных статей на политические темы (об освобождении крестьян, о пресечении коммунистических идей в России и др.), оставшиеся в рукописи. Стихотворения «Уныние», «Приветствую тебя, в минувшем молодея...».

1858, 23 марта — Вяземский подает в отставку.

3 августа — Начало путешествия по Европе (Австрия, Германия, Франция, Швейцария). Стихотворения «Чертог Твой вижу, Спасе мой...», «Александру Андреевичу Иванову», «На смерть А. А. Иванова».

1859 — Поездка по югу Франции и северу Италии. Статья «Ферней» и одноименное стихотворение. В Карлсруэ вышла брошюра «За границею».

10 ноября — Возвращение в Россию.

1861, 2 марта — Академия наук торжественно празднует 50-летний юбилей литературной деятельности Вяземского.

3 марта — Пожалован гофмейстером Двора Е. И. В. с назначением состоять при особе императрицы Марии Александровны. Начало работы над сборником «В дороге и дома».

Июнь — В Остафьеве Вяземский объявляет крестьянам о том, что отныне имением по доверенности управляет его сын Павел.

17 октября — Вяземские отмечают золотую свадьбу.

Декабрь — Резкое обострение нервной болезни. Лечение в Бонне. Награжден греческим орденом Большого Командорского креста.

1862 —В Москве, в типографии Бахметева, вышел единственный прижизненный поэтический сборник Вяземского «В дороге и дома», включающий 289 стихотворений.

1863—1864 — Бад-Киссинген, Милан, Меран, Веве, Ницца.

15 сентября 1863 — 9 мая 1864 (с двумя перерывами) — Венеция и Второй венецианский цикл (вышел на русском и на итальянском: «Фотография Венеции» и «Fotografia di Venezia»). Политическая брошюра «Польский вопрос и г-н Пеллетан». Начало романа с графиней М. И. Ламсдорф, многочисленные посвященные ей стихи.

1865, 12 апреля — Вяземский присутствует при кончине в Ницце великого князя Николая Александровича и пишет посвященный его памяти очерк «Вилла Бермон».

12 мая — Возвращение в Россию в свите императрицы.

27 июня — Награжден орденом Белого орла. Живет в подмосковном имении императрицы Ильинское, пишет стихотворение «Подмосковная». Начало сотрудничества в журнале П. И. Бартенева «Русский архив». Остафьево переходит во владение князя Павла Петровича Вяземского.

1866, 4 марта — Вяземский избран председателем Русского Исторического общества.

9 мая — Смерть в Женеве графини М. И. Ламсдорф.

28 октября — Пожалован обер-шенком Двора Е. И. В. и назначен членом Государственного совета.

1 декабря — Принял участие в праздновании 100-летнего юбилея Карамзина. Статьи «Иван Иванович Дмитриев», «Стихотворения Карамзина», «О письмах Карамзина».

1867, июль — октябрь — Поездка в составе свиты императрицы в Австрию, Крым и Молдавию. Поэтический цикл «Крымские фотографии 1867 года».

1868, август — Статья «Воспоминание о 1812 годе», направленная против романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

1869, ноябрь — Резкое обострение нервной болезни. Лечение в Висбадене.

1871, 22 марта — Переизбран председателем Русского Исторического общества.

1872, июль — Переживает тяжелый душевный кризис, отразившийся в поэзии («Все сверстники мои давно уж на покое...», «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...»).

1873, 22 марта — Русскому Историческому обществу придан статус Императорского.

1873—1878 — Живет и лечится в Бад-Гомбурге фор дер Хёэ (Германия). Многочисленные стихотворения и мемуарная проза. Начало работы над первым томом Полного собрания сочинений.

1874, 9 апреля — В альманахе «Складчина» появилась последняя крупная прижизненная поэтическая подборка Вяземского — двадцать стихотворений.

1875 — В Майнце вышел сборник стихотворений Вяземского в переводе на французский язык.

Август — Отдыхает и лечится в Фридрихсхафене, на юге Германии. Награжден орденом Вюртембергской Короны I степени.

1876, май — июнь — Поэтический цикл «Хандра с проблесками». Создано «Автобиографическое введение» и несколько «Приписок» к старым статьям. Награжден саксен-веймарским орденом Белого сокола I степени.

1877, 27 апреля — Награжден орденом Святого Александра Невского.

1878, октябрь — Обострение нервной болезни, воспаление легких.

1878, 10 ноября — Скончался в отеле «Beausejour» в Баден-Бадене (Германия) «от старческой слабости»* на 87-м году жизни. Похоронен в Санкт-Петербурге, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

---

* Запись в метрической книге придворной церкви в Карлсруэ. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 620. Л. 1.

БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания произведений князя П. А. Вяземского

Фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского. СПб.,1848.

В дороге и дома. Собрание стихотворений князя П. А. Вяземского. М.,1862.

Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. I—XII. СПб.,1878—1896 (переиздание томов VIII, IX, X. — М.: Захаров, 2003).

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I—V. СПб., 1899—1913 (избранная переписка с женой (1812—26) и А. И. Тургеневым (1812—45).

Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929 (переиздание. — М.: Захаров, 2000).

Вяземский П. А. Избранные стихотворения. М.; Л., 1935.

Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958.

Вяземский П. А.. Записные книжки (1813—1848). М., 1963.

Вяземский П. А. Избранные сочинения. Т. 1—2. М., 1982.

Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984.

Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986.

Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988.

Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1992.

Литература о князе П. А. Вяземском

Акульшин П. В. П. А. Вяземский: власть и общество в дореформенной России. М., 2001.

Бондаренко В. В. Князь Вяземский. Жизнеописание. Минск, 2000.

Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.

Ивинский Д. П. Князь П. А. Вяземский и А. С. Пушкин. Очерк истории личных и творческих отношений. М., 1994.

Кятковская Н. Б. Остафьево. М., 1990.

Летописец Димитрий (*Д. Д. Языков*). Князь П. А. Вяземский. (Его жизнь и литературно-общественная деятельность.) М., 1904.

Новиков В. И. Остафьево. Литературные судьбы XIX века. М., 1991.

Перельмутер В. Г. «Звезда разрозненной плеяды!..» Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. М., 1993.

Сухомлинов М. И. Памяти князя П. А. Вяземского. СПб., 1879.

Шереметев С. Д. Князь Петр Андреевич Вяземский. М., 1891.

Шереметев С. Д. Путешествие на Восток князя П. А. Вяземского. СПб., 1883.

Юбилей 50-летней литературной деятельности академика князя Петра Андреевича Вяземского. СПб., 1861.

Kauchtschischwili N. L'Italia nella vita e nell'opera di P. A.Vjazemskij. Milano, 1964.

Wytrzens G. Pjotr Andreevic Vjazemskij. Studie zur russischen Literatur- und Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Wien, 1961.

СОДЕРЖАНИЕ

Бондаренко В. В.

Б 81 Вяземский. — М.: Молодая гвардия, 2004. — 678[10] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; Вып. 884).

ISBN 5-235-02654-3

Друг Карамзина и Жуковского, Пушкина и Мицкевича, Тютчева и Стендаля; один из крупнейших русских поэтов Золотого века, прошедший 70-летний творческий путь; мастер журнальной полемики, историк литературы и русского быта, переводчик, мемуарист; советник и собеседник Александра I и Александра II; блестящий светский лев, остроумец и сердцеед... и одна из самых драматических судеб за всю историю русской литературы. Любимейшим жанром князя П. А. Вяземского были записные книжки, с которыми он на закате дней сравнил самого себя: «Я просто записная книжка, / Где жизнь играет роль писца...»

Первое полное жизнеописание поэта, основанное на материалах Остафьевского архива, дает возможность заглянуть в эту «записную книжку» и по достоинству оценить уникальность талантов князя П. А. Вяземского.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Бондаренко Вячеслав Васильевич
ВЯЗЕМСКИЙ

Главный редактор **А. В. Петров**
Зав. редакцией, редактор **О. И. Ярикова**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **Н. И. Михайлова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова,**
Л. В. Радченко, Т. В. Рахманина

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 18.12.2003. Подписано в печать 26.05.2004. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл.-печ. л. 36,12+2,52 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 34722.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994 Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии «Молодая гвардия»: 127994 Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02654-3